Ю.Н. Безелянский

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ: ПИСАТЕЛЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга продолжает серию писателя Юрия Безелянского о знаменитых писателях России. В жанре мини-ЖЗЛ представлены прозаики и поэты XX века, от Максима Горького до Сергея Довлатова. В компактных эссе-биографиях прослеживается не только судьба творцов, но и отражается панорама противоречивого и трагического XX века, «века-волкодава», как назвал его Мандельштам. Книга насыщена различными фактами и деталями, информационно и эмоционально. Рассчитана на широкий круг читателей, на тех, кто любит Россию и русскую литературу.

- Юрий Безелянский
  -
  - Авторское предисловие
  - Буревестник, пойманный в сети. Максим Горький (1868–1936)
  - Многоликий нарком просвещения. Анатолий Луначарский (1875–1933)
  - Эрудит истории. Евгений Тарле (1875–1955)
  - Противоречивый классик. Алексей Толстой (1882–1945)
  - Философ в тисках судьбы. Лев Карсавин (1882–1952)
  - Поэзия и лакейство. Демьян Бедный (1883–1945)
  - У времени в плену. Борис Пастернак (1890–1960)
  - Истерзанный «веком-волкодавом». Осип Мандельштам (1891–1938)
  - Фрагменты из жизни мастера. Михаил Булгаков (1891–1940)
  - Искусство выживания. Илья Эренбург (1891–1967)
  - Перо, штык и любовь. Владимир Маяковский (1893–1930)
  - Блуждающая звезда. Исаак Бабель (1894–1940)
  - Одинокий волк Октября. Борис Пильняк (1894–1938)
  - «Не жалею, не зову, не плачу…». Сергей Есенин (1895–1925)
  - Солнечный зайчик. Михаил Зощенко (1895–1958)
  - Поэт французской школы. Павел Антокольский (1896–1978)
  - Мудрый сказочник. Евгений Шварц (1896–1958)
  - Комсомолец и маркиза. Александр Безыменский (1898–1973)

- Мышеловка для Мигеля. Михаил Кольцов (1898–1940)
- Мажорный и трагический Кумач. Василий Лебедев-Кумач (1898–1949)
- Кондуктор чисел. Николай Олейников (1898–1942)
- Хозяин лавки метафор. Юрий Олеша (1899–1960)
- Изломы судьбы одной поэтессы. Адалис (1900–1969)
- Генсек литературы. Александр Фадеев (1901–1956)
- Путь на Голгофу. Анна Баркова (1901–1975)
- Начальник детства. Лев Кассиль (1905–1970)
- Создатель жанра «говорящей литературы». Ираклий Андроников (1908–1990)
- Старомодные комедии. Алексей Арбузов (1908–1986)
- Профессор «факультета ненужных вещей». Юрий Домбровский (1909–1978)
- Дневные и ночные звезды. Ольга Берггольц (1910–1975)
- Собиратель тяжелых слез страны. Павел Васильев (1910–1937)
- Правдолюб из «Нового мира». Александр Твардовский (1910–1971)
- Еврей в окопах Сталинграда. Семен Липкин (1911–2003)
- Прогулки с Виктором Некрасовым. Виктор Некрасов (1911–1987)
- Один из детей Арбата. Анатолий Рыбаков (1911–1998)
- Вечный ученик. Лев Озеров (1914–1996)
- Маленькая пичуга советской поэзии. Маргарита Алигер (1915–1992)
- Профессор песни. Евгений Долматовский (1915–1994)
- Убитые на войне. Павел Коган. Михаил Кульчицкий. Николай Майоров. Всеволод Багрицкий
- «Я выбираю свободу!..» Александр Галич (1918–1977)
- Разочарованный комиссар. Борис Слуцкий (1919–1986)
- Писатель-плейбой. Юрий Нагибин (1920–1994)
- Абрам, но не еврей. Андрей Синявский (1925–1997)
- Жил отважный Даниэль… Юлий Даниэль (1925–1988)
- Его герои – страдающие чудики. Василий Шукшин (1929–1974)
- Отец Штирлица. Юлиан Семенов (1931–1993)
- Братья Вайнеры. Аркадий Вайнер (1931–2005). Георгий Вайнер (1938–2009)
- Жизнь по звездному билету. Василий Аксенов (1932–2009)

- Орлеанская дева российской поэзии. Римма Казакова (1932–2008)
- Искатель исторической правды. Михаил Шатров (1932–2010)
- Интеллигент в эпоху беззаконий. Андрей Вознесенский (1933–2010)
- Бескнижный поэт. Александр Аронов (1934–2001)
- «Тихая моя Родина!» Николай Рубцов (1936–1971)
- «Текст – это жизнь…» Лев Лосев (1937–2009)
- Соло на ундервуде. Сергей Довлатов (1941–1990)
- Послесловие

Юрий Безелянский
Опасная профессия: писатель

© Безелянский Ю. Н., 2012
© Издательство «Человек», издание, оформление, 2012

* * *

Авторское предисловие

Я согласен с изречением Авраама Линкольна, что «книги нужны, чтобы напомнить человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы». Но при этом всегда приятно узнать, что не только тебя одного обуревают какие-то тревоги и страхи, волнуют «проклятые вопросы» бытия и ты сталкиваешься с психологическими коллизиями и попадаешь в определенные ситуации, которые встречались на пути других. Короче, что ты не одинок в этом мире, и мы все одинаково «ходим под Богом», а индивидуальность лишь красивая фурнитура на нашей одежде. Хотя, возможно, я и ошибаюсь.

Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ) интересна и полезна, но лично я, как автор, предпочитаю несколько иной формат: мини-ЖЗЛ. По натуре я не марафонец, а спринтер, и писать толстую книгу об одной персоне мне не под силу да и не очень интересно тонуть в многочисленных деталях и подробностях. Всегда можно выявить суть в коротком описании, выделить основные вехи и оттенить идеи в небольшом текстовом пространстве. Именно в таком ключе написаны мной книги «99 имен Серебряного века», «69 этюдов о русских писателях», «Золотые перья» и другие.

И вот новая книга. Произвольный подбор эссе-биографий российских писателей XX века. Сразу оговорюсь: всех охватить невозможно. Большинство выбрано под тему «Опасная профессия: писатель», «Художник и власть», «Творец и режим». В книгу попали те литераторы, которые напрямую сталкивались с «веком-волкодавом» (погибли, были репрессированы, затравлены критикой, испытали гнет и давление). Поэтому нет благополучных Шолохова и Федина, Тихонова и Маршака, хотя и им доставалось порой «на орехи». Увы, не дошли руки до Веры Пановой и Константина Симонова. Но все равно том получился увесистый и многоименный, на все литературные вкусы и пристрастия. Но еще раз подчеркну, что данная книга не имеет отношения к литературоведению, она из области человековедения. Конечно, есть упоминания о книгах и творческом процессе, но при этом высвечена судьба писателя, не только его взаимоотношения с властью, но и другие компоненты жизни: отношения к славе, к коллегам, к деньгам, к женщинам и т. д. И, конечно, боль и страдание, тоска и одиночество, неприязнь и ненависть, ревность и зависть, бескорыстие и милосердность, скупость и жадность, и прочие чувства и эмоции.

Ну, а теперь несколько слов про структуру книги. Писатели расположены в ней не по алфавиту, а хронологически, по годам

рождения. И в начале не Аксенов с Бродским, а Максим Горький и первый нарком просвещения Луначарский. Такое построение дает возможность установить «перекличку» и «столкновение» между художниками, жившими в один и тот же период времени. Так легче представить эпоху и почувствовать ее аромат. А главное, через писательские судьбы задуматься о жизни. Можно, конечно, глазами сатирика: «Жить вредно. От этого умирают» – Станислав Ежи Лец. И он же: «Жизнь идет по кругу все ближе к горлу». А можно вспомнить и Пушкина, его оду «Вольность»:

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы…

Но прочь, тоска и упадок! Отбросим в сторону мрачность. Как говорил французский критик Ален: «Пессимизм – это настроение, оптимизм – воля». Проявим волю к жизни или, по крайней мере, дочитаем данную книгу до конца. И сделаем выводы. Полезные выводы – это те же деньги. Написал и сам ужаснулся: концовка вышла в духе современной жизни, где мало места литературному русскому языку. Один контент, драйв, сейв и хэппи-энд.

Буревестник, пойманный в сети. Максим Горький (1868–1936)

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь.

Юрий Анненков

Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня.

Нина Берберова

Линия судьбы

До недавнего времени отечественная литература напоминала двуглавого орла: одну голову русской литературы представлял Александр Пушкин, другую – советскую литературу – олицетворял Максим Горький. Так и парил орел с двумя головами, в одной связке. Но вот одну голову срубили. Остался орел, если так можно выразиться, единопушкинским. Без опасного соседства.

Действительно, Пушкин – это орел. Гордая и величественная птица. А Максим Горький все же не орел, а буревестник. Согласно словарю, это большая морская птица. Орел парит в горах, а буревестник реет над морем. Алексей Максимович, можно сказать, сам себя провозгласил гордым буревестником. Это

понравилось, и Горького стали называть «Буревестником революции». Однако время русской революции прошло. Море успокоилось, и пропала необходимость в революционном клекоте – в оповещении о приближающейся буре.

Основателя советской литературы сегодня мало читают, в основном о нем пишут диссертации да громко шумят специалисты-горьковеды. А дальше – тишина. Неужели прав оказался Хемингуэй, когда-то давно сказавший про Горького: «Он был очень мертвый»?

125-летие Алексея Максимовича в 1993 году практически не отмечали. Было не до юбилея: справляли «поминки по советской литературе». Хотя на Западе имя Горького широко гуляло по страницам прессы и книг. Западные исследователи отдавали дань Максиму Горькому как человеку и художнику.

Некоторый бум произошел в 1996 году в связи с 60-летием со дня смерти пролетарского писателя. Появились новые книги («Горький без грима» и другие), на экране полыхнул фильм режиссера Сорокина «Под знаком Скорпиона», в котором Горький в ужасе прозревает и произносит до жути современную фразу: «Как они меня подставили!»

Однако от некоего шебуршания и мелькания материалов о Горьком фигура и личность писателя отнюдь не стала понятной и близкой. Он по-прежнему оставался непонятным, затерявшимся в высях. Он более миф, легенда, чем живой, во плоти человек (или по-горьковски: «матерый человечище»).

Проницательный Исаак Бабель встречался с Горьким в мае 1931 года и записал в дневнике: «День 22-го провел за городом, на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что еще до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой, какого другого в мире нет».

Прошли десятилетия, но не утихают высказывания о том, что Горький – человек еще далеко не раскрытый в биографической литературе. Еще Корней Чуковский писал: «Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового? Исходил всю Россию пешком? Не верю…» А далее Чуковский отмечал некоторые черты Горького: аккуратность, однообразие, книжность, фанатизм…

Сколько написано о Горьком, а всей точности и окончательной рельефности как не было в горьковском образе, так и нет по сей день. Буревестник-сфинкс. Буревестник-загадка.

Поэтому предупреждаю сразу, что всё, что я пишу, – это никакой не полный портрет Алексея Максимовича, а тем более в рост. А всего лишь штрихи. Некий абрис. Лирико-политические зарисовки.

Он родился 16 (28) марта 1868 года. Пересказывать

биографию бессмысленно, но все же необходимо напомнить, что с 10 лет Алексей Пешков – круглый сирота. И в который раз можно поразиться его удивительным похождениям, головокружительной смене мест и профессий: Волга, Астрахань, Моздокские степи, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа… Помощник повара на корабле, продавец икон, тряпичник, грузчик, рыбак… Ну прямо российский Франсуа Вийон, а уж Джек Лондон – точно! Но вот что удивительно: казалось бы, «хождение в народ» способствует развитию любви ко всем классам, но почему-то крестьян Горький не любил, даже презирал. Ему явно не по нраву была крестьянская долготерпимость и покорность.

Босяк всея Руси был большим поклонником Фридриха Ницше и даже усы носил подобной формы, как у немецкого философа. «Босяцкое ницшеанство» Горького советские критики позднее переименовали в «революционный романтизм». Ранние герои Горького – Челкаш и Мальва – суть сверхчеловеки с босяцкого дна. Это импонировало самому Алексею Максимовичу: он не хотел быть заурядным человеком и простеньким писателем, но сверхчеловеком и непременно классиком русской литературы. И в отдельные периоды жизни он чувствовал себя и тем и другим. Были моменты и иные, когда он ощущал себя слабым и беззащитным. Не отсюда ли попытка самоубийства, происшедшая 12 декабря 1887 года (в 21 год). Как писал «Волжский вестник»: «Нижегородский цеховой Алексей Максимович Пешков… выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни».

Начинал Горький как поэт и в 1889 году показал Владимиру Короленко поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба». Короленко ее раскритиковал, и молодой автор, следуя литературной традиции, сжег свой опус.

Потом Горький перешел на рассказы, пьесы, романы, их успеху немало способствовала сама личность Горького и время, в которое он появился. Как писал Георгий Адамович: «В девяностых годах Россия изнывала от «безвременья», от тишины и покоя: единственный значительный духовный факт тех лет – проповедь Толстого – не мог ее удовлетворить. Нужна была пища погрубее, попроще, пища, на иной возраст рассчитанная, – и в это затишье, полное «грозовых» предчувствий, Горький со своими соколами и буревестниками ворвался как желанный гость. Что нес он собою? Никто в точности не знал, – да и до того ли было?..»

Аресты и заключения в тюрьму тоже способствовали его популярности (ах, как любят у нас гонимых и преследуемых!).

Горький шел путем, отличным от русских писателей-интеллигентов. Он посвятил себя ордену революционеров.

Роковая связь с Лениным и с большевистской партией лишь укрепила в нем мечту о всеобщем равенстве и братстве, и вот тут Буревестник и крякнул: «Буря! Скоро грянет буря!»

Справедливости ради следует отметить, что не один Горький верил в очистительную миссию революционной бури (даже Зинаида Гиппиус жаждала перемен). Персонаж горьковской пьесы «Враги» (1906), молодой рабочий Ягодин, говорит: «Соединимся, окружим, тиснем – и готово».

Соединились. Окружили. Тиснули. И одним из первых, кто заблажил от новой жизни, был Максим Горький. Его знаменитые статьи-протесты 1917–1918 годов были собраны в сборник «Несвоевременные мысли». Политика насилия и кровь, пролитая большевиками, испугали Буревестника, хотя лично он находился при новой власти в привилегированном положении. Как писал Евгений Замятин: «Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции…»

Я не согласен с Замятиным, с его выражением «был принесен в жертву». Никакая это была не жертва, сам Максим Горький по личной воле играл роль жреца-спасителя, и эта роль ему нравилась. Он действительно многим помогал и многих спас от ЧК, не случайно у него не сложились отношения с лидером петроградских большевиков Зиновьевым. Клевала Горького и партийная печать. Журнал «На посту» прямо заявлял, что «бывший Главсокол ныне Центрооуж».

В конце концов Горького спровадили за границу, там он осмысливал пережитое в революционной России и хмуро писал Ромену Роллану: «…меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд».

В Италии была совсем другая жизнь. В его доме всегда находились постоянные жильцы, гости и приживальщики. За помощью к Алексею Максимовичу обращались многие эмигрантские писатели. Он всем помогал, всех кормил, а на себя тратил ничтожную малость: папиросы да рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади. Полюбил он фейерверки, праздники, которыми была богата жизнь в Италии. Все это дало повод съехидничать Василию Розанову в одном из писем: «Наш славный Massimo Gorki».

И все же Россия тянула к себе Горького, к тому же новый хозяин страны Сталин предпринимал немалые усилия, чтобы заполучить писателя, побудить его к возвращению. Горький со своей популярностью, авторитетом, влиянием и значением в мировой культуре должен был украсить фасад СССР. Гуманизм

Горького, по идее Сталина, должен был прикрыть преступления режима.

Интересно читать переписку Сталина и Горького. Писатель написал вождю более 50 писем, а все, кстати, эпистолярное наследие Горького составляет гигантскую цифру – 10 тысяч писем, из которых до сих пор не опубликовано более 15 процентов.

Горький – Сталину, 29 ноября 1929 года, Сорренто:

«…Страшно обрадован возвращением к партийной жизни Бухарина, Алексея Ивановича (Рыкова. – *Ю. Б.*), Томского. Очень рад. Такой праздник на душе. Тяжело переживал я этот раскол.

Крепко жму Вашу лапу. Здоровья, бодрости духа!

А. Пешков».

Так и тянет скаламбурить, что Пешков остался пешкой в сложной политической игре вождя. В конечном счете Горький и был пожертвован как пешка, когда выполнил свою функцию гуманистической вывески Советской страны и стал раздражать своим чрезмерным человеколюбием. Но это произошло не сразу. Поначалу Горькому всё понравилось по возвращении на родину. Он верил в происходящие в стране процессы и ни на секунду не допускал, что они сфабрикованы. Клеймил «врагов народа»: «Если враг не сдается – его уничтожают» – печально знаменитая статья Горького в «Правде» от 15 ноября 1930 года. Дружил с наркомом внутренних дел Ягодой. «Освятил» рабский труд заключенных на Беломорканале. Провел Первый съезд советских писателей. Он много сделал позитивного для Сталина и Страны Советов. Был за это возвеличен и восхвален (город Горький, улица Горького, театр имени Горького и т. д.). Жил Горький в своеобразной золотой клетке, бдительно охраняемой НКВД, многое не увидел и многого не понял, но постепенно начинал прозревать, ведь не случайно, что он так и не написал панегирик Сталину, которого от него так ждали. Рука не поднялась?..

«Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально Горькой», – как-то пошутил Карл Радек. Но писателю было не до шуток. Отношения с вождем становились все более напряженными, смею предположить, что оба – Горький и Сталин – разочаровались друг в друге.

Горький дважды пережил драму личного сознания: в начале революции, в 1917–1918 годах, и в середине 30-х, на взлете строительства социализма. Судя по письмам и высказываниям, он горько жалел, что стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века – строительства государства справедливости и правды, счастливого единения рабочих и крестьян при массовом

истреблении остальных «враждебных» классов.

Горький умер накануне приезда в Москву двух интеллектуалов Запада – Андре Жида и Луи Арагона. Весьма вероятно, что он высказал бы им все наболевшее. Но эта «исповедь» не состоялась. Зловещим знаком предупреждения стала катастрофа гигантского самолета «Максим Горький», случившаяся за год до смерти писателя – 18 мая 1935 года.

Не будем муссировать смерть Буревестника: убили, отравили, валить всё на «железную женщину» – Марию Будберг. Не это главное: умер он естественной смертью 18 июня 1936 года или его «убрали». Главное то, что он был Буревестником в клетке. В сетях. Скованным и фактически замурованным. Он выполнил свою историческую миссию «освещения» революции и вынужден был покинуть сцену. Роль сыграна. Мавр оказался ненужным.

Поэт Александр Прокофьев вспоминал: «Умер Горький. Вызвали меня из Ленинграда – и прямо в Колонный зал. Стою в почетном карауле. Слезы туманят глаза. Вижу, Федин слезу смахивает. Погодин печально голову понурил. Вдруг появился Сталин. Мы встрепенулись и… зааплодировали».

Хороший эпизодик, не правда ли? Он говорит о многом.

Христианский мыслитель, историк культуры и, естественно, эмигрант Георгий Федотов откликнулся статьей «На смерть Горького». У нас она малоизвестна, и поэтому имеет смысл привести отрывок из нее:

«Горький никогда не был русским интеллигентом. Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах… Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него всегда было живое чувство особого классового самосознания. Какого класса?.. Тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще 40 лет тому назад… Он всегда был с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина… Добрая прививка ницшеанства в юности сблизила Горького с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но, в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не раздувал зверя. Тьме и зверю он объявлял войну и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917–1922) – это апогей человека. Никто не вправе забыть того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции…»

Говоря о 30-х годах, Федотов восклицает:

«Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка? Как он мог смешать энтузиастов с чекистами и скрепить своим именем бесчеловечность беломорской каторги? Что это? Слепота? Наивность?.. В каком-то смысле слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, и старый человек хочет успокоиться на подушке «достижений»…»

Федотову в эмиграции было легко писать всё, что он знал и думал. Но Горький жил в центре ГУЛАГа, о чем кричит одна из его записок: «Как собака: всё понимаю, а молчу».

Можно согласиться с выводом Дэна Левина в книге «Буревестник» (1965) о том, что Горький осознал, что прожил жизнь «не на той улице», и вложил это трагическое признание в уста Егора Булычева.

Как у человека, так и у личности Максима Горького – трагическая судьба. А судьба писателя Горького? Тоже непростая. Он хотел писать, как Бунин и Леонид Андреев, а писал, естественно, как Максим Горький. Русские писатели-эмигранты невысоко ставили всё то, что делал Алексей Максимович. Борис Зайцев утверждал, к примеру, что «литературно Буревестник убог… невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-разбойник. Посвист у него довольно громкий…»

Итак, литературный посвист…

Другие мнения: реалист, бытовик, или, как выразился Виктор Шкловский, «очень начитанный бытовик» («Детство», цикл «На Руси», добротные «Артамоновы» и т. д.).

Лучшая книга, на мой взгляд, – «Жизнь Клима Самгина», настоящая эпопея об интеллигенции, хотя Борис Парамонов (русский писатель, живущий на Западе) утверждает, что это всего лишь «мемуары плебея-комплексанта». Не согласен. Прекрасная книга, не потерявшая актуальности и сегодня. Вот вам маленький отрывочек:

«– Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта… война с народонаселением означает?

Никто не ответил ему, а Самгин подумал и сказал: – Это – не ошибка, а система».

Ну что ж, заканчивая эти грустные строчки, вслед за Максимом Горьким зададим сакраментальный вопрос: «А был ли мальчик?»

Российский вопрос-фантом. А была ли империя?..

Линия любви

Получается, как в хиромантии: линия судьбы… линия любви… О первой мы уже рассказали, приступим ко второй. В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» в уста диакона вложены следующие примечательные слова: «Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоть любить нам друг друга не за что, однако ж – любим!»

Женщины занимали в жизни Горького, без всякого преувеличения, большое место. Существуют люди холодного склада, с очень приглушенным темпераментом, для которых любовь и секс играют подчиненную, функциональную роль, поэтому они практически не переживают и не мучаются из-за встреч и разлук, не испытывают никакой «зубной боли» в сердце, по выражению Генриха Гейне. А есть люди, для которых женщина – почти всё в жизни: и неодолимое влечение, и сердечная мука, и стимул к творчеству, и еще многое… Именно таким был Максим Горький. Он с юных лет откровенно тяготел к женщине, считая ее воплощением человеческой красоты.

Когда Горькому было тринадцать лет, он страстно влюбился в молодую вдову. А увидя однажды ее обнаженной, онемел от восторга. «В ее обнаженности было что-то чистое», – признавался он позднее. Горький посещал вдову по воскресеньям. Как правило, она охотно беседовала со своим юным обожателем, лежа в постели. И поза лежащей женщины, естественно, лишь распаляла будущего пролетарского писателя. Но однажды, по обыкновению придя к ней, Горький застал ее в постели с мужчиной, причем вдова при этом даже не покраснела. Мужчина – это одно, а взирающий на нее влюбленными глазами юнец – это совсем другое. То, что было для нее обычным, житейским делом, для Горького стало потрясением: для него любовь была чем-то возвышенным и неземным, а тут плотские ласки, грубое «хапанье» руками. Отзвуки этого юношеского потрясения можно найти в недоумении Лидии Варавки (в романе «Жизнь Клима Самгина») после первой интимной близости: «И это всё. Для всех одно: для поэтов, извозчиков, собак?.. Но согласитесь, что ведь этого мало для человека!»

Однако позднее Горький осознал, что любовь возникает из естественной жажды обладания, как мы говорим сегодня, из зова пола (по-английски sex appeal). Вот такую любовь романтическую, но замешенную на плотском желании испытал Горький к Марии Деренковой. Любовь вышла безответной, и 12 декабря 1887 года 19-летний Горький стрелялся. Самоубийства не получилось, но и попытка имела серьезные последствия: пуля попала в легкое, и впоследствии развился туберкулез, из-за которого Максим Горький страдал всю оставшуюся жизнь.

Эпизод с попыткой самоубийства, по всей вероятности, лег в основу горьковского «Рассказа о безответной любви». Героиня рассказа – провинциальная актриса Лариса Добрынина – довела до самоубийства одного юного поклонника и по этому поводу говорит второму воздыхателю: «Вот… убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но – что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам – вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но, послушайте, неужели за то, что Бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто ее хочет, если даже он противен мне?..»

Кто знает, может быть, именно этими словами и отказали Горькому, они врезались ему в память, а потом всплыли за письменным столом? Возможно, возможно…

И еще одна цитата из того же горьковского рассказа:

«В тот день была одна в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело ее, – смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате – солнце, цветы, – невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой…»

Конечно, горьковское письмо не бунинское, оно победнее в словах, менее узорчатое и без изысков, но напор, пожалуй, тот же, что у Бунина: того и другого женщины буквально завораживали. Но мы с вами отвлеклись. Итак, была у Горького несчастная любовь и попытка свести счеты с жизнью. Но что обычно лечит сердечные раны? Конечно, последующая встреча с другой, более доступной и податливой женщиной. Так произошло и у Горького.

На пути его встретилась Ольга Каменская (или, по некоторым источникам, Каминская), опытная особа, старше Горького на десять лет. Встреча произошла спустя полтора года после покушения на самоубийство. В рассказе «О первой любви» Горький почти автобиографически признается: «Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости». Опять же из этого отрывка встает фигура Горького как неисправимого романтика: великая любовь, великая радость… В жизни происходят, конечно, и любовь, и радость, но без этого велеречивого прилагательного «великий». Хочется великого, – это

понятно, – но происходит всегда обыденное, а то и просто заземленно-забубенное. Хотя в случае с Ольгой Каменской про забубенность не скажешь, скорее тут видится некая пикантность ситуации: фактически она делит любовь между двумя солидными мужьями и пылким любовником Горьким. К тому же у Каменской на руках ребенок. Но что Горькому до всего этого? Он влюблен, он ослеплен, он жаждет быть вместе с любимой женщиной и предлагает ей развестись с официальным мужем, бросить неофициального и жить только с ним. Каменская отказывается от такого варианта, и они расстаются.

Однако судьба свела их через два года в Тифлисе. Каменская разведена, она свободна как птица, а в груди Горького по-прежнему не унимается костер собственных чувств.

Искры этих чувств вспыхивают на страницах рассказа «Макар Чудра».

«Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею и, качаясь под бурными толчками сердца, бормочу…»

На этот раз Ольга Юльевна уступила Алексею Максимовичу, и они стали жить вместе, и буквально в «шалаше» – в бане при доме священника-алкоголика. Рай в шалаше продолжался примерно два года. Горький каторжным литературным трудом зарабатывал деньги, а Каменская их легко тратила. К тому же время от времени появлялись ее бывшие мужья – Фома Фомич и Болеслав, и сердобольная женщина поддерживала их материально. Так что еще раз повторим: ситуация была пикантной. А что Горький? «Нет, я не ревновал, но всё это немножко мешало…» – можно прочитать у Алексея Максимовича.

Долго это продолжаться не могло, и пришел естественный конец. Дочка Каменской «плакала, и Каменская держала ее крепко за руку и молча минута за минутой переживала с ней вместе всё, о чем она плакала. В этот час мы хоронили вместе, она – свое детство, я – любовь».

А что хоронил Горький? Он прощался со своими романтическими иллюзиями. А жизнь тем временем катилась дальше. И вот уже новая героиня горьковского романа. В «Самарской газете», где он работал появилась семнадцатилетняя выпускница гимназии, золотая медалистка Катя Волжина. Она – корректор, он – маститый, к тому времени, фельетонист газеты, к тому же старше ее на десять лет. Можно поиронизировать, что теперь в роли старшей и умудренной жизнью вдовы выступает уже Алексей Максимович. Катя влюбляется в зрелого литератора. И немудрено: у него с годами появилось умение распускать

павлиний хвост перед женщинами. Эту черту мгновенно заметил и описал Корней Чуковский, правда, немного позднее и по отношению к другой женщине, но это не суть важно. Вот эта дневниковая запись К. Чуковского от 24 сентября 1919 года:

«Заседание по сценариям. Впервые присутствует Мария Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький не говорил ни слова ей, но всё говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу».

Это в 41 год, а тогда – в 27! – можете представить, как заносило Алексея Максимовича на поворотах. Короче говоря, Горький увлек Волжину и сделал ей предложение. Мать Кати препятствовала браку дочери-дворянки с «нижегородским цеховым». Горький хоть и ходил тогда в журналистах, но был по происхождению все же плебсом. Но Катя настояла, и 30 августа 1896 года они обвенчались в Самаре. Катя Волжина отныне стала Екатериной Пешковой. Через год, 27 июля 1897 года, у них родился сын Максим. Потом родилась дочь Катя, но вскоре умерла.

Однако семейная жизнь Горького с Екатериной Пешковой, как говорится, не заладилась. В этом союзе было больше дружеских чувств, чем любовных, и плотское томление Горького в конце концов привело к разрыву. Но расстались они довольно мирно, более того, по-дружески, и остались на все последующие годы в друзьях, часто переписывались друг с другом, помогали советом, когда кто-нибудь из двоих в нем нуждался.

Выскажу предположение, что Горький расстался с Катериной Пешковой еще потому, что ему хотелось видеть рядом с собой женщину не домашнюю, а скорее светскую, блестящую, красивую, которая бы облагородила его провинциальную внешность и манеры. И такая женщина вскоре после разрыва с Пешковой появилась. Как говорится, на ловца и зверь бежит.

Зверь явился в образе роскошной актрисы Художественного театра Марии Андреевой. Встреча произошла в Севастополе в 1900 году, во время гастролей там Художественного театра. Гастроли проходили в каком-то летнем театре, и вот в антракте спектакля «Гедда Габлер» в дверь артистической уборной актрисы постучали. Голос Чехова:

– К вам можно, Мария Федоровна? Только я не один, со мною Горький.

«Сердце забилось – батюшки! И Чехов, и Горький! – читаем мы в воспоминаниях Марии Андреевой. – Встала навстречу. Вошел Антон Павлович – я его давно знала… за ним высокая, тонкая фигура в летней русской рубашке; волосы длинные,

прямые, усы большие и рыжие, – неужели это Горький?..

– Вот познакомьтесь, Алексей Максимович Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов, – сказал Антон Павлович. – А я пойду в сад, у вас тут дышать нечем.

– Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете, – басит Алексей Максимович и трясет меня изо всей силы за руку…»

Опускаем описание Горького, каким его представляла Андреева до встречи и каким он оказался на самом деле, это все как детали, главная фраза в воспоминаниях актрисы: «…и радостно екнуло сердце».

Сердце екнуло. Значит, любовь!.. Но в воспоминаниях Андреевой о любви нет ни слова (стеснялась? Не хотела? Специально замалчивала?). Есть другое: «Наша дружба с ним всё больше крепла, нас связывала общность во взглядах, интересах…»

Сошлись не только мужчина и женщина, сошлись два единомышленника, которые верили в царство добра и справедливости, путь к которому лежал через революцию. В лице Марии Андреевой Горький нашел отважную помощницу и отчаянную мечтательницу. Они соединили свои судьбы. Соединили де-факто, но не де-юре, официальной женой Горького оставалась Екатерина Пешкова. И когда Горький с Андреевой отправились в Америку добывать для революции деньги, там в прессе мгновенно возник скандал. Американские журналисты назвали Горького анархистом и двоеженцем. Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пускали на пороги некоторых гостиниц, наиболее пуританских, разумеется.

Новая жизнь с новой женой была бурной и деятельной: литература постоянно переплеталась с политикой, так было и в Италии, на Капри, где жили Горький и Андреева. Как писала она своей подруге Муратовой 11 сентября 1910 года: «Живем мы как когда, когда очень хорошо, иногда плохо, но всегда интересно и разнообразно».

Но разнообразие в какой-то момент перешло в однообразие, и Горький расстался с Марией Федоровной. Причем расставание опять-таки произошло тихо и мирно, без скандалов и битья посуды, – этого Алексей Максимович не выносил. Его всегда устраивал худой мир, который лучше любой ссоры. В 1925 году в Сорренто на вопрос поэта Вячеслава Иванова, как у него складываются отношения с Екатериной Пешковой, Горький ответил так: «Я с нею в самых дружеских отношениях, как и с Марией Федоровной Андреевой, с которой я жил десять лет. Мне удавалось избегать с близкими женщинами драм…»

Горький всегда стремился сохранить свое душевное спокойствие. А испытывали ли драмы его любимые женщины,

получившие приставку «экс»? Наверное, все-таки да. Показательно, что после расставания с Горьким Андреева не приезжала к нему в Италию в те дни, когда там гостила Екатерина Павловна Пешкова. Каждая из них не хотела видеть соперницу.

На старости лет Андреева призналась: «А я была не права, что покинула Горького. Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе: это все-таки был Горький…»

То есть всемирно известный писатель, поэтому следовало бы не ревновать, проглатывать обиды, быть ниже травы и тише воды и т. д. Но эту роль покорницы темпераментной Андреевой сыграть не удалось.

Последней любовью Горького стала «Мария фон Будберг, она же баронесса Бенкендорф, она же Закревская, она же Унгерн-Штернберг, 1892 года рождения, уроженка Полтавы, дочь крупного помещика» – именно так она представлена в оперативной справке НКВД.

Это была примечательная женщина, некрасивая, но талантливая, из породы авантюристок. У нее было много мужей, любовников и друзей-мужчин, которых она умела заводить и околдовывать каким-то своим особым шармом и сексуальной притягательностью. Женщина-манок. Она сумела прожить часть совей жизни с двумя литературными титанами – Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом. В быту ее звали просто Мурой, но Нина Берберова окрестила ее «железной женщиной» и написала о ней целую книгу.

Не будем цитировать Берберову (кто захочет, тот прочитает «Железную женщину» сам), лучше приведем один любопытный документик – письмо Максима Горького властителю Петрограда Григорию Зиновьеву: «Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику Пасхи? А. П.».

На момент письма, в апреле 1920 года, Мария Бенкендорф-Будберг сидела в подвалах ЧК за связь с английским послом Локкартом и подозревалась в шпионаже против советской России, кстати, ее арестовали чуть ли не в постели посла. Зиновьев откликнулся на просьбу Горького, и Алексей Максимович получил Муру, выражаясь фигурально, в качестве пасхального подарка. Подарок пришелся очень к месту: Мура стала секретарем затеянного Горьким издательства «Всемирная литература» и одновременно личным литературным секретарем писателя. Впрочем, ее функции получились весьма расширительные: секретарь, консультант, переводчик, домоправительница и любовница. Гениальная женщина, не

каждая на такое способна!

Был момент, когда она покинула Горького и уехала к Уэллсу, а Алексей Максимович бомбил ее письмами, в которых полыхали и страсть, и надрыв, и тоска. Любимая женщина вернулась и скрасила последние месяцы смертельно больного Горького. Есть версия, что именно она убила знаменитого любовника по заданию чекистов, на которых работала. Лично я в это не верю.

Когда Горький умер, в крематории присутствовали все три женщины Алексея Максимовича – одна официальная и две невенчанные жены. В книге Галины Серебряковой «О других и о себе» можно прочитать такой пассаж: «Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова – неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неуловимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные…»

Что ж, отдадим дань вкусу Горького.

Все три главные женщины Горького пережили его намного. Мария Андреева умерла 8 декабря 1953 года в возрасте 85 лет. Настоящий «феномен», как назвал ее Ленин. Екатерина Пешкова скончалась в 1965 году, прожив на свете 87 лет, а в 1974 году ушла из жизни Мура, «железная женщина», в возрасте 82 лет.

Так что все – долгожительницы. «Сколько ей лет? – удивлялся Корней Чуковский Екатерине Павловне Пешковой. – А она бодра, возбужденна, эмоциональна, порывиста…»

Последней своей пассии – Будберг-Бенкендорф, любимой Муре, Горький посвятил самое крупное и значительное произведение из всего того, что написал: «Жизнь Клима Самгина».

Любопытную запись оставил Корней Иванович в своем дневнике от 30 апреля 1962 года:

«Екатерина Павловна Пешкова получила от Марии Игнатьевны Бенкендорф (Будберг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Екатерина Павловна исполнила ее желание. «Изо всех увлечений Алексея Максимовича, – сказала она мне сегодня, – я меньше всего могла возражать против этого увлечения: Мария Игнатьевна – женщина интересная».

С чего начали – тем и закончили: вкус у Максима Горького был отменный.

Вот и все, пожалуй, о Буревестнике, который пытался приспособить мировую литературу к нуждам пролетариата. Писатель и царедворец. Гуманист и конформист. А еще он –

человек для подражания, ибо сумел сам себя сделать. А это удается далеко не каждому.

Многоликий нарком просвещения. Анатолий Луначарский (1875–1933)

Меня пленяет сатаны
Всеискажающая скрипка:
В ней ритмы солнц отражены
В стихии человечье-зыбкой.
Пусть ангелов пугает вид
Их ликов дико искривленных,
Но вечных песен полусонных
Лишь чертов перепев манит.

Анатолий Луначарский,
Кривой, апрель 1921

Кто есть Луначарский

Очень ныне модно спрашивать: who is who? Давно покинул белый свет Анатолий Васильевич Луначарский, а точного ответа на вопрос так и нет. Даже его фамилия вводит в заблуждение: Луна-Чарский. Луны чары? Или чары луны? И сразу вспоминается Лев Мей: «Ясный месяц, ночной чародей». Или еще пушкинская «Полтава»:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

Луначарский – фамилия из разряда псевдонимов? Псевдонимы были популярными в конце XIX века: Максим Горький, Саша Черный, Андрей Белый, Ленин, Сталин, Каменев, Зиновьев, Демьян Бедный, Михаил Голодный, Илья Ильф и т. д. Но нет. Луначарский не псевдоним, а настоящая фамилия.

Ладно, с фамилией разобрались. А теперь разберемся с профессиональным занятием. Когда Луначарского назначили наркомом просвещения молодой советской республики, старые интеллигенты взволновались. Академик Карпинский спрашивал у своих более молодых коллег: «Что вам известно о вновь назначенном министре просвещения?» Одни отвечали: «философ», другие: «музыкальный критик». Третьи: «Как же, это известный литературовед». Да, первый нарком просвещения был и философом, и критиком, и литературоведом, и драматургом, и публицистом, и переводчиком, и даже поэтом. А еще он был революционером. Не твердокаменным, а каким-то мягколиберальным, скорее даже не большевик-коммунист, а социал-демократ, ну, почти «яблочник». Ненавидел насилие. Возмущался действиями «большевистских военных бурбонов».

Это был прежде всего культурный человек. В книге «Современники» Корней Чуковский писал:

«Анатолий Васильевич, как натура художественная, мог вполне бескорыстно увлечься и сказкой, и песней, и драмой, и звонким стишком для детей. Каждый самый неприхотливый живописный этюд, каждое стихотворение, каждую музыкальную пьесу, если они были талантливы, он встречал горячо и взволнованно, с чувством сердечной благодарности к автору. Я видел, как он слушал Блока, когда Александр Александрович читал свою поэму «Возмездие», как слушал Маяковского, как слушал какого-неведомого мне драматурга, написавшего историческую драму в стихах: так слушают поэтов лишь поэты. Я любил наблюдать его в такие минуты. Даже в повороте его головы, даже в том, как он вдруг молодел, выпрямлял сутулую спину, нервно вжимал тонкие пальцы в борта пиджака и влюбленно смотрел на читающего, чувствовался артистический склад его личности.

Больше всякого другого искусства – больше живописи, больше музыки, больше поэзии – Луначарский любил театр. В театре он никогда не бывал равнодушен: то умилялся, то негодовал, то неистово радовался и, как бы ни был занят, любой,

даже слабый спектакль досматривал всегда до конца».

А еще философ. Хотя философский энциклопедический словарь (1983) обошел его вниманием. А как же богостроительство Луначарского? «Религия без бога» как «религия надежды»? Его философские искания и утверждение «нового бога – коллектив»? «Религия – это энтузиазм»? Нападки на Фридриха Ницше как на исторического апологета «ходульного сверхчеловечества». И в то же время восхищение Ницше, который, согласно Луначарскому, в человеке «любил полет, порыв, любил его, как мост, ведущий в эдем будущего, как стрелу, направленную на другой берег, он любил в нем еще не законченного бога» («Этюды», 1922).

В 1903 году Луначарский примкнул к большевикам. Однако не раз расходился с Лениным. Луначарский относился к марксизму как к религии и считал, что «мы люди нового утра». То есть был идеалистом в отличие от жесткого и прагматичного Ленина.

Но главное – Луначарский был «одним из видных строителей социалистической культуры». Вместе с Троцким, Воронским, Бухариным, Полонским и Гронским Луначарский организовывал, создавал советскую литературу 20-х годов. Формировал ее и воздействовал на нее.

Однако вступление затянулось, и пора переходить к конкретике.

Семья. Ранние годы

Анатолий Васильевич Луначарский родился 11 (23) ноября 1875 года в Полтаве. Вне официального брака. Его настоящим отцом был Александр Иванович Антонов, управляющий контрольной палатой в Пскове. Однако фамилию носил отчима, мужа матери – Василия Федоровича Луначарского. Уже в этом любители фрейдизма могут половить рыбку…

В книге «Память сердца» Луначарской-Розенель можно прочитать о матери: «Мать Луначарского, Александра Яковлевна Ростовцева, женщина образованная, но властная и взбалмошная, в «мальчике в очках» видела что-то недопустимое, «нигилистическое». Когда Анатолий жаловался ей на плохое зрение, она только сердилась на него за «глупые выдумки». Лет до 13 из-за упрямства матери он лишен был возможности следить в классе за тем, что писали на доске, рассматривать географические карты и атласы, наблюдать за физическими опытами, даже участвовать в развлечениях и играх своих

одноклассников. Но благодаря блестящим способностям и замечательной памяти учился он хорошо. Однако учеба в гимназии не увлекала его, и все свободное время он отдавал чтению».

Учился хорошо? Но в одном из классов юный Луначарский был оставлен на второй год, но в итоге закончил 1-ю гимназию в Киеве. В гимназии и в дальнейшем активно занимался самообразованием, читал книги на французском и немецких языках, а еще увлекался сочинительством. «Прочитал целую библиотеку книг, написал множество стихотворений, рассказов, трактатов…» – вспоминал Луначарский. На всю жизнь он остался книгочеем, но не стал книгоманом. Любил посещать общественные библиотеки, но свою личную не заводил.

С юности увлекла революция, заря новой жизни. «В 15 лет был знаком не только с нелегальными брошюрами по марксизму, но проштудировал первый том «Капитала», – признавался Луначарский. И в раннем возрасте он стал бойким пропагандистом. То, что узнавал из книг, он умел увлекательно рассказывать в рабочих кружках в пролетарском районе Киева – в Борщаговке. Подобная деятельность не осталась незамеченной, и за свою «революционность» Луначарский оказался вне российских университетов: двери для него были закрыты. Выход для получения дальнейшего образования был один: заграница. Отправился в Швейцарию, в Цюрих, и там в местном университете постигал основы эмпириокритицизма у основоположника этого течения Рихарда Авенариуса. Вторым учителем для Луначарского стал знаток марксизма Павел Аксельрод, а уже потом был перекинут мостик к Ленину.

В 1896 году Луначарский прервал свои занятия в Швейцарии, поездил по Италии и Франции и вернулся в Россию, в Москве вступил в революционный кружок Елизаровой-Ульяновой, старшей сестры Ленина. Вскоре, 13 апреля 1899 года, последовал арест. Первый, но не последний.

Примечательные детали одиночного заключения в киевской Лукьяновской тюрьме. Там Луначарский изучил английский язык, читал в подлиннике Шекспира и Бэкона, немецких философов и поэтов, много писал. Вспоминая Лукьяновскую тюрьму, Луначарский в одном из писем писал: «В последние недели моего пребывания в одиночке я читал и писал до утра. Почерк у меня возмутительный. Каждое слово, написанное в тюрьме, подвергалось самой тщательной цензуре, и жандармский ротмистр, которому полагалось проверять мои рукописи, совершенно замучился. «Ради всего святого, г-н Луначарский, пишите разборчивее! У меня теперь из-за вас нет личной жизни:

я ночи напролет сижу над вашими каракулями». Меня эти жалобы не слишком растрогали. Хуже, что я сам позднее разобрал далеко не все свои рукописи из Лукьяновки».

Луначарский – один из многочисленных примеров пылких молодых людей, которые были обуяны мечтой осчастливить русский народ с помощью марксистских выкладок. Старая Россия – для них ничто; новая, будущая – всё! Не случайно одно позднее рассуждение Луначарского:

«Почти у всякой русской писательской могилы, у могилы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других, – почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех она либо убила, либо искалечила, обузила, обрызгала, завела не на ту дорогу. Если же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что у них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, все это дала им она».

Вы чувствуете, как в этих фразах Луначарского клокочет революционность, бунтарство. Оно и приводило Луначарского не раз к заключению: сидел он в Киевской Лукьяновской тюрьме, в одиночной камере Таганской тюрьмы, сидел в знаменитых петербургских «Крестах», ссылался в Вологду. В Вологде Луначарский близко сошелся с Николаем Бердяевым (с ним был знаком со времени учебы в киевской гимназии), с Алексеем Ремизовым, Борисом Савинковым, с пушкинистом Павлом Щеголевым. И ссылка для Анатолия Васильевича стала дополнительным университетом. И это же было время интенсивной публицистики – Луначарский писал много в различных газетах, от Ярославля до Киева. Религиозных поисков смысла жизни (статьи «Русский Фауст», «Метаморфоза одного мыслителя», «Перед лицом рока» и другие). И еще одно направление: проповедь героизма, деятельности и силы.

Так уж сложилась судьба Луначарского, что он всю жизнь был погружен в культуру, религию и историю. Еще живя в Киеве, он принимал активное участие в Литературно-артистическом обществе, которое возглавляла Софья Луначарская, жена брата Николая. На квартире Софьи Николаевны в начале XX века собирался цвет интеллигенции Киева: братья Бердяевы, братья Луначарские, философ Лев Шестов (Шварцман), литературовед Николай Гудзий, поэты Михаил Кузмин, Бенекдит Лившиц, исполнитель популярных ариэток Александр Вертинский, художники Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Александр Осмеркин. В салоне Луначарской – назовем его так, – происходили интересные, острые споры, дискуссии на

литературные, философские и иные темы.

В Петербурге Луначарский посещал «башню» Вячеслава Иванова, где била ключом интеллектуальная жизнь города на Неве. В частности, 18 октября 1906 года там проходил интереснейший диспут об Эросе. Среди выступавших были Анатолий Луначарский и Николай Бердяев.

А параллельно с культурой Анатолий Васильевич был погружен в политику. Принимал участие в большевистской газете «Вперед», издававшейся в Женеве. Участвовал в III съезде РСДРП. Революция 1905 года застала Луначарского во Флоренции, где он подлечивал пошатнувшееся здоровье. В октябре вернулся в Россию и был вскоре арестован за пропаганду марксизма среди рабочих. И сразу вспоминаются слова Георгия Иванова из «Петербургских зим» о Луначарском: «Сладко и гладко беседует о марксизме» (но эти слова, правда, относятся уже к 1917 году).

В начале 1906 года Луначарский был освобожден из тюрьмы, но революционный его пыл не охладился, и охранка за ним охотится. Чтобы избежать нового тюремного заключения, он в начале 1907 года уезжает в Германию: Берлин, Штутгарт… Ему 31 год. Он – профессиональный революционер. Зарабатывает на жизнь журналистикой, пишет по западноевропейскому искусству, литературе и театру.

А теперь, пожалуй, уместно привести характеристику Луначарского, которую дал ему Александр Амфитеатров в очерке «Жизнь человека, неудобного для себя и для многих»:

«Генеральский сын, лауреат Московского университета, не ахти какой умный, но и далеко не глупый, усердный и доверчивый читатель-книжник («Что ему книжка последняя скажет, то ему в душу сверху и ляжет»), фразистый говорун, «с хорошо привешенным языком», способный пустить пыль в глаза подобием философствования в эстето-декадентских тонах, Анатолий Васильевич был самою природою предназначен на то, чтобы в университете быть кумиром студенческих сходок. А по университету получать какую-либо гуманитарную приват-доцентуру и в качестве либерального лектора с неопределенно социальным душком сделаться любимцем студентов и студенток первых семестров.

Царское правительство совершило великую глупость тем, что пустопорожнею ссылкою в Вологду и Тотьму отвлекло Луначарского от его природного назначения, свело его там с революционными действиями и дало, таким образом, ему возможность вообразить самого себя деятельным и ужасно опасным революционером. Полный сим самообольщением, очутился он за границею, в эмиграции, еще не определившимся

партийно. Да тогда и партий-то было две с половиной, и различия между ними были еще так зыбки, что на вопрос о разнице между большевиками и меньшевиками часто следовал шутливый ответ:

– Меньшевики – это которых больше, и они с Плехановым, а большевики – которых меньше, и они с Лениным.

В этом подготовительном периоде Луначарский вспоминается мне, по случайной встрече в Виареджио, премилым студентом-идеалистом, скромнейшего образа жизни, сытым более книжкою, чем обедом, и женатым на такой же милой студентке, Анне Александровне Малиновской, сестре известного марксиста Богданова. Никаким большевизмом от него не пахло. Он еще усердно «богостроительствовал», а в богоискательстве опять-таки колебался, – что ему: «богостроительствовать» ли с Мережковским или «богоборствовать» с Горьким и Андреевым? Богоборство, как известно, победило».

Прервем цитату Амфитеатрова (к ней мы еще вернемся) и поговорим о философских исканиях (и шатаниях) Анатолия Васильевича.

В тенетах богостроительства

В энциклопедическом словаре 1954 года сказано: «В годы столыпинской реакции примкнул к махистам, принадлежал к антибольшевистской группе «Вперед».

Группа «Вперед», возглавляемая Богдановым и к которой примыкал Луначарский, боролась с ленинской партийной школой в Лонжюмо за влияние на революционный процесс в России. Как отмечает О'Коннор Тимоти, профессор истории университета Северной Айовы (США), в своем очерке о Луначарском:

«Выдвинутая Луначарским идея богостроительства вносила дополнительный разброд в группу. Богостроительство обычно определяется как «религиозный атеизм», т. е. как попытка выразить марксизм посредством суррогата религии и дать альтернативу обещанному христианством вечному спасению праведников. Как модель большевистского утопизма богостроительство предлагало «войти в землю обетованную на земле», приняв социалистическое сознание. Это была не просто вульгарная попытка заменить утвержденную религию марксизмом. Это движение включало в себя целое мировоззрение и вместе с другими большевистскими утопическими идеями стремилось представить будущее коммунистическое общество, – то, чего не сумели сделать Маркс и Энгельс».

У истоков богостроительства стояли Луначарский и Максим Горький. Фундаментом стал двухтомный труд Луначарского «Религия и социализм». И снова обратимся к цитате американского профессора:

«Бог был искусственно создан человечеством, утверждал Луначарский, потому что люди были эмоционально неуверенны и чрезмерно озабочены своими собственными физическими возможностями. Он считал, что просвещение – это желанная цель самопознания, и в то же время, как и марксизм, это практическое средство для самореализации. Нельзя раскрыть бога, потому что его не существует, но бог должен появиться внутри каждой личности в процессе сознательного понимания безграничности человеческих сил. Согласно Луначарскому, «люди не созданы в образе бога, но бог создан в образе людей». Он полагал, что «необязательно искать бога», вместо этого «необходимо миру лишь дать бога» путем человеческого «триумфа в природе». По его представлениям, по-настоящему образованный человек – это не просто смертный, живущий короткий период времени, борясь за то, чтобы выжить, но это «борец-титан, напрягший все силы, чтобы изменить лицо земли», и в конечном итоге «богочеловек, создание, для которого, вероятно, и был создан мир и который будет управлять природой».

Эко, батенька, загнул! – как сказал бы Ленин. Луначарский упорно отстаивал идею коллективного бессмертия человечества, бессмертия коммунистического коллектива, но, увы, эти идеи не смогли заменить физическое воскрешение и вечную жизнь, которые предлагала христианская традиция.

Ленин подверг резкой критике приверженность Луначарского к богостроительству, и Анатолий Васильевич объявил об отказе от своих богостроительных идей. И тут нужно вернуться снова к Амфитеатрову.

«Противник мало-мальски сильный, стоящий на крепком фундаменте солидного знания, твердо и ясно убежденный, бил Луначарского быстро и легко. Плеханов чаще всего просто вышучивал «блаженного Анатолия»: таким прозвищем окрестил он своего ревностного оппонента за наивное политическое прекраснодушие и малоспособность к логической последовательности. Порою играл им, как кот с мышью, доводя до абсурда его опрометчиво рогатые силлогизмы, ловя его на грубых ошибках и фактах и демагогических отступлениях от исторической истины, дразня пристрастием к общим местам и к открытию давно открытых Америк.

Луначарский торопливо хватал верхушки знаний, не трудясь смотреть в корень, летел вперед, не оглядываясь на зады.

Плеханов острил, что «блаженный муж Анатолий» в марксизме напоминает дьячка, который жарит наизусть и подряд, и вразбивку по Часослову, но способен срезаться на азах».

Убийственная, надо сказать, характеристика. Это Плеханов. А как складывались отношения с Лениным?

Луначарский и Ленин

Они познакомились… впрочем, об этом рассказывал сам Анатолий Васильевич. Это было ранней весной 1904 года в Париже неподалеку от бульвара Сен-Жермен, где жил Луначарский. Ранним утром раздался стук в дверь.

«Я увидел перед собою незнакомого человека в кепке с чемоданом, поставленным около ног.

Взглянув на мое вопросительное лицо, человек ответил:

– Я Ленин. А поезд ужасно рано пришел.

– Да, – сказал я сконфуженно. – Моя жена спит. Давайте ваш чемодан. Мы оставим его здесь, а сами пойдем куда-нибудь выпить кофе.

– Кофе действительно адски хочется выпить. Не догадался сделать этого на вокзале, – сказал Ленин».

Они встретились. Понравились друг другу и подружились. Позднее Луначарский писал: «Какая это была прекрасная комбинация, когда тяжеловесные удары исторического меча, несокрушимой ленинской мысли сочетались с изящными взмахами дамасской сабли воинского отступления».

Многолетняя дружба Ленина и Луначарского сопровождалась горячими спорами и дискуссиями, и почти всегда Ильич выходил из них победителем, резко критикуя те или иные философские и политические ошибки Луначарского. В пух и прах разбил Ленин идеи Луначарского о богостроительстве. И в дальнейшем взгляды их подчас расходились. Так, Ленин выступал за национальное самоопределение, а Луначарский был его противником. Луначарский после Октября выступал за правительство, в которое входили бы все партии, представленные в Петроградском совете, однако Ленин был против этого: только большевики!..

Удивительно, что Луначарского, который никогда не был твердым большевиком, назначили в состав первого советского правительства. Эта инициатива исходила от Ленина. Он игнорировал имевшие место идеологические и политические разногласия и посчитал, что Луначарский – самая подходящая фигура на посту народного комиссара просвещения, так как «предпочитал энергичных и бодрых революционеров». В узком

кругу Ленин не раз говорил о Луначарском как о «по-настоящему блестящем и веселом человеке», который получал удовольствие, развлекая людей «остроумной беседой и анекдотами». Многие считали Луначарского даже «закадычным другом Ленина». Однако Владимир Ильич признавал, что хотя «французский блеск» Луначарского был «полезен большевикам», но он «не был полностью одним из них». То есть Ленин прагматически подходил к Луначарскому и использовал лучшие его качества по привлечению старой интеллигенции на сторону новой власти.

Самые большие разногласия между Лениным и Луначарским после революции были по поводу интеллигенции. Ильич ценил только технических и научных специалистов и подозрительно, если не сказать презрительно, относился к творческой интеллигенции, что ярко проявилось в печально знаменитой истории с «философским пароходом». Луначарский, напротив, ценил прежде всего писателей, художников и артистов.

И последнее. Луначарский искренне горевал по поводу смерти Ленина. И поддержал идею Красина забальзамировать тело Ильича и выставить его на обозрение и прощание народу. Луначарский вошел в комиссию по созданию первого мавзолея и таким образом как бы реализовал свою давнюю идею о человеке-боге.

И совсем последнее. Обширная переписка между Лениным и Луначарским была издана в 1971 году.

Жизнь за границей

С февраля 1907 года Луначарский жил в Италии. Особенно ему полюбилась Флоренция с ее многочисленными музеями и памятниками. В воспоминаниях Бориса Зайцева можно прочитать о Луначарском:

«Он любил Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но по-любительски и легковесно).

Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним заседали в разных ресторанчиках «Маренко» на Via Nationale, распивали кианти, он горячился и ораторствовал – теперь о флорентийской живописи. Пенсне прыгало на его носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен по этой части), потом кричал о Боттичелли. Единственно, что меня доезжал тогда, – многословием. Глаза осоловели у слушателя от усталости, а остановить его нет возможности.

Мы ходили вместе по Флоренции и раз очень весело и

смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно – на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверка и забавлялись как хотели».

Возможно, это был один из счастливых моментов в жизни Луначарского. На Капри его ждал удар, куда он приехал в 1909 году: смерть первого сына. Раздавленный горем Анатолий Васильевич, забыв про свой атеизм, сам отпел мальчика, прочитав над его гробом «Литургию красоты» Константина Бальмонта. Какие именно стихи из этого цикла читал Луначарский? «Проклятие человекам»?

> Мы человеки дней последних, как бледны в жизни мы своей!
> Как будто в мире нет рубинов, и нет цветов, и нет лучей…

Или: «Мир есть пропасть, ты есть пропасть, в этом свойстве вы сошлись…» Трудно сказать, какие именно строки выделил несчастный отец:

> А смерть возникнет в свой в черед, —
> Кто выйдет здесь, тот там войдет,
> У жизни множество дверей,
> И жизнь стремится все быстрей…

На Капри сошлись Максим Горький, Ленин, Луначарский и Богданов. Между ними шли ожесточенные споры, в том числе и по проблемам богостроительства. Весной 1911 года Луначарский переехал из Италии во Францию и оставался там до 1915 года. Снял квартиру в Париже. Погрузился в изучение европейского искусства и литературы. Вращался среди художников, стал постоянным посетителем знаменитого кафе «La Ruche» («Пчелиный улей»). Писал обзоры об искусстве, литературе и театре Западной Европы для различных русских газет. Разъезжал с лекциями по европейским городам и налаживал контакты с русской эмиграцией. В 1912 году выпустил сборник пьес «Идеи в масках», в котором отстаивал свою давнюю театральную идею о «театре быстрого действия, больших страстей, резких контрастов, цельных характеров, могучих страданий, высоких экстазов». Среди пьес Луначарского особенно выделялась «драма для чтения» – «Фауст и город». Ее стержнем была концепция «преодоления индивидуализма» и растворение личности в массе. Еще Луначарский пробовал свои литературные силы в жанрах

памфлета и фарса.

С конца 1915 года по апрель 1917-го Луначарский с семьей жил в Швейцарии, близ города Веве. Близко сошелся с Роменом Ролланом и швейцарским поэтом Шпиттелером, стихи которого он переводил. В Первую мировую войну Луначарский придерживался оборонческих взглядов, потом изменил их и стал критиковать сторонников оборончества, особенно Плеханова. Но все померкло, когда неожиданно для всех пал царский режим и наступил февраль 1917 года.

«И невозможное возможно в стране возможностей больших!» – как изрек Игорь Северянин.

Возвращение в Россию

Известие о Февральской революции «поразило его как громом», и Луначарский немедленно вступил в переписку и переговоры с Лениным. Считал большой «ошибкой» решение Ленина «ехать при согласии одной Германии безо всякой санкции из России». Ильич отправился с близкими соратниками в пресловутом пломбированном вагоне, а вслед за ним, оставив жену с сыном в Швейцарии, вторым поездом с группой политэмигрантов из Цюриха выехал Луначарский через Германию и скандинавские страны в Россию.

9 мая 1917 года Луначарский прибыл в Петроград. Он не был в России с января 1907 года и жутко соскучился по реальным делам. Поддержал требование большевиков «упразднить» Государственную Думу как организацию «наибольших реакционных элементов цензовой России» и Государственный Совет как «обломок черной реакции» и передать всю власть в руки трудовых классов народа. «Наш долг, – пламенно говорил Луначарский, – взять власть в свои руки, как бы безнадежно положение ни было. Пусть мы захлебнемся, пусть мы погибнем, мы будем апеллировать к истории и выполним свой долг».

1917 год – пассионарный год, все российские политики горели неугасимым огнем и стремились создать и совершить нечто новое и невиданное. В эти наполненные событиями дни и месяцы Луначарский тем не менее находил время и писал в Швейцарию жене подробнейшие письма о том, что делал, говорил и чувствовал (таких писем насчитывается боле 90, и не все они опубликованы).

Письмо от 5 июля: «…Мне пришлось солидаризироваться с большевиками, я произнес самую тактичную речь в их защиту… Но… они далеко не считаются с моими советами… Теперь

мужество заключается в том, чтобы просвещать массы и сдерживать их от чрезмерного напора, сравнительно легкого в Петрограде, но гибельного в целом… Большевики и Троцкий на словах соглашаются, но на деле уступают стихии. А за ними уступаю и я…»

В ночь на 23 июля Луначарского арестовали по обвинению Временного правительства в государственной измене и заключили в тюрьму «Кресты». В начале августа освободили, а 20-го числа Луначарского избрали гласным петроградской городской Думы, и он стал к тому же руководителем большевистской фракции. Не скрывая своего удовлетворения, Луначарский писал жене 23 августа: «…я действительно популярный вождь пролетарских масс. Быть может, ни одно имя, кроме Троцкого и Ленина, не пользуется такой популярностью и любовью…»

Из письма от 13 сентября:

«Работаю я вовсю. Последнюю неделю я выступал 4 раза на громадных собраниях с лекциями. Теперь моя нормальная аудитория – 4000 чел. Всякая зала, в которой я читаю, полна… Но главная работа – культурно-просветительская городская. Сегодня целый день объезжаю училища… Большую работу делаю я и по созыву конференции пролетарских просветительских обществ…»

25 сентября: «…Моя роль первой скрипки в культурно-просветительском деле получила широкое признание и среди большевиков, и в Советах вообще, и в Думе, и в пролетариате, и даже среди специалистов…»

Чувствуется, Анатолий Васильевич упоен своими успехами, еще бы: он избран заместителем петроградского Городского головы. Далее последовали и другие высокие посты и назначения. Казалось бы, работай и работай, просвещай серую массу рабочих и крестьян, ан нет: большевики задумали вооруженный переворот. И в Швейцарию, в Цюрих, летят обеспокоенные, тревожные письма:

«Положение России ужасно, и сердце болит все время за нее. С нею пропадем мы все» (2 октября).

«Озлобление против нас колоссально растет на правом полюсе… Растет страшное недовольство и в рабочей, солдатской, крестьянской среде, оно здесь пугает меня, и теперь много анархического, пугачевщинского. Эта серая масса, сейчас багрово-красная, может наделать больших жестокостей, а с другой стороны, вряд ли мы при зашедшей так далеко разрухе сможем, даже если власть перейдет в руки крайне левой, наладить сколько-нибудь жизнь страны. И тогда, вероятно, мы будем смыты той же волной отчаяния, которая вознесет нашу партию к

власти…»

18 октября (за неделю до вооруженного восстания): «Мы образовали нечто вроде блока правых большевиков: Каменев, Зиновьев, я, Рязанов и другие. Во главе левых стоят Ленин и Троцкий. У них – ЦК, а у нас все руководители отдельных работ: муниципальной, профсоюзной, фабрично-заводских комитетов, военной, советской…»

Приближался час пик. Луначарский с неохотою перешел на сторону Ленина, но еще лелеял надежду на созыв Учредительного собрания «при толковой оппозиции большевиков». Надежды Луначарского были разбиты вдребезги.

25 октября (7 ноября по новому стилю) большевики захватили власть. И Луначарский огласил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам», которое извещало о победе революции и переходе власти к Советам.

28 октября Луначарский спешит сообщить жене о том, как все произошло: «Для меня он (переворот. – *Ю. Б.*) был неожиданным… переворот был сюрпризом и со стороны легкости, с которым он был произведен. Даже враги говорят: «Лихо». Войска дисциплины не нарушают. Хотя в Зимнем дворце был все же погром и эксцессы (убийств не было), за которые страшно и тяжко нести ответственность… Как-никак, а жертв чрезвычайно мало пока. Пока. С ужасом думаю, не будет ли их больше».

И еще одна тревога: «Да, взять власть оказалось легко, но нести ее!» И обращение чисто личное: «Нюра, Нюра, я уже не прошу судьбу – увидеть вас, но хоть письма-то мои дошли бы до вас! Милые, дорогие, далекие!..»

29 октября – письмо на следующий день:

«Дорогая Нюрочка. Конечно, чем дальше, тем хуже. Положение тяжелое… Я пойду с товарищами по правительству до конца. Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать. Я отойду и буду ждать, что пошлет судьба… Лучше самая большая беда, чем великая вина…»

В следующем письме к Анне Малиновской: «Эксцессов пока никаких, им нет никаких шор. Но их я боюсь больше всего. Больше смерти! Погибнуть за нашу программу – достойно. Но прослыть виновником безобразий и насилий – ужасно… Целую вас, мои святые…»

Вулканическая деятельность

«Я – министр народного просвещения, или, как у нас установлено: народный комиссар», – из письма к жене.

А буквально через несколько дней 2 ноября Луначарский подал заявление о выходе из правительства, ввиду того, что не может работать под гнетом таких фактов, как разрушение Кремля, уничтожения соборов Успенского, Василия Блаженного и других исторических памятников. Потом выяснилось, что собор Сант-Базилио оказался невредим, и Луначарский после разговора с Лениным остался на своем посту. И предпринял громадные усилия по сохранению художественных культурно-исторических сокровищ и памятников. Многое удалось защитить и спасти. Но многое было и разрушено…

Еще одна задача стояла перед Луначарским: привлечь на сторону советской власти старую интеллигенцию. «Но какая ненависть против нас, боже, какая бездонная ненависть во всей обывательщине – у всех социалистов-соглашателей!» – жаловался нарком в одном из писем к жене. Большевиков ненавидели не только эсеры, кадеты и прочие политики, их не приняли многие деятели культуры и литературы, достаточно полистать «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус.

28 ноября 1917 года: «Тьма, морозный туман, красная озорь гикает…»

7 января 1918: «Шингарев был убит не наповал, два часа еще мучился, изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него выбиты зубы. Обоих застигли спящими в постелях…»

Полилась та кровь, которой так боялся Луначарский.

А теперь маленькая справка. Федор Кокошкин, профессор Московского университета, специалист права, входил в состав Временного правительства. На момент зверского убийства в Мариинской тюремной больнице Кокошкину было 46 лет. Андрей Шингарев, старше Кокошкина на 2 года, по профессии врач. После февраля 1917 года возглавлял Продовольственную комиссию. По мнению современников, был превосходным деловым министром – со знанием, с огромной энергией, с твердостью и авторитетом.

Но вернемся к дневнику Зинаиды Николаевны Гиппиус. 25 января 1918: «Пока нет начала света – предрекаю: напрасны кривлянья Луначарского, тщетны пошлые безумства Ленина, ни к чему все предательства Троцкого-Бронштейна, да и бесцельны все «социалистические» их декреты, хотя бы 10 лет они издавались 10 лет сидящими большевиками. Впрочем, 10 лет декреты издаваться наверно не будут, ибо гораздо раньше уничтожат физически все окружающее и всех людей. Это они могут».

И дальнейшая приписка: «Грабят сплошь. И убивают».

Запись от 14 апреля 1918 года: «В среду на Страстной – 1 мая по новому стилю. Владыки объявили «праздник своему народу».

Луначарский, этот изолгавшийся парикмахер, клянется, что устроит «из праздников праздник», красоту из красот. Будут возить по городу колесницы с кукишами (старый мир) и драконов (новый мир, советская коммуна). Потом кукиши сожгут, а драконов будут венчать. Футуристы воспламенились, жадно мажут плакаты. Луначарский обещает еще «свержение болванов» – старых памятников. Уже целятся на скульптуру барона Клодта на Мариинской площади (памятник Николаю I)».

14 октября 1918: «В Гороховой «чрезвычайке» орудуют женщины (Стасова, Яковлева), а потому царствует особенная – упрямая и тупая, – жестокость. Даже Луначарский с ней борется, и тщетно: только плачет (буквально, слезами)».

22 октября Гиппиус, комментируя слух об убийстве Василия Розанова, «русского Ницше», восклицала: «Я не хочу верить, но ведь все возможно в нашем «культурном раю», г-да Горькие и Луначарские!..»

В одной из записей «Черной тетради» Зинаида Николаевна припечатала Марию Андрееву: «Эта истерическая особа, жена Горького, которая работает с Луначарским: «Ах, я с удовольствием… И вечер устрою…»

Если записи у Зинаиды Гиппиус полны сарказма, то в дневнике Корнея Чуковского касательно Луначарского присутствуют мягкий юмор и ирония. Вот некоторые записи:

14 февраля 1918 года: «У Луначарского. Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребенка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-нибудь, сделать одолжение – для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо – источающее на всех благодать: – Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны, – и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно – и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать. Живет он в доме Армии и Флота – в паршивенькой квартирке – наискосок от дома Мурузи, по гнусной лестнице. На двери бумага: «Здесь приема нет. Прием тогда-то от такого-то часа в Зимнем Дворце, тогда-то в Министерстве просвещения и т. д.» Но публика на бумажку никакого внимания, – так и прет к нему в двери, – и артисты Императорских театров, и бывшие эмигранты, и прожектеры, и срыватели легкой деньги, и милые поэты из народа, и чиновники, и солдаты – все – к ужасу его сварливой служанки, которая громко бушует при каждом новом звонке. «Ведь написано». И тут же бегает его сынок Тотоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-

русски, все по-французски, и министериабельно – простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле.

При мне пришел фотограф – и принес Луначарскому образцы своих изделий – «Гениально!» – залепетал Л. и позвал жену полюбоваться. Фотограф пригласил его к себе в студию. «Непременно приду, с восторгом». Фотограф шепнул мадам: «А мы ему сделаем сюрприз. Вы заезжайте ко мне пораньше, и, когда он приедет, – я поднесу ему Ваш портрет… приезжайте с ребеночком, – уй, какое цацеле…»

В министерстве просвещения Луначарский запаздывает на приемы, заговорится с кем-нибудь одним, а остальные жди по часам. Портрет царя у него в кабинете – из либерализма – не завешен. Вызывает посетителей по двое. Сажает их по обеим сторонам. И покуда говорит с одним, другому предоставляется восхищаться государственной мудростью Анатолия Васильевича… Кокетство наивное и безобидное…»

15 октября 1918. «…Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего…»

И далее запись того же дня: «…Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».

9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

На склоне лет Корней Иванович вспоминал о давно умершем наркоме: «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры – был образованный человек» (12 апреля 1965).

В образованности и даже в энциклопедичности знаний Луначарскому не откажешь. Он многое знал и многое успел сделать. Он пересмотрел практически все наследство русской литературы. Творчество Пушкина и Лермонтова, Некрасова и

Островского, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Брюсова нашло себе оценку в его статьях и в книге «Литературные силуэты» (1923).

Луначарский осаживал футуристов в их стремлении сбросить классиков с «корабля современности». В 1918 носился с идеей учредить Академию Искусств, параллельно создать Вольную Философскую академию (сокращенно: Вольфил), Вольную «скифскую академию» с привлечением лучших интеллектуальных сил России. Проектов было много, но не все удалось воплотить. Был создан и активно функционировал, пожалуй, лишь ТЕО – театральное управление. Но настоящих помощников у наркома было мало, очень многие не хотели сотрудничать с советской властью и всяческими путями пытались эмигрировать из России. Оставались единицы, Валерий Брюсов, к примеру. Еще Александр Бенуа, о котором Зинаида Гиппиус отозвалась так: «С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден…»

Водится с Луначарским – это что-то неприличное для старой интеллигенции. И о горьковской жене та же Гиппиус, о «дублюре»: «Знаменитая Мария Федоровна Андреева, которая «ах, искусство!» и потому всячески дружит и работает с Луначарским» («Черная тетрадь» 4 декабря 1917).

Но Луначарский, преодолевая критику, саботаж, недоверие, все же пытался возродить культурную жизнь в стране. В Москве, на Поварской, в «доме Ростовых» стал функционировать Дворец Искусств, задача которого была сформулирована так: «Развитие и процветание научного и художественного творчества, объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения условий труда и быта». Луначарский не только курировал Дворец Искусств, но часто выступал в нем с лекциями и чтением своих произведений. В Белом зале Дворца проводились доклады-митинги, вечера-митинги, диспуты. Кипела жизнь и в петроградском Доме литераторов (Бассейная, 11).

Об этом интеллектуальном кипении и бурлении скептически писал Александр Амфитеатров:

«Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс. Внутри же страны все эти – «Дом ученых», «Дом искусств», «Всемирная литература» – содействуют, в сущностве своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нащупывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном

режиме обстоятельств, не выдержали характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической истерией».

И горький вздох Амфитеатрова: «Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации».

И еще одна важная деталь: «Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя Гринберга был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу и, если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат…»

Надо сказать о судьбе Захария Гринберга. После отставки Луначарского он работал в Институте мировой литературы. Был репрессирован в начале антисемитской кампании «борьбы с космополитами» и погиб в 1949 году в возрасте 60 лет.

Большая заслуга Луначарского состояла в открытии Пушкинского дома (20 апреля 1918), который вскоре превратился в Институт новой русской литературы, и три года директорствовал в нем Луначарский. Институт сделал много полезных дел и в пропаганде пушкинского наследия, и в изучении древнерусской литературы, в частности «Слова о полку Игореве».

А спасение музея Бахрушина в 1918 году, когда здание подверглось обстрелу и разорению, и тогда Луначарский распорядился дать музею охрану из взвода латышей, этих «советских швейцарцев», и тем самым сохранили бесценные реликвии, собранные Бахрушиным, правда, не все, но какую-то все же часть.

Благие дела Анатолия Васильевича можно перечислять и перечислять, но все равно в глазах многих российских интеллектуалов он виделся лишь в образе большевистского злодея. Михаил Кузмин записывал в дневнике: «Ведь это все призраки – и Луначарский и красноармейцы, этому нет места в природе, и все это чувствуют. Какой ужасный сон». (12 ноября 1918).

А тем временем Луначарский являлся не губителем русской культуры, как многим казалось, а ее спасителем. Горячий поклонник театра Денис Лешков в своих записях отмечал, что к 1919 году «от русского балета остались одни ошметки, осколки расколоченной некогда роскошный вазы, которые «героически боролись в холодном нетопленом театре за флотские пайки держать знамя не понятного никому искусства, а оно увядало, как неполитый цветок». Как ни старался Луначарский усматривать в нем возможности грандиозных ритмически согласованных

праздничных революционных шествий – из этого вышел такой «Красный вихрь», от которого так тошнило и артистов и зрителей, что балет потерял и последнее свое основание – форму. Совершенно то же явление наблюдалось и в опере и даже в драме…»

А что было с печатью? На второй день октябрьского переворота 27 октября 17-го был издан декрет о печати за подписью Ленина, готовил Луначарский – декрет осуждал вред, наносимый «контрреволюционной печатью» и вводил «временные и экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы». Временные оказались постоянными. После декрета Луначарский не раз печалился и тревожился по поводу нападок и запрещения не только буржуазных, но и социалистических газет, «некоторых закрытий и арестов». Как бы то ни было, но после декрета свобода печати была схвачена за горло.

Необходимо хотя бы немного сказать о реформе в области образования. Обратимся к воспоминаниям современника (М. Стоюнина. Исторический альманах «Минувшее». 7 – 1992):

«После большевистской революции Советское правительство приняло меры, разрушающие и семью и среднюю школу. Деятельность комиссара народного образования Луначарского открылась воззванием к учащимся, напечатанным в газетах. Сущность его заключалась в словах: не слушайтесь ваших родителей, не слушайтесь педагогов, ваших наставников. Влияние семьи вредно отражается на школе, его нужно парализовать, детей отдалить от родителей, а также и от влияния педагогов, не способных воспринять новые идеи…»

Делалось все, чтобы разложить старую школу и усиленно насадить в нее коммунизм.

Леонид Андреев в письме к Павлу Милюкову 26 июля 1919 года: «…действительно, все разрушено, и мне страшно подумать, что, например, представляет собою теперешняя молодежь из школ Луначарского: какая пустота, какая мерзость душевная, какой тлен! И прежде Россия была бедна интеллигенцией, а теперь нас ждет такая духовная нищета, сравнительно с бедствиями которой экономическая разруха и голод являются только наименьшим злом. Внешне нам могут помочь иностранцы, а кто спасет нас изнутри? Только энергетическая работа всех оставшихся и хранящих традиции русской культуры может спасти народ и страну от окончательной гибели».

Луначарский бился за новую школу, «объединенную рабочую школу», как ее называли, которая обеспечивала обязательное, общее для мальчиков и девочек, свободное и светское обучение. Более того, он требовал, чтобы новая школа давала

политехническое образование. И еще Луначарский боролся за введение широкой учебной программы, в которой были даны основы знаний в культурной и научной сферах. Луначарский полагал, что сначала нужно впитать в себя культурное наследие прошлого, а уж потом непременно должна появиться пролетарская культура.

В 1925 году Луначарский заявил: «Мы можем сказать, что достижение права на просвещение было главной, центральной целью революции. Революция была борьбой масс за право на просвещение». Это было продекларировано на Всесоюзном празднике науки.

Но так считал романтик от просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. А у подлинных вождей революции были иные задачи и цели: сначала мировая революция, потом победа в Гражданской войне, индустриализация и коллективизация, и уже при Сталине – создание советской империи. Империи зла, как скажут позднее на Западе.

Позитивы и негативы

Необходимо вспомнить и такой эпизод из жизни и деятельности Луначарского, как тайный переезд советского правительства из Петрограда в Москву. На совещании большевистских лидеров, где решался этот вопрос, Луначарский был единственным, кто не захотел покидать столицу на Неве и заявил, что он нужен именно в Петрограде. Он и остался примерно на год в Питере (вместе с Зиновьевым), а Наркомпросом в Москве руководил его заместитель, историк Михаил Покровский.

К Луначарскому шли толпами. Просили. Умоляли. Требовали. Кому что надо: искали защиты, покровительства, содействия, работы. Хотели получить от наркома продовольственного пайка, дров, бумаги, разрешения на издания книги, постановки пьесы, визы на выезд из страны… И он, как правило, содействовал, помогал, разрешал, или, как мы говорим сегодня, разруливал ситуацию.

Среди тех, кому помог выехать из России, был Вячеслав Иванов. Его Луначарский отпустил под обещание, что за границей он не будет печататься в антисоветских изданиях. Помог уехать Ивану Шмелеву. Писатель признавался в письме к Вересаеву: «Москва для меня – пустое место. Москва для меня – воспоминания счастья прошлого… Зачем я России? Я иждивенец, приживальщик, паечник… т. е. дармоед. А вне России? Я, может,

буду там на черной работе где, но я буду другой. Я найду силы стать писателем…»

Вот, к примеру, подлинное удостоверение:

«Настоящим удостоверяю, что Народный Комиссар по Просвещению находит вполне целесообразным дать разрешение писателю Алексею Ремизову временно выехать из России для поправки здоровья и приведения в порядок своих литературных дел, т. к. сочинения издаются сейчас за границей вне поля его непосредственного участия.

Нарком по просвещению А. Луначарский».

7 августа 1921 Ремизов с женой покинул Россию… А до этого Ремизов подвергся аресту ЧК и был освобожден лишь благодаря заступничеству все того же Луначарского. «А когда я «по недоразумению» попал на Гороховскую (дело о восстании левых с.-р., сами посудите, какой же я «повстанец»), первые слова, какими встретил меня следователь: «Что это у вас с Луначарским, с утра звонит?» И я робко ответил: «Старый товарищ», – так писал Ремизов в книге «Иверень».

В 1919 году был подвергнут аресту знаменитый театральный критик, публицист, журналист Александр Кугель («Гейне из Мозыря», – как его кто-то назвал). Близкие Кугеля бросились к Марии Андреевой его спасать, а она: «В первый раз слышу эту фамилию. Кугель… А чем он так знаменит?» Поэтесса и журналистка Августа Даманская вспоминает: «К счастью, вечером того же дня вернулся из Петербурга куда-то уезжавший Луначарский и, узнав об аресте Кугеля, поехал в тюрьму, извлек его оттуда и в своем автомобиле доставил домой».

Таких историй благополучного вызволения из лап ЧК было немало. Хотя были и другие примеры.

Возьмем воспоминания Мины Свирской (легендарная женщина, которую первый раз арестовали в марте 1921 года, в общей сложности она провела, с перерывами, в тюрьме, лагере, ссылке около 25 лет). Она рассказывала о том, как в день похорон Петра Кропоткина вечером в Плехановском институте состоялся доклад Луначарского о международном и внутреннем положении страны. Свирская пишет:

«Переполненная аудитория, прежде чем предоставить слово Луначарскому, потребовала от него гарантии свободы слова и личности выступающих. Луначарский заверил аудиторию своим «честным словом» и заявил, что ни один из выступающих не будет арестован…»

И что же? По выходе из зала несколько выступающих резко и оппозиционно были арестованы агентами ЧК. Свирская бросилась

к Луначарскому, он ответил: «Будьте спокойны, вы не успеете доехать до дома, как они будут освобождены». Но шли не часы, а дни, и друзья мои оставались в Бутырках. Снова я добилась встречи с Луначарским. Узнав от меня, о чем идет речь, он весь съежился, как от удара, и пробормотал:

– Ну, что я могу поделать».

Эта история быстро облетела многих, и кто-то сказал Свирской: «Нашли кому поверить! Луначарскому! Эх, поверили Луначарскому!»

Что сказать сегодня по данному эпизоду? Луначарский был силен, но не всесилен. Иногда ведомство Дзержинского к его мнению прислушивалось, а иногда просто игнорировало, подумаешь, наркомпросвещатель!..

Другое дело: культура. Тут Луначарский многое мог делать и делал. Именно он организовал приезд в молодую советскую республику Айседоры Дункан: еще бы, танцевала на сцене с красным флагом в руке. Ей отвели особняк на Пречистенке, где Дункан открыла школу пластики для пролетарских детей. Еще Луначарский способствовал открытию летом 1919 года в Москве института «Ритмического воспитания». Он просуществовал до апреля 1924 года. Возникла и Ассоциация педагогов-ритмистов, почетным председателем был избран Луначарский. 1 февраля 1920 года состоялся вечер, посвященный первому выпуску института, и, конечно, на нем присутствовал Луначарский.

Но все же главным для Луначарского, как наркома и литератора, оставалась литература. Он руководил литературным процессом и сам в нем активно участвовал как автор. Луначарский был застрельщиком классового пролетарского культурного строительства, но при этом был противником тотального контроля над литературой. Он говорил: «Государство может пресекать вообще контрреволюционное, но заявлять: ему не нравятся такие-то краски, такое-то сочетание слов, такое-то направление в искусстве – культурное государство не смеет».

Однако декларированные слова – одно, а практика – совсем иное. С классовой позицией Луначарского многие писатели и деятели культуры были категорически не согласны. 2 ноября 1918 года Михаил Чехов написал Луначарскому письмо-кредо, в котором утверждал, что искусство – не агитка, а «тайна недоговоренности». Владимир Короленко в письме к наркому просвещения отмечал, что «русская литература, и притом вся она, без различия партий, оттенков и направлений – не с вами, а против вас».

То есть сопротивление было большое, и Луначарский пытался его преодолевать, подчас искусно лавируя между требованиями

партии и творческим духом старой интеллигенции. Он много выступал, писал предисловия к различным книгам, не случайно пародист Александр Архангельский сочинил на него эпиграмму:

О нем не повторю чужих острот.
Пускай моя звучит свежо и ново:
Родился предисловием вперед
И произнес вступительное слово.

Луначарский был легок на подъем. В Гражданскую войну мотался по фронтам и выступал как комиссар-пропагандист. В послевоенное время старался быть почти на всех главных мероприятиях: на открытии памятника, на премьере в театре, на каком-нибудь юбилейном заседании… в консерватории… на кинофабрике… Он любил посещать мастерские художников, репетиционные театральные залы… У него не было границы между буднями и праздниками, он работал без выходных. И выступал, выступал…

Публичные выступления были коньком Луначарского. Без всяких затруднений, легко и со знанием дела, он мог прочесть лекцию о Бетховене или Вагнере, обсудить последние достижения в медицине или выдвинуть свою неожиданную теорию в области океанографии. Современники считали, что говорить речи – вообще единственное, на что способен нарком просвещения.

Из воспоминаний партработника Михаила Францева: «В 1919 году пришлось мне один-единственный раз быть у Луначарского на приеме в Наркомпросе. Беседа продолжалась полчаса… Лет через 6–7 встретился я с ним на какой-то конференции. Подхожу: «Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Вы, конечно, меня не помните. Я…» Но тут он меня прерывает, кладет руку на плечо. «Постойте, постойте, не говорите, я вспомню». Анатолий Васильевич смотрит мне в глаза и медленно говорит: «Ваша фамилия Францев. Зовут вас… Михаил Михайлович… Стойте, стойте. Вы заведовали Курским губоно. Вы были у меня с докладом в 1919 году».

Я стоял перед ним, раскрыв рот от удивления. Боже мой, какая же память у человека. Фотографическая! А Луначарский, очень довольный, посмеиваясь, стал напоминать, о чем мы говорили, что я просил в Наркомпросе и как потом был решен вопрос на коллегии. Я уже ничего не помнил. А он помнил, хотя в тот день у него наверняка были десятки встреч, разговоров, выступления и другие дела».

Рассказывает работник «Вечерней Москвы» Федор Левин. 2 мая 1932 года умер известный критик Петр Коган. Фирсов

звонит Луначарскому: «Да, внезапно… Нам нужен некролог. Если мы получим его через час, то успеем дать в сегодняшнем номере газеты. Может быть, вы напишете. Мы пришлем к вам за ним. Что? Что? Хорошо, Анатолий Васильевич! Сейчас!» А далее Луначарский с ходу в телефонную трубку наговорил текст. Работники «Вечерки» ахнули: «Какой человек! Ему надо уже было уезжать, он задержал машину. А память, какая память!» Действительно, Луначарский вспомнил все: дату и место рождения Когана, его образование, перечислил все основные труды и заключил все собственной характеристикой.

В том же 1932 году Луначарский сменил на посту главного редактора Владимира Фриче и с 6-го номера повел Литературную энциклопедию. Он и в редакции поражал всех своими знаниями и памятью. Никто не мог вспомнить, к примеру, какого-нибудь французского поэта XVII века, а он его знал, читал, помнил. Помощь Луначарского всегда была бесценна.

У Эдварда Радзинского есть рассказ. Руководитель культуры РСФСР некто Козлов попадает в мастерскую скульптора, который изобразил скорбящую мать в беззвучном вопле.

«– Добре, добре… – сказал Козлов, обошел мемориал. – Все добре… Но чего эта она у вас так орет?

– Она зовет Луначарского! – ответил скульптор.

– Не понял? – сказал Козлов. Он действительно не понял…»

Давно нет Анатолия Васильевича, и никто не способен ничего объяснить в культуре и искусстве. «На редкость богато одаренная натура…» – выразился о Луначарском однажды Ленин.

Кстати, вспомним и ответный реверанс. Луначарский однажды как-то признался своей второй жене Розенель: «Извини, Наташа, но главный человек в моей жизни – Ильич…» Но тут же спохватился и добавил: «Но тебя я тоже люблю».

Это отношение к Ленину. А как складывались у Луначарского отношения с другими известными людьми? К примеру, с Горьким? Тоже сложно и неоднозначно. Вместе занимались богостроительством. После революции верховодили в советской литературе. Из воспоминаний Ивана Гронского, главного редактора «Известий», «Нового мира», «Красной нови», председателя Оргкомитета Союза советских писателей:

«Алексей Максимович относился к Луначарскому чрезвычайно тепло и считался с ним.

Луначарский был энциклопедически образованный человек, талантлив был до одурения, блестящий оратор, блестящий публицист и прекрасный собеседник, человек потрясающей одаренности. К сожалению, в политике он часто сбивался, сдавали нервы, и, может быть, этой своей чертой он тоже

несколько импонировал Горькому, так как Горький также сбивался в политике и при трудных событиях немножко нервничал.

Вот эти колебания Анатолия Васильевича, чрезмерная мягкость разделялись Горьким. Горький относился чрезвычайно мягко к людям, даже к людям, враждебно настроенным к советской власти, за что его в свое время выбранил Сталин…» (Минувшее, 10 – 1992).

Максим Горький, признавая большие способности Луначарского, все же считал, что в нем «слишком много от книжного червя». Удивляло Горького в Луначарском и то, что не употреблял «непечатных выражений», что было «общей практикой» в среде большевиков и писателей. Возможно, вовсе не случайно Луначарский оставил исследование о Климе Самгине, что-то в этом горьковском образе привлекало Анатолия Васильевича. Может быть, смятение перед большевистским напором и жестокостью?..

Луначарский и Маяковский. Симпатии и разногласия, Маяковский учил диалектику не по Гегелю, а Луначарский по Гегелю и другим классикам философии. Но когда нарком и поэт сходились за бильярдным столом, Анатолий Васильевич неизменно говорил:

– Ну, Володя, вы меня сейчас разделаете под орех.

– Я не деревообделочник, – шутливо в своей манере отвечал Маяковский.

Короткая выдержка из воспоминаний Давида Бурлюка, относящаяся к 1918 году: «Луначарский побывал у нас и указал, как много, выпукло, ярко итальянец Маринетти и Ко сделали и… как бледны и неопределенны мы – русские футуристы. Маяковский отвечал покладисто…»

Луначарский и Владимир Короленко. Второй был возмущен «диктатурой штыка», проявившейся ярко в 1920 году: «Мы, как государство, консервативны только в зле. Чуть забрезжит что-то новое, получше, гуманнее, справедливее, и тотчас гаснет. Приходит «новый курс» и отбрасывает нас к Иоанну Грозному…»

В истории остались письма Короленко к Луначарскому, датированные 1920 годом. В них крик и боль души Владимира Галактионовича. Вот только одна выдержка, касательная свободы мысли: «Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже самые неразумные. Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего…»

Короленко апеллировал к Луначарскому, но от него практически ничего не зависело. Он-то был гуманист чистой воды, да кремлевские вожди были совсем другого разлива.

Однако пойдем дальше. Луначарский и Шаляпин. Луначарского крайне возмущала аполитичность русского гения, все его циничные заявления, что ему все равно, кто там у власти, лишь бы жратва была. Их хорошие отношения кончились тем, что в 1927 году Шаляпина лишили звания Народного артиста республики. И Луначарский объяснил в «Красной газете» за что: «в связи с политически ненормальным поведением…» Мол, нельзя быть враждебным к советской власти.

Луначарский и Мейерхольд. О Всеволоде Эмильевиче можно найти прелюбопытный пассаж в мемуарах Виктора Ардова: «Он был в общем-то человеком не от мира сего. То он задумал занять место Луначарского и стал вести интриги, чтобы его назначили наркомом. Это была совершенно бессмысленная затея, которая кончилась тем, что Луначарский в порядке мести отнял у него театр…» Потом театр был возвращен. В дальнейшем Луначарский осудил спектакль Мейерхольда «Великодушный рогоносец», посчитав постановку режиссера возмутительной, что лично ему наплевали этой постановкой в душу.

О Луначарском Ардов попутно заметил, что он «человек добрый и добропорядочный». Но были, разумеется, и другие мнения и оценки. Бунин назвал Луначарского «гадиной». Кто-то – «хлыщ». Михаил Кузмин – «балалайкой». Эренбург – «эстетом от Совдепии», Марк Алданов – «феноменальным пошляком».

Припечатал Луначарского и Викентий Вересаев в своих «Литературных воспоминаниях»:

«Луначарский – это захлебывающаяся самовлюбленность. Он тщеславен, как маленький ребенок, не сомневающийся, что он – самое великолепное существо во всем мире и что все в душе убеждены в том же. Поэтому не устает говорить о себе и восхвалять себя, поэтому мелко и злобно мстителен за всякий неблагоприятный отзыв о нем: если кто-нибудь его не хвалит, то, очевидно, что-нибудь имеет против него. Совершенно не чувствует, как бывает часто смешон».

Зубодробительно, да? Можно после таких слов и стреляться. Но все эти вересаевские инвективы, конечно, очень субъективны и продиктованы какими-то последствиями контактов с Луначарским, возможно, какими-то запретами наркома. Не будем гадать. Лучше приведем другую выдержку из воспоминаний Исаака Ямпольского, профессора Ленинградского университета, историка литературы. В 1931 году его в «Европейскую гостиницу» пригласил дальний родственник, литературовед Александр Дейч:

«…Скоро в номер зашли Луначарский и Н. А. Розенель, с которыми Дейч меня познакомил. Розенель тут же испарилась, отправилась по каким-то своим делам, а Луначарский сказал: «Что же мы будем сидеть здесь, посидим лучше в ресторане». В ресторане (где-то сбоку, не на виду) мы были довольно долго. Я, разумеется, все больше слушал, а говорил и рассказывал Луначарский, говорил живо, остроумно, упоминая о разных московских деятелях, преимущественно театральных, давая всем лаконичные и яркие характеристики… Но меня поразило вот что. Я был для Луначарского совершенно неведомым молодым человеком, о котором он ровно ничего не слышал. Однако ни одним словом, ни одной интонацией он не показал той дистанции, которая разделяет его, многолетнего наркома просвещения, всем известного публициста и критика, и меня, начинающего историка литературы. В этом проявилась удивившая меня высшая интеллигентность Луначарского, увы, встречается довольно редко даже у бесспорно интеллигентных людей, которые не могут удержаться от того, чтобы не показать свое превосходство».

Так каким был на самом деле Луначарский?

В том же 1931 году русский язык обогатился новым словом: «лишенец», то есть человек, лишенный продовольственного пайка. Таким лишенцем стал и… Константин Сергеевич Станиславский. До тех пор пока Луначарский, поняв всю глупость ситуации, не привез великому реформатору театра с извинениями хлебную карточку – как символ реабилитации. А скольких ранее, в 20-е годы, известных людей Луначарский спас от голода. Многим выхлопатывал визу на отъезд за границу, чтобы там «подкормиться», – об этом рассказывает Нина Берберова в своей книге «Курсив мой» и в скобках добавляет: «Спасибо Анатолию Васильевичу!»

Так самовлюбленный или гуманный по отношению к ближним человек?..

И для равновесия еще один негатив. Про Луначарского ходило среди прочего и такое воспоминание, очень похожее на мифологическое. Вот оно:

Как-то раз один из старых друзей Анны Ахматовой пригласил ее к себе. Одновременно в гости ожидался тогда пролетарский вельможа Луначарский. Встреча была задумана с тайным желанием помочь писательнице восстановить старые связи, так как когда-то, до коммунистической революции, Ахматова и Луначарский встречались в литературных салонах.

Он вошел важный и толстый. И когда ему представили поэтессу, изобразил на своем жирном лице рассеянное

равнодушие. И небрежно уронил:

– Мы, кажется, знакомы?

Перед ним сидела худощавая стройная женщина, с таким тонким, одухотворенным лицом, которое, увидев один раз, никогда не забудешь. Она спокойно подала ему узкую, красивую руку и очень вежливо ответила:

– Не припомню.

В тайниках души хозяин и гости были восхищены ответом Ахматовой, но план хозяина был разрушен.

Автор приведенного рассказа явно развел Ахматову и Луначарского по разным сторонам: ее в сторону благородства, его – в сторону низости и надменности.

Луначарский как литератор

Он писал стихи, пьесы, прозу, но при этом трудно назвать Анатолия Васильевича поэтом, драматургом и писателем. Скорее всего для него подходит слово «литератор». В принципе тоже вполне благодостойное определение. Он написал чрезмерно много. Много и мусора, но среди него можно обнаружить и оригинальные находки, и литературные блестки. Вот, к примеру. Отрывок из поэмы «Концерт»:

…Наймись в рабы, наймись в шуты,
Чтоб черт побрал излишних!
Служи, шути – тили-ти-ти!..
Ты – для других, бесправен ты,
Лакей животных пышных.
Тили-ти-ти, тили-бум-бум,
Тили-на-на, тили-ла-ла!
Да здравствует базарный шум!

Базарный шум – это что? Предвидение России конца XX – начала XXI века? И там же, в той далекой поэме:

Все продается. Пламя дум,
Возвышенное чувство.
Изволь продать – тили-бум-бум!
И превращай в шурум-бурум
Науку и искусство!..

Лихо, Анатолий Васильевич, лихо. В работе «Основы

позитивной эстетики» (1923) Луначарский писал: «Творческий процесс – счастливая, свободная игра духовных и физических сил творца». Значит, шурум-бурум? Этого шурум-бурума Луначарский много произвел сам, особенно в своих пьесах, которые он называл «драмолеттами», где фарсовые мотивы переплетаются с приемами философской пьесы. Всего таких одноактных пьес Луначарский написал около 20, а первую – «Королевский брадобрей» – в петроградской тюрьме в 1906 году. Неоконченной оказалась трилогия о Фоме Кампанелле.

Цитируемый ранее Денис Лешков вспоминал: «В драме начались постановки графоманического А. В. Луначарского: «Фауст и Город», «Канцлер и Слесарь», «Королевский брадобрей», «Яд» и «Бархат и лохмотья». Про последнюю пьесу в Москве сложили не лишенное остроумия четверостишие:

Нарком, сбирая рублики,
Стреляет прямо в цель.
Лохмотья дарит публике,
А бархат – Розенель.

Вся «революционность» этого цикла пьес заключалась по преимуществу в их крайней несценичности…»

Но их ставили. Автор – нарком: куда денешься… Это герой комедии Луначарского «Другой климат» (1926) жаловался на редактора: «Что же, Павел Иванович, с голоду мне помирать? Напишу талантливо – вы говорите: неблагонамеренно. Напишу благонамеренно – вы говорите неталантливо…»

Сам Луначарский, видимо, считал, что он пишет талантливо и благонамеренно, тем более что он был одним из тех, кто устанавливал правила игры.

Александр Блок в письме к Нувелю отмечал, что, знакомясь со сборником «Знания», многих не хочется читать и… «помилуй Бог, Луначарского».

Леопольд Авербах, весьма прыткий молодой человек, редактор журнала «На литературном посту» и генеральный секретарь РАППа, говорил Луначарскому прилюдно: «Мы вас ценим, но пьес ваших не любим. Бросьте эту пустую затею…»

Луначарский бросить не мог, ибо возглавлял Союз революционных драматургов. Да к тому же признавался, что пишет исключительно потому… впрочем, лучше приведем его слова точно: «Я просто хотел забыться и уйти в царство чистых образов и чистых идей». В подтексте читалось: устал от борьбы и революции.

Одним из яростных критиков Луначарского был писатель

Марк Алданов. Он неистовствовал: «Этот человек, живое воплощение бездарности в России, просматривает, разрешает, запрещает произведения Канта, Спинозы, Льва Толстого, отечески отмечает, что можно, чего нельзя. Пьесы г. Луначарского идут в государственных театрах, и, чтобы не лишиться куска хлеба, старики, знаменитые актеры, создавшие некогда «Власть тьмы», играют дево-мальчиков со страусами, разучивают и декларируют «гррр-авау-пхоф-бх» и «эй-ай-лью-лью…»

Алданов написал в 1926 году пространную статью о Луначарском и в ней, можно сказать, уничтожил этого, по его словам, «утонченного большевицкого эстета». В статье Алданов припомнил Луначарскому Ленина:

«Все в Ленине нравилось г. Луначарскому: «Его гнев тоже необыкновенно мил. Несмотря на то, что от грозы его действительно в последнее время могли гибнуть десятки людей, а может быть, и сотни, он всегда господствует над своими негодованием, и оно имеет почти шутливую форму. Этот гром, «как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Полагаю, что на этом изображении Ленина, который так необыкновенно мил, в почти шутливой форме, резвясь и играя, умел губить десятки и сотни людей, можно составить политическую характеристику г. Луначарского. Да в ней собственно надобности нет: ведь главная прелесть тепличного растения, как сказано, заключается в его драматическом творчестве».

А далее Алданов по косточкам разбирает пьесу Луначарского «Канцлер и Слесарь», где среди героев действует графиня Митси, «очень шикарная женщина», и она изъяснятся следующим образом:

«Боже мой, как мне хочется танцевать! Не надоевшие танцы, не танго даже, а безумие любви перед глазами смерти. Вот! Чтобы сидела смерть с пустыми глазами, а мне, обнаженной, объяснять бы ей без слов, что такое упоение страсти… Радефи, сыграйте какой-нибудь сверхдемонический вальс».

А вот еще графиня Лара: «Конечно, смерть – это ужасно интересно. Я никому не советую жизнь жить. Мне 19 лет, но я уже не могу ждать неизведанного. Все слишком прозаично. Хочется другой земли и другого неба».

«Пьесы г. Луначарского, – пишет далее Алданов, – редко называются просто пьесами. Обычно они носят название «мистерий», «драматических сказок», «драматических элегий», «идей в масках» и т. д. Действия этих шикарных произведений происходят в местах, исполненных крайней поэзии, главным образом в готических замках с самыми шикарными названиями…»

Откуда такая тяга к фантазиям и шикарности? Алданов приводит слова Луначарского: «Одним из оснований моего решения издать эту книжечку была надежда, что, может быть, чтение ее доставит также кое-кому тень того сладкого и глубокого отдыха, который доставило мне ее сочинение».

Алданов отрицал такой посыл как ложный. Но, возможно, Луначарский был по-своему прав, создавая свои шикарные пьесы с красивыми графинями, ибо отчетливо понимал, что «история совершается и еще долго будет совершаться среди крови и слез. Изменить это положение вещей никто не в состоянии» (статья «От Спинозы до Маркса», 1925). А раз так, то необходим отдых, забвение, «целебный курорт».

Создавая иллюзорные или иллюзионные пьесы, Луначарский тем не выдвинул лозунг «Назад к Островскому», к сугубо реалистическим пьесам, драмам и комедиям, когда «Бедность – не порок» и когда «Правда – хорошо, а счастье лучше».

В 1927 году в Советский Союз приехал как бы на разведку композитор Сергей Прокофьев (кстати, он уехал из страны благодаря разрешению Луначарского). Прокофьев ходил в театры, в концертные залы, присутствовал при некоторых совещаниях деятелей искусств. И вот что он записал в дневнике 15 февраля об одном из них:

«Бой был между двумя лагерями: коммунистическим, желающим из театра сделать прежде всего оружие пропаганды («коль на рабочие деньги, так чтобы в пользу рабочему классу»), и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был театром, а не политической ареной («коль на деньги рабочих, то чтобы рабочим было интересно»).

Соль в том, что коммунистическую точку зрения защищали, разумеется, коммунисты, а театральную – не коммунисты, а может, и антикоммунисты, а потому последних можно было в любой момент обвинить в контрреволюции, и, следовательно, им надлежало быть очень осторожными и скромными.

Луначарский же, председательствовавший совещанием, предпочитал молчать: по положению он коммунист, но по вкусам эстет и театрал, а потому ему тоже надо было лавировать…»

Анатолий Васильевич и лавировал.

Луначарский твердо стоял на защите русской классической литературы. Но и советскую, как народный комиссар, поддерживал и пестовал, считая, например, «Мать» Горького – «изумительной социалистической поэмой». В многочисленных статьях и рецензиях Луначарский похваливал Маяковского и Есенина, Демьяна Бедного и Фурманова, Серафимовича и Сельвинского, Лавренева и Киршона, и многих других, как

маститых, так и молодых.

Валерий Брюсов посвятил Луначарскому стихотворение, где были такие строки:

Ты широко вскрываешь ворота
Всем, в ком трепет надежд не погиб, —
Чтоб они для великой работы
С сонмом радостным слиться могли бы…

В доме Луначарского часто гостили молодые комсомольские поэты Александр Безыменский, Александр Жаров и Иосиф Уткин. «Когда они впервые появились в его кабинете, после беседы и чтения стихов, Анатолий Васильевич, – вспоминала Розенель, – радостный, оживленный, вышел из своей комнаты:

– Бросай все и приходи послушать! Как талантливо!»

Интересно, что читали молодые гости? Может быть, Уткин декламировал свою «Повесть о рыжем Мотэле»: «Чего хотел, не дали. Но мечты его с ним!..»

Не-ет, он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он – не комиссаром,
Достаточно —
Че-ло-ве-ком!

Кстати говоря, Луначарский не только умел внимательно слушать, но и сам замечательно читал стихи и прозу, меняя тембр голоса, ритм, акценты. Однажды в гостях у Шаляпина в присутствии Горького Анатолий Васильевич прочел «Моцарта и Сальери» Пушкина, после чего Алексей Максимович со слезами на глазах расцеловал его, повторяя: «Нет, Федор, не обижайся, но у тебя так не получится».

Однако следует сказать, что Луначарский, как нарком, был постоянно начеку по поводу политических оценок и выводов. Как-то Николай Эрдман прочитал ему свою сатирическую комедию «Самоубийца», где было много различных выпадов против власти («Интеллигенция – красная рабыня в гареме пролетариата» и прочие перлы). Луначарский смеялся чуть не до слез и несколько раз принимался аплодировать. Но после прослушивания обнял Николая Робертовича за плечи и довольно твердо сказал: «Остро… занятно… но ставить «Самоубийцу» нельзя».

Как человек – смеялся. Как нарком – запрещал.

Еще один запрет. Когда ему намекнули, что Марина Цветаева не прочь вернуться на родину, он воспротивился и сказал, что в этом нет необходимости, очевидно, помня стихи Марины Ивановны, посвященные белой армии, и слова о том, что «моя Родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном…» А вот Максимилиану Волошину Луначарский пошел навстречу и разрешил ему создать в Коктебеле дом для отдыха и работы писателей.

Добавим к многогранной деятельности Луначарского и его занятия переводами, в частности, он переводил стихи Гельдерлина, Ленау, Петефи… Если говорить об общем объеме написанного, то это – около 2 тысяч статей, рецензий, докладов, очерков по литературе и искусству. Плюс многочисленные письма. И солидный дневник, до сих пор не изданный.

Последние годы

Луначарский боролся за нового советского гражданина, эдакого рабочего-интеллигента, новой фигуры из новой эпохи Возрождения. А стране, партии, Сталину нужны были совсем другие люди: мастеровитые, стойкие, спокойные, верные, преданные «винтики» большой государственной машины. Что касается старой интеллигенции, то Сталин ее откровенно презирал и считал, что пролетариат может провести индустриализацию и без нее, без научных, культурных и административных знаний беспартийных специалистов. Коммунисты могут преодолеть любые препятствия. «Нам нет преград на море и на суше…» – как пелось в популярной песне.

Процитируем еще раз американского профессора Тимоти О'Коннора: «Сталин делал упор на революционную жертвенность и классовую борьбу, что расходилось с призывами Луначарского к социальной гармонии, товариществу и примирению. Предложенная Сталиным фантазия о мощной, индустриально развитой нации, мужественно защищающейся от внутренних и внешних врагов, перспектива работы для тех, кто был лишен гражданских прав при царизме, гораздо больше привлекали рабочих и партийные массы, чем то, о чем мечтал Луначарский – коллективное бессмертие, просвещение и социальное совершенствование путем культурного прогресса. В то время как Сталин и его последователи с успехом искажали утопические мечтания Луначарского, тот в свою очередь был не в силах признать противоречия, недостатки и парадоксы своих грез о социализированном человечестве».

Не отсюда ли рождались такие странные стихи Анатолия Васильевича:

Я устал… не оттого ли
Так столпилися стихи?
Напирают, жмут до боли
На светящие верхи.
Что за бог, иль что за демон
Их рождает в темноте?
То годами жутко нем он,
То, страдая в полноте,
В час, когда устало тело —
Мысли, звуки тучей целой
Шлет сознанью моему.
Будет! – Я себе хозяин!
Бездну грез, фантомов, тайн
Я захлопну, как тюрьму.

Хозяином можно было быть только за письменным столом, в одиночестве, и ночью после интенсивной работы и утомительной борьбы. С каждым годом положение Луначарского в партии ухудшалось. Его обвиняли за философские отклонения от основной линии, постоянно шпыняли за былое богостроительство, и вообще партийная масса сомневалась в его политической лояльности. В их глазах Луначарский был гнилым либералом, особенно после того, как он выступил против чистки в рядах беспартийной интеллигенции, начало которой положило Шахтинское дело 1928 года. Более того, Луначарский посмел покритиковать Сталина и его сторонников за их «грубость и бестактность» в отношении старых спецов и ученых мужей.

Сталин давно недолюбливал Луначарского, как, впрочем, и всю ленинскую гвардию. Ему не понравилось утверждение Луначарского, что Троцкий был «вторым крупным лидером русской революции», а также заявление о том, что «нельзя заменять Ленина одним политическим лидером». Проницательный Луначарский видел, куда катится дело революции и социализма, кожей ощущал стремление Сталина стать единоличным правителем России, ее диктатором и повелителем. Как тут не вспомнить раннюю пьесу Луначарского «Митра-спаситель» (1919), в которой царь Ирод-Архимат говорит: «Я хочу царить без соперников, без равных». – «Для чего?» – спрашивает Митра. На что следует однозначный ответ: «Для власти. Для наслаждения властью».

В октябре 1927 года Луначарский в целях самосохранения

вынужден был осудить «троцкистскую оппозицию» и отвергнуть всякую связь с ней, но это его не спасло. В 1929 году Сталин снял Луначарского с поста наркома просвещения, вместо Анатолия Васильевича наркомом стал Андрей Бубнов (из семьи купца, старый большевик без какой-либо эрудиции). Судьба его была печальна: Бубнов был расстрелян как «враг народа» 1 августа 1938 года. Луначарскому повезло: он умер естественной смертью.

В конце 20-х годов Луначарский потерял большую часть своей прежней живости и искрометной энергии, частично и из-за ухудшившегося здоровья. Пришлось удалить глаз. И как вспоминал Федор Левин: «Я смотрел на него с душевной болью и чувством горестной любви. Ах, как он изменился! Похудел, как-то потускнел лицом. Та же бородка, те же знакомые черты, но когда снял на секунду пенсне, стало заметно, что один глаз живой, блестящий, а другой – мертвый, стеклянный».

В молодости красивый и стройный, Луначарский быстро постарел и казался значительно старше своих лет. С детства слабое его здоровье с годами еще ухудшилось. Сильная близорукость заставляла его носить очки с толстыми стеклами. Потом он перешел на пенсне, но оно лишь подчеркивало его крупный нос. Среднего роста, он казался еще ниже из-за того, что сутулился, а став старше, располнел.

Перестав быть наркомом, Луначарский не оставил своей вулканической деятельности. Продолжал свои литературные труды. С 1927 по 1932 год был членом советской делегации в Подготовительной комиссии в Женеве перед Европейской конференцией по разоружению, затем работал на самой конференции.

1 февраля 1930 года Луначарский был избран действительным членом Академии наук СССР. Стал академиком и по праву. Но и это не избавило его от многочисленной критики. Что тут поделаешь: Луначарский нравился далеко не всем. Вот характерная запись из дневника Вячеслава Полонского от 1 апреля 1931 года:

«На одном из заседаний в Главнауке был зачитан один из трудов: всеобщая история искусства под редакцией А. В. Луначарского. Представитель Изогиза усомнился в идеологической доброкачественности издания. Имя Луначарского его не удовлетворило. «Мы хорошо знаем т. Луначарского, – сказал он, – целый ряд изданий под его редакцией оказался никуда не годным». Он прав. Но дело в том, что т. Луначарский дает имя, ничего не редактируя. Он редактирует все: десятки журналов, обе энциклопедии – литературный отдел БСЭ и «Литературную энциклопедию»; редактирует собрание сочинений

Толстого, Короленко, Чехова, Достоевского, Гоголя, главный редактор издательства «Академия», – и еще много изданий. К сожалению, он везде получает гонорар, но редактировать – времени у него нет. Он как бы обложил налогом редакции и издания. Даже собственные стенограммы он не правит: это делает литературный секретарь Игорь Сац (брат Натальи Розенель, жены Луначарского. – *Ю. Б.*). Отредактирует – хорошо. Забудет – не будет стенограммы. Отсюда чудовищные промахи в работах, которые публикуют под именем Луначарского».

Да, был такой грех: Луначарский брался за многое, хотел объять необъятное, а еще многочисленные поездки, выступления.

Из воспоминаний Татьяны Аксаковой:

«В начале 1929 года в связи с приездом в Ленинград А. В. Луначарского был объявлен его доклад о международном философском конгрессе в Оксфорде, с которого он незадолго до того возвратился… Зал в Юсуповском доме был переполнен, но время шло, а лектор не появлялся. Наконец, кто-то с эстрады объявил, что Анатолий Васильевич задержался по весьма срочному и важному делу в Академии, но все же обещает, хоть с опозданием, прибыть. Никто не стал расходиться. Наконец, около 11 часов появился явно взволнованный Луначарский и сказал: «Прошу меня извинить. Я задержался на экстренном заседании совета Академии Наук. На нас пала тяжелая обязанность лишить звания академиков Платонова, Лихачева, Любавского и Тарле». В потрясенном зале воцарилось молчание. Овладев собой, Луначарский перешел к докладу. Излагая свои впечатления о поездке в Оксфорд, он ни на минуту не присаживался и нервно ходил из конца в конец эстрады, изредка взглядывая на молчаливого человека с черными пронизывающими глазами, сидящего тут же за небольшим столиком в качестве секретаря. Не знаю, насколько это так, но я слышала, что по причине того, что Анатолий Васильевич в ходе своих речей был способен увлекаться и говорить лишнее, к нему был приставлен в качестве сдерживающего начала этот «секретарь» с черными глазами…»

Добавим к приведенной выдержке. Академики-историки Сергей Платонов, Николай Лихачев, Матвей Любавский и Евгений Тарле были исключены из Академии наук после их ареста в связи с так называемым «делом АН». Да, и за самим Луначарским уже внимательно приглядывали. Не ровен час – и… Но пронесло.

Судя по всему, Луначарский стал постепенно разочаровываться в советской идеологии и находился во внутренней оппозиции к сталинскому правлению. Луначарский и Сталин. Как выразился один зарубежный историк, «никакие другие два характера не были или не могли быть более

враждебны друг другу и более несовместимы, чем эти два». Не случайно Луначарский, однажды прочитав высказывание композитора Скрябина о том, что «самая большая власть – власть обаяния, власть без насилия», – подчеркнул ее и на полях статьи сделал пометку: «Очень хорошо». Власть же Сталина держалась исключительно на насилии.

Но хватит политики. Лучше – лирика. В самом начале XX века Луначарский написал такое стихотворение:

Ах, прошло мое лето, и осень прошла,
Осень горько-печальной разлуки!
И последние дни доцветают они,
Полны сладкотомительной муки.
О, последние дни, надо пить вас, как мед,
Старый мед золотистый и сладкий,
Каждый миг надо пить с упоенной душой,
Каждый миг быстролетный и краткий…

Луначарский и пил эти миги. В конце октября 1925 года впервые после Октябрьской революции выехал в Западную Европу. В Берлине встречался с европейскими знаменитостями: Максом Рейнгардтом, Альбертом Эйнштейном, Эмилем Орликом, Максом Либерманом и многими другими. В театре «Фольксбюне» присутствовал на премьере своей драмы «Освобожденный Дон-Кихот». Зрителям она понравилась, и только одна из реакционных газет «Штальхейм» злобно шипела, что «Освобожденный Дон-Кихот» – замаскированная большевистская агитация, которую нельзя терпеть на немецкой сцене, притом агитация, сделанная настолько художественно и ловко, что она способна обмануть бдительность цензуры и именно поэтому особенно опасна.

В ноябре того же 25-го года общественность отметила 50-летие со дня рождения Луначарского и 30-летие его литературной деятельности. Как писала Луначарская-Розенель в книге «Память сердца», «для Анатолия Васильевича было совершенно неожиданно, что его юбилей превратился в такой праздник, в котором участвовали партийные организации, профессура, ученые, просвещенцы, писатели, люди искусства, учащиеся. Был устроен ряд вечеров и торжественных заседаний в Комакадемии, в Академии художественных наук, в Политехническом музее, в Доме работников просвещения, в Малом театре…»

Далее в воспоминаниях с пафосом говорится, что в чествовании ничего казенного, официального не было – «ни в

выступлениях множества делегаций, ни в художественно оформленных адресах, ни в бесчисленных телеграммах, присланных со всех концов Союза и из-за рубежа. Во всем сказывалось неподдельно хорошее чувство к писателю-коммунисту, первому наркому просвещения».

Узнаете стиль? Выутюженный стиль советских верноподданнических времен. На самом деле Луначарский чувствовал себя белой вороной в черной стае правителей страны, «полуопальной», «инородной фигурой».

В 1929–1933 годах он – формально председатель Ученого совета при ЦИК СССР, фактически «не у дел». Если не считать командировки за рубеж. Его одолевали болезни.

«Луначарский был болен, – вспоминал Владимир Лидин, – ему запрещено было, наверно, три четверти из стоявшего на столе, и, глядя на бутылки с вином и придвигая к себе стакан с молоком, он с грустной иронией сказал: «А Луначарский пьет молоко…»

Он ощущал себя больным и старым: «Боже – как я стар. Как Пер Гюнт» (ноябрь 1930). Его еще утешал ибсеновский герой.

Запись из дневника Вячеслава Полонского от 12 мая 1931 года: «Луначарский, постаревший, обрюзгший, побритый – отчего постарел еще больше, – сидел впереди, согнувшись, усталый, как мешок. Рядом раскрашенная, разнаряженная, с огромным белым воротником а-ля Мария Стюарт – Розенель. Одета в пух и прах, в какую-то парчу. Плывет надменно, поставит несколько набок голову, с неподвижным взглядом, как царица в изображении горничной. Демьян Бедный сказал, глядя на них: «Беда, если старик свяжется с такой вот молодой. Десять-двадцать лет жизни сократит. Я уж знаю это дело, так что держусь своей старухи и не лезу», – и он кивнул в сторону своей жены, пухлой, с покрашенными в черное волосами. Та – довольна. Но Демьян врет. Насчет баб – он тоже маху не дает. Но ненависть его к Розенель – так и прет. Он написал как-то на нее довольно гнусное четверостишие: смысл сводится к тому, что эту «розенель», т. е. горшочек с цветком, порядочные люди выбрасывают за окно. Луначарский некоторое время на него дулся, даже не здоровался, но на днях приветливо и даже заискивающе с ним беседовал вместе с женой».

Кажется, пришло самое время поговорить о женщинах. Были ли влюбленности в юности у Луначарского? Возможно. С первой женой, Анной Малиновской (1883–1959), он прожил 20 лет, она была моложе Анатолия Васильевича на 8 лет. Вторая жена – Наталья Розенель (1902–1968) составила еще большую разницу в возрасте – 27 лет. Первая жена была писательницей, вторая

актриса. И ради красавицы Розенель Анатолий Васильевич расстался с первой женой (с «дорогой Нюрочкой»), оставил и сына и ушел к Розенель. Сменил кремлевскую квартиру на апартаменты в Денежном переулке и в 47 лет начал новую жизнь. Кто-то вспомнил определение Ленина, которое он дал Луначарскому: «Миноносец «Легкомысленный». А другие отнеслись к перемене судьбы наркома с пониманием: кто может устоять перед красотой и молодостью. Наталье Розенель было 20 лет, молодая женщина в цвету.

Новая жена и подруга

В своих мемуарах Розенель написала очень скупо: «С весны 1922 года мы начали нашу общую жизнь с Анатолием Васильевичем и больше не расставались; а если наша работа вынуждала нас к кратковременным разлукам, мы писали друг другу подробные письма, в которых делились впечатлениями обо всем виденном и пережитом.

Для Анатолия Васильевича, так же как и для меня, самым любимым зрелищем было кино; спорить с ним мог только театр… В последний год жизни Анатолия Васильевича самым дорогим из всех видов искусства сделалась музыка; это объясняется отчасти тем, что из-за болезни глаз ему пришлось ограничить посещение кино».

Луначарский и кино – тема особая, и оставим ее за бортом нашего повествования, как и другие эпизоды, например, знаменитый диспут Луначарского с митрополитом Введенским. Поговорим о Розенель.

Наталья Александровна Сац, сестра композитора Ильи Саца, автора музыки к мхатовской «Синей птице». Родилась в Чернигове. Первый муж погиб в Гражданскую войну. Играла в театре «Семперантэ», в театре МГПС, затем в Малом, снималась в кино. Сыграла множество ролей, в том числе и в пьесах Луначарского (роль Юльки в «Медвежьей свадьбе» в паре с Еленой Гоголевой, в «Герцоге»). В кино снялась в двух фильмах в Берлине, еще в знаменитой ленте «Саламандра».

По воспоминаниям Александра Менакера, Розенель не блистала талантом, зато пленяла умом, воспитанностью и утонченностью. Она была образцом женской красоты 20-х годов. Один немецкий журнал назвал ее «самой красивой женщиной России». У нее были удивительно правильные черты лица, с легкой горбинкой нос (семейство Сац – никуда не денешься) и крошечная мушка на щеке. И русалочьи зеленые глаза… Короче,

что-то от женщины-вамп, в том смысле, что Розенель своей красотой сражала наповал.

Вокруг Луначарского и его молодой жены ходило множество слухов, сплетен, легенд, стихов и эпиграмм. К примеру, подпольно гуляли такие строки:

В бардаке с открытым воротом,
Нализавшись вдоволь рома,
Вот идет с серпом и молотом
Председатель Совнаркома.
А за ним с лицом экстерна
И с глазами из миндалин,
Тащит знамя Коминтерна
Наш хозяин Оська Сталин.
Вот идет походкой барской
И ступает на панель
Анатолий Луначарский
Вместе с леди Розенель…

Далее про Калинина, Буденного, но это уже другие истории. Ну, а леди Розенель… Она раздражала многих. Женщины завидовали. Мужчины ехидничали. Характерная запись из дневника Полонского: «Розенель – красавица, мазаная, крашеные волосы – фарфоровая кукла. Играет королеву в изгнании. Кажется – из театров ее «ушли». Ее сценическая карьера была построена на комиссарском звании мужа. Сейчас – отцвела, увяла. Пишет какие-то пьески, – в Ленинграде добивалась постановки, но после первого же спектакля сняли. Прошли счастливые денечки!»

Счастливые денечки! Они проходят у всех, и наступают денечки черные. Так, они настигли и Вячеслава Павловича Полонского: он умер от тифа 24 февраля 1932 года в 45 лет. Доживи до 37-го – был бы расстрелян.

А Луначарский, живя в Женеве как член советской делегации и Лиге наций вовсю грустил. В ноябре 1930 года писал Розенель в письме:

«Однако я сильно пользуюсь Женевой: я очень хорошо, глубоко, важно читаю и думаю… я выиграл по части углубления в себя… Ах, как хочется читать, читать, читать… Гулял час по старой Рю де ла Коруж. Странно: в сущности, она очень мало изменилась за 37 лет! 37!!! Боже – как я стар. Как Пер Гюнт».

Менее чем два года до смерти, в феврале 1932 года, в письме к Розенель: «В сущности, как-никак, я живу на земле последние годы. Не подумай, что я собрался умирать. Нет, я очень охотно прожил бы еще (и, вероятно, проживу) лет до 65… Так вот:

я очень счастлив думать, что мне осталось еще лет 9, в которые я буду иметь ясную голову, горячее сердце, жадные к миру глаза, уши, руки, желание творить, пить счастье и учить быть счастливым. Но не следует ли из этого все-таки, что надо стараться придать отныне своей жизни, так сказать, более торжественный характер? Именно характер теплого, ясного вечера, с пышным закатом, с благоухающими цветами и наполненным вечерними бликами и тенью садом? И чтобы казалось, что откуда-то звучит очень нежный, далекий колокол или хор. Чтобы было тепло, красиво и сладко, несмотря на вечер… Читать только существенное, мудрое, прекрасное? Писать только больше, нужное?..

Вообще жить так, чтобы каждый час пролетал на медленных широких крыльях. Чтобы не уходил, а приобретался. Чтобы в час смерти оказаться не растратчиком, а обладателем такой богатой внутренней жизнью, чтобы естественно выросло чувство: этому не может быть конца. Как ты думаешь?.. Я – натура довольно богатая и щедрая. Это не плохо. Но я недостаточно сосредоточен… Конечно, пути человека зависят не только от него. Есть неотвратимая судьба, случайность – тюхе, как называл это Гёте. Но очень многое зависит от «даймона», т. е. от своего собственного самого лучшего «я»… Я вовсе не хочу стать ни святым, ни педантом, ни замкнутым философом: наоборот, я хочу быть веселым мудрецом. Хочу быть золотом, как начало осени, а не голым и пустым, как конец ее жизни. Жизнь моя, в общем, была счастливой… Но я хочу быть еще счастливее в последние годы…»

Подобные исповедальные письма можно писать только духовно близкому тебе человеку, очевидно, таким была Розенель для Луначарского.

В одном из последующих писем (4 марта 1932): «Если сердце не будет слишком шалить – то я еще лет 10 проживу! Больше, пожалуй, не надо. Но жить хорошо… Любовь на первом плане. Благодаря тебе я богат любовью. Потом природа. Она все больше меня привлекает. Жаль, что я не был и в молодости спортивно развитым человеком. Все искусства. Великолепная вещь – человеческая мысль. Политика сейчас – горька…»

«Горька» – это написано слишком осторожно.

Одну из статей Луначарский подписал аббревиатурой «А. Д. Тур». «Что это значит?» – спросила Розенель. «Все очень просто, – ответил Луначарский. – В переводе с французского «Avant dernier Tour» означает «предпоследний период жизни».

Процитируем одно стихотворение из того «предпоследнего периода»:

И все теряет сразу цену:
Чуть-чуть погрелся у костра,
Пригубил вин пустую пену —
И вот уйдешь… Куда? В Ничто,
И за тобой пройдут другие.
Душа жила пустой мечтой,
И под конец, бедняк, не лги ей!..

Выходит, строящийся в СССР социализм – это «пустая мечта»? А также романтически революционные мечты: «Мы люди нового утра!»?..

В июне 1933 года на квартире Луначарских состоялись двойные проводы: провожали экспедицию «Челюскин» и отъезд хозяина дома на лечение во Францию. Было весело и шумно. «Все присутствующие оказались связанными с Украиной. Отто Юльевич Шмидт до революции был приват-доцентом Киевского университета, Анатолий Васильевич родился в Полтаве, учился в киевской гимназии, Александр Дейч – коренной киевлянин, Илья Сельвинский – одессит, а Александр Довженко и я, – вспоминала Розенель, – черниговцы. Словом, собралось настоящее украинское землячество…»

В августе 1933 года Луначарский был назначен советским послом в Испании. Фактически он был выслан за границу, подальше от кремлевских глаз. Засел за испанский язык. На его ночном столице появились испанские словари, учебники, он прочитывал ежедневно две-три испанские газеты и читал роман Мадарьяги, подаренный ему автором, в подлиннике. Попутно лечился в санатории в Париже на одной из тихих улиц в районе Пасси. Он уже почти не вставал с постели. По утрам Розенель покупала ему ежедневный, как он выражался, «рацион прессы»: «Правду», «Известия», «Юманите», «Матэн», «Таймс», «Морнинг Стар», «Фигаро», «Гадзетта ди Рома», «АБС», «Винер Цайтунг», «Журналь де Женев» и другие газеты.

– Мадам, вы покупаете газеты для иностранцев, живущих в пансионе? – спросила однажды киоскерша.

– Нет, для мужа.

– Он читает на семи языках?

– Да.

– О, мадам… Значит, ваш муж самый образованный человек, о котором я когда-либо слышала.

Но газеты – это не лекарство, а всего лишь средство отвлечения от страданий. Болезнь прогрессировала. Луначарский понимал, что смерть близка. «Смерть – серьезное дело, – говорил

он Розенель, которая пыталась отвести мужа от мрачных мыслей. – Это входит в жизнь. Нужно умереть достойно…»

Еще в июне 1930 года Луначарский вырезал из газеты и перевел с немецкого в дневнике стихотворение Германа Гессе:

Еще раз лето, уж простившись с нами,
Собрало силы и раскрыло крылья,
Сгущенными оно сияет днями
Лазурно-золотого изобилия.

Так человек в конце своих стремлений,
Обманутый, обратный путь готовя,
Остаток жизни ставит ставкой снова,
Кидаясь вдруг в седой прибой волнений.

Любви ли жжет блаженство и кручина,
Иль поздним творчеством душа томится —
В его делах, в его страстях струится
Осенний свет, сознание кончины.

Луначарский многое хотел сделать: успел закончить лишь одну из последних работ «Гоголиана (Николай Васильевич приготовляет макароны)», но не написал давно выстраданную книгу о Ленине. Последней его диктовкой была статья о Марселе Прусте. Символично: «В поисках утраченного времени».

Анатолий Васильевич Луначарский умер 26 декабря 1933 года в Ментоне, в курортном городке на Лазурном берегу, так и не доехав до «пункта назначения» – Мадрида.

В рождественскую ночь 25 декабря он разбудил Наталью Розенель: «Будь добра. Возьми себя в руки. Тебе предстоит пережить большое горе». А врачу, предложившему ему ложку шампанского, сказал: «Шампанское я привык пить только в бокале. И причины изменять свои привычки не вижу и сейчас». Через несколько часов он умер. Он прожил 58 лет и один месяц.

Похоронен Луначарский в Москве, в Кремлевской стене. Революционер. Богостроитель. Народный комиссар. Несостоявшийся посол.

Финальный аккорд

Вспоминается фраза Дона Аминадо: «Все еще были молоды и не расстреляны…»

Илья Эренбург: «Я помнил всех большевиков, окружавших

Ленина в Париже, из них разве только Луначарскому и Коллонтай посчастливилось умереть в своих постелях…»

Предоставим слово и свидетелю тех пламенных лет. Нина Берберова «Курсив мой» (автобиография):

«Что значило тогда «уцелеть»? Физически? Духовно? Могли ли мы в то время предвидеть гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийство Есенина и Маяковского, политику партии в литературе с целью уничтожения двух, если не трех поколений? Двадцать лет молчания Ахматовой? Разрушение Пастернака? Конец Горького? Конечно, нет. «Анатолий Васильевич не допустит» – это мнение о Луначарском носилось в воздухе. Ну, а если Анатолия Васильевича самого отравят? Или он умрет естественной смертью? Или его отстранят? Или он решит, что довольно быть коммунистическим эстетом и пора пришла стать молотом, кующим русскую интеллигенцию на наковальне революции? Нет, такие возможности никому тогда в голову не приходили, но сомнения в том, что можно будет уцелеть, впервые в те месяцы зародились в мыслях Ходасевича. То, что ни за что схватят, и посадят, и выведут в расход, казалось тогда немыслимым, но что задавят, замучают, заткнут рот и либо заставят умереть (так позже случилось с Сологубом и Гершензоном), либо уйти из литературы (как заставили Замятина, Кузмина и – на двадцать пять лет – Шкловского), смутно стало принимать в мыслях все более отчетливые формы. Следовать Брюсову могли только единицы, другие могли временно уцепиться за триумфальную колесницу футуристов. Но остальные?..»

Добавление по Владиславу Ходасевичу. Он и Берберова покинули Россию 22 июня 1922 года. В одном из писем по горячему следу Ходасевич писал: «Надо переждать, ибо я уверен, что к лету все устроится, то есть в Кремле сумеют разобраться, кто истинные друзья, кто враги. Тогда и поднимется вопрос о моем возвращении…»

Не разобрались. Ходасевич на родину не вернулся. Умер в эмиграции в Париже…

Ну, а Луначарский… Относительно ранняя смерть избавила его от судьбы Каменева, Зиновьева, Рыкова, Бухарина и других старых большевиков, ленинцев.

Расстрел Луначарского произошел три десятилетия спустя после его смерти. Тихий виртуальный расстрел в дневнике известного публициста Юрия Карякина. Вот эта расстрельная запись:

«8 января 1996 – сегодня, кажется, понял его суть. Догадывался раньше… Но сначала о том, почему, смею сказать,

мы, большинство, – долго находились под его обаянием: да из-за своего невежества, а он знал языки, острил с архиепископом публично, был самым культурным наркомом просвещения, лекцию о ком угодно мог с ходу прочитать, хоть о Шекспире, хоть о Достоевском, хоть о Бахтине. Ну, конечно, живи он при Фурцевой, и ярче покажется Леонардо…

Так вот суть: НАЧИТАННЫЙ ЛАКЕЙ. Знал французские «вокабулы», был и навсегда оставался именно лакеем, лакеем марксизма, потом – лакеем богостроительства, ницшеанства, лакеем Ленина, лакеем Сталина. В лучшем случае его участь, его призвание – учитель словесности, попутно – совратитель гимназисток, и вдруг нарком просвещения. И Ленин, и Сталин, как хозяева, глубоко его презирали, а когда понадобилось, Сталин просто дал ему пинка и вышвырнул в послы в Испанию».

Убил Карякин Луначарского. Уничтожил. А попутно в своем дневнике он написал о «диком комплексе неполноценности» и в компанию к Луначарскому прибавил Максима Горького, Демьяна Бедного, Михаила Голодного, Артема Веселого… Все, что было в советское время, Карякин по-большевистски оплевал и вывалял в грязи. Какой смельчак и молодец!..

Ну, а мне-то что делать? Как заключить свое маленькое исследование о Луначарском? Как понять, что осталось от его жизни и деятельности в сухом остатке?

Луначарский любил повторять: «Человек, вырастивший дерево или написавший книгу, не умирает до конца».

Не будем подсчитывать деревья, а вот книги. Издано собрание сочинений Луначарского в 8-и томах (1963–1967). Выпущена фундаментальная (в 5-и томах) «Летопись» его жизни и деятельности. Пять томов не случайно. Старый большевик Бонч-Бруевич имел основание написать в письме к Луначарскому: «Вы жили не за одного и не за двух, а за пятерых».

Раз вспомнил Бонч-Бруевича, вспомним и Льва Троцкого, его слова, сказанные о Луначарском: «На посту народного комиссара просвещения Луначарский был незаменим в общении со старыми университетскими и преподавательскими кругами, убежденными в том, что ожидается полная ликвидация науки и искусства «невежественными узурпаторами». Луначарский же с воодушевлением и энтузиазмом доказывал этому замкнутому мирку, что большевики не только уважали культуру, но и не были чужды ей. Бывало, какой-то академический старец, раскрыв рот, изумлялся этому вандалу, который мог читать на полудюжине современных языков и на двух древних и, походя, неожиданно выказывал такую обширную эрудицию, что хватило бы без труда на десяток профессоров. Примирению высококвалифицированной

дипломированной интеллигенции с Советской властью во многом обязаны именно Луначарскому».

Это говорил политик, а вот что сказал известный искусствовед Абрам Эфрос в 1933 году на собрании московских художников:

«Луначарского можно назвать первым собирателем советской художественной интеллигенции. В те далекие времена, когда часть из нас противилась, часть была нейтральна, часть колебалась, в какую ей сторону идти, его слово зажигало глубокий интерес к новому строительству… Это человек, который огромной своей художественной отзывчивостью, огромным обаянием своего ума умел увлекать и вести…»

Ну, и что по сравнению со сказанным отдельные личные недостатки Анатолия Васильевича, его промахи и ошибки, заблуждения и литературные зигзаги в стиле «шурум-бурум». Так, мелочь. Всего лишь рябь на море. А он гнал мощную и красивую волну культуры и искусства.

Эрудит истории. Евгений Тарле (1875–1955)

Евгений Викторович Тарле, наш Геродот, Светоний и Фукидид, родился 27 октября (8 ноября) 1875 года в Киеве. Его отец, еврейский купец Вигор, конечно, хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Однако торговая карьера никак не привлекала молодого Тарле, его увлекали совсем иные дали – исторические, очень было интересно сквозь дымку истории рассмотреть прошлое, героические и ужасные времена, разобраться в них, понять, чем движется история и в какую сторону она идет. Французский историк Эрнест Ренан говорил: «Талант историка в том, чтобы создать верное целое из частей, которые верны лишь наполовину». То есть собрать осколки и по ним воссоздать целое.

Так что никакие товары и капиталы, только история! И после гимназии Евгений Тарле поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, который и окончил в 1896 году. Он влюбился в историю Западной Европы и эту любовь пронес через всю жизнь (Россия, конечно, интересна, но Европа – это альфа и омега последней человеческой цивилизации).

У Джорджа Бернарда Шоу есть афоризм: «Что скажет история? – История, сэр, солжет, как всегда». Расхожее мнение. Да, среди историков есть масса таких, которые вертят историю туда-сюда и излагают прошлые события в угоду правителям. Тарле был иным историком, для него главное была истина, он хотел и оставался предельно объективным исследователем исторических процессов. Его первый научный труд – «Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II». Молодого способного историка

заметили, и Тарле становится приват-доцентом Петербургского университета, потом профессором Юрьевского (нынешнего Тарту). С 1917 года Тарле – профессор Петроградского университета. Педагогическую деятельность сочетает с творческой, создает галерею исторических портретов деятелей буржуазно-либерального направления: Ройе-Коллара, Парнелла, Гамбетты и других. До создания этих портретов подверг тщательному анализу «Утопию» Томаса Мора.

Тем временем Утопия, но не моровская, а марксистская, будоражила российские умы. Тарле не закрылся в своем кабинете ученого, а вышел на улицу, участвовал в студенческих демонстрациях, выступал с лекциями, направленными против самодержавия, попал под надзор полиции. В феврале 1917 года поверил, что Россия пойдет по европейскому пути, но в октябре понял, что нет. Как отмечает историческая энциклопедия, «смысл Октябрьской революции Тарле понял не сразу». Формулировка, на мой взгляд, неверная. Он не то что не понял, он все прекрасно понял, что это «всерьез и надолго», и поэтому смирился: историю не переделаешь… Другое дело – состоявшаяся история Франции.

Тарле с упоением работал в архивах и библиотеках Парижа, Лондона, Гааги и других европейских городов. Вводил в оборот доселе неизвестные документы. Оперировал многочисленными фактами, считая, что наличие даже случайных, безопасных и, казалось бы, ненужных деталей повышает доверие к историческим свидетельствам, подтверждая их объективность.

Среди трудов Тарле назовем исследования «Рабочий класс Франции в эпоху революции», «Континентальная блокада», «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I», «Европа в эпоху империализма», «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. От конца Империи и восстания рабочих в Лионе» и другие. А блистательные исторические портреты «Наполеон» (1936) и «Талейран» (1939)!..

В книге «Современники» Корней Чуковский вспоминал о знакомстве с профессором (тогда он был еще профессором) Евгением Тарле: «Не прошло получаса, как я был окончательно пленен им и самим, и его разговором, и его прямо-таки сверхъестественной памятью. Когда Короленко, интересовавшийся пугачевским восстанием, задал ему какой-то вопрос, относящийся к тем временам, Тарле, отвечая ему, воспроизвел наизусть и письма и указы Екатерины Второй, и отрывки из мемуаров Державина, и какие-то еще неизвестные архивные данные о Михельсоне, о Хлопуше, о яицких казаках… А когда жена Короленко, по образованию историк, заговорила с

Тарле о Наполеоне Третьем, он легко и свободно шагнул из одного столетия в другое, будто был современником обоих столетий и бурно участвовал в жизни обоих: без всякой натуги воспроизвел одну из антинаполеоновских речей Жюля Фавра, потом продекламировал в подлиннике длиннейшее стихотворение Виктора Гюго, шельмующее того же злополучного императора Франции, потом привел в дословном переводе большие отрывки из записок герцога де Персиньи, словно эти записки были у него перед глазами тут же, на чайном столе.

И с такой же легкостью стал воскрешать перед нами одного за другим тогдашних министров, депутатов, актеров, фешенебельных дам, генералов, и чувствовалось, что жить одновременно в разных эпохах, где теснятся тысячи всевозможных событий и лиц, доставляет ему неистощимую радость. Вообще у него не существует покойников; люди былых поколений, давно уже прошедшие свой жизненный путь, снова начинали кружиться у него перед глазами, интриговали, страдали, влюблялись, делали карьеру, суетились, воевали, шутили, завидовали – не призраки, не абстрактные представители тех или иных социальных пластов, а живые, живокровные люди…»

Приведем воспоминания и Галины Серебряковой:

«Евгений Викторович Тарле был человеком изысканных манер, в котором приятно соединились простота с повышенным чувством собственного достоинства, утонченная вежливость с умением, однако, ответить ударом на удар. В обхождении с людьми такими, как он, вероятно, были бессмертные французские энциклопедисты, мыслители – писатели Дидро, Монтень. Мягкий голос, многознающие, чуть насмешливые глаза, круглая лысеющая голова средневекового кардинала, собранность движений, легкость походки – все это было не как у других, все это было особым. В совершенстве владел Тарле искусством разговора. Его можно было слушать часами. Ирония вплеталась в его речи, удивлявшие неисчерпаемыми знаниями. Франция была ему знакома, как дом, в котором он, казалось, прожил всю жизнь. Он безукоризненно владел французским языком и, будто отдыхая, прохаживался по всем векам истории галлов, но особенно любил XVIII и XIX века этой стремительной в своих порывах страны…»

Таких воспоминаний можно привести немало. Прибавим только строки Самуила Маршака:

В один присест историк Тарле
Мог написать (как я в альбом)

Огромный том о каждом Карле
И о Людовике любом.

Евгений Тарле – эрудит истории, и, казалось бы, творить ему легко и способно, но он жил в советской стране, в трудные времена, и его исторические построения и концепции прошлого (даже прошлого!) шли подчас в разрез с официально принятыми. В 20–30-е годы в исторической науке царил кремлевский фаворит академик Михаил Покровский. Возник острый конфликт, не только сшибка исторических воззрений, но и личная неприязнь, замешанная на зависти. Мировая научная общественность очень ценила Тарле и других остромыслящих академиков и мало уважала Покровского, главу «красной профессуры» и руководителя ряда коммунистических институтов. Возникло «дело историков», или «дело Платонова – Тарле». Подготовка к нему началась в январе 1929 года. Специально образованная комиссия по чистке кадров «вычистила» из Академии каждого четвертого научного сотрудника. Затем пошли аресты. Председатель Президиума АН академик Карпинский пытался защитить ученых, но его самого подвергли суровой критике в «Правде»: «Контрреволюционная вылазка академика Карпинского».

Что касается Тарле, то он давно был под подозрением властей. В 1918–1919 годах в своих публикациях по истории якобинской диктатуры он косвенно осуждал послеоктябрьский красный террор, в 20-е годы держался довольно независимо, заявляя о своей «внепартийности». Тучи сгущались давно, и, наконец, грянул гром. 2 февраля 1931 года группу академиков-историков, включая Сергея Платонова и Евгения Тарле, исключили из Академии. За этим последовал арест и следствие «по делу». Инкриминировали историкам ни больше, ни меньше, как заговор против власти. В ожидании ареста Тарле несколько месяцев просидел в «Крестах». В сидении он – выразимся мягко, – прогнулся и, возможно, поэтому получил мягкий приговор: всего лишь ссылку в Алма-Ату. Там он продолжал заниматься любимой историей и занял должность профессора в Казахстанском университете. Там же он начал свою знаменитую работу о Наполеоне. Алма-атинская эпопея длилась 13 месяцев, до распоряжения из Москвы о помиловании и возможности возвращения.

Откуда такая милость? Не исключено, что Сталин видел себя в образе коммунистического Наполеона и ему были необходимы придворные историки, чтобы они воплотили его образ в великих

книгах. Но эти книги так и не были написаны ни Максимом Горьким, ни Евгением Тарле.

Вскоре после возвращения Сталин вызвал к себе Тарле и дал ученому четкие указания – что и как написать о Наполеоне и Талейране (позднее вождь давал такие же указания режиссеру Эйзенштейну, как следует снимать фильм об Иване Грозном). Сталин недвусмысленно сказал Тарле, что в случае невыполнения его установок историка отправят туда, откуда он только что вернулся.

С учетом пожеланий вождя, но и не меняя собственной концепции, Тарле написал труды о Наполеоне и Талейране. Они имели читательский успех, но тем не менее подверглись разгромной критике. Одна из причин: Предисловие в книге о Наполеоне написал опальный Карл Радек. Тарле обратился напрямую к Сталину разрешить ему ответить рецензентам в газете. Сталин ответил ему письмом: «Не нужно отвечать в газете. Вы ответите им во 2-м издании Вашего прекрасного труда». По другой версии, Тарле после разносной критики ждал ареста и впал в депрессию, как в самый для него тревожный момент раздался телефонный звонок: «С вами будет говорить товарищ Сталин». Евгений Викторович замер, а вождь посоветовал ему не обращать никакого внимания на публикации в «Правде» и в «Известиях» и спокойно работать… Это успокоило Тарле. Ему вернули звание академика, и он продолжил активную научную и публицистическую деятельность.

Накануне Отечественной войны Тарле закончил исследование «Нашествие Наполеона на Россию», «Нахимов», а в военные годы другие патриотические книги об адмирале Ушакове и Кутузове, большое исследование «Крымская война». Ездил с лекциями по всей стране, выступал и на фронтах, принимал участие в комиссии по расследованию зверств фашистов, был участником Всемирного конгресса деятелей культуры в защиту мира, участвовал во многих международных конгрессах историков и т. д. Лауреат нескольких Сталинских премий, почетный профессор Сорбонны, почетный доктор многих европейских университетов, всего и не перечислишь. Но это, так сказать, официальный благостный фасад. А было и другое. В годы борьбы с космополитизмом Тарле мужественно оставался на своих позициях уважения и преданности европейским ценностям. Постоянно утверждал, что Россия – это часть Европы. Не только не скрывал своего еврейского происхождения, но и подчеркивал его. На одной из лекций в университете один из студентов произнес фамилию академика с ударением на последнем слоге, Евгений Викторович его поправил: «Я не француз, а еврей, и моя

фамилия произносится с ударением на первом слоге».

Невзирая на возраст, Тарле продолжал писать свои исторические сочинения, под градом критических стрел, и к нему можно применить фразу Талейрана: «Я счастлив и несчастлив».

Тарле умел дружить и ценил своих друзей. Татьяне Щепкиной-Куперник он подарил свое исследование «Роль русского военно-морского флота во внешней политике России при Петре I» с такой надписью: «Милой и дорогой поэтессочке, которая доводит свою сердечность до того, что читает работы своих друзей даже в тех прискорбных случаях, когда работы скучны. От любящего друга, читателя и почитателя. Е. Тарле. 22/ IV – 1947».

По поводу мемуаров Щепкиной-Куперник Тарле писал ей: «… Просматривая далекие полки своих книг для одной научной справки, я случайно раскрыл журнал «Русское прошлое» за 1923 год и там наткнулся на Ваши воспоминания о Москве (литературно-театральной) 90-х годов. Мало я читал таких нежных, прекрасных, художественных строк, как эти! Это такая прелесть, так полно тоски и любви и так вместе с тем ярко – от театральных рыдванов до Сандуновских бань, от Гликерии Федотовой до керосиновых ламп, так как и тон, и цвет, и аромат прошлого, что под подобными строками без малейшего ущерба для самой репутации первого во всемирной литературе мемуариста мог бы подписаться сам Герцен. Только он умел волновать чужие сердца своими личными обыденнейшими переживаниями, давать запах и цвет старой, исчезнувшей из жизни (но не из его души) обстановки. Это – лучшее из всего, что Вы писали, из того, по крайней мере, что я знаю…»

Так писал Тарле, в таком духе и вел обычные беседы с друзьями и знакомыми – «утонченную, умную, немного комплиментарную», как определял Корней Чуковский беседу Евгения Викторовича. Жил Тарле в огромной ленинградской квартире, где было аж 3 кабинета, с видом на Петропавловскую крепость. Среди миллиона книг, с висящими на стенах портретами Пушкина, Льва Толстого, Чехова и других классиков русской литературы. Корней Чуковский вспоминал, как однажды, в июне 1951 года, Тарле прислал за ним машину. А далее – «великолепный обед, с закусками, с пятью или шестью сладкими, великолепная, не смолкающая беседа Евгения Викторовича о Маколее – о Погодине – о Щеголеве, о Кони, о Льве Толстом и Тургеневе, о Белинском, о Шевченко, о Филарете…»

Тарле превосходно знал не только историю, но и литературу. И всегда мыслил афористически, к примеру: «Достоевский открыл в человеческой душе такие пропасти и бездны, которые и для

Шекспира, и для Толстого остались закрытыми».

Конец жизни? Он оказался печальным (а у кого он бывает веселым?) Евгений Викторович Тарле умер 5 января 1955 года, на 80-м году жизни. В своем дневнике Корней Чуковский записал: «Умер Тарле – в больнице – от кровоизлияния в мозг. В последние три дня он твердил непрерывно одно слово – тысячу раз. Я посетил его вдову, Ольгу Григорьевну. Она вся в слезах, но говорит очень четко с обычной своей светской манерой. «Он вас так любил. Так любил ваш талант. Почему вы не приходили! Он так любил разговаривать с вами. Я была при нем в больнице до последней минуты. Лечили его лучшие врачи-отравители. Я настояла на том, чтобы были отравители. Это ведь лучшие медицинские светила: Вовси, Коган… Мы прожили с ним душа в душу 63 года. Он без меня дня не мог прожить. Я покажу вам письма, которые он писал мне, когда я была невестой. «Без вас я разможжу себе голову!» – писал он, когда мне было 17 лет. Были мы с ним как-то у Кони. Кони жаловался на старость. «Что вы, Анатолий Федорович, – сказал ему Евгений Викторович, – грех жаловаться. Вот Бриан старше вас, а все еще охотится на тигров». – «Да, – ответил А. Ф., – ему хорошо: Бриан охотится на тигров, а здесь тигры охотятся на нас».

Оказывается, в той же больнице, где умер Е. В., лежит его сестра Марья Викторовна. «Подумайте, – сказала Ольга Григорьевна, – он в одной палате, она в другой… вот так цирк! – (и мне стало жутко от этого странного слова). – М. В. не знает, что Е. В. скончался: каждый день спрашивает о его здоровье, и ей говорят: лучше».

Корней Иванович Чуковский скрупулезно записывал в своем дневнике все значимые события. И вот запись от 28 февраля 1955 года, среди прочего: «Умерла вдова Тарле. Звонил С. М. Бонди…»

Ольга Григорьевна Тарле пережила мужа менее двух месяцев. Не могла примириться с его уходом… Из рук академика Тарле выпало золотое перо. И тут же смолк серебристый голос его музы. Счастливая судьба!..

Противоречивый классик. Алексей Толстой (1882–1945)

Алексей Николаевич Толстой мог остаться в тени своих великих однофамильцев – Льва Николаевича и Алексея Константиновича, но не остался и выделился. Он – один из крупнейших советских писателей. Можно даже сказать: титан. Он родился 29 декабря 1882 года, а по новому стилю – 10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии, ныне Пугачевск. О родителях, о семье все опустим. Отметим лишь, что Екатерина Пешкова, жена Горького, окрестила его «маленьким лордом Фаунтлерой» – вялый ребенок с несколько сонным выражением лица. Но первоначальная вялость таила в себе будущую кипучую энергию.

Начинал Толстой как поэт, и в 1907 году вышла первая книга декадентских стихов. «Мои песни – широко открытые раны, / Опаленные жгучею страстью; / Мои думы – пронзенные алым туманом, / Утонувшие где-то за далью…» Много лет спустя Корней Чуковский напомнил Толстому о его ранних стихах, тот всячески отмахивался, повторяя, что давно потерял к ним интерес.

В 17 лет Алексей Толстой определил своих любимых писателей: Лермонтов, Тургенев, Лев Толстой. «Войну и мир» перечитывал всю жизнь. Период ученичества быстро закончился, и Алексей Толстой из подмастерьев превратился в зрелого мастера. Он трудился споро и весело. В течение только одного 1911 года он печатался в 16 разных изданиях. Чуковский писал в те времена о нем: «Алексей Толстой талантлив очаровательно.

Это гармоничный, счастливый, свободный, воздушный, нисколько не напряженный талант. Он пишет как дышит. Что ни подвернется ему под перо: деревья, кобылы, закаты, старые бабушки, дети, – все живет и блестит и восхищает…»

В Первую мировую войну Алексей Толстой в качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» совершил ряд поездок на фронт. Писал репортажи, рассказы, пьесы (всего за творческую жизнь написал 42 пьесы). В июле 1918 года покинул голодную Москву, а далее эмиграция, из которой писатель вернулся в 1923 году, но уже не в Россию, а в СССР.

Перед отъездом на родину в апреле 1922 года Алексей Толстой писал Николаю Чайковскому, одному из организаторов белогвардейского «Союза возрождения России»:

«…Я не могу сказать, – я невиновен в лившейся русской крови, я чист, на моей совести нет пятен… Все мы, все, скопом, соборно виноваты во всем свершившемся. И совесть меня зовет не лезть в подвал, а ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль… Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: что лучше для моей родины – учредительное собрание или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти России должна теперь, после четырех лет революции, – вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным – и в этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа…»

О том, как встретили Толстого в советской России, чуть позднее. Главное то, что он бурно развернул свою творческую деятельность. К ранее написанному «Детству Никиты» (1919–1920) добавились «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), трилогия «Хождения по мукам» (1922–1941), «Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927), «Аэлита» (1923), «Петр Первый (1929–1945), драматургическая дилогия «Иван Грозный» (1942–1943) и еще многое другое, включая знаменитый рассказ «Гадюка», книгу для детей «Золотой ключик, или Приключения Буратино», насквозь идеологизированную повесть «Хлеб». Всё перечислять – не перечислишь.

«Если бы не революция, – признавался Толстой, – в лучшем случае меня ожидала участь Потапенко: серая, бесцветная деятельность дореволюционного среднего писателя. Октябрьская революция как художнику мне дала все…»

Все – это почетное депутатство в Верховном Совете СССР, звание академика, три Сталинских премии (1941, 1943, 1946). Медали, ордена и прочие регалии. Помимо отдельных книг,

«Полное собрание сочинений» в 15-ти томах.

Короче, классик, титан, глыбища. Алексей Николаевич Толстой прожил 62 года. Умер, заболев раком легких, 23 февраля 1945 года в возрасте 62 лет.

Книги, звания, награды – это фасад. А что скрывалось за фасадом, каким человеком был Толстой, как относился он к своим коллегам по перу и, главное, к власти, – и тут выплывает противоречивый Алексей Николаевич.

Мнения, оценки, определения

В очерке «Третий Толстой» Иван Бунин вспоминал: «В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник: был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие… Вел себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему, что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях необходимости высокомерное выражение: одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, – признак натуры упорной и настойчивой, – постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда в каком-нибудь салоне сюсюкал, как великосветский фат, хохотал и чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный».

Вот такой портрет «красного графа» Алексея Толстого оставил нам Бунин. Еще одна бунинская характеристика: «Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности… с редкой талантливостью всей его натуры,

наделенной к тому же большим художественным даром».

Неужели Пушкин ошибался: гений и злодейство вполне совместимы?

Приведем высказывания писателя Романа Гуля: «Все, что Бунин в «Воспоминаниях» пишет о Толстом – «Третий Толстой», – верно. Надо сказать, художественно-талантлив Толстой необычайно. Во всем – в писании, в разговорах, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике тяга была к самому густопсовому мещанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубахам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому «полному комфорту»… «Дольче вита» могла с Толстым сделать все что угодно. Тут он и рискнул вернуться в РСФСР, и халтурил там без стыда и совести, и даже лжесвидетельствовал перед всем миром, покрывая своей подписью чудовищное убийство Сталиным тысяч польских офицеров в Катыни».

«Умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться», – заметил о Толстом Илья Эренбург. Игорь Северянин писало нем:

В своих привычках барин, рыболов,
Друг, семьянин, хозяин хлебосольный,
Он может жить в Москве первопрестольной,
Вникая в речь ее колоколов…

И еще раз вернемся к воспоминаниям Ивана Бунина:

«В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1935 года, в Париже…

– Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика? – спросил он… и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжил разговор: – Страшно рад видеть тебя и спешу сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены?

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских

трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?»

Нина Берберова в книге «Курсив мой»: «… по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает…»

Из дневника Корнея Чуковского – 20 декабря 1923 года: «… были у меня Толстые. Он говорил, что Горький вначале был с ним нежен, а потом стал относиться враждебно…»

В книге «Современники. Портреты и этюды» Чуковский отмечал: «Вообще, это был мажорный сангвиник. Он всегда жаждал радости, как малый ребенок, жаждал смеха и праздника, а насупленные, хмурые люди были органически чужды ему. Не выносил разговоров о неприятных событиях, о болезнях, неудачах и немощах. Не потому ли он так нежно любил своего друга Андронникова. Что Андронников всюду, куда бы ни явился, вносил с собой беззаботную веселость…

Человек очень здоровой души, Алексей Толстой всегда сторонился мрачных людей, меланхоликов. Любил проделывать веселые шутки и мистификации. За несколько месяцев до войны в ресторане «Арагви» было чествование одного иностранного автора. Председателем был Толстой. К концу обеда ему наскучила чинность торжественной трапезы и он предложил тост за маленькую республику на Кавказе – Чохомбили. И назвал скромнейшего литератора, сидевшего за столом, великим национальным поэтом этой республики. Иностранный гость чокнулся с несчастным писателем, готовым провалиться сквозь землю…»

Коллеги

Отношения с коллегами по перу у Алексея Толстого и в эмиграции, и по возвращении в СССР были сложными и в силу характера Алексея Николаевича, и в силу того, что он писал. Советская общественность встретила Толстого крайне враждебно. Не верили, завидовали, считали «засланным казачком», травили в печати и на диспутах. Написанную им «Аэлиту» называли мелкобуржуазной писаниной и «вреднейшим ядом». «Я теперь не Алексей Толстой, а рабкор-самородок Потап Дерьмов, грязный, бесчестный шут», – с горечью говорил Толстой. За ним прочно укрепились иронические титулы «рабоче-крестьянский граф», «красный граф».

В 1926 году Всеволод Вишневский записал в дневнике: «Толстой – способный малый. Этот эмигрант, «перелет», волнующе пишет о наших делах, о 1918… Мне не верится, однако, его искренность. Как странно, Толстой живописует моряков, от которых бежал когда-то…»

«Приспособленец», «слишком краснощекий талант», «беспринципный циник», – что только не говорили братья-литераторы о Толстом.

Интересно вспомнить давнюю дневниковую запись от 17 февраля 1913 года, сделанную Александром Блоком: «… Много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из «трюков»… – будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного, той заповеди, без выполнения которой жизнь и творчество распыляются».

Блок был точен и прозорлив в своей характеристике Алексея Толстого.

Юрий Тынянов Толстого иначе как Алешкой не звал, тот отвечал Тынянову ответной неприязнью. Они и писателями были разными: у Тынянова героями выступали идеи, идеи боролись и сталкивались. А у Толстого – плоть, – так считал Корней Чуковский. Тынянов рассказывал Чуковскому, как в 1936 году Толстого познакомили с Мирским, тот оглядел его «графским» оком и подал ему два пальца.

Отзыв Михаила Зощенко о Толстом: «Это чудесный дурак». Сложными отношения были с Толстым у Ильи Эренбурга. По признанию Анны Ахматовой, Толстой был лютым антисемитом и Эренбурга не терпел. «Толстой похож на дикого мужика. Нюхом отличает художество, а когда заговорит – в большинстве чушь» (по записи Лидии Чуковской, 6 марта 1942).

Старая история: писатели, как правило, не дружат. Чаще ненавидят друг друга. И не будем приводить дальнейшие ругательные оценки. Лучше о другом. Алексей Толстой обожал застолье и часто в своем доме устраивал настоящие пиры. У него был свой круг ближайших друзей, среди которых было много артистов, один из них – знаменитый актер МХАТа Василий Качалов. Вот смачный отрывочек из воспоминаний Ираклия Андронникова:

«– Садись, ради Христа, кушай. Ты же оголодал… Туся, он весь холодный! (Смотрит на Качалова, мигает часто, смеется радостно, подпуская легкое рычание). Садись… Налейте ему. И стюдень бери, Вася. Неправдоподобный стюдень – и прозрачный и

весь дрожит. Ты только попробуй… Ты не знаешь, какая тут была безумная скука без тебя. Сидят все, как поповны, тихие, скушные, говорят о постоянном, гоняют сопливые грибы по тарелкам. И все – непьющие…»

Женщины Толстого

Туся – это третья жена Алексея Толстого – Наталья Крандиевская. Всего у советского графа их было четыре, ну, и, конечно, прочие влюбленности.

Первая – Юлия Рожанская, дочь коллежского советника, начинающая певица, в которую влюбился 17-летний Толстой, студент Самарского реального училища. Она была старше Толстого и считала его мальчишкой. И все же романтический, восторженный и взбалмошный Толстой сумел влюбить в себя Юлию. 3 июня 1902 года был зарегистрирован брак, и молодые укатили в Петербург. Рождение сына Юрия не умерило пыл Толстого: новая влюбленность в Софью Дымшиц, она известная художница, авангардистка и даже сыграла роль в скандально известной постановке Мейерхольда «Ночные пляски». Первая жена Толстого в отчаянии, но находит в себе силы и отпускает мужа во второе любовное плавание. «Если ты хочешь заниматься искусством, то Софья Исааковна тебе больше подходит», – сказала Юлия летом 1907 года, и Алексей Николаевич ушел к Дымшиц, хотя развод получил лишь 3 года спустя. Во втором браке рождается дочь Марианна.

Толстой занимается литературой, Софья живописью, и «семейная лодка разбилась…» – нет, нет, не о быт. Просто Толстой встретил новую женщину, Наталью Крандиевскую, молодую, талантливую поэтессу, которой сам Бунин пророчил большое будущее. Встреча эта произошла в 1915 году. И Софья Дымшиц спокойно, без всяких истерик, отпустила Алексея Толстого «на волю». В своих воспоминаниях она написала, что Крандиевская «была в моем сознании достойной спутницей для Толстого. Алексей Николаевич входил в литературную семью, где его творческие и бытовые запросы должны были встретить полное понимание. Несмотря на горечь расставания, это обстоятельство меня утешало и успокаивало».

Везло Алексею Николаевичу на понимающих женщин! А уж как его любила и понимала Наталья Крандиевская, Туся, – это почти сказка. Крандиевская стала для Толстого всем: его любовью, музой, матерью двоих детей, хозяйкой дома, литературным секретарем, агентом и еще бог знает кем. «Встречи,

заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая суета!..» – напишет позднее, когда все это закончится.

Наталья Крандиевская все, что у нее было – свою молодость, красоту и прелесть, а заодно и свой поэтический талант, – отдала Алексею Толстому. Его дому. Его детям. И она не считала это жертвой: то были ее дети, ее дом, ее любимый муж Алексей Толстой. Но все это только до поры до времени. В 1935 году все рухнуло, и Крандиевская покинула Детское Село, где они до этого счастливо жили. Все подробности – весьма драматические и порою неприятные – опускаю…

Четвертой женой Толстого стала 26-летняя Людмила Крестинская, только что разошедшаяся со своим мужем писателем Баршевым. А Крандиевская вернулась к стихам. К горьким стихам.

Больше не будет свидания,
Больше не будет встречи.
Жизни благоухание
Тленьем легло на плечи…

А у Толстого все в порядке: дом по-прежнему полная чаша, молодая хозяйка, «быстрая, со звонким голосом, казалась мне женщиной, придуманной Алексеем Толстым, вышедшей из его книг» (Валентин Берестов). «Любимая секретарша» – она начинала работать у Толстого как литературный секретарь. Они жили в Барвихе. На широкую ногу. А за их спинами рассказывали анекдоты. Утро. В спальню Толстого стучится лакей: «Ваше сиятельство, машина подана. Извольте ехать в ЦК».

Алексей Толстой и Советская власть

Ну, а теперь «песня о главном»: Толстой и власть. Возвращение в СССР было делом большого риска. Трудно было графу вписаться в рабоче-крестьянский интерьер, а еще труднее писать то, что требовалось власти.

23 февраля 1930 года состоялась премьера пьесы Толстого «На дыбе». Критики ее раскритиковали, но «товарищ Сталин» поддержал, указав, однако, что Петр I «выведен недостаточно героически». И в дальнейшем Сталин неизменно поправлял и направлял творчество Алексея Толстого в нужное русло.

В феврале 1942 года Толстой закончил драму «Орел и орлица», и снова коррективы Сталина: «Поменьше внимания

уделяйте женолюбию Ивана Грозного, дайте правильную политическую оценку опричнины как средства борьбы и… – тут вождь сделал небольшую паузу, а потом жестко добавил: – Ликвидации оппозиции».

Вот этот госзаказ на литературу и постоянно выполнял Алексей Толстой. О литературе подобного рода Аркадий Белинков писал как об идеологии властвующей верхушки, которую «с салфеткой в руке обслуживала купленная, проданная, преданная литература».

В 1942 году Толстой подверг ревизии все части трилогии «Хождения по мукам», спрямил и спримитизировал события Гражданской войны, в текст романа «Восемнадцатый год» ввел имя Сталина. И сразу вся трилогия утратила психологическое напряжение и приобрела искусственно-бодряческое «оптимистическое» звучание. Такой же коррекции подверглись «Сестры»: роман, начатый в эмиграции как антисоветский, превратился в свою противоположность – в просоветский.

Про тенденциозный «Хлеб» (1937) и говорить не приходится. Официальный историк академик Минц ставил на полях рукописи Толстого указания: «Сталина больше», «крепче», «больше выделить предательство», «мало презрения» и т. д.

Искореженные произведения тем не менее шли «на ура». Сталин признал и полюбил Алексея Толстого. Подвыпив, Алексей Николаевич бахвалился: «Меня Сталин любит!» Друзьям говорил трезво и со значением: «Я обменялся с НИМ трубками!»

Вот образчик выступления Толстого на митинге в клубе писателей 19 марта 1941 года:

«Сталинская премия – это факел эстафеты на величественном, непомерном и неслыханном в истории пути Советского Союза, нашем пути к коммунизму… Настоящему собранию рапортую о работах, которые я должен выполнить в 1941 году: к маю закончить роман «Хмурое утро» – третью книгу трилогии «Хождение по мукам». К осени этого года начать третью книгу трилогии «Петр I», с тем, чтобы закончить ее в 1942 году. Да здравствует вдохновитель нашего советского творчества товарищ Сталин!»

Вот она, трубка вождя, которую раскуривал Толстой.

Разумеется, не всем нравилось, что говорил и писал Толстой. Среди прочей почты сохранилось письмо одной читательницы, которая писала Толстому как депутату Верховного Совета СССР в ноябре 1937:

«Сегодня я сняла со стены ваш портрет и разорвала его в клочья. Самое горькое на земле – разочарование. Самое тяжелое – потеря друга. И то и другое я испытала сегодня. Еще вчера я, если

можно так выразиться, преклонялась перед вами. Я ставила вас выше М. Горького, считала вас самым большим и честным художником… Вы казались мне тем инструментом, который никогда, ни в каких условиях не может издать фальшивую ноту. И вдруг я услышала вместо прекрасной мелодии захлебывающийся от восторга визг разжиревшей свиньи, услышавшей плеск помоев в корыте… Я говорю о вашем романе «Хлеб»… в «Хлебе» вы протаскиваете утверждение, что революция победила лишь благодаря Сталину. У вас даже Ленин учится у Сталина… Ведь это прием шулера. Это подлость высшей марки!.. Произвол и насилие оставляют кровавые следы на советской земле. Диктатура пролетариата превратилась в диктаторство Сталина. Страх – вот доминирующее чувство, которым охвачены граждане СССР. А вы этого не видите? Ваши глаза затянуты жирком личного благополучия, или вы живете в башне из слоновой кости?… Смотрите, какая комедия – эти выборы в Верховный Совет… Ведь в них никто не верит. Будут избраны люди, угодные ЦК ВКП(б)… Сплошной фарс… Или, может, вас прикормили? Обласкали, пригрели, дескать, Алеша, напиши про Сталина. И Алеша написал. О, какой жгучий стыд!..»

И в конце этого очень эмоционального письма в адрес Алексея Толстого: «Я вас, как художника, искренне любила. Сейчас я не менее искренне ненавижу. Ненавижу, как друга, который оказался предателем».

В оправдание, нет, лучше в понимание Толстого следует сказать, что он, как и многие советские писатели, постоянно жил под страхом репрессий. Он ясно понимал, что «дружба» со Сталиным – это мнимая дружба и она, когда наступит роковой час, не защитит его. И еще надо отметить то, что он, действительно, пел дифирамбы и осанну власти, но в отличие от многих коллег не писал доносов. Более того, пытался некоторых писателей, попавших в беду, защитить, вытащить из лагерей, в частности, своего старого знакомого писателя Георгия Венуса. Толстой непосредственно обращался к Ягоде, а затем к Ежову с просьбой не карать Венуса.

Однако не защитил. Но не его это вина. Над самим Толстым в последние годы его жизни начали сгущаться тучи. Незадолго до его смерти Сталин вызвал к себе Фадеева и приказал раскрыть очередной заговор международных шпионов. По мнению вождя, среди них были писатели Павленко, Эренбург и Алексей Толстой. «Разве вам неизвестно, – спросил Сталин Фадеева, – что Алексей Толстой – английский шпион?»

Не умри Толстой вовремя, не избежать бы ему печальной участи «шпиона» и «врага». Ликвидировали бы, не колеблясь. Но

никаким шпионом Алексей Толстой, конечно, не был никогда. Конформистом? Это стопроцентно всегда.

23 февраля 1945 года Алексей Толстой умер, ушел другом, не успев стать врагом. И газеты кинулись в громкий плач. «Тяжелая утрата», «Писатель великого народа», «Верный сын народа», «С гордо поднятой головой», «Русский талант», «Живой в памяти поколений», – кричали заголовки газет.

Толстой в свете литературы

Толстой как человек ушел. Толстой как писатель остался. Любопытную реплику бросил в далекие 20-е годы управдом дома на Малой Молчановке, где жил Толстой: «Обаятельный господин. Отпускает же столько господь одному!..»

Да, таланта отпустил много. У Толстого был удивительный живописный дар.

«Особенным свойством великих мастеров эпоса является умение сообщать изображаемому подлинность, – отмечал Юрий Олеша. – У Алексея Толстого подлинность просто магическая, просто колдовская!»

21 января 1942 года в Ташкенте Корней Чуковский записал в дневнике об очередной встрече с Толстым:

«Он всегда был равнодушен ко мне – и хотя мы знакомы с ним 30 лет, – плохо знает, что я такое писал, что я люблю, чего хочу. Теперь он словно впервые увидел меня и впервые отнесся сочувственно. Я к нему все это время относился с большим уважением, хотя и знал его слабости. Самое поразительное в нем то, что он совсем не знает жизни. Он – работяга: пишет с утра до вечера, отдаваясь всецело бумагам. Лишь в шесть часов освобождается от бумаг. Так было всю жизнь. Откуда же черпает он все свои образы? Из себя. Из своей внутряной, подлинно-русской сущности. У него изумительный глаз, великолепный русский язык, большая выдумка, – а видел он непосредственно очень мало. Например, в своих книгах он отлично описал 8 или 9 сражений, а ни одного никогда не видел. Он часто описывает бедность, малоимущих людей, а общается лишь с очень богатыми. Огромна его художественная интуиция. Она-то и вывозит его…»

В книге «Люди и встречи» Владимир Лидин говорил о Толстом, что он чувствовал русский язык, как музыкальная душа чувствует музыку. В эпохе Ивана Грозного и Петра I он чувствовал себя своим человеком. И далее: «Толстой может служить образцом писательского трудолюбия. Завет Плиния «Nulla dies sine linea» («Ни дня без строчки» – *лат.*) мог бы служить девизом

Толстого. Какая бы ни была шумная ночь накануне, как бы поздно он ни лег, – утром Толстой был в труде. Поставив рядом кофейничек с черным кофе, он уже стучал на машинке – поистине великий трудолюбец, писатель по профессии…»

Тому же Лидину Толстой пенял в 1922 году в Берлине: «– Слушай, что у вас случилось с языком? Все переставлено, глагол куда-то уехал».

О себе Алексей Толстой рассказывал: «На работе я переживаю три периода: начало – обычно трудно, опасно. Когда чувствуешь, что ритм найден и фразы пошли «самотеком», – чувство радости, успокоения, жажды к работе. Затем, где-то близ середины, наступает утомление, понемногу все начинает казаться фальшивым, вздорным, – словом, со всех концов – заело, застопорило. Тут нужна выдержка: преодолеть отвращение к работе, пересмотреть, продумать, найти ошибки… Но не бросать – никогда!..»

«Я люблю процесс писания: чисто убранный стол, изящные вещи на нем, изящные и удобные письменные принадлежности, хорошую бумагу…»

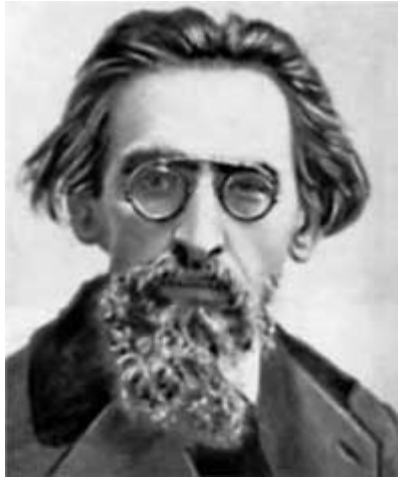
Эстет творческого труда.

И еще одно высказывание Толстого: «Игра со словом – это то наслаждение, которое скрашивает утомительность работы. Слово никогда нельзя найти, отыскать – оно возникает, как искра. Мертвых слов нет – все они оживают в известных сочетаниях».

Алексей Толстой точно подметил, что «искусство… основано на малом (сравнительно с наукой) опыте, но на таком, в котором уверенность художника, «наглость» художника, вскрывает обобщения эпохи».

Вот, пожалуй, и все, если коротко вспоминать Алексея Толстого. Недавно вышла толстая книга о нем в серии ЖЗЛ, его автора Алексея Варламова терзали критики на осенней книжной ярмарке Non-fiction: какие, мол, чувства вызывает личность Алексея Толстого? Варламов ответил: «Восхищение и жалость». Если бы спросили меня, то я оставил бы «восхищение», но «жалость» заменил бы «сожалением».

Философ в тисках судьбы. Лев Карсавин (1882–1952)



То и дело раздаются утверждения, что в России никогда не было настоящей философии. На западе Кант, Гегель, Шопенгауэр, Хайдеггер, Гуссерль и т. д., а у нас, мол, никого не было. Нет, в России были мыслители и философы. Один из них – Лев Карсавин.

Лев Платонович Карсавин родился 1 (13) декабря 1882 года в Петербурге в семье танцовщика Мариинского театра. Дочь Тамара Карсавина пошла по стопам отца и стала такой же великой балериной, как Анна Павлова. Сын Лев «пошел в мать»: она была склонна к размышлениям, вела тетрадь «Мысли и изречения», к тому же приходилась племянницей Алексею Хомякову, поэту, публицисту и философу, основателю славянофильства.

Уже в старших классах гимназии в Льве Карсавине был явственно виден будущий ученый. Он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и здесь оказался «самым блестящим из всех». В 1910–1912 годах Карсавин был командирован во Францию и Италию для работы в архивах и библиотеках. Вел большую преподавательскую и исследовательскую работу, защитил докторскую диссертацию «Основы средневековой религиозности». С 1915 года – профессор.

Современники вспоминали уютный кабинет Карсавина со стеллажами книг, красивой ампирной мебелью и большой картиной на стене – репродукция «Рождение Венеры»,

привезенная из Италии. В такой обстановке ученый принимал гостей и интенсивно работал. Если вспоминать его первые публикации, то это работа, посвященная истории конца Римской империи, и сборник стихов «Иллюзии… Мечты…» (1903).

В период с 1918 по 1923 годы статьи и книги Карсавина выходили одна за другой. Из статей следует выделить: «О свободе», «О добре и зле», «Глубины сатанинские», «София земная и горняя», «Достоевский и католичество». Отдельными изданиями вышли книги «Католичество», «Введение в историю», «Джордано Бруно», «Восток, Запад и Русская идея», последняя посвящена «взыскующему граду евразийства». В ней Карсавин выдвинул мысль о духовном синтезе православного Востока с культурой Запада.

Всю свою жизнь Карсавин напряженно размышлял о жизни и смерти. Эти размышления составили главный труд его земного существования, что, естественно, не могло не отразиться на его внешности. Как вспоминал один современник, «несмотря на его довольно выраженные черты лица, с него, с его длинными волосами, тонкой длинноватой заостренной бородой, так же, как и с Соловьева, можно бы было писать Христа. Его эрудиция была огромной и выливалась в свободной беседе, не утомляя слушателей».

В канун революции и в первые годы после нее Карсавин не только пишет статьи и книги, но и выступает с докладами, лекциями, участвует в многочисленных вечерах, диспутах и заседаниях. Карсавин не был сторонником большевизма, но и в то же время твердо верил в глубинный творческий смысл русской революции. И что совсем удивительно: после Октября читал проповеди в петербургских церквях и преподавал в основанном тогда православно-богословском факультете, что, конечно, не понравилось новым властям, и в газетах замелькали формулировки: «ученый мракобес», «средневековый фанатик», «сладкоречивая проповедь поповщины», «галиматья», «бессмысленные теории»… В России любят бить наотмашь, когда человек выделяется своим своеобразием и не хочет ходить со всеми в одном строю. А Карсавин по природе был вольнолюбивым и непокорным, не приемлел диктат и предпочитал двигаться против течения. «Тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют», – писал он в 20-е годы.

Таких профессоров, как Карсавин, Ленин не терпел, он боялся всех этих мятежников духа. И как следствие нелюбви и страха вождя – «философский пароход», который отправил независимых мыслителей подальше от России. 16 августа 1922

года Карсавин был арестован работниками ГПУ, а 15 ноября того же года выслан на пароходе «Пруссия» вместе с другими русскими философами.

Профессору Карсавину, как и другим его коллегам по философии, истории и литературе, пришлось изведать все мытарства вынужденной эмиграции: сначала Берлин, затем Париж. Приходилось с превеликим трудом зарабатывать деньги, и Карсавин даже попробовал себя в качестве статиста на киностудии. Режиссер, увидев нового человека в массовке, тут же предложил ему роль… профессора философии. Но не кино главным было для Льва Платоновича, он продолжал свои научные работы, выпустил монографию «Философия истории», публиковал статьи на русском, немецком, итальянском и чешском языках. Сблизился с церковью. Вместе с Бердяевым, Лосским и Франком участвовал в сборнике «Проблемы русского религиозного сознания». В 1927 году Карсавин получил приглашение из Оксфорда, но его не принял (а если бы принял, то сохранил бы свою жизнь). Ему хотелось быть поближе к России, и он занял кафедру Литовского университета в Каунасе. И через год уже писал по-литовски. Ученые Литвы гордились, что в их ряды влился такой блистательный человек, как Карсавин, а в социалистической России о нем и не вспоминали: белый эмигрант – кому он нужен.

В Литве Карсавин пишет работу об идеях христианской метафизики и в 1923 году «Поэму о смерти», после выхода которой литовские друзья говорили о Карсавине: «Это наш Платон». Одна лишь фраза из «поэмы»: «Разверзается пучина адская; и в ней, как маленькая капля в океане, растворяется бедная моя земная жизнь…» Как человек тонкой психической организации, он предвидел свое будущее. И выдвинул формулу-девиз «И жизнь через смерть», то есть всякая жизнь через добровольную смерть, уподобляясь Христу.

В 1940 году (это уже в СССР) Карсавин переезжает из Каунаса в Вильнюс, преподает в университете, но вскоре его отставляют от профессорства и в 1946 году и вовсе увольняют из университета (старые эмигрантские грехи?). 9 июля 1949 года Карсавин подвергается аресту, затем приговор (10 лет строгого режима), и в декабре 1950 года он этапирован на Воркуту.

Здоровье Карсавина подорвано, начался открытый туберкулезный процесс, и он попадает в Абезь, инвалидный лагерь. За два неполных года в бараках Абези им создано не менее десяти сочинений, включая квинтэссенцию своей философии в форме венка сонетов и цикла терзин (барак, холод, голод, унижение и… классические стихи!). Карсавин и в лагере

нашел своих учеников, один из них – Анатолий Ванеев – оставил воспоминание об учителе. Как работал Карсавин? «Он устраивался полусидя в кровати. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры на них служили ему как бы пюпитром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал – прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывая работу лишь для того, чтобы подточить карандаш или разлиновать очередной лист…»

И далее Ванеев вспоминал: «Во всем, что говорил Карсавин, меня притягивала некая особая, до этого неведомая существенность понимания. Карсавин умел говорить, нисколько не навязывая себя. О вещах, самых для него серьезных, он говорил так, как если бы относился к ним несколько шутливо. И, когда он говорил, сдержанно-ласковая полуулыбка на его лице и алмазный отблеск в теплой черноте глаз как бы снимали расстояние между ним и собеседником».

Скончался Лев Карсавин 20 июля 1952 года в изоляторе для безнадежных, на 70-м году жизни. Перед смертью исповедовался ксендзу на литовском языке (православного священника рядом не оказалось). Так как умерших зэков хоронили в безымянных могилах, врач-литовец и Ванеев решили вложить во внутренности усопшего закрытый флакон с запиской, в которой было сказано, кто такой Лев Карсавин. И в конце записки: «Прощайте, дорогой учитель. Скорбь разлуки с вами не вмещается в слова. Но и мы ожидаем свой час в надежде быть там, где скорбь преображена в вечную радость».

Вот такая тайная эпитафия была сделана на кладбище, где только высятся маленькие холмики и нет никаких имен. Жертвы великой сталинской эпохи.

В своих трудах Карсавин выражал русскую религиозную мысль и постоянно вел диалог с Богом.

> А я постичь Твою незримость чаю.
> Отдав себя несущей ввысь мольбе,
> Подъемляся, неясно различаю,
> Что есть и то, что может быть в Тебе, —

так писал Карсавин в «Сонете XII».

Три главных работы оставил нам Карсавин: «Философия истории», «О началах», «О личности». И еще «Историю европейской культуры» в 5-ти томах. Рукопись 6-го тома была изъята при аресте и утрачена. Вот и все о Карсавине, если не вдаваться в его философские глубины. А в конце все же приведем

одну короткую цитату, отнюдь не философскую, а ментальную:

«Если русский человек верит в абсолютное значение своего труда, он не щадит себя и границ не знает, обнаруживая энергию сверхчеловеческую, «до смерти работает». Если такого значения в действительности своей не усматривает, он поражает своею ленью и недвижностью, считает волю бездельем, работу рабством и «до полусмерти пьет»…» (из статьи «О сущности православия»).

Интересно, читают ли современные кормчие и вожди России труды Льва Карсавина?..

Поэзия и лакейство. Демьян Бедный (1883–1945)

Когда Нижний Новгород переименовали в советские времена в Горький, писатель Борис Лавренев воскликнул: «Беда с русскими писателями: одного зовут Михаил Голодный, другого Демьян Бедный, третьего Приблудный – вот и называй города». Самым знаменитым из этой троицы был Демьян Бедный. О нем и вспомним.

Сегодня Демьяна Бедного помнят лишь знатоки русской поэзии. А когда-то!.. Нарком просвещения Луначарский говорил: «У нас есть два великих писателя: Горький и Демьян Бедный, из которых один другому не уступает…» В мемуарах Эренбург с горечью писал, что школьники в основном знают трех писателей: Пушкина, Максима Горького и Демьяна Бедного. Их проходят, изучают. А вот Достоевского не проходят…

Возникает вопрос: как же так? Был в фаворе, а ныне полное забвение? Ответ лежит в жизни и творчестве Демьяна Бедного. Поучительная судьба художника, отдавшего свою лиру в услужение власти. Поэт-большевик. Еще немного, и Маяковский пошел бы по этому неверному пути, но вовремя «поставил точку-пулю в конце». А Демьян Бедный хлебнул лиха, когда впал в немилость вождей.

Вспомним биографию Демьяна, который на самом деле Ефим Алексеевич Придворов. Демьяном Бедным звали дядю поэта, бескорыстного поборника правды – отсюда и псевдоним. Родился наш герой 1 (13) апреля 1883 года в деревне Губовка Херсонской губернии, в крестьянской семье. Отец будущего поэта служил позднее уборщиком при церкви и носильщиком на вокзале. Мать

Демьяна по происхождению казачка и, как отмечено в «Автобиографии», «держала она меня в черном теле и била смертным боем». Грамоте Демьян научился рано и рано начал зарабатывать деньги – писал прошения крестьянам, читал псалтырь по покойникам. Ну, а в сельской школе познакомился с русскими классиками. Особенно увлекался Лермонтовым, Некрасовым, Львом Толстым и Надсоном. В третьем классе написал свой первый сатирический стих на какого-то четвероклассника, за который его «здорово поколотили».

После военно-фельдшерской школы в Киеве, где Демьян Бедный был представлен как лучший ученик инспектору-попечителю великому князю Константину Константиновичу (он же поэт К. Р.). Великий князь поспособствовал дальнейшему обучению, и в 1904 году Демьян Бедный поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Звание действительного студента давало ему право жить в Петербурге и заниматься литературной деятельностью.

Если вспоминать поэта К. Р., то это —

цветущую я созерцаю землю
и, восхищен, весне и ночи внемлю…
Какая тишина! Какой восторг!

У поэта Демьяна Бедного никакого созерцания, никакого восхищения и никакого восторга! У него совсем иное мироощущение и другие эмоции.

Одно из первых стихотворений, опубликованных в «Киевском слове» в 1899 году, начиналось так: «Пылая ревностью, полна обиды, гнева…» Затем пошла романсовая, в основном любовная лирика (как дань молодого возраста?), но знакомство с заведующим стихотворным отделом журнала «Русское богатство» Петром Якубовичем изменило всё. «Не лирика – главное ваше призвание…» – сказал Якубович и развернул Демьяна Бедного к общественно-политическим темам. И понеслись новые мотивы: «С тревогой жуткою привык встречать я день…», «Не примирился – нет!» и т. д. Встреча с большевиком Бонч-Бруевичем окончательно повернула Бедного к марксизму. Он начал сотрудничать в большевистской газете «Звезда», а когда появилась «Правда», то почти в каждом ее номере.

Один из его сатирических фельетонов назывался «О Демьяне Бедном – мужике вредном». Нет, он был не вредный, а верный: как начал служить большевистским знаменам, так служил им до конца. Верно. Пламенно. Горячо. По собственным словам, он стал «присяжным фельетонистом большевистской прессы». «С 1912

года, – писал Демьян Бедный, – жизнь моя как струнка… То, что не связано непосредственно с моей агитационно-литературной работой, не имеет особого интереса и значения».

Демьян Бедный лихо критиковал продажность и демагогию 4-й Думы, клеймил церковников-мракобесов, гневно откликался на Ленский расстрел, – короче, «Полна страданий наша чаша». Его приметил Ленин, и с 1912 года началась переписка между вождем и Демьяном Бедным. Ленин практически взял Бедного под свою опеку и писал товарищам по партии: «Талант – редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех… перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, не поможете ему».

И притянули и помогли. В одной только «Правде» до революционного переворота Демьян Бедный опубликовал 97 сатирических стихов, басен, памфлетов, пародий. Занимался по существу политической работой: высмеивал октябристов и кадетов, меньшевиков и эсеров, осуждал либерализм, обличал самодержавие, издевался над церковью и призывал «грабить награбленное», агитировал за советскую власть и за Красную Армию, писал памфлеты на белых генералов и на лидеров Антанты и прославлял Ленина. То есть всю программу большевиков Демьян Бедный рифмовал и публиковал в доступных народу простеньких и хлестких строчках.

Гудит-ревет аэроплан.
Летят листки с аэроплана.
Читай, белогвардейский стан,
Посланье Бедного Демьяна…

…Сметя врагов стальным дождем,
Докажем всем шипящим змеям,
Что с нашим раненым вождем
Мы победить весь мир сумеем.
Мир торгашей и богачей
Напором пламенным разрушим…

Строчки, стоп! И надо сделать остановку и дать ремарочку: прошли десятилетия, и где этот «мир торгашей и богачей»? Батюшки-светы! Да он совсем рядом. За что боролись, товарищ Демьян Бедный?!

Как упоенно читали в тогдашние времена все эти агитки Демьяна, ведь, как он декларировал:

Прост мой язык, и мысли тоже:

В них нет заумной новизны, —
Как чистый ключ в кремнистом ложе,
Они прозрачны и ясны.

Первая книга «Басни» Демьяна вышла в 1913 году. Один из критиков отмечал: «Хороший, простой и сильный русский язык, местами вульгарный, местами даже грубый, но всегда соответствующий теме и ею оправдываемый; остроумие, прикрывающее редко злую, а чаще всего добродушную усмешку автора, меткость эпитетов – вот достоинства басен Демьяна Бедного».

«Баснописец четвертого сословия», – сказал Бонч-Бруевич. В 1916 году вышла вторая книжка «Диво дивное и другие сказки», ну, а потом пошли сплошные агитезы на большевистском масле. Даже Ленин однажды фыркнул: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». А Бедный, кстати говоря, написал о Ленине одно из лучших советских посвящений вождю:

Никто не знал. Россия вся
Не знала, крест неся привычный,
Что в этот день, такой обычный,
В России… Ленин родился!

Ленинские угрозы советизировать Россию, задушить всех богатых и облагодетельствовать всех бедных Демьян выразил в поэме «Главная улица» (1917–1922), где изображена железная поступь народа:

Главная улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется – клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный, —
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
– Эй, опускайте железные шторы!
– Скорей!
– Скорей!

—Скорей!..

И надежда на то, что полиция-милиция защитит богатых и проучит этих «проклятых зверей» – бедняков и изгоев. А пока – «Главная Улица стонет / Под пролетарской пятой!»

И снова маленькое отвлечение: а современные жители Рублевки и прочих элитных мест не боятся, не дрожат, не просыпаются в холодном поту, что идет народ?..

Но вернемся к Демьяну. Он написал издевательские стихи над Православной церковью и Священным писанием – «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Верующие были крайне возмущены, и вскоре в 1926 году в списках стало распространяться «Послание к Евангелисту Демьяну», через год оно было напечатано в Париже. Кто автор ответа? Неизвестно. По одной из версий – Сергей Есенин:

Не знаю я, Демьян, – в Евангелье твоем
Я не нашел правдивого ответа,
В нем много бойких слов, ох, как их много в нем,
Но слова нет, достойного поэта…
……
Ты сгустки крови у креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.
Но ты свершил двойной тяжелый грех:
Своим дешевым балаганным вздором
Ты осквернил поэтов вольный цех,
И малый свой талант покрыл позором…

Возможно, что это писал не Есенин. Но Есенин и Демьян Бедный находились в те годы в контрах. Бедного обожала власть, а Есенин лишь бился за свое признание. Демьян воспевал вождей, партию и все, что было связано с ними, а Есенин откровенно говорил: «Конечно, мне и Ленин не икона». Признавался, что не раскрывал «пузатый «Капитал»: «Ни при какой погоде/ Я этих книг, конечно, не читал». В «Стансах» Сергей Есенин возмущенно писал:

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам,
Пускай бываю иногда я пьяным,

Зато в глазах моих
Прозрений дивный свет.

Увы, за этот «дивный свет» платили до обидного мало. В воспоминаниях о Есенине Галина Бениславская писала: «Неужели ж можно было посадить Е. на построчную плату, и больше никаких? Так он долго выдержать не мог. Не раз приходилось спорить с С. А., когда он вопил, что его у себя дома (в России) обижают, что Демьян Бедный получил в Госиздате 35000 рублей, а он, Есенин, сидит без денег. Когда после этого он буквально благим матом орал: «Отдай, отдай мои деньги!» – всегда приходилось его успокаивать и убеждать, что гонорары Демьяна Бедного его не касаются… Но честно, без всякой педагогики оценивая это соотношение гонораров Есенина и Бедного, трудно не возмутиться. Демьяна, как в хозяйстве дойную корову, держат в тепле и холе, а Е. – хоть под забором живи…»

Сергей Есенин, «как жену чужую, обнимал березку» и печально жаловался: «Ты меня не любишь, не жалеешь…» А Демьян Бедный сочинял совсем иное:

Писал я, друзья, не для славы,
Не для легкой забавы,
Не для сердечной услады,
Не сладкие рулады.
Не соловьиные трели
Выводил я на нежной свирели:
Просты мои песни и грубы.
Писал я их, стиснувши зубы.
Не свирелью был стих мой – трубой,
Призывающей вас всех на решительный бой
С мироедской разбойной оравой.
Не последним бойцом был я в схватке кровавой…

На эту демьяновскую свирель откликнулся поэт Борис Зубакин, защищая Есенина от нападок Бедного, он писал:

И звон моцартнейшей свирели
Покрыл демьянистых – «Сальери».

В том давнем поэтическом соревновании Демьян Бедный – Сергей Есенин Демьян явно выигрывал, ибо опирался на неподготовленных людей, малообразованных и не отягощенных

культурой читателей, для которых «борьба» и «народная правда» были ближе всякой «лирики» и «чувств». Другими словами, Демьян Бедный полагался в основном на популизм. О популярности Демьяна Бедного говорит тот факт, что в 20-е годы общий тираж его книг составил свыше 2 миллионов экземпляров (больше, чем у Максима Горького, Маяковского и Пильняка вместе взятых).

Демьяна Бедного ценил не только Ленин, но и Лев Троцкий. «Если это не «истинная» поэзия, то нечто больше ее», ибо, по мнению Троцкого, Демьян Бедный пишет не «о революции», а «для революции». Такая вот оценка. И награда. В приказе № 279 от 22 апреля 1923 года председатель Реввоенсовета Республики Троцкий отметил, что «Демьян Бедный, меткий стрелок по врагам трудящихся, доблестный кавалерист слова, награжден ВЦИК – по представлению РВСР – орденом Красного Знамени».

«Кавалеристу слова» – перо, шашку и книги в руки! Полное собрание сочинений Демьяна Бедного, вышедшее в 1925–1933 годах, составило 10 томов. Читайте и наслаждайтесь! Луначарский утверждал, что Демьян Бедный открыл «новый метод поэзии», допускающий смешение публицистики и ритмической речи, сырого жизненного материала и художественной техники, партийных директив и «массовых форм», соединяющих «разительность» и «наивность», а потому действенных и доступных. Ну, разве не могли нравиться такие строки-призывы:

Мы бьемся, мы бьемся упорно и смело
За наше народное общее дело,
За светлую жизнь бедняков!

И короткий, но очень понятный разговор:

Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!..

Ну и «Проводы» – комсомольская песня:

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне
Ради бога.
Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?..»

Просто и доходчиво, в стиле чемпиона, то бишь Демьяна Бедного. Поэт-большевик, поэт-агитатор в упоении своей популярностью как-то не заметил, как стали меняться времена и сталинская политика, от былой революционности к новой державности. Демьян не понял, что строится не бедняцкое государство рабочих и крестьян, а великая империя, мощная и грозная. В моду входил великий русский народ, а Демьян Бедный талдычил свои старые песни. 6 декабря 1930 года грянул гром: постановление секретариата ЦК ВКП(б), осудившее стихотворные фельетоны Бедного «Слезай с печки!» и «Без пощады». Фельетонисту-баснописцу объяснили, что в последнее время в его произведениях «стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского»… в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских».

Какая лень? Какая печка? Вся страна в грохоте индустриализации и коллективизации. «На просторах родины чудесной, / Закаляясь в битвах и труде…» (как писал Алексей Сурков в песне, посвященной Сталину). Битва и труд, а не лень и не печка!

Демьян Бедный обиделся на критику в свой адрес и написал письмо Сталину: за что обижают?!. Вождь резко ответил, заявив, что знает, «как надо читать поэтов», и упрекнул Бедного в зазнайстве: «Критика недостатков жизни и быта в СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее».

Это был, выражаясь шолоховским языком, настоящий «отлуп». Начало сталинской опалы. А тут и еще одна пикантность: Демьян Бедный имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Вести дневник, живя в Кремле, а Демьян жил в кремлевских

апартаментах, – дело рискованное. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Эта запись, конечно, возмутила вождя. Мгновенно изменилось и отношение партийных сановников к Демьяну Бедному – от восторга и почтения к холодному равнодушию и безразличию.

Неприятна была для Демьяна Бедного и восходящая звезда Бориса Пастернака. Есенин и Маяковский ушли из жизни, так – нате! – вошел в силу и в моду Пастернак!..

1934 год – первый съезд советских писателей. Демьян Бедный – грузный, бритоголовый, большой – упрекал главного докладчика по разделу поэзии Николая Бухарина в «склонности к бисквитам» и заявил, что, делая ставку на Пастернака, докладчик культивирует сверхутонченную лирику, или, как выразился Демьян, «поэтический торгсин для сладкоежек». И допустил личный выпад против Бухарина, что он-де «старчески щурит глаза». В ответ Бухарин высмеял всю «фракцию обиженных» (Демьян Бедный, Сурков, Жаров, Инбер, Безыменский).

1 декабря 1934 года убили Кирова, страна впала в шок. Демьян Бедный решил подыграть власти и напасть на троцкистскую «левую оппозицию». Он написал стихотворение «Пощады нет!», в котором в своем привычном стиле псевдорусского лубка изобразил радостную попойку «Левки» (Льва Каменева) и «Гришки» (Григория Зиновьева) после убийства Сергея Кирова:

Среди закусок и бутылок,
Надеясь на стенной бетон,
Смеялись: «Ха-ха, а ловко это он
Угробил Кирова!» – «В затылок!
Звук выстрела, короткий стон
И – крышка!»
«Пей, Левка, за успех!» —
«За наше дело, Гришка!»

Сработано и написано чересчур грубо: Демьяну захотелось быть больше роялистом, чем сам король. Бедного вызвал в Кремль Лазарь Каганович и резко отчитал за такие стихи (Сталин в это время отдыхал на Кавказе).

Еще один прокол Демьяна Бедного произошел в 1936 году, когда он написал либретто для оперы «Богатыри», на музыку Бородина. Задумывалась опера-фарс. Бедный решил спародировать отдаленное прошлое Руси и попутно высмеять в духе официально разрешенной антирелигиозной пропаганды обряд крещения. Снова вышло грубо и топорно.

29 октября в Камерном театре Александра Таирова состоялась премьера «Богатырей», а 13 ноября спектакль посетил Вячеслав Молотов, правая рука Сталина. Посмотрел, возмутился, и на следующий же день Политбюро приняло решение о запрещении спектакля. Комитет по делам искусств Совнаркома СССР принял параллельное решение «О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного», в нем, в частности, говорилось, что опера-фарс огульно чернит богатырей русского былинного эпоса и антиисторически и издевательски изображает крещение на Руси.

Это окончательно запугало и деморализовало Бедного (могли и посадить, и расстрелять). Чтобы как-то отмазаться и выслужиться перед властью, Демьян пишет басню «Борись или умирай» на международную тему и посылает ее на предварительный просмотр, то бишь, на цензуру Сталину. 20 декабря 1937 года вождь написал ответ «на имя Демьяна» и послал его главному редактору «Правды» Льву Мехлису, письмо, естественно, было опубликовано. Басня Демьяна Бедного в нем была названа «литературным хламом».

Это уже был сигнал к репрессиям: в 1938 году Демьяна Бедного исключили из партии, в которой он состоял аж с 1912 года (восстановлен был лишь посмертно в 1956-м). Исключили Демьяна и из Союза писателей. В течение четырех лет ему было запрещено печататься. Вот так с пьедестала был свергнут Демьян Бедный, и ему, естественно, пришлось лихо. Многие коллеги, потирая руки от падения былого кумира, вспоминали с удовольствием старую эпиграмму Луначарского на Бедного:

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б», ты, правда, «ж»,
Но все же ты не Беранже.

Лев Никулин, вспоминая Бедного, писал: «Умница, он насквозь видел льстецов, но все-таки был падок на лесть, всегда при нем кто-то состоял в качестве адъютанта, только его положение пошатнулось, приближенных не стало. А было время, когда его, конечно, за глаза называли вельможей, и не без основания… жил в Кремле… В разговоре Демьян никого не щадил, в том числе и товарищей, занимавших высокие посты, но сам он очень тяжело переживал критику, которой подвергся в годы перед второй мировой войной…»

Денег не было, и Демьяну Бедному пришлось жить, продавая книги из своей личной библиотеки, а она была у него богатейшая, включая раритеты, изданные Смирдиным. «Много уникумов, –

говорил ранее Бедный. – Я трачу на нее три четверти всего, что зарабатываю». Много досталось редких книг собирателю и от царских сундуков, которые ему пришлось разбирать, как члену специальной комиссии. «Чулки… бриллианты… записные книжки… Бриллианты – черт с ними. Кто взял эти бриллианты, я не знаю, но я такой жадный на записные книжки…» – рассказывал Демьян Бедный Корнею Чуковскому.

Из дневника Чуковского от 14 мая 1924 года: «Сегодня в Госиздате встретился с Демьяном Бедным впервые. Умен. И, кажется, много читает. Очень любит анекдоты… «Был я сейчас в Севастополе. Пришел ко мне интервьюэр. Я говорю ему: – Знаете, я такой суеверный. – Вы суеверный? – Да, я. Я заметил, что когда меня кто-нибудь интервьюирует, он сейчас же умирает. – Умирает? – Да… – Ой! – и репортер убежал».

Но это были золотые годы Демьяна Бедного, когда он был на пике популярности и любил шутить и подсмеиваться над другими. В ответ кто-то юморил: «Прежде литература была обеднена, а теперь она огорчена», – шутка о Бедном и Горьком.

В первый год Отечественной войны Демьян Бедный опубликовал в «Правде» стихотворение «Я верю в свой народ». Это было его возвращение в печать. Он активно писал басни и памфлеты. «Гитлер и смерть», «Прилетела ворона издалеча – какова птица, такова ей встреча» и т. д.

Демьян Бедный был болен, его мучили диабет и гипертония. В «Автоэпитафии» он заявил, что «долг исполнил свой» и смерти не боится. 25 мая 1945 года в санатории в Барвихе Демьян Бедный скоропостижно скончался, за обеденным столом. Демьян Бедный прожил 62 года.

Демьян умер, а его литературная судьба продолжалась. 24 апреля 1952 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О фактических грубейших политических искажениях текстов произведений Демьяна Бедного». Сокрушительной критике подверглись два его сборника – «Избранное» (1950) и «Родная армия» (1951). Ругали и Демьяна Бедного, и редакторов, которые включили в книги не те тексты, которые нужны, короче, «либерально-буржуазная фальсификация текстов». В постановлении ЦК особо подчеркивалось, что «Д. Бедный улучшал свои произведения» и «вносил в них исправления под влиянием партийной критики». Гослитиздату было поручено подготовить собрание сочинений Бедного под строгим контролем ЦК, и в 1954–1955 годах увидел свет последний пятитомник Демьяна. И посмертно, оказывается, он мог служить тоталитарному режиму и выполнять «очередные задачи Советской власти».

Лакейство и поэзия – вещи несовместимые, и это прекрасно доказал на своем примере Демьян Бедный. Необходимо вспомнить и Владимира Маяковского, которого тоже сгубила ангажированность власти. «Он писал хорошо до революции, – сказала о Маяковском Анна Ахматова, – и плохо – после. От Демьяна не отличить».

Понимал ли Демьян Бедный, что он продал за рубли свою Музу?

Колеса снова застучали.
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу.
К чему? Я сросся с бодрой маской…

Вот эта маска и осталась в истории советской литературы. А подлинное лицо Демьяна Бедного уже и не разглядеть.

У времени в плену. Борис Пастернак (1890–1960)

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Борис Пастернак.
Нобелевская премия, 1959

Борис Пастернак… Его после смерти называли: «Гамлет XX века», «Рыцарь русской поэзии», «Заложник вечности», «Неуставный классик», «Лучезарная душа», «Один на всех и у каждого свой»…

Поэт из поэтов родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве. Отец – известный художник Леонид Пастернак, мать – одаренная пианистка Розалия Кауфман. Борис Пастернак мог стать художником (под влиянием отца), музыкантом (его благословлял Скрябин), ученым-философом (учился в Германии, в университете Марбурга), но стал поэтом. Окончательный поворот к поэтическому творчеству состоялся в 1912 году: «Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о летнем доме, о каменном угле Гарца», – вспоминал Пастернак в автобиографической «Охранной грамоте».

И еще одно важное признание: «С малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному…»

Во всем мне хочется дойти
До самой сути,
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

И все же Пастернак был скорее иррационален, чем рационален. Он жил чувствами.

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит…

Состояние «навзрыд» стало визитной карточкой поэта на раннем этапе. Позднее он тяготел к простоте, но так и не стал простым поэтом для народа, а остался кумиром для избранных.

В 1913 году вышел первый поэтический сборник поэта «Близнец в тучах» тиражом 200 экземпляров. За густоту насыщения ассоциативными образами и парадоксальными метафорами Пастернака обвинили в «нерусской лексике».

Не избежал поэт и влияния модного в начале XX века футуризма, особенно после знакомства с Маяковским. Но в дальнейшем пути Пастернака и Маяковского разошлись. Марина Цветаева отмечала различную ценность и сущность Пастернака и Маяковского: «У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже… множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит… На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спеваются… Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем… Пастернак – чара. Маяковский – явь, белейший свет белого дня… От Пастернака думается. От Маяковского делается…» (1932).

В декабре 1916 года вышла книга Бориса Пастернака «Поверх барьеров», в которой он отказался от «романтической манеры», и «новые мысли» бились, как золотые рыбки в металлическом садке. В новой книге ярко проявилась особенность поэтики Пастернака: он примелькавшуюся действительность волшебным образом почти всегда переводил в «новую категорию», то есть ее преобразовывал.

Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых…

Летом 1917 года Пастернак собирает книгу «Сестра моя жизнь». Выйдя из печати в 1922 году, она делает автора знаменитым. Ранее стихи, входящие в книгу, ходили в списках. Как отмечал Брюсов: «Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии». Многие поняли, что Пастернак – поэт даже не от Б-га, а сам Б-г сочинитель, тайновидец и тайносоздатель, хотя сам Пастернак часто себя представлял в стихах всего лишь как «свидетель» – свидетель мировой истории.

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

А как не процитировать хотя бы начало стихотворения Пастернака «Определение поэзии»?

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.

Вот так лирично и мощно начинал Пастернак. Затем последовали повесть «Детство Люверс», сборник «Темы и вариации», поэмы «Высокая болезнь», «Спекторский». В 1931 году вышла «Охранная грамота», в 1932 – «Второе рождение». В этой книге Пастернак окончательно отверг футуристическую поэтику и перешел к многослойности стиха, его смысловой ясности.

В 30-е годы положение Пастернака было весьма двойственным. Как точно определил сын и биограф поэта Евгений Пастернак, «все, за малым исключением, признавали его художественное мастерство. При этом его единодушно упрекали в мировоззрении, не соответствующем эпохе, и безоговорочно требовали тематической и идейной перестройки…»

Место Бориса Пастернака в советской литературе определил кремлевский бард Демьян Бедный:

А сзади, в зареве легенд,

Дурак, герой, интеллигент.

От поэта требовали верноподданнического служения, а он этого не понимал – скорее, не хотел понимать. «Он слышал звуки, неуловимые для других, – отмечал Илья Эренбург, – слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века так и не расслышал…» Об этом свидетельствует и телефонный разговор Пастернака со Сталиным в мае 1934 года. Пастернак пытался защитить арестованного Мандельштама, а заодно поговорить с вождем о жизни и смерти, но Сталин оборвал поэта-философа: «А вести с тобой посторонние разговоры мне незачем».

У Наума Коржавина на сей счет есть замечательные строчки:

И там, в Кремле, в пучине мрака,
Хотел понять двадцатый век
Суровый жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Да, Сталин вряд ли понимал Пастернака и вообще считал его человеком не от мира сего. Может быть, поэтому и не тронул, оставил в саду поэзии как экзотический цветок.

В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Борис Пастернак – делегат съезда. В отчетном докладе о поэзии Николай Бухарин сказал: «Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня… Он, безусловно, приемлет революцию, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума быта, от страстной борьбы. Со старым миром он идейно порвал еще во время империалистической войны и сознательно стал «поверх барьеров». Кровавая чаша, торгашество буржуазного мира были ему глубоко противны, и он «откололся», ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких… Это – воплощение целомудренного, но замкнутого в себе, лабораторного искусства, упорной и кропотливой работы над словесной формой… Пастернак оригинален. В этом и его сила и его слабость одновременно… оригинальность переходит у него в эгоцентризм…»

Юлил Бухарин: любил Пастернака, но вынужден был его критиковать. О Пастернаке на писательском съезде говорили многие. Алексей Сурков отметил, что Пастернак заманил «всю вселенную на очень узкую площадку своей лирической комнаты». И, мол, надо ему выходить на «просторный мир»…

В 1936 году Борис Леонидович начал обустраиваться в

подмосковном Переделкине. Вел себя крайне независимо. В 37-м отказался поставить подпись под обращением писателей с требованием расстрелять Тухачевского и Якира. Отказ как вызов власти. Пастернака и тут не тронули – просто перестали печатать. Лишь в 1943 году вышла книга стихов «На ранних поездах», а летом 45-го – последнее прижизненное издание «Избранные стихи и поэмы». В 1948 году весь тираж «Избранного» уничтожили. И на долю поэта остались лишь переводы – жить-то было надо!

Гул затих. Я вышел на подмостки… —

это начало стихотворения «Гамлет». А заканчивается оно пронзительным ощущением одиночества:

Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти.

В начале 1946 года Пастернак, по его словам, приступает к «большой прозе». Первоначальные «Мальчики и девочки» переросли в роман «Доктор Живаго», завершенный к осени 1956 года. Как известно, роман попал за границу. 23 октября 1958 года Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию. И тут началась истеричная травля писателя: как он посмел отправить рукопись на враждебный Запад? Коллеги пинали Пастернака ногами, приклеивая ему злобные ярлыки типа «литературный сорняк»… А Пастернак недоумевал, отчего он попал в разряд гонимых.

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет… —

писал он в стихотворении «Нобелевская премия».

Травля привела к скоротечной болезни, и Пастернак скончался на 71-м году жизни. За месяц до своей кончины он написал: «По слепому случаю судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, – художник оказался в моем случае не затертым и не растоптанным».

Возник посмертный «пастернаковский бум». Вся интеллигенция запоем читала поэта и внимала его заветам. В

стихотворении «Быть знаменитым некрасиво…» Пастернак писал:

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Незадолго до смерти поэта в Переделкино приезжал знаменитый американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Он ужасался порядкам в России и сетовал на то, как трудно вести разговор с министром культуры. На что Пастернак ответил: «При чем тут министры? Художник разговаривает с Б-гом, и тот ставит ему различные представления, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае, а может быть трагедия…»

И тут уместно привести характеристику Эренбурга, которую он дал Пастернаку: «…Жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя… Борис Леонидович жил для себя – эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собою…»

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно что жилы отворить.

Это написано Пастернаком в далеком 1918 году. Стихотворение называется «Разрыв». Его последняя любовь, Ольга Ивинская, заплатила за свои чувства чрезмерно высокую цену. Но это отдельная тема, как и темы «Пастернак и Маяковский», «Пастернак и Мандельштам», «Пастернак и Цветаева». Любопытно было бы изучить и тему «Пастернак и деньги». Когда он умер, в его гардеробе остались лишь пара отцовских ботинок, привезенных ему из Англии после смерти отца, и две курточки, одна из них самодельная.

Для поэта злато – пустяк. Главное – его золотое перо. Вдохновенные строки, вера в то, что «силу подлости и злобы

одолеет дух добра».

Истерзанный «веком-волкодавом». Осип Мандельштам (1891–1938)

На памятнике в Москве он – элегантный господин в шляпе, с ироническим взглядом. Абстрактная пластическая фигура, не образ поэта, а его стихов. Мандельштам, уходящий по лестнице…

Все поэты Серебряного века так или иначе столкнулись с жестоким временем, но, пожалуй, лишь один Осип Мандельштам был разорван в клочья этим «веком-волкодавом».

Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.

Мандельштам ощутил тревогу с самого рожденья.

«Невозможно представить себе судьбу страшней мандельштамовской – с постоянными гонениями, арестами, бесприютностью и нищетой, с вплотную подступившим безумием, наконец, со смертью в лагерной бане, после чего его труп, провалявшись на свалке, был брошен в общую яму…» (Станислав Рассадин).

Это какая улица?
– Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо!..
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного.
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма, —
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

«Место Мандельштама, как одного из самых выдающихся поэтов нашего времени, прочно и общепризнанно, – отмечал маститый критик Дмитрий Мирский. – Высокое искусство слова, своеобразно соединенное «с высоким косноязычием», дают его стихам очарование единственное и исключительное».

Анна Ахматова говорила: «Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама».

Марина Цветаева писала: «Люблю Мандельштама с его путаной, слабой, хаотической мыслью… и неизменной магией каждой строчки».

Подробно рассказывать биографию поэта не имеет смысла: она давно известна. Как выглядел Мандельштам? «Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза… и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву…» (Константин Мочульский).

Уравновешенный и здравомыслящий обыватель может задать вопрос: был ли Мандельштам нормальным? На него ответил Артур Лурье: «В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением «детского рая»? Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия».

К интенсивному литературному творчеству Мандельштам обратился в Париже, где он учился в Сорбонне, в 1907–1908 годах, когда в моду входил модернизм. Первая подборка стихов появилась в сентябрьском номере журнала «Аполлон» в 1910

году. Сергей Маковский оставил воспоминания о том, как в конце 1909 года в редакции «Аполлона» появилась немолодая и довольно полная дама, «ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати, видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть ли не держался за ручку». Вошедшая дама представила юношу:

– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям… Работай, как все, не марай зря бумаги… Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, сделайте одолжение – скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет…

Смешной эпизод, не правда ли? Конечно, талант – и какой – огромный! Появившиеся в «Аполлоне» стихи были нежными и поблескивали, как перламутр:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотила сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Мандельштам поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета (диплом, однако, он не получил) и входит в круг петербургской богемы. Ранний Мандельштам – весь легкий и светозарный. («За радость тихую дышать и жить, / Кого, скажите, мне благодарить?..»). Сначала он, вроде бы, числился в символистах, но вскоре отходит от символистского визионерства и приобщается к акмеизму. В программной статье «Утро акмеизма» заявляет: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма…»

И призыв: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя – вот высшая заповедь акмеизма».

Мэтры поэзии не приняли мандельштамовский манифест, и

он был опубликован лишь в 1919 году в воронежском журнале «Сирена».

В 1913 году за свои деньги Мандельштам издал первый сборник стихов «Камень» (тиражом 300 экземпляров). Примечательно, что в нем символизм и акмеизм спокойно соседствовали, на что указал Николай Гумилев в «Письмах о русской поэзии». Вот одно из стихотворений Мандельштама, ставшее классикой:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

В конце 1915 года выходит второй сборник «Камень», как принято говорить, дополненный новыми стихами. «Поэзия Мандельштама, – отмечал Ходасевич, – танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях». Но были и другие критики, которые отмечали «деланность», книжность, холод стихов. Все дело в том, что менялся сам Мандельштам, менялась интонация. Поэт перенимал тютчевскую лирическую манеру с ее возвышенным тоном и ораторским пафосом. Вместо лирических миниатюр появились маленькие оды или трагедийные монологи. Так постепенно складывался тот торжественный и монументальный стиль, который наиболее характеризует зрелую поэзию Осипа Мандельштама, «ледяной пафос» – как выразился Михаил Кузмин. И еще: все меньше в стихах Мандельштама остается лирики, все больше проступает история, но история не статичная, а вечно живая, вся в движении и перестановках:

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

По наблюдению исследователей Мандельштама, он больше всего любил смешивать, переслаивать и выявлять различные культурно-исторические пласты, прослеживать и выявлять их глубинные связи и сложные взаимодействия. Сам образно определял принцип своей поэтической работы:

Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.

В статье «О природе слова» он писал: «Русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка…

Каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость…»

Тема «Мандельштам и женщины» – тема особая и сложно-трепетная. Он был очень влюбчив и… вот об этом «и» он писал:

И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

В 1919 году Осип Мандельштам встретился с молодой художницей Надеждой Хазиной, которая стала его женой и его моральной опорой. «На ней держалась жизнь. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла так, что, казалось, иначе не могло быть» (Наталья Штемпель).

Об отношении Мандельштама к революции Сергей Аверинцев писал так: «Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность… И третье, самое неожиданное, – жалость…»

Лично я выделил бы и еще одно состояние: растерянность. В молодой советской республике Мандельштам так и не смог найти своего места, не смог приспособиться к новым тоталитарным порядкам, не нашел в себе силы адаптироваться к новым условиям жизни. «Я должен жить, дыша и большевея…» – уговаривал он себя в 1935 году в ссылке в Воронеже, но «большеветь» он никак не мог.

Некая черта «не от мира сего» губила Осипа Эмильевича. Из воспоминаний Владислава Ходасевича: «…пирожное – роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе».

И далее в мемуарах «Белый коридор» Ходасевич пишет про Мандельштама:

«…И он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей

его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим – и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности…»

Однажды Мандельштам стал зазывать Ходасевича в организованный второй «Цех поэтов»: «Все придумали гумилята, а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики».

– А что вы делаете в таком «Цехе»? – спросил Ходасевич. Мандельштам сделал очень обиженное лицо.

– Я пью чай с конфетами».

Конечно, он не только пьет чай с конфетами, а много работает. Пишет статьи «Слово и культура», «Гуманизм и современность», в 1922 году выпускает книгу «Tristia», о которой критик Николай Пунин отозвался так: «… очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы…» А потом наступило не очень поэтическое время:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Во второй половине 20-х годов Мандельштам оказался во власти прозы. В 1925 году выходит автобиографическая, но более – «петербурго-графическая» книга «Шум времени». В ней, по утверждению Анны Ахматовой, поэт «умудрился быть последним летописцем Петербурга». Появились и такие прозаические вещи Мандельштама, как «Египетская марка», «Путешествие в Армению», «Четвертая проза».

«Четвертая проза» – это крик Мандельштама, затравленного и загнанного в угол: «…Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудинов окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных машин…»

«…мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?..»

Мало того, что Мандельштам не смог вписаться в советскую пафосно-панегирическую литературу, он еще посмел покритиковать «хозяина», вождя, всеобщего кумира, у которого «тараканьи смеются усища, / И сияют его голенища». И вообще —

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.

Такое не прощают. 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. За него заступился Бухарин, и поэт получил ссылку сначала в Чердань, затем в Воронеж на три года. Пытался покончить с собой, а потом спасался стихами.

«Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен», – писала Анна Ахматова. Как не вспомнить ключевую фразу из «Шума времени»: «Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет…» И опять же знаменитые мандельштамовские строки, написанные в марте 1931-го:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Что́, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!..

Властям было не все равно. 16 мая 1937 года закончилась воронежская ссылка, а в ночь с 1 на 2 мая 1938 года последовал новый арест, а вскоре и гибель. Мандельштам не дожил двух недель до 48 лет.

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера…

Стихи Мандельштама 30-х годов, спасенные от уничтожения

его вдовой Надеждой Мандельштам, с конца 50-х годов распространялись в списках, по которым они впервые полностью были опубликованы в США в 1964 году. В настоящее время существует проект воссоздания архива поэта, который разбросан по всему свету (в Армении, Франции, Германии, Израиле, США, Канаде).

Ну, а сегодня книги Мандельштама в России в каждом магазине. Поэт растиражирован и доступен. Другой вопрос, кто читает ныне Мандельштама? Кому нужен его светоносный дар? Кто постигает «силу словарной окраски», идя «от оттенка к оттенку», по выражению Юрия Тынянова? Чью нежность и ярость пестует Мандельштам?..

Фрагменты из жизни мастера. Михаил Булгаков (1891–1940)

Во взрослую жизнь он вступил в качестве врача. Затем поменял профессию на журналиста и драматурга. А закончил свой жизненный путь классиком русской литературы. Из письма Елены Булгаковой: «Я знаю, я твердо знаю, что скоро весь мир будет знать это имя…» (14 сентября 1961). Елена Сергеевна оказалась права.

Имя Михаила Булгакова долгие десятилетия находилось в забвении, он был под запретом, а потом плотину молчания прорвало, косяком пошли статьи, исследования, книги, театральные постановки, кинофильмы по произведениям Булгакова. Забурлила Булгаковиада. Беспамятство в головах прошло. Пришло ясное осознание: великий талант.

Рождение и образование

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии. Детство было безмятежным и беспечальным. Он получил прекрасное домашнее воспитание. Впоследствии Булгаков говорил жене: «Знаешь, я очень благодарен отцу, что заставил меня выучить языки», то есть французский, немецкий, английский, греческий и латынь. Украинским Булгаков владел свободно, а уже позднее в Москве добавил испанский и итальянский.

Булгаков закончил прекрасную гимназию, а затем медицинский факультет Киевского университета. В Первую

мировую войну и Гражданскую молодой врач делал ампутации и прививки, вскрывал нарывы, принимал роды… «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Первые литературные опыты прошли во Владикавказе.

Булгаков и Москва

Впервые в Первопрестольной Булгаков побывал в 1916 году, а постоянным жителем Москвы стал с 1921 года. Но каким жителем? Без службы, жилья и денег. Бегая в поисках заработка по Москве, перебиваясь чаем с сахарином и картошкой на постном масле. Мечтал жить по-людски, «восстановить норму – квартиру, одежду, книги». Прежде чем стать журналистом, Булгакову пришлось поработать конферансье, редактором, инженером и даже составителем световой рекламы. Ну, а с весны 1922 года Булгаков прочно вступил на журналистскую стезю. Печатался в «Рабочем», «Рупоре», «Красном журнале для всех», «Гудке» и в других изданиях.

В своих пристрастиях Булгаков был воинствующим архаистом и поражал москвичей своим вкусом и одеждой (ну, это когда пришел твердый заработок): обожал фрак, рубашки с манжетами, запонки, одно время носил монокль, любил говорить старомодное «да-с» и «извольте-с». Булгаков поражал москвичей, а Москва поражала Булгакова.

Первое впечатление о Москве, в которую будущий писатель добрался в товарном вагоне (1921 год!): «Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва, Москва».

С помощью Надежды Крупской Булгаков получил комнатку в типичном московском доме вблизи Триумфальной площади. Дом № 10 по Большой Садовой, где Булгаков жил в квартире 50, а затем в № 34. Именно здесь развивалось стремительное действие в романе «Мастер и Маргарита». Жил там Булгаков со своей первой женой Татьяной Лаппа, которая очень быстро ходила и была прозвана «быстрой дамочкой».

С «Записками на манжетах» Булгаков отправился на Сретенский бульвар: «В 6-м подъезде – у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная – «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба».

Свою судьбу в Москве Булгаков ковал ногами. «Не из

прекрасного далека я изучал Москву 21–24 годов. О нет, я жил в ней и истоптал ее вдоль и поперек… Где я только не был! На Мясницкой – сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе. На Старой площади – в Центросоюзе. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле…»

Из-под пера Булгакова выходили удивительные материалы: смесь очерка, репортажа и фельетона. Точность и деловитость соседствовали с лукавым юмором и едкой сатирой. Булгаков шлифовал свой будущий стиль.

Любопытно вспомнить, как в 1924 году он восклицал: «Москва! Я вижу тебя в небоскребах!» Булгакову эту картину не довелось увидеть, а вот нам! Мы увидели, но, увы, нам не хватает булгаковского сарказма в описании нынешних «Сити» и различных небоскребов-циркулей.

«Собачье сердце»

Время требовало верноподданнических бардов и хорового восхищенного пения, а Булгаков не был бардом и не хотел петь в хоре. По мироощущению он был сатириком, наследником Гоголя и Салтыкова-Щедрина, он все время находил в прекрасной советской действительности какие-то ужасающие пятна и недостатки. Время требовало барабанных палочек, а Булгаков тяготел к скрипке. Время требовало поддержки и оваций, а Булгаков скептически усмехался. Как отмечал Сергей Ермолинский, Булгаков «был общителен, но скрытен». «Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это «подкусыванием советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до брезгливости чужд, но писать торжественные оды или умилительные идиллии категорически отказывался».

После «Дьяволиады» и «Роковых яиц» Булгаков пишет повесть «Собачье сердце». Что-то стало известно власти, и 7 мая 1926 года к Булгакову пришли с обыском, забрали дневники и рукопись «Собачьего сердца», отпечатанную на машинке. И с этого дня органы стали «пасти» писателя, наряду с другими представителями творческой интеллигенции, рассматривая их как оппозиционную политическую силу. Более того, Генрих Ягода направил список кандидатов на арест в Политбюро, где под седьмым номером значился и Булгаков. Однако по каким-то причинам арест не состоялся.

«Собачье сердце» пропало в недрах ОГПУ и отыскалось лишь в 1991 году. Сегодня повесть воспринимается как бытовая сатира на 20-е годы, но исследователи творчества Булгакова обратили внимание, что булгаковский текст полон тайнописи и отражает политическую расстановку сил того времени.

По версии одного из исследователей, профессор Преображенский – это спародированный Ленин, его ассистент, доктор Борменталь – это Троцкий (Борменталь – Бронштейн опять же созвучие), а Шарик, впоследствии Шариков – это Сталин. Шарик – маленький шар, а Сталин был маленького роста. Шариков – результат скрещения дворняги с бандитом Климом Чугункиным (опять намек на бандитское прошлое Сталина). Шарик и Клим Чугункин (как не вспомнить Клима Ворошилова) получили преображение в образе Полиграфа Полиграфовича Шарикова, а полиграф по-гречески означает «много писать», а Сталин при Ленине прославился тем, что поставил власть под бумажный контроль (все фиксировалось и все контролировалось). Ленин – это Филипп Филиппович Преображенский. Филипп по-гречески «правитель», а плюс Филиппович – правитель в квадрате. Страсть к борьбе была у Ленина в крови. Лев Каменев – это домоуправ Швондер, яростный и язвительный. Григорий Зиновьев – горничная Зина, ну, а кухарка Дарья – это Дзержинский. Дарья постоянно на кухне, где, «как яростный палач», «острым узким ножом… отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки»; «с костей сдирала мясо»; «заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживая страшный ад»; «ее лицо… горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного носа». После такой живописной картины не трудно понять, что кухня – это Лубянка, а орудующая ножом кухарка – железный Феликс.

Подобных аллюзий и реминисценций в повести много. В том, что профессор Преображенский любит оперу «Аида», – намек на Инессу Арманд. Среди пациентов светила медицины легко угадывается молодящаяся Александра Коллонтай и т. д. Булгаков при помощи своих сатирических персонажей ярко показывает борьбу за власть вокруг умирающего Ленина.

Нам, поздним читателям «Собачьего сердца», уже не важно, кто есть кто. Мы поражены выведенными писателем типами, которые оказались весьма живучими и продолжают жить после падения советской власти. К примеру, Шариков, которому Преображенский бросал обвинение: «Вы стоите на самой низшей ступени развития… и вы… Позволяете себе подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости…» Иногда послушаешь высказывания отдельных начальников-Шариковых и диву даешься, как жив курилка-шарик до сих пор! А

Швондер – тупой и упорный исполнитель властных структур!.. Швондеры и Шариковы – это целая разруха в головах. «Что такое это ваша разруха? – сокрушался профессор Преображенский. – Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы?» Разруха – это паралич логики. Неспособность к созиданию, одни только инстинкты: отобрать и присвоить. А если это банда, то поделить на всех бандитов.

От «Белой гвардии» к «Дням Турбиных»

Идею духовных ценностей Булгаков пытался воплотить в романе «Белая гвардия», однако роман не был закончен, и тогда Булгаков решил переделать его в пьесу. «Дни Турбиных», выражаясь современным языком, стали абсолютным хитом Художественного театра. И не только – еще своеобразной «Чайкой» для второго поколения МХАТа.

19 января 1925 года Булгаков приступил к переделке «Белой гвардии». Работа была мучительной. Писатель перебрал множество вариантов названия – от «Белого декабря» до «Белого бурана». Остановился на тихом семейном названии «Дни Турбиных». Пьеса еще не воплотилась на сцене, а у нее насчитывались десятки противников. Всесильный Луначарский заявил: «Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно бездарна… туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины». Давление ощущалось не только извне, но существовало в самом театре. Шли споры, где ставить новую пьесу – на большой сцене или на малой, кто в ней будет играть. Наконец решили доверить молодежи, и она с блеском оправдала доверие. Блистательно сыграли Николай Хмелев (Алексей Турбин), Марк Прудкин (Шервинский), Михаил Яншин (Лариосик). О последнем Станиславский сказал: «Счастливая игра неповторяющегося случая».

26 марта состоялся первый показ. Константин Сергеевич смеялся, плакал, грыз ногти, сбрасывал пенсне, чтобы вытереть слезы, – такой был ошеломительный эффект булгаковского спектакля.

Затем первая открытая генеральная репетиция, и, наконец, 5 октября – премьера. Публика не просто плакала на спектакле, но буквально рыдала, особенно когда на сцене погибал Алексей Турбин или приносили раненого Николку. Были настоящие истерики и обмороки.

Зрители в восторге, критики – в гневе. Разброс критических

высказываний – от показа «белогвардейщины в розовых уютных красках» до проповеди русского фашизма. В Доме печати устроили даже грозное мероприятие «Суд над «Белой гвардией». Булгаков отчаянно защищался: «…Мне не дают слова! Какой же это суд? У меня есть зрители – вот мои судьи, а не вы! Но вы судите! И пишете на всю страну, а спектакль смотрят только в одной Москве; в одном театре! И обо мне думают те, кто не видел моей пьесы, так, как вы о ней пишете! А вы о ней пишете неправду! Вы искажаете мои мысли! Вы искажаете смысл того, о чем я написал…»

Спектакль в Художественном театре шел с громадным успехом (в иные месяцы по 14 раз) под улюлюканье прессы и под слезы восторга зрителей. Один из критиков назвал «Дни Турбиных» «Вишневым садом» белого движения». Судя по протоколам театра, Сталин смотрел «Дни Турбиных» не меньше 15 раз. И высказал положительную оценку: пьеса работает на большевизм.

«Дни Турбиных» шли на сцене более трех лет. Их несколько раз закрывали, снова разрешали и, наконец, в сентябре 1928-го окончательно запретили, и пьеса пошла вновь лишь в 1957 году в Волгоградском театре, спустя 17 лет после смерти автора.

Легко можно представить, как мучительно переживал Булгаков свои многие попытки пробиться и удержаться на сцене. В автобиографии он с болью констатировал: «В 1925 году… написал пьесу, которая в 1926 году пошла в Московском Художественном театре под названием «Дни Турбиных» и была запрещена после 289-го представления. Следующая пьеса «Зойкина квартира» шла в театре имени Вахтангова и была запрещена после 200-го представления. Следующая – «Багровый остров» шла в Камерном театре и была запрещена приблизительно после 50-го представления. Следующая – «Бег» была запрещена после первых репетиций в Московском Художественном театре. Следующая – «Кабала святош» была запрещена сразу и до репетиций не дошла. Через 2 месяца по запрещении «Кабалы» (в мае 1930 года) был принят в Московский театр на должность режиссера, находясь в которой, написал инсценировку «Мертвых душ» Гоголя…»

Дальше стало легче? Нисколько…

Адвокат интеллигенции

Своей главной задачей в литературе Булгаков считал «изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей

стране» (из письма в правительство, 1930). В этом своем призвании Булгаков шел за Салтыковым-Щедриным: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы понятия о чести, ни веры в убеждении, ни даже представления о человеческом образе».

«Люди выбирают разные пути. Одни, спотыкаясь, карабкаются по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унизительной лести. Иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!» (Булгаков. «Дон Кихот»).

В отличие от многих писателей Серебряного века (Бунин, Бальмонт и т. д.), Булгаков не представлял себя вне родины. «Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее».

В телефонном разговоре со Сталиным Булгаков сказал: «Я очень много думал в последнее время, – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может».

Разумеется, Булгакову многое не нравилось в устройстве жизни при советской власти. Он критиковал, возмущался и бичевал, но при этом его нельзя назвать откровенным антисоветчиком. В огромном досье ОГПУ-НКВД среди прочих негативных высказываний писателя есть и такое: «Советский строй хороший, но глупый, как бывают люди с хорошим характером, но неумные».

Булгаков хотел честно работать и писать о стране Советов. Но власть в лице чиновников от искусства и руководителей культуры и литературы была резко настроена против Булгакова. В «Литературной энциклопедии» (1929) отмечалось, что революцию Булгаков воспринимал как «роковые яйца», из которых выходят огромных размеров гады, грозящие погубить всю страну. «Булгаков принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности… Булгаков – типичный выразитель тенденций «внутренней эмиграции»… Художественные достоинства? Куда там! «Юмор довольно дешевого газетчика».

Как видим, Булгаков развенчан полностью, но и далее, в 1951 году, согласно БСЭ, Булгаков «не наш», он «клеветнически изображал советскую действительность… идеализировал белогвардейцев… пьесу «Бег» Сталин охарактеризовал как «антисоветское явление»… ошибочные и во многом идейно-чуждые взгляды не дали Булгакову возможности глубоко и верно раскрыть и явления исторического прошлого – пьесы о Мольере и Пушкине…»

Оставим в покое Пушкина, а что Мольер, в чем не разобрался

Булгаков? «Поправки тянутся 5 лет, сил больше нет», – писал драматург по поводу «Кабалы святош» («Мольер»). После выматывающих душу проволочек «Мольер» был поставлен и сыгран 7 раз и после статьи в «Правде» «Внешний блеск и фальшивое содержание» (9 марта 1936) был снят. Разгромной статье в «Правде» предшествовало письмо-донос функционера Керженцева на имя Сталина и Молотова о том, что «Мольер» – «это ловко скроенная пьеса в духе Дюма или Скриба, с эффектными театральными сценами, концовками, дуэлями, изменами, закулисными эпизодами, исповедями в католических храмах, заседаниями в подземелье членов «кабалы» в черных масках и т. п.» А далее Керженцев задает вопрос: «А где же Мольер?» Мольер, выведенный Булгаковым, ему явно не нравится, ибо произносит крамольные реплики, вроде такой: «Всю жизнь я ему (королю) лизал шпоры и думал только одно? Не раздави… И вот все-таки раздавил… Я, быть может, Вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал? Ваше величество, где же Вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер? Что я должен доказать, что я червь?» И эта сцена завершается возгласом: «Ненавижу бессудную тиранию!» (репертком исправил: «королевскую»).

В конце письма-разбора Керженцев дает совет: «Поместить в «Правде» резкую редакционную статью о «Мольере» в духе моих замечаний…»

Так варились блюда на кухне, чтобы потчивать ими Булгакова.

Крик души

Отравленный и затравленный Булгаков принимается за инсценировку «Мертвых душ»: «Смотрю на полки и ужасаюсь: кого еще мне придется инсценировать завтра?..» Булгаков не выдержал и 28 марта 1930 года написал письмо правительству. Вот отрывки из этого потрясающего документа:

«…После того как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие один и тот же совет: сочинить «коммунистическую пьесу», а кроме того, обратиться в Правительство СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался.

Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым…

…Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать…

Произведя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из похвальных было три, враждебно-ругательных 298… Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно назвали «сукиным сыном», автора пьесы рекомендовали как одержимого собачьей страстью.

…Главный Репертуарный Комитет воспитывает илотов (рабы в древней Спарте. – *Ю. Б.*), панегиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее…

Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой власти ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей вздумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично утверждающей, что ей не нужна вода…

Я прошу Правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой… Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу…»

Булгаков предложил власти на выбор: отпустить из страны или дать ему работу, ибо «в данный момент – нищета, улица и гибель».

Мало того, что Булгаков написал официальное письмо в правительство, он еще неофициально, для друзей, сочинил фантастическую историю, как его пригласили в Кремль, а он босой, и Сталин приказал Ягоде снять сапоги и отдать Булгакову. Сапоги Ягоды очень жали, и тогда сапоги пришлось снимать Молотову. «Ну, вот так! Хорошо, – сказал Сталин, обращаясь к писателю. – Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?..»

Это в фантазии, а в реальности 18 апреля 1930 года в квартире Булгакова раздался звонок, и женский голос сказал: «С

вами будет говорить товарищ Сталин». Сталин поинтересовался, где хочет работать Булгаков. Писатель ответил: в Художественном театре. Но ему там отказали. Вождь-благодетель тогда сказал: «А вы подайте заявление, – мне кажется, что вас примут».

И Булгакова приняли в театр. Он стал режиссером. В конце 1932 года во МХАТе были поставлены «Мертвые души». Пьеса о Пушкине («Последние дни») в Художественном вышла на сцену лишь в 1943 году. В конце концов со МХАТом Булгаков порывает и уходит в Большой театр на должность либреттиста и пишет 4 оперных либретто («Минин и Пожарский», «Петр Великий», о Михаиле Фрунзе и Гражданской войне и «Рашель» по новелле Мопассана). Но все это, как говорится, не то, и Михаил Афанасьевич отводит душу, сочиняя «Театральный роман».

«Это приступ неврастении, – объяснил я кошке, – и она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить» («Театральный роман»).

Последние годы

Удары судьбы сыпятся на Булгакова один за одним. В издательстве в серии ЖЗЛ забраковали книгу о Мольере, на том основании, что автор не марксист, к тому же «страдает любовью к афоризмам и остроумию». Булгаков написал комедию «Блаженство» для Театра сатиры – не получилось блаженства, и тогда он переделал ее в «Ивана Васильевича», но опять не увидел свое творение при жизни.

Но главное, пожалуй, фиаско Булгаков потерпел при создании пьесы «Батум» (1939) о молодом Сталине, о его революционном прошлом. Писал Булгаков не по заказу, а от себя. Дело в том, что между Сталиным и Булгаковым существовала какая-то тайная мистическая связь: вождя интересовала личность Булгакова и то, что и как он пишет, а Булгакова притягивала к себе сильная, почти демоническая фигура Сталина. И мимо Булгакова не прошло то обстоятельство, что на спектакле «Дни Турбиных» Сталин аплодировал больше всех. А потом это странное телефонное общение с вождем и его почти кокетливый вопрос: «Что, мы вам очень надоели?»

Многие исследователи Булгакова считают, что Булгаков почти 10 лет очень хотел лично поговорить со Сталиным, повести с ним диалог по важнейшим темам и с трепетом ждал разговора-встречи. Но так и не дождался: Сталину такой разговор, очевидно, был не нужен, ему было просто интересно наблюдать,

как мучается Булгаков со своими произведениями. И он наверняка не хотел, чтобы после Маяковского и Булгаков свел счеты с жизнью.

Пьеса «Батум» была в некотором роде попыткой Булгакова поближе прикоснуться к истокам Сталина. Пьеса анонсировалась и уже готовилась к постановке в нескольких провинциальных театрах. Булгаков выехал на юг собирать дополнительные материалы, а уже в поезде ему вручили правительственную телеграмму, что пьеса не пойдет на сцене. Маленький курьез: почтальон ходил по купе и спрашивал, а где бухгалтер? Булгаков понял мгновенно: нужен не бухгалтер, а Булгаков. Этот удар стал для Булгакова последним. Он стал терять зрение, резко обострилась наследственная болезнь почек, от которой он уже не оправился.

В последний свой год Михаил Булгаков выпадает из поля общественного внимания и остается автором одной привлекательной, но «старорежимной» пьесы. Все остальное написанное им не востребовано. Быстро теряющий здоровье Булгаков, выражаясь метафорически, затягивается ряской забвенья еще при жизни.

Но писатель не сдается. Осенью 1939 года ему становится совсем плохо. Он знал, что умрет, и в свою последнюю зиму – уже почти не видя, почти не подымающийся с постели, – он работал над своим «последним закатным романом» – «Мастер и Маргарита». Булгаков писал его много лет и торопился его закончить.

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся в себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

В предисловии к роману (а он вышел в 1966 году в журнале «Москва») Константин Симонов написал: «Есть в этой книге какая-то безрасчетность, какая-то предсмертная ослепительность большого таланта, где-то в глубине души чувствующего краткость оставшегося ему жизненного пути».

Елена Булгакова вспоминала, как в 1939 году у них в доме часто собирались друзья, в основном артисты. «Мы сидели весело за нашим круглым столом, у Михаила Афанасьевича появилась манера вдруг, среди самого веселья, говорить: «Да, вам хорошо, вы будете жить, а я скоро умру». И он начинал говорить о своей предстоящей смерти. Причем говорил до того в комических,

юмористических тонах, что первая хохотала я. А за мной и все, потому что удержаться нельзя было. Он показывал это вовсе не как трагедию, а подчеркивал все смешное, что может сопутствовать такому моменту…»

Уход

Свой нефросклероз Булгаков принял как неизбежное. В конце болезни Михаил Афанасьевич потерял зрение и речь.

10 марта 1940 года Булгаков умер. В 16 часов 39 минут. Он прожил 48 лет и 10 месяцев. Тело Булгакова кремировали, а похоронили писателя на территории того самого Новодевичьего монастыря, вид на который открывался Мастеру с Воробьевых гор. Похоронили в непосредственной близости от Станиславского, Чехова и Гоголя.

Анна Ахматова откликнулась на смерть Булгакова:

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное прозренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне…

Мрачные строки о мрачной жизни. А вот иного мнения придерживалась Елена Сергеевна Булгакова, последняя жена писателя, в интервью театральному журналу (1987 год) она сказала: «Вот я хочу вам сказать, что, несмотря на все, несмотря на то, что бывали моменты черные, совершенно страшные, не тоски, а ужаса перед неудавшейся литературной жизнью, но если вы мне скажете, что у нас, у меня, была трагическая жизнь, я вам отвечу: нет! Ни одной секунды. Это была самая светлая жизнь, какую только можно себе выбрать: самая счастливая. Счастливее женщины, какой я тогда была, не было…»

Удивительные слова о жизни Мастера и Маргариты.

А теперь самое время поговорить о женщинах Булгакова. Рискну читателям предложить главку из собственной книги «Налог на любовь» (1999). Итак:

«– Вы были женаты?

– Ну да, вот же я и щелкаю… На этой… Вареньке, Манечке… нет, Вареньке… еще платье полосатое… музей… впрочем, я не помню…» – так в великом романе Михаила Булгакова Мастер пытается вспомнить свою официальную личную жизнь до встречи с Маргаритой.

Со своей будущей женой – Татьяной Лаппа (все звали ее Тасей) – Булгаков познакомился летом 1908 года в Киеве, куда она приехала из Саратова на каникулы. Михаилу было 17, Тасе – 15 лет. Когда через год ее решили отправить на каникулы в Москву, Булгаков совсем потерял голову.

«Вдруг из Киева приходит телеграмма: «Михаил стреляется…» – вспоминала она. Отец вызвал меня: «В чем дело?» – «А я почем знаю?» Меня заперли на ключ. И Михаила из Киева не пустили».

В 1911 году они решили соединить свои судьбы. Булгаков – студент-медик. Тася выбрала историко-филологическое отделение. Свадьба состоялась 26 апреля 1913 года по старому стилю. Пили шампанское…

В 1916 году Булгаков закончил университет и после непродолжительной работы во фронтовых госпиталях был направлен земским врачом сначала в Вязьму. Он все более уходил в себя, одно время даже увлекся морфием. В 1920 году он хотел и не смог уйти с белыми в Константинополь: его свалил тиф. Это было трудное и жестокое время. Татьяна Николаевна отрубала кусочки из золотой цепочки и покупала на них дрова и печенку. В 1921 году в Батуме они продали самое последнее – обручальные кольца, сделанные в ювелирной лавке Маршака в Киеве.

Попытка эмигрировать не удалась. Булгаков решил начать новую жизнь в Москве. По воспоминаниям Валентина Катаева: «Жена синеглазого – Татьяна Николаевна – была добрая женщина и воспринималась нами, если не как мама, то, во всяком случае, как тетя». А вот «тёть», наверное, долго не любят.

«Мы развелись, – вспоминала Татьяна Лаппа. – Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил. Однажды принес «Белую гвардию», когда напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бросила эту книгу обратно. Сколько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала… он сестрам говорил, что мне посвятит…»

Не посвятил. Был очарован уже другой, – бывает и так. Другая – это Любовь Евгеньевна Белозерская. Топсон, Любан, Любаня, Любаша – так звал ее Булгаков, а она его – Мака. Это была женщина совсем другого типа, чем Татьяна Лаппа, красивая, светская, разбирающаяся в литературе и сама умеющая писать.

Слово Белозерской: «Нас познакомили. Передо мной стоял человек 30–32 лет, волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательно. Лицо больших возможностей…»

«Любовь выскочила перед ними, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…» – эту фразу из «Мастера и Маргариты» вполне можно отнести к их случайной встрече.

Булгаков и Белозерская поженились 30 апреля 1925 года. После долгих скитаний по коммунальным квартирам они обрели трехкомнатную квартиру на Большой Пироговской, которую оформили так, как хотели: кабинет был синим, столовая – желтой, комната Белозерской – белой.

Вместе они прожили 8 трудных и счастливых лет. Булгаков посвятил второй жене роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце», пьесу «Кабала святош».

Судя по всему, Белозерская не была Маргаритой. Она источала тепло и дружелюбие и скорее была «душечка», а Булгакову была нужна «вечно возлюбленная». Они расстались. Белозерская после расставания поработала секретарем у писателя Вересаева и у академика Тарле. В Америке вышла ее книга «О, мед воспоминаний». «Мы часто опаздывали и всегда торопились, – вспоминала она жизнь с Булгаковым. – Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное, не терять достоинства».

В воспоминаниях Белозерской представлена лишь высветленная праздничная сторона ее жизни с Булгаковым: премьеры, свадьбы друзей, веселые розыгрыши, домашний быт с любимой собакой Бутон. А между тем как раз в эти годы (1925–1932) Булгакову было неимоверно тяжело как писателю: его травили в прессе («литературный уборщик», «посредственный богомаз», «новобуржуазное отродье»). Особенно страшным для Михаила Афанасьевича стал 1929-й: все его пьесы были сняты со сцены. Всеволод Вишневский прилюдно цитировал фразу Сталина: «Наша сила в том, что мы и Булгакова приучили на нас работать».

Однажды Алексей Толстой в шутку сказал Булгакову, что писатель для достижения литературной славы должен жениться трижды. Третьей женой Булгакова стала Елена Шиловская

(урожденная Нюренберг), которая, в отличие от первых жен, взяла его фамилию. С ней Булгаков совершил, как он выразился, «свой последний полет».

«Я интересовалась им давно, – вспоминала Елена Сергеевна. – С тех пор как прочитала «Роковые яйца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совершенно особый писатель… необычность языка, взгляда, юмора – всего того, что, собственно, определяет писателя. Все это поразило меня».

Тут следует заметить, что Елена Сергеевна сама хорошо владела пером и превосходно переводила с французского, в частности Жюля Верна и Андре Моруа. Ну, а в талант Булгакова верила непоколебимо.

Полюбив Булгакова, Елена Сергеевна оказалась перед труднейшей дилеммой, как быть со своей хорошей и дружной семьей, разрушать или нет?.. «В первый раз я смалодушничала и осталась, и я не видела Булгакова 12 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду к телефону, не выйду одна на улицу, – вспоминала она. – Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что…»

Свой брак они зарегистрировали 4 октября 1932 года. Елена Сергеевна стала для писателя не только любящей женой, но и активным помощником: вела деловую переписку, перепечатывала произведения, заключала договоры, получала по этим договорам деньги, хотя последние были весьма скудные…

Новая любовь всколыхнула Булгакова, и, кто знает, возможно, она дала ему силы пережить все беды и несчастья, которые обрушились на него. Он продолжал создавать «Театральный роман» и великую книгу «Мастер и Маргарита». Елена Сергеевна неизменно поддерживала, берегла, вдохновляла Булгакова и даже вела по его настоянию дневник (сам писатель после изъятия дневника во время обыска в 1926 году дал себе слово никогда не вести личные записи).

Когда они решили соединить свои жизни, Булгаков сказал ей: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Елена Сергеевна ответила: «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на…» Булгаков сказал: «Я говорю очень серьезно, поклянись». Она поклялась.

Также Елена Сергеевна поклялась за несколько дней до смерти Булгакова, когда он еле выговорил слово «Мастер…», что обязательно напечатает роман «Мастер и Маргарита». Хотя в 1940 году это выглядело совсем нереально, и даже заядлые оптимисты

утверждали, что если такое чудо и произойдет, то не раньше как через сто лет.

В ноябре 1966 года, через 26 лет, в журнале «Москва» началась публикация романа. И это было чудом. Роман поразил всех своим художественным совершенством, ясностью духа и горьким пониманием бедствий сталинской эпохи.

Если возвращаться к теме последних месяцев жизни Булгакова, то в одном из писем сестра Елены Сергеевны писала: «…Но самые черные его минуты она одна переносит, и все его мрачные предчувствия она выслушивает и, выслушав, все время находится в напряженнейшем желании бороться за его жизнь. «Я его люблю, – говорит она, – я его вырву для жизни». Она любит его так сильно, что непохоже на обычное понятие любви между супругами, прожившими уже немало годов вместе, стало быть, вроде как привыкшими друг к другу и переведшими любовь в привычку…»

После смерти Булгакова Елене Сергеевне жить было не на что. Она работала машинисткой. Выйдя на пенсию, занималась переводами (переводила, в частности, Жорж Санд). И ее постоянно досаждали исследователи творчества Михаила Афанасьевича. Где они были раньше?..

Раньше были одни хулители. Ныне одни восхвалители. Такова судьба Михаила Булгакова. Года четыре назад вышла «сенсационная» книжка одного автора под названием «Булгаков и Маргариты». Главная мысль в ней: Булгаков не слишком любил своих жен. Любил – не любил? – какое поле для необузданных фантазий. Нужно сесть на метлу и воспарить вместе с Маргаритой…

Есть еще тема: Маргариты в кино. Но ее, пожалуй, обойдем. Пора приступить к последней главке.

Эпилог

Сегодня на Булгакова, если не бум, то что-то около этого. Любознательные и любопытные идут к булгаковскому дому на Большой Садовой, чтобы ощутить дух «нехорошей квартиры» (мало им нехорошего района, города и страны). И на стенах примечательного дома начертаны разные слова и фразы:

«Что есть истина?»

«Помните судьбу Михаила Афанасьевича».

«Воланд, приезжай, слишком много дряни развелось».

«Какие вы счастливые, что не знаете, какие мы несчастные!»

«Остановите Землю, я выйду!»

Странно то, что иных в Булгакове притягивает именно нечистая сила, образ Воланда, как будто все вдруг уверовали в «седьмое доказательство, что дьявол существует».

Точно можно сказать, что существует Власть. Помните, Иешуа в романе «Мастер и Маргарита» говорит: «… всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». На что Понтий Пилат восклицает: «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!»

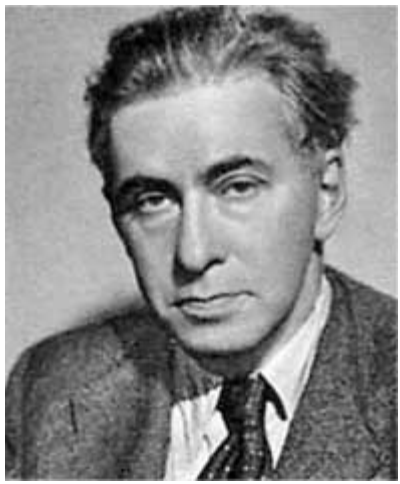
Император Тиверий – Иван Грозный – Наполеон Бонапарт – Иосиф Сталин – ВВП – Муамар Каддафи и прочие правители, диктаторы, тираны, злодеи. Именно власть всегда решает, как жить и творить Мастеру, как жить и любить Маргарите. Мастер и Маргарита постоянно оказываются в качестве пленников и жертв большой и всесокрушающей власти. И это прекрасно отражено Булгаковым в его романе.

У «Мастера и Маргариты» было 8 редакций. Что-то из булгаковского текста пропало, что-то сняла сама Елена Сергеевна, и кто-то еще приложил редакторско-карающую руку. И пропал в итоге один булгаковский пассаж, в котором сошедший с ума поэт Иван Бездомный ломится в ворота Кремля и кричит: «Здесь завелась нечистая сила!» Это крамольное местечко по соображениям цензуры было снято. Но остался вопрос, где обитает эта проклятая черная сила?..

Оставим эту тему, и что делать бедному Мастеру? «Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, – говорил Мастер. – Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Но, что же, оказывается, не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо…»

Сам Михаил Афанасьевич ставил и громоздил куда большие планы. На то он и Булгаков.

Искусство выживания. Илья Эренбург (1891–1967)



Илья Григорьевич Эренбург прожил феерическую по числу событий и их накалу жизнь. «Вся жизнь протекала в двух городах – в Москве и Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев – моя родина», – признавался Эренбург. Он родился в Киеве 14 (27) января 1891 года. Жил в Москве. В Париж приехал в 17 лет. Как вспоминал Максимилиан Волошин: «Я не могу себе представить Монпарнас времен войны без фигуры Эренбурга. Его внешний облик как нельзя более подходит к общему характеру духовного запустения. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитскими губами, с очень длинными и очень прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих…»

Таков был портрет молодого Эренбурга. Он выступал вначале как эстет и поэт, делая «зигзаги между эстетством, лирической идиллией и натуралистическим цинизмом». Но в дальнейшем приобрел куда более респектабельный имидж серьезного писателя и маститого публициста.

В зрелые годы Эренбург стал еще и литературным Колумбом,

открывателем неведомых для целого поколения советских людей земель и островов. Именно Эренбург «открыл» и добился возвращения многих вычеркнутых имен, таких как Мандельштам, Бабель и Марина Цветаева. Благодаря Эренбургу многие читатели познакомились с творчеством Хемингуэя и Фолкнера, увидели выставку работ Пабло Пикассо, прочитали «Дневник» Анны Франк. Воспоминания Эренбурга «Люди, годы, жизнь» расширили горизонты советской литературы. Горизонты эти могли быть и более глубокими, если бы не цензура.

Изданный восьмитомник Эренбурга тоже неполный: Эренбург написал значительно больше того, что вошло в его собрание сочинений. Одна только публицистика потрясает: за 1418 военных дней Илья Григорьевич написал почти 2 тысячи пламенных, обжигающих заметок и статей («Победа не падает с неба, победу строят – камень за камнем»). Эренбург люто ненавидел Гитлера и фашизм, за что фюрер обещал повесить писателя в Москве на Красной площади.

Эренбург обладал поистине золотым пером, был страстным публицистом, мастеровитым романистом, но в душе он считал себя именно поэтом. Польский писатель Ярослав Ивашкевич писал про Эренбурга: «Считая себя поэтом, он разменял – ибо считал это своим гражданским долгом – золотые цимбалы на пращу, которой разил филистимлян, как внешних врагов своей родины, так и внутренних…» И между тем лирика Эренбурга изящна, точна и иронична.

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.
Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак…

Кто-то смеялся, а кто-то аплодировал… Подумать только: в 1917–1918 годах (считайте: «пять столетий» назад) Эренбург выступал на поэтических вечерах вместе с Буниным, Ходасевичем и Маяковским.

Но так получилось, что Эренбург не стал «чистым» поэтом. Его натура была слишком деятельна, чтобы оставаться в созерцательной позиции поэта. Эренбург жаждал подвигов, увлекся революцией и даже посидел в тюрьме. Однако литература оказалась значительно интересней революции. Революционное

насилие не стало идеалом для Эренбурга. Его захватила идея человеческой справедливости. «Еще подростком меня привлекала справедливость, – писал Эренбург. – Человеку, если он не находится в состоянии богатого и всесильного борова, свойственно связывать личное счастье со счастьем соседей, всего народа, с человечеством. Это не риторика, а естественное чувство человека, не заплывшего жиром и не ослепленного манией своего величия…»

Эренбург не стал революционером, он стал литератором. Его первый сборник стихов вышел в 1910 году. Затем наступили годы активной журналистики. В 1921 году в голландском городе Остенде за 28 дней Эренбург написал «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» – роман, который принес ему европейскую известность и одновременно вызвал гнев советской критики. Свыше 30 лет роман не переиздавался, и все потому, что Эренбург оценивал нарождающееся советское общество как антигуманное. Писатель умело распознал ростки тоталитаризма.

В 1923 году Эренбург написал «Жизнь и гибель Николая Курбова» – повесть о карьеристах в органах ЧК. В 1928 году уже в Париже вышел роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», который был опубликован в СССР лишь в 1989 году, да и то в журнале «Звезда».

По возвращении в Советский Союз Эренбургу пришлось поумерить свою фантазию и свой разоблачительный реализм, унять буйство стиля и начать писать в духе, близком к соцреализму.

Романы «Падение Парижа» (1941) и «Буря» (1947) были удостоены Сталинских премий. Но это были, по существу, проходные, а вот повесть «Оттепель» (1954) стала знаковым явлением в литературе и жизни. Это была первая антикультовая книга о советских временах. Фенологическому понятию «оттепель» Эренбург придал общественно-политический смысл.

Не повезло, увы, «Черной книге», написанной Эренбургом в соавторстве с Василием Гроссманом. В нее вошли дневники, письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей на оккупированной территории. Книга-документ оказалась неугодной власти, и ее набор был рассыпан.

Тяжелая, но все же счастливая судьба оказалась у книги Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1960–1965).

Разбирать и анализировать произведения Эренбурга оставим литературоведам. Лучше обратим внимание на жизнь самого Ильи Григорьевича, которая сложилась противоречиво и бурно. Борис Слуцкий утверждал, что Эренбург «был почти счастливый человек. Он жил, как хотел (почти). Делал, что хотел (почти).

Писал, что хотел (почти). Говорил – это уже без «почти», – что хотел. Сделал и написал очень много. КПД его, по нынешним литературным временам, очень велик».

Выходит, схвативший удачу за хвост. Увы, не все так просто. С одной стороны, Эренбург являлся писателем, обласканным властью (точнее говоря, в определенный период). Но, с другой стороны, его постоянно критиковали и кусали критики и коллеги по перу, навешивали на него ярлыки – от «попутчика» до «врага» (можно вспомнить и определение Гитлером Эренбурга как «сталинского придворного лакея»). Советские писатели не признавали стиль Эренбурга, ругали за подражание французам, выделяли в его романах «одну публицистику» и т. д. То есть Эренбург стилистически не совпадал с советскими писателями и уж совсем не годился на роль барабанщика и горниста.

«В чем же были правы критики? – задавался вопросом Эренбург и отвечал так: – Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии». Действительно, стиль Эренбурга – это сочетание лиризма и иронии. И еще: он очень афористичен.

Особенно досталось писателю в годы борьбы с «безродным космополитизмом». «Пора понять Эренбургу, – выговаривали патриотически настроенные коллеги, – что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны».

Во времена Хрущева писателю ставили в вину его защиту абстракционизма и формализма. «Товарищ Эренбург, – говорил Никита Сергеевич с трибуны, – совершает грубую идеологическую ошибку; и наша обязанность помочь ему это понять…»

Вот и получается странный счастливый человек, удачник, которого все время учили и шпыняли, ставили на правильный путь, а он сопротивлялся и гнул свою линию. Сам Эренбург писал по этому поводу:

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным…

Да, Эренбург верил в свои заветы. А у власти были другие идеалы и ценности. И поэтому Эренбург почти всегда был «не наш человек».

Его отношения со Сталиным? «Я не любил Сталина, – признавался Илья Григорьевич, – но долго верил в него, и я его боялся…»

В 1949 году писателя перестали печатать, и каждую ночь он ждал звонка в дверь и ареста. Но… пронесло! Пронесло в 30-е годы. Не взяли в 40-е. Один молодой писатель задал Эренбургу

интересующий всех вопрос: «Скажите, как случилось, что вы уцелели?»

«Что я мог ему ответить? – размышлял Эренбург в своих мемуарах. – То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверное, сказал бы, что пути господни неисповедимы. Я жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею».

Оппоненты Эренбурга начисто отвергли теорию случайной лотереи, они запустили другой термин: «искусство выживания», мастером которого якобы был писатель. Отчасти можно с этим согласиться: да, Эренбург умел выживать. С одной стороны, он служил режиму, но одновременно, с другой стороны, его покусывал и критиковал. На большее смелости не хватало. Он не был самосожженцем. Не тот тип. Подчас он умело приспособлялся, мимикрировал, недаром в романе «Лето 1925 года» он признавался: «Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями». Но Эренбург, еще раз подчеркну, никогда не был трубачом власти. Не случайно вышедшую не так давно книгу о писателе гарвардский стипендиат Джошуа Рубинштейн назвал «Запутанная лояльность». Я бы добавил: затуманенная…

«Было в жизни мало резеды, много крови, пепла и беды», – писал Эренбург. Не следует забывать, что у Эренбурга был еще один страшный «грех»: он был евреем. Еврей, интеллигент и западник – гремучее сочетание. Патриоты изощрялись:

Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его.
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

Эренбург отвечал своим недругам так: «Меня связывают с евреями рвы, где гитлеровцы закапывали в землю старух и младенцев, в прошлом реки крови, в последующем злые сорняки, проросшие из расистских семян, живучесть предубеждений и предрассудков… Я – еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит».

Эренбург надеялся, что «на темном гноище, омытом кровью нашей, рождается иной, великий век». И в этой надежде на лучшее будущее писателю помогало искусство, которое он любил, обожал и был ему предан все сердцем и душой.

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,

Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал.
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

А еще Эренбург любил Францию (как носительницу высокой культуры?)

«Во Франции два гренадера…»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну…

И тут – никуда не денешься – возникает тема: Эренбург и женщины. «Моя первая любовь, – вспоминает Эренбург, – осень 1907 года, гимназистка Надя. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по 16 лет…»

Затем 48 счастливых лет совместной жизни с художницей Любовью Михайловной Козинцевой. Брак был на западный манер: Эренбург не скрывал от супруги любовные увлечения, а их было немало, в том числе иностранных: Шанталь Кенвил, Эдвига Зоммер, Лизелотта Мэр. С последней Эренбург ознакомился в Стокгольме на Всемирном конгрессе сторонников мира. Ему – 59, ей – 29. Участвуя в «Движении за мир», Илья Григорьевич свободно разъезжал по Европе, минуя «железный занавес», и, конечно, встречался с Лизелоттой. «Искусство выживания» и искусство встреч?..

В августе 1967 года Эренбург упал в своем саду. Думали, что он поскользнулся. Но это был инфаркт. Лечить писателя оказалось трудным делом. «Очень неконтактный пациент, – говорил известный врач-кардиолог. – Он сказал мне, что напоминаю ему доктора из комедии Мольера».

31 августа Ильи Григорьевича не стало, он скончался в возрасте 76 лет. Как сказал Леонид Зорин, с Эренбургом ушел от нас «осенний европеизм с его обаянием, с его усталостью, с его готовностью быть лояльным…»

В одном из сонетов Эренбург писал, что в его жизни живительно только искусство:

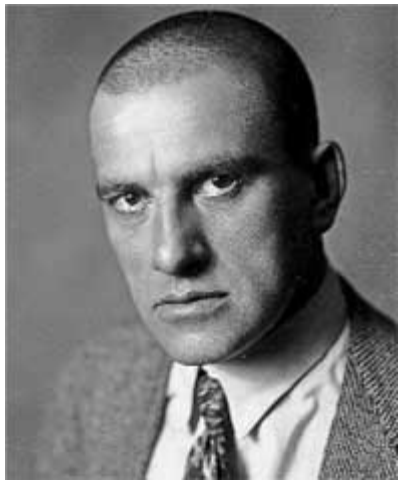
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны – в этот век ракет
И непреложны – ими светел свет…
Все нарушал, искусства не нарушу.

Эренбург и не нарушал. Судьба вручила ему золотое перо, и он умело им пользовался. «Одна строка…» Это не всем дано.

Перо, штык и любовь. Владимир Маяковский (1893–1930)

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?

В. Маяковский. Облако в штанах



I

О Маяковском написаны горы книг и статей. Но короче всех о нем сказал вождь: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Еще бы! Владим Владимыч уверовал в «социализма великую ересь» и, уверовав, мгновенно увидел «в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП». И он стал по велению сердца первым придворным поэтом эпохи построения социалистического общества. Бунтарь-одиночка добровольно пошел на службу…

О Маяковском, «агитаторе, горлане-главаре», мы наслышаны

с раннего детства. Его революционные стихи впитывали в себя с молоком матери: и «товарищ маузер», и «Ленин – фотографией на белой стене», и «молоткастый, серпастый советский паспорт» и т. д. Целый цитатник. Красная книжечка, где в роли Мао выступает Маяковский и постоянно изрекает: «И жизнь хороша, и жить хорошо».

Безвременно ушедший от нас талантливый Юрий Карабчиевский в своем исследовании «Воскресение Маяковского» предупреждал: «Маяковского сегодня лучше не трогать. Потому что все про него понятно, потому что ничего про него не понятно».

И все же рискнем. Расскажем о Маяковском как о частном человеке. О его любовных устремлениях. Об отношениях с женщинами. О любви «большой и крошечной».

Сам Маяковский говорил, что это – «тема и личная и мелкая». Но при этом явно кокетничал. Для него любовь была темой, если не номер один (вначале была партия, а потом любовь), то уже второй – точно. По свидетельству Эльзы Триоле, достаточно хорошо знавшей поэта, «женщины занимали в жизни Маяковского много места».

А вот признание самой Лили Брик, главной героини в жизни Маяковского. После смерти поэта она говорила Лидии Гинзбург: «Ося должен написать для последнего тома биографию Володи. Это страшно трудно. У Володи не было внешней биографии: он никогда ни в чем не участвовал. Сегодня одна любовная история, завтра другая – это его внешняя биография».

Вот так припечатала Владима Владимыча Лилия Юрьевна. Да и звала его она часто прелюбопытно уничижительно: «маленький громадик».

II

Итак, «маленький громадик».

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
женское.

Маяковскому – 20 лет. Он высок. Красив. Громоподобен. И устремлен навстречу первой любви. Со своей первой любовью

Маяковский познакомился в Одессе во время турне футуристов по России. Машенька Денисова. Прелестная девушка. Редкое обаяние. Занималась скульптурой и сочувствовала революционным идеям.

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе.
«Приду в четыре», – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Так начинается первая главка из тетраптиха «Облако в штанах». В ней и во всех дальнейших стихах Маяковского проявилась ориентация лирики на собственную фотографию. Не лирический герой действует в стихах, а сам поэт Владимир Маяковский. Соответственно и детали. В «Облаке» это конкретная Мария. Конкретный город. Точные часы ожидания свидания.

В Марию Маяковский влюбился безоглядно. Страстно. Не находил себе места. Метался по номеру гостиницы.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

Любовь-вулкан. Любовь-извержение. Любовь – огненная лава. Таким был Маяковский: у него все было большим, громадным, гиперболическим. Выходящим из берегов всех традиций и условностей. Любовь без правил.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
……
В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть…

И напрямую —

Мария – дай!
……
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Старая-престарая история: он хотел, она не хотела. Он любил, она нет. Ну, что ж, очевидно, у Марии были свои основания для того. Свои причины. Резоны. А Маяковский не хотел этого понимать и безумствовал, сходил с ума и переплавлял свою сердечную боль в обжигающие строки стихов.

Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы – Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли…

Джиоконду-Марию украл другой человек. Маяковскому Мария не досталась. Будучи человеком весьма эгоцентрическим (Маяковский называет себя даже «тринадцатым апостолом»), Владим Владимыч обращается в стихах со своими обидами непосредственно к «господину богу» (слово «бог» он пишет, конечно, с маленькой буквы):

Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать!

Ну, и далее поэтический бурлеск в стиле Маяковского: бог – не «вселенский божище», а «недоучка, крохотный божик». И вообще,

Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Очень характерно для Маяковского. Что там друзья-товарищи. Соседи. Люди. Они ведь «ничего не понимают». Поэтому он один на один с мирозданием. Звезды, расступитесь! Бог – по боку! «Я иду». «Чудотворец всего». А что дальше?

Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать
замечательный поэт?

Это уже строки из трагедии «Владимир Маяковский». А если вернуться к одесским любовным переживаниям, описанным в «Облаке», то самое интересное, что поэма о Марии посвящена другой женщине: «Тебе, Лиля». Тоже надо сказать, поворотец!

Ну, а как же Мария?

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Правда, на самом деле Мария Денисова не тогда вышла замуж, а позднее. Но Маяковский, как истинный поэт, предвидел этот роковой для себя исход. Безнадежный, с «обугленным поцелуишком». Что касается Денисовой, то она с мужем эмигрировала в Швейцарию. В 1919 году вернулась в революционную Россию с маленькой дочкой, но без мужа. Вернулась как большевичка. Служила политработником в Первой Конной. За храбрость в боях получила наган и кожаную куртку. Стала женой одного из героев Гражданской войны Ефима Щаденко. И, очевидно, не раз слышала выступления Маяковского. Только это уже были не стихи про несчастную любовь, а революционные, жизнеутверждающие строки, написанные в стиле напоминаний-приказов: «Помни марш атакующей роты» или «Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!»

III

В том же 1913 году, когда Маяковский был в состоянии раскаленной «этакой глыбы», которой «многое хочется», состоялось другое знакомство, с сестрами Каган – сначала с младшей Эльзой, а затем со старшей Лили, которая была замужем за Осипом Бриком и носила его фамилию.

После несчастной любви Маяковский, как и предполагал в «Облаке».

> Опять влюбленный выйду в игры,
> огнем озаряя бровей загиб.

Вот он вышел и осенью 1913 года попал в квартиру Хвасовых, где познакомился с Эльзой, будущей русско-французской писательницей Эльзой Триоле (1896–1970).

Воспоминания Триоле о Маяковском «Воинствующий поэт» были написаны в 50-х годах для 56-го тома «Литературного наследства», посвященного поэту. Том этот так и не вышел в свет. По всей вероятности, власти не хотели, чтобы иконописный лик пролетарского поэта испортили какие-то ненужные биографические пятнышки. Года три назад воспоминания Триоле появились в нашей печати. Не будем ничего домысливать, а просто процитируем отдельные кусочки из текста мемуаров.

«Мне было уже шестнадцать лет, я кончила гимназию, семь классов, и поступила в восьмой, так называемый педагогический. Лиля, после кратковременного увлечения скульптурой, вышла замуж…»

Эльза и Маяковский встретились в «хвасовской гостиной, там, где стоял рояль и пальмы, было много чужих людей. Все шумели, говорили… Маяковский читал «Бунт вещей», впоследствии переименованный в трагедию «Владимир Маяковский»… я ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее… нитка разорвалась, бусы покатились… Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнилась полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку».

Дальнейший ход событий, опуская многие подробности: «Маяковский пошел меня провожать… Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть и встретилась с ним случайно. Он шел по Кузнецкому мосту, на нем был цилиндр, черное пальто, и он помахивал тростью. Повел бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости… но первое

появление Маяковского в цилиндре и черном пальто, а под ним желтой кофте-распашонке, привело открывшую ему горничную в такое смятение, что она шарахнулась от него в комнаты за помощью…»

«А еще помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами, вроде: «Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал…», и категорически избегал вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет… Но мать не спала, ждала, когда же Володя, наконец, уйдет, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: «Владимир Владимирович, вам пора уходить!» Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придется будить и для которого у него даже гривенника на чай не найдется. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в Володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берет денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берет серебряную монетку, потом кладет ее на подзеркальник, опять берет, опять кладет… и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью…»

Похоже, Маяковский влюбился в юную Эльзу, а она? «Я же относилась к Маяковскому ласково и равнодушно, ни ему, ни себе не задавала никаких вопросов…»

«Таково было положение вещей, когда в Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то, мимоходом, она сказала мне: «К тебе тут какой-то Маяковский ходит… Мама из-за него плачет». Я необычайно удивилась и ужаснулась: мама плачет! И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: «Больше не приходите, мама плачет».

Но Маяковский был настырен, и встречи продолжались. Однажды он прочитал Эльзе:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
Значит – это кому-нибудь нужно?

«И дальше… Я остановилась и взволнованно спросила:
– Чьи это стихи?
– Ага! Нравится?.. То-то! – сказал Володя, торжествуя… В эту

ночь зажглось во мне великолепное, огромное, беспредельное чувство восхищения и преданнейшей дружбы, и так по сей день мною владеет…» – писала в воспоминаниях Эльза Триоле.

Итак, подведем итоги: Эльза любила поэзию. Эльза любила стихи Маяковского и питала к нему чувство восхищения и дружбы. И все! Во всем остальном проход к сердцу Эльзы для Маяковского был закрыт. Одна из причин: бытовой Маяковский. Эльза вспоминает: «Но каким Маяковский был трудным и тяжелым человеком».

В июле 1918 года Эльза вышла замуж за офицера французской армии Андре Триоле и уехала с ним за границу. Накануне Лиля Брик спрашивала сестру: «Может быть, ты передумаешь, Элечка?..»

Нет, не передумала. Уехала.

С Маяковским Эльза будет встречаться позднее, в Берлине и Париже, но об этом чуть позже. А пока… в сей момент и до конца на сцену выходит главный персонаж – Лили Брик (1891–1978).

IV

После младшей сестры – старшая. Лили (он звал ее Лилей). О знакомстве поэта с Лилей и их любви рассказано в главе, посвященной Лили Брик.

Маяковский носил кольцо с инициалами, подаренное Лилей Юрьевной. Он, в свою очередь, подарил ей кольцо с выгравированными на нем на внешней стороне инициалами «Л.Ю.Б.», и эта монограмма читалась как слово «люблю».

Слов и стихов об этой любви было более чем достаточно. Вслед за «Облаком» Маяковский с ходу пишет «Флейту-позвоночник» – гимн любви к Лиле.

Будешь за́ море отдана,
спрячешься у ночи в норе —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы начеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.
……
С другим зажжешь в огне рысаков

Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я, —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!
А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Лиля Брик вошла новой и единственной героиней в жизнь и творчество Маяковского. «Флейта-позвоночник» стала первой поэмой, написанной поэтом после их знакомства. «Писалась «Флейта» медленно, – читаем мы в воспоминаниях Лили Брик, – каждое стихотворение сопровождалось торжественным чтением вслух. Сначала стихотворение читалось мне, потом мне и Осе и наконец всем остальным. Так было всю жизнь со всем, что Володя писал. Я обещала Володе каждое флейтино стихотворение слушать у него дома. К чаю было в гиперболическом количестве все, что я люблю. На столе цветы, на Володе самый красивый галстук…»

В феврале 1922 года Маяковский заканчивает поэму «Люблю», удивительно светлую и жизнерадостную, с клятвенным

заверением:

…клянусь —
люблю
неизменно и верно!

Затем последовал поэма «Про это». Она писалась в кризисный период отношений Маяковского и Лили, когда они оба решили разбить «позорное благополучие» и временно расстаться.

28 февраля 1923 года в три часа дня истек для Маяковского «срок заключения» (то есть разлуки, которую он определил себе сам). В восемь вечера они встретились с Лилей на вокзале, чтобы поехать на несколько дней вместе в Петроград. Войдя в купе, по воспоминаниям Брик, Маяковский прочитал ей «Про это» и заплакал.

Сохранилось письмо-дневник, относящееся к периоду работы над поэмой «Про это». В нем говорится:

«…Я сижу только потому, что сам хочу, хочу подумать о себе и о своей жизни… Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь – это жизнь, это главное. От нее разворачиваются стихи, и дела, и все пр. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всем… Но если нет «деятельности», я мертв…»

Ну а Лиля? Как она смотрела на «это»? Пылала ли любовью, как пылал Владимир Владимирович? 6 февраля 1923 года Лиля Брик пишет письмо Эльзе Триоле:

«Милая моя Элинька, я, конечно, сволочь, но – что ж поделаешь! Все твои письма получила. Ужасно рада, что твой «природный юмор» при тебе. Мне в такой степени опостылели Володины: халтура, карты и пр. пр. …что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до жизни такой. Если он увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же – нет, то Бог с ним!

Прошло уже больше месяца: он днем и ночью ходит под окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1200 строк!! Значит – на пользу!

Я в замечательном настроении, отдыхаю. Наслаждаюсь свободой! Занялась опять балетом – каждый день делаю экзерсис. По вечерам танцуем. Оська танцует идеально… Заразили полМосквы…»

Такой вот экзерсис. Тут следует сказать, что любовь Маяковского к Лиле Брик не была любовью в вакууме. Она была в

жизни. Более того, в пресловутом треугольнике: Лиля, Осип, Маяковский. Да и треугольник был не простым, а прагматически-любовным. Многие вещи Маяковского – «Облако», «Флейта» и другие – были изданы под издательской маркой Осипа Брика. Их жизнь, Бриков и Маяковского, слилась воедино и в литературе и в быту. Образовался своеобразный литературный салон, душою которого была Лиля, с ее «яркими жаркими глазами хозяйки» (Н. Асеев), а Осип выполнял роль эдакой интеллектуальной пружины.

Через Бриков провинциал Маяковский вышел в новую для него социальную и культурную среду. С другой стороны, Брики приобщились к творчеству Маяковского и стали встречаться с его друзьями. В выигрыше оказались все.

Летом 1918 года все трое выехали в Левашово под Петроградом, где сняли три комнаты с пансионом. Тогда же началась совместная жизнь Маяковского и Лили Брик.

И для Осипа Брика Маяковский был действительно находкой, и эту карту Маяковского в советской литературе с блеском разыграл Осип Брик.

V

В Москве Маяковский и Брики жили первое время в Полуэктовом переулке (ныне – Сеченовский), дом 5, квартира 23.

Двенадцать квадратных аршин жилья.
Четверо в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака Щеник.

Маяковский и Щен. «Они были очень похожи друг на друга. Оба большелапые, большеголовые. Оба носились, задрав хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь, и не оставляли до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца. Мы стали звать Владимира Владимировича Щеном».

1924 год стал переломным в отношениях между Маяковским и Лилей Брик.

Сохранилась записочка от Брик к Маяковскому, в которой она заявляет, что не испытывает больше прежних чувств к нему, прибавляя: «Мне кажется, что и ты любишь меня много меньше и

очень мучиться не будешь».

После возвращения Маяковского из Америки отношения между ними окончательно перешли в новую фазу. Бенгт Янгфельдт отмечает, что «теперь, когда их интимной жизни пришел конец, они прожили вместе семь лет».

Надо заметить, что к 1926 году в «треугольнике» произошли и другие изменения. Осип Брик увлекся женой кинорежиссера Жемчужного, и связь с ней продолжалась вплоть до его преждевременной смерти в 1945 году. При этом он продолжал жить в одной в квартире с Лилей и Маяковским.

Читатель, возможно, ошарашен такими подробностями, но это было. Лили Брик, вспоминая прошлое, как-то призналась зарубежным друзьям, что все трое старались устраивать свою жизнь так, чтобы они всегда могли ночевать дома, независимо от других отношений; утро и вечер принадлежали им, что бы ни происходило днем.

Вот так вот: до чего многообразны формы человеческих отношений!..

В мае 1926 года Маяковский познакомился с Натальей Брюханенко, работавшей в библиотеке Госиздата. Они стали встречаться и провели даже месяц в Крыму (параллельно у Лили Брик был роман с кинорежиссером Львом Кулешовым). Отношения между Маяковским и Брюханенко были настолько серьезными, что Лили Брик сочла нужным – хотя и в шутливой форме – предупредить его: «Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься!» На это Маяковский ответил ей, что у него есть «единственная кисячья осячья семья». Эта связь была первой угрозой существованию «семьи» Маяковского и Бриков. Маяковский продолжал встречаться с Брюханенко, но все же они не поженились.

Да на такой шаг, наверное, Маяковский и не пошел бы: женитьба требует хотя бы сосредоточения на объекте женитьбы, а Маяковскому сосредоточиваться было некогда: на его горизонте возникали то одна женская звездочка, то другая. Сияли. Манили. Какие уж тут могли быть брачные узы…

И все же, несмотря на все увлечения («Этот вечер решал – не в любовники выйти ль нам?..»), Лиля Брик оставалась для Маяковского женщиной его жизни: «Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь…»

Лиля всегда вставала между Маяковским и его новой музой. «Я люблю только Лилю, – сказал Маяковский Наталье

Брюханенко. – Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или ОЧЕНЬ хорошо, но любить я уж могу на втором месте».

Это же «присутствие» Лили испытали на себе две позднейшие возлюбленные Маяковского – Татьяна Яковлева и Вероника Полонская.

Лиля – это рок Владимира Маяковского.

VI

В книге Бенгта Янгфельдта собрана переписка Маяковского и Лили Брик. Приведем несколько отрывков из этого эпистолярного наследия на выдержку. Наугад.

Середина декабря 1917 года. Маяковский из Москвы пишет в Петроград. «Дорогой дорогой Лилик! Милый милый Осик! …Буду часто выходить за околицу и грустный закрывая исхудавшею ладонью косые лучи заходящего солнца глядеть вдаль не появится ли в клубах пыли знакомая фигура почтальона. Не доводите меня до этого! Целую Лилиньку Целую Оську Ваш Володя».

Без всяких запятых – синтаксис Маяковского.

Ответ Лили Брик: «…У меня болит колено, и вторую неделю не танцую… Говорят, в Москве после десяти вечера не выходят на улицу. Это очень противно. Я на три фунта потолстела и пришла в отчаянье. Хочу худеть, но почему-то с утра до ночи есть хочется и не могу удержаться… Целую тебя, Володенька. И Оська целует. Лиля».

Первая половина января 1918 года. Маяковский из Москвы – Брикам в Петроград: «… У меня по-старому. Живу как цыганский романс: днем валяюсь, ночью ласкаю ухо… Я развыступался. Была Елка футуристов в политехническом. Народищу было как на Советской демонстрации… Бойко торгую книгами… Все женщины меня любят. Все мужчины уважают. Все женщины липкие и скушные. Все мужчины прохвосты…»

Апрель 1918 года. Лиля Брик из Петрограда – в Москву Маяковскому: «Милый Щененок, я не забыла тебя. У меня есть новые, красивые вещи. Свою комнату оклеила обоями – черными с золотом; на двери красная штофная портьера. Звучит все это роскошно, да и в действительности довольно красиво. Настроение из-за здоровья отвратительное. Для веселья купила красных чулок и надеваю их, когда никто не видит – очень весело!!.. Ужасно люблю получать от тебя письма и ужасно люблю тебя. Кольца твоего не снимаю и фотографию повесила в

рамке…»

Конец октября 1921 года. Лиля Брик из Риги – Маяковскому в Москву: «Любимый мой щеник! Не плачь из-за меня! Я тебя ужасно крепко и навсегда люблю! Приеду непременно!.. Жди меня! Не изменяй!!! Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много. Есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Все по сравнению с тобой – дураки и уроды! Вообще ты мой любимый Щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! Не пью совершенно! Не хочется. Словом – ты был бы мною доволен. Я очень отдохнула нервами. Приеду добрая… Спасибо тебе за денежки на духи. Глупенький! Чего ты в Москве не купил! Здесь и достать нельзя заграничных! А если и можно, то по невероятной цене… Целую тебя с головы до лап… Твоя, твоя, твоя, Лиля (кошечка)».

6 ноября 1921 года. Из той же Риги Лиля Брик – Маяковскому: «Волосик! Не грусти, мой щеник! Не забуду тебя – вернусь обязательно… Не изменяй мне в Харькове!!!.. Мои знакомые всячески стараются развлекать меня… Жду Лондона – неужели там не лучше. Все обо мне заботятся. У меня масса цветов. Я уже писала вам, что абсолютно верна вам… Пиши подробно о своих харьковских выступлениях…»

Приписка: «Сволочной котенок! Опять ты не пишешь! Как тебе без меня живется? Мне без тебя очень плохо..»

Возникает вопрос: и это при цветах и поклонниках?..

22 ноября 1921 года. Ответ Маяковского в Ригу: «…Очень по тебе скучаю, очень люблю и очень тебя жду… Волнуюсь что к твоему приезду не сумею написать стих для тебя. Стараюсь страшно. Я тебя сейчас даже не люблю а обожаю…»

А вот и другие песни.

Февраль 1923 года. Внутригородская московская переписка. Маяковский – Лиле Брик: «…Ты совсем не должна меня любить но ты скажи мне об этом сама. Прошу. Конечно ты меня не любишь но ты мне скажи об этом немного ласково… Какая я ни есть дрянь я немного все таки человек. Мне просто больно… Только напиши верно правду! Целую твой Щен».

6 декабря 1924 года. Маяковский из Парижа Лиле Брик в Москву: «Я ужасно грущу по тебе. Ежедневно чуть не реву… Последнее письмо твое очень для меня тяжелое и непонятное. Я не знал что на него ответить. Ты пишешь про стыдно. Неужели это все что связывает тебя с ним и единственное что мешает быть со мной. Не верю! – А если это так то ведь это так на тебя не похоже – так нерешительно и так несущественно… Делай как хочешь ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит…»

26 июля 1925 года. Лилия Брик из Москвы – Маяковскому в Мехико-сити: «…итальянцы обещали через 6 недель визу… Хорошо бы нам в Италии встретиться. Интересно – попадешь ли ты в Соед. Штаты! Пиши подробно как живешь (с кем – можешь не писать). Нравится ли?.»

27 августа 1927 года. Лиля Брик из Москвы – в Ялту Маяковскому. Среди прочего: «Если есть, пришли еще денег, а то мне с ремонтом не хватит. Если у тебя нет – займу… Телеграфируй – отдохнул ли… Ужасно крепко тебя люблю…»

22 апреля 1928 года. Лиля Брик из Берлина – в Москву Маяковскому: «…Волосик, когда поедешь, привези: 1) икры зернистой; 2) 2–3 коробки (квадратные металлические) монпасье; 3) 2 фунта подсолнухов и 4) сотню (4 кор. по 25 шт.) папирос «Моссельпром». Мои кино-дела зависят только от Москвы, то есть от денег…»

20 октября 1928 года. Маяковский пишет из Франции: «К сожалению я в Париже который мне надоел до бесчувствия тошноты и отвращения…»

28 октября 1928 года. Лиля Брик из Москвы – в Париж: «… Неужели не будет автомобильчика! А я так замечательно научилась ездить!!! Пожалуйста, привези автомобильчик…»

А далее 17 (!) восклицательных знаков. И концовка: «Мы все тебя целуем и ужасно любим. А я больше всех. Твоя Лиля (кошечка)».

3 июля 1929 года. Телеграмма Маяковского Лиле Брик в Ленинград: «Перевел телеграфно двадцать пять. Целую. Счен.»

Двадцать пять – это 25 червонцев. Деньги немалые.

14 апреля 1930 года. День смерти Маяковского. Но Брики об этом не знают. Они посылают поэту коротенькую записочку из Амстердама про цветение тюльпанов. И приписка: «За что ни возьмешься, все голландское ужасно неприлично!»

На этом переписка оборвалась: один адресат выбыл…

Ну, а что все-таки «ужасно неприлично»? А, пожалуй, то, что Она (Лили Брик) Его (Владимира Маяковского) не любила.

Некоторым она признавалась, что Маяковский скучен. Маяковский, острослов, скучен? Ленинградский исследователь Николай Крыщук отвечает: «Это в общем-то легко понять. Из чего чаще всего состоит любовь? Из умолчаний, кратковременностей, пустяков, невстреч… Помните у Ахматовой:

Шиповник Подмосковья,
Увы! При чем-то тут…
И это все любовью
Бессмертной назовут.

А тут – все шквал, непрерывность, значимость, превосходная степень, предел. За пределом. За пределом…»

Лили Брик была уверена в своей власти над Маяковским на все сто процентов. Она даже его не ревновала. Но однажды, заподозрив его, она написала. И как? Без всякой истерики, но жестко и ультимативно: «… через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но требую: чтобы все, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано…»

Чувствуете металл? «…Чтобы не было ни единого телефонного звонка и т. п. Если все это не будет исполнено до самой мелкой мелочи – мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого я тебя люблю».

Любящие женщины так не пишут. Нет, по-своему она любила Маяковского. Но по-своему и как бы между прочим, среди других мужчин и поклонников. Все это вызывало в Маяковском бурю негодования и ревности, но Лили Брик на это не очень-то реагировала. Она даже считала, что «страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

VII

Лили Брик была для Маяковского вечноцветущим деревом любви.

Мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.

Так декларировал поэт. Но, знакомясь с биографией Маяковского, как-то в этом сомневаешься. Усомнилась и Эльза Триоле. В своих воспоминаниях она пишет:

«И когда я ему как-то сказала, что вот он такое пишет, а женщин-то вокруг него!.. он мне на это торжественно, гневно и резко ответил: «Я никогда Лилечке не изменял. Так и запомни, никогда!» Что ж, так оно и было, но сам-то он требовал от женщин, – с которыми он Лиле не изменял; – того абсолютного чувства, которое он не мог бы дать, не изменив Лиле. Ни одна женщина не могла надеяться на то, что он разойдется с Лилей. Между тем, когда ему случалось влюбиться, а женщина из чувства самосохранения не хотела калечить своей судьбы, зная, что Маяковский разрушит ее маленькую жизнь, а на большую не

возьмет с собой, то он приходил в отчаянье и бешенство. Когда же такое апогейное, беспредельное, редкое чувство ему встречалось, он от него бежал.

Я помню женщину, которая себя не пожалела… Это было году в 17-м. Звали ее Тоней – крепкая, тяжеловатая, некрасивая, особенная и простая, четкая, аккуратная, она мне сразу полюбилась. Тоня была художницей, кажется мне – талантливой, и на всех ее небольших картинах был изображен Маяковский, его знакомые и она сама… Смутно помню, что Тоня также и писала, не знаю, прозу или стихи. О своей любви к Маяковскому она говорила с той естественностью, с какой говорят, что сегодня солнечно или море большое. Тоня выбросилась из окна, не знаю в каком году. Володя ни разу, за всю жизнь, не упомянул при мне ее имени…»

И далее Эльза Триоле пишет:

«Дон-Жуан, распятый любовью, Маяковский так же мало походил на трафаретного Дон-Жуана, как хорошенькая открытка на написанное великим мастером полотно. В нем не было ничего пошлого, скабрезного, тенористого, женщин он уважал, старался не обижать, но, когда любовь разрасталась – предъявлял к любви и женщине величайшие требования, без уступок, расчета, страховок… Такой любви он искал, на такую надеялся и еще в «Облаке» писал:

Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков,
Любит звоночки коночек.

У Аргона есть такие стихи —

И пока он ходил от женщины к женщине,
Он страшно загрустил,
Пока он ходил от женщины к женщине…

Маяковский ходил от женщины к женщине и, ненасытный и жадный, страшно грустил… Они были нужны ему все, и в то же время ему хотелось единой любви. Любил Лилю, одну, и в то же время бросался к другим, воображал другое. Таким он был по

натуре своей. Говорил мне в Париже: «Когда я вижу здешнюю нищету, мне хочется все отдать, а когда я вижу здешних миллиардеров, мне хочется, чтобы у меня было больше, чем у них!»

Больше, сильнее, выше, лучше… Чтобы сердце билось стихами, он искал восторга любви, огромной, абсолютной…

Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.

Любовь – двигатель, дающая высший творческий азарт, вызывающая на соревнование с великими творцами, взлетающая над бытом, грязью ревности и мелкими людишками… Таким был Маяковский-поэт, таким он был и в жизни и в дружбе: «Ты Лиличку любишь? – Люблю. – А меня ты любишь? – Люблю. – Ну, смотри… Чего смотреть…»

Оставим парижские «разговорчики» Маяковского с Эльзой Триоле и перенесемся в нашу страну. Летом 1926 года в Крыму Маяковский познакомился с восемнадцатилетней харьковской студенткой Наташей Хмельницкой. Александр Михайлов в ЖЗЛовской книге «Маяковский» описывает: «Крепкий, загорелый, в голубой безрукавке, коротко остриженный, похожий на молотобойца с плаката, он покорил сердце девушки… Наташа серьезно увлеклась Маяковским… он бережно отнесся к ней. Вот что впоследствии написала Н. Хмельницкая: «На всю жизнь я

сохранила светлое чувство к памяти Владимира Владимировича, благодарность за его бережное и нежное отношение к моей юности и доверчивости, к моему первому чувству».

А до этого весной, в мае 1926 года, Маяковский познакомился с упомянутой ранее Натальей Брюханенко.

Маяковский остановил ее на лестнице Госиздата: «Товарищ девушка!» «Товарищ девушка» была высока ростом и, как оказалось, была влюблена в стихи Маяковского. Закрутился новый роман, апофеоз которого падает на август-сентябрь 1927 года.

Маяковский звал Брюханенко в Ялту в своей привычной манере: нетерпеливой, решительной, категоричной. «Срочная Москва Госиздат Брюханенко очень жду тчк выезжайте тринадцатого встречу Севастополе тчк берите билет сегодня тчк телеграфируйте подробности Ялта гостиница Россия огромный привет Маяковский». Через два дня повторная телеграмма, такая же решительная и не предполагающая никакого отказа. Какой отказ? Маяковский ждет. Он хочет. Он любит.

Они провели сказочный месяц в Крыму, и дальше, примерно год, продолжались «лирические взаимоотношения» с «товарищем девушкой», «Наталочкой». Потом все распалось. Не последней причиной стало вмешательство Лили Брик и ее просьба-приказ «не жениться всерьез». Ведь женитьба Маяковского могла серьезно подорвать материальные отношения Маяковского и Бриков. А стало быть, могла возникнуть угроза оплаты заграничных поездок Лили, ее туалетов, желания заиметь «автомобильчик», да еще «непременно форд, последнего выпуска».

Маяковский за границей оставался Маяковским, проявляющим интерес к женщинам, тем более что

> В смокинг вштопорен,
> побрит что надо.
> По Гранд по Опере
> гуляю грандом.

Эльза Триоле встретилась с ним в Париже в ноябре 1924 года. Он был особенно мрачен. Триоле свидетельствует:

«Мне бывало с ним трудно. Трудно каждый вечер где-нибудь сидеть и выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уж лучше бы молчал!.. Маяковский умел в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела. Его напористость, энергия, сила, с которой он настаивал на своем, замечательные, когда дело шло о большом и важном, в

обыкновенной жизни были невыносимы…»

В следующий свой приезд в Париж Маяковский был настроен светлее. Меньше нуждался в услугах Эльзы как переводчицы на языке «триоле» и начал брать с собой в качестве переводчиц и гидов подворачивающихся ему на Монпарнасе молоденьких русских девушек, конечно, хорошеньких. Как пишет Эльза Триоле, «ухаживал за ними, удивлялся их бескультурью, жалеючи сытно кормил, дарил чулки и уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию, вместо того чтобы влачить в Париже жалкое существование». Словом, сочувствовал…

Но очень
трудно
в Париже
женщине,
Если
женщина
не продается,
а служит.

Весна 1927 года. Маяковский снова в Париже. И снова навязчивая идея: звать в Россию. Он даже Эйфелеву башню пытался зазвать «к нам, в СССР»:

Идемте! К нам!..
Я вам достану визу!

Эльза Триоле описывает в воспоминаниях, как Маяковский пытался выхлопотать советский паспорт для «прелестного существа, маленькой, сероглазой» Аси. Триоле отмечает: «Володя умел быть с женщиной нежным, внимательным. Но с Асей все вышло по-другому, и это уже касается ее личной биографии. Тут не было ни слез, ни скрежета зубовного, и, верно, они друг друга поминали добрым словом».

Интересно, а каким словом вспоминала Маяковского героиня его американского романа – Элли Джонс? В течение длительного времени о ней мало было что известно, но, как и бывает в жизни, тайное стало явным. Не только стало известно об американском романе Маяковского, но и объявилась его дочь – единственный ребенок поэта – Патриция Томпсон.

Вот об этом и пойдет речь.

IX

В биографии Маяковского сказано:

«1925, 25 мая – вылетел из Москвы в Кенигсберг. Затем Берлин и Париж. С 21 июня поездка в Мексику и Соединенные Штаты Америки (вернулся в Москву 22 ноября)».

Америка. Нью-Йорк. Бродвей!..

А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!..

Но тут же поэт-агитатор наступает на «горло собственной песне» и выдает железную партийную установку на грядущие века:

Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

В Америке Маяковский немного восхищался американской техникой, поболее ругал местных толстосумов и уж совсем много агитировал за советскую власть. Но не только. Еще развлекался, как настоящий мужчина. Так, в его жизни, но очень ненадолго, появилась Элли Джонс (1904–1985).

Американка? Не совсем. Елизавета Зиберт родилась в Башкирии в семье эмигрантов, приехавших в Россию в XVII веке. В начале 20-х Элли (она же Елизавета) встретилась с англичанином Джорджем Джонсом, который приехал в Россию спасать голодающих в Поволжье. Вскоре они поженились, уехали

в Англию, а затем поселились в Нью-Йорке. Здесь их пути разошлись. Элли Джонс пришлось начать самостоятельную трудовую жизнь. Она работала моделью. Когда она познакомилась с Маяковским, ей было 20 лет, ему 32 года.

«Мы оба были молодыми. По-разному… – читаем мы в воспоминаниях Элли Джонс. – Мы знали, что наши отношения… должны вместиться в короткий промежуток времени. Это был как бы сгусток, капсула времени. Вот оно есть – и вот его уже нет. Все. Надо поставить точку».

Впервые Элли Джонс и Маяковский встретились на вечеринке в доме нью-йоркского адвоката Чарльза Рехта, который помог советскому поэту получить визу в США. На вечеринку Элли пришла со своим мужем Джонсом, с которым она тогда уже жила раздельно. А теперь окунемся в воспоминания Элли Джонс, опубликованные в журнале «Эхо планеты» (№ 19, 1993):

«…И вдруг Маяковский спросил: «Не сходите ли вы со мной в магазин? Мне нужно купить подарки для жены». Вот так прямо заявив, что женат, он, тем не менее, стал настаивать, чтобы я дала ему номер своего телефона, и уговаривал: «Давайте поужинаем вместе!»

Элли Джонс согласилась, и так они начали встречаться. Вместе побывали в рабочем лагере «Нит гедайге» («Не унывай») под Нью-Йорком. В своей манере Маяковский рассказал другой женщине о своей Лиле, какая она замечательная и как он ее любит. Ну, а теперь снова воспоминания Элли Джонс:

«Как-то раз, когда мы уже были в интимной близости, он спросил: «Ты как-нибудь предохраняешься?» А я ответила: «Любить – значит иметь детей». «Ты сумасшедший ребенок», – сказал он, а потом использовал эту фразу, чуть переделав, в одной из своих пьес…

…Когда мы только познакомились, он сказал: «Давай жить друг для друга. Давай оставим это время для себя, это никого не касается. Только ты и я». Хочу думать, что он жил в это время с легким сердцем и был счастлив…»

…И вот последний день в Нью-Йорке.

«Всю ночь мы занимались любовью. На заре, как обычно, мне пришлось уйти, потому что начали звонить и приходить почтальоны. Я хотела прямо там попрощаться с ним. Он сказал: «Нет, нет, нет! Ты должна прийти на корабль». Я ответила: «Мне это будет очень трудно». «Пожалуйста, приходи на корабль, – настаивал он. – Я хочу быть с тобой как можно дольше». Я отправилась домой. Вскоре он, Рехт и Бурлюк заехали за мной на такси. На пристани было очень много людей, которые обычно окружали его. Все видели, что я бледна и меня трясет. Я почти

ничего не помню. Наконец он в последний раз поцеловал мне руку. Когда он ушел, один из этих людей сказал: «О, Елизавета Петровна, вам будет так одиноко без Владимира Владимировича. Пожалуйста, дайте ваш номер телефона, если у нас будет что-нибудь интересное, мы обязательно свяжемся с вами». Я подумала: «Как ты смеешь?! Неужели ты собираешься заменить мне Маяковского?»

Вернувшись домой, я хотела броситься на кровать и плакать – по нему, по России, но не могла: моя постель вся была усыпана незабудками. У него было так мало денег, но это было в его стиле… Где он взял незабудки в октябре в Нью-Йорке? Должно быть, заказал их задолго до этого. Я не получала от него вестей. Но я не уезжала из этой комнаты, чтобы он мог найти меня, если бы захотел написать. Я думала, что это конец».

Нет, это не был конец. Они встретились три года спустя. В Ницце.

28 октября 1925 года на пароходе «Рошамбо» Маяковский уплыл из Нью-Йорка. А через семь с половиной месяцев, 15 июня 1926 года, родилась дочь Маяковского – Хелен Патриция. Если по-русски, то Елена Владимировна, а ныне она известна, как Патриция Томпсон (фамилия по мужу).

В тот год, когда она родилась, у Маяковского складывались лирические отношения с Натальей Хмельницкой, Натальей Брюханенко, ну и продолжался вечный роман с Лилей Брик.

Любопытно, что в день рождения дочери (это было на другом конце света, и Маяковский, естественно, об этом не знал) поэт собирался в Одессу, откуда 24 июня телеграфировал Лиле Брик: «Наслаждаюсь Одессой. Понедельник плыву Ялту…»

Кстати, Элли Джонс довелось видеть Лилю Брик, но это было задолго до знакомства с Маяковским, в октябре 1921 года. В тот день Маяковский провожал Лилю в Ригу. Элли (тогда она еще была Елизаветой Зиберт) увидела знаменитого поэта на «холодной дымной платформе» Виндавского (ныне Рижского) вокзала. Рядом стояла женщина, «холодные жестокие глаза» которой ее поразили. Как потом выяснилось, это была Лиля Брик.

Но не Лиля, а Элли родила ребенка Маяковскому.

– Знал ли Маяковский, что Елизавета Петровна ждет ребенка? – такой вопрос задали Патриции Томпсон, 64-летней дочери Маяковского, когда она впервые появилась в России.

– Знал, – ответила она. – И просил маму писать ему обо всем, но на адрес своей сестры Ольги. Он боялся, что письма попадут в руки Лили Брик… По рассказам матери, отец обязательно хотел увидеть меня, но не мог приехать в Америку. Тогда мы отправились в Ниццу. Сюда же приехал Маяковский,

находившийся тогда в Париже. Это было в 1928 году.

Поездка Маяковского в Ниццу 20 октября 1928 года на свидание с «двумя Элли», как он называл свою американскую возлюбленную и свою единственную дочку, разочаровала его. Больше четырех дней пробыть втроем он не смог. Не выдержал и уехал. А покинув их, тут же соскучился, и на следующий день по возвращении из Ниццы, 26 октября, он написал:

«Две милые две родные Элли! Я по Вас уже весь изсоскучился. Мечтаю приехать к Вам еще б на неделю. Примете? Обласкаете?.. Я жалею, что быстрота и случайность приезда не дала мне возможность раздуть себе щеки здоровьем. Как это вам бы понравилось. Надеюсь в Ницце выложиться и предстать во всей улыбающейся красе. Напишите пожалуйста быстро-быстро. Целую Вам все восемь лап. Ваш Вол. 26.X.28».

Нет, Маяковский не появился больше в Ницце и не предстал перед большой и маленькой Элли «во всей улыбающейся красе». Он был занят другим: изо дня в день до своего отъезда 2 декабря в Москву встречался с парижской красавицей – Татьяной Яковлевой.

А Элли Джонс в это время все писала и писала письма Маяковскому из Ниццы в Москву: «Пришлите комочек снега из Москвы. Я думаю, что помешалась бы от радости, если б очутилась там. Вы мне опять снитесь все время…»

Патриция Томпсон рассказала, что ее мать оставила шесть магнитофонных кассет более чем на шесть часов звучания и немного письменных заметок, которые она начала делать с того момента, как познакомилась с Маяковским в Нью-Йорке. Написаны они на английском языке с вкраплениями русских, французских и немецких выражений – она свободно говорила на четырех языках.

– История эта очень личная, – отмечает Патриция Томпсон. – Помню, как дня за три до своей смерти в марте 1985 года мама стала перебирать коробки с записями, рисунками, книгами. «Зачем ты это делаешь?» – спросила я. «Чтобы рассказать тебе, как это было. Больше это никого не касается…» Ее память хранила поразительные детали, которые я не могла слушать без слез. Однажды, например, Маяковский позвонил ей и сказал: «Твои заколки плачут без тебя. Маленькие просто повизгивают». Она вспоминала ласковые прозвища, которыми он ее награждал, – «елочка, лоза». Когда у них установились близкие отношения, они договорились «никому не рассказывать об ЭТОМ». Элли сдержала слово…

Элли Джонс все надеялась на возвращение Маяковского и продолжала писать ему письма. «Вы мне как-то давно сказали,

что ни одна женщина не устояла Вашему charm… Очевидно, вы правы», – писала она после несостоявшейся встречи в Ницце 12 апреля 1929 года. Как бы предчувствуя возможный ранний уход Маяковского, она просит его: «А знаете, запишите этот адрес (Нью-Йорк-сити) в записной книжке под заглавием: «В случае смерти в числе других прошу известить и нас». Берегите себя. Елизавета».

Маяковский этого не сделал, и о смерти Элли узнала из газет.

Прошло время, она вышла замуж, отчим дал свое имя и девочке, тайну рождения которой в семье тщательно оберегали. А в 1991 году разорвалась «бомба»: Патриция Томпсон приехала в Москву, и тайна двух Элли была раскрыта.

В «Независимой газете» был опубликован репортаж «Визит дамы» о пребывании Елены Маяковской в Москве: «…На Садовом кольце Элен Патриции показали чудовищного темного истукана. Каждая пола его пальто могла бы придавить десяток детей…»

Но вернемся в октябрь 1928 года. Распрощавшись с «двумя Элли» в Ницце и пообещав снова вернуться туда, Маяковский отправился в Париж. Глава «Элли Джонс» в его Книге Бытия была прочитана, а следующая «Татьяна Яковлева» манила неизведанной новизной.

Обратимся к воспоминаниям Эльзы Триоле.

«Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж и сказала ей: «Вы под рост Маяковскому». Так из-за этого «под рост», для смеха, я и познакомила Володю с Татьяной. Маяковский же с первого взгляда в нее жестоко влюбился.

В жизни человека бывают периоды «предрасположения» к любви. Потребность в любви нарастает, как чувство голода, сердце становится благодатной почвой для «прекрасной болезни», оно, горючее, воспламеняется от любой искры, оно только того и ждет, чтобы вспыхнуть. В такие периоды любовь живет в человеке и ждет себе применения. В то время Маяковскому нужна была любовь, он рассчитывал на любовь, хотел ее… Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими, желтыми волосами, довольно накрашенная, «в меха и бусы оправленная»!.. В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнеутвержденность, разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам… Она пользовалась успехом, французы падки на рассказы эмигрантов о пережитом, для них каждая красивая русская женщина-эмигрантка в некотором роде Мария-Антуанетта…»

Прервем цитату.

Татьяна Яковлева родилась в 1906 году в России, жила в Пензе. В 1925 году по вызову своего дяди, художника Александра Яковлева, уехала в Париж. Мать осталась в Пензе, и она с ней переписывалась. В одном из писем Татьяна Яковлева писала матери о Маяковском:

«Если я когда-либо хорошо относилась к моим «поклонникам», то это к нему, в большой доле из-за его таланта, но еще в большей изумительного и буквально трогательного ко мне отношения… Я до сих пор очень по нему скучаю. Главное, люди, с которыми я встречаюсь, большей частью «светские», без всякого желания шевелить мозгами или же с какими-то мухами засиженными мыслями и чувствами. М. же меня подхлестнул (ужасно боялась казаться рядом с ним глупой) умственно подтянуться, а главное, остро вспоминать Россию… Он всколыхнул во мне тоску по России… И сейчас мне все кажется мелким и пресным. Он такой колоссальный и физически и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след».

А теперь взгляд со стороны.

«Татьяна была поражена и испугана Маяковским, – пишет Эльза Триоле. – Трудолюбиво зарабатывая на жизнь шляпами, она в то же время благоразумно строила свое будущее на вполне буржуазных началах – встреча с Маяковским опрокидывала Татьянину жизнь…»

«Меня сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценила и недооценила, – продолжает Триоле. – Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна знала Маяковского без году неделю (если не считать разжигающей разлуки, то всего каких-нибудь три-четыре месяца), и ей, естественно, казалось, что так любить, как ее любит Маяковский, можно только раз в жизни. Неистовство Маяковского, его «мертвая хватка», его бешеное желание взять ее «одну или вдвоем с Парижем», – откуда ей было знать, что такое у него не в первый раз и не в последний раз? Откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту все, вплоть до жизни? Откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только эпизодическое лицо?

Она переоценила его любовь оттого, что этого хотелось ее самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности… Но она не хотела ехать в Москву, не только оттого, что она со всех точек зрения предпочитала Париж: в глубине души Татьяна знала, что Москва – это Лиля. Может быть, она и не знала, что единственная женщина, которая прижизненно владела Маяковским, была Лиля, что, что бы ни

было и как бы там ни было, Лиля и Маяковский неразрывно связаны всей прожитой жизнью, любовью, общностью интересов, вместе пережитым голодом и холодом, литературной борьбой, преданностью друг к другу не на жизнь, а на смерть, что они неразрывно связаны, скручены вместе стихами и что годы не только не ослабили уз, но стягивали их все туже… Где было Володе найти другого человека, более похожего на него, чем Лиля? Этого Татьяна знать не могла, но она знала, что в Москве ей с Володей не справиться. А потому трудному Маяковскому в трудной Москве она предпочла легкое благополучие с французским мужем из хорошей семьи. И во время романа с Маяковским продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем… Володя узнал об этом…»

В этих рассуждениях легко установить, что на стороне Лили Брик горой за нее стоит Эльза Триоле, ее младшая сестра. Она отдает все приоритеты Лили над другими любовями Маяковского. И один из сильнейших аргументов – стихи, которыми он «скручен» и «связан» с Лили.

Да, стихи – это аргумент. Действительно, если вернуться к Элли Джонс, то американская любовь не вызывала в Маяковском бешеного прилива стихотворной энергии, как это бывало во времена Лили. Разве только эти высокомерные строки, которые, кстати, «выпали» из прижизненного издания «Стихов об Америке»:

Нам смешны
дозволенного зоны.
Взвод мужей,
остолбеней,
цинизмом поражен!
Мы целуем
– беззаконно! —
над Гудзоном
ваших
длинноногих жен.

В Париже Маяковский, как пишет Триоле, «радовался и страдал» в зависимости от кривой во взаимоотношениях с Татьяной Яковлевой. А все сублимированное чувство в стихах тоже оказалось не очень-то ярко выраженным. Это далеко не «Облако», не «Флейта» и не «Люблю», а всего лишь «Письмо Татьяне Яковлевой». Нечто вроде ультиматума любовных требований.

Ты не думай,
щурясь просто
Из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток,
моих больших
и неуклюжих рук.

А дальше… вспомним в «Облаке»: «Мария – дай!.. Мария, не хочешь? Не хочешь!.» Тут тот же мотив:

Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.

Человека обидели отказом, но он не смирился (Маяковский не такой!) и вот грозится: ужо тебе!..

В 1979 году Татьяна Яковлева рассказывала Василию Катаняну в Нью-Йорке о Маяковском:

«У него была такая своя элегантность, он был одет скорее на английский лад, все было очень добротное, он любил хорошие вещи. Хорошие ботинки, хорошо сшитый пиджак, у него были колоссальный вкус и большой шик. Он был красивый – когда мы шли по улице, то все оборачивались. И он был остроумный, обаятельный, излучал сексапил. Что еще нужно, чтобы завязался роман! Мы встречались каждый вечер, он заезжал за мной, и мы ехали в «Купель», в синема, к знакомым или на его выступления. На них бывали буквально все артисты Монпарнаса, не только русская публика. Он читал много, но громадный успех имели «Солнце» и «Облако в штанах».

…Он уехал в Москву на несколько месяцев, – продолжала свой рассказ Татьяна Яковлева, – и все это время я получала по воскресеньям цветы – он оставил деньги в оранжерее и пометил записки. Он знал, что я не люблю срезанных цветов, и это были корзины или кусты хризантем. Записки были стихотворные…»

Комментируя строчку «и это оскорбление на общий счет

нанижем», Татьяна Яковлева сказала: «Я тогда отказалась вернуться с ним в Россию, он хотел, чтобы я моментально с ним уехала. Но не могла же я сказать родным, которые недавно приложили столько усилий, чтобы меня вывезти из Пензы – «Хоп! я возвращаюсь обратно». Я его любила, он это знал, у нас был роман, но роман – это одно, а возвращение в Россию – совсем другое. Отсюда и его обида, «оскорбление». Я хотела подождать, обдумать и, когда он вернется в октябре 1929 года, решить. Но вот тут-то он и не приехал… Я думала, что, может быть, он просто испугался! Я уже слышала о Полонской. Она была красива?.. – И через паузу: – Поняв, что он не приедет, я почувствовала себя свободной. Осенью виконт дю Плесси снова появился в Париже и начал за мной ухаживать. Я хотела устроить свою жизнь, иметь семью. Кстати, у вас писали, что я с ним развелась. Это неправда – он погиб в Сопротивлении у де Голля…»

Вот вам версия того, что было, со стороны Татьяны Яковлевой. Что касается Маяковского, то он слал из Москвы в Париж телеграммы, письма – просящие, умоляющие, нежные, требовательные… «Твои строки – это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная жизнь». В ответ на сообщение Яковлевой, как она провела Новый год, Маяковский отвечает: «Сумасшедшая! Какой праздник может быть у меня без тебя. Я работаю. Это единственное мое удовольствие». «Тоскую по тебе совсем неизбывно» и т. д.

Страдала и Татьяна Яковлева: «Вообще все стихи (до моих) были посвящены только ей, – пишет она матери о Лили Брик. – Я очень мучаюсь всей сложностью вопроса…»

И еще одно письмо матери (от 3 августа 1929 года): «У меня сейчас масса драм. Если бы я захотела быть с М., то что стало бы с Ильей, и кроме него есть еще 2-е. Заколдованный круг».

Круг разорвался сам собой. Маяковский во Францию больше не приехал (причины, визы – все это опускаем). Татьяна Яковлева остановила свой выбор на виконте, а Маяковский? «Чем сердце успокоится?» – как говорят карточные гадалки. Правильно! Угадали: новой любовью.

Бриков очень обеспокоило парижское «наваждение» Маяковского (уедет, женится, сбежит, – господи, все могло произойти). И Осип Брик знакомит Маяковского с Вероникой Полонской.

Вероника Полонская – последняя женщина Маяковского. Дочь известного актера немого кино, она была начинающей актрисой МХАТа, была замужем за Михаилом Яншиным (своего Лариосика он еще тогда не сыграл). Снималась в кино. Одним из режиссеров

первой ее картины «Стеклянный глаз» была Лили Брик.

«После съемок в «Стеклянном глазе», – рассказывает Вероника Полонская, – меня пригласил на бега муж Лили Юрьевны, Осип Максимович Брик. Там и произошло знакомство с Владимиром Владимировичем. Маяковский был в плаще, в низко нахлобученной шляпе, с палкой, которую он все время вертел. Большой, шумный… Я смущалась в его присутствии. Это было в мае 1929 года.

В тот же день мы встретились еще раз – у Валентина Петровича Катаева. А потом стали видеться все чаще, почти каждый день.

До этой встречи я не так много знала из его поэзии. Но, когда он сам стал читать мне свои стихи, я была потрясена. Читал он прекрасно, у него был настоящий актерский дар…

Человек он был со сложным, неровным характером, как всякая одаренная личность. Бывали резкие перепады настроений. Было нелегко, к тому же у нас была большая разница в возрасте: мне двадцать один год, ему тридцать шесть. Это вносило определенную ноту в наши отношения. Он относился ко мне как к очень молодому существу, боялся огорчить, скрывал свои неприятности. Многие стороны его жизни оставались для меня закрытыми. Все осложнялось еще и тем, что я была замужем, это мучило Владимира Владимировича. Он ревновал меня, в последнее время настаивал на разводе. Записался в писательский кооператив в проезде Художественного театра, куда мы должны были переехать вместе с ним…»

Тут следует заметить, что кооператив был нужен потому, что Полонская прекрасно понимала, что рядом с Лили Брик их жизнь с Маяковским не состоится: необходимо было разъехаться с Бриками.

Вернемся, однако, к воспоминаниям Полонской:

«Конечно, я отлично понимаю, что сама рядом с огромной фигурой Маяковского не представляю никакой ценности. Но ведь это легче всего установить с позиций настоящего. Тогда – весною 30-го года – существовали два человека, оба живые и оба с естественным самолюбием, со своими слабостями, недостатками…»

Если о Маяковском, то еще с какими!.. Но одно качество нельзя отнять у Маяковского: он был предельно честен, не желал и не умел лгать даже во благо своим отношениям. Достаточно привести в пример разговор Маяковского с Полонской по поводу стихов: «Норочка, – сказал Маяковский, – ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел тебе написать стихи об этом, но я так много писал о любви – уже все сказалось…»

Однажды он прочитал строки:

Любит? не любит?
Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю разломавши.

Прочитал и сказал: «Это написано о Норкшище».

В своих воспоминаниях Полонская отмечает, что у Маяковского «всегда были крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий эти стихи на сочиненные им же своеобразные мотивы, – или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и злым».

О классике всегда интересно узнать любые подробности. Например, такие: «Был очень брезглив (боялся заразиться). Никогда не брался за перила, ручку двери открывал платком. Стаканы обычно рассматривал долго и протирал. Пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку кружки левой рукой. Уверял, что так никто не пьет и потому ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он. Был очень мнителен, боялся всякой простуды: при ничтожном повышении температуры ложился в постель…» (В. Полонская).

Вот такие штрихи. Еще эпизод:

«Маяковский привез мне несколько красных роз и сказал:

– Можете нюхать их без боязни, Норкочка, я нарочно долго выбирал и купил у самого здорового продавца.

Владимир Владимирович все время куда-то бегал, то покупал мне шоколад, то говорил:

– Норкочка, я сейчас вернусь, мне надо посмотреть, надежная ли морда у нашего паровоза, чтобы быть спокойным, что он нас благополучно довезет».

А сам он был беспокойным, и с ним было нелегко. «Однажды Брики были в Ленинграде, – вспоминает Полонская. – Я была у Владимира Владимировича в Гендриковом во время их отъезда, Яншина тоже не было в Москве, и Владимир Владимирович очень уговаривал меня остаться ночевать.

– А если завтра утром приедет Лиля Юрьевна? – спросила я. – Что она скажет, если увидит меня?

Владимир Владимирович ответил:

– Она скажет: «Живешь с Норочкой?.. Ну что ж, одобряю».

И я почувствовала, что ему в какой-то мере грустно то

обстоятельство, что Лилия Юрьевна так равнодушно относится к этому факту…»

Не каждая женщина согласится на такое постоянное очное-заочное присутствие другой. И не просто другой, а самой главной в сердце поэта.

Полонская отмечает, что «Лиля Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично. Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности… У меня создалось впечатление, что Лиля Юрьевна очень была вначале рада нашим отношениям, так как считала, что это отвлекает Владимира Владимировича от воспоминаний о Татьяне. Да и вообще мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к его романам и даже им как-то покровительствовала, как, например, в случае со мной – в первый период. Но если кто-нибудь начинал задевать его глубже, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для Маяковского единственной, неповторимой.

Когда после смерти Владимира Владимировича мы разговаривали с Лилей Юрьевной, у нее вырвалась фраза:

– Я никогда не прощу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и стал в обществе читать новые стихи, посвященные не мне, даже не предупредив меня. И второе – это как он при всех и при мне смотрел на вас, старался сидеть подле вас, прикоснуться к вам».

Нужно ли комментировать эти слова?..

Отношения Маяковского с Вероникой Полонской складывались тяжело, да и не могло быть иначе, ведь это был Маяковский со своим особым отношением к любви и к любимой женщине.

Заканчивался 1929 год. «Я совсем не помню, как мы встречали Новый год и вместе ли, – вспоминает Полонская. – Наши отношения принимали все более и более нервный характер. Часто он не мог владеть собою при посторонних, уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснить все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим.

Я была в это время беременна от него. Делала аборт, на меня это очень подействовало психически, так как я устала от лжи и двойной жизни, а тут меня навещал в больнице Яншин… Опять приходилось лгать. Было мучительно.

После операции, которая прошла не совсем благополучно, у меня появилась страшная апатия к жизни вообще и, главное, какое-то отвращение к физическим отношениям…»

Как реагировал Маяковский? Равнодушие Полонской приводило его в неистовство. «Он часто бывал настойчив, даже

жесток. Стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам…»

В начале апреля 1930 года, как свидетельствует Полонская, отношения с Маяковским «дошли до предела». 12 апреля состоялся еще один нервический, трудный разговор-выяснение.

«Владимир Владимирович сказал:

– Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?

Я ничего не поняла тогда, так как до этого он ничего не говорил мне о самоубийстве.

И на вопрос его о включении меня в семью ответила:

– Боже мой, Владимир Владимирович, я ничего не понимаю из того, о чем вы говорите! Упоминайте где хотите!..»

Потом была ссора. Примирение. Снова ссора… 14 апреля последний разговор. Волнительный и сумбурный. Последние слова Маяковского, когда Полонская направилась к выходу из его квартиры:

– Ты мне позвонишь?

– Да, да, – ответила Полонская.

«Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел… Я вошла через мгновенье… Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки…»

Это произошло в 10 часов 15 минут.

XII

Самоубийство или убийство? Эта тема сейчас муссируется многими. Журналист Валентин Скорятин считает, то произошло убийство, что Маяковский одним из первых «подорвался на минном поле 30-х годов», его убрало ГПУ. Названы даже главные виновники – работники органов Яков Агранов, Лев Эльберт…

Другие исследователи Маяковского с этим не согласны и задают вопрос: «Зачем нужна эта неправда?» Но все сходятся на том, что многое в уходе Маяковского из жизни будет прояснено, когда откроют архивы КГБ.

Лили Брик считала, что это – самоубийство. Она всегда верила, что рано или поздно это произойдет. Полонская пишет в воспоминаниях, что «Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лили Юрьевну. Два раза хотел стреляться из-за нее, один раз он выстрелил себе в сердце, но была осечка».

Мотив рокового конца часто звучит в ранних стихах Маяковского, например, во «Флейте-позвоночник» (1915):

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.

И там же:

Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Так что идея раннего ухода из мира жила в Маяковском давно. Другое дело, что к этой идее его могли сознательно подвести (те же «органы», к примеру), спровоцировать. Но что же послужило толчком?

Николай Крыщук перечисляет возможные причины: разочарование во всем, что воспевал? Просто минута слабости? Холодный прием в Рапе? Отвернувшиеся друзья – «ЛЕФовцы»? Брики, не вовремя уехавшие за границу? Замужество Татьяны Яковлевой? Отказ в парижской визе? Неуступчивость Полонской? Измотавший за многие недели грипп? Критика «Бани» и ползущий по пятам шепот: «исписался»? Севший голос?

И еще одна имелась причина: Маяковский панически боялся старости. Он, как истинный романтик, не понимал старости. Кстати говоря, романтики, как правило, и не доживают до нее.

Но так или иначе, уход свершился. И еще раз процитируем Крыщука: «…можно только дивиться изощренности, с которой судьба подкопила к концу игры все свои убийственные козыри».

Вам не нравится слово «игра»? Но ведь Маяковский всей своей жизнью доказал, что он был игроком. Его игра в революцию, в партию, в Ленина привела его к тупику.

Воспользуемся мемуарами художника Юрия Анненкова. Он встретился с Маяковским в Париже в 1927 году.

«При нашей первой встрече в кафе «Дом» он ответил мне на мои расспросы о московской жизни:

– Ты не можешь себе вообразить! Тебя не было там уже три года.

– Ну и что же?

– А то, что все изменилось! Пролетарии моторизованы. Москва кишит автомобилями, невозможно перейти через улицу!

Я понял. И спросил:

– Ну, а социалистический реализм?

Маяковский взглянул на меня, не ответив, и сказал:

– Что же мы выпьем? Отвратительно, что больше не делают

абсента».

В последний раз Анненков встретил Маяковского в Ницце в 1929 году. Маяковский в казино проиграл все до последнего сантима и попросил у художника одолжить ему «тышу» франков. Анненков дал тысячу и еще сверх 200, и они зашли в трактирчик.

«Мы болтали, как всегда, понемногу обо всем и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву? Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнес охрипшим голосом:

– А я – возвращаюсь… так как я уже перестал быть поэтом.

Затем произошла поистине драматическая сцена: Маяковский разрыдался и прошептал, едва слышно:

– Теперь я… чиновник…

Служанка ресторана, напуганная рыданиями, подбежала:

– Что такое? Что происходит?

Маяковский обернулся к ней и, жестоко улыбнувшись, ответил по-русски:

– Ничего, ничего… я просто подавился косточкой». (Юрий Анненков. Дневник моих встреч).

Ну, что ж, за что боролся – на то и напоролся. Ведь он сам хотел, чтобы перо было приравнено к штыку,

> с чугуном чтоб и с выделкой стали
> о работе стихов от Политбюро
> чтобы делал доклады Сталин.

Маяковский хотел быть главным певцом революции. Он общался, по замечанию Троцкого, с историей запанибрата, разговаривал с революцией на «ты». Чистил себя «под Лениным», «чтобы плыть в революцию дальше». Гордился, что «моя милиция меня бережет». Анна Андреевна Ахматова возмущалась: можно ли вообразить, чтобы Тютчев, к примеру, написал «Моя полиция меня бережет?»

Все, во что верил Маяковский – «атакующий класс», в «очень правильную советскую власть» и так далее, – все это оказалось большим мифом. Иллюзией, весьма далекой от суровой реальности жизни. В связи с этим итальянский профессор, священник Ордена иезуитов Эуджидио Гуидобальди, задает сакраментальный вопрос: не является ли Маяковский членом незримого «Клуба искупления иллюзий», где столько интеллектуалов (к примеру, Клаус Манн) покончили счеты с жизнью, убедившись в несостоятельности мечты? Далее

итальянский профессор перечисляет три «иллюзии», за которые поэт чувствовал себя в ответе и которые разрушились одна за другой: первая «иллюзия» называется «революция духа» (но она не произошла), вторая «иллюзия» – «женский революционный образ» в лице Лили Брик (увы, рассыпался) и, наконец, третья «иллюзия» – «страна Любляндия». Земля, живущая по законам любви, оказалась царством ненависти и кровавых интриг ЧК.

Короче, еще одна, доведенная до интеллектуального блеска версия ухода Маяковского.

Но есть и простенькое, житейское объяснение.

Маяковский проиграл бой за читателя. В последние годы читательская аудитория отказывалась принимать стихи поэта, понимать его самого. Власти, которым он рьяно служил, отказали ему в визе в Париж. Что оставалось делать? Как жить дальше? Доживать дни с юной Полонской. Но Маяковский отчетливо понимал, что так жить, как он хотел, «чтоб не было любви-служанки замужеств, похоти, хлебов…» – не получится. И вдруг он ясно осознал, что

жил,
работал,
стал староват…
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

Это в стихах он употребил глагол в будущем времени: пройдет. А в действительности он ощутил физически и психологически: прошла…

И он спустил курок.

XIII

Велик Маяковский или не велик?

Как лирик, как трагик в своих ранних стихах – это очень большой поэт. Как певец режима – ничуть не лучше осмеянных им Безыменского и Жарова. Но это мое мнение. У каждого из нас есть «Мой Маяковский», как и «Мой Пушкин» (вариант Цветаевой).

Прислушаемся к оценкам авторитетов. Восторженных не привожу (этих «сияний» было более чем достаточно). Разве что философа и писателя Александра Зиновьева, который заявил о Маяковском, что он «не просто от Бога поэт, а бог-поэт. Один из

самых великих за всю историю литературы. В России только Пушкина можно поставить рядом с ним».

Сказано почти по Сталину.

Небезынтересно узнать мнение эмигрантов первой волны, тем более что о них мы не знали долгие десятилетия, покуда висел «железный занавес».

В некрологе «О Маяковском» (1930) Владислав Ходасевич писал: «Он так же не был поэтом революции, как не был революционером в поэзии. Его истинный пафос – пафос погрома, то есть надругательства над всем, что слабо и беззащитно… Он пристал к Октябрю, потому что расслышал в нем рев погрома».

Михаил Осоргин. Из рецензии на книгу Маяковского «Два голоса» (Берлин, 1923): «…Блеска настоящей гениальности, не раз сверкнувшей в культурнейшем Андрее Белом и в некультурнейшем Сергее Есенине, – в Маяковском нет, но исключительная даровитость его вне всякого сомнения. Он высокий мастер кованого, дерзкого, нового стиха, бьющего по хилым головам и раздражающего тех, кому удары адресованы. Лирики Маяковский чужд; он поэт не только «борьбы», но и кровавой драки, поэт вызова, наглого удара, не попадающего мимо…»

И далее: «…Он не певец в стане воинов, а лишь бандурист на пирушке предводителей. Иными словами, он не народный поэт и шансов быть им не имеет; он даже не поэт данной опричнины – этот пост занят малодаровитым Демьяном Бедным. И нечего уже говорить, что даже по форме он не может быть поэтом «пролетариата и крестьянства». Вообще, Маяковский – для избранных: для чуждых политике любителей искусства и для чуждых искусству любителей политики… Скажем еще, что к «большой литературе» Маяковский, конечно, не принадлежит. Но в ряду малых – он на видном месте, и заслуженно…»

Марк Слоним, литературный критик, историк литературы, в «Портретах советских писателей» (Париж, 1933) в главе «Владимир Маяковский» отмечает, что, «сам того не замечая, Маяковский превратился в революционного куплетиста, у которого всегда на устах шутка и живой отклик на злобу дня. У французов такие куплетисты поют в кабачках и маленьких театрах: подмостками для Маяковского, вровень с его голосом и талантом, служила русская литература. Но куплеты остались куплетами, и их короткая жизнь кончается с вызвавшей их социальной случайностью или политической суетой… Революция с ее разрушением, с ее отрицанием старого, с дерзостью и безумием, была для него родной стихией. В ней и развернулся его темперамент, здесь-то вволю мог радоваться этот поэтический

нигилист с мускулами циркового борца…»

Марк Слоним делает вывод: «Маяковский был кремлевским поэтом не по назначению, а по призванию. Он забыл, что поэзия не терпит заданных тем, и решил не только стать выразителем революции, но и сотрудником и бардом революционной власти. Он действительно «состоял в службах революции», он действительно отдал свое перо правительству… Он всерьез считал себя бардом революции и чванился и своей поэтической силой, и громоподобным своим голосом, который, казалось ему, раздается в унисон с раскатами революционной бури… Легковесна и непрочна слава Маяковского…»

И одна из последних серьезных оценок Маяковского принадлежит Юрию Карабчиевскому. В своей фундаментальной работе о поэте он отмечает:

«За двенадцать лет советской власти Маяковский написал вдесятеро больше, чем за пять предреволюционных лет. Он был не просто советским поэтом, он в любой данный момент был поэтической формулой советского быта, внешних и внутренних установок, текущей тактики и политики. И однако же то главное дело, которое он ставил себе в заслугу, не было выполнено, не было даже начато. Время свое он не отразил и не выразил.

В 40–50-е годы мы страстно читали его стихи, знали наизусть половину поэм, но что мы знали о времени? Это теперь мы можем дополнить его строки тем фоном, тем подлинным вкусом и запахом времени, который нам сообщили другие.

Время выражается только через личность, только через субъективное восприятие. Объективного времени нет. Маяковский же… Странно произнести. Между тем это очевидная истина. Маяковский личностью не был. Он не был личностью воспринимающей, он был личностью оформляющей, демонстрирующей, выдающей вовне, на-гора.

Поэзия —
это сиди и над розой
ной…
Для меня
невыносимая мысль,
что роза выдумана
не мной.
Я 28 лет
отращиваю мозг
не для обнюхивания,
а для
изобретения роз…

Он не был поэтом воспринимающим, он был поэтом изобретающим. То, что он сделал, – беспрецедентно, но все это – только в активной области, в сфере придумывания и обработки. Все его розы – изобретенные. Он ничего не понял в реальном мире, ничего не ощутил впервые…»

Тома произведений Маяковского на четыре пятых заполнены «потоком пустых версификаций», констатирует Карабчиевский.

Но это не последнее слово о Маяковском. Спор продолжается и будет вестись долго. Велик – не велик. Содержательный или пустопорожний. Лирик или агитатор… Пусть рассудит Время. И пусть профессора уймутся и снимут «очки-велосипед». Лучше поговорим снова о женщинах…

XIV

Всем интересно узнать, как сложилась дальнейшая судьба главных возлюбленных Маяковского – Лили Брик, Элли Джонс, Татьяны Яковлевой и Вероники Полонской после трагического 14 апреля 1930 года.

Начнем с американской «героини романа». «Невенчанная жена» Маяковского, как ее назвал кто-то из журналистов, Элли Джонс вышла замуж. Закончила университет и до ухода на пенсию учительствовала – преподавала русский, немецкий, французский языки, много делала для пропаганды русского языка в США, выступала с лекциями о русской культуре. Она собрала библиотеку, в которой есть все посвященные Маяковскому книги, изданные в США, зарубежные публикации о нем.

Оставила мемуары о Маяковском и передала их дочери – Патриции Томпсон.

Елизавета Петровна Зиберт, она же Элли Джонс и Элизабет Питерс по второму мужу, умерла в марте 1985 года, перешагнув 80-летний рубеж. Она завещала захоронить ее прах рядом с прахом любимого человека – неназванного мужа. Волю покойной выполнила Патриция Томпсон. Прах Элли покоится теперь рядом с останками Владимира Маяковского. Дочь Маяковского – Патриция Томпсон, а по-русски Елена Владимировна Маяковская, всю жизнь страдавшая от невостребованных чувств к отцу, переполнявших ее, теперь успокоилась. Она уже несколько раз приезжала в Москву. До своего первого приезда она заявила в одном из интервью: «Ведь я русская. Я должна побывать в России – это мой долг перед маминой памятью…»

Патриция Томпсон вышла замуж за оперного певца, потомка американцев, создавших в свое время первую конституцию и подписавших ее. Следовательно, сын Томпсон и внук Маяковского – Роджер Шеман – потомок участника американской революции и поэта русской революции. Шутка истории?.. Он адвокат. Занимается охраной интеллектуальной собственности.

Татьяна Алексеевна Яковлева, героиня парижского романа, была недолгой любовью и музой Владимира Маяковского. Как мы уже писали, вышла замуж за виконта дю Плесси. По словам Яковлевой, «он был неотразимо красив, он был знатен, но, представьте, вовсе не богат». После гибели во время войны мужа она второй раз вышла замуж за Алекса Либермана, скульптора, графика и издателя.

Василий Катанян-младший побывал у Татьяны Яковлевой в 1979 году в Америке. Она жила в двухэтажном особняке в центре Нью-Йорка. Эту встречу он описывает так:

«Дверь открывает слуга. Сверху спускается хозяйка. Ей за семьдесят, но выглядит она как женщины, про которых говорят: без возраста. Высокая, красиво причесана, элегантна. Говорит по-русски очень хорошо, голос низкий, хриплый.

Поднимаемся в гостиную – это большая белая комната с белым ковром, белой мебелью. В соломенных кашпо кусты азалий, гигантские гортензии. Я рассматриваю стены, они тесно завешены – Пикассо, Брак, Дали…»

Катанян замечает: «Несмотря на то, что Татьяна Яковлева и Лиля Брик внешне были очень различны и каждая из них обладала неповторимой индивидуальностью, тем не менее чем-то они мне кажутся похожими: отличным знанием поэзии и живописи, умением располагать к себе людей, искусством вести беседу с остроумием, изысканностью и простотой одновременно, уверенностью суждений… Обеим было свойственно меценатство – желание свести людей, которые творчески работают над какой-нибудь одной темой, помочь им участием, создать благоприятные условия для творчества. Обе до глубокой старости сохранили интерес к жизни, любили дружить с молодыми, были элегантны, ухожены, и даже улыбка в их преклонные годы была похожа – не то сочувствующая, не то сожалеющая…»

Андрей Вознесенский, также встречавшийся с Яковлевой-Либерман, дал такой моментальный словесный ее портрет: «Удлиненное лицо и тонкие дегустирующие губы аристократки».

О Маяковском Яковлева говорила охотно и часто цитировала его стихи. Когда разговор зашел о его письмах, она сказала Катаняну: «О, я их держу в сейфе Гарварда, и они увидят свет только после того, как меня не станет…»

Она умерла в 1991 году в возрасте 85 лет.

Незадолго до кончины с ней встретилась писательница Зоя Богуславская. Все тот же особняк в Нью-Йорке. Все та же белая гостиная. «Мы беседуем… – рассказывала Богуславская. – Она о чем-то спрашивает медленным низким голосом, поправляя светлые пряди волос у широкого, скуластого лица. Я рассказываю о новой Москве. Точно изваяние, она сидит неподвижно, слушает. Потом я пойму, что важнейшая составная человеческого таланта Татьяны Яковлевой – ее неподдельный интерес к собеседнику…»

Разговор заходит о Лиле Брик, о сопернице.

«Перед смертью Лиля сама написала мне о том, как Маяковский воспринял известие о перемене в моей жизни, – сказала Татьяна Алексеевна. – И не только об этом. А и о том, как она с досады все перебила в своем доме, когда впервые узнала правду о нас, узнала о стихах мне. Я ответила Лиле на ее письмо, сказав, что абсолютно ее понимаю, оправдываю и только прошу, чтобы она все мои письма Маяковскому сожгла. Она ответила, что тоже меня понимает и оправдывает. Так что перед ее смертью мы объяснились. И простили друг друга… Что вас так удивляет?..»

Интересно сравнить. В своей предсмертной записке Маяковский сожалел, что не выяснил отношений до конца с критиком Ермиловым: «надо было доругаться». А вот любимые женщины Маяковского – настоящие соперницы в борьбе за сердце поэта, – все вспомнили. Вздохнули. И простили друг друга. По-христиански.

И еще о Яковлевой. У нее дочь – Френсин дю Плесси Грей. Писательница. Ее роман «Тираны и любовники» был бестселлером в Америке. Вот и Френсин волнует эта вечная тема: любовь…

Теперь о Веронике Витольдовне Полонской, которую Маяковский все в той же предсмертной записке включил наряду с Бриками в свою семью. Однако семья оказалась не очень-то гостеприимной. Полонская рассказывает:

«В день похорон Маяковского я говорила с Лилей Юрьевной по телефону, и она сказала, что мое присутствие на похоронах нежелательно, так как вызовет ко мне внимание обывателей и всякие ненужные толки. И я сама не пошла.

В середине июня 1930 года меня пригласили в Кремль. Прежде чем пойти туда, я снова говорила с Лилей Юрьевной. Она посоветовала отказаться от моих прав наследства Маяковского, хотя он писал об этом… Я колебалась, ведь это нарушение последней воли дорогого мне человека. Но я знаю, что мать и сестры Владимира Владимировича вслух называют меня причиной его гибели…

В Кремле меня принял человек по фамилии Шибайло. Сказал: «Вот Владимир Владимирович включил вас в свое письмо и сделал наследницей. Как вы к этому относитесь?»

Я попросила его помочь мне, так как сама не могу ничего решить. Трудно очень…

– А хотите путевку куда-нибудь? – ответил он.

Вот и все. Больше мной никто не интересовался».

В этих воспоминаниях все интересовало: и жесткая позиция Лили Брик, и власть в Кремле, которую представляет человек по фамилии Шибайло. Знал бы о ней Маяковский всю подноготную, может быть, тогда, влезая после душа в чистую рубаху, не сказал бы:

Влажу и думаю:
– Очень правильная
эта,
наша
советская власть.

В 1938 году директор музея Маяковского убедил Веронику Полонскую написать воспоминания о поэте. Она написала. Многие брали эту рукопись, говоря, что непременно надо опубликовать ее. Интересовалась рукописью и Лили Брик. Более того, она внесла в нее ряд правок, как бы продолжая прежний надзор над отношениями Маяковского и Полонской. Однако в роли главного цензора оставалась все же советская власть, государство. Оно не могло допустить, чтобы на солнце Маяковского были какие-то пятна. Живой, ошибающийся, порой грубый и эгоистичный Маяковский ей был не нужен. Нужен был лишь поэтический агитатор, славящий Отечество, «которое есть». В итоге воспоминания Полонской были опубликованы только через 48 лет.

В 1990 году корреспондентка «Советского экрана» Эльга Лындина встретилась с Вероникой Полонской в Доме ветеранов сцены. Звездой экрана Полонская не стала, хотя она удачно снялась в нескольких известных картинах. Не обрела она и шумной сценической славы и все же сыграла главные роли в спектаклях, поставленных Завадским, Лобановым, Немировичем-Данченко. И вот завершение жизненного пути: Дом ветеранов сцены. Две маленькие комнатки вроде каюты корабля. На стенах крохотной гостиной – фотографии хозяйки дома на различных этапах жизни. Конечно, есть и Маяковский. Но привлекает другая фотография: красивый мужчина с прелестной девчушкой с бантом. Отец и дочь. Витольд Полонский, один из королей

русского дореволюционного кинематографа, и Вероника Полонская, одна из возлюбленных Владимира Маяковского. Увы, всего лишь одна из…

Корреспондентка на грустной ноте закончила интервью с Вероникой Витольдовной: «Я ухожу. Она остается в своей комнатке-кают-е. Изящная, все еще красивая седая женщина с живыми синими глазами. Остается со своими воспоминаниями, которые для нее живее живой жизни. Со своим одиночеством, тоской по ушедшим…»

Воспоминания Полонской заканчиваются такими фразами:

«Я ни от чего не отказываюсь.

Я любила Маяковского. Он любил меня. И от этого я никогда не откажусь».

XV

И, наконец, Лили Юрьевна Брик, из-за которой разгорелся весь сыр-бор Владимира Маяковского.

«Любовь поэта… – размышляет в одной из статей Андрей Титов. – Отдав должное, воздвигнув памятники, переиздав и перепечатав, переворошивши все, мы начинаем вглядываться в ее черты. Кто эта Лаура, Наталья Николаевна или Любовь Дмитриевна? На полстолетия пережившая своего возлюбленного… собравшая и сохранившая все это… прожившая, между прочим, и свою жизнь?..»

Действительно, воспринимаем жизнь Лили Брик сквозь призму Маяковского, а у нее была своя жизнь. Существовал свой параллельный мир. Лили Юрьевна была из редкой породы людей одаренных. Она хорошо писала. Лепила, училась этому в Мюнхене. Уже после смерти Маяковского сделала бюст поэта. Еще Осипа, Брика, Катаняна и самой себя. Она не без успеха работала в кино. Но основная ее профессия – быть женщиной с большой буквы. Это прежде всего. Она создала салон, который существовал с 1915 года до конца ее жизни. Там бывали очень интересные люди. Как свидетельствует Андрей Вознесенский, бывавший в бриковском салоне, «у нее был уникальный талант вкуса, она была камертоном нескольких поколений поэтов».

Ну, и, конечно, Лиля Брик была красавицей, хотя красоту ее все оценивали по-разному. Сама красавица, Розенель-Луначарская вспоминала: «Я впервые увидала Лилю Юрьевну Брик, тоненькую, изящную, в черном платье, с гладко причесанными темно-рыжими волосами…»

Поэт Серебряного века Михаил Кузмин писал о Лиле:

Глаза – два солнца коричневые,
а коса – рыженькая медь.
Ей бы сесть под деревья вишневые
и тихонечко что-нибудь петь.

«Рыжеволосая, с огромными сияющими глазами…» (Маргарита Алигер о Лиле Брик). Ее часто фотографировал знаменитый Родченко. Портреты Лили писали художники Тышлер и Бурлюк.

В ней была не только красота, но нечто такое, притягательное, скрытое, магнетизирующее. Недаром вокруг нее роем, как пчелы, вились мужчины. Их манил нектар ее красоты.

Необычный и, надо признать, мужественный шаг Лиля Юрьевна сделала, написав письмо Сталину. Письмо убедило и открыло эпоху Маяковского.

В «Правде» появилась полоса с крупным аншлагом: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. И. Сталин».

«И все покатилось, нарастая, как снежный ком… Площадь имени Маяковского, метро, театр, музей, собрание сочинений. Конкурсы на памятник… И везде и всюду Маяковский отныне стал первый признанный советский классик…»

Вот такой обвал вызвала эта маленькая женщина своим письмом к Сталину от 24 ноября 1935 года.

Это версия Лили Брик. А вот версия позднего исследователя Сергея Константинова, выдвинутая им в «Независимой газете» в связи с 70-летием гибели Маяковского в статье «Отвергнутый футурист» (15 апреля 2000): «Мертвого Маяковского с огромным багажом его произведений, прославляющих Ленина, советский паспорт, стройки первой пятилетки, Сталин предпочел живым поэтам из чисто прагматических соображений. Ему гораздо удобнее было популяризировать мертвого Маяковского, чем тратить лишнее время и силы, чтобы добиться выполнения соответствующего социального заказа у поэтов здравствующих…»

Хвали Маяковского, чтобы другие подтягивались? Вступали в хор ликующих? Так, что ли?.. Очень похоже на правду. Однако вернемся к Лиле Брик.

В том своем письме к вождю она сдвинула вместе имена Маяковского и Есенина и сказала: «Когда я думаю о судьбе этих великих русских поэтов, я не сужу себя строго за письмо Сталину… Маленькие поэтики боялись поэтического могущества Есенина и Маяковского… Поначалу им удалось упрятать поэзию того и другого, но только поначалу… Ведь жить-то им века!..»

Завидовали не только мертвому Маяковскому, но и живой вдове. Да, зависть, как черный шлейф, вилась за платьем Лили Юрьевны. А тут 1937 год, арест и расстрел Примакова. Лиля Брик – член семьи врага народа.

Ежов: как поступить?

Сталин: не будем трогать жену Маяковского!

Кто знает, может быть, ее письмо к вождю послужило своеобразной охранной грамотой?..

Уже в послесталинскую эпоху, в 1968 году, софроновский «Огонек» предпринял атаку на «Бриков, Коганов, Эренбургов, Чуковских и им подобных». В тот период записи и воспоминания Лили Юрьевны нигде не печатались. Дожила она и до прямолинейных обвинений. Патриоты заявили, что «виноваты в смерти Маяковского прежде всего и больше всего Л. и О. Брики, Я. Агранов». Значит, «убивица». Цель: чтоб стать «великой вдовой». И еще удар хлыста, но послабее: «авантюристка». Короче, софроновский «Огонек» решил спалить Лили Брик своем огне националистического пламени. Патриотам страсть как хотелось отмазать еврейку Брик от русского Маяковского.

Атака была отбита, и сожжения «ведьмы» не произошло, но до сих пор ретивым исследователям не дает покоя роль Лили Юрьевны Брик в смерти Маяковского. Совсем недавно кто-то обнаружил личное удостоверение Лили Брик как сотрудника ГПУ за № 15073 (у Осипа Брика – № 24541), датированное 1922 годом. Но даже найденное удостоверение – не повод для обвинения в причастности к убийству. На всякий случай 14 апреля 1930 года Лили Брик в Москве не было. Что сказать по этому поводу? Только одно: славы без комков грязи не бывает никогда.

XVI

Так что в жизни Лили Юрьевны Брик было всякое. Пришла к ней и старость.

Шведский режиссер и писатель Вильгат Шеман вспоминает о своей встрече с Брик:

«…Прямо с порога попадаю в историю русской литературы. На стене большая фотография Маяковского, на которую мне указывает пожилая дама. Она ссорится со своим теперешним мужем. Это очень маленькая удивительная старушка, охраняемая галантным оруженосцем, своим мужем. Мы беседуем по-французски. Квартира буквально ломится от всякой всячины, именуемой здесь Лилей и «Брик-а-брик» (игра слов: старье,

хлам. – *Ю. Б.*).

– Завтра я иду на фильм Тарковского «Зеркало». Я слышал, что это очень интересный фильм!

– Очень скучный, – говорит Лиля Брик».

Оценка Брик неудивительна: медлительный и пластический Андрей Тарковский после вулканического, огненного Маяковского, конечно, скучно…

Вспоминает журналистка Татьяна Иванова:

«Я видела Лилю Юрьевну Брик за несколько лет до ее конца на вечере Маяковского. Недалеко я сидела и глаз с нее не сводила – нельзя было наглядеться. Она ведь была красавица. Да, красавица в свои «за восемьдесят». Дивная грация в повороте головы, в каждом жесте, глаза глубокие, прекрасные…»

Но этот взгляд, скажем, панегирический. А вот иной, иронический, принадлежащий Андрею Вознесенскому, который назвал Лили Юрьевну «Пиковой дамой советской поэзии». Наблюдая ее в Малом зале ЦДЛ, Вознесенский живописует Брик:

«Пристальное лицо ее было закинуто вверх, крашенные красной охрой волосы гладко зачесаны, сильно заштукатуренные белилами и румянами щеки, тонко прорисованные ноздри и широко намалеванные прямо по коже брови походили на китайскую маску из театра кукол, но озарялись божественно молодыми глазами…»

Размышляя о судьбе Лили Юрьевны, Вознесенский пишет:

«Была ли она святой? Отнюдь! Дионисийка. Порой в ней поблескивала аномальная искра того, «что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья». Именно за это и любил ее самоубийца. Об их «амур труа» написаны исследования».

Вот так написал о Лиле Юрьевне Вознесенский. Не будем судить ее. Пусть Бог будет судьею каждому из нас.

Лиля Брик, как и Владимир Маяковский, сама оборвала нить своей судьбы. Четвертого августа 1978 года она покончила с собой, приняв много таблеток снотворного.

В воспоминаниях о Лиле Брик Лидия Гинзбург написала, что «самоубийство обычно акт молодости, сохраняющей еще свежесть воли и чувства, которые восстают против унижения, страдания…» Что ж, все это вписывается в характер Лили Юрьевны.

В одном из последних своих писем к Триоле Лиля Брик жаловалась (из Переделкино в Париж): «…Жарко! С утра двадцать восемь градусов. Сирень неистствует. Соловьи молчат».

Эти слова можно понять и метафорически. Неистовствующая сирень – это вечно торжествующая пошлость. А соловьи… Они поют, но очень редко. И очень кратко. А в основном – молчат.

Блуждающая звезда. Исаак Бабель (1894–1940)

К 100-летию Бабеля астрономы назвали его именем малую планету. Он и в русской литературе давно существует на правах «беззаконной кометы в кругу расчисленных светил». Или можно сказать по-другому: он – блуждающая звезда, зависшая над черной бездной ЧК… Сегодня Бабелю уже 118 лет, и мы пытаемся разгадать геометрию полетов этой странной звезды, его отношения с Софьей Власьевной, то есть с советской властью, дамой крутой и серьезной. Что касается литературного мастерства Бабеля, то тут все ясно. Высочайший класс. Золото высшей пробы.

Читать Бабеля – истинное наслаждение. Это пир для гурманов, праздник для книгочеев – до того поразительно богатство его речевой культуры. Сам Бабель возмущался собратьями по перу, которые были равнодушны к слову. «Я бы штрафовал таких писателей за каждое банальное слово!»

Исаак Эммануилович Бабель родился 1 (13) июля 1894 года в небедной и образованной еврейской семье. Из автобиографии: «Родился в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал 16 лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая II училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много

великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино…»

Пытливый по натуре, юный Бабель одолел все 11 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Читал Расина, Корнеля и Мольера. Писать начал еще в училище, на французском языке, которым владел великолепно. Первый рассказ на русском «Старый Шлойме» Бабель опубликовал, будучи студентом Коммерческого института, в журнале «Огни» (Киев, 1913 г.).

В конце 1916 года состоялась встреча Бабеля с Максимом Горьким. Мэтр, посмотрев рассказы молодого сочинителя, посоветовал ему пойти «в люди». «В людях» Бабель провел семь лет: был репортером, служащим, солдатом, исколесил многие города и веси. Значительно позже, в 30-е годы, он сказал Леониду Утесову: «Человек должен знать все. Это невкусно, но любопытно». Жизнь, смерть, любовь – вот что притягивало к себе Бабеля. И все это сполна он увидел, находясь в рядах Первой конной армии в качестве корреспондента газеты «Красный кавалерист» по документам Кирилла Васильевича Лютова. В перерывах между походами, боями и грабежами Бабель вел походный дневник, который пропал. Опубликована лишь одна уцелевшая тетрадка. В ней крик и испуг истинного интеллигента: «Ад. Как мы несем свободу, ужасно».

Бабелевскую «Конармию» начали публиковать в 1923 году. Это целый материк слез и страданий простых людей. «Мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..» Предводитель Первой конной Семен Буденный был возмущен повествованием Бабеля, усмотрев в книге клевету на доблестных бойцов своей армии. Даже Виктор Шкловский экстравагантно выразился: «Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона».

А Бабель, отвоевав и отписав, вернулся на Молдаванку и поселился в дом старого наводчика Цireса и его жены Хавы. Именно там и родились знаменитые «Одесские рассказы» и про Беню Крика и его товарищей. Помните? «… Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложила два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись».

Пряные рассказы Бабеля завораживали, от них нельзя было оторваться. «Русская литература сера, как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки цвета небесной лазури», – писал

Виктор Шкловский, имея в виду образность и красочность «Одесских рассказов».

А дальше для Бабеля наступили тяжелые времена: выражаясь словами Блока, «уходил хмель революции», исчезали вольница и анархия, страна, туже затянув ремни, бросила все силы на строительство империи, и нужно было как-то вписаться в новую эпоху или окончательно выпасть из нее.

Вот что писала советская энциклопедия о Бабеле в начале 30-х годов: «Выходец из еврейской мелкой буржуазии, придавленной царским режимом, Бабель в своем творчестве дал своеобразный вариант мелкобуржуазного восприятия революции… Классовая действительность разбивает романтические настроения; отсюда – недоумение Бабеля перед пролетарской революцией и скептицизм…»

Читатели восторгались произведениями Бабеля, а официальные критики (в частности, печально знаменитый Г. Лелевич) утверждали, что все в писаниях писателя – «небылица, грязь, ложь вонюче-бабье-бабелевские пикантности».

Вся семья Бабеля уехала из России. Мог и он ее покинуть, имея возможность выезжать на Запад. Но Бабель этого не сделал. Почему? В конце 1932 года в Париже Бабель говорил художнику Юрию Анненкову:

– У меня – семья: жена, дочь, я люблю их и должен кормить их. Но я не хочу ни в коем случае, чтобы они вернулись в советчину. Они должны жить здесь на свободе. А я? Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов? Но ведь у него нет детей! Возвращаться в нашу пролетарскую революцию? Революция! Поди-свищи ее! Пролетариат? Пролетариат пролетел, как дырявая пролетка, поломав колеса! И остался без колес. Теперь, братец, напирают Центральные Комитеты, которые будут почище: им колеса не нужны, у них колеса заменены пулеметами! Все остальное ясно и не требует комментариев, как говорится в хорошем обществе… Здешний таксист гораздо свободнее, чем советский ректор университета… Шофером или нет, но свободным гражданином не стану…»

Не стал. Не получилось.

Чуть раньше, 28 октября 1928 года, Бабель писал матери: «Несмотря на все хлопоты – чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно, – но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь».

И он упорно трудился (хотя с каждым годом все меньше

публиковался) – написал рассказы «Фроим Грач», «Ди Грассо», драму «Закат», пьесу «Мария». Ради заработка много работал для кино, задумал цикл рассказов и повесть «Коля Топуз», о которой говорил: «Я хочу показать, как такой тип (Топуз – типа Бени Крика. – *Ю. Б.*) приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе, потом отправляется на шахту в Донбасс. Но поскольку в душе он все же бандит, то постоянно в конфликте с нормальной жизнью и все время попадает в смешные и нелепые ситуации».

Повесть «Коля Топуз», как и начатый Бабелем роман о ЧК, читатели так и не увидели. При аресте Бабель сокрушался: «Не дали доработать». Не помогла и дружба с отдельными чекистами (писатель посещал литературный салон своей старой одесской знакомой Евгении Халютиной, жены кровавого наркома Ежова: ему было интересно узнавать новости и детали жизни правящего класса), ни пропетая вождю осанна на Первом съезде советских писателей: «…Посмотрите, как Сталин кует свою речь, какой полны мускулатуры его немногочисленные слова. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом нам надо».

За Бабелем пришли на рассвете 16 мая 1939 года на даче в Переделкине. Завели «дело № 419», обвинив в шпионаже. Бабель не просто признался, а написал большой документ, очень похожий на литературные мемуары, по сути – обращение к «товарищам потомкам». Потом Бабель отказался от своих признаний: мол, не был ни участником террористической организации среди писателей, ни французским и австрийским шпионом. Но это уже не имело никакого значения: «преступник» был уличен! На приговоре комиссар внутренних дел СССР Берия начертал: «Утверждаю». И 27 января 1940 года Исаака Бабеля расстреляли в Москве. Сведений о месте захоронения нет. Пропали в недрах Лубянки и рукописи писателя: 15 папок, 11 записных книжек, 7 блокнотов с записями.

Бабель был вычеркнут из пантеона советской литературы. Правда, реабилитировали его одним из первых. Потихоньку стали печатать. Появились статьи и книги о нем. Фазиль Искандер сказал: «Как мощный стилист, Бабель прорубает тропы гармонии сквозь лес вздыбившихся страстей народа… Всепожирающая любовь к слову так велика, что она напоминает бой матадора с быком. У Бабеля нет ударного накопления эмоций для концовки. Фраза отточена и закончена так, что наслаждение от чтения длится независимо от сюжета. В сущности, его можно читать, распахнув книгу на любой странице».

Как выглядел Бабель? Лев Славин вспоминает: «Он был

невысок, раздался более в ширину. Это была фигура приземленная, прозаическая, не вязавшаяся с представлением о кавалеристе, поэте, путешественнике. У него была большая, лобастая, немного втянутая в плечи голова кабинетного ученого». Прирожденный рассказчик, Бабель, тем не менее, не любил давать интервью. Однажды на вопрос Веры Инбер о его ближайших планах Бабель ответил: «Собираюсь купить козу…»

О, эти бабелевские шуточки. Он постоянно и много шутил. Часто по телефону говорил женским голосом: «Его нет. Уехал. На неделю. Передам».

Ну, а как звучала в личной жизни Бабеля женская тема? Чисто по-бабелевски. Отец Исаака как-то отправил его к киевскому промышленнику Гронфайну для закупки неких сельскохозяйственных машин. В доме Гронфайна юноша познакомился с его дочерью Женей, гимназисткой последнего класса. Возникла взаимная любовь. О женитьбе студентика, сына купца с Молдаванки, на богатой наследнице Гронфайна не могло быть и речи. Что оставалось делать влюбленным? Бежать в Одессу. Старик Гронфайн был вне себя от ярости, проклял весь род Бабелей до десятого колена и лишил дочь наследства. Чем не одесская история?

Когда Евгения с дочкой перебрались в Париж, Бабель бывал во Франции наездом, а в Москве у него тем временем бурно развивался роман с актрисой мейерхольдовского театра Тамарой Кашириной. Бабель покорил актрису своим интеллектом. Каширина родила сына Мишу, впоследствии ставшего художником. И… вышла замуж за другого писателя – Всеволода Иванова.

В 1932 году Бабель познакомился с Антониной Пирожковой и женился на ней, по его признанию, «дивной женщине с изумительной анкетой: мать неграмотная, а сама инженер на Метрострое». Родилась дочь Лида.

Бабель много колесил по стране. Внешне он оставался веселым, а в душе было темно и глухо. «Почему у меня непроходящая тоска? Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде», – записывал Бабель в дневнике.

Без сомнения, Бабель чувствовал, что жить ему осталось недолго, в одном из рассказов у него даже есть пророческая фраза: «А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре». И еще: «Нужны ли тут слова? Был человек, и нет человека!

Остались книги, воспоминания и блуждающая звезда в горных высях. На этом поставим точку. Ибо, как заметил Исаак Бабель, «никакое железо не может войти в человеческое сердце

так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

Одинокий волк Октября. Борис Пильняк (1894–1938)

Пильняк – крупный оригинальный писатель времен тоталитарной поры. Сегодня хотя его и издают, но не все знают. Коротко расскажем о нем.

Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау – его отец из немцев-колонистов Поволжья) родился 11 октября 1894 года в Можайске. Окончил коммерческий институт. Начало писательской деятельности относится к 1915 году. Считал себя учеником Алексея Ремизова («мастер, у которого я был подмастерьем»). Писательский взлет Пильняка пришелся на революцию, которая дала новые темы. Имя Пильняка сразу стало громким и популярным. Николай Тихонов с завистью записал о Пильняке: «Верховодил в литературе… занял место первого трубача революции своими романами».

Однако Пильняку верховодить особенно не дали. Он быстро попал под критический каток (намеки в «Повести непогашенной луны» раздражали партфункционеров, да и многие высказывания об Октябре были неприемлемы) и был ликвидирован. А вот Тихонов и верховодил, и процветал, и был истинным «трубачом революции».

Пильняк трубачом не был. Он был писателем-аналитиком и пытался разобраться в политических и социальных процессах, происходящих в обществе. Он не «слушал музыку революции», он ее анатомировал и поэтому пристально присматривался к большевикам, «кожаным курткам», – кто такие и откуда.

«…В исполкоме собирались – знамение времени – кожаные

люди в кожаных куртках (большевики!) – и каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных, – в дерзании. Из русской рыхлой корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!» («Голый год», 1922).

В этом своевольном «баста!» никакой апологетики, а выражение сути «кожаных курток».

В другом не менее знаменитом романе «Машины и волки» (1924) Пильняк своеобразно пишет о волчьей России, что «вся наша революция стихийна, как волк» (уже тогда посмеивались, что по Пильняку, герой Октября – волк). Образ волка, который олицетворяет, с одной стороны, жестокость, а с другой, сам является жертвой (нынешняя формула тех времен: палачи и жертвы), привлек внимание не одного Пильняка. Достаточно сказать, что к теме волка обращались и Есенин, и Мандельштам, и Высоцкий («Идет охота на волков…»).

В том же романе «Машины и волки» Пильянк впал в некоторое романтическое преувеличение индустриальной мощи, ему казалось, что есть некоторая «машинная правда», которая позволит уйти «от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи – к России и к миру, строгому, как дизель… Заменить машиной человека и так построить справедливость».

Естественно, не получилось. А вот в серии американских очерков «О'кей» Пильняк точно предвидел, что «ныне СССР и USA играют в шахматы сегодняшнего человечества». Правда, один игрок сегодня несколько растерял фигуры, но все равно, кто возразит, что судьбы мира зависят от Америки и России.

Пильняк в отличие от многих писателей поездил по белу свету и ясно видел положение вещей, что есть Запад, что есть Восток и что есть Россия, «огромная земля многих народов, ушедших в справедливость». По крайней мере, так ему хотелось думать.

Небольшая повесть Пильняка «Красное дерево» вызвала шквал критики, и появился термин «пильняковщина». А из-за чего сыр-бор? Из-за того, что Пильняк посмел утверждать, что не Россия для коммунистов, а коммунисты – для России. В другой повести – «Мать-мачеха» – один из персонажей говорит: «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает – ложь повсюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это – массовый психоз, болезнь, слепота?..»

Скоренько из трубачей Пильняк угодил во враги. Его арестовали 28 октября 1937 года в день рождения сына. 21 апреля 1938 года последовал расстрел. Писателю было всего 43 года. Вот так: был человек – и нет человека.

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Эти строки из стихотворения Бориса Пастернака, посвященные Пильняку.

О себе Пильняк говорил: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть честным с собой и с Россией».

Быть честным – еще одна вина…

Судьба Пильняка свершилась, а судьба его книг продолжается. Теперь их издают, и читатели поражаются их затейливым движением фабулы и оригинальным пряным языком, звукозаписью, переключением ритмов повествования, фантасмагорией, сюрреализмом и прочим. Стиль Пильняка довольно сложный, и за эту сложность ему немало доставалось при жизни, упрекали его в заимствованиях, в подражательстве и т. д. Горький отмечал, что Пильняк пишет «мудрено», Эренбург считал, что «вычурно».

А вот мнение о Пильняке Сергея Есенина: «Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений».

Сегодня нас с вами, как читателей, абсолютно не интересуют «идейные шатания» Бориса Пильняка, а вот мастерство слова, «походка настроений» – это как раз то, для чего мы берем книгу с полки.

«Всякая женщина – неиспитая радость…» – читаем мы в «Голом годе».

«Доктор Павловский хотел выслушать мое сердце: я махнул на сердце рукою! Я радостнейше выползал из гирь и резин, надевал в гордости штаны, и завязывал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юроси-гоза-имасил», т. е. объяснял, что очень хорошо!..» (рассказ «Синее море»).

Хорошо-то хорошо, но не для всех. А уж для Бориса Пильняка точно.

Есть ли утешение? Может быть, слова Эпикура? «Когда мы

есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых». А что думал на этот счет Борис Пильняк, когда его вели на расстрел?..

«Не жалею, не зову, не плачу…». Сергей Есенин (1895–1925)

Ничего, кроме России, не видел. Не реальной, всамделишной России, а видел лишь ту, которая требовалась для его стихов. Эта была традиционная литературная Россия.

Среди грузовиков с восставшими солдатами Есенин невозмутимо правил гоголевской тройкой. Он был ее последний ямщик.

Эммануил Герман. О Есенине

Необходимое предисловие

С легкой руки Марины Цветаевой, написавшей «Мой Пушкин», пошли гулять личные интерпретации литературных кумиров. Мой Достоевский, мой Лев Толстой, мой Есенин. И это, наверное, правильно, ибо любой талант – сотни граней, и одному человеку не ухватить всего. Личность уплывает за горизонт. Но если сложить воедино все отдельные субъективные виденья, то из этой мозаики может получиться почти полный портрет со всеми деталями, гримасами и вывертами.

К чему я все это? А к тому, что у меня есть личное отношение к Сергею Александровичу Есенину, и я тоже могу написать надменно собственническое эссе «Мой Есенин» (другой вопрос, как это написать: хорошо или плохо. Сохраняя объективность или перехлестывая через субъективный край).

В конце 40-х годов, когда я учился в школе (в московской

школе № 554), Есенин был табуированной фигурой. В учебнике литературы о нем не говорилось ни слова. Учителя глухо проговаривали, что-де был такой крестьянский поэт, мелкобуржуазная контра, который плохо относился к советской власти. А потому и запрещенный. Мой давний друг Александр Стрижев рассказывал, как однажды в трамвае за чтением Есенина его застал один «дяденька» и по-отечески предупредил: «Мальчик, закрой книгу. За это срок дают».

Ну а теперь почти официальная справочка.

Четырехтомник Есенина вышел в 1926–1927 годах, после чего его стихи не издавались… 34 года. Правда, в 1949 была предпринята попытка, и сборник избранных произведений стоял в плане издательства «Советский писатель», но год был глухой, шла борьба с космополитизмом, и поэтому из издательского плана вылетело примерно три десятка книг, в том числе и есенинская. В 1961–1962 годах после долгого перерыва вышел наконец пятитомник: пять небольших бирюзовых томиков.

Что касается биографических материалов, то последние воспоминания о Есенине принадлежали Эрлиху. Они были опубликованы в 1930 году. И снова перерыв, абсолютное молчание. Первым осмелился напомнить о поэте Всеволод Рождественский, который напечатал статью о нем в журнале «Звезда» в 1946 году. Что сделали со «Звездой», вы помните (разгромное постановление ЦК партии в основном било по Ахматовой и Зощенко, но рикошетом, наверное, палили и по Есенину). Молчание в 16 лет (с 1930 по 1946 год) отлучило от Есенина целое поколение молодых людей. Из литературы вычеркнули классика русской поэзии, а на передний план выпятили других, более правоверных и более благонадежных поэтов, типа Суркова и Ошанина, во главе с главным соперником Есенина Владимиром Маяковским, которые «во весь голос» поднимали свои стихотворные сборники как «партийные книжки». Сергей Александрович был не из их числа:

Я вам не кенар!
Я поэт!..

Кто виноват в отторжении Есенина от советской литературы в те годы? «Патриоты» сразу закричат про Троцкого, Бухарина и Луначарского. Не буду спорить, это особая тема. А вот мнение Льва Троцкого, посвященное Есенину, любопытно. В одной из статей Троцкий, разбирая поэму «Пугачев», отмечает, что и «сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин: хочет быть страшным, но не может. Есенинский Пугачев сентиментальный романтик. Когда

Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавляет…» И Троцкий, похлопывая по плечу Есенина, говорил, что поэт «левее нас, грешных», то есть большевиков.

Но вот «левого большевика» (все же большевика!) из революционного сада культуры и литературы выбросили.

Однако всякие идеологические расхождения, официальные заявления, манифесты и платформы (того же самого имажинизма, к которому примыкал Есенин) мало интересуют простых любителей поэзии. Для них главное – стихи, строчки, которые бередят или греют душу. А творчество Есенина – это сплошная щемящая русская тоска и боль, когда поэт пребывал в миноре, и разудалое ухарство, когда он сам хорохорился. Пастернак говорил о Есенине: «Он в жизни был улыбчивый, королевич-Кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно – этот зарезать может».

Вернемся к рассказу о школьных годах. Если в школе Есенина не проходили, то все равно наиболее любознательные школьники его знали по переписанным от руки стихам (самиздат начинался не с Солженицына, а с Есенина, хотя, если быть точным, с еще более давних времен: на Руси всегда любили что-то запрещать).

Я тогда был увлечен поэзией (Блок, Бальмонт, Гумилев, Маяковский…) и, конечно, не мог пройти мимо есенинских строк, музыка которых завораживала:

Выткался на озере алый свет зари,
На бору со звонами плачут глухари…

В пору юношеских влюбленностей нельзя было, конечно, не цитировать таких магических строчек:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки положив…

Биография поэта тогда была неизвестна (кстати, и сегодня нет научной биографии Сергея Есенина, издан пока лишь сборник «Материалы к биографии»). Кому он посвящал стихи про любовь и жалость? Кого любил поэт? К кому обращался: «Молодая с чувственным оскалом…» или «Ты такая ж простая, как все, как сто тысяч других в России…»? Неизвестно. Но тогда это было не суть важно. В юности все мы эгоцентристы и сосредоточены исключительно только на себе. Нас трогали лишь собственные

переживания и чувства, волновали не есенинские музы, а те девушки, с которыми мы встречались (Наташи, Риммы, Люси…). А стихи Есенина отлично шли как гарнир к блюду любви, которое мы готовили сами.

И все же не одну любовную лирику вычленял я, тогда молодой, из Есенина. Лично меня задевала безысходная грусть его некоторых стихов. Я часто повторял:

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором…

Как говорил другой поэт, Михаил Светлов: «Откуда у парня испанская грусть?» Действительно, откуда? 17 лет – вся жизнь впереди, а тут прямое созвучие: «Устал я жить в родном краю…» На дворе 1949 год. Но к горькому сегодняшнему сожалению, в то время мы не понимали, в какой стране живем (да и само слово «тоталитаризм» тогда было неизвестно), кто руководит народом и куда его ведут. Глаза открылись значительно позднее. Но общая кислородная недостаточность, давящая атмосфера несвободы ощущались явственно (мы не понаслышке знали о лагерях и расстрелах). Жизнь в те годы была втиснута в узкие рамки государственных предписаний и ритуалов, ни вправо, ни влево не шагнуть и не вздохнуть полной грудью. Русь держали в жесткой сталинской узде, и она продолжала, как и предрекал Сергей Есенин, «плясать и плакать у забора». Забор был высокий и крепкий и наглухо отгораживал народ от остального мира. Мы все, прямые и непрямые наследники Есенина, были подзаборниками.

Когда я читаю сегодня мармеладно-зефирные слова о том, что «родина наделила Есенина сказочной, былинно неуемной силой», мне становится тошно. Была одна фальшь, пришла другая. Все было не так, ребята!.. А как? На мой взгляд, так. И тут я приступаю к своей версии биографии Есенина. Подчеркиваю: версии. Ее можно принимать, а можно и отвергнуть. Но у истоков этой версии стоят многочисленные свидетели – современники поэта.

Девушки в белом и голубом

Я написал «биография» и слукавил. Биография – это все вехи жизни, творческая лаборатория поэта, его мировоззрение,

отношение к России, религии, революции, большевикам. Это рассказ о связях с друзьями, издателями, критиками и собутыльниками. Отдельные главки: Есенин и Горький, Есенин и Маяковский, Есенин и милиция и т. д. Обо всем этом я упомяну, но лишь мимоходом, а главная тема исследования – Есенин и женщины. Тема, конечно, локальная, но в то же время весьма показательная, характерная для выяснения личности поэта. И я бы даже сказал: основа основ.

Но сначала несколько необходимых биографических штрихов. Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константинове Рязанского уезда Рязанской губернии. В крестьянской семье. И сразу «но». Детство Есенина было беззаботным, никакого особого крестьянского «напряга» он не испытывал, без всякого этого кольцовского: «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!..» Это было скорее детство с этнографическим окрасом. «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные песни…» – читаем мы в автобиографии Есенина. «Стихи начал слагать рано. Толчки дала бабка. Она рассказывала сказки…»

Ну и, конечно, на Есенина-мальчика воздействовала среднерусская неброская природа: поля, перелески, озера…

За горами, за желтыми долами.
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес, и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень…

Вся эта живописная благодать проникала в душу восприимчивого ребенка. Стихи, как кто-то остроумно заметил, росли прямо у дороги. Да и мотив дороги – один из излюбленных Есениным. «По дороге идут богомолки…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Серебристая дорога, ты зовешь меня куда?..» и т. д.

«Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель» (автобиография, 1924). В учителя Есенин не пошел, он стал поэтом.

В Константинове сельского паренька настигли первые пригляды девушек. «Хороша была Танюша, краше не было в селе…» Была ли Танюша Татьяной или это просто зашифрованное имя какой-то другой девушки, трудно сказать. После того как Есенин стал знаменитым поэтом в Москве, не одна старушка намекала на то, что де она – та самая Танюша и что именно ее зацеловывал «допьяна» Сережа Есенин. Господи, как всем хочется приобщиться к вечности, хотя бы через поцелуи и объятия

знаменитости!

Сотрудники музея-заповедника в Константинове утверждают, что первая любовь поэта – Анюта Сардановская, смуглая и бойкая девушка.

Еще одно раннее увлечение – Маня Бальзамова, подруга Анюты, светловолосая и скромная. Впервые Есенин встретился с ней в Константинове летом 1912 года и сразу отметил ее необычность: «Она хочет идти в учительницы с полным сознанием на пользу забитого и от света гонимого народа». И как сообщает Есенин в письме к своему другу Григорию Памфилову: «В последний вечер в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка тургеневская Лиза («Дворянское гнездо») по своей душе и по своим качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, зная, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти при встрече с другой такой же женщиной…» (август 1912).

Уже отбыв в Москву («Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь…»), Есенин посылал Мане отчаянные письма. Считается, что таких писем было более ста, но сохранилось лишь 16. Судя по ним, Есенин влюбился. Он вообще был влюбчивым: натура такая – художественная, музыкальная, один взгляд – и уже звучат струны любви.

Вот одно из писем 17-летнего Есенина Мане Бальзамовой (Москва, весна 1913):

«Милая Маня!.. Ну, как ты поживаешь? Думаешь ли ты опять в Калитинку на зимовку? Я, может быть, тогда бы тебя навестил. Да, кстати, нам необходимо с тобой увидеться и излить пред собою все чувства… Я боюсь только одного: как бы тебя не выдали замуж. Приглянешься кому-нибудь и сама… не прочь – и согласишься. Но я только предполагаю, а еще хорошо-то не знаю. Ведь, Маня, милая Маня, слишком мало мы видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чистый тогда, что и не подозревал в тебе этого чувства… И опять, опять: между нами не было даже, – как символа любви, – поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают заветы целомудрия и от чего любовь обоих сердец чувствуется больнее и сильнее…»

Середина 1913 года: «Любить безумно я никого еще не любил, хотя влюбился бы уже давно, но ты все-таки стоишь у дверей моего сердца. Но, откровенно говоря, эта вся наша переписка – игра, в которой лежат догадки, – да стоит ли она свеч?»

И еще одно письмо, написанное Есениным в октябре того же года (Есенину уже 18 лет). Оно интересно ходом мыслей юного

поэта.

«Жизнь – это глупая шутка. Все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. Лучи солнышка влюбились в зеленую ткань земли и во все ее существо, – и бесстыдно, незаметно прелюбодействуют с нею. Люди нашли идеалом красоту – и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и раздражаются похотью. И эта-то, – игра чувств, чувств постыдных, мерзких и гадких, – названа у них любовью. Так вот она, любовь! Вот чего ждут люди с трепетным замиранием сердца. «Наслаждения, наслаждения, – кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом возбуждении, дух. Люди все – эгоисты. Все и каждый любит только себя и желает, чтобы все перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство, – наслаждение…

…Человек любит не другого, а себя и желает от него черпать все наслаждения. Для него безразлично, кто бы он ни был, – лишь бы ему было хорошо. Женщина, влюбившись в мужчину, в припадках страсти может отдаваться другому, а потом – раскаиваться. Но ведь этого мало, а больше нечем закрыть вины, и к прошлому тоже затворены двери, и жизнь действительно – пуста, больна и глупа.

Я знаю, ты любишь меня; но подвернись к тебе сейчас красивый, здоровый и румяный с вьющимися волосами, другой, – крепкий по сложению и обаятельный по нежности, – и ты забудешь весь мир от одного его прикосновения, а меня и подавно, отдашь ему все свои чистые, девственные заветы. И что же, не прав ли мой вывод?..»

Прервем письмо. Оно сбивчивое, яростное и дышит неуемным юношеским максимализмом. И не только: за всем этим теоретизированием, что есть жизнь и что есть любовь, стоит одно – и не надо быть психотерапевтом или сексологом, чтобы этого не понять, – впрочем, в позднейшей поэме «Черный человек» об этом с усмешкой и иронией скажет сам Есенин:

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод

Говорит о мирах,
Половой истекая истомою…

А теперь все же приведем концовку этого примечательного письма:

«К чему же жить мне среди таких мерзавцев, расточать им священные перлы моей нежной души. Я – один, и никого нет на свете, который бы пошел мне навстречу такой же тоскующей душой; будь это мужчина или женщина, я все равно бы заключил его в свои братские объятия и осыпал бы чистыми жемчужными поцелуями, пошел бы с ним от этого чуждого мне мира, предоставляя свои цветы рвать дерзким рукам, кто хочет наслаждения.

Я не могу так жить, рассудок мой туманится, мозг мой горит, и мысли путаются, разбиваясь об острые скалы жизни, как чистые, хрустальные волны моря.

Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, – я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую».

Оставим без внимания нарочито цветистый стиль письма («жемчужные поцелуи», «скалы жизни» и прочие выражения), а обратим внимание на депрессию, в которой пребывал Есенин в ту пору, когда он входил во взрослость да еще в незнакомую враждебную среду большого города. И опять же не надо быть фрейдистом, чтобы понять, что все эти ранние желания «я убью себя» – не просто отлетающие мгновенно фразы, а слова, которые остаются в душе, гнездятся в подсознании. Это тот же пистолет Маяковского, которым Владимир Владимирович грозился не раз «поставить точку жизни в своем конце». Обоих – и Маяковского, и Есенина – с младых лет тянуло в смерть, словно они предчувствовали, что, когда не смогут решить все проблемы, которые перед ними встанут, всегда есть выход: умереть.

Но хватит про смерть, давайте лучше про любовь, как говорит одна моя хорошая знакомая.

Не могла не заинтересовать юного Есенина молодая помещица Кашина, последняя владелица барского дома (красивого двухэтажного особняка, расположенного на крутом приокском откосе) и земельных угодий близ села Константинова. Лидия Ивановна Кашина (1886–1937) была женщиной образованной, знала иностранные языки, любила литературу, к тому же была «барынькой» отчаянной, и сколько раз Есенин с робким обожанием следил за ней, как она в черной амазонке, с тугим узлом темно-русых волос, едва прикрытых белой шляпой,

на разгоряченном коне мчалась по луговой дороге к Белому Яру, в усадьбу брата Бориса…

Несколько раз Есенина приглашали в «дом с мезонином». Ставился самовар. Подавались пироги с маковой и калиновой начинкой, испеченные самой Кашиной. И велись беседы о разлюбезной сердцу Есенина литературе. Легко можно себе представить, что чувствовал при этом Есенин, как ему льстили эти приглашения и как он млел перед хозяйкой. Еще бы: крестьянский сын и помещица. Поэт и барыня. Позднее он так же был очарован мировой славой Айседоры Дункан и именитой фамилией Софьи Толстой. Что сказать по этому поводу? Слаб человек, тщеславен. И Есенин – не исключение.

Есенин и Кашина встречались в Константинове, затем в Москве. В ноябре 1916 года он поднялся на террасу старинного особняка уже в другом качестве: как набиравший популярность гость. Лидии Ивановне было, очевидно, крайне любопытно взглянуть на своего былого маленького обожателя. Все эти ранние и поздние встречи позволили Сергею Есенину переплавить свои чувства и выразить их в образе Анны Снегиной, «девушки в белой накидке». Конечно, в поэме не надо искать биографической точности, но все же, все же…

А дочь их замужняя Анна спросила:
– Не тот ли, поэт?
– Ну, да, – говорю, – он самый.
– Блондин.
– Ну, конечно, блондин!
– С кудрявыми волосами?
– Забавный такой господин!
– Когда он приехал?
– Недавно.
– Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче… Поди же ты… Вот…
Писатель… Известная шишка…
Без просьбы уж к нам не придет.

Поэма «Анна Снегина» прекрасна, и ее хочется цитировать всю, хотя можно взять есенинский томик и прочитать. Еще один важный отрывочек:

Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз…

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

Далее судьбы лирического героя, то бишь самого Сергея Есенина, и Анны Снегиной переплавлены на творческий лад по-своему, но концовка поэмы автобиографически точна:

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!.
Тот образ во мне не угас…

Может быть, разговора сердечного и не было, но «нет» было во всем другом: в возрастной разнице, в социальном положении и, главное, в том, что Есенин для Кашиной тогда был почти «пустым местом». Ну а он на долгие годы запомнил эти встречи и лик прекрасной молодой недосягаемой для него женщины. И был вынужден забыть «девушку в белом», чтобы полюбить девушку «в голубом».

Анна Изряднова – первая есенинская женщина

Весной 1912 года 16-летний Есенин приезжает в Москву «без гроша денег». Вступает в литературный кружок. Пытается работать приказчиком в мясной лавке отца, но вскоре оттуда уходит (отец не понимал сына и все его увлечения литературой считал пустой блажью). Есенин устраивается в контору издательства «Культура», затем начинает работать в типографии Сытина.

Здесь он знакомится с корректором типографии Анной Изрядновой (1891–1946). У них были общие интересы: вместе ходили в университет Шанявского, говорили о литературе. Ну а по молодости лет от книг до любви – половина шага, и городская

подруга приютила у себя, в небольшой комнате на Серпуховке, бездомного начинающего поэта, который до этого ночевал где придется, у друзей. Так Анна Изряднова стала гражданской женой Есенина. В ту пору это не вызывало никакого осуждения: в городах, в отличие от деревни, нравы вольные.

Анна Изряднова была самоотверженной женщиной. Полюбив Есенина, она понимала, что он у нее задержится ненадолго, но приняла это как данность (сегодня – да, мой!). Для нее главное, чтобы Есенину было хорошо и удобно. «Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет», – так писала о ней Татьяна – дочь Есенина и Зинаиды Райх. Так же хорошо отзывался о ней и сын Есенина и Райх – Константин. «Удивительной чистоты была женщина. Удивительной скромности».

Изряднова в 1914 году родила сына Георгия (Юрия). О судьбе первого сына Есенина, а также о других его детях расскажем позже. Сейчас лучше подумаем, почему Есенин не остался вместе с Изрядновой. В тот период он был полон всевозможных исканий: и в революции хотел участвовать (но быстро остыл), и искал опору в религии. «В настоящее время, – писал он в письме к Панфилову, – я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового… Христос для меня совершенство» (апрель 1913).

Христос – это небесная высота, но Есенин одержим и честолюбивыми мирскими замыслами. Его мечта – пробиться в литературу, попасть в знаменитые салоны. К тому же манят соблазны городской жизни. Он живет с Анной Изрядновой и бахвалится в письме к Мане Бальзамовой, что московские барыни хотят с ним целоваться. Появляются друзья, и его засасывает вихрь новых, интересных дел. А тут скромная Аня, маленький сын, какие-то нудные повседневные заботы – скучно…

В марте 1915 года Есенин отправляется в Петроград. На поиски синей птицы удачи. Вскоре в Петрограде у него выходит первая книга стихов «Радуница». В городе на Неве Есенин встретился с Александром Блоком, читал ему свои стихи. Блок записал тогда же: «… стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык…»

Побывал Есенин и у другого мэтра Серебряного века – Федора Сологуба.

«Смазливый такой, голубоглазый, смиренный… – неодобрительно описывал Есенина Сологуб. – Потеет от почтительности, сидит на кончике стула – каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напропалую: «Ах, Федор Кузьмич!», «Ох, Федор Куьмич!» И все это чистейшей воды притворство! Льстит, а про себя думает – ублажу старого хрена, – пристроит меня в

печать. Ну, меня не проведешь – я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко. Заставил его признаться, что стихов он моих не читал и что успел до меня уже к Блоку и Мережковскому подлизаться, а насчет лучины, при которой якобы грамоте обучался, – тоже вранье. Кончил, оказывается, учительскую школу. Одним словом, прощупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнаружил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало. Обнаружил, распушил, отшлепал по заслугам – будет помнить старого хрена!..»

И тут же, не меняя брюзгливо-неодобрительного тона, Сологуб протянул редактору журнала «Новая жизнь» Архипову тетрадку стихов Есенина.

«– Вот. Очень недурные стишки. Искра есть. Рекомендую напечатать – украсят журнал. И аванс советую выдать. Мальчишка все-таки прямо из деревни – в кармане, должно быть, пятиалтынный. А мальчишка стоящий, с волей, страстью, горячей кровью. Не чета нашим тютькам из «Аполлона» (Георгий Иванов. Петербургские зимы).

В Петрограде поползли слухи о Есенине как о поразительном «крестьянском поэте». Пианист и литератор Всеволод Пастухов вспоминает: «Он пришел в косоворотке, был белокур и чрезвычайно привлекателен. Он читал стихи каким-то нарочито деревенским говорком. Есенин в то время был очень скромным и милым и был похож на балетного «пейзана». Когда я его встретил, то у меня в ушах неизменно звучала «Камаринская» Глинки. И как-то хотелось, чтобы он пустился плясать вприсядку.

Ближайший друг и неразлучный попутчик Есенина Рюрик Ивнев, дерганый и суетливый, почти к каждому своему слову прибавляя – полувопросительно, полурастерянно – что? что? – говорил: «Сергей Есенин? Что? Что? Его стихи – волшебство. Что? Посмотрите на его волосы. Они цвета спелой ржи – что?..»

И далее в «Петербургских зимах» Георгия Иванова: «За три, три с половиной года жизни в Петрограде Есенин стал известным поэтом. Его окружили поклонницы и друзья. Многие черты, которые Сологуб первый прощупал под его «бархатной шкуркой», проступили наружу. Он стал дерзок, самоуверен, хвастлив. Но странно, шкурка осталась. Наивность, доверчивость, какая-то детская нежность уживались в Есенине рядом с озорным, близким к хулиганству, самомнением, не далеким от наглости. В этих противоречиях было какое-то особое очарование. И Есенина любили. Есенину прощали многое, что не простили бы другому. Есенина баловали, особенно в леволиберальных литературных кругах…»

Зинаида Райх: погасшая звезда

Она родилась 21 июня (3 июля) 1894 года в селении Ближние Мельницы подле Одессы в семье железнодорожника, машиниста. «Мама, – вспоминала Зинаида Райх, – из обедневших дворян, огорчалась: отец появлялся дома чумазым. А он много кем и чем был: и думающим, и читающим, и из первых российских социал-демократов – сам он вышел из обрусевших немцев, рабочий интеллигент. От него повелась моя страсть к книгам, раннее чтение революционных книг, кружки, поиски своего пути, малые напасти – «репрессии» в пору ранней юности. И высылка отца. Из Одессы, где я родилась, попали в Бендеры. И счет не от себя – от людей – это отец открыл…»

В начале века многие интеллигенты бредили революцией. Хотелось перемен, обновления, правды, справедливости, красоты нового мира. Вот и Зинаида была безоглядно втянута в политическую борьбу, за что и была исключена из 8-го класса гимназии в Бендерах. Это ее не остановило. С 1913 года она – член партии социалистов-революционеров, а короче, эсеров. Никаких терактов Райх не совершала, а вела в основном пропагандистскую работу.

В качестве курсистки и эсерки (привычное сочетание для того времени) Райх перебралась в Петроград, где работала в «Обществе распространения эсеровской литературы и газет» и одновременно техническим секретарем эсеровской газеты «Дело народа». В газете она и повстречалась с Сергеем Есениным. Есенин той поры – юноша с вьющимися светлыми волосами, аккуратно расчесанными. Любил ходить в синей поддевке, в красной шелковой рубахе и лакированных сапогах. Этакий русский щеголь.

Щеголь-то щеголь, а порой ночевать было негде, своего дома не завел. Работавший в газете журналист Иванов-Разумник познакомил однажды Зинаиду Райх с Сергеем Есениным и его приятелем Алексеем Ганиным и попросил ее устроить их на ночь на стульях в большом зале редакции. Редакционные ночевки повторялись не раз, и Райх шутливо жаловалась своей подруге Мине Свирской: «Вот не знаю, куда твоего воображалу с Алешкой устроить. Эти великокняжеские стулья, обитые шелком, под ними разъезжаются».

«Воображала» – это Есенин, который не только ухаживал за Миной Свирской, но даже и считался одно время ее женихом. А теперь самое время обратиться к воспоминаниям Мины Свирской:

«В «Общество распространения эсеровской литературы» Есенин стал приходить почти каждый день. Он приходил всегда

во второй половине дня. В легком пальтишке, в фетровой, несколько помятой черной шляпе, молча протягивал нам руку, доставая из шкафа толстый том Шалова «История раскольнического движения», и усаживался читать… Позже приходил Ганин и тоже усаживался читать. Приходила Зинаида Николаевна. Обсудив текущие дела Общества, мы четверо отправлялись бродить по Петрограду. Получалось так, что обычно мы с Сергеем шли впереди, а Зинаида с Алексеем сзади. Есенин всегда читал стихи… Бывало, Ганин нас окликал. Он называл Сергея – Сергунька. Мы останавливались. Ждали, пока они подходили к нам. Ганин прочитывал строчки своих стихотворений. Между ним и Есениным начинался спор. Зинаида часто высказывала свое мнение… В наши прогулки мы отправлялись в любую погоду. Иногда гуляли под петроградским мелким моросящим дождем, начинали зябнуть, заходили в какую-нибудь чайную, чтобы согреться горячим чаем, который нам подавали в двух пузатых чайниках…»

Судя по всему, Ганин ухаживал за Райх и однажды написал стихи с посвящением «З. Р.» «Стихотворение называлось «Русалка». Тогда у Райх были две косы, уложенные вокруг головы, и ее волосы называли «русалочьими». Есенин на стихотворение Ганина отреагировал по-своему: быстро набросал строки и посвятил их «М. С.», то есть Мине Свирской.

Летом 1917 года, когда шла подготовка к выборам Учредительного собрания, Есенин вбежал в Общество с предложением: «Мина, едемте с нами на Соловки. Мы с Алешей едем». Мина не согласилась: нельзя было бросить работу в Обществе. А Райх отважилась, более того, она выложила на поездку заветную сумму, которую долго собирала. Естественно, у Есенина и Ганина денег не было, была лишь идея поездки. И вот втроем они отправились на север.

Вспоминает Свирская. По приезде Райх писала какую-то служебную бумагу. «Она дописала и повернула в мою сторону написанную бумагу, указывая на свою подпись: Райх-Есенина. «Знаешь, нас с Сергеем на Соловках попик обвенчал», – сказала она».

Редактор газеты «Дело народа» Сергей Постников:

«Однажды моя секретарша почему-то не пришла на службу. Пропадала она три дня, а потом явилась и на наши расспросы радостно сообщила, что ездила с Сережей в Шлиссельбург венчаться… Вскоре она ушла из редакции».

Мемуаристов частенько подводит память: Райх уезжала не на три дня, а на большее время, и венчалась она не в Шлиссельбурге, а, согласно сохранившемуся документу, в

Кирико-Улитовской церкви Вологодского уезда. Событие это произошло 4 августа 1917 года. Райх – 23 года. Есенину лишь в сентябре исполнится 22.

Еще раз обратимся к воспоминаниям Свирской: «Зинаида сама стала рассказывать. Ей казалось, что если она выйдет замуж, то выйдет за Алексея. Что с Сергеем ее связывают чисто дружеские отношения. Для нее было до некоторой степени неожиданностью, когда на пароходе Сергей сказал, что любит ее и жить без нее не может, что они должны обвенчаться. На Соловках набрели на часовенку, в которой шла служба, и там их обвенчали. Ни Сергей, ни Алексей мне об этом ничего не рассказывали».

Вот так бывает нередко у подруг. Свирская должна была стать женою Есенина, а женою стала ее подруга Райх.

Спустя 40 дней после венчания Зинаида Николаевна поместила в «Правде» письмо, что отныне она считает себя «вышедшей из партии социалистов-революционеров». Революционный период для Райх закончился, наступил семейный, и, разумеется, со своими бурями и потрясениями.

Как истинная женщина, она истово принялась вить семейное гнездо. Тогда ей хотелось простого женского счастья: муж, дети, дом… Несмотря на трудные времена (голод и холод), она делала многое, чтобы в доме было уютно и спокойно. Наняла квартиру на Литейном. Немного обставила ее. Бездомному прежде Есенину поначалу все нравилось, и он говорил всем и каждому: «У меня есть жена». Александр Блок не без удивления отметил в дневнике: «Есенин теперь женат. Привыкает к собственности».

«В их укладе начала чувствоваться домовитость, – читаем в воспоминаниях Свирской. – Приближался день рождения Сергея. Зинаида просила меня прийти. Сказала, что будет только несколько человек – закуски ведь будет очень мало. Я пришла. Электричество не горело. На столе стояла маленькая керосиновая лампа, несколько свечей. Несколько бутылок и какая-то закуска. По тем временам стол выглядел празднично. Были Ганин, Иванов-Разумник, Петр Орешин и еще кто-то… Было очень оживленно и весело. Есенин настоял, чтобы я с ним и с Алешей Ганиным выпила на брудершафт. Мы выпили…»

Потом Есенин пошел провожать Свирскую. Райх обиделась. Обычная житейская ситуация. Но это были лишь самые невинные цветочки в семейной жизни Есенина и Райх. Были и ягодки, и еще какие!..

Когда «счастье» отошло в область преданий, Есенин, проходя как-то по улицам с Николаем Никитиным, укажет ему на большой

серый дом в стиле модерн и грустно скажет: «Я здесь жил когда-то… Вот эти окна. Жил с женой, в начале революции. Тогда у меня была семья. И был самовар, как у тебя. Потом жена ушла».

Почему ушла? Почему все рухнуло? Причины в самом Есенине. Райх уходить не хотела, да и кто уходит от мужа с двумя детьми (29 мая 1918 года родилась Татьяна, 3 февраля 1920 года – Константин).

Но тихая семейная гавань противопоказана, как правило, поэтам, а таким мятущимся, как Есенин, и подавно. Он входил в моду. Был постоянно окружен друзьями и вел истинно богемный образ жизни: вино, женщины, скандалы…

Спасти Есенина от пьяных загулов безуспешно пытались Райх и последние есенинские женщины – Айседора Дункан и Софья Толстая, но все бесполезно. Дед и отец Есенина были алкоголиками. Плохая наследственность, дурное окружение и собственное безволие поэта подталкивали его вниз, заставляли катиться по наклонной. И вот на душе уже – осень, а в гости ходит «Черный человек».

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх,
Черный человек,
Черный, черный!

Будучи пьяным, Есенин часто «развязывал» руки. Галине Бениславской, своей верной и преданной поклоннице, поэт признавался: «…Я сам боюсь, не хочу, но знаю, что буду бить. Вас не хочу бить, вас нельзя бить. Я двух женщин бил, Зинаиду и Изадору, и не мог иначе, для меня любовь – это страшное мучение, это так мучительно. Я тогда ничего не помню, и в отношении вас я очень боюсь этого. Смотрите, быть вам битой».

Еще одна причина разрыва Райх с Есениным – окружение поэта. Их сын Константин Сергеевич в письме к М. Ройзману от 2 декабря 1967 года объяснял причины разрыва отца со своей матерью, Зинаидой Николаевной Райх: «Безусловно, судя по рассказам матери и ее подруги – Зинаиды Вениаминовны Гейман, сыграли роль «друзья» отца из группы «Мужиковствующих», неприязненно относившиеся к матери. Она и сама относилась к ним с неприязнью, видя их тлетворное влияние на отца. Видимо,

сыграла во всем этом деле роль и нерусская фамилия матери – Райх, которую она получила от своего отца – моего деда. «Мужиковствующие» настаивали на ее (еврейском) нерусском происхождении, в то время как мать у нее была русской (Анна Ивановна Викторова). Отец матери – Николай Андреевич Райх – железнодорожник, выходец из Силезии. Национальная принадлежность его затерялась в метриках прошлого века».

Если бы Райх смогла отвадить Есенина от его дружков и собутыльников, то она не только бы сохранила свою семью, но и сберегла, возможно, Есенина для литературы. Но это было выше ее сил. В поединке жена – друзья победили последние. А они почти все были настроены против Райх. И причина тому стыдная, национальная.

Вот как разнузданно писал о Зинаиде Райх Анатолий Мариенгоф в своих воспоминаниях «Мой век»: «Это дебелая еврейская дама. Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич скаламбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на райх-итичные ноги!»

Очень красноречивый отрывок, отражающий отношение есенинского окружения к Райх. Не принимал Мариенгоф и артистических данных бывшей жены Есенина. Все в том же хамско-ерническом стиле он писал: «Хорошей актрисой Зинаида Райх, разумеется, не стала, но знаменитой – бесспорно. Свое черное дело быстро сделала: во-первых, гений Мейерхольда, во-вторых, ее собственный алчный зад; в-третьих – искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки; и, наконец, многочисленные ругательные статейки…»

От таких друзей Есенина, подобных Мариенгофу, Райх, в ту пору беременной, пришлось держаться подальше. Она сперва поселилась в убогом гостиничном номере, потом уехала рожать к родителям, которые переселились в Орел.

Возвращаться было некуда: семьи уже не существовало. На какое-то время Райх нашла приют в доме матери и ребенка на Остоженке. Болел Костя. Потом заболела сама Зинаида Николаевна. Чудом выжила. И уже многие годы спустя с ужасом вспоминала «о самом главном и самом страшном в моей жизни «Сергее».

В государственном архиве есть конспективные записи Райх: «Осень 20 г., зима 20 года (частые встречи). Параллели не скрещиваются».

Попытки восстановить отношения были, и даже при Мейерхольде, но прошлое так и не вернулось. 19 февраля Есенин подал заявление на расторжение брака. Развод состоялся по решению нарсуда г. Орла, где жила тогда Райх, 5 октября 1921 года. Дети остались у матери.

Пути Есенина и Райх разошлись. Она, пережив труднейший период жизни, выстояла, проявила незаурядную силу духа и в конце концов нашла свое счастье с другим. А Есенин? Пошел дальше «распылять безрадостные дни» с другими женами и женщинами, постоянно ощущая в своем сердце тоску по Зинаиде Райх, – все-таки она его крепко зацепила!..

Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое в лицо бросали мне.

Вы говорили: нам пора расстаться,
Что вас измучила моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел – катиться дальше вниз…
Любимая! Меня вы не любили…

Обращение «Любимая» не случайно. Многие современники отмечают, что Есенин любил Райх до самой своей смерти. В стихотворении «Собаке Качалова» (1925) он просил Джима:

Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

Ох, уж эти поздние раскаянья! Поезд ушел. И можно комкать платок и обливать его слезами. Или писать проникновенно лирические строки, что и делал бедолага Есенин. Райх тосковать было некогда: она ставила детей на ноги. О благородстве ее натуры свидетельствует такой эпизод из воспоминаний Свирской.

«Райх вызвал секретарь райкома комсомола и обвинил в том, что она воспитала своих детей (Таню и Костю) в культе памяти их отца, вот Костя-де создал в школе кружок по изучению Есенина. «Ну и что же в этом плохого?» – спросила Зинаида молодого совбюрократа в галстучке, который только-только начинал входить в моду. «Вы что же, считаете Есенина вторым Пушкиным?» – спросил укоризненно молодой деятель. «Нет, – ответила Зинаида, – я считаю его Есениным».

Айседора Дункан

Дора Анжела Дункан (или, как она себя называла, Айседора) родилась в Америке по одним сведениям 27 января 1878 года, по другим – 27 мая того же года, иногда указывается и 1877 год. Ее первые воспоминания связаны с пожаром: ее выбросили из окна в объятия полицейского. Ей было, как пишет она в своей биографии, два или три года. Языки пламени – символичны. Сам танец Айседоры Дункан был наполнен огнем ее чувств и мыслей.

«Одна из основоположниц пластической школы «танца модерн» – так представляет Дункан театральная энциклопедия. Другими словами, революционерка в балетном искусстве.

И впрямь, ей было тесно в рамках классического балета с его условными жестами, она стремилась к свободе естественных движений – именно таким был древнегреческий танец – танец ее мечты. Она заменила привычный балетный костюм (пачки, трико) на тунику и танцевала босыми ногами (танец босоножки). Постепенно добилась совершенства, и ее выступления неизменно вызывали восторг публики. Конечно, помимо оригинальности самого танца, в ее успехе немалую роль сыграл и имидж роковой женщины, эффект колдовской магии ее личности. Ее называли куртизанкой XX века (и именно ее выбрал в жены Сергей Есенин, – ну, не парадокс ли? – золотоволосый паренек из Рязани).

Вся жизнь Айседоры Дункан до встречи с Есениным – это трудное восхождение к успеху, от ступеньки к ступеньке, вечные танцы, гастроли, путешествия, обучение детей (она любила и умела работать с ними) и длинный шлейф любовных романов.

После громкого успеха на Западе Айседора Дункан впервые приехала в Россию в конце 1904 года. Ей – 26 лет (или 27) лет. А Есенин в ту пору еще мальчик, ему всего 9 лет, и живет он в деревне, совсем не подозревая, что его ждет впереди. А Дункан – уже королева и покоряет петербургскую публику.

Осенью 1921 года 43-летняя Айседора Дункан появилась в стране большевиков.

В «Петербургских зимах» Георгий Иванов писал:

«В конце 1921 года в Москву за убывающей славой приехала Айседора Дункан. Она была уже очень немолода, раздалась и отяжелела. От «божественной босоножки», «ожившей статуи» – осталось мало. Танцевать Дункан почти не могла. Но это ничуть не мешало ей наслаждаться овациями битком набитого московского Большого театра. Айседора Дункан, шумно дыша, выбегала на сцену с красным флагом в руке. Но все-таки она была Айседорой, мировой знаменитостью и, главное, танцевала в еще

не избалованной знатными иностранцами «красной столице». И вдобавок танцевала с красным флагом! Восторженные аплодисменты не прекращались. Сам Ленин, окруженный членами Совнаркома, из царской ложи подавал им сигнал…»

А вот как явление Дункан в революционной столице описывает в своих мемуарах «Дневник моих встреч» художник Юрий Анненков:

«Захваченная коммунистической идеологией, Айседора Дункан приехала, в 1921-м году, в Москву. Малиноволосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная «Дунькой», в Москве она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке бесхозяйном особняке балерины Балашовой, покинувшей Россию…

С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшем штаб-квартирой имажинизма. Снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля. Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно: не только моя Настя считала его «красавчиком». Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан».

Стоп! Стоп! А как произошло все же знакомство русского поэта с американской танцовщицей?

Обратимся снова к Георгию Иванову. Вот его версия из «Петербургских зим»:

«После первого спектакля на банкете, устроенном в ее честь, – знаменитая танцовщица увидела Есенина. Взвинченная успехом, она чувствовала себя по-прежнему прекрасной. И, по своему обыкновению, оглядывала участников банкета, ища среди присутствующих достойного «разделить» с ней сегодняшний триумф…

Дункан подошла к Есенину своей «скользящей» походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы. Она не сомневалась, что ее поцелуй осчастливит этого «скромного простачка». Но Есенина, успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул ее – «Отстань, стерва!» Не понимая, она поцеловала Есенина еще крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощечину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала.

Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она тут же на оконном стекле выцарапала:

Esenin is a hooligan,
Esenin is an angel, —

«Есенин – хулиган, Есенин – ангел». Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья «крестьянского поэта» – завершился законным браком».

«Из книги о Есенине» Эммануила Германа: «Друзей у него тогда было много. Подруги не было. Завидовал, помню, идиллическому роману своего товарища по комнате: – Все, видишь, с девочками, а я…

Пустоты природа, как известно, не терпит; эту пустоту вскоре заполнила Айседора Дункан».

Герман так описывает Дункан, появившуюся в студии художника Якулова (по версии Германа, именно здесь впервые встретились ОН и ОНА): «В экзотически яркой, мехом внутрь, сибирской коже, крупная, большеглазая, этакая «волоокая Гера», – она вошла в чужое, новое для нее общество с непринужденностью женщины, всходившей на эстрады всего мира».

В принципе, не так уж и важно, где именно они познакомились: на банкете или в студии. Мне лично более важно узнать, как они понимали друг друга. Как пишет Герман про компанию, которая собиралась в кафе «Стойло Пегаса»:

«С английским и французским мы были равно не в ладах. Русская грамота ей давалась туго. Выручал немецкий. По-немецки она говорила свободно, но с английским акцентом. Владел им, с грехом пополам, и кое-кто из нас.

Так вот сговаривались.

Есенину улыбка заменяла слова. А то, не задумываясь, заговаривает с ней по-русски:

– Понимаешь ведь, Айседора?

Она его действительно понимала».

Понимание – это прекрасно. Но все же что это было? Любовь? Влечение? Амок чувств? Или математический трезвый расчет? Вот несколько мнений современников.

Эммануил Герман о Есенине: «Пил он в последние годы плохо. Хмелел сразу, как хмелеют непривыкшие к алкоголю. Так вот захмелел от Дункан».

Он же об Айседоре: «Дункан любила Есенина сентиментальной и недоброй любовью увядшей женщины».

Анатолий Мариенгоф: «Есенин влюбился не в Айседору Дункан, а в ее мировую славу. Он женился на ее славе, а не на ней – не на пожилой, отяжелевшей, но еще красивой женщине с крашеными волосами…»

Наталья Толстая-Крандиевская: «Любовь Есенина для нее как злой аперитив, как огненная приправа к последнему блюду на жизненном пиру…»

Еще процитируем Мариенгофа – из книги воспоминаний «Мой век»:

«С этой постаревшей модернизированной Венерой Милосской (очень похожа) Есенину было противно есть даже «пищу богов», т. е. холодную баранину с горчицей и солью. Недаром он и частушку сложил:

Не хочу баранины,
Потому что раненый.
Прямо в сердце раненный
Хозяйкою баранины!

А самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомое одеяло из гагачьего пуха, он мог лечь только во хмелю, мутном и тяжелом. Его обычная фраза: «Пей со мной, паршивая сука», – так и вошла неизменной в знаменитое стихотворение… Есенин был любимым. Изадора – любящей. Есенин подставлял щеку, а она целовала…»

Конечно, как всегда, у Мариенгофа все вперехлест и явное недоброжелательство, сначала к Райх, затем – к Дункан. А вот что пишет более объективный свидетель, один из биографов Есенина Илья Шнейдер, об этой необычной паре – Есенин и Дункан:

«Они же мазаны одним миром, похожи друг на друга, скроены на один образец, оба талантливы сверх меры, оба эмоциональны, безудержны, бесшабашны. Оба друг для друга обладают притягательной и отталкивающей силой. И роман их не только «горький», но и счастливо-несчастный, или несчастливо-счастливый, как хотите. И другим быть не может».

Возможно, в развитии романа свою роль сыграла векторность отношений: по структурному гороскопу Дункан – Тигр, а Есенин – Коза. Все может быть, но отношения двух знаменитостей вскоре перешли в плоскость любви-ненависти.

– Ты сука, – говорил ей Есенин.

– А ты – собака, – отвечала ему Дункан.

Юрий Анненков вспоминает: «Помню, как однажды, лежа на диване Дункан, Есенин, оторвавшись от ее губ, обернулся ко мне и крикнул:

– Осточертела мне эта московская Америка! Смыться бы куда!

И, диким голосом, Мариенгофу:

– Замени ты меня, Толька, Христа ради!»

Но кто заменит? Поздно. Мышеловка захлопнулась. 2 мая

1922 года Сергей Есенин зарегистрировал брак с Айседорой Дункан, который, между прочим, не был расторгнут до самой его смерти.

Журналист Семен Борисов описывает в мемуарах, как в один из вечеров Дункан в театре Зимина Есенин направился на ее выступление, не позаботясь о том, чтобы ему оставили места. «Он долго объяснялся и ругался с контролером, требуя, чтобы его пропустили.

– Я муж Дункан – заявил он.

Пропустили. Мы пошли за кулисы и дождались, когда вернется Дункан. При виде Есенина она бросилась ему на шею. Потом, указывая на грудь Сергея, она сказала:

– Здесь у него Христос.

И, хлопнув по лбу, добавила:

– А здесь у него дьявол…»

Уместно привести и оценку самой Дункан, которую ей дал строгий функционер советской литературы Иван Гронский:

«Наибольшее влияние на Есенина оказала Айседора Дункан. Дункан заслуживает самого большого уважения. Это артистка с мировым именем… Это очень порядочный человек, человек очень большого сердца, ума, чувства. Это великая актриса в полном смысле этого слова. Она любила Есенина, боролась за него, но из этого ничего не получилось; он немного поправился, но не настолько, чтобы работать в полную силу, нормально жить».

В Европе и Америке

10 мая 1922 года, спустя 8 дней после регистрации брака, Есенин и Айседора Дункан вылетели самолетом в Германию «по делу издания книг: своих и примыкающей ко мне группы поэтов», как писал Есенин на имя Луначарского.

Один остряк того времени обозначил причину полета совсем иначе:

Такого-то куда вознес аэроплан?
В Афины древние, к развалинам Дункан.

Посетив Германию, Бельгию, Францию, Италию и США, Сергей Есенин 2 августа 1923 года вернулся на родину. Пятнадцатимесячное путешествие.

Он думал, что они едут на равных. Ан, нет.

Как отмечал Рюрик Ивнев: «Как бы он искренне ни любил Айседору, но для его самолюбия не могло пройти бесследно, что

не он, известный русский поэт, получивший признание еще до революции, привлекал внимание заграничной публики, а его спутница, артистка с мировым именем. Он был только «добавочной сенсацией», но никак не главным козырем гастрольной игры…»

За Есениным лишь тянулся хвост его репутации пьяницы и скандалиста, впрочем, он сам не только не захотел изменить этот миф, но, наоборот, сделал все, чтобы его усугубить.

И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань…

Есенин все время вел спор с Дункан, кто главнее: его самолюбие было явно ущемлено.

«– Балерина никогда не может стать по-настоящему великой, потому что ее слава умирает вместе с ней, – уверенно говорил Есенин.

– Нет, – отвечала Айседора, – ведь балерина, если она действительно гениальна, дает людям нечто такое, что остается с ними надолго. Они никогда не забудут ее искусство.

– Ты всего лишь танцовщица, – не соглашался Есенин, – правда, люди приходят и восхищаются тобой – даже кричат от восторга. Но правда и в том, что после смерти Айседоры Дункан никто о ней не вспомнит. Через несколько лет от твоей громкой славы не останется и следа… Нет, Изадора».

Все это Есенин говорил по-русски (переводчица Лола Кинель переводила), и только последние два слова, брошенные Айседоре в лицо, он произнес на английский манер, сопроводив их очень выразительным насмешливым жестом, как будто развеял по ветру останки ее бренного тела.

Было ясно, что он дразнил Айседору. Дразнил не по-доброму, не шутя, а с явным намерением сделать ей больно. И это сразу поняла Дункан. Она повернулась к переводчице:

– Скажи ему, что он ошибается. Я дарила людям красоту. Я танцевала, отдавая им все самое сокровенное. Это очарование не умрет. Оно сохранится где-нибудь…

На глазах Дункан блеснули слезы. На ломаном русском языке она в отчаянии воскликнула: «Красота не умирай!..»

Удовлетворенный тем, что задел Дункан за живое, удачно «уколол», Есенин пошел на попятную и игриво похлопал по спине свою жену-подругу-соперницу по славе: «Эх, Дункан!» (По книге американской журналистки Фредрики Блейр «Айседора», 1986).

Вся эта сцена, как и другие, подобные ей, происходили на глазах молоденькой переводчицы Лолы Кинель, владевшей как русским, так и английским. Дело происходило в Германии, в Висбадене. Как воспринимала Лола каждодневную пикировку Есенина и Дункан? Но нам интересно и ее чисто визуальное восприятие этой необычной пары, ее, так сказать, «зрительная съемка»?

«Полная, средних лет женщина, в оранжево-розовом халатике, изящно раскинувшись, полулежала на кушетке… Когда через минуту она поднялась и начала передвигаться по комнате, я увидела, что полнота и возраст отступили: она стала прекрасной с ее врожденной изумительной грацией. Это была Айседора. Спустя некоторое время из спальни вышел молодой мужчина в белой шелковой пижаме. Он походил на русского танцора из американского водевиля: светло-золотые вьющиеся волосы, доверчивые глаза васильковой голубизны и уверенные движения крепкого, мускулистого тела. Так я познакомилась с Есениным. Позже я узнала, что он не всегда выглядел таким простодушным. Обладая природным умом, он временами оставлял впечатление человека хитрого и подозрительного. И еще Есенин был очень чувствительным, совсем как ребенок, озорной и закомплексованный – поэт и крестьянин в одном лице».

Приведем еще одно свидетельство. Оно принадлежит подруге Айседоры Мэри Дести. В берлинском отеле «Адлон» Айседора познакомила ее со своим возлюбленным:

«– Сергей, это моя любимая подруга. Это Мэри, – сказала Айседора. – Мэри, ты будешь от него в восторге. Он как дитя…»

И далее – обед. «Какой же он был веселый и радостный! Сергей читал свои стихи и действительно был похож на молодого бога с Олимпа – оживший, танцующий фавн Донателло. Он ни секунду не сидел на месте, часто убегал куда-то, в экстазе бросался на колени перед Айседорой и, как усталый ребенок, клал свою кудрявую голову на ее колени. А ее прелестные руки ласкали его, и из глаз струился свет, как у мадонны», – пишет в своей книге Мэри Дести.

Какая идиллия, какая пастушья пастораль! Подождите прикладывать батистовый платочек к глазам. Подождите умиляться. Да, Есенин бывал умильным и чувствительным, но бывал и другим: буйным и злым. В той же книге Мэри Дести приведен такой диалог:

«– Господи, Айседора, ты что? Я не верю, что он посмеет тронуть тебя.

– Видишь ли, это одна из его эксцентричностей, – ответила она. – Но поверь мне, он это не со зла. Когда он пьет, то совсем

теряет рассудок и считает меня своим самым большим врагом. Я не против того, чтобы он пил. Иногда я удивляюсь, почему все не пьют, живя в этом ужасном мире. Русские ничего не делают наполовину, если уж пьют, так пьют. По мне, пусть он переломает все в городе, если это доставляет ему удовольствие, но я не хочу, чтобы сломали меня…

Не успела она это сказать, как из холла раздался невероятный шум, будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы мчались вниз по лестнице как злые духи. В дверях Айседора задержалась, чтобы сказать портье, что муж ее болен, и попросила присмотреть за ним, пока мы не привезем доктора, и быть с ним «очень, очень деликатным, потому что он совсем болен». Портье уверил, что все сделает…»

Все так и шло: скандал – примирение – затишье – любовь – скандал – и все снова по кругу.

В Берлине находился друг Есенина Кусиков, с ним часто Есенин и сбегал от Дункан, и, как вспоминал Кусиков, «выпиваем, стихи пишем». Тогда Дункан отправлялась искать мужа-поэта. Так, однажды она ворвалась в один тихий пансионат, как амазонка, в красном хитоне, с хлыстом в руке. Бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Есенина нашла за гардеробом. «Следуйте за мной!» – сказала Дункан по-французски. Есенин молча пошел…»

Что-то не верится в такую сцену (Есенин в роли овечки?), но все возможно: может быть, и такое было.

Весной 1923 года в берлинском ресторане Ферстера Есенина повстречал Георгий Иванов:

«Я не встречался с Есениным несколько лет. На первый взгляд – он почти не изменился. Те же васильковые глаза и светлые волосы, тот же мальчишеский вид. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку.

– Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим… Если не торопитесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу…

Он вдруг останавливается:

– Хотите махнем к нам в «Адлон»? Айседору разбудим. Она рада будет. Кофе нам турецкий сварит. Поедем, право? И мне с вами удобней – опять поругался с ней. Замечательная баба, знаменитость, умница, – а недостает чего-то, самого главного. Того, что мы, русские, душой зовем…»

На уговоры Есенина Георгий Иванов не поддался.

В другой раз, в Берлине, все в том же ресторане Ирина Одоевцева и Николай Оцуп, еще два русских поэта, встретились с Есениным, причем Одоевцева познакомилась с ним впервые. Тем более интересны ее свежие впечатления о в встрече:

«Есенин наливает мне рюмку водки.

Я качаю головой:

– Не пью.

– Напрасно! Вам необходимо научиться. Водка помогает.

– От чего помогает? – спрашиваю я.

– От тоски. От скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно смылся бы с этого света. Еще девушки, конечно. Влюбишься – и море по колено! Зато потом как после пьянки, даже еще хуже. До ужаса отвратительно.

Он на минуту замолкает

– Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил… В десять лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие, и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые! И сейчас еще, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры…»

Далее Сергей Есенин все же заставил Ирину Одоевцеву выпить бокал «шампанеи» и увез ее в отель «Адлон», к Айседоре.

«– Вот и мы! – провозглашает он. – Принимай гостей, Айседора!

Айседора Дункан – я узнаю ее по портретам – сидит в глубоком кресле, обитом розовым шелком. На ней похожее на хитон сиреневое платье без рукавов. Светлые волосы уложены «улиткой» на ушах. На плечах длинный шарф.

У нее бледное, ничего не выражающее, слегка опухшее лицо и какой-то неподвижный, отсутствующий взгляд.

– Эсенин! – не то с упреком, не то с радостью вскрикивает она и сразу встает из кресла, разогнувшись, как спираль.

Есенин бросает на ковер свой пальмерстон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках «шимми». Она с полуулыбкой поднимает его шляпу и пальто, вешает их в прихожей и любезно здоровается с Оцупом и со мной. Есенин не нашел нужным нас с ней познакомить, но это, по-видимому, ее не удивляет. Члены кувыркколлегии, успевшие снять свои пальто в прихожей, скромно рассаживаются поодаль.

– Шампанею! – приказывает Есенин. – И чаю, кофе, конфет, фруктов. Живо. Ванька, тащи тальянку. Я буду частушки петь…»

Пока Есенин, подыгрывая себе на гармонике, выкрикивал

частушки, Айседора подсела на диван к Одоевцевой и завела с ней «очень женский, очень интимный разговор»:

«– Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, до чего надоело! Он самовлюбленный эгоист, ревнивый, злой. Никогда не выходите замуж за поэта, – неожиданно советует она мне.

Я смеюсь:

– Я уже жена поэта.

Она неодобрительно качает головой:

– Пожалеете, и как еще, об этом! Вот увидите. Поэты – отвратительные мужья и плохие любовники. Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Недурны военные и нотариусы. Но лучше всех – коммивояжеры. Вот это действительно любовники. – И она начинает восхвалять качества и достоинства коммивояжеров.

– А поэты, – продолжает она, – о них и говорить не стоит – хлам! Одни словесные достижения. И большинство из них к тому же – пьяницы, а алкоголь, как известно, враг любовных утех…»

Что было потом? Очередной скандал с битьем посуды. «Шампанея», фрукты, конфеты, не говоря уже о роскошном номере в отеле, – откуда деньги? Богатая Дункан не скупилась на траты для своего мужа-поэта, который и не оправдал ее любовных ожиданий. И все же Дункан не была миллионершей, и обиженный Есенин жаловался в письме к Мариенгофу: «Изадора прекрасная женщина, но врет не хуже Ваньки. Все ее банки и замки, о которых она нам пела в России, – вздор. Сидим без копеечки…»

Письма Есенина из Европы и Америки полны неприкрытого нытья. Он критиковал Айседору. Ругал Европу. Крыл Америку.

Расставание с Дункан

Отношения Есенина и Дункан зашли в тупик.

Сыпь, гармоника. Скука… Скука…
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной…

…В огород бы тебя на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон…

Да, Дункан донимала Есенина ревностью – ко всякому и ко всякой… Старалась не отпускать его от себя ни на шаг. Есенин, естественно, «взбрыкивал». Бушевал. Как и в этом стихотворении, называл свою подругу «стервою» и посылал ее ко всем «чертям». Но в конце чисто есенинское:

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая, я плачу,
Прости… прости…

По канонам русской простонародной любви это все так: побил – пожалел, обругал – приласкал. Милые бранятся – только тешатся. Но только все это до определенного предела. А тут нить притяжения оборвалась. Они вернулись в Россию, утомленные и раздраженные друг другом. Айседора поехала в Крым, туда должен был приехать и Есенин. Несмотря ни на что, его там ждали. Почти ежедневно шли телеграммы от Дункан и Ильи Шнейдера, директора-администратора студии Дункан и мужа ее приемной дочери Ирмы. Как отмечает Галина Бениславская: «Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может, трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму:

«Я говорил еще в Париже, что в России я уйду ты меня очень озлобила люблю тебя, но жить с тобой не буду сейчас я женат и счастлив тебе желаю того же Есенин».

Дал прочесть мне. Я заметила – если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделали:

«Я люблю другую женат счастлив Есенин».

И послал…

«Жена» – это Галина Бениславская. Именно в ее комнате поселился Есенин по приезде из-за границы. Бениславская давно находилась под гипнозом есенинских стихов, была ему верной подругой, доверенным лицом и помощницей по издательским делам. Поселился Есенин не один, а со своей сестрой Катей.

Но на этом любовная драма с Айседорой Дункан не закончилась. Айседора появилась в Москве, и Есенину пришлось поехать к ней объясняться. Результат объяснений? В своих воспоминаниях Бениславская пишет: «Трудно представить себе то кошмарное состояние, в каком его нашла. Весь дрожит, все время

оглядывается, скрежещет зубами. Когда я подошла – сжал до боли мою руку и все время не выпускал, как будто боялся, что я уйду и оставлю его. Все время повторял: «Надо поговорить, не уходите только… Меня будут тянуть к Изадоре – а вы не пускайте. Ни за что не пускайте, иначе я погиб».

Тут требуется пояснение. К Дункан тянулся не только сам Есенин, но и тянули к ней его же друзья, как пишет Бениславская, «присосавшиеся к его славе проходимцы, пройдохи и паразиты (среди них она называет Ивана Приблудного, Марцела Рабиновича, Семена Борисова, Иосифа Аксельрода и других). Совместное сочетание Есенин – Дункан давало им дополнительные дивиденды в форме гуляний и выпивок. Поэтому Есенина чуть ли не насильно заталкивали в объятия Дункан. Все эти встречи сопровождались обильными возлияниями, скандалами и даже кокаином. В очередной раз Бениславская буквально выцарапала поэта из всей этой гоп-компании и, как она пишет: «Я, уже счастливая, что все опасности миновали, объясняла: «Едем домой, теперь уже никуда не сбежите». Есенин был в опьянении, но все понял: «Да, хорошо, очень хорошо, что хорошо кончается».

Итак, две женщины яростно боролись за Есенина – Айседора Дункан и Галина Бениславская. В последней баталии участвовала сестра Есенина, 18-летняя Катя. Сергей Есенин и Катя поехали на встречу с Дункан. «Через два часа они вернулись на Брюсовский и с хохотом вперебой рассказывали, как Катя не дала Дункан даже поговорить наедине с С. А., как Шнейдер пробовал удерживать, а С. А. напугал его, прикинувшись буйным, и как они все же выбрались оттуда, несмотря на то, что не было денег на извозчика, а никто из братии намеренно не хотел дать. Это была последняя встреча с Дункан. Один узел был распутан, или разрублен – не знаю, как верней» (Г. Бениславская. Воспоминания о Есенине.)

И все же время от времени имя Айседоры Дункан всплывало: о ней вспоминал частенько сам Есенин, да и Бениславская из женского любопытства все пытала поэта, какая она была и какие чувства он к ней испытывал? Есенин отвечал:

«Была страсть, и большая страсть, целый год продолжалась, а потом все прошло – и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь… боже мой, какой же я был слепой. Где были мои глаза? Это, верно, всегда так слепнут…»

Итак, Сергей Есенин прозрел и увидел рядом с собою другую женщину – Галину Бениславскую. Что оставалось делать Айседоре? Она поняла: ее любви пришел конец. А раз так, то не

имело смысла оставаться в России. Она уехала во Францию. Это был не самый лучший период ее жизни: конец любви и осень возраста. Ни о каких громких турне и гастролях не приходилось и думать: внимание публики было приковано к молодым звездам балета.

В декабре 1925 года пришла весть о трагической гибели Сергея Есенина. Репортеры бросились к Дункан. Она отвечала сдержанно и достойно: «Между мной и Есениным никогда не было ссор. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».

Айседоре Дункан оставалось жить чуть более полутора лет. 14 сентября 1927 года рок настиг ее. Она села в гоночный автомобиль прокатиться «с ветерком». Обмотала шею пурпурным шарфом с вытканными на нем солнечной птицей и лазоревыми цветами (она так любила шарфы). Закинутый за спину шарф сперва, трепеща, летел за ней. Потом, при торможении, опустился вниз, попал в колесо, намотался на него и сдавил горло Айседоры. Все было конечно в несколько мгновений.

Нелепая и трагическая смерть.

Галина Бениславская

Галина Артуровна Бениславская (1897–1926) – личность, безусловно, незаурядная, да и судьба ее была неординарной. Когда Галине было всего 5 лет, ее отец, обрусевший француз-студент по фамилии Карьер, бросил ее мать, по национальности грузинку (значит, в ней грузинско-французская кровь – уже все непросто!) После того как мать заболела (психическое расстройство), девочку на воспитание взяла одна из теток, и ее муж, Артур Бениславский, удочерил девочку и дал ей свое имя. Приемный отец очень ее любил и окружил вниманием и заботой. Бениславская училась в Преображенской гимназии в Петербурге (окончила с золотой медалью), в Харьковском университете, но война прервала ее образование.

Есенина она впервые увидела во время выступлений в 1916 году, а сама встреча с ним впервые состоялась в 1920. Сначала очаровали стихи, а потом околдовал и сам поэт, и она поняла, что полюбила его «и на что угодно для него пойду», – так она написала в своих воспоминаниях о нем. Цитируем дальше:

«Только удивилась: читала в романах, а в жизни не знала, что так «скоропостижно» вспыхивает это. Поняла: да ведь это же и есть именно тот «принц», которого так ждала. И ясно стало, почему никого не любила до сих пор… Не любила потому, что слишком большие требования были (подсознательно), много надо

было творческого огня и стихии в человеке, чтобы захватить меня своим романтизмом. А это в первый раз почувствовала в Есенине. В этот же вечер отчетливо поняла – здесь все могу отдать: и принципы (не выходить замуж), и тело (чего до тех пор не могла даже представить себе), и не только могу, а даже, кажется, хочу этого. Знаю, что сразу же поставила крест на своей мечте о независимости и подчинилась. Тот отпор его наглой выходке был дан так, для фасона. Но не знала тогда, что в будущем, и сравнительно недалеком, буду бороться в себе с этим чувством, буду стараться изменять ему, раздувать в себе малейшее расположение к другим, лишь бы освободиться от С. А., от этой блаженной и вместе с тем мучительной болезни. Не знала ни о чем, ни о каких последствиях не думала, а так, не задумываясь, потянулась, как к солнцу, к нему…»

Все откровенно и выразительно написала о себе Бениславская. А вот две выдержки из ее дневника:

3 июня 1922 года (через некоторое время после отлета Есенина с Дункан в Европу): «Думала опять о нем. Не отогнать мыслей. Вспомнила, что все была «игра». Мы, как дети, искренне увлеклись игрой (оба: и я, и он), но его позвала мама, он игру бросил, и я одна, и некого позвать, чтоб доиграть. Но все же игру затеяла я, а не он. Правда, так делают дети – понравился мне, так вместо знакомства подойду и скажу: «Давайте играть вместе!»

Знала ли Галина Бениславская в тот момент, что затеянная любовная «игра» окончится трагически для нее? Очевидно, нет.

Через год. 26 августа 1924 года: «Вот, как верная собака, когда хозяин ушел – положила бы голову и лежала, ждала возвращения».

До чего верный это народ, женщины! И как неблагодарны подчас бывают мужчины!

Августа Миклашевская вспоминала позднее о Бениславской: «Сколько у нее было любви, силы, уменья казаться спокойной. Она находила в себе силу устранить себя и сейчас же появляться, если с Есениным стряслась какая-нибудь беда. Когда он пропадал, она умела находить его. Каждый раз, встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней силой, душевной красотой. Поражала ее огромная любовь к Есенину, которая могла так много вынести, если это нужно было ему».

Большую помощь оказывала Бениславская поэту и в финансовых делах.

«В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался, – пишет она в воспоминаниях. – Иногда казалось, что не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему бы отдохнуть и лечиться, а деньги

только из «Стойла». Писать он не был в состоянии, так как пил без передышки. По редакциям ходить утраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это было дело. Часто говорят про поэтов: «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса – в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. – Знаю одно – С. не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр…

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов – с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдавали, когда полагается, деньги, – ему было очень тяжело, очень много сил отнимало…»

И вот эту изнурительную и унизительную работу по добыванию денег, по крайней мере ее большую часть, взяла на себя Бениславская. Она ходила вместо Есенина по редакциям и, где жалобами, где требованием, где слезой вышибала причитающийся поэту гонорар.

Странно, но так уж сложилось, что две национальные гордости России – Александр Пушкин и Сергей Есенин всю жизнь провели в тисках безденежья, из-за нехватки средств мучились, переживали, тратили массу дополнительной энергии, растрачивали свою душу на «презренный металл». Разные эпохи. Но одна и та же ситуация. Пушкину нужны были деньги, чтобы его любимая Натали жила так же достойно, как и другие знатные петербургские дамы. Есенин… Есенин часто говорил: «Я хочу быть богатым!» или: «Буду богатым, ни от кого не буду зависеть – тогда пусть покланяются!» Богатый для него было синонимом «сильный», «независимый», «свободный». Деньги Есенину нужны были не только для себя, но и для «меньшей братии», которая его окружала – собутыльники, приятели, друзья, а также для близких и родных, к нуждам которых Есенин всегда был очень отзывчив.

Кстати, коль разговор зашел о «друзьях» Есенина, то надо отметить, что Бениславскую, как и ранее Зинаиду Райх, вся эта «кувырк-коллегия» встретила в штыки. Тихий Есенин, привязанный к дому и к любимой женщине, им был не нужен. Поэтому все время возникали попытки изолировать Галину Бениславскую от поэта и даже родился план «убрать ее в два счета».

Была запущена версия, что Бениславская – агент ЧК и приставлена следить за Есениным. Да, она действительно короткое время работала на Лубянке секретарем, но никаких заданий по слежке и наблюдению за Есениным не получала.

Кому-то очень хочется связать и сегодня «дело Есенина» со спецслужбами – мол, ЧК, ГПУ следили, «шили» на поэта документы и в конечном счете убили. На мой взгляд, все это чушь. У доблестных наших чекистов есть немало своих грехов, и не надо на них вешать дополнительные.

Что касается Галины Бениславской, то тут дело яснее ясного: она любила Есенина, была бескорыстно ему верна, понимала всю пагубность такого влечения к нему и даже пыталась своеобразным способом избавиться от наваждения. Что из этого вышло? Обратимся к ее воспоминаниям. Вот что она записала в дневнике за 1925 год (точной даты нет).

«Это – последняя глава первой части. Авось на этом моя романтика кончится. Пора уж.

Сергей – хам. При всем его богатстве – хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-либо простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него. А теперь – чем он для меня отличается от Приблудного? – такое же ничтожество, так же атрофировано элементарное чувство порядочности: вообще он это искусно скрывает, но тут в гневе у него прорвалось. И что бы мне Катя ни говорила, что он болен, что это нарочно, – все это ерунда. Я даже нарочно такой не смогу быть. Обозлился на то, что я изменяла? Но разве не он всегда говорил, что это его не касается? Ах, это было все испытание?! Занятно! Выбросить с шестого этажа и испытывать, разобьюсь ли?! Перемудрил! – Конечно, разбилась! А дурак бы заранее, не испытывая, знал, что разобьюсь. Меня подчинить нельзя. Не таковская! Или равной буду, или голову себе сломаю, но не подчинюсь. Сергей понимал себя, и только. Не посмотрел, а как же я должна реагировать – история с Ритой (Маргарита Лившиц. – *Ю. Б.*), когда он приводил ее сюда и при мне все это происходило, потом, когда я чинила после них кровать… Всегдашнее – «я как женщина ему не нравлюсь» и т. п. И после всего этого я должна быть верной ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень рада встрече с Л. Это единственный, кто дал мне почувствовать радость, и не только физически, радость быть любимой. Ведь Покровский – это только самообман… И только Л. был настоящим. Мне и сейчас дорого то безрассудство. Но это все равно. Пускай Сергей обозлился, за это я согласна платить. Мог уйти. Но уйти так,

считая столы и стулья – «это тоже мое, но пусть пока останется», – нельзя такие вещи делать…»

Можно себе представить, какая была сцена, и понять Бениславскую, как грубые слова Есенина ее задели: за все ее бескорыстие – такая «награда»!..

Конечно, это весьма грустный сюжет: любить и не быть любимой. Бениславская – не Райх, не Дункан, с ними Есенин мог закружиться в «чувственной вьюге» и просить: «Ну, целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли…» С Бениславской – нет. Об этом Есенин писал ей открытым текстом 21 марта 1925 года: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я Вас нисколько не люблю как женщину».

Как утверждала сестра Есенина, Екатерина, эта тема в разговорах Есенина и Бениславской возникала не раз: «Галя, вы очень хорошая, вы самый близкий, самый лучший друг мне. Но я не люблю вас как женщину. Вам надо было родиться мужчиной. У вас мужской характер и мужское мышление».

Бениславская на секунду прикрывала свои глаза длинными ресницами и, печально усмехнувшись, отвечала: «Сергей Александрович, я не посягаю на вашу свободу, и нечего вам беспокоиться».

Беспокоилась сама Бениславская. И не за статус «любимой женщины», а за статус защитницы и охранительницы интересов поэта. Что делать? И тут были конкуренты, а точнее, конкурентки, и самая опасная из них – Анна Берзинь (1897–1961), в то время сотрудник могущественного Госиздата, редактор отдела крестьянской литературы.

По признанию Екатерины Есениной: «Не помню, как появилась в нашем доме Анна Абрамовна Берзинь. Светло-русая, с голубыми глазами, высокого роста и всегда с улыбкой, она почти ежедневно стала бывать у нас…»

А вот воспоминания самой Берзинь: «В мою жизнь прочно вошла вся прозаическая и тяжелая – изнаночная – сторона жизни Сергея Александровича. О ней надо рассказать подробно и просто, рассказать так, чтобы стало ясно, как из женщины, увлеченной молодым поэтом, быстро минуя влюбленность, я стала товарищем и опекуном, на долю которого досталось много нерадостных минут, особенно в последние годы жизни Сергея Александровича».

Сохранилась дарственная надпись поэта Анне Берзинь на книге «Березовый ситец»:

Самые лучшие минуты
Были у милой Анюты,

Ее взоры, как синие дверцы,
В них любовь моя, в них и сердце.

И дата: «12/VI-25».

О Бениславской Анна Берзинь писала: «Мне хочется сказать много хорошего о милом человеке, верном и заботливом друге Есенина, его жене, подруге, товарище и ангеле-хранителе, каким была для него всю жизнь Галина Артуровна Бениславская».

Эти слова, так сказать, для истории, для той истории, которая пишется гладко, без копания в «нижнем белье» и с опусканием всяких деталей, короче, история высветленная, отбеленная, чистая, – именно так было принято писать в эпоху социализма.

В воспоминаниях Бениславской все описано иначе о Берзинь:

«Я лично всегда относилась к ней хорошо. Ее внутренний облик, иногда ее выходки мне нравились. Она прошла через огонь и воду. Умная и оригинальная, смелая, не останавливающаяся ни перед какими препятствиям, она не могла не нравиться мне…»

А далее Бениславская ставит извечное «но» и пишет:

«При мне она расхваливала меня Сергею Александровичу, спрашивала, почему он не женится на мне, очевидно, щупая почву. И тут же усиленно старалась вызвать в Есенине увлечение кем-нибудь из своих приятельниц (Анна Ивановна Сухарева, Като). Во время пребывания у Толстой то частила ее последними словами и т. п., то, когда С. А. хотел уходить от Толстой, заводила с ней дружбу, несмотря на просьбу С. А. не делать этого. Во время моей ссоры с С. А. всячески подливала масла в огонь… и т. п.

В то же время один раз разыграла возмущенную добродетель: «Я думала, Галя, что ты любила С., а тебе решительно наплевать на него, тебе нужны были его деньги, а сам он тебя мало интересует» и т. д. Настолько деланно было ее возмущение, что я невольно задумалась, ища подоплеку ее выпадов. И вдруг осенило: играет в «историю», как говорил С. А.; развенчивая по очереди меня, Катю, Толстую, она хочет остаться «единственным другом», единственным «преданным» ему человеком…»

Вот такие-то нешуточные страсти «верных подруг» бушевали вокруг Сергея Есенина.

2 ноября 1925 года Бениславская записала свой последний разговор с поэтом перед его роковой поездкой в Ленинград:

«– Галя, приезжайте на Николаевский вокзал.

– Зачем?

– Я уезжаю.

– Уезжаете? Куда?
– Ну это… Приезжайте. Соня приедет.
– Знаете, я не люблю таких проводов.
– Мне нужно многое сказать вам.
– Можно было заехать ко мне.
– Ах… Ну, тогда всего вам хорошего.
– Вы сердитесь? Не сердитесь, когда-нибудь вы поймете.
– Ничего. Вы поймете тоже. Всего хорошего.
– Всего хорошего».
Больше они не встретились.

«Как? Еще одна?!» – может воскликнуть читатель, воспитанный в пуританской «чистоте» социализма.

Вот два свидетельства современников.

«Шел у нас как-то разговор о женщинах. Сергей щегольнул знанием предмета:

– Женщин триста-то у меня поди было?

Смеется.

– Ну, тридцать.

– И тридцати не было!

– Ну… десять?

На этом и помирились.

– Десять, пожалуй, было.

Смеется вместе с нами. Рад, что хоть что-нибудь осталось» (Э. Герман. О Есенине).

«В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул:

– А ведь у меня, Анатолий, женщин было тысячи три.

– Вятка, не бреши.

– Ну, триста.

– Ого!

– Ну, тридцать.

– Вот это дело» (А. Мариенгоф. Мой век).

Не будем заниматься выяснением точной цифры. Были и были. Но среди них нельзя не упомянуть Надежду Давыдовну Вольпин, поэтессу и переводчицу, которая была моложе Есенина на 5 лет. В 1995 году она отметила свое 95-летие.

Она родилась в интеллигентной семье. Мать – учительница, отец – юрист. Настоящий юрист, к которому обращался за советом сам Плевако. Семья жила сначала в Могилеве, затем перебралась в Москву. Жили неподалеку от храма Христа Спасителя. Надежда закончила гимназию в 1917 году. Да, в том роковом году, который перевернул всю Россию и перебаламутил все русское общество.

Чтобы не умереть с голоду, Надежда Вольпин пошла работать библиотекарем в госпитале. Как и всякая образованная барышня, конечно, писала стихи еще с гимназии. Однажды набралась храбрости и отправилась в союз поэтов (он тогда располагался напротив центрального телеграфа, Тверская, 18), и прочитала там отрывок из поэмы «Нарцисс». Когда она читала стихи, в дверях появились Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф. Надежду в союз

приняли, и она на вполне законных основаниях стала ходить в кафе поэтов.

В один из «судьбоносных дней» к ее столику подсел Есенин. Завязался разговор. Далее слово самой Надежде Давыдовне:

«Пошел меня провожать. С той поры встречались, разговаривали. Как-то он словно бы вскользь (на вопрос «Почему пригорюнились?») сказал: «Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!» А в другой раз, месяца через два, сказал: «У меня трое детей». Однако позже горячо это отрицал: «Детей у меня двое!»

– Да вы же сами сказали мне, что трое!

– Сказал? Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!

И только через четыре года, уже зная, что и я намерена одарить его ребенком, сознался мне, что детей у него трое: дочка и двое сыновей. «Засекреченным» сыном был, по-видимому, Юрий Изряднов…» (Из интервью с Н. Вольпин в «Российской газете», 14.8.1994.)

Сближение Есенина и Надежды Вольпин произошло весной 1920 года. Высшей точки роман достиг в 1920–1921 годах, затем начались размолвки и ссоры. В Есенина она влюбилась «сразу и окончательно», хотя и сознавала, что он, по существу, – «безлюбый», внутренне холодный человек.

Дважды Вольпин была в доме на Перчистенке у Айседоры Дункан. Перед отъездом в Европу Есенин спросил Надежду: «Будешь меня ждать?» Когда он вернулся, она находилась в Дмитрове. Потом в Москве они встретились.

Обратимся к воспоминаниям Вольпин:

«Октябрь двадцать третьего. Сижу за столиком в «Стойле Пегаса», прихлебываю свой вечерний кофе и на клочке бумаги записываю строки новых стихов – из моей «Фетиды»:

Камень в руку друг мне сунет,
Ночь в лицо швырнет звездой!

Ко мне подходит Иван Грузинов. За его широкой спиной маячит, пошатываясь и горбясь, фигура Есенина.

– Надя, очень прошу вас: уведите его к себе. Вот сейчас.

– Ко мне? Насовсем? Или на эту, что ли, ночь? Как вы можете об этом просить!

– Поймите: тяжело ему с Галей. Она же…

– Знаю: любит насмерть женской любовью, а играет в чистую дружбу! Почему же ко мне? Со мною легче ему, что ли?

– Эх, сами себе не хотите счастья!

Да, он так и сказал: «счастья»! Но в счастье с любимым не

верю – ни для себя, ни для кого.

– Уведите его к себе, – продолжает Грузинов, – и держите крепко. Не себя, так его пожалейте!..

– Ко мне невозможно – ледяной чулан!

Дело не только в том, то в моих «меблирашках» на Волхонке идет ремонт антресолей, где я жила, и меня временно поселили в каменном чуланчике с крошечным оконцем и «буржуйкой»; что днем у меня вода в кувшине замерзает: я уже твердо знаю, что будет ребенок. И мне надо очень беречься, если я хочу благополучно его доносить. Но в этом я никому пока не открываюсь.

На прямую просьбу Есенина о том же отвечаю невнятным отказом… Ко мне невозможно… Сама сейчас хоть дома не ночуй!..

Больно было думать, что Сергей скитается бездомный и некуда ему приткнуться, если не к Гале Бениславской, с которой, видно, ему и впрямь тяжело. А Сергей стоит, припав спиною к стене. И вдруг разражается длинной хлесткой руганью… И я убегаю, простившись только с Грузиновым. Тот смотрит мне вслед с осуждением…»

Еще одна встреча.

«Поздняя осень двадцать третьего. Мы вдвоем на извозчике.

– Почему у нас с вами с самого начала не заладилось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, – уверяет Сергей. – Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему.

«Видно, уж слишком по-своему!» – подумалось мне. А вслух отвечаю:

– Наоборот. Я всегда это знала. Будь иначе, уж как-нибудь нашла бы в себе силы начисто оборвать нашу связь. Если не иначе, то вместе с жизнью».

Потом Есенин оказался в больнице на Большой Полянке, и Надежда Вольпин отправилась его разыскивать.

«– Наконец-то явилась! – говорит Есенин. – Ну, идем же ко мне.

Я не стала объяснять, как узнала засекреченный адрес. Оставила на совести у его «ангела-хранителя» Галины. Она небось сама перед собой оправдывается тем, что сейчас встреча со мною будет ему во вред!..

Есенин читает Надежде стихи:

И вот на этом коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,

Только нелюбимая.

Да, я всегда знала: милых вагон, а любимой нет! Может быть, никогда и не было, сколько бы ты ни выдумывал, ни внушал себе и другим, что знал в прошлом, единожды, большую любовь…»

Приведем еще сцену из воспоминаний Надежды Давыдовны, когда она подвыпившего Есенина отвезла к… Бениславской. По словам Есенина, Галина была больна и ей надо отвезти какую-то еду. Сцена прелестная:

«… Смотрит на меня. Удивленное:

– Вы?

Не ждала, наивная ревнивица, что приведу Есенина к ней, не к себе!..

А тот, запинаясь, винится, что не донес ее ужин… Меня Сергей не отпускает – куда ты, надо же хоть обогреться.

И вот он возлежит халифом среди сонма одалисок. А я тихо злюсь: да разве не могли они сварить хоть кашу, хоть картошку своей голодной повелительнице? Или партийное самолюбие запрещает комсомолке кухонную возню? Дубины стоеросовые!

Различаю среди «стоеросовых» стройную Соню Виноградскую и еще одну девушку, красивую, кареглазую, кажется, Аню Назарову. Идет глупейшая игра… «А он не бешеный?» – Пощупаем нос. Если холодный, значит, здоров». И девицы наперебой спешат пощупать – каждая – есенинский нос. «Здоров!» – «Нет, болен, болен!» – «Пусть полежит!» Есенин отбивается от наседающих «целительниц поэзии».

– Нет, ты, ты пощупай! – повернулся он вдруг ко мне. Прекращая глупую забаву, я тихо погладила его по голове, под злобным взглядом Галины коснулась губами век… и заспешила на волю: мне еще ползти на Волхонку в свою промерзшую конуру… Сергей пытается меня удержать.

– Мы же не поговорили… о главном.

– Успеем. Я не завтра уезжаю.

«Главное» – это решение сохранить ребенка и переехать в Петроград…

Есенину трудно поверить, что я и вправду решила сама уйти от него. Уйти «с ребенком на руках», как говорилось встарь…»

По этому поводу кто-то даже сочинил частушку: «Надя бросила Сергея без ребенка на руках!»

Как замечает Вольпин: «Все разговоры эти велись как-то бегло – Сергей не нашел в себе мужества самому прийти ко мне и толком объясниться – видно, понимал, что я не сдамся, на аборт не пойду. Но главное не понимал – что ребенок мне нужен не

затем, чтобы пришить Сергея к своему подолу, но чтобы верней достало сил на разлуку. Окончательную разлуку!..»

Вольпин, как Бениславская (все есенинские женщины имеют какие-то параллели между собою), была женщиной гордой и самостоятельной. Ребенок? Ребенок будет не Есенина, «не наш, а мой».

12 мая 1924 года в Ленинграде родился Александр Есенин-Вольпин.

Семьдесят лет спустя Александр Есенин-Вольпин приехал в Россию из Соединенных Штатов. Корреспондент «Общей газеты» пытался его тормошить вопросами. «Я на него похож? – Голубые есенинские глаза вспыхивают. – Какой похож! Мне в этом году 70 будет. Ну что отец… Отец мой поэт Сергей Есенин видел меня два раза в жизни. Я родился в Питере в 1924 году, а он в 25-м умер. Они с матерью разошлись. Рассказывают, он приходил к нам на Васильевский остров, маму не застал, поиграл со мной и ушел. По причине младенчества я, естественно, ничего не помню».

А вот что вспоминает о приезде Есенина в Ленинград Анна Ивановна Сахарова. Она «докладывала» Надежде Вольпин: «У нас тут гостил Есенин. Просил меня дать ему ваш адрес. Я не дала. Сказала: сперва спрошу у нее, разрешит ли… Придете, а она вас с лестницы спустит. Уж я б на ее месте спустила!»

Вольпин еле сдержала крик досады и боли.

На Рождество 1925 года она поехала с сыном на две недели в Москву, а Есенин снова приехал в Ленинград. Их пути разошлись. Больше они не встретились…

Дотошный коллекционер автографов Владимир Светлов в феврале 1994 года расспрашивал Надежду Давыдовну о Есенине. Она сказала: «Я любила Сергея больше света, больше весны, больше жизни – любила и злого, и доброго, нежного и жестокого, – каким он был. Или хотел быть…»

К этому разговору мы еще вернемся. А пока о другом.

Алкоголь

Шарль Бодлер говорил: «Чтоб не быть рабами и мучениками Времени, опьяняйтесь, опьяняйтесь без конца! Вином, поэзией или добродетелью, – чем хотите».

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь…

Есенинская слава тащила за собой похмелье. Друзья и почитатели его таланта постоянно затаскивали поэта «в кабак и к девочкам». Да и сам Есенин (помните слова, сказанные им Ирине Одоевцевой) отмечал, что вино помогает ему жить. Точнее, не жить, а забываться от жизни, от ее волнений и тревог. Вообще это старая болезнь многих российских поэтов, достаточно вспомнить Аполлона Григорьева, сгоревшего от обильных возлияний. А тут еще это сумасшедшее время, революционный вихрь событий.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвечиной
Над пропащею этой гульбой.

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека…

Не надо сбрасывать со счетов и наследственность. О своем деде Есенин говорил так: «Был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы».

Иван Гронский, выступая в ЦГАЛИ 30 сентября 1954 года, дал свою версию: «Пьянство Есенина объясняется не тем, что у него плохая наследственность, что у него дед или отец были алкоголиками. Причину пьянства Есенина надо искать в том переплете событий, который тогда был… К есенинскому пьянству руку приложил и Клычков, более сильный и здоровый физически и психически, чем Клюев. И Есенин фактически допился до белой горячки. Его пыталась спасти Айседора Дункан. На него не могла повлиять ни Зинаида Райх, ни тем более Софья Толстая…»

Есенин «заливал глаза вином» (как он выразился сам в одном из стихотворений) и в России, и на Западе.

«О пьянстве его сложились легенды. Ничего необычного в нем, к сожалению, не было. Так пьют на Руси и литераторы и мастеровые.

Аккуратная берлинская квартирохозяйка с ужасом говорила о моей русской приятельнице:

– Когда эта дама умывается, вода из крана хлещет, как

фонтан перед дворцом кайзера!

Воображаю, как ужаснулась бы эта немка манерам Есенина.

В самолюбиво чистую немецкую комнату вместе с ним вошла Россия. Окурки на полу. Пустые бутылки на подоконниках и… ведро под кроватью, на которой валяется Сергей.

– Пей! – приглашал он А. Т., указывая на это ведро. – Не подумай чего-нибудь… Пиво!» (Э. Герман. Из книги о Есенине).

В своих воспоминаниях Юрий Анненков отмечает «разгул Есенина», но тут же оговаривается, что пьянство Есенина – «его личное дело, хотя это личное, в большинстве случаев, проходило публично. Да и можно ли вообще отыскать поэтов «уравновешенных»? Настоящее художественное творчество начинается тогда, когда художник приступает к битью стекол. Вийона, Микеланджело, Челлини, Шекспира, Мольера, Рембрандта, Пушкина, Верлена, Бодлера, Достоевского и tutti quanti – можно ли причислить к людям comme-il-faut?..»

По всей видимости, этой же точки зрения придерживался и Сергей Александрович. Отсюда и загулы, и битье стекол. И матерщина. У него был малый матерный загиб (37 слов) и большой загиб (266 слов). С ним по «отборным выражениям» мало кто мог тягаться. В минуту просветления он с грустью констатировал:

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот – и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист…

В неопубликованной части воспоминаний Бориса Зайцева об Андрее Белом говорится, как часто Есенин задирал своего старшего товарища по поэтическому цеху: «иней алкоголя уже сильно проступал в его отношениях с окружающими».

Сегодня, с позиции лет, в каком тупике оказался Есенин. В какой отчаянный переплет он попал. Политические и литературные злые ветры. Неприкаянность с квартирой. Зыбкие, рвущиеся связи с женщинами (не по их вине, а исключительно по его). Вечные друзья-собутыльники. Оторванный от деревни и брошенный в город, он не мог не тосковать, не мог не пить.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит… черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Меньше чем за полгода до смерти и, возможно, предчувствуя ее, Есенин в августе 25-го написал стихотворение «Гори, звезда моя, не падай…», последние строки которого воспринимаются как самоэпитафия:

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так;
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Сравнение эпатирующее, но, увы, точное.

Августа Миклашевская

Миклашевская, как и другие есенинские женщины, пыталась оградить поэта от хмельных компаний, но и ей этого не удалось, хотя Есенин писал о том, что

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

В постоянстве любви? Это не для Есенина. Августа Миклашевская (1896–1977) – провинциалка. Училась в Ростовской Екатеринской гимназии. Увлекалась театром. В 1910 году вышла замуж. С мужем приехала в Москву. Держала экзамен в Камерный театр. Перед Таировым и Коонен читала стихи Виктора Гофмана «У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий…» Была принята в труппу. Сыграла заглавную роль в нашумевшем спектакле «Принцесса Брамбилла» (1920). Есенин увлекся Миклашевской после возвращения из-за границы. Именно ей посвящен цикл «Любовь хулигана» из сборника «Москва кабацкая». Сохранился экземпляр с надписью Есенина «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, которые выражены в этой книге. С. Есенин 24. III 25 г.».

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали,
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь – как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут.
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Миклашевская была «первой красавицей Камерного театра. Крупная, статная. Античная, сказал бы я, – писал о ней Анатолий Мариенгоф. – Вроде Айседоры, но нет, на двадцать лет моложе. Волосы цвета воробьиного крыла. Впоследствии Есенин в стихах позолотил их». Однажды к ней подошел Маяковский и без всякой церемонности обратился к ней: «Встаньте… я хочу поглядеть на вас… какая вы красивая…»

В марте 1970 года к уже старенькой Миклашевской пришел писатель Виктор Лихоносов и попросил ее вспомнить, при каких обстоятельствах она познакомилась с Есениным. Вот ее рассказ:

«Познакомила меня с ним жена Мариенгофа, тоже актриса. Это было в конце лета 23-го года. Из-за сына я не поехала в Париж с театром Таирова. Он как-то после спектакля «Федра» собрал всех актеров и объявил, что театр едет в Париж. «Детей не

брать». Я спросила: «Почему?» – «Потому, что вы будете получать прожиточный минимум». – «А как же мой сын здесь будет жить?» – «Будете посылать пайки». Я обиделась и ушла с собрания. Таиров знал, что мне не с кем оставить сына. Я растила его сама. Чтобы иметь няню для сына, я, кроме театра, выступала по ресторанам, пела, танцевала. Отец моего сына, когда узнал о гастролях таировцев в Париже, стал уверять, что это только издалека кажется Париж интересным, – он там бывал несколько раз. Одного он не понимал: для меня счастье было не в Париже; я теряла роли, теряла театр. Я его считала родным домом, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь окажусь без Камерного театра. Мои роли были уже розданы другим актрисам. Так я осталась дома. И познакомилась с Есениным…»

Вспоминает Эммануил Герман:

«Было в Москве в эти голодные и холодные годы кабаре с утешительным именем «Не рыдай»…

Раз-два-три-четыре —
Сердцу волю дай.
Раз-два-три-четыре —
Смейся, не рыдай.

В этом вот увеселительном заведеньице я и встретил однажды Есенина. Ввалился он туда со всей своей свитой, – яркая планета его всегда была окружена темными спутниками. Мрачно шагающие за ним следом (верно, уж не первую ночь), они походили на «врагов человека» из символической андреевской пьесы. Это были, однако, друзья Есенина.

Он не походил на себя. «Стеклянный дым» его волос помутнел, лицо просвечивало, точно восковое. Он окинул зал невидящим взглядом – глаза смотрели внутрь себя.

– Сережа!

Он улыбнулся – так улыбается больной, узнав сквозь забытье лицо близкого человека – и подсел к нашему столику.

Актриса Миклашевская, тихая женщина с всегда грустными глазами, пела что-то бесстыдно-шумное. Он рассеянно слушал – ту, что пела, а не то, что она пела. Ей, именно этой тихой женщине, были посвящены стихи о его преждевременном сентябре.

Подсела к нашему столику и Миклашевская. Он умиленно на нее поглядывал, потом наклонился ко мне и сказал тихо и восторженно:

– Моя любва. Понимаешь?

– Понимаю, Сережа».

«Любва» – это точно, потому что, не любя, нельзя написать такие пронзительные лирические строки:

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой исконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит.
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?..

Семен Борисов о Сергее Есенине: «Он умел быть таким нежным, таким внимательным! Помню Есенина и Миклашевскую. Часами он просиживал подле Миклашевской, говорил нежные слова и тут же, обращаясь к тем, с кем он сидел:

Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок».

(из сборника «С. А. Есенин. Материалы к биографии»).

Но Москва кабацкая не опускала Есенина. Да и с Августой Миклашевской не все сладилось. Ее провинциальная закваска давала о себе знать. Она не хотела легкой связи, а Есенин все приглашал «слушать чувственную вьюгу», ибо «слишком многое телу надо».

Миклашевская вспоминает: «Помню, как в первый раз он пришел ко мне. Помню, как я сидела в кресле. Помню, как он сидел на ковре у моих ног, держал мои руки и говорил: «красивая, красивая…» Мне надо было позвонить по телефону, Есенин вышел со мной. В будке он обнял меня за плечи. Я не любила объятий походя, на людях. Я ничего не сказала. Я только повела плечами, освобождаясь от его рук. «Я буду писать вам стихи…» Многие из друзей не любили меня. Говорили, что со мной скучно. Когда мы с Есениным сидели в кафе, у нас на столе

не было бутылок… Айседора Дункан как-то удивлялась на нашей вечеринке: «Шай! Што такое шай? Я утром пью шампанское…» Меня изучала. «Красиф? Не ошень. Нос красиф… у меня тоже нос красиф…»

Между Есениным и Миклашевской была вроде даже помолвка. Но и красивой Миклашевской не удалось, чтобы яхта «Есенин» остановилась на приколе. Яхта рвалась в открытое море навстречу новым ветрам и бурям («как будто в буре есть покой», как писал другой классик).

Софья Толстая

Следующая и весьма краткая остановка: Софья Толстая. Галина Бениславская эту связь объясняла просто: житейские тяготы, квартиры нет, некуда голову прислонить, «Толстую не любил, презирал и, убедившись в этом, разошелся…»

Не будем фантазировать о том, как произошло новое знакомство, обратимся к свидетельнице, младшей сестре Есенина – Екатерине:

«Сергей, Галя и я встречали новый 1925 год у одного богатого нэпмана. Я была самой молодой, и мне было очень невесело. На этом вечере я познакомилась с ленинградской поэтессой Марией Шкапской. Несколько дней спустя Шкапская позвонила мне по телефону и изъявила желание видеть меня, т. е. зайти к нам с очень хорошей своей приятельницей Софьей Андреевной Толстой. У нас был тихий приятный вечер. Сергей, Галя и я, никого чужих. Желание Шкапской меня очень смутило, и когда я вошла в комнату спросить: можно ли зайти к нам Шкапской? – Сергей и Галя поняли мое положение и, улыбнувшись, согласились принять. Шкапская пришла с молодой женщиной. Женщина была высокого роста, некрасивая, но приятная. Это и была приятельница Шкапской Софья Андреевна Толстая. Внучка Льва Николаевича Толстого. Вечер закончился так же хорошо, как и начался. Сергей пошел провожать наших гостей, и мы с Галей решили, что Толстая очень приятная женщина. Вернувшись, Сергей согласился с нами и, улыбнувшись, добавил: «Надо поволочиться. Пильняк за ней ухаживает, а я отобью».

Вот такая была, как говорят на флоте, диспозиция.

Софья Андреевна Толстая (1900–1957) была дочерью сына Толстого Андрея и Ольги Дитерихс. Первым мужем Софьи Толстой был Сергей Сухотин. После революции он некоторое время исполнял должность коменданта Ясной Поляны. Брак с Софьей Толстой был непродолжительным: Сухотина разбил

паралич. Он расстался с женой, у которой уже после развода родилась дочь. Впоследствии, в 1925 году, парализованный Сухотин уехал за границу, где спустя год умер. Софья Толстая осталась одна и, будучи женщиной чувствительной, остро переживала бурный роман с писателем Борисом Пильняком, которого звала медведем. А тут на горизонте возник еще и Сергей Есенин. Бедная Толстая совсем запуталась. В письме от 20 апреля 1925 года она сообщает своей подруге Шкапской:

«Та ночь (или сутки) с Есениным и Приблудиным прошли благополучно. Моя добродетель была подтверждена медведю Сергеем, который сказал: «Ты ее люби. Она тебе верна. Я с ней ночь провел, и ничего не было».

Далее в письме о ежедневных звонках Есенина: «Поедем туда… поедем сюда… Приезжай ко мне, у меня собираются… Я приеду к тебе». Я: «Занята. Устала. Не буду дома. Не могу, не могу…» Скажите, что у меня характер! Наконец, последний вечер. Завтра он уезжает в Персию. Моя дорогая, ведь я же нормальная женщина – не могу же я не проститься с человеком, который уезжает в Персию? Докладываю Б. (Борису Пильняку. – *Ю. Б.*) и еду к Сергею. Он уже пьет водку. Приходят новые люди. Приезжает Б. Дорогая, представьте себе такую картину. Вы помните ту белую, длинную комнату, яркий электрический свет, на столе груды хлеба с колбасой, водка, вино. На диване в ряд, с серьезными лицами – три гармониста – играют все – много, громко и прекрасно. Людей не много. Все пьяно. Стены качаются, что-то стучит в голове. За столом в профиль ко мне – Б.: лицо – темно-серое, тяжелое. Рядом какая-то женщина. И он держит ее руки, то за плечи, то в глаза смотрит. А меня как будто нет на этом свете. А я… Сижу на диване, и на коленях у меня пьяная, золотая, милая голова. Руки целует и такие слова – нежные и трогательные…»

Оборвем письмо и сделаем небольшую стихотворную перебивку и процитируем есенинские строки из стихотворения «Вечер черные брови насупил…», посвященного Миклашевской:

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой…

Согласитесь, что строки к месту. А теперь продолжим чтение письма Софьи Толстой про Есенина перед Персией:

«А потом вскочит и начинает плясать. Вы знаете, когда он становился и вскидывал голову – можете ли Вы себе представить,

что Сергей был почти прекрасен. Милая, милая, если бы Вы знали, как я глаза свои тушила. А потом опять ко мне бросался. И так всю ночь. Но ни разу ни одного нехорошего жеста, ни одного поцелуя. А ведь пьяный и желающий. Ну, скажите, что он удивительный! А как они за здоровье друг друга пили! Необыкновенно забавно наблюдать. И вот наступила минута, когда мне было предложено ехать домой. Не поеду с Б. наверное, все кончено. Хочу ехать – С. В такое бешенстве, такие слова говорит, что сердце рвется. У меня несколько седых волос появилось, ей-Богу, с той ночи. Уехала, как в чаду. С. был совсем пьян. На меня стал злиться и ругаться. С Б. даже не простился. Мне на другой день перед поездом звонил и всякие хорошие слова говорил…»

Есенин уехал, а Толстая осталась и металась между двумя Любовями, старой – к Пильняку, и новой – к Есенину. «Знаю, что С. люблю ужасно, нежность заливающая, но любовь эта совсем, совсем другая. Скучно без него очень; не жду, но грустно, что писем нет. Но ведь он так, вообще. А без Б. жизни не мыслю…»

В оправдание Софьи Андреевны: молодая ведь еще, всего 25 лет, и желания понятны: «Мне хочется, чтобы меня очень любили…» А кому не хочется?..

С возвращением Есенина в Москву все наконец-то определилось: и в июле состоялась свадьба Софьи Толстой и Сергея Есенина, официальная регистрация брака состоялась позднее: 18 сентября 1925 года в Хамовническом загсе. Любопытен список гостей, приглашенных на свадьбу: Воронский, Казанский, Богомильский, Аксельрод, Вс. Иванов, Шкловский, Савкин, Берлин, Грузинов, Марк, А. Абрамовна, Като, Либединский, Ключарев, Яблонский. Потом были добавлены Орешин и Клычков, да еще «Бабель без очков».

Из воспоминаний Семена Борисова:

«Сергей зашел в редакцию и позвал меня и Касаткина к себе вечером «на свадьбу с Соней». Я спросил, что и кто у него будет.

– Приходи, гармонистов позову, проводы устраиваю, ну и свадьба, и мальчишник – все мои друзья будут… Завтра уезжаю в Баку. Понимаешь? – этим словом он часто заканчивал свою фразу, вкладывая в это слово интимное, что не нуждалось в объяснениях.

Уходя, он добавил:

– Дядю Ваню обязательно тащи… Пить не будем – поговорим…»

Далее Борисов вспоминает, как они с приятелем отправились к Есенину, а по дороге говорили о нем: «Хотелось верить и не верилось, что с женитьбой Сергей вступает в новую полосу жизни,

уйдет из чадного омута Москвы кабацкой, меньше станет пить – помимо того, что вино мешало ему работать, оно являлось источником безденежья (Сергей, несмотря на большие для поэта заработки, часто ходил без гроша) и самое худшее – скандалов…»

В квартире на Остоженке, в столовой Толстой, похожей на музей, все стены были украшены портретами Льва Николаевича. Есенин был слегка возбужден, но веселым, как вспоминает Борисов, Есенин в тот вечер не был.

Конечно, надежды друзей, желавших счастья Есенину, не оправдались. Есенин то ночевал у Софьи Толстой, то бегал к Галине Бениславской. И продолжал пить. Поэт Василий Наседкин, который вместе с Есениным учился в народном университете Шанявского в Москве, отмечал, что в те месяцы «пьяный, Есенин стал невозможно тяжел. От одного стакана вина он уже хмелел и начинал «расходиться». Бывали жуткие картины. Тогда жена его Софья Андреевна и сестра Екатерина не спали по целым ночам…»

Владимир Белоусов в книге «С. Есенин. Литературная хроника» пишет, что в октябре 1925 года Есенин «пил, скандалил». Руки у него тряслись, капризничал. В отношении с женой мешались грубость и ласка. По другим источникам, бил, и даже ногами. Но были и минуты просветления, когда Есенин что-то диктовал Толстой и обсуждал с нею план издания литературного журнала. Но это редкие минуты. А так… Наседкин бывало спросит:

– Как Сергей?

– Пьет… – отвечает Софья Андреевна.

Потом была клиника, лечение, развод с Софьей Толстой и отъезд в Ленинград. Накануне, 23 декабря 1925 года, в Госиздате состоялся примечательный разговор Сергея Есенина с писателем Александром Тарасовым-Родионовым, который и записал этот разговор:

«– Ты прости меня, Сережа, я имел в виду твои отношения к некоторым женщинам. В частности, к твоей последней жене, Софье Андреевне, с которой ты, как говоришь, теперь разошелся, а во-вторых, если хочешь, к Дункан. Конечно, сердцу не прикажешь, но я помню, как ты пришел и сообщил мне о своей женитьбе, то ты сказал тогда этак искренне и восторженно: «Знаешь, я женюсь! Женюсь на Софье Андреевне Сухотиной, внучке Толстого!» Не скажи ты последнего, я ничего плохого и не подумал бы. А тут я подумал: Есенин продает себя, и за что продает?! А второе – это Дункан.

– Нет, друг, это неверно! – схватился Есенин с болезненной и горячей порывистостью. – Нет, Дункан я любил… И сейчас еще искренне люблю ее. Вот этот шарф, – и он любовно растянул свой

красивый шелковый шарфик, – ведь это ее подарок. А как она меня любила! И любит! Ведь стоит мне только поманить ее, и она прилетит ко мне сюда, где бы она ни была, и сделает для меня все, что бы я ни захотел. А Софью Андреевну… Нет, ее я не любил. И сейчас с ней окончательно разошелся. Она жалкая и убогая женщина. Она набитая дура. Она хотела выдвинуться через меня. Подумаешь, внучка! Да и Толстого, ты знаешь, я никогда не любил и не люблю. А происхождение кружило ей тупую голову. Как же остаться вне литературы?! И она охотилась за литераторами. Как-то затащил меня к себе Пильняк, она с ним тогда жила. Тут же я с ней и сошелся. А потом… женился. Опутали они меня. Но она несчастная женщина, глупая и жадная. Ведь у нее ничего не было. Каждую тряпку пришлось ей заводить. Я думал было… но я ошибся и теперь разошелся с ней окончательно. Но я себя не продавал… А Дункан я любил. Только двух женщин любил в жизни. Это Зинаиду Райх и Дункан. А остальные… Ну что ж, нужно было удовлетворять потребность, и удовлетворял…»

Вот такой поклеп возвел Есенин на Софью Толстую: глупая и жадная. Иван Гронский, человек весьма опытный и рассудительный, рисует другой портрет Толстой: «Честная, скромная, очень милая, но совершенно бесцветная женщина». Конечно, Айседора Дункан и Софья Толстая – дистанция огромного размера!

Но добавим еще одну черту характера Софьи Толстой: она была очень сердобольной женщиной. Она любила Есенина, желала ему добра, пыталась вытащить его из трясины. Уже будучи фактически брошенной им, она писала в письме супругам Волошиным в Коктебель 23 ноября 1925 года, за месяц до гибели поэта:

«…он до невероятия русский. Макс слишком умный и европейский и ругал бы моего Сергея за то, что он пьет и скандалист, а Маруся увидела бы, что он страдает, и жалела бы его… трясусь над ним, плачу и беспокоюсь. Он очень, очень болен. Он пьет, у него ужасные нервы и сильный активный процесс в обоих легких. И я никак не могу уложить его лечиться… Он на глазах моих тает, я ужасно мучаюсь… Маруся, дайте вашу руку, пожмите мою, и согласимся в одном – поэты как мужья – никудышные, а любить их можно до ужаса, а нянчиться с ними чудесно, и сами они удивительные…»

Персидские мотивы

В промежутке знакомства, обручения и развода с Софьей Толстой Сергей Есенин дважды ездил на Кавказ – хотел в Персию, но так до нее и не добрался. Только в стихах:

Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане…

Сначала Есенин побывал в Тифлисе (август – декабрь 1924 года), откуда он написал Анне Берзинь: «Я Вас настоятельно просил приехать. Было бы очень хорошо, и на неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран. Погода там изумительная и такие замечательные шали, каких Вы в Москве не увидите».

6 декабря 1924 года по приглашению своего давнего друга Льва Повицкого, сотрудника газеты «Трудовой Батум», Есенин прибыл в «Тихую обитель», в «приют трудов и вдохновенья» – в маленький Батум. Здесь он пробыл до конца февраля 1925 года, и это время стало для Есенина своей Болдинской осенью: он пишет цикл «Персидские мотивы», «Батум», «Капитан земли» и другие прекрасные свои вещи.

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны…

Но, как говорил Александр Блок, покой нам только снится! Вот и Есенина среди южной благости терзают старые тревоги: о тех, кого оставил в Москве, о своем положении поэта в советской республике и прочее, и прочее.

Корабли плывут в Константинополь.
Поезда уходят на Москву,
От людского шума ль или скопа ль
Каждый день я чувствую тоску…

Летят письма. Вот лишь одно. Галине Бениславской, Тифлис, 17 октября, 1924 г.:

«…Отпиши мне на Баку, что делается в Москве. Спросите Казина, какие литературные новости. Приеду сам не знаю

когда…» И, конечно, Есенин был бы не Есениным, если бы кем-нибудь не увлекся. Лев Повицкий пишет:

«Сергей Александрович познакомился в Батуме с молодой армянской женщиной по имени Шаганэ. Это была на редкость интересная, культурная учительница местной армянской школы, прекрасно владевшая русским языком. Интересна была и младшая ее сестра Ката, тоже учительница. У нее было прекрасное лицо армянской Суламифи. Она знала стихи Есенина и потянулась к поэту всей душой. Есенин, однако, пленился ее сестрой, с лицом совершенно не типичным для восточной женщины. Есенина пленило в ней то, что «Там, на севере девушка тоже, на тебя она страшно похожа…»

Внешне сходство с любимой девушкой и ее певуче уменьшительное имя Шага вызывали у Есенина большое чувство нежности…»

Миг увлечения – и россыпь серебристых стихов:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ…

Старая история: нельзя принимать лирические стихи за конкретную жизненную ситуацию. В стихах – нежность, а в письме к Бениславской совсем иное: «Увлечений нет. Один. Один. Хотя за мной тут бабы гоняются. Как же? Поэт ведь. Да какой еще, известный. Все это смешно и глупо».

Кроме Шаганэ, было и еще одно увлечение – Ольга Кобцова. Тот же Повицкий рассказывает:

«Одно время нравилась ему в Батуме «Мисс Оль», как он сам ее окрестил. С его легкой руки это прозвище упрочилось за ней. Это была девушка 18-ти лет, внешним видом напоминавшая гимназистку былых времен. Девушка была начитанная, с интересами и тяготением к литературе, и Есенина встретила восторженно. Они скоро сошлись, и Есенин заговорил о браке. То, что он перед отъездом из Москвы обручился с Софьей Андреевной Толстой, он, по-видимому, успел забыть. «Мисс Оль» была в восторге: быть женой Есенина!..»

Но так далеко роман не зашел. Выяснилось, что «Мисс Оль» из семьи контрабандистов, и это сразу меняло все дело: Есенину только не хватало быть сопричастным контрабанде.

Есть и другая версия (ее высказала А. Лапа-Старженецкая), что Ольга Кобцова – всего лишь «девушка» из борделя, недаром в

те годы в Батуме размещалось представительство англо-американской фирмы «Стандарт Ойл», а раз иностранцы – нужны и соответствующие услуги. Отсюда, возможно, и прозвище «Мисс Оль», не об этом ли говорит есенинское стихотворение, посвященное ей:

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я – они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь, —
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер!»

Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

Уже потом Есенин оправдывался перед батумскими друзьями, что «с женитьбой я дурака валял». Но слух уже достиг Москвы, и поэту пришлось защищаться. В письме к Анне Берзинь он писал: «С чего распустили слухи, что я женился?.. Я сидел просто с приятелями. Когда меня спросили, что это за женщина – я ответил – моя жена – нравится?..»

В середине января 1925 года Есенин затосковал окончательно. «Здесь очень скверно, – пишет он Бениславской. – Выпал снег. Ужасно большой занос. Потом было землетрясение. Я страшно скучаю. Батум хуже деревни. Очень маленький, и все друг друга знают наперечет. Играю с тоски в бильярд… От двух бортов бью в середину так, что можно за показ брать деньги. Пишу еще поэму и пьесу… Пришлите мне все, что вышло из новых книг, а то читать нечего».

Пьеса – это неоконченная «Страна негодяев». Некто Чекистов в ней заявляет:

Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что…
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы божие…
Да я б их давно-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну? Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин!..

В конце января в Батуме появляется Митя, какой-то нэповский купчик из Москвы, с приятелями и деньгами. И – понеслось! Все по новой…

Женщины в жизни Есенина

Стихи Сергея Есенина давно все оприходованы, описаны и расценены критиками и литературоведами. Выставлен высший балл. Тут и спорить не о чем. Стихи Есенина всем нравились и нравятся – белым и красным, молодым и старым. Как считает Юрий Мамлеев, Есенин – «поэт национально-космического уровня, ибо подтекст и дух поэзии ведет в изначальный космос русской души».

Сложнее с «женским вопросом», как его решал Сергей Александрович. По уже рассказанному читатели сами могут сделать выводы. Но все же кое-что следует добавить.

Мы уже приводили разговор Есенина с Тарсовым-Родионовым. Он совсем недавно был извлечен из спецхрана ЦГАЛИ. Вот его продолжение. Есенин сказал, что только двух женщин любил в своей жизни: Зинаиду Райх и Дункан. И далее:

«– …Ты, наверное, сидишь и думаешь, если любил, то почему же разошелся с теми, любимыми?..

Я молча кивнул глазами, а он гримасливо склонил голову набок, долил стакан пивом и продолжал:

– В этом-то вся моя трагедия с бабами. Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы я ни уверял в том же сам себя, – все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю. Это искусство… искусство для меня дороже всяких друзей, и жен, и любовниц. Но разве женщины это понимают?.. Если им скажешь это – трагедия. Другая сделает вид, что поймет, а сама норовит по-своему. А ведь искусство-то я ни на что и ни на кого не променяю… Вся моя жизнь – это борьба за искусство…»

Об этом же сказано и в стихах Есенина:

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых…

И еще:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе…

По Есенину, искусство, а точнее – поэзия – это настоящая страсть, а любовь к женщине – страсть глупая.

«Есенин был слишком занят собой, своими стихами и своей деятельностью, чтобы быть искренне привязанным к женщине, – вспоминал Вадим Шершеневич. – Любовь у него всегда была на третьем плане. Он даже к еде относился с большим вниманием, чем к «любимой». А семьянином он был просто никудышным».

Сергей Городецкий, сравнивая двух поэтов, отмечал, что «женщины не играли в его жизни такой роли, как, например, у Блока».

Блок боготворил женщину, возносил ее на пьедестал, а Есенин смотрел на женщину чересчур утилитарно, с точки зрения необходимости для тела («слишком многое телу надо»). А в итоге женщин было много, а любви мало.

«Беда Есенина была в том, что женщины, которые никли к нему, были далеки ему – слава и внешность привлекали их, а Есенин обманывался или шел на их призывы с затуманенными от вина глазами и безрассудно расстравливал душу, свои чувства…» – пишет в воспоминаниях Семен Борисов. И дальше: «Помню, летом 1923 года я встретил его на Тверской в обществе элегантной дамы. Знакомя меня, он сказал:

– Я ее крыл…

Дама, красная, как помидор, крутила зонтик… Чтобы выйти из замешательства, я начал говорить о каких-то делах… Сергей бесцеремонно подал даме руку, поцеловал и сказал:

– Ну, до свидания… Завтра приходите.

Когда дама ушла, я начал ему выговаривать.

– А ну их к черту, – ответил Сергей, – после них я так себя пусто чувствую, гадко…»

Но это не все. «Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса, – рассказывает в книге «Мой век» Анатолий Мариенгоф. – Выскочит, бывало, на носу у него прыщик, и уж ходит от зеркала к зеркалу суров и мрачен. На дню спросит раз пятьдесят: «Люис, может, а?..»

Все связи с женщинами – для поддержания тонуса, для взбадривания. И все же не жгучий Казанова, а скорее безлюбый Нарцисс. Да он и не скрывал этого и часто повторял: «Я с холодом».

Есть еще одно обстоятельство Есенина: он был бисексуал. Только не падайте в обморок и не кричите «караул!» По научным выкладкам, из десяти человек только двое (20 процентов) являются чистыми гетеросексуалами. Остальные 80 – это

бисексуалы нереализовавшиеся (т. е. имеющие интимную связь со своим полом только в мечтах), бисексуалы уже состоявшиеся (связь с мужчинами и женщинами) и гомосексуалисты (только с мужчинами).

Где доказательства относительно Есенина? Сергей Есенин и Николай Клюев, «олонецкий гусляр», как он себя представлял. Клюев, будучи более старшим и более опытным, чем Есенин, имел на него большое влияние, всячески обхаживал его: «Ну, Сереженька, твои стихи так трогательны, что каждая барышня их будет держать под подушкой». Отношения эти были сложнее и в литературном, и в человеческом отношении. Бывали и разногласия, и ссоры. И вот после одной из ссор с Клюевым Есенин сказал своему приятелю Павлу Мансурову: «Ты знаешь, какая стерва этот Коленька. Я один раз прилег у него на кровати, задремал, чувствую что-то мокро у меня на животе. Он, сукин сын, употребил меня». (Сборник «Минувшее», 1992, № 8, с. 173).

В поэме «Четвертый Рим» Николай Клюев откровенно описывает свои гомосексуальные отношения с Есениным.

Гомосексуальным партнером Есенина был и молодой ленинградский поэт Вольф Эрлих, – так утверждает американский профессор Саймон Карлинский. И ссылается при этом на прощальные стихи Есенина, написанные кровью накануне самоубийства:

> До свиданья. Друг мой, до свиданья.
> Милый мой, ты у меня в груди…

Обычно это стихотворение рассматривают как прощание с Россией. Но извините, – говорит американский профессор, – ведь невозможно сказать всей России «друг мой» и «милый мой». Это обращение мужчины к мужчине.

Но не будем педалировать эту скользкую тему: было – не было, какое это имеет значение перед фактом гибели поэта.

Гибель Есенина

О гибели Сергея Есенина написано тьма-тьмущая всего. В нынешнее время особенно привлекает все мрачное, роковое и криминальное. Определюсь сразу: я не верю в убийство. Считаю, что в «Англетере» произошло самоубийство. И не вдруг и не спонтанно, а Есенин шел к своей гибели целенаправленно. Он ее чуял. И не сопротивлялся.

Я устал себя мучить бесцельно,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца…

Предельно автобиографические строки. Как и другие. «Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет…», «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком…», «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать…» и т. д.

Это не простые проговорки. Это передано ощущение того, что чувствовал поэт. Он ясно понимал, что «не сладилось и не сбылось», что не осуществились «эти помыслы розовых дней».

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну…

Этот мотив обреченности звучит почти во всех стихах 1924 и 1925 годов.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор…

И вообще:

Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубного туза…

Подобные строки можно приводить без конца. К декабрю 25-го 30-летний Есенин был уже сломленным человеком, хотя и пытался строить новые планы.

«Всю свою короткую, романтическую, бесшабашную жизнь Есенин возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми. Ими жил и от них погиб». (Георгий Иванов. Петербургские зимы).

К 100-летию со дня рождения панегириков о Есенине можно

прочитать множество, но полезно знать и отрицательные мнения. Вот одно из них, оно принадлежит одному из основателей футуризма Давиду Бурлюку: «Почти горою вырос – хлыст и вертун, сказитель «Песни о великом походе», улюлюкальщик, сын крестьянский – Сергей Есенин. Волосы – колосья… волосы – колосы – колосса лирики. Крестьянский поэт, который Москву назвал «кабацкой», а в «Англетере» – инквизиционно-садистически, по-крестьянски кончил себя…»

Вот хроника последних дней поэта.

21 декабря вышел из психиатрической клиники (лечился 25 дней). Внешне окреп, но Анне Изрядновой сказал тем не менее: «Чувствую себя плохо, наверное, умру…»

23 декабря. Слова, сказанные в Госиздате:

– Евдокимыч, еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают. Я развелся с Соней… Мне надо остаться одному. А денег ты никому, кроме меня, не давай…

24 декабря. Вечером приехал в Ленинград. Остановился в «Англетере» в № 5. Вечер провел у Эрлиха.

25 декабря. Друзьям читал новые стихи.

26 декабря. Сказал портье, чтобы никого не пускали к нему в номер.

27 декабря. Устинову жаловался: «Это же безобразие! Хочу написать стихи, и нет чернил! Ты понимаешь. Я искал, искал: так и не нашел. Смотри, что сделал!» Засучив рукав, показал: разрезано… Вечером читал «Черного человека».

28 декабря. Утром, около 3–5 часов покончил с собой… Юрий Анненков: «Есенин повесился от отчаяния: от беспутья, от бездорожья».

В «Слове Есенину» Иосиф Уткин писал:

Есть ужас бездорожья,
И в нем – конец коню!
И я тебя, Сережа,
Ни капли не виню.

Бунтующий и шалый,
Ты выкипел до дна.
Кому нужны бокалы,
Бокалы без вина?..

Кипит, цветет отчизна,
Но ты не можешь петь!
А кроме права жизни,
Есть право умереть.

Иван Гронский после бесед с Павлом Васильевым, Клычковым и Клюевым пришел к такому заключению, – еще одна версия самоубийства:

«Когда Есенин и Клычков приехали в Ленинград, они задумали разыграть небольшую историю, чтобы о них заговорили. Они решили инсценировать самоубийство. И Есенин, готовясь к этому, написал письмо Эрлиху, рассчитывая, что тот сразу приедет в гостиницу и предотвратит самоубийство. Он ведь не вешался на крюке или еще на чем-нибудь, он привязал веревку к батарее. Эрлих, получив письмо, пришел только на следующий день. Видимо, шаги по коридору показались Есенину шагами Эрлиха, и он, привязанный к батарее, упал на пол. Но никто не вошел к нему, и Есенин умер…» (Сб. «Минувшее», № 8, с. 148).

Так или не так? Что гадать? Важна не предыстория, а печальный финал.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело… далече… мимо…
Сердце остыло, и выцвели очи…
Синее счастье! Лунные ночи!

И – нет Сергея Есенина. И с той поры тоскует и плачет по поэту «клен опавший, клен заледенелый». «И березы в белом плачут по лесам»…

Судьба близких Есенина

«Я пришел на эту землю, чтоб скорей ее покинуть», – написал Сергей Есенин в 19 лет. Он и покинул ее в возрасте 30 лет и 3 месяца (если не высчитывать по дням). А вот как сложилась судьба близких его людей?

Галина Бениславская. Почти через год после гибели Сергея Есенина, ночью с 3-го на 4-е декабря 1926 года, застрелилась на Ваганьковском кладбище на могиле поэта. На папиросном коробке написала предсмертную записку:

«Самоубилась здесь; хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему и мне будет все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновских на поводу…»

Бениславской было 29 лет.

На следующий год погибла Айседора Дункан – 14 сентября 1927 года. Нелепая смерть от шарфа в автомобиле: задушена сразу. Ей было 49 или 50 лет.

В 1937 году в возрасте 51 года умерла Лидия Кашина, бывшая помещица, вынужденная переквалифицироваться в советскую машинистку. Поместье, естественно, было сожжено сразу после революции.

В 1939 году была зверски убита Зинаида Райх, 45 лет.

В 1946 своею смертью умерла первая гражданская жена Есенина – Анна Изряднова, 55 лет.

В 1957 ушла из жизни Софья Толстая, 57 лет. Запуганная убийством Райх, в последние годы она жила в страхе и всем непрошеным визитерам отвечала резко: «Я по есенинским делам не принимаю».

Августа Миклашевская прожила долгую жизнь (81 год), но в полном забвении. Умерла она в 1977 году.

Долгожительницей оказалась Надежда Давыдовна Вольпин. Мне пришлось как-то разговаривать с ней по телефону: ее 95-летний возраст никак не чувствовался. Надежда Давыдовна – блестящий переводчик. Переведенные ею книги Генри Филдинга, Проспера Мериме, Джона Голсуорси и других авторов безукоризненны по стилю.

Есенинские сыновья: первенец поэта – Георгий Есенин (сын Анны Изрядновой) увлекся авиацией. В 1937-м был призван в армию и служил в отряде истребительной авиации на Дальнем Востоке. 13 апреля того же года арестован. Первый пункт обвинения: «распространял на протяжении ряда лет контрреволюционную клевету против партии и Советского правительства». Ну, и следующие бредовые пункты. 13 августа Георгий Есенин был расстрелян. Ему шел 23-й год.

Сыну Зинаиды Николаевны Райх Константину Сергеевичу повезло: он избежал репрессий. Умер 25 апреля 1986 года, прожив 66 лет. Работал инженером, но прославился своим увлечением: футбольной статистикой. Написал несколько увлекательных книг на эту, казалось бы, сухую тему. Я знал его в течение многих лет. Это был очень интеллигентный, милый и тихий человек. Никаких скандалов за ним не водилось.

Зато дух отца унаследовал Александр Есенин-Вольпин. Яркий математик и вместе с тем громкий диссидент. Математика и борьба за права человека – вот сфера его жизни. Много лет его держали в тюрьме, в лагере, в психушке. Но даже в этих невероятных условиях Александр Сергеевич писал стихи:

Что ж поделаешь, раз весна —

Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель: свобода!

Но свобода и ленинско-сталинский тоталитаризм – вещи несовместимые. В те совсем недалекие времена нельзя было высказываться вслух, писать то, о чем думаешь, общаться, критиковать власти, – сразу в дальние края.

И нет вопроса: за что, к чему
Тебя – за Волгу, меня в тюрьму!

– так писал Есенин-Вольпин 11 апреля 1950 года в Ленинграде, в тюрьме № 2 (психиатрической больнице). Такая вот, если процитировать Есенина-отца, «этих дней кипятковая вязь».

В этой «вязи» были уничтожены и многие есенинские друзья – писатели и поэты. Алексей Ганин, Николай Клюев, Сергей Клычков, Василий Наседкин, Александр Тарасов-Родионов… Подвергались репрессиям Анна Берзинь, Александр Сахаров…

Доживи сам Сергей Есенин до 1937 года, что его ждало?..

Финальный аккорд: Есенин и Маяковский

Маяковскому и Есенину «не повезло» с эпохой. Им пришлось творить в исторический период, когда соцдержавная власть подмяла искусство и литературу под себя, сделав их своими прислужницами и «рабынями в гареме пролетариата», как выразился Николай Эрдман. Есенину в меньшей, Маяковскому в большей степени.

В теме «Художник и Власть» (точнее «Поэт и Власть») Маяковский и Есенин занимали разные позиции. Маяковский был откровенно при власти, «революцией мобилизованный и призванный». Оттолкнув от себя «поэзию – бабу капризную», считая, что «нынче не время любовных ляс», Маяковский «всю свою звонкую силу поэта» решительно отдал в услужение «атакующему классу». А раз так, то уже не лирика, а «марши и лозунги». Не лирические, а исключительно партийные книжки писал Владимир Маяковский.

Есенин так не мог. Изъять из своего творчества лирику значило для него убить свою поэтическую душу. Без «любовных ляс» нет просто Есенина. Он категорически не хотел быть

ангажированным литератором, чтобы воспевать каждый шаг властей, как это делали Маяковский и Демьян Бедный, «а с горы идет крестьянский комсомол и под гармошку, наяривая рьяно, поют агитки Бедного Демьяна, веселым оглашая дол…» Нет, все существо Есенина противилось этому:

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений свет.

Справедливости ради надо сказать, что в какой-то момент Есенин дрогнул и тоже сделал попытку, «задрав штаны, бежать за комсомолом», понять и полюбить новую советскую Русь и ее вождей. Мариенгоф вспоминает, как однажды ему и Есенину Яков Блюмкин сказал:

«– Ребята, сегодня едем к Льву Давыдовичу. Будьте готовы.

– Есть!..

– Будем как огурчики!..

И счастливый Есенин побежал мыть голову, что всегда делал, когда хотел выглядеть покрасивей и попоэтичней…» («Мой век»).

Что было, то было. Но Есенин не стал вассалом партийного сюзерена, не стал певцом советской России, он так и остался со старой Русью, которая продолжала «плясать и плакать у забора». Именно старая, сказочно-былинная (и не вполне реальная) Русь была несказанно мила его сердцу. Именно в этом было главное принципиальное различие между Маяковским и Есениным.

Они были антагонистами и все время вели спор между собою, куда идти России: оставаться в прошлом или махнуть в будущее?..

В начале 20-х годов в Москве было два знаменитых кафе поэтов: «Стойло Пегаса» на Тверской около Страстной площади и «Домино» – у теперешнего Центрального телеграфа. В первом царил Маяковский и футуристы. Во втором – Есенин и имажинисты. Но пути поэтов часто пересекались, и они выступали в одной и той же аудитории, пытаясь перетащить публику на свою сторону, убедить каждый в своей правоте. Маяковский, выступая, обращался к массе, Есенин – к отдельному человеку.

Однажды, как вспоминает Лидия Сейфуллина, Маяковский прервал доклад имажиниста Вадима Шершеневича следующей репликой: «Я сейчас из камеры народного судьи. Разбиралось

необычное дело: дети убили свою мать. Они оправдывались тем, что мать была большая дрянь! Распутная и продажная. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки ее – имажинисты».

Тут, конечно, началась буча. На стол президиума вскочил Есенин в щегольском костюме. Рванул галстук, взъерошил припомаженные золотистые волосы, закричал звонким и чистым, тоже сильным голосом, но иного, чем у Маяковского, тембра:

– Не мы, а вы убиваете поэзию! Вы пишите не стихи, а агитезы!

Густым басом мгновенно отозвался Маяковский:

– А вы – кобылезы…

Чтобы заставить его замолчать, Есенин принялся надрывно кричать свои стихи. Маяковский немного послушал и начал читать свое произведение, совершенно заглушив Есенина.

Такие «соревнования» бывали не раз. То, что писал один, как правило, не нравилось другому. Даже в оценке Америки они разошлись. «До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке. Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами», – возмущался Есенин. Разошлись они у памятника Пушкину. Маяковский считал, что они с Пушкиным должны стоять «почти что рядом: Вы на Пэ, а я на эМ». Он был уверен: памятник полагался ему «по чину».

С Александром Сергеевичем Владимир Владимирович был фамильярно на равных. Не то что Есенин. Сергей Александрович перед классиком испытывал робость.

Мечтая о могучем даре
Того, что русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Обратите внимание: не с самим Пушкиным говорит, а сам с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман.
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Вот тут они на равных: повеса и хулиган, два возмутителя общественного спокойствия.

Но вернемся к Маяковскому. В разговоре с Пушкиным он сделал пренебрежительный обзор-панораму своих

современников-поэтов. И, естественно, не на ком остановить глаз.

Ну, Есенин, мужиковствующая свора,
Смех, коровою в перчатках лаечных.
Раз послушаешь… но это ведь из хора!
Балалаечник!

Как это высокомерно и презрительно: балалаечник! Будто сам Маяковский играл исключительно на элитных инструментах: на виолончели или скрипке. Ему вообще казалось, что он самый лучший, красивый и умный, недаром он писал «Себе, любимому, автор посвящает эти строки». Подобного самовлюбленного эгоцентризма у Есенина нет и в помине.

Как-то в кабаре известный конферансье Михаил Гаркави, завидя Маяковского, объявил: «Вот еще один знаменитый поэт. Пожелаем и ему найти себе какую-нибудь Айседору». Маяковский не остался в долгу и громко пробасил: «Может быть, и найдется Айседура, но айседураков больше нет».

Обидный выпад Маяковского Есенин «проглотил».

Когда Сергей Есенин покончил свои счеты с жизнью и по стране прокатилась волна самоубийств, Маяковский выступил со стихотворением, посвященным Есенину. В нем он вроде бы признал поэтические заслуги своего бывшего оппонента («Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел»), но тут же вдогонку за «балалаечником» приклеил еще один обидный ярлык: «звонкий забулдыга подмастерье». А главное, в конце стихотворения перефразировал есенинские строки:

В этой жизни помереть не трудно,
Сделать жизнь значительно трудней.

То есть, другими словами, как бы говорил: слабак Есенин, испугался жизни и смылся, а жизнь надо делать, лепить, строить. Ну что ж, поучать всегда легко. Но 14 апреля 1930 года, через 4 с половиной года, Владимир Владимирович сам нажал на курок. Не смог делать, лепить и строить? Или, как он выразился в стихотворении «Сергею Есенину», «это время – трудновато для пера»?

Да, возможно, виновато время. Это одна причина. Другая: путь, который выбрал Маяковский, тоже оказался тупиковым. Маяковский, как талант, пытался держать всю власть на своих плечах, эта власть его и придавила.

Вот так и ушли из жизни два титана: один русской, а другой –

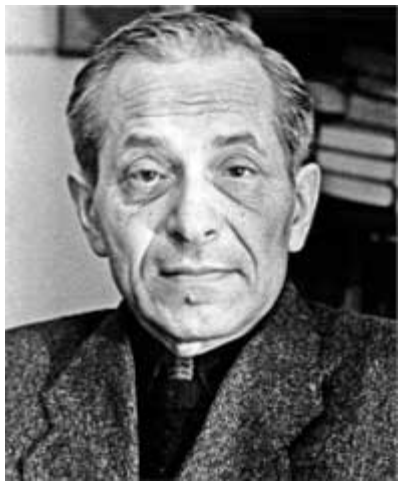
советской поэзии.

Один шумно. В левом марше. С товарищем маузером. Другой тихо. В одиночестве.

«Словно» он «весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Проскакал – и исчез. И все хочется смотреть ему вслед. А кругом – «несказанное, синее, нежное…» Это когда читаешь стихи Есенина, а когда посмотришь вокруг: «Напылили кругом. Накопытили…»

И вопрос: «Как жить дальше?..»

Солнечный зайчик. Михаил Зощенко (1895–1958)



Он изведал славу и хулу. Был любим народом и презираем властью. В печально знаменитом постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года Зощенко был назван «подонком», «клеветником» и «подлецом». Сегодня все уверенно считают: большой талант, великий сатирик. «Солнечный зайчик» – как называл он себя.

У великого и замечательного была удивительная судьба, полная метаморфоз и загадок. В Литературной энциклопедии указана дата рождения Михаила Михайловича Зощенко 29 июля (10 августа) 1895 года, но сам он не раз называл другой год – 1894-й. По поводу разнобоя объяснял так: «Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом – этак. По-видимому, один из документов – «липа». Который из них липа, угадать трудно, оба сделаны плохо».

В конце концов, какая разница: где и когда. Главное: Зощенко! Его талант, который вне времени, поверх всех юбилейных дат. Как писали: «Великий пересмешник советского хамства», «Развеселый гражданин с грустными глазами».

А теперь цитата из Зощенко:

«Есть такая, может быть, знаете, знаменитая картина из прежней жизни, она называется – «Неравный брак». На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.

Жених – такой вообще престарелый господинчик, лет эдак семидесяти трех с хвостиком. Такой вообще дряхлый,

обшарпанный субъект нарисован, на которого зрителю глядеть мало интереса.

А рядом с ним – невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой буквально птенчик, лет, может быть, девятнадцати. Глазенки у нее напуганные. Церковная свечка в руках трясется. Голосок дрожит, когда брюхастый поп спрашивает: ну как, довольна ли, дура такая, этим браком?

Нет, конечно, на картине этого не видать, чтоб там и рука дрожала, и чтоб поп речи произносил. Даже, кажется, и попа художник не изобразил по идеологическим мотивам того времени. Но все это вполне можно представить себе при взгляде на эту картину…»

И Михаил Зощенко представлял. Он обладал богатейшим воображением и имел искристое золотое перо. В статье «Как я работаю» он признавался: «Лично я пишу чаще всего «от господина бога».

Ему удавались все стили и жанры: юмор и сатира, шарж и гротеск, лирика и проза. И что удивительно: в его рассказах автор, герой и рассказчик выступали как бы в одном лице. Были неразличимы. Своим ярким талантом Зощенко обличал советскую эпоху с его мещанством и бескультурьем, с его коммунально-кухонными страстями. Главный герой – маленький человек, добытчик личного счастья, уставший от войн и революцией, – «ну а которые помельче, те, безусловно, ловчились, приспосабливались и старались попасть в ногу со временем, для того чтобы прилично прожить и поплотнее покушать».

Вот эти, «которые помельче», отказывались биться за «ураганные идеи» партии и государства. Когда один толстый журнал потребовал у Зощенко рассказов «высокого штиля», он наотрез отказался. Он не был барабанщиком и трубачом эпохи. Он был неумолимым критиком несовершенства и уродства общественной жизни и неисправимой человеческой натуры. Это, конечно, не нравилось власти, и его жестко критиковали.

«Ну что? – отвечал Зощенко своим критикам. – Может быть, это клевета? Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто ну пустяки получаются…» Вот и сегодня, заметим в скобках: шума о достижениях много, а посмотришь кругом – одни пустяки.

Зощенко не был ни диссидентом, ни борцом, он честно выполнял свою писательскую миссию, он даже написал несколько рассказов о Ленине, но опять же с плохо скрытым сатирическим

подтекстом. И тем не менее Зощенко попал под каток истории (для наказания нужно было звучное имя, вот и выбрали Зощенко). Его пинали ногами и власть, и коллеги. Он обратился за помощью к Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Я никогда не был антисоветским человеком…» И в конце письма: «Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас».

Спасала мужа и жена Вера Зощенко, обратившаяся с письмом к вождю: «…Он всегда думал, что своим трудом приносит пользу и радость советскому народу, что не с злорадством и злопыхательством изображал он темные стороны нашей жизни, а с единственной целью – обличить, заклеймить и исправить их…»

Письма к Сталину не помогли. Возможно, что он даже их и не прочел. Зощенко перестали печатать. Перекрыли ему кислород. «Мне теперь никто не звонит, – говорил Зощенко Леониду Утесову, – а когда я встречаю знакомых на улице, некоторые из них, проходя мимо меня, разглядывают вывески на Невском так внимательно, будто видят их впервые».

После смерти Сталина Михаилу Зощенко стало чуть легче, но только чуть. В начале 1958 года он писал Корнею Чуковскому: «С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием…» И с горьким вздохом о себе: «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации…»

22 июля 1958 года Михаил Зощенко умер, не дожив всего лишь неделю до 63 лет. «Гражданскую панихиду провели на рысях. Союзное начальство «сдрейфило» – как выразился писатель Пантелеев. Хоронили Михаила Михайлович в Сестрорецке. Хлопотали о Литературных Мостках – не разрешили. Короче, сгубили классика русской литературы. Не поставили к стенке, но убили иным способом.

Из письма Виктора Ардова Вере Зощенко: «Последний год жизни Михаила Михайловича был очень страшным… было ясно, что он уходит от нас, уходит быстро и непоправимо. Система мелких уколов и мелких подлостей… травмировали его чуть не ежедневно. Ему не давали забыть, что с ним произошло. И даже у открытого гроба трусливый перестраховщик А. Прокофьев позволил себе какие-то реплики, свидетельствующие о том, как он и мертвого Зощенко боится как человека, из-за которого могут возникнуть царапины на его карьере литературного чиновника. Это срам…»

Но бог с ними, с чиновниками, они были, есть и будут – и неизменно отвратительные. Хватит о печальном. Лучше

вспомним отдельные штрихи из жизни Зощенко. «В XIX веке я родился, – писал он в автобиографии. – Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням. Должно быть, поэтому я юморист».

«Отец мой художник, мать – актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зощенки. Например, Егор Зощенко – дамский портной, в Мелитополе – акушер и гинеколог Зощенко. Так заявляю: тем я вовсе даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю. Из-за них, скажу прямо, мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут. У меня уж тетка одна с Украины приехала…» («О себе, об идеологии и еще кое о чем»).

И далее: «Профессий у меня было очень много… Наиболее интересные: 1. Студент Петроградского университета. 2. Комендант почты и телеграфа в Петрограде (при Керенском). 3. Инспектор по кролиководству и куроводству. 4. Агент уголовного розыска. 5. Постовой милиционер. 6. Тормозной кондуктор. 7. Сапожник. 8. Конторщик…»

Может быть, это и смешно, но это было на самом деле. Как и то, что Зощенко храбро сражался в Первую мировую войну и удостоен боевых наград. Но этот факт Зощенко не выпячивал, а, наоборот, он сознательно дегероизировал свою жизнь и невольно как бы усмехался над ней: «Арестован – 6 раз, к смерти приговорен – 1, ранен – 3 раза, самоубийством кончал – 2 раза, били меня – 3 раза. Все это происходило не из авантюризма, а «просто так» – не везло…»

Как выглядел Зощенко? «Когда я узнал, что он родом полтавец, – вспоминал Корней Чуковский, – я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах…»

Словом, он был «приятной наружности», как сказала бы героиня его рассказов. Плюс неотразимая магия популярности. Женщины добивались встреч с ним, писали ему восторженные письма. Одной из пылких вздыхательниц он однажды сказал: «Вы не первая совершаете эту ошибку. Должно быть, я действительно похож на писателя Зощенко. Но я не Зощенко, я – Бондаревич».

Но, конечно, возникает вопрос, была ли у Зощенко любовь или муза? Любовь была… была жена… Была ли она музой? Ответ затруднителен.

В один прекрасный день (опять же в банальной стилистике героев Зощенко) будущий писатель увидел очаровательное создание, юную суфражистку, сестру милосердия Веру Кербиц-Кербицкую. И любовь вошла в сердце Зощенко, как заноза. Сам писатель нашел другое сравнение своей возлюбленной. «Я

влюблен в солнечный зайчик и в Вас». 22 июля 1920 года Вера Кербиц и Михаил Зощенко заявили «о добровольном вступлении в брак и отсутствии законных препятствий к нему». «Сбылась моя давнишняя детская мечта: я – жена писателя», – записала в своем дневнике Вера.

Однако период романтической любви прошел и уступил место занудному быту. И сразу вспоминается рассказ Зощенко «Жених»: «На днях женился Егор Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще, повезло человеку…»

Повезло ли Зощенко в личной жизни? Не очень. «Солнечный зайчик» в их отношениях вскоре исчез. В воспоминаниях Вера Владимировна отмечает: «У него был сложный и капризный характер. Он то, что в общежитии называют «тяжелый человек». Он часто бывал угрюмым, необщительным, замкнутым…» Ему не нравился мир, в котором он жил, он отвергал царящую кругом пошлость и в своих рассказах едко ее высмеивал.

Обратимся еще раз к воспоминаниям жены. «Я часто его спрашивала: «Ну кого ты больше всего любишь на свете? И жду ответа: «Тебя, тебя, тебя…» А он – со всею серьезностью: «Я больше всего люблю мою литературу…» Он, бывало, лежит, ничего не делает. Я ему: «Ну чего ты лежишь, работал бы». – «Я работаю». – «Ну как ты работаешь, ведь ты лежишь, ничего не делаешь…» – «Я думаю», – отвечает он».

На склоне лет Вера Владимировна подвела итог: «И как я прожила? Только женой «знаменитого писателя»… Только женой…» А она мечтала быть писательницей и актрисой. И все же она любила Зощенко и в годы гонений защищала его, бросаясь, как тигрица, на его врагов. Писала в защиту мужа письма к самому Сталину.

Если возвращаться к творчеству Зощенко, то неверно думать, что он только юморист и сатирик. Нет, он был еще и философом и увлекался социальной педагогикой, достаточно прочитать «Возвращенную молодость» и «Голубую книгу». Его друг Евгений Шварц писал в своем дневнике о Зощенко: «В его рассуждениях о жизни начисто отсутствовало чувство юмора. В них больше от болезненной стороны его существа, от постоянной борьбы с бессонницей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен».

Это уже другой Зощенко, как бы обратная сторона Луны, писатель, спускающийся в «сырой подвал подсознательного». Ну, а уж когда вышло постановление ЦК партии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», то тут жизнь Михаила Зощенко и вовсе

подкосилась. Он был обречен на гибель. Лидия Чуковская записала в августе 1955 года свои впечатления о писателе: «Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное – у него нет возраста, он – тень самого себя, а у теней возраста не бывает… Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный – предсмертный…»

Все это Лидия Чуковская рассказала Анне Ахматовой, и та всплеснула руками: «Бедный Мишенька!..»

Жизнь раздавила Зощенко, а точнее, не жизнь, а власть. Все к одному – и выбранная женщина оказалась совсем не той, какая была ему нужна. Загубленный талант! И исчезнувший солнечный зайчик!.. И остались только «Страдания молодого Вертера» (рассказ Зощенко, 1933 год):

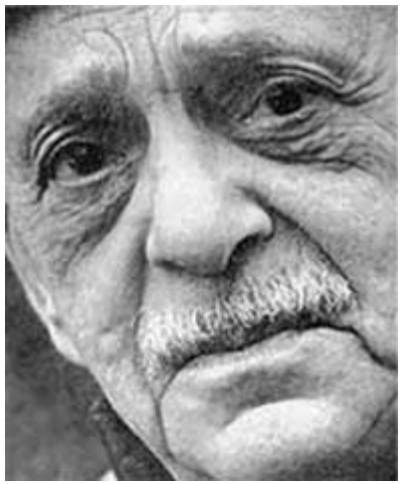
«Рисуется замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости…»

Где этот рисунок? В нежных и воспаленных грезах и мечтаниях? А так – «лежит, знаете, на полу скучный. И кровь кругом».

Вы догадались? Это цитата из рассказа Михаила Зощенко.

«И кровь кругом» – это ведь про наше сегодняшнее газово-нефтяное время. Выходит, Михаил Михайлович никак не устаревает. В сумерках эпохи он четко видел суть.

Поэт французской школы. Павел Антокольский (1896–1978)



Есть поэты, которые остаются молодыми и в старости. И их отчаянное ребячество удивительно уживается с горькой и печальной мудростью. Именно таким был Павел Антокольский.

Павел Григорьевич Антокольский родился 19 июня (1 июля) 1896 года в Санкт-Петербурге. Национальность в справочниках отсутствует и лишь в Био-библиографическом словаре русских писателей XX века (1927) было написано, что Антокольский родился в семье помощника присяжного поверенного еврейского происхождения. Долгие годы в СССР на еврейство было наложено табу: они есть и, вроде бы, их нет. Ярослав Смеляков посвятил Антокольскому строки:

Сам я знаю, что горечь
есть в улыбке моей.
Здравствуй, Павел Григорьевич,
древнерусский еврей…

«Древнерусский» – потому что был продолжателем классической русской литературы, ну, а еврейство (что тут поделаешь: таким родился!) ему припомнили в годы гонения на космополитов: в «безродные космополиты» зачисляли в основном евреев. И ату их!..

Павел Антокольский состоял в родне со знаменитым скульптором Марком Антокольским. Однажды император

Александр II пожелал посетить мастерскую творца. Пришел, взглянул на минуту, спросил:

– Какого вероисповедания?

– Еврей, – ответил Марк Антокольский.

– Откуда?

– Из Вильны, Ваше Величество.

– По месту и кличка, – презрительно сказал император и вышел из мастерской.

Немудрено, что Марк Антокольский покинул царскую Россию. Какая-то миллионерша подарила ему виллу в Ницце. Ничего подобного в жизни Павла Антокольского не было.

С детства он увлекался рисованием, позже оформлял даже некоторые свои книги. Семья переехала в Москву в 1904 году. После окончания гимназии Антокольский посещал лекции в Народном университете имени Шанявского, затем поступил на юридический факультет Московского университета, но его не закончил. Пылкий еврейский юноша отбросил юриспруденцию и бросился в пучину охватившей его страсти – в театр. Играл в любительских труппах, сочинял пьесы и немало лет был связан с театром Евгения Вахтангова. Параллельно шло и другое увлечение – литературой. В «кафе поэтов» на Тверской в 1920 году познакомился с Валерием Брюсовым, и тот благословил молодого поэта и напечатал несколько его стихотворений в альманахе «Художественное слово». Затем последовали публикации в журналах «Театр и студия», «Красная новь», «Ковш», «Искусство Трудящимся», «Стык» и т. д. Антокольский переработал для театра «Разбойников» Шиллера и «Марион Делорм» Гюго. Кумиром Антокольского был Блок. Близкими по духу к себе считал Шекспира, Гюго, Уэллса, Брюсова, Пастернака и Маяковского.

В 1923 и 1928 годах Антокольский побывал в Швеции, Германии и Франции и «отравился» Западом. Европа и ее богатейшая история стали надолго темами Антокольского.

В 1925 году появилось его знаменитое стихотворение «Санкюлот»:

Мать моя – колдунья или шлюха,
А отец – какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как юбку разорвав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, как я живу…

и далее картинка из французской революции:

Был в Париже голод. По-над глубью
Узких улиц мчался перекат
Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была – что надо!
О свободе в Якобинском клубе
Распинался бледный адвокат.
Я пришел к нему, сказал: «Довольно,
Сударь! Равенство полно красы.
Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
Так пускай торчат хоть в беспорядке
Головы на пиках! А еще —
Не читайте, сударь, по тетрадке.
Куй, пока железо горячо!»

Ну, и так далее. «Смерть была как песня. Жизнь – пустяк». Этот громкий и шокирующий «Санкюлот» Антокольского вызвал многочисленные пародии. Одна из них – Александра Архангельского, – стала такой же знаменитой, как само стихотворение Антокольского:

Мать меня рожала туго.
Дождь скулил, и град полосовал.
Гром гремел. Справляла шабаш вьюга.
Жуть была что надо. Завывал
Хор мегер, горгон, эриний, фурий,
Всех стихий полночный персимфанс,
Лысых ведьм контрданс на партитуре…

Горгоны вставлены не случайно – у Антокольского была драматическая поэма «Робеспьер и Горгона» (1928). И далее в пародии обращение лирического героя к некоему консультанту:

– Жизнь моя – комедия и драма,
Рампы свет и пукля парика.
Доннерветтер! Отвечайте прямо.
Не валяйте, сударь, дурака!
Что там рассусоливать и мямлить,
Извиняться за ночной приход!

Перед вами Гулливер и Гамлет,
Сударь, перед вами Дон-Кихот!..

Консультант предложил герою Антокольскому стать поэтом, «немедля за стихи», и он внял этому предложенью:

Прошлое! Насмарку! и на слом!
Родовыми схватками таланта
Я взыграл за письменным столом.
И пошла писать… Стихи – пустяк.
Скачка рифм через барьер помарок.
Лихорадка слов. Свечи огарок.
Строк шеренги под шрапнелью клякс.
Как писал я! Как ломались перья!
Как меня во весь карьер несло!..

Позднее появилась еще одна пародия на эту же самую тему – «Бурбоны из Сорбонны», на этот раз ее автор Сергей Васильев, взирая на героев Антокольского, был беспощадно зол:

Здесь побывали все под сводом книжной арки:
Аркебузы, лучники прошли.
Вийоны. Дон-Кихоты. Тьеры. Жанны д'Арки.
В жабо. В ботфортах. В пудре. И в пыли…

И конечные строки, звучащие, как приговор, попахивающий доносом:

Здесь пахло аглицким, немецким и французским.
Здесь, кто хотел, блудил и ночевал.
Здесь только мало пахло духом русским,
Поскольку Поль де Антоколь не пожелал.

В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев не мог обойти стороной Павла Антокольского и вывел его на своих страницах под образом Арлекина все с теми же экстравагантными фигурами мифологии и истории, которые «блудили и ночевали». «Действующие лица» (1932) – так называлась одна из книг Антокольского. Действительно, разных лиц в поэзии Антокольского было множество, и все преимущественно западные, и опять же признание: «Мой сверстник, мой сон, мой

Париж». Так что было за что бить Антокольского в годы борьбы с космополитизмом. Лев Озеров вспоминал:

«Природный дар красноречия. Развитый общением, трибуной, частым чтением стихов. Собеседованиями на темы поэзии и театра. Еще более самим театром. Голос громкий, жест, за которым неизменно – «оратор римский говорил». Желание быть выше своего роста выбрасывало руку вперед, вернее, кулак ввысь, как можно выше. В нем жили Барбье и Гюго. Еще глубже в историю – Вийон, якобинец, санкюлот. Ну да, санкюлот. Я слышал: 40-летий Антокольский выкрикивал, как с подмостков вахтанговской сцены:

Мать моя – колдунья или шлюха,
А отец – какой-то старый граф…

Это могло быть в институтской аудитории, в рабочем клубе, в тесной комнате. А он вещал и жестикулировал, как в конвенте.

Не знаю, обучался ли он искусству риторики. Но владел он этим исчезающим искусством красноречия с завидным умением. В нем было развито импровизаторское начало. Идет к трибуне, сияя карими пронзительными глазами, под которыми всегда были темно-фиолетовые круги бессонницы и усталости, устраняемые изрядными порциями кофе или водки. Он вспыхивал часто и охотно. По поводу и без повода. Он редко не был возбужден. В состоянии покоя и благодушия его застать было невозможно. Порой это напоминало театр. Чаще всего театр. Он играл принцессу Турандот своей жизни…»

Друзья! Мы живем на зеленой земле.
Пируем в ночах. Истлеваем в золе.
Неситесь, планеты, неситесь,
Неситесь!
Ничем не насытясь,
Мы сгинем во мгле.

Павел Антокольский и несся по жизни, никак ею не насытясь. Он много писал и много издавал. Много переводил. Хрестоматийными стали его переводы Чиковани, Тициана Табидзе, Миколы Бажана, Первомайского, Чаренца, Самеда Вургуна. В 1938 году издал книгу «Пушкинский год». В войне участвовал военным корреспондентом. В 1942 году на фронте погиб его единственный сын Владимир. Ему посвятил поэт поэму «Сын» (1943):

Я не знаю, будет ли свиданье,
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы – песчинки в мирозданье.
Больше мы не встретимся с тобой…

Помимо стихов, Антокольский писал статьи, рассказы, эссе. В «Сказках времени» (1971) он писал о Пушкине и Гоголе, Блоке и Брюсове, Вахтангове и Цветаевой… Арсению Тарковскому Антокольский рассказывал, как в Париже Марина Цветаева подарила ему свою книгу с надписью из Рильке: «Прошлое еще предстоит». «Всю жизнь ломаю голову, – признавался Антокольский. – Не могу понять, что это значит».

Ломать голову надо было и в настоящем: как жить? И следует отметить, что Антокольский принадлежал к тем немногим писателям, кто ухитрялся писать хорошо и в плохое время, стараясь соблюдать человеческую этику, насколько это было возможно. Он мог себе позволить на предложение подписать какую-то дурнопахнущую бумагу крикнуть в телефонную трубку: «Антокольский умер!»

Белла Ахмадулина вспоминает: «В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу тебя спросить». – «Спрашивайте, Павел Григорьевич!» – «Я хочу выйти из партии». – «Из какой?» – «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше». – «Павел Григорьевич, умоляю, не делайте этого, я тоже устала – за меньшее время».

У Антокольского и Ахмадулиной была трогательнейшая дружба, и она писала ему в стихах:

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, все, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Конечно, не Казанова. Но все же чуть-чуть от Казановы в нем было. Свою жену, Зою Бажанову, артистку театра Вахтангова, он любил. Она была хозяйкой его очага, источником радушия и света. Нежно заботилась о нем. Когда однажды ее попросили уговорить мужа снять подпись под одним обращением к властям под угрозой неподключения строящегося лифта, она решительно сказала: «Этого не будет: подпись останется. А без лифта как-нибудь проживем». Когда она умерла, Антокольский написал щемящую поэму «Зоя Бажанова», где были и такие строки:

Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал, и сгорблен.
И все же выдержал удар
И не задохся в душной скорби.

Как-то Антокольский с Озеровым отправились на поезде в Ленинград. Дочь Наталия слезно просила Озерова последить за отцом и вовремя давать ему назначенные лекарства. «Какие лекарства! – воскликнул Антокольский, достал коньяк, разлил по стаканам: – Лучше думай о жизни! Здесь в соседнем купе недурные девушки». В гостинице утром Антокольский сидел на кровати бледный и корил себя: «Сорвался с катушек… Что я делаю?!..»

Он жил. Взахлеб. На полную катушку. Был легким, стремительным и богемным: бабочка вместо галстука, трубка вместо сигареты. Оглядываясь на прошлое, на сталинские времена, писал:

Мы все, лауреаты премий
Врученные в честь его,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво;

Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда;

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей…

В палачи вышли другие. Антокольский был чист. Его интересовала только литература. Он был мостом между старшим и молодым поколением русских поэтов. Знал и слышал Маяковского и Есенина, дружил с Тихоновым и Заболоцким, стал учителем для Михаила Луконина, Семена Гудзенко, Александра Межирова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. А до них ввел в литературу Симонова, Алигер, Матусовского и Долматовского. Он был добр и независтлив, что не так уж часто бывает в литературном цеху.

В дневнике Юрия Нагибина, в «Мещерских записках» можно

прочесть следующее: «Кто-то сказал, что Антокольский при Симонове – это умный еврей при губернаторе. Я считаю, что это, скорее, умный губернатор при еврее».

Я, современник стольких катастроф,
Жил-поживал, а в общем жив-здоров… —

писал Антокольский. Но это «жив-здоров» – все до поры до времени. 9 октября 1978 года Павел Григорьевич Антокольский умер, в возрасте 82 лет. Нагибин отметил в своем дневнике:

«Он давно уже был очень плох: мозговые явления, чудовищная эмфизема, пробитое инфарктом, изношенное сердце, бездействующий желудок – в нем не осталось ни одной здоровой точки. Но он знал часы просвета, что-то читал, даже какую-то работу делал – разбирал рукописи и т. п. Само умирание не было особенно долгим, но мучительным… Он умолял врачей дать ему болеутоляющее или сильное снотворное. «Зачем вы мучаете несчастного старика? Как вам не совестно?» – кричал Павел Григорьевич. Но те хранили верность «врачебной этике»…

Антокольский не дотянул трех месяцев до 83 лет. Вот что значат злоупотребления: табак, водка, бабы. Работа тоже укорачивает век, когда она взахлеб. А Павел Григорьевич все делал на пределе. А если серьезно: он прожил на редкость счастливую жизнь – без тюрьмы, без сумы, в известности, пришедшей рано, в единодушном признании (с одной маленькой осечкой в период космополитизма), во всеобщей любви; из двух несчастий, выпавших ему на долю: гибель сына и смерть Зои – он извлек свои лучшие стихи, позволившие ему быстро успокоиться. Поверхностный, талантливый, ничем всерьез неомраченный, послушный властям без малейшего насилия над своей сутью, с жадным вкусом к жизни, людям, книгам, неразборчивый и отходчивый, он являл в наше мрачное и тягостное время некое праздничное чудо. К его детской постельке явились все феи – в полном составе…»

Ну, вот и все. Юрий Нагибин добавил другой краски к портрету Павла Антокольского. Как говорится, свет в тени.

У Антокольского есть стихотворение «Иероним Босх», к месту привести строчки оттуда:

Он вглядывался в шабаш беспримерный
На черных рынках пошлости всемирной.
Над Рейном, и над Темзой, и над Марной
Он видел смерть во всей ее красе…

Павел Григорьевич Антокольский. «Я завещаю правнукам записки». Главное, чтобы правнуки их прочли.

Мудрый сказочник. Евгений Шварц (1896–1958)

Автор «Голого короля», «Тени», «Обыкновенного чуда», «Золушки» и «Дракона» родился 9 (21) октября 1896 года в Казани. Он – это блистательный Евгений Львович Шварц.

Сегодня Шварц – общепризнанный классик. Его пьесы-сказки идут по всему миру – в Германии, США, Израиле, Польше и в других странах. Когда Московский молодежный театр поставил «Золушку», а Театриум на Серпуховке – «Дракона», зрители шумно приветствовали эти премьеры: назидательно, весело и вместе с тем страшно, – и в этом прелесть всех произведений Шварца. Сегодня Шварц – это пропуск на сцену с поклонами и восхищением. Но при жизни писателя и драматурга, увы, все было не так.

Высокий, красивый, с «римским профилем», с печальными глазами на удлиненном «блоковском» лице, Шварц пытался сделать карьеру героя-любовника в провинциальном театре. Но вскоре понял, что лучше писать для сцены, чем лицедействовать самому. Однако путь к пьесам лежал через детские журналы «Чиж» и «Еж», где Шварц прошел хорошую школу в компании с Введенским, Олейниковым и Хармсом. И первая книга Евгения Шварца, «Рассказ о старой скрипке», вышедшая в 1925 году, была адресована детям. А далее появились на свет пьесы и сказки, переделки-переложения сюжетов Андерсена и Перро: «Принцесса и свинопас», «Голый король», «Красная шапочка», «Золушка», «Снежная королева», «Тень».

Сюжеты вроде бы были похожи, но акценты были совершенно

другими. Недаром в качестве эпиграфа к своей «Тени» Шварц привел слова Ханса Кристиана Андерсена: «Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет».

Андерсеновские сюжеты у Шварца вышли более жесткими, более реалистичными, более приближенными к реальной жизни. Старые-престарые герои – Золушка, Снежная Королева, Баба Яга, Капризная принцесса, Глупый король, Злой советник обрели новые черты характера и легко вписались в контекст современной эпохи. Причем Евгений Львович одел их в прекрасные стилистические одежды, и оттого многие реплики вошли в разговорный язык.

«Детей надо баловать, – говорит Атаманша в «Снежной королеве», – тогда из них вырастают настоящие разбойники». «Вы думаете, это так просто – любить людей», – вздыхает Ланцелот. «Единственный способ избавить от драконов, – это иметь своего собственного дракона», – уверяет Шарлемань («Дракон»). «Посмотрите на всё сквозь пальцы, – советует доктор, осматривая Ученого («Тень»), – и махните на все рукой. Еще раз».

«Дракон» – это вершина творческого достижения Евгения Шварца. Он закончил пьесу в 1944 году, работал кропотливо, тщательно, создал аж три варианта. Герой – странствующий рыцарь Ланцелот – побеждает ужасного Дракона, а потом спустя годы возвращается и видит одни осколки от былой победы и печально говорит: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона». Ольга Берггольц позднее писала:

А вас ли уж не драконили
разные господа
разными беззакониями
без смысла и без суда.
Но в самые тяжелые годы
от сказочника-поэта
мы столько слышали свободы,
сколько видели света.

А уж как драконили «Дракона»! Пьеса была принята к постановке в Ленинградском театре комедии, и ее повезли на гастроли в Москву. 4 августа 1944 года состоялся первый спектакль – и «Дракона» тут же запретили. Три головы Дракона должны были обозначать злейших врагов – Гитлера, Геббельса и Риббентропа. А зритель увидел в Драконе Сталина! Шварц так ярко выписал образ вождя-диктатора (Сталин, Гитлер – какая

разница!), что зрители, узнав державные повадки, задрожали от страха. Недаром впоследствии Шварц признавался дочери: «Надо же! Писал про Гитлера, а получилось про нас».

В 1962 году «Дракон» был восстановлен и снова с треском снят. На этот раз ассоциации возникли с очередным вождем-правителем, с Хрущевым. Дракон – это грубая и жесткая тоталитарная власть. Никакой свободы народу. Права человека? Какая чушь! Только полное подчинение власти и восхваление вождя! Вот почему «Дракона» классифицировали как «вредную сказку». Вредную и опасную. Шварц был в отчаянии и шутил с друзьями: «А не написать ли мне пьесу про Ивана Грозного под названием «Дядя Ваня»?»

Такие же осложнения и неприятности были у писателя с пьесой «Голый король», она тоже подрывала основы власти. И в сказке у Шварца, и в жизни реальной власть оказалась одинаковой: чванливой, тупой и никчемной, но постоянно разбухающей от своего величия.

В декабре 1956 года Шварц посетил выставку Пабло Пикассо и испытал изумление: «Он делает то, что хочет». И страшно позавидовал независимости художника от власти, его свободе.

«Писать свободно» – это была давняя мечта Евгения Шварца. Свободно и легко. Но именно этого не получалось, и он горько сетовал в дневнике, что ему «не пишется», что «работа не клеится». Другой на его месте почил бы на лаврах (сколько сделано!), а он терзался и корил себя нещадно. Может быть, поэтому он решил разговаривать сам с собой и вести дневник: «… Решил во что бы то ни стало писать нечто ни для чего и ни для кого. Научиться рассказывать всё. Чтобы избавиться от попыток даже литературной отделки…»

Писал Шварц для себя, а оказалось – для всех. После смерти Евгения Львовича дневник был издан, сначала в усеченном виде, а в 1990 году в полном под названием «Живу беспокойно…»

В дневник вошла так называемая «Телефонная книга», где воспоминания о людях следуют в том порядке, в каком Шварц вносил их в свою алфавитную телефонную книгу. Мемуарные заметки (их можно назвать так) удивительны: это не сведение счетов со своими недругами и врагами, это не горькие истины друзьям, это скорее всего запечатленная эпоха, то «вытоптанное поле», в котором пришлось жить современникам писателя в 20–50-х годах. В дневнике Шварц приучал самого себя, в отличие от многих своих современников, к «умению смотреть фактам в глаза», не уходить от них, не смотреть под ноги, а смотреть прямо в лицо. Учиться видеть правду.

Примечательно, что в записях Шварца нет слова «арест» или

«репрессии», вместо этого иносказания – «вдруг исчез». В целом Дневник получился то печальным, то смешным, то грустным, то ироничным, в зависимости от событий и персонажей в нем. А вообще Шварц больше судил себя, чем других.

В конце августа 1957 года, в предчувствии своего ухода из жизни, Евгений Шварц написал: «… Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал… Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею права, так как идет не обвинение, а подсчет. Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни в чем я не могу успокоиться и порадоваться… Дал ли я кому-нибудь счастья? Не поймешь. Я отдавал себя. Как будто ничего не требуя, целиком, но этим самым связывал и требовал… Дал ли я кому-нибудь счастья? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят… Определить, талантлив человек или нет, невозможно, – за это, может быть, мне кое-что и простилось бы. Или учлось бы. И вот я считаю и пересчитываю – и не знаю, какой итог».

Мало кто из людей способен на такую жесткую самооценку.

Умирал Евгений Львович Шварц тяжело. Пытался переиграть судьбу и подписался на 30-томное собрание сочинений Диккенса, но умер задолго до выхода последнего тома – 15 января 1958 года в Ленинграде, в возрасте 61 года.

Напрасно Шварц корил себя, что сделал не все, что хотел. Он сделал много. Его персонажи, как сказочные Фигаро, тоже поучаствовали в сломе советской Бастилии. Но абсурд жизни таков, что вместо одних драконов появились другие, потирающие руки, ибо главный Дракон сказал Ланцелоту сущую правду: «… Оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души…» Они и сегодня, эти дырявые души, припадают к сапогам Сталина, раболепно извиваясь в любви к тирану. Человеческая глупость и зло неистребимы, и это прекрасно понимал волшебник Евгений Шварц. Лично он не питал никаких иллюзий.

В его замечательном сказочно-реалистическом «Драконе» сын бургомистра Генрих говорит: «Меня так учили!» На что тут же последовала мгновенная реакция: «Да, учили! Но почему ты, мерзавец, был первым учеником?!»

Всю жизнь Евгений Львович Шварц страдал от «первых учеников». Теперь настала наша очередь.

Комсомолец и маркиза. Александр Безыменский (1898–1973)

Золотые перья! Золотые перья!.. Что вы, батенька, раскудахтались о них. Перья бывают разные: золотые, позолоченные, стальные, несгибаемые… а еще бойкие, продажные, услужливые… Почему не поговорить о последних? И есть ведь носители таких. Один из них – Александр Безыменский.

Александр Ильич Безыменский – некогда большой и звонкий комсомольский поэт. Имя его гремело. Но кто сегодня его помнит? Отгремела слава боевая. Лично я его помню, и он даже вызывает во мне некую симпатию. Нет, не из-за стихов (они мне чужды), а из-за… фамилии. Безыменский-Безелянский. Что-то созвучное и однотипное. Не случайно, до войны в нашу квартиру постоянно звонили и спрашивали: «Александр Ильич дома? Можно с ним поговорить?..» Мама моя была недовольна: все путают и путают!..

Да, и меня в мое краткое комсомольское прошлое (грешен, каюсь: был в этом самом комсомоле) частенько переименовывали в Безыменского. Еще бы, у всех на слуху была его песня: «Вперед, заре навстречу, / Товарищи в борьбе! Штыками и картечью / Проложим путь себе…» Ну, а меня, Безелянского, увы, не знали: статей не писал, книг не издавал. «Штыками и картечью» путь себе не прокладывал. Был тихим и интеллигентным мальчиком.

Но хватит о себе, давайте об Александре Безыменском. Поэт, который своим кумиром считал Маяковского и даже писал под него, а Владимир Владимирович не оценил и припечатал:

Ну, а что вот Безыменский?!

Так… ничего…
морковный кофе.

То есть суррогат, а не поэт. Обидно было Александру Ильичу: ведь он так старался понравиться, – Маяковскому? – нет, подымай выше: самой советской власти!

Ну, а теперь немного биографии. Александр Безыменский родился 6 (18) января 1898 года в Житомире в семье местечкового ремесленника, кочевавшего по просторам Российской империи в поисках заработка. В 6 лет его перевезли во Владимир, где он в 1916 году окончил гимназию. Способный еврейский мальчик, но с завихрениями. Еще в гимназии вступил в социалистический кружок, а в Киеве, будучи студентом Киевского коммерческого института, начал работать в подпольной организации РСДРП. Быть коммерсантом – привычно и скучно, а быть революционером-большевиком – куда интересней и веселее. В автобиографических стихах Безыменский писал:

Помню, я вырос, а мама рыдала:
«Мальчик за книжкою почти не спал…»
Но перестала, узнав, что читал я
Трезвую книгу: «Капитал»…

…Мама вновь: молоко, яички…
Только буркнет мельком иногда:
«Знаешь, сын? Я сама большевичка.
Коммунисткой же быть… никогда?!»

Стихи, конечно, не ахти какие, но искренние. А рифма «яички-большевичка» – вообще прикольная!

Итак, еврейский юноша из Житомира читал «Капитал» и прочую марксистскую литературу и уверовал, что мир можно переделать, сделать его лучше и справедливее, но для этого надо свернуть шею всем капиталистам и буржуям, все у них отобрать, поделить между рабочими и… Вот это «и» было самым сказочным и заманчивым.

Безыменский – член РСДРП с 1916 года. В 17-м был мобилизован в армию и оказался под Петроградом и получил назначение на пост военного комиссара на станцию Старый Петергоф. Затем Владимир, где он организует местный Союз рабочей и крестьянской молодежи. Делегат первого съезда РКСМ, ну, а далее неизменный комсомолец: «Я буду сед, но комсомольцем останусь, юный, навсегда». И действительно,

остался, хотя и вступил в партию и воспевал ее в знаменитом стихотворении «Партбилет». Хорошо, что не стал партийным функционером, а занялся исключительно поэзией – партийной и комсомольской.

Безыменский входил в состав многих редколлегий, сам организовал журнал «Вестник Интернационала», был одним из создателей печально знаменитого журнала «На посту», который громил писателей-недобитков. Много печатал стихов в «Комсомольской правде» и в других изданиях и стал автором многочисленных книг. Первая – «Юный пролетарий» – вышла во Владимире в 1920 году. Одна из книг называлась «По рельсам жизни». Рельсами были указания партии и правительства. Встал на рельсы – и катись! Немецкий литературовед Вольфганг Казак в своем «Лексиконе русских писателей XX века» отметил, что Безыменский «писал тенденциозные стихи на злобу дня, всегда отвечавшие партийной линии и наполненные радостным оптимизмом».

К сборнику «Как пахнет жизнь» (1924) написал предисловие сам вождь – Лев Троцкий: «Из всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции. Октябревич».

Ильич. И Октябревич. Куда советее!.. Но когда Троцкого записали во «враги», его отзыв темным пятном лег на биографию поэта. Но он старался смыть его своим ярым верноподданничеством: «Сначала я член партии, а стихотворец потом»: «Если не класс – то весь я не нужен! / Если не партия – к черту стихи!»; «Только тот на нашем пути, / Кто умеет за каждой мелочью / Революцию мировую найти!»; «Партия! РКСМ!.. / В них каждый тезис корявый / Стоит десятков поэм».

Как старался Александр Ильич! Как служил! Как верил! Песни, положенные на его слова – «Молодая гвардия» и «Краснофлотский марш», пела в 20–30-е годы вся страна: «Вперед же по солнечным реям / На фабрики, шахты, суда, / По океанам и странам развеем / Мы алое знамя труда».

А как вам нравится «Песня у станка?» «С грязью каверзной воюя, / Песню новую спою я. / Дорогой станочек мой, /Не хочу идти домой». Так бы до ночи и фрезеровал бы, шлифовал или точил!..

Пародист Александр Архангельский тонко уловил эту производственную любовь Безыменского и язвительно написал:

Сколько в республике нашей чудес!
Сеялки, веялки, загсы, косилки.

ГИХЛ, МТП, МКХ, МТС.
Тысячи книг – в переплетах и без,
Фабрики-кухни, тарелки и вилки.
Сотни поэм и километры строк…

Во времена НЭПа Безыменский кипел и грозил, конечно:

Пусть катается нэпман на Форде,
Проживает в десятках квартир…
Будет день: мы предъявим ордер
Не на шапку – на мир.

Мы – это партия, массы, что стоят над личностью и отдельным человеком, и прочь всякие там «душевные крохи»: «чувства-мещане», «чувства-буржуи», «чувства-меньшевики». Нужны не чувства, а дела, размах, кипение, строительство. Главное, «строитель, боец, большевик» – это лицо эпохи. Поэт-откликатель, поэт-эхо. Как говорила о Безыменском Вера Инбер: «Шел по линии простого противопоставления: раньше нас радовало что-то, а сейчас – все это, раньше нас радовали «девичьи губы», а сейчас «дымящиеся трубы».

И еще один идол Безыменского – ВЧК. Чекисты с якобы чистыми руками. Он написал целую поэму о Дзержинском – «Феликс»:

Сынуля, хочешь знать, чем был товарищ Феликс?
Три буквы ты возьми и рядом их поставь;
В них хлещет кровь и дождь, в них тьма и море света.
Ну что же? Такова стезя большевика…
Возьми, скорей возьми: вон ту возьми и эту…
Три буквы стали в ряд…

И что это за волшебные буквы? ВЧК. Три буквы, от которых пробегала дрожь по спине и леденели руки, да и от позднейших модификаций тоже – НКВД, МВД, КГБ, ФСБ… Да, и сам Безыменский трепетал, когда в 1937 году разгромили руководящее ядро комсомола и вполне могла дойти очередь и до него. Безыменского исключили из партии, и ему пришлось просить отчаянно помощи и защиты вождя, но Сталин на его письма не ответил. Безыменского, правда, не арестовали, более того, восстановили в партии. Но опалу так и не сняли с него. В 1939 году наградили орденами и медалями большую группу

советских писателей, так фамилию Безыменского Сталин лично вычеркнул из наградного списка.

Конечно, Безыменскому было обидно, ведь он создал даже особый жанр – стихотворные речи на съезде – были ли это съезды комсомола, Советов СССР или ударников колхозных полей, – Безыменский сочинял оды, гимны в стихах. В феврале 1937 года на торжественном заседании в Большом театре Безыменский выступил с юбилейной «Речью о Пушкине» (к 100-летию со дня смерти поэта). С такой концовкой в речи:

Да здравствует гений бессмертный ума!
И жизнь, о которой столетья мечтали!
Да здравствует Ленин! Да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Что это? Поэзия или политика? Или чистейшее верноподданничество на чистом сливочном масле лизоблюдства?..

До Большого театра на Первом съезде советских писателей была полемика между Бухариным, который сделал основной доклад о поэзии, и Безыменским, который резко ему оппонировал, отвергая бухаринское определение поэзии как «царства эмоций» и лихо нападая на классовых врагов в поэзии, в числе которых назвал Гумилева, Есенина, Клюева, Клычкова, Заболоцкого и других. Более того, Безыменский до того расхрабрился, что раскритиковал «ошибки» Маяковского («Морковный кофе» не давал покоя?)

Николай Бухарин спокойно ответил Безыменскому: что-де с ним «произошло то же, что и с Демьяном Бедным: не сумел переключиться на более сложные задачи, он стал элементарен, стал «стареть», и перед ним вплотную выросла опасность простого рифмованного перепева очередных лозунгов, с утерей изюминки творчества…»

Да, изюма не было. Но было страстное желание писать и восхвалять: «Ах, Комсомолия, мы почки твоих стволов, твоих ветвей…» В том же 1934 году вышла поэма Безыменского «Политотдельская свадьба», – что ни строка, то отпад: «Перо. Чернила. Лист бумаги. / Строка: «Обкому ВКП…» Об этой поэме Александр Твардовский записал в своем дневнике: «…длинно, многословно, фальшиво, барабанно… «деревня» лубочная, литературная, люди – немножко дурачки…»

В конце 20-х Безыменский написал пьесу «Выстрел», в которой заклеймил белое офицерство, пьеса шла во многих театрах страны, в том числе в Москве у Мейерхольда. А потом

неожиданный кульбит: автора обвинили в «мелкобуржуазности» и «антипартийности». Для Безыменского это стало ударом, одно дело, когда он критиковал «ахматовок» и «пильнячков», другое дело – когда его. Безыменский незамедлительно попросил защиты у Сталина, которого назвал в своем обращении «знатоком литературы». «Знаток» ответил и совсем не так, как ожидал Безыменский. Сталин написал: «…Читая эти произведения, неискушенному читателю может показаться, что не партия исправляет ошибки молодежи, а наоборот». А потом грянул 37-й, и Безыменский чудом уцелел от репрессий.

В годы войны Безыменский работал во фронтовых газетах, был «верным солдатом партии» на литературном фронте. Написал стихотворение «Я брал Париж», которое стало знаменитым.

Я брал Париж. Я. Сын стальной России.
Я – Красной Армии солдат.
Поля войны – свидетели прямые —
Перед веками это подтвердят.

Я брал Париж. И в этом нету чуда!
Его твердыни были мне сданы!
Я брал Париж издалека. Отсюда.
На всех фронтах родной моей страны…

…Я отворял парижские заставы
В боях за Днепр, за Яссы, Измаил.
Я в Монпарнас вторгался у Митавы,
Я в Пантеон из Жешува входил…

Ну, и т. д. В общем, Безыменский «брал Париж!» После войны Безыменский активно громил в стихах американский империализм и внутренних врагов, больше всех досталось от Безыменского Борису Пастернаку и его «Доктору Живаго». Лидия Чуковская записала в дневнике 1 ноября 1958 года: «И в Москве, и в Переделкино бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вечером на собрании гнуснее: Смирнов или Зелинский, Перцов, Безыменский, Трифонова или Ошанин?..»

Александр Безыменский всегда находился в крайностях: или пламенно любил (Советскую власть, Сталина, ВЧК-НКВД), или огненно ненавидел. И никаких середин!

Словом, жил на свете поэт и уверенно шагал в ногу с веком. Пытались так шагать Мандельштам и Пастернак, но у них не получилось. Не с веком, конечно, а строем вместе с советской

властью: ать-два… ать-два!.. Вот так прошагал Александр Безыменский с комсомольским значком на груди, дожив до естественной смерти. Он умер 20 июня 1973 года, в 75 лет. И дело тут не в верноподданничестве режиму (уничтожали и самых верных и преданных). Все решал случай. Просто Безыменскому выпал счастливый лотерейный билет и на нем не было начертанных слов «враг народа». Билетик был чистенький. Короче, «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо».

Стоп! Это пел Леонид Утесов, а кто сочинил слова этой прелестной песенки? Не поверите: Александр Безыменский. Да, он был способным человеком и умел крепко рифмовать.

Ну-ка, держитесь, мировые Детройты!
Ой, ты!
Мы перекроем вас дважды и трижды!
…Ишшь, ты!

А вот и замечательная эпиграмма на собратьев по перу:

Не было это,
А может, и было.
Жил-был Герасимов, жил-был Кириллов.

Ну, а «Маркизу» французского поэта Мизраки Безыменский перевел на русский остроумно и изящно:

– Алло-алло, Лука, сгорел наш замок!
Ах, до чего мне тяжело!
Я – вне себя.
Скажите прямо, как это все произошло.

И следует подробный отчет: «– Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, / Что разорил себя и вас, / Не вынес он подобного сюрприза / И застрелился в тот же час. / Упавши мертвым у печи, / Он опрокинул две свечи, / Попали свечи на ковер, / И запылал он, как костер, / Погода ветреной была – / Ваш замок выгорел дотла. / Огонь усадьбу всю спалил, / А с ней конюшню охватил. / Конюшня заперта была, / А в ней кобыла умерла. / А в остальном, прекрасная маркиза, / Все хорошо, все хорошо!»

Утесов выговаривал по-своему: каррощо!

Что хорошо и что плохо в творчестве Александра

Безыменского? Вопрос риторический. «Поэт страны Комсомолия» (так называлась книга о нем, вышедшая в 60-х годах) был монолитом, впаянным в советскую эпоху. Ни шага вправо, ни шага влево. И лишь взгляд исподтишка на ветреную маркизу. Эх, если бы не случилась эта «заварушка» в октябре 17-го года, кто знает, может быть, Александр Ильич стал бы салонным поэтом с некоторой долей иронии, как Агнивцев, к примеру? «Маркиза юная играла в саду с виконтом Сент-Альмер…» А так пришлось ему играть с советской властью без всякого права выигрыша.

Мышеловка для Мигеля. Михаил Кольцов (1898–1940)

В июне 1998 года отмечали 100-летний юбилей Михаила Кольцова. Корней Чуковский считал его первым журналистом своего времени. Я думаю, что он был лучшим журналистом не только 20–30-х годов, но и всего советского периода. Блистательное перо. Характер исследователя. Язвительный ум. Талантливейший организатор СМИ. Достаточно сказать, что Кольцов был одним из создателей журналов «Огонек», «Крокодил», «За рулем», «СССР на стройке», «Советское фото», «За рубежом». Он написал около 2000 газетно-журнальных материалов на актуальные темы внутренней и внешней политики.

Свое журналистское кредо Кольцов сформулировал так: «Все надо посмотреть, почувствовать, оценить и не ошибиться. Надо быть честным ухом и глазом своих читателей, не злоупотреблять их доверием и не утруждать их чепухой под видом важного и не упускать мелочи, определяющей собой крупное».

Все его публикации выходили остроумными, аргументированными и разящими. Вот как в 1924 году Кольцов писал о рождении нового советского гривенника взамен ушедшего совзнака: «Сгоните с лиц улыбки, я пришел с некрологом. Мрачные совработники, хмурые хозяйственники с беременными портфелями, веселые пролетарии и удрученные буржуа, коммунисты, беспартийные, честные и нечестные шкрабы (школьные работники. – *Ю. Б.*), спекулянты, рвачи, пенкосниматели, все добродетельные и злодейские персонажи великого российского детства, встаньте. Преклоните головы.

Почтите память усопших. Совзнак скончался. Гривенник родился…»

А сейчас немного биографических данных. Михаил Кольцов (его настоящая фамилия Фридлянд) родился 31 мая (12 июня) 1898 года в Киеве в семье ремесленника. Учился в Петроградском психоневрологическом институте, но врачом так и не стал. Его увлекла журналистика. В 1918 году вступил в партию. В 1920-м перебрался в Москву и стал постоянным сотрудником всемогущей тогда «Правды». Его фельетоны, очерки, корреспонденции шли почти в каждом номере. Чтобы почувствовать материал, он временно менял профессию и становился классным руководителем в школе, шофером такси или делопроизводителем в загсе. Софья Виноградская рисует такой портрет Кольцова: «Невысокий, ладный, красивый… Большие очки, миндалевидные, чуть грустные, но в разговоре мальчишеские, смешливые глаза; тонкое матовое, выбритое до синевы египетское лицо и нежный белый лоб…»

Любопытна запись Корнея Чуковского, сделанная им в дневнике от 22 ноября 1931 года, когда Кольцов находился на вершине своей популярности: «…Я к Кольцовым. Они в Доме правительства. Он принял меня дружески любовно… Роскошь, в которой живет Кольцов, ошеломила меня. На столе десятки закусок. Четыре большие комнаты. Есть даже высшее достижение комфорта, почти недостижимое в Москве: приятная пустота в кабинете. Он только что вернулся из совхоза где-то на Украине. «Пустили на ветер столько-то центнеров хлеба. Пришлось сменить всю верхушку…»

Журналистская сила Кольцова была такова, что он мог снимать с работы. Он мог все!.. И это «все» дала ему советская власть. Она действительно предоставляла своим любимым бардам и трубадурам комфорт и наделяла их широкими полномочиями, требуя взамен верного и неугасимого служения. Все это отлично понимал Кольцов. «Я пишу не для себя, – признавался он. – Мне холодно и одиноко в высоких одноместных башнях из слоновой кости, на гриппозных сквозняках мировой скорби. Я чувствую себя легко у людского жилья, там, где народ, где слышатся голоса, где пахнет дымом очагов, где строят, борются и любят. Я себя чувствую всегда на службе».

Кольцов преданно служил режиму, утверждая в своих публикациях, что советская власть – самая справедливая и самая лучшая. Он был талантливым рекламщиком социалистической утопии, отвергающим все старое, царское. Считал, что «новая жизнь через все поры растет и кудрявится на обломках и огрызках прежней жизни. Ломается быт, летят в стороны щепки, дым

коромыслом стоит над великой и торжественной строительной кутерьмой».

Однако с годами приходило прозрение и понимание, что «кудрявится» в какую-то другую сторону, от праздничного революционного рая в направлении мрачной и унылой казармы с проволокой, часовыми и злыми собаками.

Плохо было не только в большой политике, но и в творческой жизни. В мемуарах «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург писал о Кольцове: «История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк – искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил мне насмешливо и печально: «Другие напишут романы. А что от меня останется? Газетные статьи-однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что в Испании должно было бы произойти…»

Кольцов понимал, что журналистика губит в нем писателя, что даже книга «Испанский дневник» слишком окрашена требованием времени. Испания стала для Кольцова вершиной его жизни, а дальше начался стремительный спуск. Тогда Советский Союз послал в горнило гражданской войны в Испанию («чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…») лучших своих представителей. Среди них был и Михаил Кольцов, который, как и все остальные, сражался в Испании инкогнито, под вымышленным именем мексиканца Мигеля Мартинеса.

«Товарищ Мигель» героически проявил себя в Испании. Вернулся «на коне», но быстро уловил, что на Родине что-то изменилось, что щупальца страха стали проникать почти в каждый дом. 1937 год он пережил, но в 1938 году Кольцова взяли.

Младший брат Кольцова, художник Борис Ефимов вспоминает: «Кольцов рассказывал мне о последней встрече со Сталиным. Миша докладывал о поездке в Испанию, об интербригадах. Беседа длилась три часа, и в конце ее Сталин стал вести себя странно: ерничал, гримасничал, называл Михаила на испанский манер Мигуэлем… А когда Кольцов уходил, остановил его в дверях и, прищурившись, спросил: «У вас есть пистолет?» Кольцов ответил, что есть. «А вы не думали из него застрелиться?» – «Нет, – ответил Кольцов. – Не думал». – «Вот и хорошо» – закончил разговор Хозяин.

Мы с Мишей всю ночь анализировали этот черный сталинский юмор. Утром Кольцову позвонил Клим Ворошилов, который присутствовал при беседе в Кремле. Успокоил: «Михаил Ефимович, вас любят и ценят». Но Миша был человеком сверхнаблюдательным, с очень развитой интуицией. Он сказал

мне: «В глазах Хозяина я прочитал: больно прыток!»

Как я сейчас понимаю, Сталин намекал Кольцову на самоубийство. Предлагал «почетную смерть»: мол, придумаем красивую версию, уйдешь из жизни героем, а не врагом народа…»

Вождю вообще не нравились люди яркие, талантливые, мыслящие. В глубине души, вероятно, тиран им завидовал. И потом, Сталину вряд ли понравился пассаж в «Испанском дневнике» об опасности фашизма: «Фашизм… по-прежнему стучит кулаком по столу, и в этом его основной аргумент для трусливых правителей…»

Кто знает, о чем думал советский диктатор? Нам известны лишь последствия этих черных дум. Михаила Кольцова обвинили в связях с немецкой шпионкой Марией Остен.

Мария Остен – немецкая журналистка, известная антифашистка, была последним романом Кольцова. Они собирались соединить свои судьбы, а за ними уже давно следили чекисты, дав им шифрованные имена «Чибис» и «Блондинка», на них активно собирается компромат: что сказали, как вздохнули, где заночевали… Для чекистов не имело никакого значения, что Кольцов – лучший из лучших советских журналистов, что он академик, депутат, орденоносец, почетный летчик-наблюдатель и так далее, – важно другое: он – «Чибис», и птичка находится под колпаком разведки.

Развязка наступила 13 декабря 1938 года. Накануне вечером на открытом партийном собрании в Доме писателей Кольцов сделал большой доклад в связи с выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)». Литературная Москва до отказа заполнила зал писательского клуба. А на следующий день Кольцова арестовали.

Борису Ефимову удалось добраться до председателя Военной коллегии Василия Ульриха. «В чем обвинили Кольцова?» – спросил Ефимов. «Как вам сказать… – промямлил Ульрих, – различные пункты 58-й статьи… Довольно ершистый у вас братец. Колючий. А это не всегда полезно… А вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом деле».

Как ни странно, Борису Ефимову дали спокойно жить и работать, и он избежал репрессий. А его брат, Михаил Кольцов, погиб 2 февраля 1940 года, на 42-м году жизни.

Золотое перо сделало свое дело, и его выбросили на свалку истории.

В романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй воплотил черты Кольцова в журналисте Каркове: «…Джордан не встречал еще человека, у которого была такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие…» Эти качества и предопределили судьбу Михаила

Кольцова.

Борис Ефимов нежно называл брата Мышонком. Режим, дав Мышонку порезвиться всласть, потом заманил его в мышеловку. Ловушка для Мигеля сработала.

Мажорный и трагический Кумач. Василий Лебедев-Кумач (1898–1949)

Лебедев-Кумач. Самый популярный советский поэт-песенник. «Всесоюзный запевала». «Широка страна моя родная,/ Много в ней лесов, полей и рек!/ Я другой такой страны не знаю,/ Где так вольно дышит человек». Это – пафос. А вот и лирика: «Как много девушек хороших,/ Как много ласковых имен…»

Лебедеву-Кумачу довелось жить в труднейшее время, когда, как написала Надежда Мандельштам, «эпоха жаждала точного распределения мест: кому первое, кому последнее – кто кого переплюнет. Государство использовало старинную систему местничества и стало само назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говорят, скромнейший, был назначен первым поэтом».

А он не хотел быть первым, но назначали, и пришлось ему исправно исполнять эту роль первача, хотя порой и мучился в душе. А родился Василий Лебедев (Кумач – это уже приставка в советское время) 27 июля (8 августа) 1898 года в Москве, в семье сапожника-кустаря. Был весьма способным мальчиком, и учительница начального городского училища выхлопотала ему стипендию для поступления в гимназию. Стипендию учредил русский историк и меценат Виноградов, живший в Англии. Однажды он приехал в Москву и устроил экзамен своему стипендиату и был потрясен, как Вася Лебедев читал своего любимого Горация на латыни – выразительно и ярко. Виноградов сказал: «Закончишь гимназию – возьму тебя в Оксфорд». В 1917 году Лебедев закончил гимназию, но было уже не до Оксфорда –

грянула революция в России, которая повернула судьбу юноши совсем в другую сторону: от Горация и Катулла к революционным агиткам. И Лебедев стал Кумачом.

«Впечатление детства, юности необычайно ярки и оставляют следы на всю жизнь. Книги, зрелища («Санин» Арцыбашева, первый фокстрот на сцене – «Трутовская и Клейн»)», – так записывал впоследствии Лебедев-Кумач. Он не вел дневников, но всегда что-то записывал для памяти. Книги он любил страстно. В юности увлекался переплетным делом. Прекрасно разбирался в шрифтах, художественном оформлении… На письменном столе у него лежали то малого формата 9-томный академический Пушкин, то «Пословицы русского народа» Владимира Даля, то афанасьевские сказки, то сборники стихов Беранже или Бернса, то стихи Некрасова, Курочкина и многие другие им любимые книги. Сам он признавал, что при работе над песней испытывал влияние Некрасова (гражданственность) и Беранже (сатира). Многие песенки Беранже Лебедев-Кумач любил напевать. Еще он любил Эдмона Ростана («Ах, какой отважный герой Сирано де Бержерак!») Из русской поэзии – Гумилев, Ахматова, Пастернак… То есть вкус рафинированный. Настоящий русский интеллигент. И – «С нами Сталин родной, и железной рукой/ Нас к победе ведет Ворошилов!».

Непостижимо! А что непостижимо? Эпоха выбрала других героев, и приходилось воспевать именно их. А потом, – извините, конечно, – кушать надо! Верность режиму – это верный кусок хлеба, – и не надо возмущаться этим обстоятельством. Не отсюда ли «растут ноги» «Гимна партии большевиков»: «Партия Ленина,/ Партия Сталина, – / Мудрая партия большевиков!».

В 1919–1921 годах Лебедев-Кумач работал в Бюро печати управления Реввоенсовета и в военном отделе «Агит-РОСТА», писал рассказы, статьи, фельетоны, частушки для фронтовых газет, для агитпоездов. Одновременно учился на историко-филологическом факультете МГУ. С 1922 года Лебедев-Кумач начал сотрудничать в «большой печати»: «Рабочая газета», «Крестьянская газета», «Гудок», журналы «Лапоть» и «Крокодил». Он создал множество литературных пародий, сатирических сказок, фельетонов на тему быта, хозяйственного и культурного строительства. Участвовал в создании театральных обозрений для «Синей блузы» и самодеятельных рабочих коллективов. Как и полагалось в то время, клеймил обывателя, от управдома до жены завмага (выше подыматься было нельзя), ну, а в 1930-х появился замаскированный классовый враг – пришлось бороться и с ним и даже написать «Гимн НКВД». Наставлял молодежь: «Будь упорным, умным, ловким./ Различать умей врагов,/ И нажать

курок винтовки/ Будь готов!/ – Всегда готов!»

Выходили стихи, издавались сборники, а в 1931 году Лебедев-Кумач обратился к песням, и именно они прославили его. Первые эстрадные песни прозвучали в спектакле Театра обозрений в исполнении артистов Бориса Тенина и Льва Мирова на музыку композитора Листова. Ну, а потом, как говорят, покатило, и Лебедев-Кумач сочинил около 500!.. Его стихи положили на музыку многие композиторы, но, пожалуй, лучше всего звучали тексты Кумача в песнях Исаака Дунаевского. А кино растиражировало Лебедева-Кумача по всей стране. Фильмы, вошедшие в золотой фонд советского кинематографа: «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга». Жизнеутверждающие, жизнерадостные, полные молодого задора и огня песни Лебедева-Кумача (да еще на прекрасную музыку) стали настоящими хитами (хотя тогда это слово не употреблялось). Их пела вся страна.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас почет…

А «Песня о стрелках»: «Сердце хлопочет, боится опоздать, / И хочет, хочет, хочет, хочет счастье угадать» /. И, вообще:

Сердце, тебе не хочется покоя.
Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!

А как нравился всем капитан, который объездил много стран и напевал свою излюбленную песенку:

Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка – это флаг корабля.
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!

И всем хотелось быть смелым и покорять моря и океаны. И быть колхозницами-ударницами (как в фильме «Богатая невеста»):

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы,
Пускай поет о нас страна,
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!

Страна строилась и мужала под звонко-голосистые песни Лебедева-Кумача. Песня трактористов перекрыла все: «Ой, вы, кони, вы, кони стальные,/ Боевые друзья-трактора,/ Веселее гудите, родные, – / Нам в поход отправляться пора!..»

Для нынешних молодых, возможно, это дико звучит – «друзья-трактора», какие там поля, им главное где-нибудь потусоваться-пообниматься. Слово «труд» вообще выпало из нашего словаря. А тогда, в 30–40-е по стране гулял «Веселый ветер» больших ожиданий и больших побед: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер»…» И припев:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
«Кто весел – тот смеется,
Кто хочет – тот добьется,
Кто ищет – тот всегда найдет!»

Начав цитировать песни Лебедева-Кумача, остановиться невозможно: их энтузиазм, оптимизм завораживает. Неужели всего можно добиться в жизни?.. Но, конечно, не всем нравился этот кумачовский оптимизм, поэт Ярослав Смеляков как-то бросил прилюдно реплику: «Надоела мне моча Лебедева-Кумача» и поплатился за такое высказывание: священных коров не обижают!.. Николай Эрдман тоже не любил Лебедева-Кумача и посмеивался над ним, но втихомолку. А простой народ, выражаясь современным языком, тащился от песен Кумача. «Комсомольская правда» до выхода фильма «Волга-Волга» опубликовала текст песни, чтобы народ мог подпевать, и – о, ужас! – вышла опечатка: вместо слова «красавица» было напечатано «крЫсавица», – Лебедев-Кумач чуть инфаркт не получил. Ну, а когда в кинокартине прозвучала «Песня о Волге» – «Красавица народная,/ Как море, полноводная…», – восторгу не было границ. Кто-то даже написал немудрящие стихи с пожеланием:

Не дремать, идти к победам новым,
Чтобы песня лилась, как ручей,
Все целуют Вас!
Любовь Орлова,
Александров.
Оба Кумачей.

«Кумачей» получилось, как «палачей». И откуда взялся второй Кумач? Загадка народного восприятия.

Власть оценила всенародные заслуги поэта-песенника, и в феврале 1937 года ему, одному из первых писателей, дали орден Трудового Красного Знамени – «за выдающуюся деятельность». В 1938 году он получил орден «Знак Почета» – «за выдающиеся заслуги в области художественной литературы». В 1940-м – орден Красной Звезды – «за образцовое выполнение приказов командования в борьбе с белофиннами». Еще Кумач был избран депутатом Верховного Совета РСФСР и почти на каждой сессии Совета выступал со стихами, а точнее, со стихотворными хвалебными одами: какая замечательная власть, какой замечательный вождь, и вообще, «с каждым днем все радостнее жить».

Однако на горизонте сгущались тучи, и соответственно моменту Лебедев-Кумач пишет знаменитую песню «Если завтра война»: «Если завтра война, если враг нападет,/ Если темная сила нагрянет, – / Как один человек, весь советский народ/ За свободную родину встанет!» В песне поэт выразил надежду, которая владела всеми (и была, разумеется, внушена пропагандой):

Мы войны не хотим, но себя защитим —
Оборону крепим мы недаром.
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

О чем особенно беспокоиться: «Полетит самолет, застрочит пулемет,/ Загрохочут могучие танки,/ И линкоры пойдут, и пехота пойдет,/ И помчатся лихие тачанки…» Тачанки времен гражданской войны?!. И победный вывод: «В целом мире нигде нету силы такой,/ Чтобы нашу страну сокрушила…» Лебедев-Кумач писал эти строки и свято в них верил. А когда началась война и доблестная Красная армия, не готовая к серьезным боям, стала отступать и сдавать город за городом, у Лебедева-Кумача произошел нервный срыв.

В середине октября 1941 года Лебедеву-Кумачу позвонил руководитель Союза писателей Александр Фадеев и сказал: «Вы назначаетесь начальником последнего эвакуационного эшелона писателей в Казань». По свидетельству родных, Василий Иванович закричал: «Я никуда из Москвы не поеду! Я мужчина, я могу держать в руках оружие!» Еще один звонок из ЦК: объявлена всеобщая эвакуация. Значит, Москву сдают?! Лебедев-Кумач метался по квартире и говорил жене, не говорил, а почти кричал: «Как же так? Я же писал: «Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим» – значит, я все врал? Ну, как же я мог так врать? Как же?..» Лебедев-Кумач был буквально ошеломлен.

В воспоминаниях Юрия Нагибина написано, что на перроне Киевского вокзала он услышал, что Лебедев-Кумач сошел с ума, срывал с груди ордена и клеймил вождей как предателей…

Жена Кумача вспоминала, что при отъезде из Москвы Лебедев-Кумач выглядел несчастным и растерянным. Он увидел в газетном киоске портрет Сталина, глаза у него сделались белыми, и вдруг он заорал каким-то диким голосом: «Что же ты, сволочь усатая, Москву сдаешь?!» К счастью для Кумача, его не арестовали, а отвели в медпункт. Какое-то время Лебедева-Кумача лечили в психиатрической лечебнице НКВД в Казани. Подлечили его психику и отпустили в Москву. Он рвался на фронт, но его пустили туда только в 1943 году. И попал он в военно-морской флот, которому он посвятил «Краснофлотский марш»: «Мы – храбрые люди, / Мы родину любим, / И жизнь мы готовы отдать за нее, – / За море широкое, / За небо высокое, / За красное знамя свое!»

Прервем хронологию и вернемся к началу Отечественной войны. Днем 22 июня 1941 года Лебедеву-Кумачу позвонили из редакции газеты «Красная звезда» и попросили написать стихи о начавшемся вторжении в нашу страну фашистских войск. Как вспоминает дочь поэта Марина, Василий Иванович написал стихотворение «Священная война» за несколько часов напряженной работы, куря папиросу за папиросой, «на одном дыхании». Невозможно спокойно слушать эту песню (слова Лебедева-Кумача, музыка Александрова) без душевного трепета: и музыка, и слова просто обжигают:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война…

В 1991 году, спустя 50 лет, в год развала СССР и многочисленных разоблачений советских реалий и знаков, сразу в нескольких газетах появилось сообщение, что автор «Священной войны» вовсе не Лебедев-Кумач, а учитель русского языка из города Рыбинска Александр Боде, и написал он это стихотворение якобы в 1916 году, а послал Лебедеву-Кумачу в 1938-м. Так это или не так? Не знаю. Нужны дополнительные факты. Экспертизы. Эксперты по текстологии. Но, очевидно, это из того же ряда, кто написал «Тихий Дон»: Шолохов или Крюков, или кто-то другой. Честно говоря, не хочу даже в этом копаться.

Но был и еще случай со знаменитым шлягером «У самовара» (помните: «У самовара я и моя Маша, / А на дворе совсем уже темно…» / Эта песня была написана Фаиной Квятковской для варшавского кабаре «Морское око». В 1934 году песня попала в джаз-оркестр Утесова, и там слова приписали Лебедеву-Кумачу. Очевидно, он не возражал: песня была весьма популярной. Со временем авторство было возвращено Квятковской.

А что сказать по этому поводу? У Лебедева-Кумача есть в его записях признание: «Ангелов – нет. Искушения бывают даже у порядочных людей». Оба эти скандала с плагиатом произошли почти одновременно, но руководители тогдашней «Литературной газеты» Чаковский и Кривицкий решили: мифы разрушать не следует. Позже главный редактор «Недели» Сырокомский заявил: «Про «Машу» напечатаю, про «Священную войну» – не дам…»

Но вся эта неприятная история случилась уже после смерти Лебедева-Кумача. Вернемся к последним годам жизни поэта-песенника. Они были совсем не лучезарные. Василий Иванович записывал: «Всем казалось – после войны будет лучше». Лучше не стало. Сталин резко закрутил гайки. Особенно тяжело пришлось людям искусства. Рамки творчества сузились до щели. А у Лебедева-Кумача к тому же начался затяжной кризис. Вера была подорвана. Оптимизм исчерпан. «Сознание очистилось от шелухи, ила…» И еще одно поразительное признание: «Болен от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть основную задачу – все мелко, все потускнело. Ну, еще 12 костюмов, три машины, 10 сервизов… И глупо, и пошло, и недостойно… И неинтересно».

Депрессия совпала с нездоровьем. А жена – красивая

женщина с холодноватым лицом – не понимала его и спрашивала: «Когда же кончится твой творческий застой? Когда ты начнешь работать?» Другими словами, когда в доме появятся деньги… А Лебедев-Кумач не мог жить и писать по-старому: что-то надломилось в нем. Исчез не кураж. Исчезла суть. Посмотрев кинокартину «Здравствуй, Москва!», отметил в своих записях: «Много сусла, фальши и надуманности…»

Отдых, лечение в престижных санаториях не помогли, и в июле 1947 года Лебедев-Кумач уехал на дачу, во Внуково (тогда это было действительно дачная местность). Там он и прожил последние свои полтора года, по октябрь 1948-го. Один, без людей, в обществе собак, Увы и Микки. Жена во Внуково ехать отказалась, а с дочерью Мариной он активно переписывался и все время ждал ее в гости. Занимался ремонтом, разной починкой, топил печь, вечера коротал без электричества при керосиновой лампе, – вот так жил популярнейший поэт-песенник.

И не верилось, что когда-то он писал задорно и весело:

Эй, грянем сильнее!
Подтянем дружнее:
Всех разбудим, будим, будим!
Все добудем, будем, будем!
Словно колос, наша радость наливается!

Да, это он, Лебедев-Кумач, сочинил когда-то такую песню. И вот одинокие вечера при лампе. «Ты спрашиваешь, не скучно ли мне, – писал Лебедев-Кумач дочери. – Родненькая моя, я вообще не привык скучать, а тут все время находятся хотя бы мелкие делишки по дому и по обслуживанию самого себя. Это отчасти хорошо, потому что отвлекает от мыслей о болезни и помогает рассредоточиться. Иной раз с утра едва-едва встанешь (особенно, если ночью не спалось), а потом начнешь понемногу выполнять мелкие «необходимости» – и, смотришь, разошелся. Много времени, чтобы подумать, а я это дело очень люблю. Всяческие мысли идут, ассоциации, воспоминания. Кое-что записываю. Очень хочется написать кое-что в прозе. Обдумываю и постараюсь обязательно осуществить. Но ведь это не так просто. И болезнь моя мешает, и отвык я от прозы здорово. И хочется, если уж написать, хотя бы маленькую вещицу, так уж сделать это как следует, чтобы не стыдно было и самому прочесть, и другим показать – в первую очередь тебе и маме…»

Словечко «стыдно» – это о прошлых бодряческих песнях? «Морская гвардия идет уверенно, / Любой опасности глядит она в глаза, / В боях испытана, в огне проверена, / Морская гвардия –

для недругов гроза!» А жизнь показала, что не такая уже она и гроза… А уж о том, что «И в воде не утонем и в огне мы не сгорим!» – и говорить не приходится. Бесшабашная ложь.

А тем временем в стране обсуждалось постановление ЦК о Михаиле Зощенко и об Анне Ахматовой и о развернувшейся борьбе с «безродными космополитами». Все писатели были ввергнуты в водоворот этих событий. И лишь Лебедев-Кумач отсиживался на даче во Внуково и молчал. Собратья по перу никак не могли понять поступок «основоположника жанра советской массовой песни». Многие утверждали: «Кумач кончился». А он не кончился, он вел эпистолярный разговор с дочерью в жизни. Наставлял, советовал:

«Внуково, 6 /X-47

Милая моя доченька!.. В общем, я верю и знаю, что у тебя все должно обойтись хорошо. Но все же не трать зря нервы и духовные силы – умей сосредоточить внимание на том, что сейчас нужнее всего. И еще помни – в жизни все расценивается не по тайным твоим мыслям и талантам, а по делам. В принципе, в потенции ты можешь быть сверхгением, но если ты себя никак не проявила – грош тебе цена. И наоборот – кто свои копеечные способности сумел развить и показать, тому честь и хвала. Одним словом, под лежачий камень и вода не течет. Родная моя, я говорю с тобою, как с самим собой, поэтому пойми все, как надо…»

Звал дочь на Новый год: «… достанем лыжи и устроим такой Дингли-Делл, какой ни одному Диккенсу не снился. И елка будет чудесно пахнуть снегом, а снег – елкой. А дрова – и елкой, и сосной, и березой. И в печке среди углей будут золотые саламандры (как у Франса в «Харчевне королевы Гусиные Лапы») …»

Сообщал дочери, что отрастил усы и «стал походить на Брета Гарта!..» Что много читает, что рад возвращению из ссылки своего друга художника Константина Ротова – «хорошо, что он уже на свободе. Но вступать в жизнь ему будет не очень легко…»

15 октября 1948 года: «… Здоровье мое ведет себя очень неровно, иногда здорово прищучивает, иногда отпускает. Пока что жить и работать спокойно не удается… все уговаривают лечь в Кремлевку. Порой мне кажется, что эскулапы безумно правы, а порой тошнит от одной мысли о Кремлевке. Золотко мое, как ты себя чувствуешь?..»

31 октября 1948 года Лебедев-Кумач был госпитализирован в Кремлевскую больницу. Незадолго перед своей кончиной написал последние стихи:

…Как первый цвет, как вешний снег,
Прошла весна моя…
Вот этот лысый человек —
Ужели это я?..

20 февраля 1949 года Василий Лебедев-Кумач скончался, на 51-м году жизни. Все начиналось «за здравие», а кончилось «за упокой». Из интервью «Комсомольской правде» внучки Маши: «Я часто думаю: бедный мой дедушка Василий Иванович!..»

Да, непростая судьба с опасными поворотами. Но остались песни – «Нам песня жить и любить помогает…» Правда, цензура заменила слово «любить» на более гражданственное – «строить». Но все равно. Песни остались, и песни часто звучат, они – неотъемлемое наше прошлое, наша история. Я вспоминаю, как в бытность моей работы в Радиокомитете на Пятницкой мы провожали в ресторане «Прага» нашего товарища в Испанию корреспондентом радио и телевидения. Он по традиции дал так называемую «отвальную» с обилием еды и спиртного. Достигнув кондиции, собравшиеся, не сговариваясь, запели: «Броня крепка, и танки наши быстры…» Правда, это были слова не Лебедева-Кумача, а Бориса Ласкина, но написанные по духу и в стиле Кумача. Ну, а потом самого Кумача, чтобы отъезжающий в Мадрид не забывал о Москве:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце родины моей!

А далее последовал раскатистый припев: «Кипучая, могучая, никем непобедимая, Страна моя, Москва моя – ты самая любимая!» Такой вот был взрыв патриотических чувств в ресторане «Прага». Молодые официанты стояли, разинув рот, глядя на поющих седовласых дяденек.

А еще я себя помню маленьким перед войной в каком-то кинотеатре, куда меня привели, и там перед началом сеанса в фойе певица пела под оркестр песню Лебедева-Кумача на музыку Милютина «Чайка»: «Чайка смело / Пролетела / Над седой волной, / Окунулась / И вернулась, / Вьется надо мной…» И эта

чайка стала для меня символом безмятежного предвоенного времени. «В море тает, улетает / Мой конверт живой».

Нет, не зря жил на свете Василий Иванович, писавший простенькие тексты, но какие-то выразительные и запоминающиеся. Когда мне сегодня бывает грустно, я ставлю пленочку и с упоением слушаю Леонида Утесова, его «Джаз-болельщик» на слова Лебедева-Кумача: «У меня есть тоже патефончик. / Только я его не завожу, / Потому что он меня прикончит – / Я с ума от музыки схожу…»

Или слушаю «Лимончики»: «Ой, лимончики, / Вы, мои лимончики! / Вы растете на моем балкончике…» «И захотелось сразу танцевать!..»

Вы скажете: глуповато, мелко. Но еще Пушкин говорил, что поэзия должна быть немного глуповатой. Но, конечно, искренней. Литавры и пафос – это Лебедев-Кумач. Но и «лимончики» тоже.

Кондуктор чисел. Николай Олейников (1898–1942)

Николай Олейников и Василий Лебедев-Кумач – ровесники (родились в один год, в один месяц). И какая разная судьба: один, Лебедев-Кумач, подладился под эпоху и воспевал советскую власть. Другой, Олейников, остался самим собою, со своим видением и пониманием жизни и поэзии, но именно за это был уничтожен и вычеркнут из литературы. Николай Макарович Олейников родился 5 (17) августа 1898 года (хотя называется и другая дата: 23 июля) в станице Каменская Областного Войска Донского. Потомственный донской казак, не петербургский какой-нибудь очкарик. Учился в реальном училище и учительской семинарии, где проявил интерес к математике («Кондуктор чисел» – так называл его Хармс). Молодым человеком попал в вихрь Гражданской войны. Сражался за красных. Вступил в РКП (б) и увлекся журналистикой. Работал в газете «Всероссийская кочегарка», литературном журнале «Забой», газете «Молот». В 1924 году стал одним из учредителей писательской организации Донбасса. А далее – город на Неве и газета «Ленинградская правда».

В 1925 году Олейников познакомился с поэтами-обэриутами Введенским и Хармсом, а также с Евгением Шварцем. Образовалась веселая компания веселых остроумных людей, и был создан детский журнал «Еж» («Ежемесячный журнал»). Помимо Олейникова и обэриутов, в нем сотрудничали Маршак, Корней Чуковский, Бианки, Борис Житков, Андронников, Пришвин. Олейников выступал в «Еже» под разными

псевдонимами, чаще как Макар Свирепый. В журнале царила атмосфера постоянных розыгрышей, мистификаций и «подколов», недаром Маршак предупреждал всех:

Берегись Николая Олейникова,
Чей девиз: никогда не жалей никого.

Корней Чуковский писал об Олейникове: «Его необыкновенный талант проявился во множестве экспромтов и шутливых посланий, которые он писал по разным поводам своим друзьям и знакомым. Стихи эти казались небрежными, не имеющими литературной ценности. Лишь впоследствии стало понятно, что многие из этих непритязательных стихов – истинные шедевры».

Николай Олейников был удивительный и своеобразный человек, один из его друзей записал его признания: («Разговоры», 1933–1935):

«Меня интересуют – питание, числа, насекомые, журналы, стихи, свет, цвета, оптика, занимательное чтение, женщины, «пифагорийство-лейбницейство», картинки, устройство жилища, правила жизни, опыты без приборов, задачи, рецептура, масштабы, мировые положения, знаки, спички, рюмки, вилки, ключи и т. п., чернила, карандаши и бумага, способы письма, искусство разговаривать, взаимоотношения с людьми, гипнотизм, доморощенная философия, люди XX века, скука, проза, кино и фотография, балет, ежедневная запись, природа, «александрогриновщина», история нашего времени, опыты над самим собой, математические действия, магнит, назначение различных предметов и животных, озарение, формы бесконечности, ликвидация брезгливости, терпимость, жалость, чистота и грязь, виды хвастовства, внутреннее строение Земли, консерватизм, некоторые разговоры с женщинами».

Конечно, шутовство, но за ним проглядывается и действительная широта интересов Олейникова. В своем послании Олейникову Даниил Хармс писал:

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,
О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?
Гомер тебе пошляк, и Гёте глупый грешник,
Тобой осмеян Дант, лишь Бунин твой кумир.

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,
Порой печалит слух иль вовсе не смешит.
Он даже злит порой, и мало в нем искусства,

И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой
Летишь, забыв закон видений встречных толп?
Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?
Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб?

«Поэт, задумчивый и скромный», – сказал о нем писатель Афиногенов.

«В нем чувствовалось беспощадное знание жизни», – отмечал Каверин.

Вспомним и о том, как выглядел Олейников. «Он был похож на донского казака – с вьющимися светлыми волосами, скуластым лицом с обманчиво спокойными, хитроватыми голубыми глазами, – вспоминал сын поэта Николая Заболоцкого, Никита. – Он редко улыбался, но характер имел насмешливый, даже язвительный».

Но вернемся к хронологии. В 1930 году по инициативе Олейникова стал выходить журнал «ЧИЖ» («Чрезвычайно Интересный Журнал»). Все та же атмосфера безудержного веселья и нескончаемых импровизаций. По свидетельству Чуковского, «там постоянно шел импровизационный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Ираклий Андронников». По воскресеньям эти шутники даже устраивали «Клуб малограмотных ученых». Можно себе представить, какой хохот там стоял.

В 1934 году Олейников был избран делегатом Первого съезда советских писателей (с совещательным голосом). К тому времени из печати вышло 12 его книг для детей. Но вскоре на Олейникова и его друзей – обэриутов накатила критическая волна, и «ЧИЖ» закрыли. Олейников не сдавался и начал готовить новый журнал «Сверчок», первый номер которого вышел в начале 1937 года. А 3 июля, на рассвете, Олейников был арестован как «враг народа». Его взяли как «японского шпиона» на том основании, что он дружил с заведующим японским отделом Эрмитажа.

Из воспоминаний Льва Разгона: «Ираклий Андронников… приехал по делам из Москвы и рано вышел из дому. Смотрит, идет Олейников. Он крикнул: «Коля, куда так рано?» И только заметил, что Олейников не один, что по бокам его два типа… Николай Макарович оглянулся. Ухмыльнулся. И все!»

Из стихов 1937 года: «Графин с ледяною водою./ Стакан из литого стекла…» И про «птичку безрассудную с беленькими перьями»:

…Для чего страдаешь ты,
Для чего живешь?
Ничего не знаешь ты, —
Да и знать не надо.
Все равно погибнешь ты,
Так же, как и я.

Из письма из следственной камеры, 2 августа 1937 года: «Дорогие мои Рарочка и Сашенька. Целую вас, посылаю вам привет. Рарочка, чувствую я себя хорошо, все время думаю о вас. Наверное, Сашенька уже говорит хорошо, а ходит еще лучше…»

А пока Олейников пребывал в камере, в издательстве была выпущена стенгазета, в которой клеймилась «контрреволюционная вредительская шайка врагов народа, сознательно взявшая курс на диверсию в детской литературе». И на собрании прозвучал призыв: «Добить врага!»

Добить врага – проще пареной репы. 24 ноября 1937 года Олейникова расстреляли. Ему было 39 лет. В сентябре 1957 года Ларисе Олейниковой (Рарочке) из Военного трибунала пришло письмо, извещающее о реабилитации поэта, причем вместо отчества «Макарович» было написано «Макарьевич» (какая разница!), а в свидетельстве о смерти указана дата: 5 мая 1942 года. И не от пули, а от коварного «возвратного тифа». В январе 1958 года Олейникова восстановили в партии. Комментарии излишни…

Убили человека и забыли поэта (не он первый и не он последний!) Первыми о нем вспомнили слависты на Западе, и в 1975 году в Бремене вышел сборник стихотворений Олейникова. В 1982 году «Иронические стихи» издали в Нью-Йорке. Первый сборник Олейникова «Перемена фамилии» вышел у нас в 1988 году, спустя полвека после подлого убийства поэта. В 1990 году увидел свет наиболее полный сборник «Пучина страстей», который стоит у меня на полке.

Жареная рыбка,
Дорогой карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?..
……
…Помню вас ребенком:
Хохотали вы,
Хохотали звонко
Под волной Невы…

Дата написания: 1927 год. Тогда это была всего лишь шутка, а сегодня классика русского поэтического авангарда.

Смешно про карася? Да не очень. А вот стихотворение «О нулях»: «Приятен вид тетради клетчатой:/ В ней нуль могучий помещен,/ А рядом нолик искалеченный/ Стоит, как маленький лимон…» И концовка: «Когда умру, то не кладите,/ Не покупайте мне венок,/ А лучше нолик положите/ На мой печальный бугорок». Эти строки предположительно написаны в 1934 году, в ощущении трагического конца.

При жизни Олейникова опубликовано «взрослых произведений» всего пять, не считая анонимных в детских журналах. Но с начала 1930-х годов многие «вещи» Олейникова ходили в списках, их знали наизусть:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет —
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.

Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него, за умом небогатого,
Замуж хочет, как рыбка, она…

Он подлец, совратитель, мерзавец —
Ему только бы женщин любить…
А Олейников, скромный красавец,
Продолжает в немилости быть.

Я красив, я брезглив, я нахален,
Много есть во мне разных идей…

И концовка, отчаянная жалоба: «Полюбите меня, полюбите!/ Разлюбите его, разлюбите!»

Олейников – большой ироник. Он любил надевать различные языковые маски и представляться каким-то надутым и глупым обывателем, донжуанствующим и философствующим. «Мечты о спичках, мысли о клопах». Вот, к примеру, «Бюджет развратника»: «Рупь – на суп. Трешку – на картошку. Пятерку – на тетрадку. Десятку – на куропатку. Сотку – на водку. И тысяча рублей – на удовлетворение страстей». А вот «Классификация жен»:

Жена-кобыла —
Для удовлетворения пыла.

Жена-корова —
Для тихого семейного крова.

Жена-стерва —
Для раздражения нерва.

Жена-крошка —
Всего понемножку…

Строки звучат примитивно, инфантильно, линейно, но именно к этому стремился поэт. Олейников любил яркие словечки, слова-монстры, чтобы поразить ими. Литературовед Лидия Гинзбург как-то сказала Олейникову: «Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого. Вы расшибетесь в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово… А он не расшибся». На что Олейников ответил: «Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало».

Лидия Гинзбург записала в марте 1933 года: «Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего, но при этом ум его и поведение как-то иначе устроены, чем у большинства из нас… Олейников продолжает традицию, в силу которой юмористы подвержены мрачности или меланхолии (Свифт, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Зощенко)…» Сам Олейников считал, что источником его творчества были Мят-лев и Козьма Прутков, последнему он посвящал стихи и называл себя внуком Козьмы Пруткова. Ну, и, конечно, на Олейникова повлияли поэты-сатириконовцы.

Олейников создавал стихи-буффонады, стихи-гротески, стихи как вызов традиционной поэзии. «Ниточка-иголочка,/ Булавочка, утюг…/ Ты моя двуколочка,/ А я твой битюг./ Ты моя колясочка,/ Розовый букет,/ У тебя есть крылышки,/ У меня их нет…»

Или вот это: «И глаза ее блестели, / И рука ее звала, / И близка к заветной цели /Эта дамочка была…»

Словом, стихи-эскапады. Излюбленный жанр Олейникова – посвящения «Вале Шварц», «Муре Шварц», «Заведующей столом справок», «Генриетте Давыдовне», «Тамаре Григоьевне», «Любочке Брозелио» и т. д. «Ты, танцуя, меня погубила, /Превратила меня в порошок…». «У Брозелио у Любочки / Нет ни кофточки, ни юбочки, / Ну, а я ее люблю. / За ее за убеждения, /За ее телосложение – /Очень я ее люблю». Легко представить, что дамы млели от олейниковских посвящений:

Вы, по-моему, такая интересная,
Как настурция небезызвестная!
И я думаю, что согласятся даже птицы
Целовать твои различные частицы…

И неожиданная концовка:

Для кого Вы – дамочка, для меня – завод,
Потому что обаяния от Вас дымок идет.

Дамочка-завод – это чисто олейниковский выверт. А еще Олейников любил жанр стихотворных посланий: «Послание, одобряющее стрижку», «Послание, бичующее ношение длинных платьев и юбок» и даже «Послание, бичующее ношение одежды».

Коровы костюмов не носят.
Верблюды без юбок живут.
Ужель мы глупее в любовном вопросе,
Чем тот же несчастный верблюд?..

Следует отметить, что «любовный вопрос» весьма занимал Олейникова, и в этом нет ничего предосудительного. «Покорила ручкой белой, /Ножкой круглою своей…», «Пищит диванчик/ Я с вами тут. /У нас романчик, / И вам капут…»

Скажете ль прямо —
Да или нет?
Милая дама
Томно в ответ:
– Я не весталка,
Мой дорогой.
Разве мне жалко?
Боже ты мой!

Сплошная игривость? Не всегда.

Однажды красавица Вера,
Одежды откинувши прочь,
Вдвоем со своим кавалером
До слез хохотала всю ночь.

Действительно весело было!

Действительно было смешно!
А вьюга за форточкой выла,
И ветер стучался в окно.

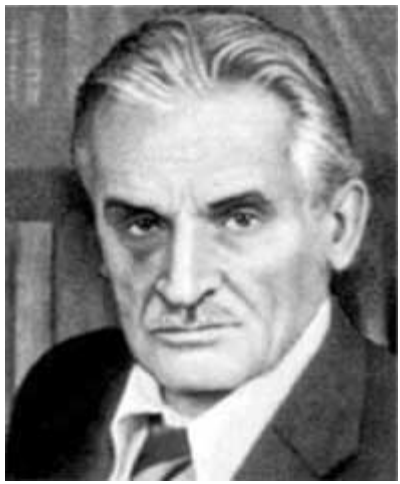
В шутку добавлен серьез: вьюга, ветер, и отчего-то сразу становится как-то неуютно и зябко.

Еще любил Олейников использовать в качестве своих персонажей насекомых, птиц и животных. Тут и карась, и «кузнечик, мой верный товарищ», и муха, и таракан, который «сидит в стакане. Ножку рыжую сосет», и жук-антисемит, и воробей-еврей. Божья коровка жалуется у Олейникова: «В лесу не стало мочи,/ Не стало нам житья:/ Абрам под каждой кочкой!» И Жук поддакивает: «– Да-с… Множество жидья!» Сами понимаете, в чей адрес написаны эти строки.

Сочинял Олейников не только сатиры, но и стихотворные комментарии к портретам художников («Мадонна держит каменный цветок гвоздики/ В прекрасной полусогнутой руке…») А еще две поэмы: мифологическая «Вулкан и Венера» и философская – «Пучина страстей». «Вижу, вижу, как в идеи/ Вещи все превращены./ Те – туманней, те – яснее,/ Как феномены и сны…»

Нет, Николай Олейников не так прост, как кажется. Не только ерник, шутник и забавник. Его гротески подчас напоминают то самого Достоевского, то Франца Кафку. Русский поэтический авангард без Олейникова не полон.

Хозяин лавки метафор. Юрий Олеша (1899–1960)



Удивительно тонкий и живописный писатель с неудавшейся судьбою. Оставил в литературе особый след: «Ни дня без строчки». И замечательный рассказ «Вишневая косточка», не говоря уже о «Зависти» и «Трех толстяках». О нем точно и кратко сказал Александр Иванов:

Хоть писал он прозу, был поэтом.
Накоротке со славой был знаком.
«Трех толстяков» придумал, но при этом
Не стал ни богачом, ни толстяком…

Юрий Карлович Олеша родился 19 февраля (3 марта) 1899 года в Елизаветграде, но вскоре семья переехала в Одессу. Отец – обедневший дворянин, служил акцизным чиновником. Мать – полька из шляхетского рода. Окончил с золотой медалью Ришельевскую гимназию, лучшую в Одессе. Вместе с Катаевым, Багрицким, Ильфом входил в «Коллектив поэтов», сотрудничал с журналом революционной сатиры «Бомба». Прославился стихотворными фельетонами, в частности «Красным альбомом Онегина». Затем Москва, редакция «Гудка», содружество с Бабелем, Булгаковым. И новый этап творчества.

Критик Д. Тальников в 1928 году в журнале «Красная новь» охарактеризовал Юрия Олешу так: «Его стиль – это какой-то литературный кубизм, методы современной конструктивной живописи, перенесенные в литературу и воплощенные в слове со

всей яркостью и сочностью художественной плоти…» А далее критик сравнивал Олешу с Сезанном, Ван Гогом и Пикассо.

За всю свою жизнь Юрий Олеша написал немало и даже писал для кино (фильмы «Строгий юноша», «Ошибка инженера Кочина»). В конце жизни инсценировал роман «Идиот» Достоевского, роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Однако многое не успел закончить из начатого. Все дело в том, что он родился, как говорится, не в то время.

Трагична участь талантливого писателя в условиях тоталитарной системы… Нужно резко меняться, приспосабливаться, мимикрировать, льстить, угождать, одним словом, капитулировать. О капитуляции, о сдаче и гибели Юрия Олеши рассказал в своей книге Анатолий Белинков, за которую он сам и поплатился в 1968 году.

Белинков так определил судьбу Олеши: «Он плыл на барже эпохи и не стремился переложить руль. Он катил в омнибусе отечественной словесности и не пытался повлиять на маршрут. Он понимающе улыбался, когда требовало время, приплясывал, когда вынуждали обстоятельства, кивал, когда диктовал исторический процесс. И вообще он жил так, как будто бы его самого, его воли, его власти не существовало, а существовали только: эпоха, обстоятельства, закономерность, необходимость процесса… Он думал, что для того чтобы овладеть профессией значительного писателя, нужно не покладая рук создавать замечательные метафоры. Он не понимал, что нужны более важные вещи: смелость, не слушать толпу, все решать самостоятельно, готовность к ежеминутной гибели, ответственность за все человечество, уверенность в том, что когда приходится выбирать между рабством и смертью, то нужно выбирать смерть».

В 1930-е годы, в расцвет сталинской поры, люди лавировали. Лавировал и Юрий Олеша. 16 мая 1936 года на общемосковском собрании писателей, посвященном борьбе с формализмом и натурализмом в литературе и искусстве, Юрий Олеша говорил с трибуны: «У нас нет в жизни и деятельности государства самостоятельно растущих и движущихся линий. Все части рисунка сцеплены, зависят друг от друга и подчинены одной линии. Эта линия есть забота и неусыпная, страстная мысль о пользе народа, о том, чтобы народу было хорошо. Это есть генеральная линия партии…»

А ведь в ту пору об Олешу уже вытирали ноги. Его критиковали и били: «Несносно это зрелище человека, который водрузил себя в центр мироздания и здесь осанисто примеривает на свой рост и вкус, на свое удовольствие или неудовольствие

важнейшие события времени…» (Иван Катаев). Юрий Олеша боялся находиться в «центре мироздания» и пытался укрыть голову под «генеральной линией партии».

«Он не был человеком с биографией, в которой играл главную роль, – отмечал Белинков. – Он был человеком судьбы. Он только плыл и плыл не к назначенному месту, а туда, куда принесет волна…»

Да, Юрий Олеша выбрал конформизм, который и позволил ему уцелеть в тот грозный период, хотя уцелел больше по случайности, ибо на Лубянке давно числился членом троцкистской организации и к тому же террористом (автор «Трех толстяков» в роли бомбометателя?!) Но так уж получилось, что «короля деталей» не взяли и он скончался на воле от элементарного инфаркта. Умер нищим писателем, кстати, он долгие годы носился с идеей написать роман «Нищий» – именно таким себя ощущал.

А как лучезарно начиналась жизнь! Уютный Елизаветград, где он родился. Затем Одесса, счастливые гимназические годы, увлечение поэзией.

Мелькнет крылатая косынка,
Запахнет сладостно левкой —
На улицах и в шуме рынка,
В садах, над сонною рекой…

В 1923 году Юрий Олеша переехал в Москву и стал сотрудником популярной тогда газеты «Гудок». Более 500 (!) фельетонов опубликовал он в «Гудке» под псевдонимом Зубило. Бичевал недостатки. Высмеивал мещан.

В 1927 году появился его роман «Зависть», который сделал ему имя. Роман открывался фразой-откровением: «Он поет по утрам в клозете». Герой «Зависти», интеллигент Николай Кавалеров – это не только «эго» самого писателя, но и некоторый автобиографический самооговор.

«Судьба моя сложилась так, что ни каторги, ни революционного стажа нет за мной. Мне не поручают столь ответственного дела, как изготовление шипучих вод или устройство пасек. Но значит ли это, что я плохой сын века, а вы – хороший? – так пишет Николай Кавалеров другому герою «Зависти», Андрею Бабичеву. – Значит ли это, что я – ничто, вы – большое нечто?..»

Метания интеллигентов в эпоху социализма – вот что описывал Олеша. В 1928 году вышел его роман-сказка «Три толстяка». Эта книга тоже принесла ему шумный успех.

Значительно менее популярны были пьесы «Заговор чувств» и «Список благодеяний». Сюжет последней весьма примечателен. За границу едет советская актриса Елена Гончарова. Она везет в чемодане свой дневник, состоящий из двух тетрадей: список благодеяний советской власти и список ее преступлений. Гончарова никак не может решить для себя, какой же из них вернее… Не мог решить и автор. Юрия Олешу мучила та же раздвоенность.

Собственные мучения и критика в его адрес литературных чиновников привели к двадцатилетнему молчанию писателя. Сценарии Олеши были запрещены, рассказы не печатали, о его творчестве ходили лишь устные легенды. Писатель, который, по словам Бориса Ямпольского, «был вырезан из чистого кристалла воображения», оказался ненужным. Ему приходилось заниматься поденщиной: писать рецензии, переводить с туркменского, работать на радио. Постепенно от него уходила слава. «Я акын из «Националя», – печально говорил о себе Олеша. Он любил посидеть за пустым столиком в своем любимом ресторане, поболтать с кем-нибудь или просто смотреть по сторонам. «Я развлекаюсь наблюдениями», – признавался он. Его друг Исаак Бабель, видя, как часто Олеша прикладывается к бутылке, говорил ему: «Не налегайте, Юра… Я теряю собеседника». Но тот все «налегал» и «налегал».

В 1956 году имя Юрия Олеши снова всплыло из небытия. Через 20 лет молчания и замалчивания вышел сборник «Избранное». Писатель Рахманов встретил Олешу в магазине. Мятый пиджак, седая щетина на щеках и угрюмый, пронизывающий взгляд исподлобья. Он стоял и слушал, как говорили: «87 копеек… 87 копеек… 87 копеек… Касса, Олешу больше не выбивать…»

Признание, увы, вернулось слишком поздно. После смерти Олеши Виктор Шкловский издал его автобиографическую книгу «Ни дня без строчки». «Это и биография писателя, и роман о его времени», – так написал в предисловии Шкловский. Цитировать книгу можно долго и с упоением. Захватывающе грустные строки, но одновременно и мудро-поучительные. Сквозь отчаяние и усталость писателя прорывается его тяжелое алмазное перо. Ямпольский определил записки Олеши как «роман разрозненного сознания».

Вот только две выдержки:

«Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж? В Венецию? В Краков? Нет, в закат».

«Я вспоминаю, что всю жизнь мешала мне жить постоянно появляющееся соображение, что прежде чем начать жить

спокойно, я должен отделаться вот от этой заботы… Забота рядилась в различные личины: то была романом, который я собирался написать (вот напишу роман и буду жить спокойно!), то квартирой, которую нужно было получить, то ликвидацией ссоры с кем-либо, то еще каким-нибудь обстоятельством. Однако, что бы ни было выполнено, я никогда не мог сказать себе: ну вот, наконец-то теперь я буду жить спокойно. Очевидно, самое важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, это была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь: подождите, вот умру и тогда буду жить!..»

Удивительно точно замечено, не правда ли?..

Юрий Карлович Олеша был из породы мастеров русской словесности. Именно он мог написать такую звучную и печальную фразу: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев».

«Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному… – признавался писатель. – На старости лет я открыл лавку метафор… Я предполагал, что разбогатею на моих метафорах. Однако покупатели не покупали дорогих; главным образом покупали метафоры «бледных как смерть» или «томительно шло время», а такие образы, как «стройная, как тополь» прямо-таки расхватывались. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концы с концами. Когда я заметил, что уже сам прибегаю к таким выражениям, как «сводить концы с концами», я решил закрыть лавку. В один прекрасный день я ее закрыл, сняв вывеску, и с вывеской под мышкой пошел к художнику жаловаться на жизнь».

Как-то Юрий Олеша, чуть захмелев, все допытывался у своего молодого коллеги по перу Александра Гладкова:

– Нет, все будет хорошо. Правда? Я так думаю… Все будет хорошо! Да?

Хорошо для Юрия Карловича уже не стало. Валентин Катаев в повести «Алмазный мой венец» рассказывает, как однажды поздно ночью они с Олешей ждали трамвай. Олеша сказал: ничего не получится, я невезуч. В этот момент в темноте послышался перестук трамвайных колес. Но вдруг трамвай, не доехав до остановки метров двадцать, остановился и – уехал задом опять в темноту. Я же говорил, тоскливо сказал Олеша. Кажется, это едва ли не метафора его собственной литературной судьбы: трамвай был совсем рядом, но сесть в него так и не удалось.

«Три толстяка» начинаются такими словами: «Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле…»

Нет, Юрий Карлович Олеша не прав. Он сам был волшебником. Владел лавкой самых сказочных метафор. Но, к несчастью, этот волшебник жил в жестокий прозаический век. Век-волкодав загрыз Осипа Мандельштама. И он же придушил Юрия Олешу.

Изломы судьбы одной поэтессы. Адалис (1900–1969)

Золотые перья в основном в руках мужчин. Разве это справедливо? Есть Ахматова, есть Цветаева. А вот Адалис? Перо, возможно, не золотое, но уж точно позолоченное, серебряное. О ней и пойдет речь.

Аделина Адалис (настоящая фамилия Ефрон) – поэтесса. Незаслуженно забытая.

> От франкских войн и медленных побед,
> От пленных жен и бранного веселья
> Остался мне невыразимый след…

Это уж точно. Об Адалис чаще вспоминают в связи с биографией Валерия Брюсова, чем о ней самой. Такая уж литературная судьба. Удивительно литературная и более удивительная женская. С чего начать? Наверное, все же с биографической канвы.

Адалис родилась 13(26) июля 1900 года в Петербурге. Отец Алексей Висковатов умер в 1905 году, а через год скончалась мать. Девочку удочерили родственники со стороны матери, и она стала именоваться Аделиной Ефимовной Ефрон. О своих корнях написала: «Древняя рыцарская кровь моей матери слишком хорошо соединилась с простолюдинской и к тому же еврейской кровью отца». В краткой биографии 1925 года Адалис о себе написала несколько иначе: «Я родилась в 1899 году в имении моей бабушки на Литве в Беловежской Пуще. Детство жила в

Литве, а еще в Петербурге и Одессе. Училась в гимназии, потом в Новороссийском университете, окончила, училась еще в Театральной школе. Я пишу стихи с 8-ми лет. А лет с 10-ти называла себя поэтессой, чем очень потешала взрослых. Так и привыкла».

Первым учителем в поэзии стал для Адалис Эдуард Багрицкий, и в Одессе в 1918 году она вошла в его «юго-западную школу», где числились Юрий Олеша, Валентин Катаев и другие будущие знаменитости.

«В ту пору, – вспоминала Адалис, – по Одессе ходили и контрабандисты, и искатели приключений, и «стивенсоновские» моряки. Но контрабандисты были, в действительности, рабами тусклых, круглобрюхих скупщиков… Искатели приключений занимались карманной рулеткой и шантажом зубных врачей… А матросская жизнь была однообразна и сурова… Имитируя Марсель и Барселону, порт разноязычно бранился и благоухал смолой, а на уличных перекрестках, на теплом и сыром ветру, исступленно дрались ранцами школьники, а лавки «восточных сладостей» торговали поддельным турецким щербетом…»

И на этом фоне молодые одесские поэты грезили о «Бригантинах», «Каравеллах», «Персидах» и прочей экзотике. И вместе с тем овладевали «мастерством старинного стиха».

Из Одессы – в манящую Москву. «В Москву я уехала в 1920-м году по командировке Губпечати в Центропечать, а также на учебу в ВУЗ по разверстке. В Москве я познакомилась с поэтом и ученым Валерием Яковлевичем Брюсовым. Он оказал на меня большое влияние – занимался со мной историей, историей культуры и философией, латынью. Близкие отношения не мешали быть ему строгим учителем – в 1923 году я подготовилась к сдаче диссертации на право преподавания в высшей школе…»

Знания Адалис впитывала, как губка, и не случайно ее еще с гимназических лет звали Аделиной Брокгауз-Ефрон. Адалис служила в Наркомпросе (комиссариате просвещения) и одновременно была ректором и преподавателем этического техникума, который размещался по Садово-Кудринской улице. Помимо Брюсова, там преподавали Малишевский (ритмика и метрика), Антокольский (теория театра), Левит (Пушкин и поэтическая поэтика), Ромм (история поэтического языка), Зунделевич (семинар по Тютчеву) и другие специалисты с характерными фамилиями. Адалис приглашала и Пастернака, но он отказался.

Еще Адалис являлась секретарем Всероссийского союза поэтов, и, разумеется, ее знала «вся Москва». Живая, деятельная, прыткая, яркая. Брюсов посвятил ей стихи:

В год третий после Октября,
В разгаре яростного лета,
Когда вечерняя заря
Жгла предварение рассвета;
В лесу безмолвном я бродил,
Где тени зыбко расплывались,
И лишь полночную будил
Веселым окликом: Адалис!

Адалис приятельствовала с Мариной Цветаевой. Их объединяла «волна обоюдной приязни». Была в них схожесть: обе бунтующие, колючие, яростные. «Она часто забегала ко мне, – читаем мы в воспоминаниях Цветаевой, – чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно-острая… У Адалис лицо было светлое, рассмотрела белым днем в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств. Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света».

Про стихи Адалис Марина Цветаева отмечала, что они «хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские». В свою очередь Осип Мандельштам в своей статье «Литературная Москва» (1922), сравнивая поэзию Цветаевой и Адалис, отдавал явное предпочтение последней: «Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России – лженародных и лжемосковских – неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды».

Удивительно: Адалис выше Цветаевой?! Молва о стихах Адалис расходится широко, а тем не менее ее сборник стихов «Первое предупреждение» так и не был издан. Первая книга «Власть» увидела свет лишь в 1934 году, и тогда же Мандельштам, находясь в ссылке в Воронеже, пишет рецензию: «Прелесть стихов Адалис – почти осязаемая, почти зрительная – в том, что на них видно, как действительность, только проектируемая, только задуманная, только начертанная, набегает, наплывает на действительность, уже материальную… Книга ее одновременно и гордая, и робкая – одна из первых ласточек социалистической лирики, избавляющей поэта, то есть лирически работающего конкретного человека, от хищнической эксплуатации чувств, снимающей с него ревнивую заботу о поддержании своей исключительности».

В 1935-м Адалис пишет поэму «Полуночный разговор»:

… О далекий образ детства,
Белый голубь на ветру!

Прелесть полночи – в легком страхе.
Совхоз «Бурное» – у реки.
Вино Грузии «Карданахи»
Развязывает языки.
Затаившиеся, как дети,
Со стаканчиками в руках,
Мы сидели при малом свете
На соломенных тюфяках.
Ветер был синевато-розов
От подлунного блеска роз.
И директор куста совхозов
Странным голосом произнес:
– Вот идет и вздыхает речка,
Пахнут лавры и камыши…
Есть у каждого человечка
Потаенное дно души!
Там живут в золотом тумане,
В теплой сырости пропастей
Лишь виденья его желаний
И скрываемых им страстей…
Хорохориться может каждый, —
Здесь, однако же, не райком!
Исповедуемся однажды
О заветном и дорогом!..

Но исповедоваться с каждым годом становилось все труднее, да и хорохориться не позволяло время. Хотя были еще сборники – «Братство» (1937) и «Восточный океан» (1949), Адалис, начиная с 1925 года, занята в основном газетной работой. В качестве корреспондента «Нашей газеты», «Известий», «Правды» она кочует по Средней Азии и Закавказью. Выходит ее «Песчаный поход», книги очерков, она много переводит (Вургун, Лахути, Миршакар, Рагим, Токомбаев и т. д.), и Литературная энциклопедия представляет ее не как оригинального поэта, а как переводчика поэтов среднеазиатских и закавказских советских республик. Ее перевод «Индийской баллады» – поэмы Турсун-заде, – был превосходен и поднялся значительно выше, чем текст автора. За нее Турсун-заде получил Сталинскую премию, а Адалис достались крохи с банкетного стола.

В одном из писем 1948 года Адалис с горечью признавалась: «Все эти годы я очень много переводила с языков братских республик – так много, что ко мне стали относиться, как к хорошей переводчице, и мне стало трудней, чем прежде, печатать

свои новые – непереводимые стихи. Либо сама я стала писать хуже…»

Из письма Эренбургу (7 августа 1945): «…Я воображала – мне будет позволено писать, печатать свободные записки поэта. И когда этот детский расчет провалился, я трезво осознала себя вне печатной литературы: уступать и продолжать печатать только переводы – не могу».

В 60-е годы вышли три стихотворных сборника Адалис, но их почти не заметили. Переводчество съело ее собственный талант. Аделина Адалис умерла в 1969 году 13 августа, и, как написал один исследователь литературы, ее смерть «не имела большого резонанса».

Нам приходится в жизни круто,
Нам знакомы и страсть и страх, —
Но в решающую минуту
Мы оказываемся на постах!

Адалис и осталась «на посту», да «отряд не заметил потери бойца», как говорилось в светловской «Гренаде».

Вот такая литературная биография, если не вдаваться в ее глубины. А вот теперь о судьбе женской. «Летит женщина молодая / …света и молока!» – строчка из «Полуночного разговора». Энергетическая женщина, жаждущая любви. В письме к Марии Шкапской Адалис признавалась: «Я хочу всего и много. Кажется, я способна вместить много. А не способна – погибну, только и всего».

В Москве юная Адалис повстречала Брюсова, мэтра из мэтров поэзии Серебряного века. Ольга Мочалова вспоминала: «О знакомстве с Брюсовым рассказывали так: она встретилась с Валерием Яковлевичем у общих знакомых на вечере. Брюсов сидел мрачный, вялый. Он говорил, что нездоров, плохо себя чувствует. Адалис приняла живое участие в его заболевании желудочно-кишечного характера, дала ряд советов, как справляться с неполадками обмена веществ. Брюсов был удивлен, что молодая женщина так просто, по-домашнему говорит с ним, знаменитым поэтом, о низших проявлениях организма. А затем был роман. Адалис сопротивлялась, но, по словам насмешников, уступила под влиянием президиума». Ходили и такие шуточки: «Адалис, Адалис, кому Вы отдались? Бр-р-р… Брюсову…» Адалис цинично-откровенно сообщала посторонним в Союзе поэтов: «Валерий пахнет финиками и козьим молоком…» Или что-то вроде».

После Нины Петровской и Нади Львовой Адалис стала для

Брюсова очередной «жрицей любви» (его излюбленное словечко). Жесткие слова Владислава Ходасевича о Брюсове: «Он ни одной не любил, не отличал, не узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь. Но любовниц своих не замечал. «Мы, как священнослужители, / Творим обряд!» – слова страшные, потому что если «обряд», то решительно безразлично с кем…»

Это со стороны Брюсова. А со стороны Адалис – под ее жажду любить попал знаменитейший поэт, а магия таланта всегда притягивает. И вот Адель (Аделина) ежевечерне приходила к дому № 30 по Первой Мещанской улице, где жил Брюсов, расставляла полотняную раскладушку на тротуаре и томилась на ней под окнами обожаемого ей поэта. Милиция ее стаскивала с раскладушки: «Нарушаете, гражданка…» А гражданка изнывала от любви, пока ее не заметил и не отметил Брюсов. Ба, да она прехорошенькая!

Когда во тьме закинут твой,
Подобно снам Египта, профиль, —
Что мне, куда влекусь за тьмой,
К ослепительности ль, к катастрофе ль!

Разрез чуть-чуть прикрытых глаз,
Уклоны губ чуть-чуть надменных —
Не так же ль пил, в такой же час,
Ваятель сфинксов довременных?..

О, ради подобных брюсовских строк можно было и раскрыть раскладушку под окном! Войти в историю поэзии! Стать музой – мечта любой молодой амбициозной женщины! Вдохновить поэта, заставить признать:

Хочу и я, как дар во храм,
За боль, что мир зовет любовью, —
Влить в строфы, сохранить векам
Вот эту тень над левой бровью.

Итак, молоденькая провинциальная интеллектуалка получила желаемое: любовь, стихи и обучение поэтическому ремеслу (учитель Брюсов умел преподавать поэзию своим ученикам – среди них были Джек Алтаузен, Михаил Голодный, Михаил Светлов и другие).

Обучение технике словесного искусства закончилось беременностью Адалис. По свидетельству Мочаловой: «В тот год

Адалис ходила беременной ребенком Брюсова. С циничной откровенностью описывала состояние зародыша внутри себя. Предавалась наркотикам. Ребенок родился мертвым».

В письме к своей подруге, поэтессе Шкапской, Адалис писала: «Насчет мертвого ребенка – правда… это прошло легко, прошло мимо, не задев ни души, ни тела… Попробуйте понять возможно прозаичнее вот что: мое тело, несмотря на его мускулистость и гибкость, слишком слабо и дрябло для эмоций, которыми я одержима, а эмоции (душа то бишь) слишком дряблы и хрупки для напора интеллекта. Просто и неприятно…».

Марина Цветаева сообщала Волошину в письме от 14 марта 1921 года: «Брюсов – гад… У него с Адалис был ребенок, умер».

Но разве Брюсов любил по-настоящему Адалис? Та же Цветаева о знакомстве с Адалис: «А я Адалис. Вы обо мне не слыхали?» – «Нет». – «Вся Москва знает». – «Я всей Москвы не знаю». – «Адалис, с которой – которая… мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь очень его не любите? – «Как он меня». – «Он вас не выносит». – «Это мне нравится». – «И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились». – «Никогда». Новый смех, волна обоюдной приязни растет».

Итак, Цветаева – не соперница. Можно «владеть» Брюсовым в одиночку, но Адалис этого мало. И в начале 1924 года она, задыхаясь от переизбытка чувств, параллельно любит другого мужчину – Отто Шмидта. И сообщает Шкапской: «Я влюблена, влюблена, как сумасшедшая, влюблена до упаду и безнадежно. Он и смотреть на меня не хочет… Но и объектик я выбрала! Милая! Соберите своих чад и домочадцев, чертяк, стихи, телефоны и шелковые чулки. Скажите им, что в Москве живет Леонардо-да-Винчи, заведующий Госиздатом Отто Шмидт. Смейтесь, смейтесь, как бы мне не пришлось бежать от безнадежной любви в Калифорнию или Клондайк… Я изнемогаю о переизбытка жизненной силы…»

Весною того же года Адалис сообщает, что она уже разрывается между Брюсовым и поэтом Борисом Зубакиным, хочет сохранить обоих: «А может быть, еще кого-нибудь и еще кого-нибудь?..» Вот уж воистину: «Люблю, как тысяча испанцев».

В октябре 1924 года умирает Валерий Брюсов, не дожив двух месяцев до 51 года. Адалис 25 октября пишет Шкапской: «… Плакала я только до тех пор, пока он не умер. На вторую ночь я осталась с ним в зале института (это была ночь 10-го, на которую у нас было назначено свидание). Я читала ему Пушкина и целовала его: свидание так свидание. Говорят, слух функционирует 45 часов после смерти, значит, он слышал…»

Далее в письме Адалис сообщает, что она больна, но тем не менее жаждет радостей: «Хочу наслаждений! Боже мой, жить осталось так мало (это твердо решено). В цивилизованных странах висельнику дают ужин, вино и женщину. Я тоже хочу».

Нет, Адалис не повесилась, хотя такие мысли и гнездились в ее голове. 11 февраля 1925 года она сообщает Шкапской: «В Москве мне везет, начинает везти на славу. Даже смешно немножко и жаль, что Валерий Яковлевич не дождался: ему дико хотелось этого». Брюсов писал Адалис:

Являй смелей, являй победней
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней,
Будь мрамором и медью будь.

Мрамором и медью – не для Адалис. Она чересчур живая и трепетная, и опять же «переизбыток чувств».

Октябрь 1925-го: «Я влюблена. Самое ужасное, что любовь эта «поэтична» в прямом и худшем смысле слова. «На узкой лестнице замедленные встречи» – раз, «и загадочных, древних ликов на меня поглядели очи» – два. До Ахматовой дошла. Довели. Умираю. «Я из рода бедных Азров». Похороните меня в белых цветах и так далее…»

Но вот замужество. Муж – писатель Иван Сергеев (автор книг о баснописце Крылове и «Страны сокровищ»), по портрету Адалис: «длинный и в пенсне, тоже красивый». И что счастье? Адалис – Шкапской: «У меня сын… Какие же тут стихи? Не хватает времени и животного тепла…»

«Милая, я живу чудовищно. Я живу среди страшных и безумных людей, которые ненавидят меня страшной и убийственной ненавистью за… «безбожие», за «коммунизм, за открытие форточки зимой; за то, что сынишка говорит: «Ленин», за то, что не крещен; за то, что, по-моему, скарлатина – от заразы, а не от судьбы; за то, что я «странная какая-то»; за то, что у меня нет хорошей шубы…»

И плюс нелады с мужем, они оказались совершенно разными людьми, а Адалис мечтает, «чтобы этот человек мирно ушел от меня. А сын любит его больше, чем меня, не может быть долго без него, потому что я как мать-хозяйка, мать-няня никуда не гожусь. Я умею только любить сына до смерти и зарабатывать для него деньги, а тетешкать и нянчить я не могу».

Вот такая коллизия: поэт и быт. Поэтесса и семья. Стихи и кастрюли. И еще разногласия мировоззренческие, идеологические: «Таких людей, как мой муж, не выморозит

никакой Октябрь. Мой муж – вполне и глубоко советский человек. Он общественник…» А Адалис сама в себе, в своем внутреннем мире. И как жить вместе?

В январе 1931 года Адалис сообщает Шкапской: «С Ваней разошлась…» И далее: «Мысль о смерти – чисто рассудочная, без склонности к самоубийству…»

Сын Володя остался с ней, и Адалис замучила его любовью и заботой. Как вспоминает родственница Екатерина Московская: «Баловала она его до безумия, конечно, – чем угодно, только бы жил! Мать не теряющая понять это не в состоянии. Парень эгоистичный тем паче. Ему нужно куда-то оторваться, а мать волнуется, чувствует опасность и не отпускает… Тогда он сажает ее на шкаф, маленькую, легкую, на высокий шкаф, хамит и угрожает. Ее захлестывали приступы ужаса, волнений, и она могла преследовать его, убегающего на свидание на такси, он – по тротуару, а она – вдоль. И со всех сторон: сумасшедшая, ненормальная, припадочная…

В родне – в детях, внуках, – ходили присказки и выражения: «Ну понесло, как Аделину…», «Ну, замучай себя, как Аделина…», «Ну, прицепилась к порткам, как Аделина…»

В ней бушевало еще нечто, заложенное еще демоническим оккультистом Валерием Брюсовым. Вспоминая годы гражданской войны, Адалис писала:

Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз разбить пытались —
восемь раз стекали вниз…

Вот эта война постоянно жила в душе Аделины Адалис. И все эти безнадежные попытки «восемь раз». Она хотела и всегда одного, но получала другое. «Человек – не то, что видно глазу», – это Адалис поняла давным-давно.

Генсек литературы. Александр Фадеев (1901–1956)

Генсек литературы – это Александр Фадеев. Не очень-то длинная жизнь (всего 55 лет), но какая бурная, динамичная и трагическая. Сегодня сказали бы так: креативная жизнь с роковым исходом.

Достал картотеку. Мелькают заголовки статей: «Триумф и трагедия Александра Фадеева», «Писатель и вождь», «Божьей милостью государственный чиновник», «Литературный генерал», «Смерть героя», «Выстрел в себя»… Но читатели не ведут картотек и не собирают досье, поэтому нужно выстроить хотя бы краткий биографический ряд. Тем более что молодое поколение не совсем в курсе, кто был такой Фадеев. Обаяние «Молодой гвардии» давно выветрилось, да и какие ныне молодогвардейцы-подпольщики?! И кто пойдет сегодня за Олегом Кошевым и станет подражать Любке Шевцовой. Сами понимаете, какое время на дворе. Не жертвенно-геройское, а исключительно карьерно-денежное. И ценности иные, не идеалы революции и не защита Родины, а поклонение Маммоне, богу наживы. Деньги, другими словами, бабло!. А Фадеев? Он совсем из другого времени.

Твердая революционная поступь

Александр Александрович Фадеев родился 11 (24) декабря 1901 года в городе Кимры Тверской губернии. Его мать Антонина Кунц, обрусевшая немка, была пропитана революционными

идеями и не случайно полюбила учителя – народовольца Александра Фадеева, заключенного в тюрьму, именно в тюрьме она и познакомилась с будущим отцом писателя. Но брак оказался несчастливым, и учитель-народоволец ушел из семьи, оставив жену с тремя детьми. Сын Александр тяжело переживал уход отца, ему очень не доставало наставника в жизни, впоследствии роль отца заменил ему не кто иной, как Иосиф Сталин, если следовать, конечно, теориям Зигмунда Фрейда. Мать вышла замуж за другого человека, тоже настроенного весьма революционно. Короче, все детство Фадеева прошло в окружении людей, довольно радикальных, мечтавших о переустройстве России. Кстати говоря, один из двоюродных братьев Фадеева, Всеволод Симбирцев, был сподвижником героя Гражданской войны Сергея Лазо и вместе с ним был сожжен в паровозной топке.

Семья Фадеева перебралась на Дальний Восток, там он учился в коммерческом училище и там же в 17 лет вступил в РКП(б). Большевики вели яростную борьбу за дальневосточный край, а юный партиец Саша Фадеев под партийной кличкой Булыга вступил в партизанский отряд. Сначала рядовой боец, а в конце уже комиссар стрелковой бригады. В феврале 1921 года был избран делегатом 10-го съезда партии, проходившего в Москве, и вместе с другими делегатами участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. А затем снова Дальний Восток. Бои, ранение. О том времени была сложена песня «По долинам и по взгорьям / Шла дивизия вперед, / Чтобы с бою взять Приморье – / Белой армии оплот… / Штормовые ночи Спасска, Волочаевские дни. / Разгромили атаманов, / Разогнали воевод / И на Тихом океане / Свой закончили поход».

Молодой человек, прошедший суровую школу Гражданской войны, являлся ценным кадром, Фадеева оставили в Москве, и он был направлен на учебу в Горную академию. Но Фадеев сумел осилить только два курса. Перевелся в Электротехнический институт, но и тут учеба шла туго. Смерть Ленина круто изменила его судьбу: Фадеев был мобилизован на партийную работу. Краснодар, Ростов-на-Дону. Помимо секретарства, занимался редакторской работой: газета «Советский Юг», журнал «Лава». И тут Фадеев обнаружил, что писательство ему ближе, чем просто партийная работа. Его первые рассказы напечатал журнал «Молодая гвардия».

Начало литературного пути

После повести «Разлив» Фадеев взялся за роман «Разгром», ему шел 24-й год. Получил творческий отпуск и в сентябре 1926 года вернулся в Москву с готовой рукописью. «Разгром» – это лучший роман Фадеева. Яркий, запоминающийся своими сражениями и своими героями. Особенно выпуклый образ командира партизанского отряда Левинсона. Как говорится, стопроцентный положительный герой. Антипод его – интеллигент Мечик, оказавшийся косвенной причиной разгрома отряда.

Никаких полутонов и нюансов, все предельно просто: белое и черное, свои и чужие. То было время, когда новая жизнь с редкой определенностью подняла идеологию и потребовала точнейшей терминологии: это хорошо, а это подло, это здорово, правдиво, а это лживо, уклончиво и т. д. И в особенности резко, революционно-прямолинейно вставала идеология в искусстве и его людях, ну, а в литературе классовый подход просто доминировал и подавлял.

В этой жесткой парадигме писал и Фадеев. Писал он в течение трех десятилетий, а оставил после себя два незаконченных романа, два ненапечатанных, несколько рассказов, сотню статей… Сам говорил: «Писал много, а написал мало». А почему? Да потому, что стал литературным чиновником. Позднее признавался, что «уйма времени» была потрачена на псевдолитературную возню, на мелкие споры и разбирательства, а «жизнь ушла вперед».

На командных должностях

Фадеева призвали на работу в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей). Партия видела в новой организации одно из орудий культурной революции, цель которой отодвинуть от литературы старых «буржуазных» писателей и открыть дорогу молодым творцам рабоче-крестьянского происхождения. Эту задачу формулировал журнал «На посту». Возникло даже течение «напостовство», которое яростно критиковало всю прежнюю дореволюционную литературу. Попутно доставалось Горькому, Алексею Толстому и Маяковскому. Среди «неистовых ревнителей» выделялись руководители РАППа Леопольд Авербах и Александр Фадеев, которых связывала между собою дружба, дружба по революционным целям, выраженная в формуле «срывания всех и всяческих масок» и в призывах учиться у «психологических реалистов» (главным образом у Льва Толстого) и отрицания романтизма. Фадеев выступил со знаменитой речью «Долой Шиллера!» И кого вместо Шиллера и Гейне? Ударников

производства!.

РАПП заигрался, и партия его одернула. В 1932 году Ассоциация пролетарских писателей была ликвидирована. Наступило время по-новому организовать писательский цех, создать что-то вроде министерства по делам литературы. К подготовке первого съезда советских (не только пролетарских!) писателей был привлечен Александр Фадеев. Максиму Горькому не понравилась фигура Фадеева, и он написал письмо Сталину 2 августа 1934 года: «Фадеев остановился в своем развитии, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился…»

Сначала Фадеев в Союзе писателей СССР был на третьих-вторых ролях, а потом поднялся до первой. С 1946 по 1953 год занимал пост генерального директора и председателя правления Союза СП. Фадеев стал литературным Сталиным: кого-то выдвигал, кого-то задвигал, хвалил, рулил литературным процессом. А временами от невыносимой ноши впадал в запои. Примечательно, что Сталин прощал ему мелкие грехи.

– Где вы пропадали, товарищ Фадеев?

– Был в запое, – честно отвечал Фадеев.

– А сколько у вас длится такой запой?

– Дней десять-двенадцать, товарищ Сталин.

– А не можете ли вы как коммунист проводить это мероприятие дня в три-четыре?

Конечно, это байка, но Сталин действительно прощал Фадееву многое. Друга Фадеева по РАППу Авербаха расстреляли в 1937 году, а его не тронули. В НКВД на Фадеева было собрано большое досье, один росчерк пера – и все. Нет, Сталин сохранил Фадеева для своих литературных и идеологических битв. Более того, в 1939 году ввел его в состав ЦК партии.

Сталин и Фадеев

Фадеев был нужен Сталину как важная фигура на шахматной доске. Он любил разыгрывать сложные партии, в которых ради своих комбинаций жертвовал любыми фигурами. А нужен ли был Фадееву Сталин? Помимо комплекса отца, Фадеев свято верил Сталину как вождю и учителю, который не мог ошибаться в принципе. Сталин был для Фадеева образцом революционной необходимости: надо – значит надо, и никаких разговоров и сомнений. Сомнения возникали, когда арестовывали людей, которых Фадеев близко знал и доверял им. Тогда – и это было не

раз – Фадеев делал робкие попытки заступиться за них. Однажды Сталин с раздражением заметил ему:

– Все ваши писатели изображают из себя каких-то недотрог. Идет борьба, тяжелая борьба. Ты же сам прекрасно знаешь, государство и партия с огромными усилиями вылавливают всех тех, кто вредит строительству социализма, кто начинает сопротивляться. А вы вместо того, чтобы помочь государству, начинаете разыгрывать какие-то фанаберии, писать жалобы и тому подобное.

Возражать вождю было невозможно. Оставалось одно: молча соглашаться на гибель Мандельштама и Лившица, Пильянка и Бабеля, Клюева и Клычкова, Павла Васильева и Бориса Корнилова и многих-многих других. А бесконечная череда арестов и травли (от Зощенко до Варлама Шаламова). И на фоне всех этих убитых, затравленных и гонимых писателей возвышался генсек советской литературы Александр Фадеев, избранный в самые важные органы власти – и в ЦК, и в Верховный Совет, награжденный многими орденами, увенчанный Сталинскими премиями, ему даже присудили научную степень доктора филологических наук без защиты диссертации. Литературный корифей. Но бедный Александр Александрович забыл наставление классика: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Гнева почти не было, были указания и советы, а вот любовь оказалась чрезмерной, но она же и вызывала страх. В своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург отмечает, что у Фадеева к вере в Сталина примешивался страх. «Раз полушутя он сказал: «Я двух людей боюсь – мою мать и Сталина». Мать у Фадеева была крутой женщиной…

Пламенная вера

Вычленим несколько пассажей из речей и статей Фадеева:

«Мы, советские писатели – и старые, и молодые, и те из нас, кто родились при советском строе, и те, кто уже свою сознательную жизнь начали при старом строе, все мы, как писатели, взращенные нашим советским обществом, – дети советского народа, воспитанники партии, великой партии большевиков. И это обстоятельство сделало из нас писателей нового типа».

«Партия в Советской стране есть лучшее и наивысшее, что мог выдвинуть народ за последние полвека жизни России, за тридцать с лишним лет строительства социализма. У партии и у художественной литературы в нашей стране одни цели…»

«Советское искусство высоко поднимает знамя социалистической морали нашего народа, знамя новой человечности, знамя социалистического гуманизма, благородное знамя Ленина…» (Это после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде партии).

«Социализм наступает для того, чтобы освободить и обогатить индивидуальность…»

Индивидуальность? Необходимость «говорить своим индивидуальным голосом»? Это все пустые слова, ибо Фадеев одергивает тут же «индивидуалистов»: «… Но появляется у нас разновидность барства, которое состоит в том, что средненькая, но «чисто» сработанная, то есть вымученная в течение трех лет, повестушка с претензией на «философию» почему-то считается более благородным делом, чем боевой, злободневный отклик, который тотчас же действует на массу, ведет ее за собой. Не надо снижать художественные требования ни к какому из видов литературы, но надо все виды оценивать по справедливости, а не с гнилой, эстетской предвзятостью».

Вот так: вести за собой массу! А не заниматься гнилым эстетствующим индивидуализмом! А послесталинская «оттепель» как раз и хотела освободиться от шестеренок мощного идеологического механизма сталинского режима, чтобы вздохнуть полной грудью и писать так, как он видит и дышит (помните Булата Окуджаву? «Каждый пишет, как он слышит, / каждый слышит, как он дышит, / как он дышит, так и пишет, / не стараясь угодить… / Так природа захотела, / почему – не наше дело, / для чего – не нам судить»).

Александр Фадеев повелевал писателям писать, как положено, как надо. А они уже ему не подчинялись, и это стало трагедией жизни Александра Александровича. Вера, которой он служил, рассыпалась в прах…

«Молодая гвардия» и «Черная металлургия»

Фадеев рьяно руководил Союзом писателей, и совсем не хватало времени писать самому. За роман «Последний из Удэге» он брался чуть ли не каждый год, в течение 12 лет: составлял планы, писал, переделывал, считал, что роман не получился. Задуманное им масштабное повествование никак не вытанцовывалось. Он отбросил сагу об уникальной малой народности и взялся за новый сюжет, который «подбросила» писателю война: роман «Молодая гвардия». В 44 года Фадеев с энтузиазмом принялся его писать. Первая редакция вышла в 1945

году, и книга была удостоена Сталинской премии. Затем Сергей Герасимов экранизировал ее, и вся страна полюбила юных героев-подпольщиков: Олега Кошевого, Ульяну Громову, Сергея Тюленина, Любку Шевцову, Ивана Земнухова и их товарищей. Это были новые иконы патриотического воспитания молодежи (не последнюю роль сыграли в этом прекрасные работы молодых актеров Инны Макаровой, Нонны Мордюковой, Вячеслава Тихонова и других)…

В основе «Молодой гвардии» лежал подвиг молодых подпольщиков в Краснодоне, в Донбассе, однако Фадеев в своем романе ненамеренно (опять же под давлением идеологии) перемешал правду с ложью и оклеветал невинных, к примеру, Виктора Третьякевича в образе предателя Стаховича, а также двух девушек – Вырикову и Лядскую. В итоге разгорелся скандал. Но люди – это ерунда, а вот то, что Фадеев неправильно показал в своем романе роль партии, – это было главной ошибкой. Последовал грубый окрик в газете «Правда». И Фадееву пришлось засесть за вторую редакцию «Молодой гвардии» (1951). В итоге получился литературный успех, но с какой-то роковой червоточиной.

Фадеев пытался реабилитироваться в новом романе «Черная металлургия», но с ним вышел полный провал. В 1951 году Георгий Маленков, один из первых соратников Сталина, вызвал Фадеева и предложил написать роман «Черная металлургия» о некоем грандиозном открытии: «Вы окажете большую помощь партии, если напишите это». Изобретение оказалось блефом, а «враги» – геологи были просто оклеветаны. Фадеева это раздавило: «Мне остается одно – выбросить рукопись. Да и себя – новой книги я уже не начну…»

Осознание итогов

Фадеев в марте 1951 года написал письмо Сталину с просьбой освободить его от обязанностей генерального секретаря Союза писателей, мотивируя тем, что ежедневно совершает «над собой недопустимое, противоестественное насилие», заставляя себя делать не то, что является призванием его жизни.

Его, разумеется, не освободили (дезертир с идеологического фронта?!). Тогда он потребовал провести перестройку Союза так, чтобы все ведущие писатели страны, на ком лежит «бремя руководства», были по меньшей мере на 4/5 освобождены от него, дабы их творческая работа над собственными произведениями стала их главной деятельностью. Но и это пожелание-требование

Фадеева не нашло своего воплощения.

В марте 1953 года умер Сталин. Все писатели были в растерянности и не знали, как жить и писать дальше. Не сворачивая с наторенной идеологической дорожки, Фадеев в «Литературной газете» разгромил роман Василия Гроссмана «За правое дело», который ему нравился, но который рассердил Сталина при его жизни. После разгромной рецензии пришел к Эренбургу: «Вы в меня не бросите камень… Я попросту испугался». Эренбург спросил: «Но почему после его смерти?» Фадеев ответил: «Я думал, что начинается самое страшное».

Очевидно, Фадеев думал, что начнут сводить счеты и ему припомнят многое, в том числе и панегирик «Встречи с товарищем Сталиным», который он редактировал и где выступали летчики, артисты, писатели, архитекторы. О своих личных встречах со Сталиным Фадеев умолчал. Но когда состоялся в 1951 году его 50-летний юбилей в зале Чайковского, Фадеев вдохновенно поклялся быть верным товарищу Сталину до «последнего вздоха», отождествляя, конечно, имя Сталина с идеей коммунизма. Но внутри сомнения давно его грызли, и, подвыпив, своему соседу по Переделкино Борису Пастернаку Фадеев часто изливал душу: «Боренька, ты у нас один-единственный, кто не врет». А далее следовали откровения, чем недоволен Фадеев, что его раздражает и что бы он хотел поменять в жизни страны и в писательской сфере. На следующее утро жена Пастернака, Зинаида Николаевна, посылала домработницу на дачу Фадеева с запиской: «Ты у нас не был и ничего не говорил».

В мае 1952 года Фадеев из больницы, где он в очередной раз лечился (у него был целый букет различных болезней да плюс еще такой недуг, как алкоголизм), написал письмо Алексею Суркову с просьбой передать его в ЦК Хрущеву. В этом письме Фадеев с горечью пишет, что «советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству, за последние 3–4 года не только не растет, а катастрофически катится вниз…» Далее идет подробный разговор о прозе, поэзии и драматургии. И горькие сетования, что оргработа не дает ему сконцентрироваться над собственным романом «Черная металлургия», а «в этом романе сейчас вся моя душа, все мое сердце. Кому, как не тебе, известно, что я не холодный сапожник в литературе?..»

Реакцией на письмо Фадеева последовал ответный ход руководителей Союза писателей Суркова, Симонова и Тихонова, которые сообщали первому лицу в стране, то есть Хрущеву, что письмо Фадеева содержит «неверную паническую оценку советской литературы» и, к тому же, совсем неприемлемую

критику руководителей Союза. «Для нас ясно, что на характер и на тон письма не могло не повлиять болезненное состояние, в котором находится в настоящее время А. А. Фадеев…» То есть коллеги Фадеева по руководству Союзом попросту топили своего генсека.

В 1955 году должность генерального секретаря в Союзе писателей ликвидировали, как, впрочем, и в партии. Первым секретарем стал Алексей Сурков, а Фадеев оказался всего лишь одним из одиннадцати секретарей. И никакого министерского сана.

Фадеева избрали делегатом XX съезда партии, но по болезни он не смог принять в нем участие, а там!.. А там по Фадееву катком проехал Михаил Шолохов, его давний друг: «Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности. Остальным секретарям работать с ним стало невозможно. Пятнадцать лет тянулась эта волынка. Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева пятнадцать лучших творческих лет его жизни, а в результате мы не имеем ни генсека, ни писателя. Некогда ему было заниматься такими «пустяками», как писание книг…»

Помимо удара по самолюбию, Фадеев получил еще более страшный удар: развенчание культа Сталина, своего кумира, которому он служил верой и правдой. Выходит, служил и молился мнимому Богу? Вывод страшный, он многим испортил жизнь. А тут началось еще возвращение невиновных, осужденных и отсидевших в лагерях писателей. И каково было встречаться с ними Фадееву? Он не подписывал, как генсек, приказы об аресте и уничтожении, но все это происходило с его молчаливого согласия. Да, он многих спас от расправы, но скольких не защитил? Недаром в страшные 30-е годы было популярно двустишие Агнии Барто: «Шесть злодеев / Седьмой – Фадеев». По Москве бродили слухи, что один вернувшийся из заключения писатель публично назвал Фадеева негодяем и плюнул ему в лицо, после чего повесился. Многие отказывались здороваться с Фадеевым. Не смотрели ему в лицо, отворачивались. Не простил Фадееву своей горькой судьбы Иван Макарьев, друг детства и соратник по РАППу. Короче, много было неприятных встреч у литературного генсека. По ночам его мучила совесть, недаром он так рано поседел, и он все время после XX съезда ревизовал свою жизнь. Может быть, ему не давала покоя поэтическая строка Николая Тихонова: «Неправда с нами ела и пила».

После XX съезда партии многие писатели смогли перестроиться, вышли из тени Сталина и вздохнули свободной

грудью, как, например, Константин Симонов, но Фадеев так и не смог. В финале своего давнего романа «Разгром» им была написана фраза: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности». Но сам автор так поступить оказался не в состоянии. Жизнь потеряла всякий смысл, и раздался роковой выстрел. Это произошло 13 мая 1956 года. На 56-м году жизни Фадеев поставил финальную точку.

Предъявленный счет

4 мая Фадеев написал письмо литературному критику Ермилову: «Дорогой Вова!» В нем благодарил за поддержку и не скрывал своей обиды, как его задвинули в руководстве Союза писателей, а выпятили вперед Суркова, который, по мнению главного идеолога Суслова, «зря скромничает» и «недооценивает» свои силы. Из письма видно, как в душе Фадеева бушевала обида. Но главное было все же другое: он хотел предъявить власти свой счет и объясниться с потомками, почему он решил преждевременно уйти из жизни. И Фадеев в день самоубийства пишет письмо в ЦК партии. Вот это письмо:

«Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; мало-мальски способные создавать истинные ценности умерли, не достигнув 40–50 лет.

Литература – эта святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых «высоких» трибун – таких, как Московская конференция или XX партсъезд, раздался новый лозунг «Ату ее!» Тот путь, которым собираются «исправить положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и поэтому не могущих сказать правду, – и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой все той же «дубинкой».

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать. Нас после смерти Ленина низвели до

положения мальчишек, уничтожили, идеологически пугали и называли это – «партийностью». И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность – при возмутительной дозе самоуверенности – тех, кто должен был это бы все исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и – по возрасту своему – скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить…

Созданный для большого творчества во время коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушивались на меня – кем наш народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература – это высший плод нового строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учениям, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа – Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

Ал. Фадеев 13/V.56.»

Такое вот письмо. Закроем глаза на некоторый нарциссизм письма, как Фадеев оценивал свой литературный талант, главное: суровый приговор системе, которой рьяно сам же служил Александр Александрович. Служил-служил и вдруг прозрел. Письмо это после самоубийства Фадеева было изъято соответствующими органами и засекречено.

Многие писатели пытались узнать, что же такое написал Фадеев в своем предсмертном письме, но всегда наталкивались на запрет. Пытался узнать и Александр Твардовский. Ему Хрущев ответил так: «В партии есть такие тайны, которые могут знать только два-три человека, товарищ Твардовский». Но тайное всегда когда-нибудь становится явью. И вот спустя годы, в 1990-м, в эпоху горбачевской гласности письмо Фадеева было впервые напечатано в архивном разделе журнала «Известия ЦК КПСС».

Смерть и отклики

В тот роковой день 13 мая 1956 года Александр Фадеев был абсолютно трезв. Другое дело, что он давно пребывал в глубочайшей депрессии. Он написал два письма, одно жене Ангелине Степановой, другое в ЦК КПСС. Лег на диван, обложился подушками и застрелился. Прочие подробности опустим: они уместны лишь в романе.

В газетах появился – без преувеличения можно сказать – позорный некролог.

Трагедия жизни Фадеева была объяснена примитивной причиной – алкоголизмом. «В последние годы А. А. Фадеев страдал тяжелым прогрессирующим недугом – алкоголизмом, который привел к ослаблению его творческой деятельности. Принимаемые в течение нескольких лет различные врачебные меры не дали положительных результатов. В состоянии тяжелой душевной депрессии, вызванной болезнью, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством».

Все очень просто, и система тут ни при чем.

У самоубийства нет одной причины. Причин много, и они в итоге сплетаются в один тугой узел, достаточно вспомнить гибельные концы Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой. Вот и у Фадеева оказался целый клубок причин. Об этом написал Эренбург в мемуарах, что, наверное, причин было много – в жизни Фадеев не щадил себя; пока стояла суровая зима, он держался, а когда люди заулыбались, стал размышлять над пережитым, написанным; все как-то обнажилось; тут-то начал отказывать мотор…

Смерть Фадеева имела широкий отклик на Западе, и особенно во Франции. Газета «Экспресс» написала, что Александр Фадеев – первая жертва разоблачения культа личности.

«Фигаро литерэр»: «Из Москвы сообщили о смерти Александра Фадеева, известного на Западе повестью «Молодая гвардия», которой коммунистические партии создали успех в

целях пропаганды. «Юманите» преувеличивает, говоря о смерти «великого писателя»; Фадеев не более велик, чем Андрэ Стиль у нас.

Значение Фадеева объясняется не его творчеством. Будучи длительное время генеральным секретарем Союза советских писателей, он был орудием сталинской диктатуры в области литературы… «Правда» говорит о злоупотреблении алкоголем: вполне вероятно, что властелин с изъянами искал убежище в алкоголе… Трагизм не пощадил советскую литературу. Есенин и Маяковский покончили с собой, потому что задыхались от нарождающейся диктатуры… Ныне Фадеев умирает от смерти страшной диктатуры…»

Эльза Триоле, сестра Лили Брик и жена писателя-коммуниста Луи Арагона: «Писатель Фадеев обладал блестящими данными политического деятеля. Он проводил литературную политику, вел борьбу на литературном фронте и стал на зыбкую почву. Но он не писал…

Вспоминаются его последние слова. Я сказала ему: «Как ты думаешь, советские писатели никогда не заговорят о несчастье, постигшем их страну, об осуждении невинных, о тысячах драм?»

– Не могу тебе этого сказать, – ответил он, – это темы, которые меня соблазнить не могут, это не сюжеты для меня…

Да, Фадееву нужен был восторженный сюжет… Пройдет еще много времени, прежде чем невысказанный героизм этих невинных сможет стать предметом восхваления. Да, странно и волнующе думать, что эти невинные, эти реабилитированные коммунисты не испытывают горечи, ни требовательности. С их точки зрения все, что с ними произошло, – это всего лишь этап борьбы…»

На родине Фадеева ходило множество слухов о причине его гибели, но все сходились на том, что алкоголь – это побочная причина. Кто-то придумал за Фадеева строку из его предсмертного письма: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко». И народ подхватил сказанную фразу приятелем Фадеева Юрием Либединским: «Бедный Саша! Он всю жизнь простоял на часах, а выяснилось, что стоял на часах перед сортиром».

О Фадееве написано много в различных мемуарах, и не могло быть иначе: он – знак, символ той сталинской эпохи. Приведу лишь одно стихотворение малоизвестного поэта Константина Левина, посвященного памяти генсека и писателя:

Я не любил писателя Фадеева,
Статей его, идей его, людей его,

И твердо знал, за что их не любил.
Но вот он взял наган, но вот он выстрелил —
Тем к святости тропу себе он выстелил,
Лишь стал отныне не таким, как был,
Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,
Был выученным на кнуте и прянике,
Знакомым с мужеством, не чуждым панике,
Зубами скрежетавшим по ночам.
А по утрам крамолушку выискивал,
Кого-то миловал, с кого-то взыскивал.
Но много-много выстрелом тем высказал,
О чем в своих обзорах умолчал.
Он думал: «Снова дело начинается».
Ошибся он, но как в галлюцинации,
Вставал пред ним весь путь его наверх.
А выход есть. Увы, к нему касательство
Давно имеет русское писательство
Решишься – и отмаешься навек.
О, если бы рвануть ту сталь гремящую
Из рук его, чтоб с белою гримасою
Не встал он тяжело из-за стола.
Ведь был он лучше многих остающихся,
Невыдающихся и выдающихся,
Равно далеких от высокой участи
Взглянуть в канал короткого ствола.

Немного воспоминаний

И все же добавим самую малость мнений и оценок Александра Фадеева. Николай Чуковский вспоминал:

«Он был человек редкой красоты и обаяния, в каждом слове которого поблескивали и ум, и талантливость… смущали жесткие нотки, иногда проскальзывающие в его речах и смехе. Да и, кроме того, мы все слишком зависели от него, чтобы любить его чистой, беспримесной любовью. От него зависели пайки, которые мы получали тоже по его строго иерархическому принципу, от него зависело распределение жилья, которого у нас не было, и возможность напечататься, которая была столь узка, и сталинские премии, и строго нормированная газетная слава, и вообще вся та оценка твоей личности, от которой полностью зависели и ты сам, и твоя семья. Поэтому даже эти благодушнейшие добрососедские посещения (речь идет о Переделкино. – *Ю. Б.*) имели привкус

начальственного надзора…

Сам он пил, почти не закусывая. Было страшно смотреть, сколько водки он в состоянии проглотить. Пьянел он медленно, лишь лицо его постоянно краснело и от этого становилось еще красивее под седыми волосами. Речи его делались сбивчивыми, но в них появлялись трагические и даже жалобные нотки. На что он жалуется, нельзя было понять, он, казалось, хотел сказать нам: я не такой, как вы думаете, я такой же, как вы. И оставалось ощущение исполинских бесцельно растрачиваемых сил, и становилось жалко его. Мы-то думали, что он человек, творящий законы времени, а он еще больше раб этих законов, чем мы…»

Женщинам Фадеев нравился. Эффектный мужчина, как бы сказали сегодня, с харизмой. Обаяние его было гипнотизирующим. Из письма Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой Фадееву: «… А видеть тебя я очень хочу, от тебя зарядку получаешь. Может, позвонишь…»

Первой женой Фадеева была писательница Валерия Герасимова. Они прожил 7 лет, но в конце концов расстались – что называется, не сошлись характерами. Потом был брак с актрисой Ангелиной Степановой. Полного единения не вышло: она была занята театром, он – литературой. Короткий роман с поэтессой Маргаритой Алигер. И отчаянная попытка вернуть давнюю юношескую любовь к гимназистке Асе Колесниковой. После 30-летней разлуки Фадеев вызвал ее в Москву, и, конечно, разбитая давно чашка не склеилась. Последнее увлечение Фадеева: простая баба, жена электромонтера в Переделкино. И уже не любовь, а всего лишь плотский фарс, от депрессии и отчаяния… И еще один печальный штрих из личной жизни писателя: дочь Фадеева от Маргариты Алигер – Мария совсем молодой женщиной покончила с собой.

За несколько дней до смерти в письме к болгарскому писателю Людмилу Стоянову Фадеев оптимистически писал: «Нам всем столько пришлось в жизни пережить, но мы не согнулись в борьбе и бодро смотрим в будущее».

Умел Фадеев подбадривать людей и заряжать их верой, что все будет замечательно. Но себя никак не мог успокоить, все глубже погружаясь в черную бездну.

Уроки Фадеева

Ошибки и заблуждения Александра Фадеева. Его вершина и его падение. Могут ли нас научить его уроки?

Через 32 года после гибели Фадеева в журнале «Москва» (№ 3

– 1988) был опубликован «Зрячий посох» Виктора Астафьева. Там есть большой пассаж о Фадееве:

«…люди читали книгу постановлений секретариата СП СССР с сотнями фамилий писателей, за малым исключением реабилитированных посмертно. И этот седой, благообразный, величественный даже в гробу человек имел прямое отношение к их умерщвлению, затем и к реабилитации. Ему бы хвалить себя за доброту, за то, что вот «осознал», «пожалел» пусть и убиенных, как это торопливо делали в те дни костоломы и насильники всех мастей и званий, а он взял и сам себя реабилитировал. Пулей в сердце. «Нет, лучше откровенный выстрел, так честно пробивающий сердца», – написала в заключении одна поэтесса (реабилитированная посмертно), и строки эти, думается мне, слуха Фадеева не миновали.

Я полагаю и так хочу думать – это нас, литмладенцев, предупреждал Фадеев тем выстрелом: не живите, как я, не живите! Не проматывайте свои таланты в речах, на заседаниях, в болтовне и пьянстве, не крутитесь, не вертитесь, не суесловьте, не лижите сапоги вождей, как бы ни были они велики, а сидите за столом, работайте, чтоб не было такого движения, как у меня: от «Разгрома» – честной и долговечной книги, до слащаво-жалких, беспомощных главок о «рабочем классе» в «Черной металлургии», которые лизоблюды тут же начали возносить чуть ли не до масштабов «Войны и мира»…»

Виктор Астафьев не повторил ошибок Александра Фадеева. А что касается «литмладенцев» последующих после Фадеева поколений, то многие суетятся, выкаблучиваются, занимаются самопиаром. Бегут в Кремль, припадают к сапогам и с удовольствием лижут их. Что можно сказать: рабы власти, а не свободные, независимые творцы. Урок Фадеева им не впрок. Фадеевский выстрел прогремел, а они его даже не услышали.

Путь на Голгофу. Анна Баркова (1901–1975)

В русской поэзии безраздельно царствуют две королевы: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Но была и третья. Некоронованная. И вовсе даже не королева, а мятежница, поэтическая Жанна д'Арк, прошедшая огонь и воду тоталитарного времени, но так и не услышавшая звука медных труб. Даже после ее смерти слава едва прикоснулась к ней.

Кто эта третья? Анна Баркова.

В письме от 16 декабря 1921 года нарком Луначарский писал ей: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературой».

Анатолий Васильевич тонко разбирался в культуре и точно определил талант молодой поэтессы. Луначарский только не мог предвидеть ее мучительную судьбу, ее путь на Голгофу.

Анна Александровна Баркова родилась 16 июля 1901 года в Иваново-Вознесенске, в «Красном Манчестере», в семье сторожа гимназии. Эту частную гимназию Крамаревской девочка не успела окончить из-за грянувших революционных событий. Вихрь революции поднял ее, закружил и завертел.

Одна из соучениц-гимназисток писала об Анне: «Огненно-красная, со слегка вьющимися волосами, длинная коса, серьезные, с пронзительным взглядом глаза…» Рыжая, веснушчатая, но не смешная, а, напротив, собранная и строгая. О начале своего жизненного пути Баркова вспоминала так:

Что в крови прижилось, то не минется,
Я и в нежности очень груба.

Воспитала меня в провинции
В три окошечка мутных изба.

Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.

Только в книгах открылось мне странное,
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая открылась быль.

Золотая, преступная, гордая
Даже в пытке, в огне костра…

Если стихи перевести на прозу жизни, то ничего примечательного с детства и юности. Серая скука. Мгла, в которой тонуло будущее.

Стихи Анна Баркова начала писать с 12 лет. В 16 пришла в губернскую газету «рабочий край» со своими стихами, подписанными псевдонимом «Калика перехожая». Газету тогда редактировал Александр Воронский, известный литературный критик. Под его руководством Баркова превратилась в заправского газетчика: писала заметки, отчеты. Но главное, конечно, стихи. Писала смело, необычно, отчаянно.

Я – преступница; я церкви взрываю,
И у пламени, буйствуя, пляшу.
По дороге к светлому раю
Я все травы, цветы иссушу… —

так писала Баркова в стихотворении «Преступница» (1921), а далее в нем говорится, что ее враги ей настойчиво внушают, что она всего лишь одна из ярких птиц:

Береги бледнеющие лилии,
Руки нежные свои.
Их законы мира сотворили
Для одной любви.

Но до сердца стыд меня пронзает:
Пусть я горестно ропщу, —

Созревает женщина иная,
Я в себе ее рощу.

Я – зерно гниющее. Страдая,
На закланье я иду
Я ропщу, но все же умираю
За грядущую звезду.

Опьяненная ветрами революции, Баркова не хотела быть обычной женщиной с «нежными руками» и «бледнеющими лилиями», она растила в себе «иную женщину» – воительницу за счастье всех людей на планете (как у Блока в «Двенадцати»: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем, / мировой пожар в крови – / Господи, благослови!»)

А вот «Амазонка» (1922). Баркова объясняет в ней суть своего существования, точнее, предназначения:

На подушечку нежную теплого счастья
Иногда я мечтаю склониться,
И мечтаю украсть я,
Что щебечущим женщинам снится.

Но нельзя в боевой запыленной одежде
Забраться в садик наивных мечтаний,
И тоскую я: где же,
Где мои серебристые ткани!

Привлекает, манит лукаво подушечка
Амазонку с оружием грозным;
Я не буду игрушечкой:
Невозможно, и скучно, и поздно!

Те глаза, что меня когда-то ласкали,
Во вражеском стане заснули.
И приветствую дали
Я коварно-целующей пулей.

Ранняя Баркова – дерзкая Амазонка, бросающая вызов старому миру: «И не могу принять / Я страсти земной». Для нее старый мир – это «милый враг»:

Не травы ли то шелестят,
Не его ли шаги?

Нет, он не вернется назад,
Мы с ним – враги.

Сегодня я не засну…
А завтра, дружок,
На тебя я нежно взгляну
И взведу курок.

Пора тебе отдохнуть,
О, как ты устал!
Поцелует пуля в грудь,
А я – в уста.

Эти стихи написаны Анной Барковой в 1921 году. А через год в Петрограде выходит ее первая книга «Женщина» с предисловием Луначарского. «Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет, – писал Луначарский… – Посмотрите: у нее содержание. И какое! От порывов чисто пролетарского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, от острой боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной и отвергнутой любви…»

Ее отвергли или она отвергла? – это еще вопрос.

Стихи Барковой отметили многие мэтры русской поэзии: Блок, Брюсов. Луначарский пригласил переехавшую в Москву Баркову стать его личным секретарем. Она согласилась, но вскоре нарком был вынужден прервать это сотрудничество – слишком независимой и ироничной оказалась новая помощница.

Не приняли Баркову и пролетарские поэты. У Барковой кипела революционность, но какая-то иная, чем у них. Как отмечал Лев Аннинский в статье «Красный путь Анны Барковой»: «У них – чистота чувств: ненависть к врагам, ликование победы. А у нее – смесь. У нее – ощущение, что конь не только врага, но и тебя топчет. Что кровь – и твоя брызжет. Что солнце – тебя обжигает насмерть…»

«Пролеткультовцы приняли в штыки мои стихи, – писала в одном из частных писем Баркова. – Все обвинения свалились на мою голову: мистицизм, эстетизм, индивидуализм, полнейшая чуждость пролетарской идеологии и, разумеется, «пролетарской» поэзии. В защиту мою выступил только Борис Пастернак… Заревые, Огневые (фамилии я их не помню) усердно громили меня…»

Баркова была не такая, как все, и это ощущалось всеми. Не случайно последнее ее стихотворение в сборнике «Женщина»

называлось «Прокаженная». А раз так, то – ату ее!..

Анна Баркова раньше других поняла, что романтика революции – это наивная юношеская мечта о справедливом и свободном мире, что такого мира не может быть в принципе, что освобождение от духовного рабства невозможно, что после революции неизбежна безжалостная проза нового тоталитарного времени, возникновения нового культа.

Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела,
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца.
Не швыряем в ближайшего камень —
Пробиваем пулей сердца.
А! Об этом думать не надо?
Не надо – ну, так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль.

«Рыжеволосая ведьма» – так ее звали, – продолжала писать еретические стихи: «Мы, изгнавшие бога и черта / Из чудовищной нашей судьбы». Разве это социалистический реализм? Конечно, это реализм, но только не социалистический с оптимизмом и слепой верой, а совершенно другой – мрачный и безнадежный.

Нас душит всяческая грязь
И всяческая гнусь.
Горячей тройкою неслась
Загадочная Русь.

И ночь была, и был рассвет,
И музыка, и жуть.
И сколько пламенных комет
Пересекло ей путь.

Всплетался яростно в полет
Безумный вихрь поэм.
Домчалась. Пала у ворот,
Распахнутых в Эдем.

Смешался с грязью и с песком
Кровавый жалкий прах.

И будет память обо всем
Затеряна в веках.

Провидческие строки, написанные в 1931 году: на пороге время, когда вычеркнут из жизни имена миллионов людей, в том числе многих писателей и поэтов. И все во имя чего? «С покорностью рабскою дружно / Мы вносим кровавый пай / Затем, чтоб построить ненужный / Железобетонный рай…» (1932). В этом раю Баркова была незваной гостьей, чужой и ненужной.

1 декабря 1934 года произошло убийство Кирова, а 25 декабря арестовали Анну Баркову в так называемом «кировском потоке» (брали без разбора) и сослали в Казахстан. И все же за что? За антисоветскую агитацию и «клевету на советский строй». Власти разве могли понравиться, к примеру, такие строки: «Равно и ровно отныне, / Любезное стадо, пасись, / К чему счастливой скотине / Какая-то глубь и высь» (1927–28). А уж выпады против главного пастуха, всеми любимого гениального вождя?

«Печален», «идеален», «спален»,
Мусолил всяк до тошноты.
Теперь мы звучной рифмой «Сталин»
Зажмем критические рты.

Еще один разговорец про «кремлевского горца». Баркова, как и Мандельштам, поплатилась за него.

Первый срок (1934–1939) Анны Барковой. А всего 25 лет, за малым исключением, Баркова находилась в местах заключения по той самой жестокой знаменитой 58-й с примыкающими к ней статьям. В 1935 году, в Караганде, она писала:

Степь, да небо, да ветер дикий,
Да погибель, да скудный разврат.
Да. Я вижу, о боже великий,
Существует великий ад.
Только он не там, не за гробом,
Он вот здесь окружает меня.
Обезумевшей вьюги злоба
Горячее смолы и огня.

Это в лагере. Но многим было суждено умереть до него.

Все вижу призрачный и душный,

И длинный коридор.
И ряд винтовок равнодушных,
Направленных в упор.

Команда… Залп… Паденье тела.
Рассвета жмурь и муть.
Обычное, простое дело,
Не страшное ничуть.
Уходят люди без вопросов
В привычный ясный мир.
И разминает папиросу
Спокойный командир.

Знамена пламенную песню
Кидают вверх и вниз.
А в коридоре душном плесень
И пир голодных крыс.

Жутко мрачно? За 150 лет до Большого террора Салтыков-Щедрин в книге «Пошехонская старина» (1887–89) писал:

«Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем, но почему же, однако, она до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошло было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью?»

«Доднесь тяготеет» – под таким названием вышли в издательстве «Возвращение» два тома воспоминаний о сталинских ужасах. Приведены в книге и стихи Анны Барковой. В лагере в 1938 году она написала стихотворение «Савонарола»: «Я когда-то в век Савонаролы / Жгла картины на святых кострах, / Низводила грешных пап с престола, / Возбуждала ненависть и страх…» Баркова писала о том времени и параллельно о своем и приходила к ужасному выводу:

Зло во всем: в привычном, в неизвестном.
Зло в самой основе бытия.

Люди подчас бывают и жертвами, и палачами. «Торжествуют демоны повсюду…»

В 1939 году Баркова вышла на свободу и поселилась в Калуге.

Потом война, оккупация и вновь лагерь. Новый срок: 1947–1956. 27 ноября она была арестована и отправлена в Воркуту, в поселок Абезь. Там она встретила философа Карсавина, египтолога Коростовцева, поэтов Спасского и Галкина, филолога Герасимова. И эти страшные годы стали подлинным расцветом поэтического творчества Анны Барковой. Стихи росли, прорывая бетон несвободы. Вот одно из лучших стихотворений об Отечественной войне – «Чем торгуешь ты, дура набитая…»:

…Все поля и дороги залило
Кровью русскою, кровушкой алою.
Кровью нашею, кровью вражеской.
Рассказать бы все, да не скажется!

Закоптелые и шершавые
Шли мы Прагою, Берлином, Варшавою.
Проходили мы, победители.
Перед нами дрожали жители.

Воротились домой – безглазые,
Воротились домой – безрукие.
И с чужой, незнакомой заразою,
И с чужой, непонятною мукою.

И в пыли на базаре сели.
И победные песни запели:
– Подавайте нам, инвалидам!
Мы сидели с искалеченным видом,
Пожалейте нас, победителей,
Поминаючи ваших родителей.

(1953)

А пока одни воевали, другие сидели в лагерях и тюрьмах. «Чего ждет раб? Пропало все давно, / И мысль его ложится проституткой / В казенную постель. Все, все равно. / Но иногда становится так жутко…»

В душном бараке смутная тьма,
На сердце смута и полубред.
Спутано все здесь: весна и зима,
Спутано «да» с замирающим «нет».

И звучит «Надрывный романс» (1955) об арестантской судьбе:

И закату здесь так одиноко,
Ничего, кроме плоских болот,
Как мы все, осужден он без срока,
Как мы все, никуда не уйдет.
Мы с тобой влюблены и несчастны,
Счастье наше за сотней преград.
Перед нами оранжево-красный
Сиротливый холодный закат.

Неужели и в лагерях были проблески каких-то нормальных, человеческих отношений? Конечно, да, но их, разумеется, деформировали условия, в которых пребывали ссыльные. «Восемь лет, как один годочек, / Исправляюсь я, мой дружочек, / А теперь гадать бесполезно,/ Что во мгле – подъем или бездна…»

Опять казарменное платье,
Казенный показной уют,
Опять казенные кровати —
Для умирающих приют.
Меня и после наказанья,
Как видно, наказанье ждет.
Поймешь ли ты мои терзанья
У неоткрывшихся ворот?
Расплющило и в грязь вдавило
Меня тупое колесо…
Сидеть бы в кабаке унылом
Алкоголичкой Пикассо.

(1955)

Возможно, кто-то не выдерживает огненных строк Анны Барковой и думает, а зачем так много приведено ее стихов? Но, дорогой читатель, Пушкина-Лермонтова-Некрасова-Фета можно найти везде, а вот сборник Анны Барковой достать довольно сложно. Вот почему я вставляю ее лагерную лирику в эту книгу. Это исповеди, крик и документы эпохи. Вчитайтесь еще в одно стихотворение (1955):

Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел – не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.

На нарах бирки. На плечах – бушлат.

И воровская судорога встречи.
Случайной встречи, где-то там, в сенях.
Без слова, без любви. К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят там кровать:
Здесь арестантке, бедному созданью,
Позволено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого мудреца…
Нет, лучше, лучше откровенный выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

Стихи Анны Барковой изустно передавались на этапах, в тюрьмах и лагерях. Горькое слово правды летело по воздуху, минуя официальный газетный лист.

7 января 1956 года Баркову освободили с поражением в правах на 5 лет, и как жить дальше? «…Потом над собой рассмеяться, / Щербатую рюмку разбить; / И здесь не могу я остаться, / И негде мне, кажется, жить». А далее – несколько неосторожных строк в частном письме, – и третий срок: 1957–1965. И только благодаря заступничеству и ходатайству Александра Твардовского Баркова была – 15 мая 1966 года – полностью реабилитирована. На воле жила без семьи, без близких, в нищете. Она умерла в Москве, как написал Михаил Дудин, «в одиночестве, со своей измаянной надеждой, в какой-то коммуналке, забытая людьми и богом, старыми лауреатами и молодыми, жадными до славы, бойкими сочинителями стихов и песен». Умерла, так и не став членом Союза писателей.

Ее биографию и стихи по крупицам собирал подвижник, историк литературы Леонид Таганов. Когда он впервые пришел к Анне Александровне на Суворовский бульвар, «в ее маленьких глазах-буравчиках читалось: «Неужели кому-то еще интересно мое прошлое? Ну, забыли и забыли…» Но как забыть ее

пронзительные стихи, к примеру, «Герои нашего времени»:

Героям нашего времени
Не двадцать, не тридцать лет.
Тем не выдержать нашего бремени,
Нет!

Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги.
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги.

Ворожили мы вместе с Блоком,
Занимались высоким трудом,
Золотистый хранили локон
И ходили в публичный дом.

Разрывали с народом узы
И к народу шли в должники.
Надевали толстовские блузы,
Вслед за Горьким брели в босяки.

Мы испробовали нагайки
Староверских казацких полков
И тюремные грызли пайки
У расчетливых большевиков.

Трепетали, завидя ромбы
И петлиц малиновый цвет,
От немецкой прятались бомбы,
На допросах твердили «нет».

Мы все видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины, злой и униженной,
Злые дочери и сыны.

Не просто подводить итоги и не просто выносить приговоры стране, веку. Режиму, конечно, можно – и его вождям, и его слугам, и его полицейским писал. И все же, что делать и как жить дальше? Об этом не раз размышляла Анна Баркова бессонными ночами. И вот одно из размышлений – стихотворение «Отречение» (1971):

От веры или от неверия
Отречься, право, все равно.
Вздохнем мы с тихим лицемерием:
Что делать? Видно, суждено.

Все для того, чтобы потомство
Текло в грядущее рекой,
С таким же кротким вероломством,
С продажной нищенской рукой.

Мы окровавленного бога
Прославим рабским языком,
Заткнем мы пасть свою убогую
Господским брошенным куском.

И надо отрекаться, надо
Во имя лишних дней, минут.
Во имя стад мы входим в стадо,
Целуем на коленьях кнут.

Увы, рабскую психологию никак не хочет изжить в себе русский народ, и сегодня мы видим, как сбивается стадо и на коленях готово целовать новый крест. Ничего не изменилось. «Страна рабов, страна господ», – как говорил еще Михаил Лермонтов.

За год до смерти, в 1975-м, Анна Баркова пишет очередные исповедальные строки:

Такая злоба к говорящей своре,
Презрение к себе, к своей судьбе.
Такая нежность и такая горечь
К тебе.
В мир брошенную – бросят в бездну,
И это назовется вечным сном.
А если вновь вернуться? Бесполезно:
Родишься ты во времени ином.

И я тебя не встречу, нет, не встречу,
В скитанья страшные пущусь одна.
И если это возвращенье – вечность,
Она мне не нужна.

Вот так: намаялась, нахлебалась, отчаялась. И никакого

повторения не надо, хватит. «Годы бесконечные, мгновенные, Вы ушли, но не свалились с плеч. / Вы теперь, как жемчуг, драгоценные, / Но теперь мне поздно вас беречь».

И уже стоя одной ногой в могиле, Баркова выдыхает:

Как пронзительно страданье
Этой нежности благодать.
Ее можно только рыданьем
Оборвавшимся передать.

И опять бесконечный вопрос к себе, который и на воле не отпускает ее: «Проклинаю я жизнь такую, / Но и смерть ненавижу истово, / Неизвестно, чего взыскую, / Неизвестно, зачем воинствую…» А высшего судьи в жизни нет: «Что я вижу? Главного беса / На прокурорском месте» (1976).

Умирала Анна Баркова долго и трудно. В больнице к ней относились удивительно бережно, понимая, как много пришлось испытать этой маленькой старой женщине. Она часто бредила. Ей слышались голоса друзей-сокамерников, ночные допросы. Однажды она заторопилась и упала в больнице с 3-го этажа. Почему торопилась, куда? – спросили ее. А она ответила, что отстала от партии заключенных, которую повели в баню, и пыталась ее догнать… Прошлое никак не хотело отпускать ее.

Анна Баркова умерла 29 апреля 1976 года, в возрасте 75 лет. «Русский ветер меня оплачет, / Как оплакивал нас всех…»

Что остается добавить? Она на воле жила на маленькую пенсию, на которую покупала книги. Книги заполняли всю ее комнату, она даже под книги использовала подаренный ей кем-то старенький холодильник. Свои стихи она не раз предлагала в московские журналы, но ей неизменно отказывали в публикациях: «Нет оптимизма, нет жизнеутверждающего начала».

Первое собрание сочинений Анны Барковой «Вечно не та» вышло в 2002 году. И миру явилась «Ахматова в блузе» – так она себя иногда называла. Не в вечернем платье, а в рабочей блузе. Мятежная. Непримиримая. Сердитая. Клокочущая…

А на десерт (пира во время чумы?) приведем еще одно стихотворение Анны Барковой, написанное ею в 1931 году, в 30-летнем возрасте:

Отношусь к литературе сухо,
С ВАППом правомерным не дружу.
И поддержку горестному духу
В Анатоле Франсе нахожу.

Боги жаждут… Будем терпеливо
Ждать, пока насытятся они.
Беспощадно топчут ветви сливы
Красные до крови наши дни.

Все пройдет. Разбитое корыто
Пред собой увидим мы опять.
Может быть, случайно будем сыты,
Может быть, придется голодать.

Угостили нас пустым орешком.
Погибали мы за явный вздор.
Так оценим мудрую усмешку
И ничем не замутненный взор.

Не хочу глотать я без разбору
Цензором одобренную снедь.
Лишь великий Франс – моя опора.
Он поможет выждать и стерпеть.

Начальник детства. Лев Кассиль (1905–1970)

Страна детства. У всех она бывает разная. Иногда сиротливая и жестокая. Иногда благополучная и спокойная. Порой скучная и неинтересная. Своими книжками Лев Кассиль пытался превратить страну детства в веселую и занимательную. И ему это удалось. Кассиль – это классик советской детской литературы. Можно даже сказать: начальник детства. Хороший и добрый.

Детская литература. Она была фундаментом для закладки взрослого дома. Чтобы в нем жили люди активные, жизнерадостные, деятельные, бодрые. И у детской литературы были свои создатели.

А входил в обойму кто?
Лев Кассиль, Маршак, Барто.
Шел в издательство косяк:
А. Барто, Кассиль, Маршак.
Создавали этот стиль —
А. Барто, Маршак, Кассиль.

Лев Абрамович Кассиль родился 27 июня (10 июля) 1905 года в Покровской слободе (ныне город Энгельс) в провинциальной еврейской интеллигентной семье среднего достатка (отец – врач, мать – учительница музыки). Глава семьи был не чужд смелым революционным идеям. В момент появления на свет сына Льва в доме проходила политическая сходка. И совершенно не к месту раздался отчаянный крик младенца: уа-а-а!!!

Жизнь захолустной слободы на левом берегу Волги была монотонной и скучной, может быть, поэтому ее разнообразили лишь левые идеи. Но это для взрослых, а дети развлекали себя сами. Братья Кассили Леля (Лев) и Ося (Иосиф) придумали себе некую страну Швамбранию, населили ее своими героями, насытили интересными событиями и прекрасно жили в этой воображаемой стране. «Прозба не дербанить в парадное, а сувать пальцем в пупку для звонка!» Понятно? А еще сакраментальный вопрос: «Мама, а наша кошка – тоже еврей?»

«Швамбрания» появилась в 1930 году, а в 1935-м «Швамбрания» и «Кондуит» вышли одной книгой с длинным, но выразительным подзаголовком: «Повесть о необычайных приключениях двух рыцарей, в поисках справедливости открывших на материке Большого Зуба Великое Государство Швамбрания». На I Всесоюзном съезде советских писателей Маршак назвал «Швамбранию» одним из лучших произведений «большой литературы для маленьких».

Два рыцаря, два юных швамбранца грезили о Швамбрании, как о царстве небесном, о государстве, «которое взрослые выдумали для бедных»: ведь если нет счастья на земле, то оно обязательно должно быть где-то. Однако будущему писателю Льву Кассилю пришлось жить не в фантазийной Швамбрании, а в реальной советской стране. Когда свершилась революция, ему было 12 лет, и для евреев началась другая жизнь. Оказалось, что новая жизнь Кассилю понравилась, он радостно и весело в нее вписался: был, как говорится, активным общественником: что-то постоянно организовывал, в чем-то участвовал, куда-то призывал и т. д. И был командирован по разверстке в Московский университет, где учился на физико-математическом факультете. Но физика из Кассиля не вышло, а вот лирик получился вполне.

Кассиль начал сотрудничать с газетой «Известия» и журналом «Пионер», и вот эта журналистская стихия накрыла его с головой, тем более что в «Известиях» и в «ЛЕФе» он попал в прекрасную компанию: Маяковский, Кирсанов и другие корифеи пера. Шутки, экспромты, постоянные подкалывания друг друга – в этой веселой атмосфере «ковался» Кассиль, и он старался быть на уровне своих старших товарищей.

Однажды в доме Маяковского горячо обсуждали материалы для очередного выпуска «ЛЕФа». Кассиль придумал нечто остроумное и тут же прочитал вслух только что рожденные строки. Все закричали: «Молодец! Молодец». А Семен Кирсанов тут же заметил: «Одного Кассиля ум / одолел консилиум». Все засмеялись, а неугомонный Кассиль помчался в другую комнату к Маяковскому, ища одобрения свой выдумке и у него. Маяковский

отреагировал мгновенно:

Мы пахали, мы косили,
Мы нахалы, мы Кассили.

По воспоминаниям сына, в Льве Абрамовиче «все время что-то кипело. Если он чем-то увлекался, то с безудержной силой: от коллекционирования авторучек до изучения астрономии».

Кассиль считал Маяковского своим учителем, ему он принес свою написанную «Швамбранию», и Маяковский опубликовал отрывки из нее в журнале «Новый ЛЕФ». Кстати, Кассиль в те годы иногда подписывал свои материалы как ЛЕФ Кассиль. С легкой руки Маяковского Кассиль «пошел нарасхват» и как газетчик, и как писатель. Но следует заметить, что «Швамбрания» подверглась серьезной критике и много лет была полузапрещенной, не переиздавалась, но дети успели ее полюбить и зачитывали до дыр.

На пике большого террора в 1937 году брата Кассиля Иосифа, литератора и ученого, арестовали и расстреляли как «врага народа». Иезуитская практика советской власти: расколоть семью на «верных» и «неверных». Убили Михаила Кольцова, но его брата – художника Бориса Ефимова оставили в живых. Ликвидировали Николая Вавилова, но его брата – академика Сергея Вавилова не тронули. Так же поступили и с братьями Кассилями. Трудно сказать, что творилось в душе Льва, когда уничтожили брата Осю, но точно одно: Лев Кассиль остался правоверным советским писателем. Может быть, сработал инстинкт самосохранения? Никакой критики, никакого ропота, только следование верному курсу, проложенному партией. Никакой внутренней оппозиции, только вместе со всеми, со страной, с партией, с народом. Кассиль был все время на передовой линии всех исторических событий как участник или как свидетель. Впрочем, вот как он сам писал в автобиографии о своей работе в газете «Известия»: «Газета приучала, берясь за работу, сердиться или радоваться вместе со страной. Она заставляла скупиться на слова, писать просто, ясно, коротко и дельно. Она внушала отвращение к литературе-соске и порождала уважение ко всему реальному, подлинному, питательному…»

Много раз Кассиль встречался с Циолковским, интересовался космическими проблемами, о чем рассказал в книгах «Люди нового века» и «Человек, шагнувший к звездам». О том, что видел Кассиль, и о тех, с кем встречался, он рассказывал в своих многочисленных материалах. Золотое и шустрое перо.

Естественно, когда грянула Великая Отечественная война,

Кассиль с удостоверением военного корреспондента отправился на фронт, был в действующих частях Северного флота, на Западном и Первом Украинском фронтах. Написал знаменитую повесть «Улица младшего сына» о партизане Володе Дубинине.

Если говорить о книгах Кассиля, то он оставил нам большое наследие. Это – «Великое противостояние», «Дорогие мои мальчишки», «Будьте готовы, Ваше высочество!», книга воспоминаний «Маяковский – сам» и многое другое. И все же Лев Кассиль – это, прежде всего, детский писатель, умело находивший слова и подходы к детям, недаром они его боготворили. Агния Барто («Бартошенька» – как он ее называл) вспоминала в стихах:

И помню, как дети просили:
«Вы к нам пригласите Кассиля».
И каждый мальчишка осилил
Известный швамбранский язык…
– Кассиля! – Кассиля! – Кассиля! —
Я слышу ликующий крик.

Кассиль был председателем объединения детских и юношеских писателей Москвы и придумал идею «Книжной недели». В 1943 году состоялся первый праздник – «Неделя детской и юношеской книги». Открывал ее сам Кассиль в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Один из своих этюдов Лев Кассиль назвал «Мальчишки». «О, мальчишки! – писал он в нем. – Хвала вам!.. «Мальчишек радостный народ», – вот как сказал о вас Пушкин. Вы – веселый ветер, расправляющий морщины на челе мира, влекущий в новое и освещающий память о том, какими мы были сами в отрочестве… Все вас касается, мальчишки».

Он и сам оставался мальчишкой до старости, хотя до настоящей старости и не дожил. Как мальчишка, он самозабвенно любил спорт и писал о нем вдохновенно. Знаменитые повести: «Вратарь республики» (1938), «Черемыш, брат героя» (1938), «Ход белой королевы» (1956). Повесть «Вратарь республики» и ее герой Антон Кандидов долгое время были в фокусе внимания читающей публики (был еще снят фильм по повести «Вратарь»), – об этом сегодня можно вспоминать с ностальгией. Ушли времена беззаветного служения спорту, и ныне все играют не за радость спортивной борьбы, а исключительно за деньги. Кассиль до этих времен не дожил. Он был одним из первых, кто создавал спортивные радиорепортажи, вместе с Вадимом Синявским. Был настоящим болельщиком-фанатом, болел за «Спартак», ездил на многие Олимпиады и писал о них в репортажах. Да и умер Лев

Абрамович, чрезмерно волнуясь и следя за перипетиями футбольного матча, 21 июня 1970 года, совсем немного не дожив до 65 лет.

Корней Чуковский записал в дневнике от 16 июня 1969 года: «Был Кассиль. Человек, с которым многое связано. Не забуду, как он нежно и ласково вел меня домой после того, как меня прорабатывали в Союзе писателей. Вообще он человек добрый – с хорошими намерениями. И семья у него превосходная: Ира – в Киноинституте, Володя – хирург…»

Женат был Кассиль на дочери знаменитого певца Собинова – Светлане.

Кассиль всегда был общительным и доброжелательным человеком, именно эти качества поразили молодую поэтессу Ирину Токмакову, когда ее познакомили с Львом Абрамовичем:

Когда писатель знаменит,
То говорят обычно – кит.
И все воображают,
Что сущность выражают.
Права я или не права,
Когда меня спросили,
Я б звать китом не стала Льва
Абрамыча Кассиля.

Еще раз подчеркнем: мечтатель-мальчишка. Не случайно он как-то обронил фразу: «Я мечтаю, что будет такой Главный Штаб Доброго Расположения Духа…» Словом, опять он за свою Швамбранию.

Он редко выходил из себя. Но однажды громыхал, в оттепельную пору после реабилитации невинно загубленных жертв. В ноябре 1960 года Кассиль выступил на вечере памяти убитого Льва Квитко (еврейского поэта – Льва Моисеевича) и громко сказал с трибуны, что враги, погубившие Квитко, – наши враги, враги нашей культуры… нашего советского строя… «Это место в его речи вызвало гром аплодисментов», – отметил в дневнике Корней Чуковский.

Увы, он так и не прозрел или не хотел прозревать, что советский строй и стоял на «врагах», он держался на страхе и насилии, а лучезарный и радостный фасад этой системы, анти-Швамбрании, создавали такие энтузиасты, как Лев Кассиль. Это была их трагедия.

Создатель жанра «говорящей литературы». Ираклий Андронников (1908–1990)

При жизни его знали все. Это была культовая фигура. Не было более блестящего и эрудированного рассказчика на эстраде и на ТВ. Андронников умер сравнительно недавно – в 1990 году. С тех пор радикально изменилась страна, и оказалось, что созданный им уникальный жанр не нужен. Вместо рассказов востребованы лишь анекдоты.

Ираклий Луарсабович Андронников родился 15 (28) сентября 1908 года. Его корни восходят к княжескому роду Андроникашвили и берут истоки чуть ли не от византийских императоров. Отец Луарсаб Николаевич Андроникашвили оставался еще князем, но уже бедным и занимался политической адвокатурой. О его ораторском искусстве ходили легенды. Свой дар он передал сыну Ираклию, хотя поначалу – и в это трудно поверить, он был патологически застенчив и скован. Мать Екатерина Яковлевна – из семьи петербургских евреев Гуревичей. Дед Андронникова по материнской линии – основатель знаменитых женских Бестужевских курсов. В семье росли два мальчика – старший Ираклий и младший Элефтер, впоследствии известный физик, дважды лауреат Государственной премии.

Итак, Ираклий, можно сказать, – национальный продукт двух кровей – грузинской и еврейской. Гремучая смесь. Возможно, отсюда и темперамент, и увлеченность всем сразу. Недаром Евгений Шварц в своей «Телефонной книге» писал: «В Ираклии трудно было обнаружить единое целое, он все менял форму,

струился, как туман или дым. От этого трудно было схватить его отношение к окружающим. И он страдал. Его водили к гипнотизеру, чтобы излечить нервы…»

Нервный юноша свою нишу и свою роль в жизни нашел не сразу, хотя уже в школе изумлял и тешил всех показами известных певцов, дирижеров, актеров, учителей. Вот эта способность «изображать» в конечном счете и стала основной профессией Андронникова. У него был настоящий дар имитатора.

В 1930 году Андронников окончил историко-филологический факультет Ленинградского университета и по рекомендации Евгения Шварца оказался на должности секретаря редакции детского журнала «Еж». В компании веселых остроумцев: Хармса, Олейникова, Маршака и других острословов. Окружение давило на Андронникова, и он, по воспоминаниям Маршака, «не мог и двух слов связать… Он сидел над коротенькой заметкой в четверть странички долго, как над стихами… Он не мог обойтись без чужой оболочки, сказать хоть два слова от себя…» А вот признание самого Андронникова: «Если юмор шлифуют и «ставят» подобно голосу, то здесь была отличная школа. Я в ту пору ничего не писал, а только присматривался, как рождались толковые и полезные, а порой и высоко поэтические книги, и считаю себя многим обязанным этому опыту».

Андронников был легко обучаемым человеком. Еще в университете он познакомился с маститым Борисом Эйхенбаумом, непревзойденным лермонтоведом («Его жизнь – это Лермонтов», – скажет о своем учителе Андронников), и увлекся вторым солнцем русской поэзии (первое, естественно, Пушкин). Эйхенбаум привлек Андронникова к подготовке академического издания собрания сочинений Лермонтова, и молодой Ираклий страстно понял, что это – его!

Восходит чудное светило
В душе проснувшейся едва:
На мысли, дышащие силой,
Как жемчуг нижутся слова…

Сначала Андронников брал уроки «у Лермонтова», а позднее занялся исследовательской деятельностью о поэте. И заставил любить Лермонтова всю страну. Но к Михаилу Юрьевичу Ираклий Луарсабович шел извилистой дорогой. Был лектором в Ленинградской филармонии, работал в редакции «Литературного наследства», секретарем академического издания Пушкина. А главное – продолжал изображать знаменитых людей. Выступал в частных компаниях и на сцене, представляя собою по существу

театр одного актера. Андронников в целом продолжил традицию актеров-рассказчиков Ивана Горбунова, Александра Закушняка, Владимира Яхонтова. Но если они в основном читали со сцены литературные произведения (Закушняк был создатель жанра «вечеров рассказа», начинал в Одессе в 1910 году с «Вечером интимного чтения» – Чехов, Мопассан, Марк Твен, Шолом-Алейхем), то Ираклий Андронников входил в их образы и от их лица создавал целые новеллы. Так он, к примеру, исполнял монологи о людях прошлого – Пушкине, Тургеневе, Толстом, Чехове, удивительным образом проникал в суть изображаемого лица, и все, что он говорил, звучало очень естественно.

«Он – гениален. Абсолютный художественный вкус», – так писал об Андронникове Корней Чуковский, который был большим его поклонником. Запись из дневника Корнея Ивановича от 7 июля 1953 года: «Был вчера с Фединым у Ираклия. Об Ираклии думаешь равнодушно, буднично, видишь его слабости – и вдруг за столом мимоходом изображает кого-нибудь – и снова влюбляешься в него, как в гения».

Андронников блистательно изображал многих, но его «красный граф» Алексей Николаевич Толстой, «хрюкающий и хмыкающий» – бесспорный шедевр. Его сохранил в памяти и записал Валентин Берестов. Вот он:

«Царское, тогда Детское село. Алексей Толстой с Ираклием Андроникиовым заняты какой-то общей срочной работой. Звонок в дверь.

– Ираклий, будь другом, спустись и скажи, что я уехал, умер, словом, отсутствую. В этом доме невозможно работать.

– Здравствуйте! – приветствует Андронникова незнакомка, указывая на человека, чье лицо Ираклий Луарсабович уже видел в газетах. – Это знаменитый немецкий режиссер Эрвин Пискатор. Я – его переводчица. В доме Толстых прекрасно знают иностранные языки. Поэтому я оставляю господина Пискатора и уезжаю. Надеюсь, Алексей Николаевич найдет способ отправить гостя в Ленинград.

Андронников поднимается на второй этаж к Толстому.

– Это кто же такой Эрвин Пискатор? Немчура, что ли? Откуда эта бабелина взяла, что в доме Толстых так уж прекрасно говорят по-немецки? Туся, – обращается он к жене, поэтессе Наталье Крандиевской, – ты говоришь по-немецки?

– Нет, Алешенька. Это ты говоришь по-немецки.

– Это правильно. Я говорил по-немецки. Но после одного случая за обедом у датского консула Федора Ивановича я зарекся говорить по-немецки. Значит, дело было так. Я рассказывал, как я охотился на уток. Вложил заряд. Прицелился. И вместо глагола

«бесшиссен», что означает «выстрелить», ляпнул «бешайзен», что означает «издать неприличный звук». После чего радостно сообщил, что утка упала замертво. Немчура гоготала, будто черти ее щекотали бороной. И теперь, сам понимаешь, у меня психологический шок. Немецкий смыло с извилин моего мозга! Куда делась эта стерьва? Туся! Готовь обед. Хоть покормим человека.

Толстой приветствует гостя и ведет его в сад.

– Гутен так, герр Пискатор. Яволь… Куда делась эта лярва? Геен зи битте шпацирен. Это я, к твоему сведению, зову его погулять. Дас ист майн гартен. Майн кляйне гартен. Ди розе! Ди розенблюмен! Это я показываю ему мои розы. А вот одинокая сосна. Как в стихах у Гейне. «Айн фихтенбаум штейн айнзам». «На севере диком стоит одиноко»… Это забор. В нем дырки. Творчество – акт интимный, а ребятишки глазеют. Сколько раз просил заделать дырки, но мои слова в этом доме – простое сотрясение воздуха. Пошли обедать. Геен зи битте миттаг эссен!

За обеденным столом:

– Даст ист руссише водка, по-вашему, шнапс. Я настаиваю ее на черемуховых листьях и сиреневых почках. Она оказывает чрезвычайно вредное действие на почки, и после нее приходится пумповать пузырь. Тинкен зи битте! Ваше здоровье! Тринкен зи нохайнмаль! Куда подевалась эта зараза? Человека оторвали от работы, меня оторвали от работы. Приперся издалека, хочет узнать о творческих планах. Тринкен зи нохайнмаль! Ваше здоровье! Йетят их шрайбе айне гроссе романе… Кажется, пошло, разговорился! Это я ему рассказываю о Петре Первом. Как сказать по-немецки «Петр Первый!? «Петрус Примус!» Нет, это латынь! Петер дер Эрсте. Гроссе романе! Интерессантес! Черт, как же по-немецки «второй том»? Вспомнил! Цвате тайль! Зер интререссантес тайль! Тринкен зи битте! Ваше здоровье! Туся! Давай первое!

Тарелки с супом повергают его в изумление.

– Что это такое? Я спрашиваю, что это такое?

– Алешенька, это перловый суп.

– Значит, вопрос ставится так. Или я – писатель и работаю в литературе, или я ем эти со-о-пли! Эссен зи битте. Айне гуте зуппе! Тринкен зи нохайнмаль! Ваше здоровье!

– Алешенька! Но ведь мы не знали, что будут гости.

– Во-первых, всегда кто-нибудь припрется. А во-вторых, я – писатель и работаю в литературе. И если кто-нибудь хочет худеть, пусть худеет без меня! Оне мих! Ваше здоровье! Давайте второе! Что это такое? Я еще раз спрашиваю, что это такое?

– Алешенька, это картофельные котлеты.

– Значит, вопрос ставится так. Или я писатель и работаю в литературе, или я ухожу из дома, как Лев Толстой. Аль Лео Толстой! Ваше здоровье! Вот сидит немчура, пялит глаза, ни черта не понимает. Ему тошно, мне скучно. А я иссяк. Мой словарный запас исчерпан!

– Если вам так трудно говорить по-немецки, то я могу немного говорить по-русски, – изрекает вдруг Пискатор.

В ответ на эти слова Алексей Николаевич принимается бурно целовать гостя:

– Милый! Милый! Что ж ты молчал?

– Я думал, вы хотите попрактиковаться в немецком языке…

– Спасибо! Напрактиковался! Кто сказал, что он не говорит по-русски? Милый! Выпьем на брудершафт! Твое здоровье! Какая мо-о-орда сказала, что он не говорит по-русски?!»

Алексей Николаевич в исполнении Ираклия Андронникова представал очень живым. Увы, текст не может передавать все переливы толстовской интонации, его мимику, жесты, чем именно пленял Ираклий Луарсабович. Как говорится, это надо было слышать и видеть.

«Андроников излучал ум, юмор, эрудицию. Это был сверкающий талант, – вспоминал Игорь Моисеев. – Он не просто копировал человека – он импровизировал образ мыслей, часами мог воспроизводить чью-нибудь речь…»

«Ираклий Луарсабович был представителем веселой науки, науки праздничной, радующей людей и его самого. Он воспринимал каждое свое открытие, как праздник для самого себя и для тех, с кем он этим открытием делился, – так считал академик Дмитрий Лихачев. – Он был представителем и грузинской культуры, и петербургской научной школы одновременно, и это сочетание праздничного, живого и академически строгого придавало его литературной работе редкостное своеобразие».

В 1935 году Андронникова впервые пригласили выступить перед литераторами в московском Клубе писателей. Многие из них предостерегали Андроникова от этого шага, Юрий Тынянов, в частности, говорил: «Нечего становиться эстрадником – на эстраде, между прочим, двигают ушами, а у тебя высшее образование». Писатели встретили Андронникова вполне дружелюбно и не обижались на его пародирование. Но некоторые открыто говорили, что нельзя публично показывать начальство, к примеру, Фадеева и Суркова («Как бы чего не вышло!..»), а заодно корифеев – Маршака или Леонова, мол, народ ранимый, чувствительный к обидам. Андронникова повезли в Горки, к Максиму Горькому, и тот поддержал выступления Ираклия

Луарсабовича. Он и Горького, кстати, показывал, да так, что временами казалось, что у Андроникова выросли усы, и он натурально кашлял, как Горький.

Как писал Зиновий Паперный: «Андронников – не обычный артист, не чтец, не простой рассказчик и не только исследователь… Это поэтическая земля, которая по плотности населения превосходит Бельгию. И не так просто провести общую перепись «населения», охватываемую одним именем».

«Колдун и чародей», – это уже определение Корнея Чуковского.

Еще одно признание самого Ираклия: «И пусть это не покажется странным, я многому научился у тех, в образы которых «внедрялся». Я до сих пор становлюсь находчивее, думая в образе. И уж во всяком случае то, что я говорю за другого, «шире» моих личных возможностей…»

Успех устных монологов-новелл, конечно, радовал Андронникова и немного кружил голову (запись из дневника Чуковского от 16 сентября 1969 года: «Был вечером Андронников. Лицо розовое, моложавое, манеры знаменитости»). Но хотелось большого: сесть самому за письменный стол. В «Биографии устного рассказа» Андронников признавался: «Стать писателем? Но стоило мне взяться за перо – и все пропадало: не ложился устный текст на бумагу! Самым верным показался мне скромный путь комментатора, разыскивателя новых фактов о Лермонтове…»

Андронников засел за архивные изыскания и в 1937 году предложил журналу «Пионер» разгадку таинственных инициалов некоей Н. Ф. И., которой Лермонтов в юности посвятил десятки стихов. «Загадка Н. Ф. И.» – это был первый «письменный» серьезный рассказ Андронникова. Далее последовали другие: «Подпись под рисунком», «Тагильская находка» и прочие. А книгу «Лермонтов в Грузии в 1837 году» Андронников защитил в качестве докторской диссертации.

Все, разумеется, замечательно, но чтобы данный рассказ не походил на панегирик, нужно добавить немного дегтя. Об одной из книг Андронникова о Лермонтове строгий Корней Иванович отозвался так: «Книжка куценькая, с коротким дыханием». А Анна Ахматова, прочитав письма Карамзина с комментариями Андроникова, высказалась жестко: «Меня раздражает, что напечатали только обрывки писем. Письма Карамзина мне хочется читать подряд, целиком и судить о них самой, без подсказки. Конферанс Ираклия несносен – это какое-то занимательное литературоведение» (8 января 1956).

Анна Андреевна была в редком ряду тех, кто не любил

Андроникова: «Везде Ираклий главный». Не терпел Андронникова и Борис Пастернак. Кстати, Андроников замечательно изображал на сцене телефонный монолог Бориса Леонидовича.

Ну, что ж, всем действительно не угодишь. Алексей Пьянов, влюбленный в Ираклия Лурасабовича, сочинил такие шуточные стихи:

Он создал дивные рассказы,
Для нас былое воскресил,
Он с Лермонтовым пол-Кавказа
В былые дни исколесил.
Искал он старые тетрадки,
Корзины, сумки, сундуки,
Умел отгадывать загадки,
Что прочим были не с руки.
Но неразгаданной была
Одна загадка – И. Л. А.

Однажды Ираклий Андронников ехал в одном купе из Ленинграда в Москву с известным пушкинистом Мстиславом Цявловским и всю ночь проговорили о поэте. Сосед по купе сначала возмущался: «А нельзя ли потише!..» А потом, прислушавшись, попросил: «А нельзя ли рассказывать погромче! Это так интересно!..» Ну, а когда Андронников появлялся в какой-нибудь редакции, то «на него» сбегались все сотрудники, и жизнь в редакции на время замирала, на звонки не отвечали, все с замиранием сердца ждали очередного «концерта» любимейшего гостя. Он начинал что-то рассказывать, и на глазах у всех начинало твориться чудо.

Во время войны Андронников освоил фронтовые рассказы, а после вернулся к литературным. 7 июня 1954 года он впервые выступил на телевидении. Его предупредили, что один человек на экране – это скучно. Но Андронников доказал обратное: смотреть и слушать его было бесконечно интересно. И вскоре появились его телевизионные монофильмы: «Рассказывает Ираклий Андронников», «Страницы большого искусства», серия «Слово Андронникова» и другие.

Однако успех всегда ограничен во времени. К тому же возраст и болезнь подстерегали Андронникова. В последние годы Ираклий Луарсабович страдал из-за болезни Паркинсона, вел затворнический образ жизни. На него сильно подействовало самоубийство дочери Мананы. А еще добил пожар на его даче в Переделкино, уничтоживший ценнейшие книги и рукописи. Он пытался, правда, еще шутить: «На пепелище я наконец нашел

портфель, который человек оставил мне двадцать лет назад и с тех пор каждую неделю шлет мне телеграммы. Наконец я избавлен от ужаса, который висел надо мною целых двадцать лет!»

11 июня 1990 года Ираклий Луарсабович умер в Москве, в возрасте 81 года. Сразу последовали отклики и воспоминания. «Он был подвижником молчаливых архивов и вместе с тем – гением общения», – так написал об Андронникове Леонид Зорин. «Талант Андронникова был веселым и настойчивым… он был блистательным человеком-праздником…» (Михаил Дудин). «Некогда мечтавший стать дирижером, насвистывавший вам на память Первый концерт Чайковского, он сам был человеком-оркестром. Словесник, артист, личность Ренессанса, он видеоклипами своих устных зарисовок писателей предвосхитил появление телевизора в нашей стране. Умная ирония его смягчала железобетон эпохи…» (Андрей Вознесенский).

Одно из любимых выражений Андронникова было изречение Сенеки: «Неумение удивляться – первая причина посредственности». Он умел удивляться и удивлять других. И возвратимся к тому, с чего начали. Сегодня Андроников основательно забыт. Его эстетность и рафинированность ныне не нужны. Все стало грубее и брутальнее, а шутки в основном ниже пояса. Андронников пропагандировал «детектив без преступления». Сегодня – только преступление, насилие и кровь. Горько сказать, но, наверное, он вовремя ушел со сцены…

Старомодные комедии. Алексей Арбузов (1908–1986)

Старшее поколение театральных зрителей не забудет очарование и напряжение арбузовских пьес «Таня», «Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Старомодная комедия» и других.

Алексею Николаевичу Арбузову не повезло с детством. Он родился 13 (26) мая 1908 года в Москве, на старом Арбате. И, можно сказать, сразу стал участником жизненной драмы: отец ушел из семьи, а мать заболела. Ни любви, ни заботы, ни нормального образования. Позднее Арбузов вспоминал: «Самое сильное впечатление – взятие Зимнего дворца в октябре 1917, которое я наблюдал, будучи мальчишкой. Это событие отразилось на моей судьбе и судьбе моей семьи. Началась новая жизнь. Я был предоставлен сам себе».

Сам себе – это бродяжничество, попытки что-то заработать, колония трудновоспитуемых. Уже в зрелые годы, однажды в вагоне поезда, Арбузов неожиданно разговорился со своим попутчиком Вениамином Кавериным, и тот записал рассказ: «Пока мы ехали, он рассказал мне свою молодость. Это была история брошенного матерью, несчастного, забитого, не получившего никакого образования мальчика, который, как звереныш, бродил из дома в дом и питался чем попало. Четырнадцати лет он пристал к какой-то бродячей труппе и ездил с ними, помогал кому-то одеваться-переодеваться. У него было детство, которое он проклинал. Он не знал отца и не понимал, что такое семья. Потом он попал в Москву, и здесь нашелся покровитель, который устроил его в театральную школу

вольнослушателем. Это был Борис Михайлович Филиппов, в последующем многолетний директор Дома литераторов».

В дальнейшем Алексей Арбузов стал весьма преуспевающим и одним из самых, как говорят ныне, раскрученных советских драматургов, пьесы которого шли во многих странах мира, но свои молодые неприкаянные годы он не забыл, более того, они оказали на него определенное влияние. Он любил элегантно одеваться, носил немыслимые яркие пиджаки, с шейным шелковым платком (истинный мэтр богемы). Носил берет с помпоном или клетчатую, явно купленную за рубежом кепку, и своим нарядом он резко выделялся на серо-черном фоне остальных сограждан. Но это не все. Арбузов был гурманом и эстетом по жизни: любил вкусно попить и поесть и понимал в этом толк. Любил классическую музыку и не пропускал концертов в консерватории. А еще он любил футбол и «болел» на каждом интересном матче. «Я уважаю этого человека за то, что он всю жизнь провел между консерваторией и стадионом, в то время как другие проводили время между пленумом и съездом», – так ответила однажды Белла Ахмадулина на вопрос, как она относится к Алексею Николаевичу.

Другими словами, Арбузов жадно добирал жизнь, вкушал ее прелести, которые были недоступны ему в молодые годы. Но это все пришло потом, а вначале ему пришлось хлебнуть лиха. Передвижной театр, в который он случайно попал, спас юношу от гибели и определил его дальнейший жизненный путь. Сначала он был актером, потом попробовал себя в качестве режиссера («Живая газета» в Ленинграде, «Агитвагон» в конце 20-х). Свою первую пьесу «Класс» Арбузов сочинил в 1930 году. А вскоре он переехал в Москву. И попал в театральную группу, связанную с Мейерхольдом. Один из его тогдашних друзей, Валентин Плучек, вспоминал:

«Алексею Николаевичу поначалу в Москве было очень трудно, он влюбился в одну из наших студенток Гостемаса Таню Евтееву. Они поженились. Средств к существованию, естественно, никаких не было. Он снял какое-то полуподвальное помещение, без мебели, был большой подоконник, на котором раскладывались бумаги, и засел за пьесу. Он задумал какую-то сложную драму из жизни шахтеров под названием «Сердце». Он считал, что когда закончит… о!.. вот тогда все и произойдет…»

Арбузов даже ездил в Донбасс, в Горловку, чтобы получше узнать про жизнь добытчиков угля, но пьеса двигалась крайне медленно. И снова Плучек: «По возвращении в Москву он продолжал работать над пьесой. Тяжелое материальное положение усугубилось тем, что у него родился сын, которого он

назвал Никитой. Положили его в большую корзину из-под белья. И вот лежит Никита, на подоконнике рукопись «Сердце», сидит худой, истощенный Арбузов, творя свой шедевр. И мы, полные сочувствия к его жизни, носим по очереди бутерброды, чтобы жизнь Никиты как-то продолжалась…»

Вот такая веселенькая картинка из жизни начинающего драматурга. Арбузова спас конкурс, объявленный журналом «Колхозный театр»: нужна современная пьеса… И Арбузов написал живую, умную, легкую пьесу с великолепными театральными ролями – «Шестеро любимых». Шел 1935-й год, и пьесу буквально схватили в Первый колхозный театр (не удивляйтесь: был такой театр, и именно в Москве!) Тут же арбузовскую пьесу подхватил МХАТ-2, а через какое-то время «Шестеро любимых» шли по всей стране. Вот так начался драматург Алексей Арбузов.

Далее пришел период, который сам Арбузов назвал «лучшими годами своей жизни», – на квартире у Плучека в Мерзляковском переулке создалась «Государственная театральная Московская студия» (19 мая 1938 года – день рождения студии), запевалами были Арбузов, Валентин Плучек и драматург Александр Гладков. Все были молоды, по-хорошему тщеславны и полны надежд. Среди учеников студии был будущий драматург Михаил Львовский и актер Зиновий Гердт. Молодые поэты, только набирающие высоту – Павел Коган, Борис Слуцкий, Давид Самойлов – стали друзьями студии. Первая студийная пьеса – «Город на заре», (1940), по жанру хроника, в пьесу был введен почти греческий хор. Премьера «Города на заре» состоялась 5 февраля 1941 года в Клубе на Малой Каретной улице. Спектакль стал событием театрального сезона.

Но еще до «Города на заре» театральную Москву потрясла без всякого преувеличения пьеса Арбузова «Таня» – на спектакле многие женщины рыдали. Пьеса была написана в 1938 году (вторая редакция – 1946). Премьерный спектакль состоялся 18 марта 1939 года в Московском театре Революции (ныне Маяковского). Поставил пьесу режиссер Андрей Лобанов, в главной роли Тани буквально блеснула Мария Бабанова с ее неповторимым серебристым голосом. Роль Германа исполнял Александр Лукьянов, колоритную роль Дуси играла Тер-Осипян.

«Таня» – это супер-спектакль, который явился откровением не для одного поколения зрителей. Он прошел более 1000 раз, и однажды, кажется, режиссер Николай Охлопков вывел на сцену 15 исполнительниц роли Тани. Ошеломительный ее успех был весьма прост: это была первая советская пьеса о личной жизни – не о производстве цемента, не о том, как закалялась сталь, не об

отношениях с врагами советской власти. Это была пьеса о личных чувствах человека. От схем, плаката и откровенной публицистики Арбузов обратился к душам людей, к нравственной проблематике. И это было обжигающе ново. Критики поначалу встретили «Таню» в штыки: дурной мелодраматизм, душещипательная интеллигентность, вторичность, влияние Чехова и Ибсена и прочее. Но затем под напором мощной зрительской симпатии и любви вынуждены были сдаться, и вскоре «Таня» уже стала классикой советской драматургии. Пьеса обошла почти все театры страны, и до сих пор еще ее ставят.

После войны Арбузов развернулся вовсю: писал пьесы, их охотно ставили, зрители неизменно ходили на них. Все шло по накатанной линии успеха. «Годы странствий», «Иркутская история» (в ней блистала вахтанговская звезда Юлия Борисова), «Потерянный сын», «Мой бедный Марат», «Сказки Старого Арбата», «Старомодная комедия». Пьесу «Мой бедный Марат» в Англии назвали «пьесой года», а сезон 1976–1977 английские критики назвали «арбузовским»: пьесы шли в старейшем «Олд Вик». Не каждому драматургу удается достичь вершины популярности на Востоке и на Западе, как этого добился Арбузов.

Он на редкость плодотворно работал, перечислим и другие сценические творения Арбузова: «Счастливые дни несчастливого человека», «Мое загляденье», «Жестокие игры», «Победительница»…

Александр Штейн писал о «Старомодной комедии»: изящно построенный сюжет, улыбка и печаль, поэзия житейских реальностей и музыкальная высокая нота… Примечательно: у Арбузова нет отрицательных персонажей. Сам Арбузов говорил: «Как только я начинал его понимать, я прощал ему его грехи, а прощенный он переставал быть отрицательным». Такая вот авторская позиция, исполненная мудрости и терпения. Он как бы «лечил» в своих пьесах людские недостатки и пороки добром и участием. У Арбузова все герои, даже отрицательные, наделены каким-то странным обаянием, ну, прямо как в сказке. Все немножечко поэты, их всех подгоняет веселый арбузовский ветерок, зовущий к добру и надежде. Драматург проповедовал удивительный тезис: даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала.

В последних пьесах Арбузова его герои проходят «испытание на сытость». «Жестокие игры» – это мелодрама, но мелодрама взрывная и яростная, при этом Арбузов всегда чему-то учит, и он часто повторял, что он «драматург-моралист». Это на сцене, а в жизни он всегда подавал превосходный пример, как надо относиться к коллегам: ни ханжества, ни тайной досады – только

участие, широта и сердечность. Он любил помогать людям. Однажды он спросил начинающую тогда Петрушевскую: «Люся, где ваша новая пьеса?» Она ответила: «Алексей Николаевич, машинка испортилась, не могу печатать». Назавтра он прислал 100 рублей – по тем временам большую сумму.

7 октября 1958 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве на Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков Арбузов выступил с яркой речью, настолько яркой, что ее опубликовали лишь 30 лет спустя, в период гласности. В ней он повторил завет классика, что «служенье муз не терпит суеты», и призвал деятелей театра к задумчивости: «Вот нужное слово. Задумчивость! Ее нам не хватает». В своей речи Арбузов защитил и поддержал молодых драматургов – Виктора Розова и Александра Володина: «Держись, Володин, – время за вас!» Призыв Арбузова: хватит «возвышающего обмана», нужна суровая правда. Зал неистовствовал: такие слова с трибуны никто никогда не произносил.

Алексей Николаевич всегда любил молодых и устроил еще одну студию молодых талантов, которая просуществовала с 1972 по 1986 год, в нее входили Людмила Петрушевская, Марк Розовский, Аркадий Ставицкий, Виктор Славкин и другие нынешние знаменитости.

Личная жизнь Арбузова тоже была драматургически закручена. Он расстался со второй женой Анной Богачевой, которая родила ему двух дочек, Варю и Галю, которых он, кстати, не вынес сам из роддома по причине важнейших футбольных матчей. Нашел в себе силы начать все с нуля с другой женщиной, Маргаритой Лифановой. В 1984 году Арбузова настиг первый инсульт, потом второй… В конце 70-х у него застопорилось издание сборника пьес, и он произнес знаменитую фразу: «Старая гвардия умирает, но не издается».

В некрологе Леонид Зорин написал: «Вы создали много волшебных сюжетов – к несчастью, у Вашей собственной сказки оказался слишком жестокий финал». Арбузов гас необратимо. С каждым месяцем, неделей, часом… Александру Штейну, который пришел его навещать, Арбузов тихо сказал, еле выговаривая слово «Без-на-де-га…»

Алексей Николаевич Арбузов умер 20 апреля 1986 года, немного не дотянув до 78 лет.

Провожать в последний путь Арбузова пришел весь цвет актерского и режиссерского сообщества. В правительском некрологе особо были выделены награды Алексея Николаевича: три ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы

народов… Но разве это было главное в судьбе ушедшего драматурга? Главным было то, что Арбузов вернул театр к Чехову, повернул его к человеку… К человеку без всякого пафоса и придыхания.

Людмиле Петрушевской он подписал книгу так: «Все считают, что вы моя ученица, а вы черт знает что».

В этом словесном выверте – весь Арбузов.

А другой своей студийке, «арбузовке» Ольге Кучкиной, Арбузов на своем однотомнике сделал надпись: «Живите весело и с удовольствием. Работайте с наслаждением и отчаяньем. Не злитесь. Необходимы ирония и жалость. Для критика, как и для драматурга, равно необходимы энергия и темперамент. Действуйте. Алексей Арбузов».

Что ж, совет достойный Мастера.

Профессор «факультета ненужных вещей». Юрий Домбровский (1909–1978)

В последнее время власти упиваются природными ресурсами. Нефть, газ – как мы сказочно богаты! А на самом деле в России богатство иное – русская литература. Какие имена! Какие книги! Какие судьбы!.. Но властным структурам – по всей вертикали сверху вниз, – на это плевать. Главное – деньги, бабло. А идеалы, душа, духовность – это все никчемные семечки. Так и живут, надуваясь, как пузырь!.. Ну, а нам, далеким от власти, остаются в утешение замечательные писатели недавнего прошлого. Юрий Домбровский – один из них.

В 2009 году исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Домбровского. Промелькнула всего лишь одна юбилейная публикация «Никакая богородица не спасет». Домбровскому, как и тысячам другим, пришлось жить в эпоху и в стране, «где так вольно дышит человек». К счастью, он не погиб в лагере. Выжил. Не задохнулся от «свободы» и «вольности». Но хлебнул зла и отврата сполна, полной чашей.

«Меня убить хотели эти суки…» – так начинается одно из стихотворений Домбровского. На его долю пришлось 4 ареста.

1932 год – первый арест. Три года ссылки в Алма-Ате.

1937 – второй арест и 7 месяцев в следственном изоляторе.

1939–1943 – третья посадка. Колымские лагеря.

1943 – актирован из лагеря как инвалид (отмороженные ноги).

1949–1955 – вновь арест. Заключение в Тайшетском Озерлаге.

1956 – реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Примечателен национальный аспект. В «деле» 1932 года Домбровский числился как русский, в 1939 – как поляк, а в 1949 – уже как еврей.

За что брали? В 32-м из-за студенческого «выкидона». Домбровский с приятелями сорвал красный флаг. Не по политическим соображениям, а просто так, из-за фронды. А вот я вам!.. В 37-м, когда брали через одного, загребли и Домбровского, но дело на него так и не сшили. Историю этого ареста писатель положил в основу сюжета романа «Хранитель древностей». 26 августа 1939 года был арестован, очевидно, как подозрительный элемент. Отбывал срок на Колыме, откуда вернулся истощенным и еле живым, по существу инвалидом. Зимой 43-го в больнице начал писать роман «Обезьяна приходит за своим черепом» (опубликован в 1959).

Жил в Алма-Ате. Продолжал писать статьи и книги, занимался переводами. В 1946–1947 Домбровский преподавал в студии при Русском театре им. Лермонтова. Подобралась вполне интеллигентная компания. Бесконечные разговоры о Марке Аврелии, Христе, Иосифе Флавии, Радищеве и о Большой комиссии Екатерины II. И тут грянула совсем другая компания: борьба против зловредных космополитов. Домбровский оказался среди первых жертв. 16 марта 1949-го в «Казахстанской правде» появилась публикация «Буржуазный космополит на университетской кафедре». И – ату его! В ночь на 30-е марта за Домбровским пришли. Он сидел за письменным столом. Дверь была, как обычно, открыта. Увидев незваных гостей, писатель закричал: «Не мешайте работать!» И запустил в них чернильницей. Его молча скрутили.

На Домбровского «навесили» много обвинений, но главный пункт: рукопись «Обезьяны», и она была признана «фашистским романом». В нем говорилось о фашизме в Европе, но легко угадывался сталинизм в СССР. Один из изображенных в романе персонажей, профессор Мезонье, отказывается сотрудничать с нацистами и гибнет, другой – профессор Ланэ, напротив, идет на сотрудничество, навсегда остается «сумчатой крысой» – благополучным трусом и предателем.

А автор «Обезьяны» был отправлен на очередной «сталинский курорт» – в Озерлаг. На долгих 7 лет, по существу за то, как говорил протопоп Аввакум, что «живал духовно», а не принимал на веру аксиомы сталинского краткого курса. Как отмечено на страницах допроса, «восхвалял певца американского империализма Хемингуэя» и «говорил, что все советские писатели ему в подметки не годятся». Такое не прощается!..

Ну, а дальше – лагерь. Зона. «Не забыть мне проклятую зону, /Эту мертвую память твою; /Эти смертью пропахшие годы, / Эту башню у белых ворот, / Где с улыбкой глядит на разводы / Поджидающий вас пулемет…»

И в другом стихотворении («Утильсырье», 1959):

Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что теперь добро, но помнил твердо:
«Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных нет
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно:
– Домбровский, вам приходится писать… —
Пожал плечами: «Это бесполезно!»
Осклабился: «Писатель, вашу мать!»

О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и ночные шофера,
Бухгалтера и короли утиля,
Линялые гадюки в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей!
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?..

Домбровский совершил в своей жизни два подвига. Физический – что сумел выжить в неимоверных условиях лагеря, и нравственный: рассказал в своей книге-завещании «Факультет ненужных вещей» о репрессиях и сталинском произволе.

Литература, писательство для Домбровского были не случайным занятием, а призванием, главным смыслом его жизни. Он писал о Державине и Байроне, Грибоедове и Кюхельбекере, создал цикл очерков о художниках Казахстана, размышлял над романами о Веневитинове и Катулле. В Алма-Ате читал курс по Шекспиру для студентов театрального института.

Домбровский был не только писателем, но и философом, историком, искусствоведом, правоведом. Был энциклопедически образованным человеком. Много знаний приобрел в лагерях. Рядом сидели профессора-латинисты, и он освоил латынь. Читал в подлиннике Тацита. У профессиональных историков научился анализировать и понимать исторические процессы. Сидел с

китайцем и перенял от него восточное целительство. Когда появлялась возможность, Домбровский пополнял свой интеллектуальный багаж.

Медлительный еврей с печальными глазами
Мне говорит о тайнах бытия…

В 1955 году Домбровского освободили из лагеря, но еще несколько месяцев он оставался на поселении в поселке при станции Чуна на севере Иркутской области. В одном из писем писал своему солагернику Александру Жовтису: «За последние годы много работал, здорово подогнал Шекспира… познакомился с Донном… занимался Римом… мечтаю о романе о Спартаке!.. Гуляю по тайге, привожу в порядок свои вещи и бумаги, готовясь к отъезду… От пережитого стал страшно худ и похож не то на химеру, не то на грифона со стильной мебели – таким и хожу на посиделки, где кокетничаю с деревенскими девчатами, но к жизни, кажется, возвращусь со щитом… А в общем у меня чувство (выражаясь словами Ульриха фон Гуттена), что «расцветают науки, поют искусства», и кажется, на этот раз я не ошибаюсь…»

Ошибся, ошибся Домбровский в своих ожиданиях – не он первый, не он последний. Советский Союз был страной непрогнозируемой: от жестоких морозов к оттепели и снова к заморозкам. Но открутим время назад. Вернемся к истокам.

Юрий Иосифович Домбровский (затем отчество было переделано в более русское: Осипович) родился 24 апреля (12 мая) 1909 года в Москве. Отец – Иосиф Домбровский, адвокат с именем; мать – Лидия Крайнева, биолог. После окончания бывшей Медведниковской гимназии в Староконюшенном переулке Юрий поступил на Высшие государственные литературные курсы. В 23 года «загремел» на свой первый «сталинский курорт» в Алма-Ату и лишь в 46 лет обрел долгожданную свободу, предполагая, что возвращение в жизнь будет «со щитом».

Но получилось иначе: как говорили древние, под щитом. Домбровскому пришлось существовать по шутливой формуле Бориса Слуцкого: широко известный в узких кругах. В узких кругах был любим и почитаем, в широких – непризнан и замолчен. Остался вне литературного истеблишмента. Однако Домбровский не унывал по этому поводу, ибо следовал завету древнего греческого мыслителя, ученика Сократа, Антисфена: лучше быть с горсткой честных против всех дурных, чем со всеми дурными против горстки честных. В одном из писем Домбровский советовал другу не обращать внимание на железную поступь

пошлости: «Ну есть тут отчего задуматься, терять голову, задавать вопросы? Поступай по Данте: «Взгляни – и мимо!»

Он сам так и поступал. Всегда плохо одетый, вечно нуждающийся, он держался гордо и независимо. Говорил немного картавя, быстро. Любил заходить в ресторан ЦДЛ, где смотрелся диковинно: голь-переголь, нищета. Его часто выручала Муся-буфетчица, ангел-спаситель, жалуя бесплатными бутербродами и стопочкой водки. А бедствующий писатель был уже знаменит в узких кругах Советского Союза и широко на Западе. Отечественная пресса не замечала Домбровского. Но как писал польский переводчик И. Шенфельд, «Запад его уже знал, посылались приглашения приехать, выступить, дать интервью, получить накопившиеся гонорары, но его упорно не пускали. Трижды посылал я ему приглашение из социалистической Варшавы – не пускали. Советский Союз не подписал еще конвенции об авторских правах, заграничные гонорары можно было получить только лично на месте, он жил в нищете, но его не пускали. Бездарные, никому не известные, но приспособившиеся борзописцы по несколько раз в год мотались по Европе, а Юрия Домбровского, писателя с мировым именем, не пускали, мстя ему за то, что предпочитал жить в скудости, чем продавать свое перо…»

В 1959 году вышел роман Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом». В 1964 – роман «Хранитель древностей». В 1969 – «Смуглая леди». Спустя 5 лет – книга «Факел». В 1978 году вышли «Записки мелкого хулигана» и собрание сочинений в 6-и томах.

«Смуглая леди» – это три новеллы о Шекспире. В них писатель хотел понять, «как с годами менялся автор, как пылкий и быстрый в юности, он взрослел, мужал, мудрел, как восторженность сменялась степенностью, разочарованием, осторожностью и как под конец сменилось страшной усталостью».

Еще маленьким мальчиком Домбровский увидел в подмосковном дачном местечке спектакль «Венецианский купец», который давала какая-то бродячая труппа, и влюбился в Шекспира. «Сейчас я-то, конечно, хорошо понимал, что актеры были плохие. Да и спектакль много не стоил – но вот это ощущение свободы и красоты я унес тогда с собою и сохранил его на всю жизнь…» И какой-то дяденька сказал тогда Домбровскому главные слова о шекспировских персонажах: эти люди были свободны от страха и унижения.

«Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» по существу дилогия. «Герой мой – человек моего круга, моих наблюдений, информации и восприятия», – писал Домбровский в

одном из писем. И главный вопрос: как жить и во что верить в тоталитарную эпоху? «Факультет» – это роман о смысле и цене веры, о цене жизни и предательства. Это роман о страхе и мужестве, слабости и силе…

Домбровский в своем «Факультете» описывает мир без нужных вещей – мир без права, морали, истины, красоты, чести, совести, правды, стыда и прочих абсолютных ненужностей, объявленных химерами. Это мир вне и без культуры.

Герой «Факультета» Зыбин в ужасе оттого, что большинству людей стали не нужны «разум, совесть, добро, гуманность – все, все, что выковывалось тысячелетиями и считалось целью существования человечества», – и он, Зыбин, вопреки всему этому решает остаться самим собою, «вечным студентом и вольным слушателем факультета ненужных вещей».

Под «Факультетом» стоит дата написания романа: 10 декабря 1964 г. – 5 марта 1975 г. К окончанию романа оттепель в стране кончилась, и не было никакой надежды публиковать его в «Новом мире». Домбровский долго колебался (имея в виду печальную историю с публикацией «Доктора Живаго» Пастернака), публиковать роман на Западе или нет. Наконец, в 1977 году решался (очевидно, чуя уже свой близкий конец) и передал 800 машинописных страниц во Францию. И успел еще подержать в руках парижское издание на русском языке. К советским читателям «Факультет» пришел лишь спустя десятилетие.

В послесловии к французскому переводу романа известный критик Жан Катала писал: «В потоке литературы о сталинизме эта необыкновенная книга, тревожная и огромная, как грозовое небо над казахской степью, прочерченное блестками молний, возможно, и есть тот шедевр, над которым не властно время».

Юрий Домбровский одним из первых понял, что зло, творимое в стране, шло не только от Сталина. Сталин опирался на аппарат насилия и на энтузиазм масс. Не все были патологические изуверы, но все принимали участие в чудовищных, «очистительных акциях». В своем обращении «К историку» (1965) Домбровский объяснял: «Теперь последнее – почему я 11 лет сидел за этой толстой рукописью. Тут все очень просто – не написать ее я никак не мог. Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем. А об ответственности, будьте уверены, я давно предупрежден…»

В подверстку приведем стихотворение Домбровского «Чекист»:

Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.
Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.
Была в меня когда-то влюблена
Красавица – лишь на обертке мыла
Живут такие девушки – она
Любовника в кровати задушила.
Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать – он был чекистом.

Нет, Домбровский много чего поведал о чекистах. Если говорить о стихах, то при жизни Юрия Осиповича была лишь одна публикация: стихотворение «Каменный топор» в 1939 году. Лагерные его стихи были опубликованы лишь посмертно. Одно из них – удивительное, посвящено заключенному профессору из Берлина, «водовозу и бездарному дровосеку», который на зоне читал стихи Рильке, обращенные к Полярной звезде:

Что могу товарищу ответить?
Я, делящий с ним огонь и тьму?
Мне ведь тоже светят звезды эти
Из стихов, неведомых ему.
Там, где нет ни времени предела,
Ни существований, ни смертей,
Мертвых звезд рассеянное тело.
Вот итог судьбы твоей, моей:
Светлая, широкая дорога —
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждем? Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Но и на свободе Домбровскому приходилось несладко.

«Увы, весь этот мир не для меня! / неискренний, двуличный и пытливый», – писал он в цикле стихотворений «Анри Руссо». Приходилось сражаться с редакторами. «Эти бездарные шмакодявки опять мнут душу. Парашники! Вертухаи от

литературы! Надоело!» – не выдерживал Домбровский. А еще досаждали литературные набобы, литературные обмылки-крититки, как он выражался. Бедствовал. Жил затворником. И лишь когда стал получать пенсию – 120 рублей, – почувствовал себя материально независимым. Гарантированное «благополучие». Рядом с ним была Клара Турумова. С ней, с юной студенткой-филологичкой, он познакомился еще в Алма-Ате, там в казахстанских горах диктовал ей своего «Хранителя». Клара полюбила этого немного расхристанного мужчину за его сверкающий талант.

Последний рассказ, написанный Домбровскмм, называется «Ручка, ножка, огуречик» (1971). Герой рассказа вынужден жить в мире людей-лекал и событий-лекал. Лекало – это «что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализами и заходами – хитрое, вокруг всего изгибается, все обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а все в изгибах, перегибах, изломах».

Лагерные годы давали о себе знать. Здоровье его все более расшатывалось…

Не стараясь и телом и чувством
И весь разлетаясь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль…

Вот эта надежда и поддерживала Юрия Осиповича, но и она угасала. По одной из версий Домбровского сильно избили (хулиганы? Чекисты?), и это ускорило его кончину. Он умер 29 мая 1978 года в возрасте 69 лет. Похоронен на Кузьминском кладбище.

«Факультет ненужных вещей»? А изумительные стихи? А борение духа? А души прекрасные порывы?.. Простите, но я тоже студент с этого факультета.

Дневные и ночные звезды. Ольга Берггольц (1910–1975)

Ее судьба – это судьба нашей Родины. Вместе с нею она испытала все – гордость за страну, любовь к ней, а вместе с тем боль унижения и позора. Испила чашу страдания до дна.

Это она, Ольга Берггольц, написала постоянно цитированные строки «Никто не забыт и ничто не забыто». Горькое увы: это не так. Многие забыты и даже не похоронены до сих пор. Многое забыто или искажено угодливыми историками. Выпрямлено и приукрашено. А на самом деле все было горше и страшнее.

Свою жизнь Ольга Берггольц оценивала так:

Нет, судьба меня не обижала,
Щедро выдавала, что могла:
И в тюрьму ежовскую сажала,
И в психиатричку привела.

Провела меня через блокаду,
По смертям любимейших вела,
И мою последнюю отраду —
Радость материнства – отняла.

Одарила всенародной славой, —
Вот чего, пожалуй, не отнять.
Ревности горючею отравой,
Сердцем, не умеющим солгать.

В скудости судьбу я упрекнуть не смею,

Только у людей бы на виду
Мне стихами б рассчитаться с нею,
Но и тут схитрила: не дадут.

Ну, а теперь поэзию переведем в прозу жизни, тем более что молодое поколение почти совсем не интересуется литературой и имя Ольги Берггольц мало кому что говорит, мол, какая-то женщина-поэтесса – это скучно и неинтересно. Выжила в ленинградскую блокаду? А что, такая была?.. С подобным дремучим невежеством «знания» истории своей страны приходится встречаться чуть ли не на каждом шагу.

Н-да. Никто не забыт и ничто не забыто. А если забыто, то тогда вспомним.

Ольга Федоровна Берггольц родилась 3 (16) мая 1910 года в Санкт-Петербурге. Ее отец, Федор Христофорович, заводской врач, интеллигентный человек, увлекшийся идеями революции. Революционный дух Невской заставы с детства увлек и маленькую Ольгу (домашние звали ее Лялей). Отцу и его друзьям-романтикам Берггольц позднее посвятит героико-романтическую поэму «Первороссийск», за которую в 1951 году получит Сталинскую премию (до этого она получила другую сталинскую «награду» – тюремное заключение в знаменитых Крестах).

На одной из фотографий запечатлена молодая Берггольц: красивая, золотоволосая, с неповторимой льняной прядью, падающей на высокий и чистый лоб. Умная, пылкая, революционнонастроенная девушка, верящая в грядущее светлое будущее. Ни грана сомнения. Только любовь и вера. И когда лорд Керзон пригрозил Республике Советов новой интервенцией, Ольга Берггольц вышла на улицу с плакатом: «Лорду в морду!» Вместе с товарищами она шла по Шлиссельбургскому проспекту, распевая во всю глотку «Интернационал» и «Смело, товарищи, в ногу…» Ну, и, конечно, о том, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней». Как весело и задорно было тогда. А когда умер Ленин, то 14-летнюю девочку трясло от горя: «Я вступлю в комсомол и буду профессиональным революционером. Как Ленин…» Любовь к Ленину Берггольц пронесла через всю жизнь.

Но в принципе Ольга Берггольц была рождена для радости, для счастья, она и стихи писала светлые и радостные, утверждая: «О, я знаю, все возможно, / Все сумею, все смогу…» Свою раннюю лирику она печатала в газетах «Резец», «Ленинские искры», в журналах «Юный пролетарий» и в других изданиях. Первая книжка «Стихотворения» вышла в 1934 году, и за нее Берггольц

похвалил сам Максим Горький. Стихи звонкие, искренние…

Берггольц закончила журналистское отделение Ленинградского университета и уехала работать в Казахстан, стала разъездным корреспондентом газеты «Советская степь». Вернувшись в Ленинград, сотрудничала в многотиражной газете завода «Электросила». К этому времени она уже вышла замуж за известного поэта Бориса Корнилова, автора популярнейшей песни о встречном. Старшее поколение наверняка ее помнит: «Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня, страна встает со славою навстречу дня…» Обращение «вставай, кудрявая!» – это к жене, к Ольге Берггольц. В 1936 году над Борисом Корниловым нависла черная туча: его исключили из Союза писателей. А в 1938 году его арестовали и уничтожили. Так вот: «Нас утро встречает прохладой…» Прохладой и тюрьмой.

Ольга Берггольц тяжело переживала сначала арест, а потом потерю мужа. Горестно обращалась к нему со стихами:

Ты живешь ли на белом свете?
Ты лежишь ли в земле сырой?

Тогда на такие вопросы отвечать было не принято. «Враг народа» и точка. Никаких вопросов и разговоров. Добавились и другие беды: умерла в младенчестве дочь от Корнилова, другая, Ирина, от другого мужа – Николая Молчанова, тоже поэта, погибла в мае 1936 года. Когда Ольгу Берггольц арестовали по клеветническому доносу, она ждала ребенка…

Ольгу Берггольц арестовали 13 декабря 1938 года. В своем дневнике она записала: «3 июля 39-го вечером я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных, – я не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть – но живу… подкрасила брови, мажу губы… Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего…»

Запись от 14 декабря 1939 года: «Ровно год тому назад я была арестована. Ощущение тюрьмы сейчас возникает во мне острее… не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора… запах рыбы, сырости, лука, стук шагов на лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, обреченности, безысходности, с которыми шла на допросы… (следователь) говорил мне: «Вы – преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии…» Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее

обратно и говорят: «живи…»

В одиночке Берггольц писала:

Из края тьмы, бессмысленной и дикой,
В забытое земное бытие
Я душу увожу, как Эвридику:
Нельзя мне оглянуться на нее.
Шуршат изодранные покрывала,
Скользят босые слабые ступни…
Нет, не глядеть, не знать, какой ты стала
За эти, смертью отнятые, дни,
Нет, если я условие нарушу
И обернусь – я расплачусь вдвойне:
Тогда навек я потеряю душу,
И даже песни не помогут мне…

Беременную Берггольц в тюрьме не жалели и сапогами выбили ребенка из живота. Она потеряла желанного сына. «Кругом пустынно, кругом темно,/ И страх, и ложь,/ И голубь пророчит за темным окном,/ Что ты – умрешь».

Ольга Берггольц вышла из тюрьмы и продолжала верить в правоту… Сталина. Она жаждала жизни и творчества. «И краешек счастья, как знамя целую». А тут новое испытание. Война. Блокада Ленинграда. Постоянные обстрелы. Голод. Смерть. В 1942 году от голодной смерти умер второй муж Берггольц Николай Молчанов. Она сумела перенести и это. Она писала мужественные и патриотические стихи. Выступала по радио и всем, чем могла, поддерживала дух ленинградцев. По существу Ольга Берггольц все 900 дней блокады несла вахту мужества и высокой человечности. Ленинградцы ждали и ловили голос поэта «в квартирах черных, как пещеры,/ У репродукторов глухих».

«Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Памяти защитников», «Твой путь» – наиболее значительные произведения, написанные в труднейшие блокадные годы. В стихотворении «Разговор с соседкой», Дарьей Власьевной, Берггольц писала:

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба —
он почти не весит на руке…

Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист, —
сколько силы нам, соседка, надо,

сколько ненависти и любви…

И призывная концовка: «Дарья Власьевна, твоею силой / будет вся земля обновлена, / Этой силе имя есть – Россия. / Стой же и мужайся, как она!»

Дарья Власьевна, Ольга Берггольц и весь советский народ выстояли в борьбе с врагом и победили. Как писала в книге «Рядом с героями» Вера Кетлинская об Ольге Берггольц: «Сколько потрудилась жизнь, кромсая, обжигая, обдавая ледяным холодом, нанося удар за ударом, прежде чем надломить и издергать это нежное существо, наделенное чуткостью и талантом, дышащее поэзией и жизнелюбием!.. Среди бедствий и горя войны она, как и многие, снова обрела душевную ясность, нарушенную событиями 1937 года. Тяжкий бред подозрительности, проработок и репрессий остался позади. Стало ясно, кто друг, кто враг. Во мраке блокады, в ожесточенности небывалой войны основные немеркнущие понятия: родина, власть Советов, мать, друзья, боевое товарищество…»

Кетлинская писала это в 1967 году – так писали все, многое оставляя за скобками и не зная всей трагедии народа в сталинские времена, «где так вольно дышит человек».

Едва кончилась война, пошли косяком новые внутренние напасти: ждановщина, космополитизм, ленинградское дело, дело врачей и т. д. Первое издание книги радиовыступлений Берггольц «Говорит Ленинград» (1946) было изъято в связи с «ленинградским делом».

Ольга Берггольц после войны продолжала писать и стала весьма крупным поэтом, ее «Дневные звезды» – «открытый дневник» стал весомым произведением о жизни не только самой Берггольц, но и жизни всего ее поколения и всей страны. Главы из книги публиковались Твардовским в «Новом мире» в 1954 и 1959 годах. До конца жизни Берггольц работала над второй частью «Дневных звезд», но книга так и осталась незавершенной.

Послевоенное творчество Ольги Берггольц пронизано нравственным максимализмом и жертвенностью. Как отмечали критики, в ее стихах все крупно, полновесно, оплачено жизнью: горечь утрат – неутолима, верность – постоянная, нежность – пронзительна, отрицание лжи, клеветы, предательства, фальши – бесспорно. Вот характерные для нее строки: «…Дойду до края жизни, до обрыва,/ И возвращусь опять./ И снова буду жить./ А так, как вы, – счастливой/ Мне не бывать…» Следует отметить, что трагический отсвет упал на всю последующую поэзию Берггольц.

Я стала так редко смеяться,
так злобно порою шутить,
что люди со мною боятся
о счастье своем говорить.
Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по темному следу
далеко одна ухожу…

Многие литераторы в те советские времена приспосабливались к историческим реалиям, верно служили режиму. Берггольц была не из их числа. Она оставалась мужественной и верной своим идеалам. Никогда не подписывала никаких писем одобрения политики партии и правительства, не участвовала в гонениях на своих коллег. В пору опалы помогала Анне Ахматовой. Анна Андреевна ценила ее помощь, но была предельно строгой к творчеству Берггольц и не раз критиковала ее за стихи и рифмы типа «мама – Кама». Однажды в беседе с Лидией Чуковской Ахматова сказала: «Оля – талантливая, умеет писать коротко. Умеет писать правду. Но, увы! Великолепно умеет делиться на части и писать ложь. Я издавна ставила на двух лошадок: черненькая – в Москве (Мария Петровых. – *Ю. Б.*), беленькая – в Ленинграде (Ольга Берггольц). Беленькая с юности разделена на части и потому сбивается, хотя талант большой…»

Анна Андреевна смотрела в корень. Ольга Берггольц до конца жизни не изжила свою революционную веру в коммунистическое будущее, верила в хорошего Ленина и с большим трудом отказалась от плохого Сталина, мучилась противоречиями и трагедиями истории Советского Союза. Иногда проявляла своеволие, и за это режим ее недолюбливал. В последние годы Берггольц печаталась все реже. Иногда сама отказывалась от публикаций, говоря: «Совесть не позволяет!» Болезни и раздвоение личности ее преследовали: «Они ковали нам цепи, / а мы прославляли их…»

У Ольги Берггольц последние 16 лет, по словам ее сестры, были «боль, вино, одиночество». Ефим Эткинд выразился определеннее: «Пила вмертвую».

13 ноября 1975 года Ольга Федоровна Берггольц умерла в возрасте 65 лет. Появилась на свет и покинула его в одном и том же городе, но с двумя разными названиями: Петербург и Ленинград. И это тоже был символ ее душевного разлада, как соединить несоединяемое…

Похоронили Ольгу Берггольц на Литературных мостах

Волкова кладбища, а она хотела лежать на Пискаревском, рядом с десятками тысяч сограждан, героев и мучеников блокады. И здесь получилось раздвоение надежды и были. На ее похоронах Глеб Горбовский прочитал:

Прощай… На гробе снег шуршит.
И хоть длинна командировка,
Берггольц лежит на Пискаревке —
Там, где душа ее лежит.

Вот и все об Ольге Берггольц. Если кратко: она была Поэтом с большой буквы, певцом и одновременно жертвой сталинской эпохи. Умерла с верой, от которой так и не могла отказаться до конца.

А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых мной лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет…

Обрываем строку. Блажен, кто верует… Я лично предпочитаю другие строки Берггольц: «…не оглядывайтесь назад, /на этот лед, на эту тьму…»

Надо все же вглядеться…

Собиратель тяжелых слез страны. Павел Васильев (1910–1937)

Он прожил всего 26 с половиной лет. Был ликвидирован, уничтожен, расстрелян в один из дней черного 1937 года. Его яркий поэтический талант оказался не только ненужным, но и опасным в сталинскую эпоху.

В архиве Союза писателей СССР хранится листок, написанный Борисом Пастернаком 16 октября 1956 года: «В начале 30-х годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский. Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последних, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого, в такой мере, я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы…»

Высокая похвала и весомое сравнение с Есениным и Маяковским. Напор у Васильева был, как у Владимира Владимировича, но и большая разница: Маяковский – урбанист, глашатай городских страстей, а Павел Васильев – певец степей и казацкой вольной удали. А вот с Есениным связь поближе, оба тяготели к природе и к народным песням, Васильев называл Сергея Есенина «князем песни русския», да и сам он был таким же

князем.

Ну, а теперь немного биографии, без которой не обойтись (Есенин изучен вдоль и поперек, а материк Павла Васильева еще не изведан полностью).

Павел Николаевич Васильев родился 12 (25) декабря 1910 года в городке Зайсане (ныне Казахстан), недалеко от китайской границы. Отец – учитель математики, выходец из казаков. Детство и отрочество прошло в Павлодаре, в условиях глубокого патриархального быта. А мальчика тянуло в другой мир, открытый и продуваемый ветрами. Он много читал, в школе начал сочинять стихи. В 15 лет повздорил с отцом, – характер был уже самостоятельный, неуемный, порывистый, – и ушел из дома. Добрался до Владивостока. Учился на курсах восточных языков, а потом нанялся матросом и отправился в плаванье. Затем поработал старателем на золотых приисках, закалился физически и морально. В молодом Павле Васильеве бушевал дух бродяжничества, дух исканий, стремление к перемене мест и жажда творческой работы.

Не жидкая, скупая позолота,
Не баловства кафтанчик продувной…
Строителя огромная работа…

Свои первые стихи Павел Васильев опубликовал во владивостокской газете «Красный молодняк». Писал много и вдохновенно. Однажды с приятелем, путешествуя по стране, забыл во время короткого ночлега мешок со стихами. «Вернемся?» – предложил приятель, на что Павел махнул рукой: еще напишу!.. Писал стихи, поэмы, очерки… «В степях немятый / снег дымится,/ Но мне в метелях не пропасть, – / Одену руку в рукавицу/ Горячую, как волчья пасть…»

Сколько энергии, чувства, образности! Как отмечали многие современники Павла Васильева, он безмерно много обещал…

В 1928 году переехал в Москву, учился в Литературно-художественном институте им. Брюсова. Выделялся среди всех. Не городской, хилый интеллигент в очках, а крепко сложенный, мускулистый молодой человек, от которого веяло мужицкой силой и тягой к свободе. Да и сам он хотел «И жизнью гореть. И двигаться с жизнью». Кто-то даже называл его «русским азиатом». Свои стихи читал он страстно, вспоминает Елена Вялова, – «я была заворожена его чистым, звонким голосом».

Что же, песня моя,
Молчишь?

Что же ты, сказка моя,
Молчишь:
Натянутые струны твои —
Камыш.
Натянутые волны твои —
Иртыш!..

Все это звучало звонко и проникновенно, не случайно знаменитый актер Василий Качалов, сам превосходный чтец, как-то заметил: «Вот у кого учиться надо читать стихи!» И писал Павел Васильев талантливо, и читал свои стихи с блеском, да и как человек был весьма неординарный со сложным характером.

Был горяч, излишне резок, чересчур правдив, как говорят в народе, не стеснялся резать правду-матку в глаза. Когда сгустились тучи над Бухариным, Павел Васильев не побоялся назвать его «человеком высочайшего благородства и совестью крестьянской России». И обрушился на писателей, на тех, кто ставил свои подписи под антибухаринскими выступлениями в печати: «Это порнографические каракули на полях русской литературы». Разумеется, подобное высказывание Васильеву не простили. Он вообще любил задираться, в нем бродила есенинская отвага-бравада, и однажды он врезал поэту Джеку Алтаузену за его оскорбительные высказывания в адрес любимой женщины.

Молодой, талантливый, независимый, Павел Васильев пришелся не ко двору, а точнее, не к режиму. Он воспевал природу, народную удаль, казацкую вольницу, а время требовало других тем и направлений. Много лет спустя, вспоминая Павла Васильева, критик Александр Михайлов осторожно писал, что поэт не раз совершал длительные поездки в Сибирь и Среднюю Азию, «чтобы преодолеть индивидуалистические замашки и выйти на вольный воздух общественного бытия 30-х годов с его строительным пафосом и небывалым энтузиазмом».

В начале 30-х, при жизни поэта Павла Васильева, его припечатывали жестоко и с остервенением, считая, что позиции, занятые им, являются «классово враждебными революции», что в его стихах обнаружены «все элементы реакционнейшего, косного, зверино-шовинистического, свирепо-собственнического миросозерцания того класса, некритически воспринятое впечатление от быта которого он выносил и вынянчил в себе с детства и ранней юности». Эта выдержка из журнала «Литературный критик» под названием «От чужих берегов».

С чужого берега «приплыл» товарищ. Чужой. Чужой среди

своих. Злобствовали критики, ненавидели коллеги-поэты: ишь, выпендривается парень, не хочет шагать в едином социалистическом строю. Михаил Голодный даже угрожал: «Смотри, как бы кошка тебя не съела. /Смотри, как бы нам тебя не придушить…» Никакой дипломатии, а просто рифмованные угрозы. А тут и сам Павел Васильев по молодости лет, по своему необузданному темпераменту и, возможно, по глупости подставлялся: как-то напился, где-то поскандалил, подрался. Эпизоды, может быть, незначительные, но их критики и недруги Павла Васильева сознательно раздували и подкидывали «факты» литературному главнокомандующему Максиму Горькому. Страна готовилась к Первому съезду советских писателей, и Алексей Максимович решил навести порядок в литературных рядах, кое на кого цыкнуть.

И вот 14 июня 1934 года в трех сразу – в «Правде», «Известиях» и «Литературной газете», – появилась статья Максима Горького «Литературные забавы». Статья – удар под дых. «… Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, – другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать… от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа»…»

В своей статье Горький процитировал слова одного анонимного «партийца»: «Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы… Политически… это враг».

Максим Горький лично не был знаком с Павлом Васильевым, не знал его стихи и целиком доверился письмам-доносам литературных недоброжелателей поэта. Слова «буревестника революции» послужили сигналом к массированной атаке на Павла Васильева, на поэта обрушился шквал проработок и общественных осуждений. «Внешне проклиная кулаков, П. Васильев ими несомненно любуется», – писал один критик. «Кулацкий поэт», – выносил вердикт другой литератор. «Чуждая нам идеология прет из него непроизвольно…» – возмущался третий.

Павлу Васильеву пришлось оправдываться и обращаться к главному литературному оценщику страны, к Максиму Горькому: «Меня лично статья заставила глубоко задуматься над своим бытом, над своим творчеством и над кругом интересов, которые до сих пор окружали меня и меня волновали. Я пришел к выводу,

что должен коренным образом перестроить мою жизнь и раз навсегда покончить с хулиганством…»

Однако письмо Павла Васильева круги, близкие к Горькому, сочли недостаточно самообличающим и от поэта потребовали новой редакции покаяния. Новый вариант появился в «Литературной газете» 12 июля 1934 года и сопровождался ответом Алексея Максимовича: «…О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так часто, что я должен был упомянуть о Вас, – в числе прочих… Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, – охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это – не очень легкая и очень неприятная работа…»

Слова произнесены – дело завертелось. В августе 34-го на Первом съезде советских писателей Павел Васильев получил очередную порцию зубодробительной критики, а 10 января 1935 года его исключили из Союза писателей, что автоматически повлекло за собой негласный запрет на публикацию произведений. Но и это кое-кому показалось мало, и 24 мая 1935 года появилось письмо, его подписали 20 известных поэтов (Асеев, Кирсанов, Уткин, Луговской и даже близкий друг Борис Корнилов). Поэты призвали «принять решительные меры против хулигана» (произошла свеженькая стычка с Джеком Алтаузеном). Павла Васильева арестовали и 15 июля осудили за «злостное хулиганство» на полтора года лишения свободы.

За Павла Васильева бросился хлопотать его ангел-хранитель Иван Гронский, и поэт весной 36-го был освобожден. В колонии он написал очередное письмо Максиму Горькому (оно хранится в архиве писателя): «…Аморальный, хулиганский, отвратительный, фашистский – вот эпитеты, которыми хлестали меня безостановочно по глазам и скулам в нашей печати. Я весь оброс этими словами и сам себе кажусь сейчас какой-то помесью Махно с канарейкой…» И далее: «После Вашего письма, садясь за работу, я думал: вот возьму и напишу такое, чтобы все ахнули, и меня похвалит Горький! Я гордец и я честолюбив, Алексей Максимович, – и, ложась спать, я говорю жене: «Вот погоди, закончу задуманное – Горькому понравится…»

И о жизни в колонии: «Я работаю в ночной смене краснознаменной бригады, систематически перевыполняющей план. Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные плахи на леса. Это длится в течение 9 часов каждый день. После работы валишься спать, спишь до «баланды» и – снова на стройку…» Вот так перевоспитывали проштрафившегося поэта. И он кричал в письме Горькому: «Но как не хватает воздуха свободы! Зачем мне

так крутят руки?..» Под письмом дата: 23 сентября 35 г. НТК, Электросталь.

Интересная ситуация! Павел Васильев жаловался Максиму Горькому, что ему не хватает «воздуха свободы», но и у великого и, казалось бы, всесильного Горького свободы не было. Он был заперт в золоченой клетке и находился под тщательным надзором специальных служб: как бы чего лишнего не наговорил иностранным гостям о подлинной несвободе в Советском Союзе.

18 июня 1936 года Максим Горький скончался. А тем временем Васильева перевезли из колонии в Таганскую тюрьму в Москве, а оттуда – в Рязанскую. Весной 36-го Павел Николаевич вышел на свободу, глотнул немного вольного воздуха и 6 февраля 1937 года вновь был арестован. Со своей женой Елкой (так он звал жену Елену Вялову) в гостях у друзей. Вечером вышел в парикмахерскую, сказал: «Я скоро вернусь…» И не вернулся. На улице его ждала машина и два чекиста. На Лубянке уже вовсю кипела работа над новым делом о группе писателей, связанных с контрреволюционной организацией правых. Чекисты сами установили цель группы: террористический акт против самого вождя, и якобы убийство Сталина поручено именно Павлу Васильеву. В театре абсурда ему была уготована главная роль. Конечно, жестоко били и всячески унижали. Один из следователей, который вел дело террористической группы, перед коллегами бахвалился, что он от своих подследственных «меньше двух иностранных разведок и меньше 30 участников не берет».

15 июля 1937 года Павел Васильев был приговорен к расстрелу. Вместе с ним по этому делу были ликвидированы писатели и поэты Артем Веселый, Василий Наседкин, Иван Приблудный, Георгий Никифоров, Иван Макаров, Иван Васильев, Михаил Карпов, Давид Егорашвили. Их имена влились в нескончаемый кровавый список сталинских преступлений. Павел Васильев был полностью реабилитирован и признан невиновным посмертно в 1956 году.

Еще в Бутырках Павел Васильев написал пронзительное стихотворение «Прощание с друзьями», отчетливо понимая, что его ждет впереди:

На далеком, милом Севере меня ждут,
Обходят дозором высокие ограды,
Зажигают огни, избы метут,
Собираются гостя дорого встретить, как надо,
А как его надо – надо его невесело:
Без песен, без смеха, чтоб ти-ихо было,
Чтобы только полено в печи потрескивало,

А потом бы его полымем надвое разбило.
Чтобы затейные начались беседы…
Батюшки! Ночи-то в России до чего темны.
Попрощайтесь, попрощайтесь, дорогие со мной, – я еду
Собирать тяжелые слезы страны.

Что прибавить к этому? Только собственные слезы…

Брат поэта вспоминает, что после расстрела Павла Васильева – мать сразу поседела, а отец весь сник, посерел. Вскоре репрессии обрушились на всю семью. В 1939 году был арестован отец. Старый, больной, он в лагере долго не протянул и умер в 1940-м. Всю семью выселили из Омска, а потом и брата осудили на 10 лет. Пострадала и вторая жена Павла Васильева – Елена Вялова, ее арестовали 7 февраля 1938 года как жену изменника Родины (была такая формулировка). Ее обвиняли, что она знала о преступных планах мужа убить Сталина и не донесла на него. Получила срок. После тюрьмы, лагеря и вольного поселения – спустя 18 лет (!) – вернулась в Москву и сразу стала хлопотать о посмертной гражданской и литературной реабилитации Павла Васильева. В 1957 году вышел сборник произведений поэта и все удивились: какой замечательный поэт буйной живописной экспрессии, краски играют и переливаются, ритм звонкий и дробный. Вот характерный отрывок о свадьбе из поэмы «Соляной бунт»:

Кони! Нестоялые,
Буланые, чалые…
Для забавы жарки
Пегаши да карьки,
Проплясали целый день —
Хорошая масть игрень:
У черта подкована,
Цыганом ворована,
Бочкой не калечена,
Бабьим пальцем мечена,
Собака не вынюхать
Тропота да иноходь!
А у невестоньки
Личико бе-е-ло,
Глазыньки те-емные…
– Видно, ждет…
– Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?
– Голос у невестоньки – чистый мед…
– Ты бы, Анастасьюшка, лучше спела?

– Сколько лет невесте?
– Шашнадцатый год.

Какая живописность в этой картине, какая звонкость в стихе, какой завораживающий ритм. Как писал о себе поэт: «Я был хитрей, веселый, крепко сбитый, / Иркутский сплавщик, зейский гармонист, /Я вез с собою голос знаменитый / Моих отцов, их гиканье и свист…» Или вот еще строки: «И, как другие, умела она / Сладко шуметь от любви и вина…» Строки как мостик, и по ним к личной жизни.

Когда Павел Васильев выступал со своими стихами в Омске, на него обратила внимание или, как говорят сегодня, запала 17-летняя Галина Анучина. В 1930 году они поженились (Павлу не исполнилось еще и 20 лет). Жизнь молодых не задалась: бытовые неурядицы, новые друзья у поэта. Родилась дочь Наталья, но семья распалась…

В 1932 году в жизнь Павла Васильева ворвалась другая женщина, Елена Вялова, сестра жены Ивана Гронского, главного редактора «Известий». В Москве, у Гронского, некоторое время и жил Павел, в библиотеке хозяина, среди книг. На квартире у Гронского часто собирались знаменитые гости: художники Радимов и Бродский, писатели Алексей Толстой и Шолохов, певцы Козловский и Нежданова, дирижер Голованов, летчик Чухновский, спасший экспедицию Нобиле, государственные деятели Куйбышев и Микоян и другие. Елена Вялова стала второй женой Павла Васильева. Но были у поэта и другие увлечения и влюбленности и, можно даже сказать, страсти, например, к Наталье Кончаловской. В «Стихах в честь Натальи» Павел Васильев признавался: «Я люблю телесный твой избыток». Как сказано! А это? «Так идет, что соловьи чумеют». Павел Васильев – большой мастер, живописец и метафорист. А вот пишет о конях, о пристяжных:

Одна стоит на месте вскачь,
Другая, рыжая и злая,
Вся в красный согнута калач.
Одна – из меченых и ражих,
Другая – краденая знать —
Татарская княжна да б…

И далее: «Ррванулись. И – деревня сбита…» Это уже не поэзия, а буйная многокрасочная живопись. Можно даже сказать, фламандская: «… Будто свечи жаркие тлятся, / Изнутри освещая

плоть, / И соски, сахарясь, томятся, / Шелк нагретый боясь проколоть…» Почти Иорданс или Рубенс. И вот такого живописца слова загубили в раннем возрасте, когда он только набирал поэтическую высоту.

Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?

Я уж давно и навсегда бродяга,
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи…

Подняли этажи уже после гибели Павла Васильева. Но поднялся совсем иной Чикаго, чем предполагал поэт, коррумпированный, криминальный, беспредельный, где одни люди еле сводят концы с концами, а другие жируют, богатеют, и их услаждают «Шлюхи из фокстротных табунов, / У которых кудлы пахнут псиной, / Бедры крыты кожею гусиной, / На ногах мозоли от обнов…» И это совсем другие Натальи, не те, которых воспевал Павел Васильев:

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.

1934 год, три года до погибели. «Лето пьет в глазах ее из брашен. / Нам пока Вертинский ваш не страшен – / Чертова рогулька, волчья сыть. / Мы еще Некрасова знавали, / Мы еще «Калинушку» певали, / Мы еще не начинали жить…»

Да, Павел Васильев только что рванул со старта и устремился в космические, поэтические дали и был злодейски, вероломно сбит. И все же успел немало сделать, недаром Осип Мандельштам обронил признание: «В России пишут я, Пастернак, Ахматова и Павел Васильев». Сам Павел Васильев, обращаясь к своему другу Сергею Клычкову, писал: «Мы с тобой за все неправды биты, / Наши шубы стали знамениты, /По Москве гулили до зари, /Все же мы с тобой, Сергей, пииты, /Мы пииты, что ни говори».

При жизни Павла Васильева вышли две небольшие книги очерков – «В золотой разведке» и «Люди в тайге». Из нескольких составленных им сборников стихотворений не вышел ни один (первый сборник «Путь на Семиге» дошел до стадии верстки и был остановлен Главлитом). Написанное им – «Принц Фома», сочиненный с поистине пушкинским озорством, «Женихи», сложенные в Рязанском доме заключенных, «Христолюбовские ситцы» и поэма «Соляной бунт» ходили в списках и были достаточно широко известны. Почти во всех произведениях Павла Васильева преобладал эпос («Песня о гибели казачьего войска», поэма «Кулаки» и другие). Поэт вырастал до вершин Гулливера и смотрел на события прошлого сверху. Это подметил Николай Асеев. «Впечатлительность повышенная, преувеличивающая все до гигантских размеров. Это свойство поэтического восприятия мира нередко наблюдается у больших поэтов и писателей, как, например, Гоголь, Достоевский, Рабле. Но все эти качества еще не были отгранены до полного блеска той мятущейся и не нашедшей в жизни натуры, которую представлял из себя Павел Васильев…»

Снегири взлетают красногруды…
Скоро ль, скоро ль на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю…

И еще примечательные строки поэта: «Еще хочу я превзойти себя, / Что в камне снова просыпались души». И обращение к женщине, а может быть, подразумевалась сама Родина:

Далекая. Проклятая, родная,
Люби меня хотя бы не любя…

Однако стоп. Зацитировались (уж больно притягательны строки поэта). И поставим последний вопрос: а кем был все-таки Павел Васильев? Уж точно не ангел. Не герой. И совсем уж не послушный солдат революции. Он был поэтом. Поэтом единственным в своем роде. Как говорят: штучный товар. Вот эта штучность, уникальность в конечном счете и сгубила его, ибо, как он выразился сам: «Литератор литератору волк». Стая и загрызла его.

Хлещет посвистом Белое море
И не хочет сквозь шлюзы идти.

Это строки из «Песни о Беломорстрое». Павел Васильев – человек и поэт, который не захотел шлюзоваться. Не хотел идти на компромиссы и не стал слепо служить власти в качестве поэта-подмастерья. Он был мастером и любил свободу. Николай Бухарин советовал ему «обломать углы собственнической дикости и окончательно причалить к социалистическим берегам…» К берегу Утопии?..

Павел Васильев не причалил и пророчески писал:

Но нет спокойствия и сна.
Угрюмо небо надо мной темнеет,
Все настороженнее тишина,
И цепи туч очерчены яснее…

Яснее не скажешь. «Кожана-рубашечка, / Максим-пулемет. / Канарейка-пташечка / Жалобно поет». Но как хорошо, что уникальный голос Павла Васильева дошел до нас.

Правдолюб из «Нового мира». Александр Твардовский (1910–1971)

Если коротко: народный поэт, выдающийся редактор, скромный правозащитник. Через возглавляемый Твардовским «Новый мир» в 50–60-е годы прошлого века к читателю пришло почти все лучшее, что было в тогдашней литературе: Василий Гроссман и Солженицын, Виктор Некрасов и Тендряков, Ахматова и Самойлов, Эренбург и Паустовский, Домбровский и Юрий Трифонов, Федор Абрамов и Шукшин и еще десятки других первоклассных талантов. «Новый мир» времен Твардовского – это был действительно новый мир, мир жесткой реальности и жестокой правды.

Отгремело, отгрохотало очередное торжество по случаю 65-летия Победы. Руководители страны довольны собой и праздником. Все было на торжестве – и самолеты, и танки, и марширующие войска, – все, кроме подлинной скорби и слез по тем, кто ковал победу и кому не довелось отметить ее. Чувство вины перед погибшими несвойственно нынешнему поколению, никто, пожалуй, не может повторить и почувствовать вслед за Твардовским его слова:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…

И хрестоматийные строки из «Теркина»:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Твардовский, пожалуй, как никто другой, написал о войне простые и вместе с тем пронзительные слова о павших: «Я убит подо Ржевом,/ в безымянном болоте,/ в пятой роте, на левом,/ при жестоком налете…/ Я – где корни слепые/ ищут корма во тьме;/ я – где облачком пыли/ ходит рожь на холме…»

Такие строки мог написать только истинно народный поэт. Он не любил Есенина и прочих знаменитых поэтов Серебряного века. Избежал всех соблазнов модерности и обрел свой стиль. Его русский язык сдержанный, одноцветный, покоряет чистотой, прохладой и свежестью. Какой-то глубинный и без всяких словесных погремушек.

Немного о начале пути. Александр Трифонович Твардовский родился в деревне Загорье Смоленской губернии 8 (21) июня 1910 года. Появился на свет во время сенокоса, мать родила его прямо под елью. Из семьи зажиточных крестьян. Из-за своего происхождения хлебнул вдоволь ранней горечи и боли. Перенес все «ознобы и жары» за раскулаченного отца. Когда попытался защитить отца, то секретарь Смоленского обкома партии Иван Румянцев сказал, как отрезал: «Выбирай: либо папа с мамой, либо революция». Выбор труднейший: и отца было жалко, и революция приманивала светом больших надежд. Порог школы, по свидетельству однокашников, Твардовский «переступил уже с рифмой». С 14 лет он – селькор смоленских газет.

Опускаем подробности становления Твардовского как поэта и гражданина, отметим достигнутые вершины: в 1939 году он был награжден орденом Ленина, в 1940 – принят в ряды ВКП(б), несмотря на «кулацкое происхождение», в 1941 году удостоен Сталинской премии за поэму «Страна Муравия». Сталину нужны были звонкоголосые талантливые поэты. Однако «Страна Муравия» не была верноподданнической поэмой, она больше походила на некрасовскую «Кому на Руси жить хорошо», и в ней герой Никита Моргунок задавал мучивший всех вопрос: предвидится иль нет «конец всей этой суетории»?

«Суетория» продолжалась и продолжалась. В годы войны Твардовский работал в военных газетах и написал «Василия

Тёркина». Книгу про бойца. Вася Тёркин, полулубочный герой, сразу стал народным любимцем. Он был шутник, балагур, но и мудрец. «Не прожить без правды сущей,/ Правды, прямо в душу бьющей,/ Да была б она погуще,/ Как бы ни была горька…»

«Василием Тёркиным» восторгался сам Бунин. В письме к Телешову он писал: «… Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т. е. литературно-пошлого слова».

Еще во время войны Твардовский задумал продолжение: «Тёркин на том свете». Публикация состоялась в 1963 году, и – скандал. Затеянный Твардовским поэтический «суд народа над бюрократией и аппаратчиной» власти не понравился. «На том свете аппарат,/ Как на этом свете./ Вдоль и поперек – стена,/ Сдвинь-ка стену эту…» «Пасквиль на советскую действительность», – завизжала критика и посчитала поэму Твардовского «очернительской» и «клеветнической».

До «Тёркина на том свете» вышла книга «За далью – даль» и была отмечена Ленинской премией. В поэме Твардовский запечатлел время во всей его суровости и величия. Но в книге ощущались все же некоторые пределы дозволенного. В «Тёркине на том свете» этих тормозов уже не было. И уж совсем раскованной, откровенной и обжигающей стала поэма Твардовского «По праву памяти», написанная в 1966–1969 годах и опубликованная лишь в 1987-м. О стране, о Сталине, о железных объятиях сталинизма. «Сын – за отца не отвечает! Аминь…» «Напрасно думают, что память,/ Смолчав, пройдет сама собой;/ Что ряской времени затянет/ Любую быль,/ Любую боль…»

К стихам Твардовского мы еще вернемся. А сейчас надо вспомнить «Новый мир». Александр Твардовский руководил журналом дважды: в 1950–1954 годах и в 1958–1970-х, в общей сложности 16 лет. За годы его руководства журнал стал поистине властителем дум, своего рода альтернативным идеологическим центром. Превратился в трибуну вольномыслия, свободы слова, что в условиях тоталитарной системы имело огромное значение. При Твардовском публиковалось самое лучшее. Как говорил он: «Все, что талантливо и правдиво, – нам на пользу». И на страницах журнала появлялись произведения о тяжелой жизни народа, о произволе начальства, о повсеместном пьянстве и воровстве. Настоящим событием стал «Один день Ивана Денисовича», повесть-бомба Солженицына, взорвавшая всю страну. Твардовский один из первых открыл запретную лагерную тему, тему ГУЛАГа.

За обжигающую правду власть и критика не любили Твардовского и дважды обрывали его редакционную деятельность. А он гнул свою линию и никогда не печатал таких произведений, где «все похоже, все подобно,/ Тому, что есть иль может быть,/ А в целом – вот как несъедобно,/ Что в голос хочется завыть».

По свидетельству Владимира Лакшина, Твардовский любил журнал, его голубую обложку, с каким-то чувством радостного изумления брал в руки сигнальный экземпляр: «Скажите, вышел!» Держал его в руках, переворачивал, нянчил, как младенца… В своем кабинете Твардовский часто устраивал чистку новых стихов. Шутливо говорил: «Перебирал стишочки, как бедные грибочки, а белых вовсе нет…» Для него символом совершенного искусства была «Капитанская дочка». Если кого-то хотел укорить, всегда говорил: «Да он «Капитанскую дочку» не читал…» Не читал Пушкина – значит, беда.

Не любил советов, особенно тех, которые посылались сверху.

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов.
Я их припомню наизусть —
Не по готовым нотам.

Мне проку нет – я сам большой —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.

Находясь в цековском санатории «Барвиха», Твардовский в своей рабочей тетради 29 ноября 1963 года, оглядываясь назад, писал: «В последние 10 лет, несмотря на репутацию пьющего (эка новость это у нас!) и 54 г. (снятие с «Нового мира», запрещение «Тёркина на том свете»), я, безусловно, мог достигнуть высших степеней в «системе» Союза писателей, т. е. оказаться во главе его… Но меня всегда пугала все более определенно выступавшая представительская, непродуктивная сущность этой должности. Если бы это случилось, я бы, наверное, погиб и ничего толком сделать бы не сумел… я бы неизвестно, как бы вертелся и терзался там. Я избрал для себя другую упряжку, т. е. «Новый мир»…»

Запись спустя 20 дней – 19 декабря: «Завтра-послезавтра домой «в огромность квартиры», где столько дел, забот, нерешенных вопросов и т. п. Как нечто самое трудное, неприятное, фальшивое и стыдное, но неизбежное предстоит

встреча с избирателями… Но мне уже вообще при моем литературном имени бежать некуда – ни от почты моей ужасной, ни от неизвестно зачем навязанной обязанности выслушивать однообразное горе жилищно-паспортное, без всякой, в сущности, реальной возможности помочь этому горю, с чувством стыда и почти отчаяния. Бежать некуда…»

Следует пояснить: Твардовский был депутатом Верховного Совета РСФСР и в отличие от многих коллег-депутатов не хотел формально исполнять свои обязанности.

Твардовский никогда не был в открытой оппозиции к режиму. Можно сказать, он, как истинный патриот, служил власти. Но с годами его все больше стали раздражать бездарность управления страной, откровенные промахи и ошибки.

Тяжело переживал Александр Трифонович вторжение советских войск в Чехословакию, когда под танками была растоптана «пражская весна». В своей рабочей тетрадке (дневников он не вел, записывал все в отдельных тетрадях) записал отрывок так и незаконченного стихотворения:

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб написать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом…

Мало известны факты помощи Твардовского пострадавшим писателям. Сам он никогда не писал о том, за кого хлопотал, кого высвободил на волю. В частности, он помог правозащитнику Револьду Пименову и поэту Алексею Прасолову. Был возмущен «делом Бродского»: «Очевиднейший факт беззакония». За высказываниями и настроениями Твардовского следили соответствующие органы, и о них докладывали в ЦК руководители КГБ Семичастный и Андропов. Не только следили, но и запрещали. В 1964 году был запрещен только что поставленный спектакль «Тёркин на том свете» в Театре Сатиры. В нем главную рол прекрасно сыграл Анатолий Папанов. Перестраховка властей? Но тут следует сказать, что Твардовский никогда не был открытым фрондером, он состоял в неком глухом сопротивлении, за это ему приходилось платить. Так, к 60-летию намечалось увенчать Твардовского Золотой звездой Героя Социалистического труда. А он поехал в Калугу, в сумасшедший дом – проведать заключенного там Жореса Медведева. Знакомый работник ЦК партии со вздохом сказал поэту:

– Мы, Александр Трифонович, собирались дать вам Звезду героя, а вы…

– А я и не знал, что звание героя дают за трусость… – дерзко ответил Твардовский.

Зимой 1970 года на Твардовского пошла открытая атака с целью выжить его из «Нового мира». 3 февраля Твардовский записывал: «Итак, вместо журнала – «властителя дум» – кремлевское питание, синекура в 500 руб.» Власть таким образом пыталась окоротить неугодного главного редактора или, можно сказать по-современному, прикупить. «Боже мой, ведь наши нынешние бенкендорфы, уваровы и т. п. ничего не знают, не читали о своих предтечах, но как до мелочей воспроизводят приемы, методы…»

Александр Твардовский вынужден был покинуть свой родной «Новый мир». 17 мая 1970 года, за полтора года до смерти, писал из Красной Пахры, где жил, Маргарите Алигер: «…Живу трудновато, – дай Бог, не было бы еще труднее и мрачнее…» 3 сентября его положили в больницу. Диагноз: рак легкого. Врачи зафиксировали редкую стремительность процесса… 13 декабря 1971 года Александра Трифоновича не стало, он ушел из жизни в 61 год.

Александр Солженицын в самиздатовской «Хронике» написал: «Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано: отнять его детище – его страсть – его журнал. Мало было 16-летних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, – только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало: – и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода… В почетном карауле те самые мертво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это давно у нас так, это – с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывертываются в бойких речах. Обстали гроб каменной группой и думают – отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думали – победили…»

На смерть Твардовского многие поэты откликнулись стихами. Так, Петр Вегин написал:

Когда Твардовского не стало,
И меньше света в мире стало.
……
Россия плакала открыто.
Была земля ее разрыта.
Мерз на морозе березняк.
И кто-то выговорил сипло,
Что территория России

Давно не уменьшалась так…

«Как странно все теперь. В снегу поля пустые…/ Поверь, таких потерь / Немного у России» (Константин Ваншенкин). Вспомним и строки из «Тёркина на том свете»:

Смерть – она всегда в запасе,
Жизнь – она всегда в обрез.

Ушел большой человек, и его вспоминают, вспоминают… Из дневника Корнея Чуковского, запись от 8 мая 1946 года: «Вечером впервые у Твардовского. Чудесное впечатление: шестилетняя Олечка, понимающая жена, много книг, внутренняя заинтересованность в литературе… жалуется, что его, Твардовского, «Избранные стихи» печатаются 6 лет в Гослитиздате и все не могут выйти…»

Расшифруем выражение «понимающая жена». Это – Мария Илларионовна Твардовская. Они рано поженились и прожили вместе четыре десятилетия. Мария Илларионовна была женой, хранительницей домашнего очага, первым слушателем и судьей всех стихов Твардовского. После смерти мужа многое сделала по изданию его архива, расшифровывала черновики, писала комментарии.

Но вернемся к дневнику Чуковского. 12 ноября 1957 года: «Был у меня сегодня Твардовский. У меня такое чувство, будто у меня был Некрасов. Я робею перед ним, как гимназист. «Муравия» и «Тёркин» – для меня драгоценны, и мне странно, что такой поэт здесь, у меня в Переделкино, сидит, курит, как обыкновенные люди…»

Виктор Некрасов, который дружил долгие годы с Твардовским, вспоминал, что с Твардовским не всегда было «легко и просто»: «С Твардовским общение, в каком бы настроении он ни был, – а бывал он в разных, – всегда было интересным. Нет, тут надо какое-то другое слово, быть может, «значительным» – не подберу сейчас, но так или иначе это всегда было общение с человеком умным, на редкость неодносложным, очень ранимым и всегда неудовлетворенным, самим собой в том числе, хотя цену себе он знал. Он никогда не старался казаться умнее, чем он есть, но почему-то почти всегда чувствовалось его превосходство, даже тогда в споре оказывалось, что прав именно ты, а не он… К призванию своему относился весьма серьезно… Он любил все красивое. И понимал в этом толк. Красивую песню, стихи, какой-нибудь северный лубяной туесок, красивых людей. И

умных… Дураков он не любил. Физически не переносил. И особенно за то, что всегда поучают…»

В статье «Вспоминая Твардовского» Юрий Трифонов привел слова Александра Трифоновича, обращенные к нему: «Знаете, Юрий Валентинович, иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли все это? Не послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу… Ведь ей-богу же, и сам я кое-что еще могу написать, руки есть, голова есть… А вот силы кончаются. А потом подумаешь, сколько же людей ждут этот журнал, как праздник, как надежду какую-то! В захолустных городках где-то, в деревнях подписываются, ждут, я же знаю… Обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: «Марковна, до самыя смерти!» Она его спрашивала: «Долго ль мука сия, протопоп, будет?»

А далее Трифонов вспомнил об отвратительной кампании клеветы и травли, которую вели многие издания и отдельные писатели. По мнению Трифонова, Твардовский своим «Новым миром» взорвал «пороховой погреб писательских самолюбий». И амбиций, – добавим мы. Сам Твардовский не терпел славословий и отказывался от всяких почестей, хотя не всегда удавалось их избежать. Шофер говорил о нем: «Скучно живет. Никуда не ездит. Гостей, смотрю, у них не бывает… Я бы на его месте пожил в свое удовольствие. Ведь каждый день ближе к смерти».

Многие современники отмечают скромность Александра Трифоновича. Скромный, умный, независимый, но и нетерпимый и резкий порой. Некоторых писателей не принимал даже на дух, к примеру, Набокова. И водился за Твардовским еще один грех, как выразился Трифонов: «вековое российское злосчастие» – многодневные загулы. Молодой Александр Вампилов встречался с Твардовским зимой 1965 года и записывал разговоры с Александром Трифоновичем: «54 года. Пьет давно и серьезно». «– Где я пью? С кем?.. Вурдалаки какие-то…» Любил прибаутку: «Рюмочка Христова». «Снова запой. – Убить еще не могу, но ударить уже могу». Печально все это. Горько. По Твардовскому: ни прибавить, ни убавить. Он попал не в самый «бархатный сезон».

Почти четыре десятилетия мы живем без Александра Твардовского.

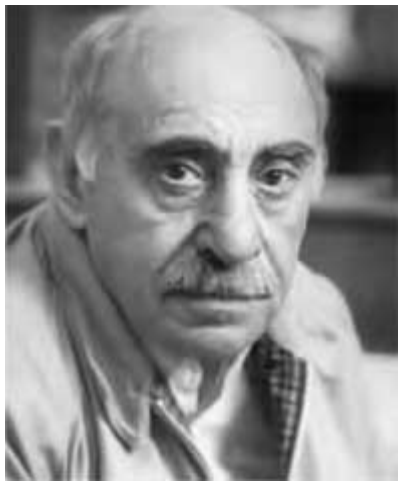
И в старом московском пейзаже,
Что в пыльное смотрит окно,
Все новое нынче… и даже
Твардовского нету давно.

Эти строки написал Ваншенкин в 1982 году, а ныне уже 2012-й. И уже почти нет «старого московского пейзажа». Есть громады небоскребов и офисных глыб. И возникший новый капиталистический мир во сне не мог присниться старому «Новому миру». И дело, которому принадлежал Твардовский – «Браться с душой за нелегкое дело. Биться, беситься и лезть на рожон», – уже старомодно. Разве полезешь? «Единая Россия». Вертикаль власти. Железобетон.

Век «соловья-одиночки», который пел в «краю травянистых дорог», закончился. Ау, где он?!.. И остается один только завет-предупреждение поэта: «Кто прячет прошлое ревниво, /С грядущим явно не в ладу».

Давайте все же будем в ладу.

Еврей в окопах Сталинграда. Семен Липкин (1911–2003)



Еще одно дарование родом из Одессы – Семен Липкин. Поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. «Я родился при царе и 9 лет жизни прожил в нормальных условиях», – говорил Липкин. Ну, а дальше: «Век сумасшедший мне сопутствовал…»

В моем архиве собрано немало публикаций о Липкине. Вот только некоторые заголовки: «Быть писателем – значит обречь себя на трагедию», «На божественном уровне горя и слез», «Только не теряя чести, можно сохранить лицо», «Человек преодолевший»…

Среди многих книг Липкина есть «Записки жильца». Жильца XX века, в котором очень не просто было выжить. Он выжил. А точнее сказать, выстоял, несмотря и вопреки всем бурям и ураганам – политическим, социальным, литературным. И что удивительно: не был пионером. Не состоял в комсомоле («я этого терпеть не мог»). Не вступил в партию. В детстве не стал жертвой погромщиков. Не умер в голодные 20-е годы. Не был арестован. Живым вернулся с войны. И имел полное право сказать о себе: «Я один из немногих счастливцев». Хотя радость и была «со слезами на глазах». «Я много перенес, – говорил Липкин. – Но другие страдали больше. Хотя и не сидел в тюрьме, не был в лагере. На меня наложили запрет на профессию, меня не печатали. Очень мучили…» И как писал он в стихах:

В моей родной стране,
где нету райской кущи.
……

Где выход есть один —
не плакать, не смеяться,
А только понимать.

Ну, что ж, понимание у Липкина было. Понимание и поэзия: «Играл на флейте у ручья/ Для сердца, не для славы».

А теперь для тех, кто не знает биографию Липкина, кто не читал его повести о юности «Пушкинская улица» и других мемуарных книг.

Семен Израилевич Липкин родился 6 (19) сентября 1911 года в Одессе, в доме на Пушкинской улице между Троицкой и Еврейской. Маленький Сема учился в Пятой гимназии и в… хедере. «Мой отец был против того, чтобы я учился в хедере. Он не верил в Бога. Сам сын меламеда, прекрасно знавший древнееврейский, он ненавидел иудаистскую схоластику. Он уважал и ценил только русскую образованность. Я не могу объяснить свою раннюю упрямую религиозность. Отец был вынужден уступить моему желанию учиться в хедере. К тому же я был во всем Овчинниковском переулке единственным еврейским мальчиком-гимназистом». Учился юный Липкин с большой охотой, а на уроках отвечал так, что «меня без скуки слушал весь класс».

Гимназия, хедер и еще Художественная профшкола. Однако поэзия пересилила рисование, и в 14 лет Липкин пошел со своими стихами в редакцию «Одесских новостей», где познакомился с Эдуардом Багрицким. Как они познакомились, о чем говорили? – об этом надо читать у самого Липкина.

В 18 лет Семен Липкин переехал из Одессы в Москву. Шел 1929-й год. Он хотел поступить на филологический факультет Московского университета, но не был принят: не сын рабочего, а сын какого-то подозрительного кустаря, закройщика на швейной фабрике. Однако Липкин не унывал и вскоре стал печататься в толстых журналах. Но так как у него не было никакого желания повторять путь Безыменского и Жарова и воспевать партию и социализм, он был отлучен от литературного процесса. Проще говоря, его перестали печатать как поэта чуждого советской действительности. И в течение 25 лет Липкин не смог напечатать ни одной собственной строчки.

Что оставалось делать творческому человеку, придавленного глыбой запретов? Легко догадаться: он с головой ушел в переводы. Не писал, по выражению Николая Глазкова, «долматусовскую ошань», а переводил эпос разных народов СССР. И Липкин пришелся вполне ко двору, ведь кто-то должен был

создавать «советскую многонациональную культуру». Он и создавал. Блистательно перевел калмыцкий эпос «Джангар», киргизский «Манас», кабардинский «Нартел», поэмы Алишера Навои «Лейла и Меджнун» и «Семь планет», поэму Фирдоуси «Шахнамэ». Четыре ордена «Знак почета» получил Липкин за свои переводы. Но были у него и военные награды. Расскажем хотя бы вкратце.

С начала Отечественной войны Семен Израилевич был определен во флот. Служил на Балтике. Тонул в ледяной Ладоге. Перенес первые месяцы блокады в Ленинграде. Сражался под Сталинградом. Из флота был переведен в кавалерию («Я переоделся и стал кавалеристом», – не без юмора говорил Липкин). Выходил из вражеского окружения, при этом пришлось скрыть свое еврейство и выдать себя за армянина. В оккупированном селе один селянин не поверил: «А мэни здаетця, шо с жидив». Позвал жинку, та долго вглядывалась и подтвердила: «Армынын». Еврейская хитрость? Но она же и помогла сберечь Липкину боевое знамя. В итоге – орден «Отечественной войны» 2-й степени и ряд медалей, в том числе «За оборону Сталинграда».

Еврей в окопах Сталинграда – замечательно звучит. Кстати, как Липкин относился к «отцу всех народов»? Просто. Считал его «гением зла и дьяволом».

После Победы в 1945-м у Липкина не было никакого победного ликования и исторического оптимизма. «Что мы знаем, поющие в бездне, / О грядущем своем далеко?» Зло и несправедливость были в прошлом, жили в настоящем и собирались прессовать в будущем. В одном из стихотворений Липкин писал:

Двадцатый год. Разгул собраний.
Для плача не хватает слез,
А Кафка в эти дни в Меране,
Где лечит свой туберкулез.

Вот беспризорники заснули,
Друг с другом теплоту деля,
А Бунин в эти дни в Стамбуле
С женою сходит с корабля.

Вот Валери, покуда молод,
Гранит алмазную строфу,
А здесь у моря целый город
Лежит в разрухе и в тифу.

Еще АРА пришли нам, детям,
Какао, сайку и маис,
Но что нам делать с миром этим,
Висящим головою вниз?

У Липкина в поэзии трагическое мироощущение, более того, этот трагизм жизни поэт часто гипертрофирует для того, чтобы люди не смотрели на мир в розовые очки. В стихотворении «Зола» (1967) он пишет:

Я был остывшею золой,
Без мысли, облика и речи,
И вышел я на путь земной
Из чрева матери – из печи.
Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплакав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.
Неспешно в сумерках текли
«Фольксвагены» и «Мерседесы»,
А я шептал: «Меня сожгли,
Как мне добраться до Одессы?»

И в другом стихотворении та же трагическая тема:

Тропою концентрационной,
Где бессонна, как тюрьма,
Трубою канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким и советским,
И польским и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям —
Я шел. И грозен и духовен
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газовен
В неопалимой купине.

(«Моисей», 1957).

И я шел нескончаемым адом,

Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.

Один, разумеется, в метафизическом смысле. А в реальной жизни у Липкина всегда было много друзей и знакомых. В молодые годы он входил в группу «Квадрига» и писал о том времени:

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.

И у всех четверых друзей была трудная судьба. Аркадий Штейнберг умер, так и не дождавшись своей первой книги. Арсений Тарковский и Мария Петровых долго оставались в безвестности и стали издаваться довольно-таки поздно, в зрелом возрасте. Семен Липкин издал свою первую книгу в 1967 году в 56 лет.

Я сижу на ступеньках деревянного дома.
Между мною и смертью пустячок, идиома.
Пустячок, идиома, то ли тень водоема,
То ли давняя дрема, то ли память погрома.

Хрестоматийная фраза: в России надо жить долго. Семен Израилевич жил долго и дождался выхода многих своих книг и даже наград и премий. Переводчик восточной поэзии и эпосов народов СССР наконец-то вышел из тени и стал широко издаваться. И даже в разных странах. Так, в США в 1981 году вышла книга стихов и поэм «Воля», которую составил Иосиф Бродский. В 1986 году в Лондоне вышел сборник «Картины и голоса». В России сборники стихов «Перед заходом солнца», «Лунный свет», «Письмена», прозаические книги – «Декада», «Записки жильца», мемуары, посвященные Ахматовой, Багрицкому, Мандельштаму и еще много чего. Немецкий фонд Тепфера присудил Липкину Пушкинскую премию. Движение «Апрель» – премию имени Андрея Сахарова «За гражданское мужество».

Кстати, о мужестве. Сам Липкин говорил: «Безупречным человеком я бы не мог себя назвать. Все мы грешные. Но я

старался быть честным. Я никогда не подписывал никаких подметных писем, но не могу сказать, что я активно боролся с режимом». Нет, Липкин никогда не был диссидентом. О своей позиции он говорил так: «Я не наступал. Я тихо сопротивлялся: полвека писал в стол».

Но он скромничал. Сохранить опальную рукопись «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана – это подвиг, пусть и маленький. А открытый выход из Союза писателей СССР в знак протеста против гонения на авторов сборника «Метрополь» в 1980 году – это тоже не какой-то пустячок, а настоящий мужественный поступок. Сразу на Липкина и его жену Инну Лиснянскую обрушились кары: вызывали на допросы, грозили тюрьмой и ссылкой, в отсутствие хозяев в доме безобразничали и били посуду. Настойчиво выталкивали Липкина и Лиснянскую за рубеж, в эмиграцию, на что Лиснянская говорила: «Выеду только в наручниках». И это давление, этот прессинг длились 6 тяжелых лет.

Вполне возможно, что все это нервное напряжение и привело в конечном счете к онкологическому заболеванию Липкина, из которого он с трудом выкарабкался.

– Как вы себя чувствуете, Семен Израилевич? – спрашивали его.

– Чувствую, – отвечал он и усмехался в усы.

Однажды на ночь глядя ему стало плохо, все переполошились, а он стал всех успокаивать: «Да ничего особенного. Стих у меня тонический, а кризис гипертонический. Все вполне логично».

По поводу тонического стиха. Семен Липкин действительно продолжатель и хранитель традиционной, можно сказать, классической поэзии. Он никакой не модернист и вообще не любил никакой зауми. Простота, ясность, четкость – вот его стих. Ну, и разнообразные темы, включая и ветхозаветные, удивительным образом связанные с современной проблематикой. Вот его, к примеру, «Военная песня»:

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин – наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.
……
В лагере смерти печи остыли.

Крутится песня. Мы победили…

Однажды Липкину задали вопрос: «Кем же вы себя ощущаете в этой стране: жителем России, русским, евреем – кем?» Семен Израилевич ответил: «Вы спрашиваете, кем я себя ощущаю? Прежде всего – русским писателем. И для меня русский язык, русское слово, русская поэзия, русская литература – вся моя жизнь. В то же время я себя ощущаю евреем – по вере. Но я плохой иудей – я люблю Христа…»

Религия, нация и литература – краеугольные камни личности Липкина. Литература – особая статья, в нее он был по-настоящему влюблен. Он молился на нее:

Как юности луна двурогая,
Как золотой закат Подстепья,
Мне Бунина синеет строгое
Словесное великолепье.

Как жажда дня неутоленного,
Как сплав пожара и тумана,
Искрясь, восходит речь Платонова
На божий свет из котлована.

Как боль, что всею сутью познана,
Как миг предсмертный в душегубке,
Приказывает слово Гроссмана
Творить не рифмы, а поступки.

Как будто кедрача упрямого,
Вечнозеленое, живое
Мне слово видится Шаламова —
Над снегом вздыбленная хвоя.

«Снег» оказался мистическим словом. Именно в снег вблизи калитки в Переделкино упал 92-летний Семен Израилевич Липкин и простился с белым светом. Печи его души остыли… Это произошло 31 января 2003 года. Завершилась большая и драматическая жизнь «жителя XX века», сумевшего шагнуть аж в XXI…

Умер поэт. И закончить о нем надо стихотворными строками:

Но останется в сердце твоем и моем
То, что здесь происходит,

Ибо призрачна смерть и мы вечно живем.
Ничего не проходит.

В заключение вспомним и слова Иосифа Бродского: «Липкин пишет не на злобу дня, а на – ужас дня». К сожалению, человечество не способно избавиться от ужаса – войн, катастроф и терактов. И поэтому стихи Семена Липкина будут востребованы.

«Бойся, грешник, будет кара, – черный ворон мне кричит». Это строки Липкина из стихотворения «По Эдгару По».

Прогулки с Виктором Некрасовым. Виктор Некрасов (1911–1987)

На долю Виктора Некрасова выпало немало драматических моментов, от окопов Сталинграда и до Елисейских полей в Париже. Он был первым, кто сказал в нашей литературе правдивые и честные слова об Отечественной войне.

Виктор Некрасов ненавидел мрачную напыщенность, не изображал из себя мэтра литературы, был неизменно ироничен к самому себе. В своей книге «Театр моей памяти» Вениамин Смехов представил Некрасова следующим образом (видение театрального актера и режиссера):

«Образ его собирается из двух половинок: элегантный, старой выучки интеллигент, художник, прозаик, франкофил, боевой офицер, автор лучшей книги о войне 1941–1945 гг., человек редкой гражданской отваги, в 60-х годах бросивший вызов всесильной компартии, испытавший преследования и обыски диссидент, – это один портрет. Но веселый смутьян, матерщинник, выпивоха, нарушитель спокойствия, легкомысленный гуляка и «зевака» – совсем другой? Нет, тот же самый. Экзотическая птица в советском писательском парке: человек такой «опасной» независимости и в речах и в манере поведения…»

Виктор Конецкий запечатлел свой портрет Виктора Некрасова (писатель о писателе) и привел любопытное письмо одного читателя из глухоманной глубинки о Некрасове: «Внешне лохматый, неряшливый, безалаберный, хулиганистый стиль, но правдивость его, незализанность, жизненность запоминаются, даже замечательно запоминаются. В общем-то средняя

человеческая жизнь достаточно монотонна, усреднена, в ней не так много звездных мгновений. Но она, жизнь, такая, какая есть в его книгах, которые вышли и после «Окопов». Мусор какой-то, пепельница, окурки, мерзость погоды – именно та человеческая неуютность и цапает за живое, дух упрямства, неустроенности, отсутствие железобетонной сытости…»

Эти строки неизвестного читателя Конецкий заключает своими: «Я бы определил Некрасова словами «изящный хулиган». От себя добавлю: изящный хулиган по внутренней своей сути, а по письму – большой писатель.

В пантеоне русской литературы – два Некрасова. Классик Николай Некрасов и советский писатель Виктор Некрасов. Они, естественно, разные, но их объединяет боль за свою родину. Николай Алексеевич призывал своих сытых сограждан: «Выдь на Волгу: чей стон раздается / Над великою русской рекой?..» А через 80 с небольшим лет о стоне на Волге писал уже другой Некрасов – Виктор Платонович, правда, стон был уже не бурлацкий, а солдатский. Сатирик Александр Раскин в свое время пошутил на тему двух Некрасовых:

Про него пустили анекдот:
Дескать, он Некрасов, да не тот.
Но Некрасов человек упрямый,
И теперь все говорят: тот самый!

Виктора Некрасова ни с кем не спутаешь. И совершить с ним воображаемую прогулку – одно удовольствие. Интересный человек, занимательный собеседник, превосходный рассказчик, недаром написал книгу «Записки зеваки». А что касается «Городских прогулок», то Некрасов их готовил для «Нового мира», но в те годы они так и не были напечатаны. Поэтому сам Бог велел нам с вами совершить прогулку с замечательным писателем.

Автобиография с добавлением

Во время прогулок принято рассказывать о себе. Но предварим живую речь автобиографией, зафиксированной на бумаге:

«Отец – Платон Федосеевич Некрасов – банковский служащий, бухгалтер (1878–1917). Мать – Зинаида Николаевна (до брака Мотовилова) – врач (1879–1970). Детство провел в Лозанне (мать окончила медицинский факультет Лозаннского

университета) и в Париже (мать работала в военном госпитале). В 1914 году вернулись в Россию и обосновались в Киеве. После окончания школы учился в железнодорожно-строительной профшколе, в Киевском строительном институте (закончил архитектурный факультет в 1936 г.) и в театральной студии при Киевском театре русской драмы. До начала войны некоторое время работал архитектором, актером и театральным художником в театрах Киева, Владивостока, Кирова (бывш. Вятка) и Ростова-на-Дону.

24 августа 1941 г. был призван в армию. Служил в действующей армии – командиром взвода, полковым инженером, заместителем командира саперного батальона по строевой части вплоть до июня 1944 г. Был дважды тяжело ранен. В 1944 году после второго ранения перешел на инвалидность и был демобилизован в звании капитана. Награды – медаль «За отвагу» и орден Красной звезды.

С марта 1945 года по июль 1947 работал в газете «Радяньске мистецтво» («Советское искусство». – *Ю. Б.*) заведующим отделом. Став членом Союза писателей, перешел на творческую работу. За повесть «В окопах Сталинграда» в 1947 году получил Сталинскую премию 2-й степени. Сейчас являюсь заместителем Председателя правления Союза писателей Украины».

Твердая, советская биография, предполагающая дальнейший карьерный рост. Но какие-то червоточинки в ней были. Во всех энциклопедиях сказано, что Виктор Платонович Некрасов родился 4 (17) июня 1911 года в Киеве. А у меня сомнение: в Киеве, а может быть, в швейцарской Лозанне, о чем в советские времена признаваться было невозможно, ибо сразу возникали нежелательные подозрения? А Киев – это совсем другое дело. Это по-советски!.. Но это я так, в порядке домысла. Сам Некрасов всегда утверждал: появился на свет в Киеве, жил в доме № 4 по Владимирской улице. И священник, когда крестил младенца, чуть его не утопил: был не слишком трезв. И матери пришлось применять искусственное дыхание. А потом, выходит, мать, Зинаида Николаевна, отправилась с малышом сначала в Лозанну, а потом в Париж.

Сохранилось свидетельство, что в 1914 году в парижском парке Монсуори с Некрасовым, тогда трехлетним мальчуганом, играли старший брат Коля и двое еще приятелей – Бобос (будущий кинооператор Леонид Кристи) и Тотошка, сын Луначарского, погибший потом под Новороссийском. Возможно, что будущий нарком малышу Вите Некрасову «делал козу» и качал его и Тотошку на своих коленях.

А потом возвращение в Киев. И какая-то мистическая связь с

Михаилом Булгаковым. Виктор Некрасов не случайно писал, что булгаковские «Дни Турбиных» были для него не театром, не пьесой, а «осязаемым куском жизни, отдаляющимся и отдаляющимся, но всегда очень близким». Почему? «Мои родители были из «левых», друживших за границей с эмигрантами – Плехановым, Луначарским, Ногиным… Ни Мышлаевских, ни Шервинских никогда в нашем доме не было. Но что-то другое, что-то «турбинское», очевидно, было… Дух? Прошлое? Может быть, вещи?..»

Сталинград

Память не давала покоя, и Виктор Некрасов все время возвращался к теме Сталинграда. И в ней были не только героические страницы сопротивления гитлеровцам и огромное чувство победы, но и первые страшные месяцы отхода советских войск с реки Оскол, отхода, который солдаты называли горьким «драпом». Вот так описывал это Некрасов:

«Без малого пятьсот километров – то на подводах, то на попутных машинах, а в основном на своих двоих – месили мы дорожную грязь, ругая на чем свет стоит немцев, догоняющих нас сзади, начальство, неизвестно куда девшееся, а главное, безнадежность всего происходящего и полную свою беспомощность.

Степь, жара, пыль, ревущие деревенские бабы, то и дело налетающие «мессера» – мы врассыпную – потом опять жара, пыль, натертые ноги, а идти надо еще Бог знает сколько… Где штаб армии, так и не удалось узнать до самого Сталинграда…»

Шел август 1942 года. Время от времени возникали «крамольные» разговоры: «А может, не Красная Армия виновата, а? Может, кто-то повыше?..»

«23 августа, – вспоминал Некрасов, – немцы прорвались к Волге. В районе Рынка, севернее Тракторного завода. В этот же день они с воздуха почти полностью уничтожили город… В этот день 4-й воздушный флот барона Рихтгафена не пожалел ни сил, ни бомб… Посреди дня наступила ночь, как во время солнечного затмения. Кругом все рвалось и рушилось. Мыслей в голове никаких. Очевидно, конец…»

Это отрывки из главы, не попавший в некрасовский цикл о Сталинграде, который он написал в 1982–1983 годах. Ну, а повесть «В окопах Сталинграда» была написана по горячим неостывшим военным следам и опубликована в журнале «Знамя» в 1946 году.

Илья Эренбург: «О Сталинграде писали многие, но только В. Некрасов, который был офицером-сапером, и В. Гроссман… смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы».

Виктор Некрасов показал войну изнутри и не глазами наблюдателя со стороны, а участника, находящегося в самом пекле военных действий, и вот эта огненность увиденного потрясала. Не случайно многие тогда говорили, что «все мы вышли из некрасовского окопа».

Во внутренней рецензии на рукопись Некрасова Александр Твардовский писал: «Первое очевидное достоинство книги – то, что, лишенная внешне сюжетных, фабульных приманок, она заставляет прочесть себя одним духом. Большая достоверность свидетельства о тяжелых и величественных днях борьбы накануне «великого перелома», простота и отчетливость повествования, драгоценнейшие детали окопного быта и т. п. – все эти качества, предваряющие несомненный успех книги у читателя…»

Все проходило на ура? Не совсем. «В начале 1947 года, когда «Окопы» мои попали в издательство «Советский писатель», – вспоминал Некрасов, – вызван я был цензоршей, случай уникальный. Она укоризненно посмотрела на меня и сказала:

– Хорошую книгу вы написали. Но как же так: о Сталинграде и без товарища Сталина? Неловко как-то. Вдохновитель и организатор всех наших побед, а вы… Дописали бы вот сценку, в кабинете товарища Сталина. Две-три странички, не больше.

Я прикинулся дурачком. Не писатель, мол, писал о том, что знал, что видел, а сочинять не умею. Не получится просто, поверьте мне.

Так и разошлись».

Повесть была в наборе, а молва о ней уже разлетелась: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слыхал, что такое социалистический реализм… Прочтите обязательно».

Вспоминая подобные разговоры, Виктор Некрасов добавлял: «Да – слыхом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хемингуэя – все им тогда увлекались, до того – Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне – «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.

И вот – война!..»

Когда книга вышла, критики ополчились на автора стройными рядами, обвинив Некрасова в «ползучем реализме», «ремаркизме» и «пацифизме». Нежданно-негаданно Сталин защитил писателя и присудил ему премию собственного имени. И тут же книга «В окопах Сталинграда» была переиздана

большинством издательств – и тираж возрос сразу на несколько миллионов экземпляров, и ее стали переводить на многие языки мира, в том числе на французский. В 1957 году на «Ленфильме» был поставлен фильм «Солдаты», который во французском прокате назывался «Четверо из Сталинграда».

Боевая жизнь в мирное время

Сталинское лауреатство однако не стало «охранной грамотой» для Виктор Некрасова. На его дальнейших произведениях критика отыгралась сполна. В пух и прах разбили повесть «В родном городе» (1954), рассказывающую о драматической судьбе фронтовиков, столкнувшихся по возвращении в мирную жизнь с непробиваемым партийно-бюрократическим бездушием. Перефразируя известное выражение: мавр выиграл войну – мавр больше не нужен. И плевать власти на проблемы бывших солдат и офицеров (они и сегодня, спустя десятилетия, никак не могут решить пресловутый квартирный вопрос).

В другой повести – «Кира Георгиевна» (1961) – Некрасов беспощадно вскрыл причины конформизма и душевной опустошенности интеллигенции, и причины эти увидел в нехватке воздуха свободы. Как мы сказали бы сегодня: тоталитаризм душил свободу и топтал все права человека. Свою позицию свободно мыслящего человека Некрасов выразил и в статьях об искусстве, протестуя против господствующей героической риторики и велеречивой патетики, – никакой простоты, одна барабанная дробь. В архитектуре (а он знал в ней толк) его возмущала безвкусная монументальность и убогое однообразие тогдашнего советского градостроительства.

Зарубежные поездки Некрасова получили творческое осмысление в очерках «Первое знакомство», «Месяц во Франции», «По обе стороны океана». Последний очерк возмутил лично первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, и он на пленуме ЦК 21 июня 1963 года обрушился на Некрасова с зубодробительной критикой. И тут же последовали «оргвыводы»: писателя перестали печатать, стали клеймить позором на многочисленных собраниях, в газетах – старая советская забава «ату его!» Во времена Сталина Некрасова непременно посадили бы как «вредный элемент», при Хрущеве ограничились травлей и партийным выговором (в партию Некрасов вступил в 1943 году в Сталинграде).

После падения Хрущева Некрасова на время оставили в покое, но он сам вызвал огонь на себя – он был сначала

гражданином своей страны, а уж затем – писателем. В 1969 году Некрасов подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и выступил в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яре.

Первая статья Некрасова о Бабьем Яре была напечатана в «Литературной газете» 10 октября 1959 года и озаглавлена «Почему это не сделано?», а последняя, под названием «Бабий Яр, 45 лет», была напечатана в Нью-Йорке в «Новом русском слове» за год до смерти – 28 сентября 1986 года. Как точно отметила в своих воспоминаниях редактор «Нового мира» Анна Берзер, Бабий Яр «стал частью собственной жизни Некрасова – личной, общественной, гражданской и писательской».

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру, в глубоком овраге под Киевом раздались первые выстрелы в согнанных туда беззащитных людей, в том числе детей и стариков. Их косили пулеметной очередью. Точная цифра убитых неизвестна, но по приблизительным подсчетам, за три дня расстреляли 70 тысяч человек. Советская власть долгие годы молчала об этих преступлениях, боясь двух-трех обыкновенных слов: Бабий Яр и евреи. Некрасов не уставал утверждать: «Здесь расстреляны люди разных национальностей, но только евреи убиты за то, что они евреи…»

И еще Виктор Некрасов писал и говорил: «Бабий Яр превратился в понятие нарицательное. Как Варфоломеевская ночь, ГУЛАГ, Хиросима, Чернобыль… Массовое убийство – вот смысл этих слов, названий, понятий. Какое из этих понятий страшнее – вряд ли стоит в этом разбираться…»

На многотысячном митинге в Бабьем Яре Некрасов потребовал от властей установить памятник. Всего лишь установить памятник требовал писатель, но власть не вняла требованиям тысяч людей, более того, переименовала Бабий Яр в Сырецкий Яр и пыталась вообще вычеркнуть это событие из памяти людей. Была даже попытка превратить Бабий Яр в спортивно-развлекательный комплекс. Виктор Некрасов продолжал твердо отстаивать память о загубленных жертвах.

Эта борьба за память раздражала власть, и 17 января 1974 года в киевскую квартиру Некрасова пришли с обыском, который длился 42 часа. Искали компромат на писателя. Изъяли много рукописей, книг, журналов и различных предметов (пишущая машинка, магнитофон, фотоаппараты и фотоальбомы). В фотоальбоме содержалась настоящая крамола: фотографии Бабьего Яра. Об этой позорной акции Некрасов рассказал в статье-памфлете «Кому это нужно?»

Наивный вопрос. Это нужно власти, чтобы искоренить всякое

инакомыслие в обществе, заставить всех шагать в едином строю и не копаться в анналах истории, тем более давать оценки тому или иному историческому событию. Некрасову влепили строгий партийный выговор «…за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии», а затем последовало и исключение из рядов КПСС. Короче, не сметь противоречить линии партии! И как следствие, книги Некрасова были изъяты из всех библиотек, имя запрещено упоминать в печати. И апофеоз: лишение советского гражданства. Вон из окопов Сталинграда!..

Изгнание в Париж

Пути Некрасова с советской властью резко разошлись. «Порой говорят, – рассуждал Некрасов, – что самое главное сохранить внутреннюю свободу, не согнуться. Но что значит для писателя сия внутренняя свобода при разгуле произвола? При том, что творится черное беззаконие, что похоронены тысячи книг, а новые убивают в зародыше? Жить с кляпом во рту?»

И вот отъезд. При прощании в Киеве Некрасов говорил Виталию Коротичу: «Отдышусь и возвращусь. Ты не думай – отдышусь и возвращусь».

Он не возвратился. В книге «Маленькая печальная повесть» Некрасов написал: «Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минут ровно 10 лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы – я, жена и собачка Джулька – сели в Борисполе в самолет и через 3 часа оказались в Цюрихе. Так, на 64-м году у меня, 61-м у жены и четвертом у Джульки – началась новая, совсем не похожая на прожитую жизнь.

Благословляю ли я в этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни – это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого-нибудь деньги, карьера, слава, для меня – друзья… Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных, те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким военно-осетинским дорогам, ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, на кухнях и в забегаловках. И выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не

хватает».

Виктор Некрасов прибыл в эмиграцию официально никем. Из членов партии и Союза писателей его исключили. Памятные сувениры – погоны армейского капитана, боевые награды, лауреатскую медаль Сталинской премии – советская таможня не пропустила. Потом заботливые друзья переслали по дипломатическим каналам. Впрочем, сам Некрасов весьма иронически смотрел на свои «игрушки-побрякушки». А когда французы наградили писателя-изгнанника Почетным легионом, Некрасов всерьез обиделся: «Суки! Удостоверение вручили, а орден заставляют покупать в магазине!» Капиталистические порядки Некрасову были непонятны.

Вика, как тебе в Париже?
Вечный «с тросточкой пижон»,
Все равно родней и ближе
Ты мне всех за рубежом.

Вика, Виктор, мой Платоныч,
Изведясь, изматерясь,
Я ловлю тебя за полночь,
Да и то не всякий раз.

Голос твой, в заглошку встроясь,
Лезет из тартарары… Вика,
Вика, честь и совесть
Послелагерной поры.

Не сажали, но грозили,
Но хватали за бока…
Эх, история России,
Сумасбродная река,

И тебя, сама не рада,
Протащила ни за грош
От окопов Сталинграда
Аж куда не разберешь…

Так писал о Некрасове его друг поэт Владимир Корнилов. И еще: «Стройный, ладный и поджарый, / Еле седоват, / Не болезненный, не старый / И за шестьдесят, / Забулдыга и усатик, / На закате дня / Ты не выйдешь на Крещатик / Повстречать меня».

27 декабря 1974 года парижская «Фигаро» опубликовала

статью «Новые русские эмигранты»: «Вот уже несколько месяцев советские власти позволяют уезжать своим неспокойным интеллигентам… Кто они, эти новые парижане? Как представляют себе нашу страну? Чего они ждут?.. Они считают, что французы не в состоянии представить себе тяжесть повседневной жизни в Советском Союзе, жизни, в которой ничего не происходит или больше никогда ничего не произойдет. «Ибо, – говорят они, – сейчас нет физической угрозы ни для нас, ни для народа. Но у нас нет больше перспективы, надежды… Именно об этом мы должны писать»… Ни один из них не уверен, что сможет заработать на жизнь на Западе…»

И отдельный пассаж в «Фигаро» о Некрасове: «Виктор Некрасов, писатель, стиль которого очень близок западной литературе. Это протеже Сталина и лауреат Сталинской премии, его осыпали почестями и различными наградами, он был миллионер. Сегодня он парижанин, без гроша в кармане, живет вместе с женой у Андрея Синявского в Фонтенео-Роз. Некрасов – типичный русский интеллигент: это открытый человек, жадный до культуры, беззаботный, у которого жизнь смешивается с творчеством. Легкий, как мотылек. Ему предложили визу, он уехал…»

Беззаботный. Легкий, как мотылек, – французам не составило труда определить Некрасова как личность. Ко всем внешним западным атрибутам западной жизни он относился крайне наплевательски. На торжественных приемах и церемониях (а его еще как приглашали!) Некрасов неизменно появлялся в ковбойке и в старом пиджаке. Жена умоляла купить новое пальто – Некрасов упорно тратил деньги (а он стал получать со временем солидные суммы) на приобретение у букинистов старых, потрепанных книг, которые негде было хранить. Деловые встречи презирал, мог сутками сидеть в кафе с каким-нибудь русским приятелем и пережевывать свою прежнюю жизнь. Анатолий Гладилин вспоминает, что Некрасов никогда не «надувался», не «принимал позу». Счастливо избегал «звериной серьезности», столь свойственной парижской эмиграции.

Американский журнал «Ньюсуик» писал в апреле 1977 года о бывших советских писателях: «… отрезанные от своих корней, они, похоже, не способны что-либо создать… Вместо того чтобы продолжить писать, они сидят во французских кафе, болтая по-русски и строя планы освобождения своей старой родины… Пока они были в Советском Союзе, они считали себя страдальцами. Но здесь они затерялись. Их голоса – это голоса в пустыне…»

Так сказать, мнение врагов – их тоже следует знать. Но Париж для Некрасова не был пустыней, напротив, это был город

его мечты. Он и на родине, в своей квартире, повесив на стену огромную карту Парижа, путешествовал в нем заочно, через мост Карусель на набережную Вольтера и дальше вдоль Сены. И Риволи, и Эйфелева башня, и так далее с ощущением Хемингуэя: «Париж – это праздник, который всегда с тобою». Об этом с удовлетворением написал и Некрасов: «Теперь этот праздник со мной».

Единственный день в году, когда Париж резко не нравился Некрасову, был день 9 мая, день Победы. Он бродил по городу в бессмысленной надежде найти хоть одного бывшего фронтовика, с которым можно было бы чокнуться в честь праздника, помянуть окопы Сталинграда. Но вокруг не было никого, кто мог бы разделить его воспоминания и боль военных утрат.

Встреча с Виктором Конецким в Париже стала праздником для Некрасова. Они говорили друг с другом без конца. Позднее Конецкий вспоминал про своего друга:

«Он снял пальто. Из кармана пиджака торчала вязаная шапочка. Шарфа не было. Голая жилистая шея и голая грудь в вырезе до второй пуговицы рубашки. Французский заказ гарсону пива он пересыпал таким хрипловатым саперским матом, что я несколько раз дергал лауреата Сталинской премии за рукав и молитвенно просил сбавить обороты: «Вика, тут же могут быть русские!» Он отмахивался: «Пускай родной речи радуются!»

Некрасов заверил Конецкого, что он «не офранцузился, но парижанином стал…» И далее: «Седею что-то быстро. И болею. То кашель, то еще какая-нибудь хреновина. Но, видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно – это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про березки спрашивать будешь? Про мою тоску о них?

– Буду.

– Их тут полно. «Было» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато… Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.

Разговор зашел о смерти.

– А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно? – спросил Конецкий. И Некрасов ответил:

– Нет. Я, Витя, безбожник. Один черт, где гнить. Я и полюбил этот глупый Париж. Терпеть не могу шираков, ле пенов, забастовщиков и вот всех этих, – он круговым макаром мотнул головой. – Все они засранцы, бляди, скупердяи, буржуазная сволочь, все с жиру бесятся, но Париж я люблю…»

В Париже Виктор Некрасов не только проводил много

времени в кафе, но еще успевал немало работать. Писал книги, статьи, читал лекции, выступал по радио, особенно ценил радиостанцию «Свобода». Всем запомнилась знаменитая его фраза по радиоволнам: «Это вам говорю из Парижа я, Виктор Некрасов…» Один из соотечественников, посетивший Францию, спросил писателя, чем он тут занимается. На что Некрасов ответил: «Раз в неделю выступаю по «Свободе»… – И добавил с лукавой улыбкой: – Клевещу помаленьку… на историческую родину…»

Однако на самом деле он никогда не клеветал. Он всегда говорил правду. Просто эта правда для многих его бывших соотечественников воспринималась, как клевета. Они продолжали жить среди славных советских мифов.

И тот же соотечественник, который повстречался ему в Париже и спросил, чем он занимается, предложил в конце встречи подвезти Некрасова на машине, куда ему нужно. Но и тут Некрасов остался самим собой: «Мы, месье, на вуатюрах кататься не привыкли. Мы больше – на метрополитене имени Кагановича!» И Некрасов отправился к себе домой – в парижский пригород Ванв – на метро…

В эмиграции Некрасов написал очерки «Записки зеваки», «Взгляд и нечто», «По обе стороны стены…», «Из дальних странствий возвратясь…», повесть «Саперлипопет, или Если б да кабы, да во рту росли грибы…» (1983), «Маленькую печальную повесть» (1986). Конечно, мог бы написать и больше, но, как сказал один поэт, не случилось. Мешала выпивка? Но только чуть-чуть. К концу жизни он совсем отказался от водки и позволял себе только пиво. Советский «Беломор» сменил в Париже на крепкий «Голуаз».

В «Городских прогулках» писатель вспоминал, как однажды мать сказала ему: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благоразумным». И Некрасов не без гордости написал: «Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнить».

Можно точно сказать, что Виктор Некрасов не был благоразумным. Но он всегда был прост и честен. Не складывал фиги в кармане, а всегда говорил правду. Жесткую и горькую правду. Когда советские войска вступили в Афганистан, Некрасов сразу заявил, что Афганистан – бессмысленное преступление против своего и чужого народа. Человеческое удивительно соединялось в нем с писательским, и он был человеком «пар эксэлянс». Гармоничным, единым человеком.

Болезнь и смерть

Через 10 месяцев после пребывания во Франции Виктор Некрасов тяжело заболел. Он умирал в парижском госпитале. Надежд не было никаких. «Преждевременный некролог. Нехорошо, что преждевременный. Но и как воздать?! Если не преждевременно? Если все мы уходим и уходим, и никто не стоит за нами с поднятыми факелами в руках! Потому и тороплюсь. Надеюсь. Не умрет…»

И в этом преждевременном некрологе Андрея Синявского были слова про «глоток свободы». Свобода была дорога Виктору Некрасову, и он чудом выжил. Немец бы не выжил, а русский человек Некрасов оклемался и выжил.

Виктор Платонович Некрасов прожил еще 12 лет и скончался 3 сентября 1987 года. Один из последних своих очерков «Об окопной правде и прочем», напечатанный в «Русской мысли», Некрасов закончил словами: «Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести…»

Виктор Некрасов нашел успокоение на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, почти рядышком со «своими» – Александром Галичем и Андреем Тарковским. Но так как он был «подселен» к чужой могиле, то 9 декабря 1994 года состоялось перезахоронение…

На смерть Некрасова в СССР отважилась откликнуться лишь одна газета – «Московские новости» (некролог подписали Григорий Бакланов, Булат Окуджава, Вячеслав Кондратьев и Владимир Лакшин). В нем было отмечено, что «его талант художника неоспорим… даже если бы от него осталась всего одна книга – «В окопах Сталинграда», он заслужил посмертное право на признание нашего народа».

Андрей Синявский в «прижизненном некрологе» отметил так: «И посреди феодальной социалистической литературы первая советская повесть – «В окопах Сталинграда».

Солдат, мушкетер, гуляка, честный человек, Виктор Некрасов всю оставшуюся жизнь, после того, как его безжалостно вычеркнули из советской литературы, ждал реабилитации. Ждал и не дождался.

Его мучил вопрос «Кому это нужно?» Еще в Москве, 5 марта 1974 года, он написал пылающую гневом и непониманием статью под этим названием после отъезда очередного неугодного власти писателя Владимира Максимова. И в конце статьи:

«Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не

напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчет баррикад… Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад».

Виктора Некрасова давно нет, но многочисленные Вити-силовики по-прежнему определяют, как жить и дышать стране и народу. Они ничего сами не создают. Они только определяют и запрещают. И в этом беда и трагедия России.

Один из детей Арбата. Анатолий Рыбаков (1911–1998)

Редко кому удается написать книгу, ставшую событием, взорвавшую общественное сознание, всколыхнувшую массу людей, заставившую яростно спорить «за» и «против». «Тяжелый песок» и «Дети Арбата» стали книгами-событиями, книгами-взрывами. Их написал Анатолий Рыбаков.

К сожалению, мы живем сегодня в центростремительном времени постоянных изменений, потрясений, социально-тектонических сдвигов, что заставляет нас напрочь забывать о прошлом. И вот уже Рыбаков с его потрясающими книгами остался где-то позади, растворился в тумане забвения. Это несправедливо. Но такова жизнь: мы мчимся вперед, все дальше и дальше и вместо успокоения получаем новый ужас. А в календаре истории неожиданно возникла дата: 100-летие Анатолия Рыбакова, и мы просто обязаны оглянуться назад, подержать в руках «тяжелый песок», поименно вспомнить «детей Арбата» и самого Рыбакова, самого арбатовского человека.

Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая фамилия – Аронов) родился 1(14) января 1911 года в Чернигове. В дальнейшем семья с Украины перебралась в Москву. «Мы приехали в Москву, – пишет Рыбаков в своем «Романе-воспоминании», – осенью 1919 года. Переезд (на телеге) с Брянского вокзала (теперь он называется Киевский) показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Поселились на Арбате в доме номер 51… Дом моего детства, моей юности я описал в «Кортике», в «Детях Арбата», он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существовал кинотеатр «Арс», потом он назывался «Наука и

знание». А соседний, 53-й, дом знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной…»

Старых жителей Арбата «уплотнили», и в квартирах появились новые хозяева, семьи рабочих, военных и «спецов» (так звали специалистов разных профессий). Некогда шикарные апартаменты превратились в коммунальные квартиры. В одной из них и поселилась семья Рыбаковых. Отец будущего писателя был крупным инженером и как «спец» получал большой оклад и паек. Семья быстро вписалась в интеллигентную арбатскую семью, без каких-либо религиозных традиций. По признанию Рыбакова, она была совершенно русифицированной и эдакого социал-демократического толка. Никакого еврейского языка, религии, только атеизм и вера в грядущий социализм. Хотя много лет спустя в интервью «Новой газете» Рыбаков гордо скажет: «Но я еврей. Во мне течет кровь, которую столетиями выливали из жил моего народа». Однако в юные годы никакого еврейства, более того, воспитанием Анатолия и его сестры занималась француженка. И Толя рос правильным мальчиком. Верил в идеалы революции и с гордостью вступил в пионеры.

«В отряд я ходил каждый вечер: собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих Поволжья, выступали в «Живой газете», высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам…» Однажды на слет пионеров приехал Николай Бухарин, любимец партии, «Бухарчик», он лично хлопнул по плечу Толю Рыбакова и сказал: «Давайте, ребята, помогайте Революции!» И пионеры старались вовсю…

Далее опытно-показательная школа-коммуна имени Лепешинского, где гуманитарные науки были не в чести, а только прикладные. Танцы почитались мещанством, классическая литература – ненужностью, но Рыбаков тем не менее пристрастился к чтению. После школы работал грузчиком, овладел профессией шофера. Поступил в Инженерно-транспортный институт, но тут Рыбакова подвело арбатское свободомыслие, желание высказываться по всем животрепещущим общественно-политическим вопросам, за что был исключен из комсомола, института и арестован в 22 года по статье 58–10 (контрреволюционная пропаганда). Произошло это 5 ноября 1933 года. Лубянка, Бутырка, три года ссылки в Сибири, на Ангаре, – и надо отметить, что Рыбаков еще легко отделался, ибо могло быть и хуже. После отбытия срока Рыбакову запрещалось жить в больших городах, о чем была сделана соответствующая отметка в паспорте.

Освободился Рыбаков осенью 1936 года и отчетливо понимал, что могут легко взять и во второй раз. Мальчик, веривший когда-то в революцию, после судимости представлял угрозу для режима. И Рыбаков, опасаясь повторного ареста, стал, как заяц, петлять по стране, меняя свое местонахождение. Работал только там, где не надо было заполнять анкеты, кем-то временным, сезонным – работал шофером на посевных и уборочных кампаниях. В какой-то период преподавал даже танцы: фокстрот, танго, румба. Словом, «утомленное солнце нежно с морем прощалось…» А далее осознание, что «нет любви». Да, любви с советской властью у Анатолия Рыбакова не получилось.

Учил Рыбаков желающих танцам, а музыка в душе не играла. В душе поселился страх (37–38 годы – годы массовых репрессий). «Не могу сказать, что было тяжелее, – вспоминая то время, признавался Рыбаков, – ссылка или скитания после нее. В ссылке хоть была надежда – вот она кончится, и наступит нормальная жизнь. Но это оказалось иллюзией – нормальная жизнь не могла получиться у бывших ссыльных. Как это ни звучит странно, меня выручила война».

Рыбаков без колебаний пошел защищать родину. Его поразила фраза Сталина, сказанная им на Красной площади 7 ноября 1941 года: «Враг не так силен, как воображают некоторые перепуганные интеллигентики». Какие интеллигентики?!. Анатолий Рыбаков прошел всю войну, от звонка до звонка, от защиты Москвы до штурма Берлина. Сражался честно и самоотверженно. Награжден многими орденами и медалями, а главное: за храбрость с него сняли судимость, – это была, пожалуй, высшая награда.

Многие годы спустя Рыбакова в Нью-Йорке пытал известный интервьюер Соломон Волков (потом вышла книга Волкова «Разговоры с Анатолием Рыбаковым»).

– В армии, на фронте вы нарывались на антисемитизм? При вас говорили о том, что евреи не воюют, а отсиживаются в Ташкенте? – спрашивал Соломон Волков.

– Нет, – отвечал Рыбаков, – в армии таких разговоров не слышал. Я был на фронте с первого дня, люди видели, что я еврей и воюю, как и все другие.

Рыбаков демобилизовался в 1946 году, и как офицеру-победителю ему показалось, что отныне все дороги открыты. Он выбрал литературную. Очень хотелось поведать историю своего поколения, поколения детей революции, которое пережило крушение идеалов этой революции, но, разумеется, не впрямую (цензура не дремала), а исподволь, издалека. Это уже позднее, в 1999 году, Рыбаков, не боясь, открыто говорил на полосе «Новой

газеты»: «Мне жаль мое обманутое поколение, жаль несчастных людей, которых я встречал на пересылках, жаль молодых ребят, которые пали на полях сражений, жаль писателей, которым не удалось сказать то, что они могли сказать. Ко мне судьба оказалась милостивей, я сказал свое».

Но сказал «свое» не сразу. К этому «своему» Рыбаков шел окольными путями через книги, адресованные детям и юношеству. В них он следовал традициям классической приключенческой литературы (неизменная «тайна», рыцарская отвага героев, их благородство и верность). К романтике Рыбаков добавлял и юмор. Первая повесть «Кортик» вышла в 1948 году (в 1954-м был снят фильм по «Кортику»), затем «Бронзовая птица», «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша». Герой «Кортика» Миша Поляков гордо заявлял: «Вы никогда не заставите меня делать то, что я не хочу». Другой юноша, рыбаковский Крош, горой стоял за добро и боролся со злом.

«Кортик» проходил в печать трудно. В Детгизе рукопись продержали полгода, не говоря ни «да», ни «нет». Только мямлили: «В вас что-то есть. Конечно, ваши герои – пионеры, комсомольцы правильные, но что-то в них и настораживает…» В отделе пионерской литературы редактор подпрыгнул на стуле, прочитав рукопись: «Это же «Багдадский вор» какой-то, американский детектив! А где пионерские отряды, комсомольская организация, почему у вас действуют какие-то индивидуалисты?..»

В конечном счете «Кортик» был напечатан, выручил крепко сбитый сюжет и благородство характеров героев. С другими книгами было не легче, хотя и они пробились через цензурно-редакторские бои к читателям. В 50-х годах требовались произведения о «людях труда» – без производственной атрибутики ничего не печатали. Рыбаков поехал на Волгу, работал в портах, на теплоходах, набрал фактуры и написал роман «Одинокая женщина». Одинокая женщина в условиях социализма? Быть этого не может! И роман вышел под нейтральным заголовком «Екатерина Воронина». Напечатанный роман вдохновил Рыбакова, он приступил к следующему, под названием «Лиля». Что за легкомысленная Лиля? – возмутились редакторы, и в «Новом мире» роман переиначили в «Лето в Сосняках». А лето у Рыбакова получилось весьма горьким: писатель впервые поставил проблему детей репрессированных родителей (помните лживое утверждение режима: сын за отца не отвечает?..) «Лето в Сосняках» вышло в последнем номере «Нового мира» за 1964 год, в романе Рыбаков нащупал свою основную тему: власть и народ, насилие и страх, – в дальнейшем

эта тема была раскрыта в «Тяжелом песке» и «Детях Арбата».

Но вернемся назад. Начинал Рыбаков как детский и юношеский писатель, а затем перешел во взрослую литературу. И первой книгой на взрослой ноте стали «Водители» – роман о жизни провинциальной автобазы. Роман подкупал честностью и правдивостью и был выдвинут на Сталинскую премию, но тут всплыла прежняя судимость Рыбакова, и Сталин при обсуждении кандидатуры Рыбакова бросил реплику: «Неискренний человек, нераскаявшийся троцкист…» Но при повторном обсуждении выяснилось, что судимость с Рыбакова была снята во время войны, и писателя увенчали в 1951 году Сталинской премией. Эта история с отклонением и присуждением премии обросла различными подробностями и докатилась аж до Нью-Йорка, где о ней поведал Довлатов.

В позднем «Романе-воспоминании» Анатолий Рыбаков поведал о своем сталинском триумфе и иронично рассказал, как он вошел в когорту советских писателей и как ему пришлось приспосабливаться к жизни по установившимся правилам: с волками жить – по-волчьи выть.

Далее Рыбакову, по его признанию, сказочно повезло: один из его друзей, Роберт Купчик, «подарил» ему замечательный сюжет про своего дедушку, который в начале XIX века эмигрировал в Швейцарию, в Цюрих. Затем он захотел показать своему младшему сыну, по существу юному швейцарцу, родину своих предков. В Симферополе его сын (отец Роберта, друга Рыбакова) влюбился в 16-летнюю красавицу, дочь сапожника, и увез ее в Цюрих… ну, и так далее, кто помнит «Тяжелый песок», тот знает все перипетии романа Рыбакова. Вначале писатель предполагал, что напишет небольшую новеллу в духе Проспера Мериме, но вышло иначе: целая семейная хроника о жизни Рахили и Иакова. Пронзительные страницы о еврейском гетто. Страдания, ужас и смерть. И как сказано в Библии: «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда».

Свой «Тяжелый песок» Рыбаков отнес в журнал «Дружба народов», роман там не взяли, попутно объяснив автору, что во время войны пострадали не только евреи, но и другие национальности. Тогда Рыбаков с рукописью пошел в журнал «Октябрь», и новый редактор Анатолий Ананьев «Тяжелый песок» взял. В 1978 году роман вышел в свет и мгновенно стал бестселлером: им зачитывались миллионы человек. «Тяжелый песок» перевели на многие иностранные языки, Ванесса Редгрейв хотела экранизировать роман, но ей не дали реализовать эту идею: сами не хотели и другим не давали. И лишь после смерти Рыбакова в 2003 году вышел 12-серийный телефильм (об

экранизации мечтал Анатолий Наумович, но, увы, не дожил…)

В «Тяжелом песке» впервые в советской литературе поднята еврейская тема, до этого запретная. В романе Рыбаков широко использовал историю своих предков, в частности, своего деда Авраама Исааковича. «Тяжелый песок» сразу окрестили «еврейской сагой», до того она хватала за сердце каждого нормального человека, незараженного, естественно, вирусом антисемитима. «Тяжелый песок» – это не только о страдании еврейского народа, но и о любви, которая сильнее смерти.

После «Тяжелого песка» пришла очередь «Детей Арбата», которым писатель отдал долгие годы жизни. Первые наброски антисталинского романа Рыбаков тайно шифровал, ну, а после разоблачения культа личности в 1956 году уже писал в открытую, параллельно со своими другими вещами. Анонс о публикации «Детей Арбата» появился в «Новом мире» в 1967 году, но лишь спустя 20 лет роман был опубликован. За «Детьми Арбата» последовали продолжения: «Страх», «Прах и пепел». Общий тираж «Детей Арбата» составил более 1,5 миллиона экземпляров. Многочисленные переводы в различных странах и одноименная пьеса, которая ставилась в театрах СССР и Европы. Короче, ошеломительный успех.

Главные и полярные, противоположные герои романа – Саша Панкратов (по существу это сам Анатолий Рыбаков и его сверстники, арбатские юноши). А другой герой, точнее, антигерой – Иосиф Сталин. Писатель тщательнейшим образом изучил исторические материалы и документы сталинской эпохи и один из первых разобрался с сутью диктатора и тирана, выявив много общего между Сталиным и Гитлером. Рыбаков вложил в уста Сталина формулу сталинского мироустройства: «Смерть решает все проблемы. Нет человека – нет проблемы» (это было так точно, что всем читателям казалось, что именно так и формулировал Сталин свои репрессии и казни). И еще рыбаковская фраза, сказанная за вождя: «Великая цель требует великой энергии. Великая энергия отсталого народа добывается только великой жестокостью».

Этой великой жестокостью и пронизан роман «Дети Арбата». И эту великую жестокость до сих пор отрицают многие россияне, считающие, что Сталин – это победа. «Я глубоко убежден: пока мы не преодолеем всех явлений, порожденных культом личности, пока не научимся думать самостоятельно, нам будет трудно двигаться вперед…» – говорил Рыбаков в интервью «Московским новостям» в апреле 1987 года.

«Дьявольской системой» назвал Рыбаков режим личной власти, установленный Сталиным. И оглядываясь на прошлое,

говорил: «Мы жили, верили, страдали, погибали». «Мы должны пристально вглядываться в наше сталинское прошлое. В нем – истоки многих наших нынешних да и будущих бед. Сталинизм – это не только диктатура, принудительное единомыслие и террор, но и психология личности, и психология масс. Обесценивание человеческой жизни приводит к дегуманизации общества. Страх, смещая нравственные критерии, лишает человека морали, чувства собственного достоинства, чести, справедливости, сострадания к близким. Сталин уничтожил все мыслящее, талантливое, самостоятельное. Результаты этой чудовищной селекции мы видим сегодня» (ЛГ, 8 ноября 1995).

Горькие истины Рыбакова не всем пришлись по душе. Коммунисты и прочие упорные граждане, прикипевшие к сталинскому прошлому, никак не хотели принять правду, для них «Дети Арбата» стали некими предателями идей коммунизма, как они их понимали. Рыбаков после своих главных романов попал в непростую ситуацию, когда одни хвалили его за смелость и правду, другие люто ненавидели, а некоторые коллеги по перу отчаянно завидовали его популярности, как он выразился сам, он испытывал «зависть коллег и ненависть партийной сволочи».

Не будем воспроизводить хулу, лучше вспомним хвалу. «Я не знаю в советской литературе другого произведения, которое было бы основано на таком страстном стремлении рассказать правду», – писал Вениамин Каверин по поводу «Детей Арбата».

Вячеслав Кондратьев: «Читал роман с чувством огромной радости, что наконец-то нашелся среди нас человек, который осмелился сказать подлинную правду о времени и тем исполнить главную нравственную писательскую задачу, стоящую перед всеми нами, но выполняемую нами слабо, уклончиво и – я бы сказал – малодушно…»

«Многоуважаемый Анатолий Наумович, – писал в письме к Рыбакову Булат Окуджава. – Я познакомился с романом и считаю, что в прозе более яркого художественного памятника трудным и трагическим годам нашей жизни еще не было в отечественной литературе».

В 1997 году вышла автобиографическая книга Рыбакова «Роман-воспоминание». По воспоминаниям тех, кто был близок к писателю, в 1990-е годы он продолжал страстно ненавидеть Сталина и все советские несвободы. Его пугал нарождающийся российский неонацизм, неодобрительно он относился и к либеральным пустым разглагольствованиям и их носителей именовал «аэропортовскими идиотами» (по месту писательских домов в Москве). Не примыкал Рыбаков ни к одному лагерю, клану, сговору. Был абсолютно независимым и имел собственные

взгляды на историю России, на мир, который его окружал, и вполне мог сказать о себе словами Франсуа Вийона: «Я всеми принят – изгнан отовсюду». Спорил он всегда страстно и предпочитал общение не с упертыми стариками, а с обществом молодых людей, не закоренелых в своих заблуждениях.

Последние годы Рыбаков жил то в Москве, то в Нью-Йорке. В Америке ему сделали операцию, она продлила ему жизнь на полгода, а он просил у врачей 6 лет, чтобы осуществить новый замысел. В Америке Рыбаков тесно сошелся с Соломоном Волковым.

«Мне хорошо работается в Нью-Йорке, – признавался он. – Здесь меня не беспокоят, не отвлекают. Для писателя место там, где ему пишется». Кстати, а как работал Рыбаков? На этот счет он рассказывал: «Когда я приступаю к новой работе, самое тяжелое для меня – начать. Первые сто страниц пишу не оглядываясь. Пишу от руки. После того как этот первый вариант жена напечатает или наберет на компьютере, я обычно весь его перекраиваю, правлю, выбрасываю нещадно абзац за абзацем. Если у меня от десяти рукописных страниц остается еще одна печатная – это хорошо. Некоторые мои коллеги-писатели удивляются: что ты делаешь? У нас же раньше платили за листаж. Вот и писали пудовые эпопеи…»

Над рабочим столом Рыбакова висел краткий императив-наказ: «Чтобы написать, надо писать». Он садился и писал, не делая никаких скидок на возраст. Великолепно выглядел и в 85 и в 87… Темно-синий пиджак, голубая рубашка, седые, до голубизны, волосы и смуглое живое лицо. Красивый, породистый, элегантный – таким его вспоминают друзья.

После операции (шунтирование на сердце) прожил недолго. Не дожил каких-нибудь двух недель до 88-летия. Умер 23 декабря 1998 года в Нью-Йорке. Завещал похоронить себя на родине. 6 января 1999 года в Москве, в ЦДЛ, состоялась панихида по Анатолию Рыбакову. Выступавшие говорили, что Рыбаков был человеком «огромного писательского и человеческого таланта», счастливым, мужественным человеком, «с чутким и чудным сердцем», обладавшим «колоссальной жизнестойкостью», «общественным темпераментом» и «уникальной целеустремленностью», и, несмотря на возраст, оставался «мальчишкой, балагуром и шутником». И все сказанное было правдой…

«Человеком нормы» – так назвала Рыбакова Виктория Шохина при прощании с ним. Норма – это талант, здравый смысл и достоинство. А главное, что Рыбаков ни на шаг не отошел от своей нормы в годы идеологического безумия. Не предал свой

талант. Не прогнулся перед властью. Оставался верным здравомыслию. Не предавал и не подличал. Гордо нес собственное достоинство и незапятнанное имя. Рыбакову все это удалось. Подлинный сын Арбата. Настоящий русский интеллигент еврейского происхождения.

Вечный ученик. Лев Озеров (1914–1996)

Раньше писали пером. Теперь набирают на компьютере. Раньше добивались знания. Теперь скачивают из Интернета. В былые времена бескорыстно служили литературе. Ныне цель: пиар и бабло. Раньше встречались тихие интеллигенты. Теперь кругом агрессивные циники. И хапают-хапают… Как не вспомнить слова чукчи из одного анекдота: «Тенденция, однако…»

И что остается? Вспоминать тех, кто был раньше. У кого поблескивало в руке золоченое перо. О многих рассказали, настала очередь Льва Озерова, поэта, переводчика, литературоведа. Он трудился за столом из красного дерева, а на столе теснилось множество перьев…

Не позволяйте остывать перу.
Перо остынет – и это не к добру.
Перо накалено – какое благо,
Другого слова я не подберу.

Лев Адольфович Озеров родился 10 (23) августа 1914 года в Киеве. Настоящая его фамилия Гольдберг. Еврей? Немецкий еврей? Нет, русский писатель, проживший всю жизнь под сенью великой русской литературы. Свои первые стихи подписывал как Лев Гольдберг, Лев Берг, Л. Корнев и еще каким-то псевдонимом – до 30 вариантов, прежде чем не остановился на окончательной фамилии – Озеров. Лев Озеров. В конце XVIII – начале XIX века гремел Владислав Озеров, автор многих трагедий, драматург. И

вот в истории русской литературы явился второй Озеров. Поэт-лирик.

Лев Озеров появился на свет в трудные, трагические времена: Первая мировая война, революция, Гражданская война, лихорадочное становление новой власти. И каково ему пришлось? «Рожденный в 1914 году, – рассказывал Озеров, – пережил все войны века в три голода. Особенно голод на Украине 1930–1933 годов, который украинцы называют более сильным словом «голодомор». Висели мы на волоске, как выжили – непостижимо. Я тогда уже прошел скрипичную школу, дирижерскую, были свои сочинения, рисовал, начинал уже писать, получал одобрения, но пришлось из-за голода все бросить и пойти в чернорабочие на киевский «Арсенал». Переносил из инструментального цеха на склад материалы – была сила – и толкал вагонетку. Дома были счастливы, что приносил горстку пшенной каши и рыбий хвост…»

Мечты стать музыкантом пришлось отложить, но, став поэтом, Озеров часто возвращался к своему увлечению юности:

Не умею рассказывать музыку,
И не смею рассказывать музыку,
И немею, слушая музыку.

Любимыми композиторами на всю жизнь остались Шопен, Гайдн и особенно Моцарт, которому Озеров посвятил не одно стихотворение:

Моцартианство – риск и поиск:
И полнота, и широта,
Непредсказуемая повесть
О том, что значит красота.
Когда она – не цель полета,
А сам полет,
И не заученная нота,
А песнь без нот.

Не будем приводить другие строчки на музыкальные темы, отметим, что, как признавался Озеров, «звучанием скрипичным и альтовым / живет во мне старинный симфонист».

Помимо музыкального образования, Озеров закончил семилетний рабфак и первый курс филфака Киевского университета. К тому времени на Украине жить было несладко, и Озеров перебрался в Москву (вечный крик чеховских сестер: «В

Москву! В Москву!..) Подобно другим молодым и честолюбивым провинциалам, Озеров отправился в столицу как некую культурную Мекку.

И, действительно, МИФЛИ оказался интеллектуальной кузницей кадров, из его стен вышла целая плеяда замечательных поэтов и прозаиков: Твардовский, Константин Симонов, Левитанский, Давид Самойлов, Наровчатов… А какие были преподаватели: Гудзий, Радциг, Тимофеев, Винокур… Любимый профессор Озерова Сергей Соболевский внушал своим ученикам, что латинское «всегда ученик» значит, что, когда будешь мастером, помни, что ты – вечный ученик.

Лев Озеров и был вечным учеником, постоянно учился, совершенствовал, пополнял свой багаж знаний и никогда не надувал щек оттого, что ему удалось сделать (что мы видим сплошь и рядом). А сделал он немало. В годы учебы написал первые литературоведческие работы о Пушкине, Тютчеве, Пастернаке, последним Озеров занимался практически всю жизнь и итогом исследования явилась солидная книга «О Борисе Пастернаке» (1990).

В 1941-м Лев Озеров закончил аспирантуру МИФЛИ и – война. На линию огня по состоянию здоровья не попал, но в военной газете «Победа за нами» поучаствовал. А с 1943 года и до последних лет Озеров вел в Литературном институте им. Горького семинар поэзии и художественного перевода. Только представьте, с 30 до 80 лет, в течение полувека! У профессора Озерова, в «Озерной школе», учились в разное время такие известные поэты, как Юлия Друнина, Межиров, Старшинов… Учил писать и учил жить. Как? Старался быть не категоричным и говорил студентам: «Я бы поступил вот так…» И всё, ибо считал, что дешевле всего давать советы…

Первая книга Озерова «Приднепровье» вышла в Киеве в 1940 году. За ней последовали более десяти стихотворных сборников и две книги избранных стихов.

Говорят, что акварели
Безнадежно устарели.
К черту эту пустомель!
Обожаю акварель.
Эту легкость и прозрачность
С малолетства я ценю,
Умную неоднозначность…
…Легкое прикосновенье
Кисти к сердцу моему.

(из книги «Думаю о тебе», 1981)

Так и хочется сказать: акварельные строчки об акварели.

Параллельно со стихами Озеров работал как литературовед и выпустил книги: «Работа поэта», «А. А. Фет», «Мастерство и волшебство», «Поэзия Тютчева», «Стих и стиль», «Необходимость прекрасного», «Началы и концы»… Еще одна грань труда Озерова: переводы. Он переводил много и многих – с украинского, литовского, грузинского, армянского и других языков. И, конечно, с еврейского: Шварцмана, Квитко, Гофштейна, Переца Маркиша. Переводил не механически, а чрезвычайно бережно, творчески. В стихотворении «Искусство перевода» Озеров утверждал:

Переводчик – это, можно сказать, перевозчик,
Перевозчик с берега одного языка
На берег другого языка.
Перевод совершается издалека
В чудесной ладье Поэзии.

Но вернемся к стихам самого Озерова. Он – поэт философского направления, тяготеющий к Тютчеву, Фету, Баратынскому. Никогда не увлекался гражданскими мотивами, а в основном писал о природе. В ней он находил темы для размышления о высшем бытии, жизни и смерти.

Не мы природу созерцаем,
Природа созерцает нас.

В природе Озерова интересовали не банальные очевидности, а едва уловимые явления; если так можно выразиться, их художественная деталировка и нюансировка: «Никаких устойчивых примет. / Только времени светящий свет. / И переплетенье света с тенью…»; «Подозрительный лепет листвы накануне грозы…»; «И переходит осень в белый стих. / Сперва природе не ясна задача, / И роща перемены ждет и, плача, / Не может сосчитать стволов своих…»

Подобные стихи-образы позволили Илье Сельвинскому назвать Озерова «выдающимся рисовальщиком». А кто-то из критиков отметил, что Озеров – поэт зрения.

Купальщица выходит из воды —
И море тихо вслед за ней влечется…

Мнение Михаила Светлова: «… пленяет в Озерове… естественность его интонации. Никакими фокусами он меня и не пытается удивлять. Он просто положил мне руку на плечо и повел меня, читателя, по всей книге. Это очень большое достоинство поэта».

Казалось бы, тихий лирик. Никому не мешающий и никого не затрагивающий. Ан, нет! В свое время Озерова трижды объявляли буржуазным националистом: украинским – в юные годы в Киеве, за выступления в защиту уничтоженных украинских поэтов; русским – в годы учебы в МИФЛИ, за выступления в защиту русского эпоса и фольклора; и, наконец, еврейским – в годы борьбы с космополитизмом, за переводы еврейских поэтов и статьи о них. Лев Озеров высказывал свое мнение и был за это мнение бит: не нарушай ритм четко шагающих колонн!..

Но Озеров не очень разбирался в государственной политике, он просто любил русскую литературу и постоянно занимался восстановлением справедливости по отношению к преследуемым и несправедливо забытым поэтам XX века. Озеров был одним из тех, кто способствовал возвращению в литературу имен Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Зенкевича, Нарбута и других.

И еще один важный момент из жизни Озерова. Эренбург попросил Озерова поехать в только что освобожденный от фашистов Киев и сделать очерк о жертвах Бабьего Яра, где, кстати, погибли многие родственники, друзья и знакомые Озерова. Написанный им очерк вошел в «Черную книгу» и был переведен на многие иностранные языки. Кроме того, Озеров написал тогда небольшую поэму «Бабий Яр» (это было задолго до поэмы Евтушенко). И пронзительно горькие строки: «Ведь до гроба мучиться мне,/ Что не умерли смертью одной».

В отличие от многих современников-поэтов Озеров не был обличителем фашизма и сталинского тоталитаризма, его занимали другие проблемы («Меры мы не знаем, где же взять / Верные весы или безмены. / Мы умеем только унижать / Или только возвышать без меры». Озерова интересовала позиция поэта в обществе, поединок души с рынком: писать честно, как того требует вдохновение, не на потребу дня, не требуя денег, без хрестоматийного «а можно рукопись продать».

У последней четверти века
Есть своя особая веха
И особая мета есть.
Без пощады душа и рынок
Роковой ведут поединок,

На арене бесчестье и честь.

У Озерова была еще одна отличительная черта: он любил своих коллег по цеху, преклонялся перед их мастерством и никогда не завидовал. Редкое качество: любить литбратьев! Озеров их не только любил, но и посвятил много стихов Ахматовой, Пастернаку, Асееву и другим. Озеров опубликовал первую рецензию на сборник Ахматовой, вышедший после долгого перерыва, и это все назвали «прорывом блокады».

У писателей почти принято не замечать рядом пишущих, смотреть на них свысока. Озеров таким не был, напротив, он писал о коллегах с у довольствием и придумал даже специальный жанр: верлибров-воспоминаний, так называемые белые стихи или ритмизированную прозу. Вот концовка такого верлибра-воспоминания об Исааке Бабеле:

…Смешинки, лукавинки, искорки глаз,
Крупная голова его привлекает внимание,
Она еще ни бед, ни горестей
Не предвидит,
А они через несколько лет
Тяжко падут на эту голову.
С опозданием ее оплачут.
У людей есть привычка такая,
Но это уже тема другая.

Или вот концовка о Михаиле Светлове: «…Очнувшись, он сказал: / – Слишком мрачно мы с вами / Поговорили сегодня, / Собственно, это я вас заговорил. / Отдохнем от острот. / Давайте пойдем по Москве, / По кольцу бульваров. / Пойдем в Нескучный / И не будем думать о том, / Кто нас ждет за углом, /Даже если он / Нас действительно ждет». Свои воспоминания Озеров назвал «Портретами без рам». «Мне всю жизнь везло на примечательных людей. Я дружил больше со старшим поколением. Когда оно ушло, я остался в одиночестве…» «Отсюда и возникли воспоминания, утешение в форме «форме портретов». «Поздняя оглядка», как говорил Озеров.

И еще одна грань творчества: афористика. Крылатые строки. «Всю жизнь я собираюсь жить…», «Поэзия – горячий цех», «Из рук твоих мне мягок черствый хлеб». А о Ленинграде (ныне Петербург): «Великий город с областной судьбой». И, наконец, афоризм, зацитированный до дыр: «Талантам надо помогать, / Бездарности пробьются сами».

Если посмотреть на жизнь самого Озерова, то она, можно сказать, сложилась весьма успешно. Не посадили. Не рассыпали наборы книг. Критиковали, но не топтали ногами и не били наотмашь. Стихи и книжки печатались. Часто выступал. То есть вполне реализовался? На склоне лет Озеров признавался корреспонденту «Огонька»:

«Я писал, не оглядываясь на сделанное, поэтому сейчас в ужасе – оглянулся. И понял, что осуществился на семь с половиной процентов. Это слова Виктора Шкловского. У него были такие припадки – сентиментальные, может быть, воспоминательные. Однажды он говорит мне: «Я осуществился на семь с половиной процентов, я был задуман как гений». Я отвечаю: «Да, да, конечно, ведь это стены написанных книг, это даже не полки», а он опять: «Это вы считаете по тому, что я выпустил, а я считаю по замыслам, их было гораздо больше. Поэтому семь с половиной процентов, прошу запомнить». Я сказал: «Я запомню, но мне жалко этого полпроцента», и теперь я опрокидываю это на себя…»

И Шкловский, и Озеров сделали чрезвычайно много интересного и полезного на ниве литературы. Озеров говорил: «Деятельная жизнь – трудная, а праздная, для того, кто к ней привык, легка. В человеке есть витальная сила, я бы сказал, не столько стремление к существованию, к выживанию, сколько дух жизни. Вот его надо поддерживать. Я понимаю, что не смогу избыть свою энергию целиком, но хочу в какой-то степени. Люблю книги, которые сами себя пишут…»

И еще одно признание: «Я работаю параллельно над несколькими книгами: всю жизнь! Есть люди, которые не могут продвинуться к следующей строке, не усовершенствуя первую. У меня по-другому. Чем бы я ни занимался, если приходит стих, стихотворная строка, то она ведет себя, как санитарная или пожарная машина: идет на красный цвет, и я все сразу откладываю…»

«Человеку важно жить, а не собираться жить. Иные люди, к сожалению, слишком долго готовятся…»

Это называется жизнь взахлеб. Незаметно подлетела и старость. «Так это и есть старость? / Да это же просто усталость, / Которую можно избыть, / Словно воды испить». В 1986 году поэт потерял жену. «Несколько лет был один, мне бывало грустно, но не бывало скучно, – признавался Лев Адольфович. – А потом женился на Наталье Николаевне» (у Пушкина тоже была Наталья Николаевна). А далее по стихотворной озеровской строчке: «Двое – совсем неплохой коллектив, когда это двое влюбленных». Можно припомнить и другие строки:

О тебе я хочу думать – думаю о тебе.
О тебе не хочу думать – думаю о тебе.
О других я хочу думать – думаю о тебе.
Ни о ком не хочу думать – думаю о тебе.

Старая история: поэту всегда нужна влюбленность. Женское начало – вдохновляющая сила. Плохо лишь было, если говорить метафорически, за воротами любви. Распад Советского Союза. Вползание в дикий капитализм. Переоценка ценностей. Рыночная экономика ворвалась в книгоиздание, и, по словам Озерова, «толпа сочинителей ринулась на рынок, подменяя боевой дух наглостью». И то, что на первый план стали выходить люди, не умеющие писать, а задвинули старых, признанных мастеров, – это очень огорчало и удручало Озерова. «Если пауза затягивается, пропадет музыка…» И, конечно, стал ощутимее давить возраст:

В глубокой ночи и при свете дня
Приходит мысль, ощутима от дрожи:
Все меньше тех, кто старше меня,
Все больше тех, кто меня моложе…

И осознание «утраченного времени» – это уже Марсель Пруст. И стихах Озерова замелькали «плаха и гибкое дыхание пустоты». 18 марта 1996 года Лев Озеров умер на 82-м году жизни. В некрологах писали: «Мастер. Писатель Книги, читатель Книги, любитель Книги, знаток Книги, ценитель Книги…»

Главное, в сегодняшнее бурное время тотального невежества, дремучего незнания, цветения гламура и обжигающего всех кризиса, – не забыть ушедших рыцарей, таких, как Лев Озеров. И его простенький, но мудрый совет: «Единственный способ жить – продолжать делать свое дело». Впрочем, об этом говорил еще Вольтер: «Надо возделывать свой сад». Только вот садовников мало. И сады не цветут.

Маленькая пичуга советской поэзии. Маргарита Алигер (1915–1992)

Сегодня, в гламурное время, мало кто помнит, что была такая советская поэтесса. Пародист Александр Раскин в 50-х годах иронизировал на ее счет: «Кто я? Что я? Зачем я? Где я? Почему у меня цветы…» Увы, Алигер довелось жить не во времена цветения цветов, а во времена разливки стали и большого террора в СССР. Не до цветочков…

Рита Алигер (Маргарита Иосифовна) – еврейская девочка из Одессы, из города, где каждая вторая – непременно поэтесса. Она родилась 24 сентября (7 октября) 1915 года. Считала своего отца типичным неудачником: «так и не получил высшего образования и профессию». А еще вспоминала Алигер: «С раннего детства меня тяготило то, что я – единственная. Мне было скучно без братьев и сестер». «Первая кукла сшита из тряпок, лицо было нарисовано химическим карандашом, и одета она была в форму сестры милосердия…»

Юные годы Алигер выпали на Гражданскую войну, разруху и энтузиазм строительства первого в мире государства рабочих и крестьян. Многим романтикам той поры, в том числе и Маргарите Алигер, хотелось строить, петь, маршировать. И непременно в колоннах, чтобы чувствовать локоть и поддержку друг друга. Впереди маячила «коммуна – это место, где исчезнут чиновники, – так считал Маяковский, – и где будет много стихов и песен».

За стихами и песнями и отправилась Алигер из Одессы в Москву. В столице, по признанию Маргариты, «приходилось весело, бывало и холодно, и голодно, и неустроенно». Но главное

– по молодости лет: весело. С начала 1933 года Алигер входила в литературную группу при журнале «Огонек», которую возглавлял тоже выходец из Одессы Ефим Зозуля. В том же 1933 году были опубликованы в печати первые стихи Алигер. Затем учеба в Литературном институте. О чем писала молодая поэтесса? Конечно, о любви.

Я хочу быть твоею милой,
Я хочу быть твоею силой,
Свежим ветром, насущным хлебом,
над тобой летящим небом…

Ну, и далее: «вспыхну теплым цветком огня…», «облаком над садом», «лютиком у плетня, чтобы ты пожалел меня». Типичная женская лирика: «…понимаешь, мой человек? / Где б ты ни был, меня ты встретишь, / все равно ты меня заметишь / и полюбишь меня навек».

Вот так: навек – и все. Но это поэзия. А жизнь – это совсем иное. «Быт ломал меня с жестокой необходимостью», – вспоминала Алигер. Первый муж – Макаров, аспирант московской консерватории. Рождение сына, – и «это дикое горе», – он умирает в младенчестве. Первое жестокое испытание характера и воли.

Первые сборники стихов – «Год рождения» (1938), «Железная дорога» (12939), «Камни и травы» (1940). Стихи перемежаются от личного (любовь, страдание) до общественного (энтузиазм первых пятилеток). Но воздух был пропитан отнюдь не лирикой, и этот мотив тревоги звучал и в стихах Алигер. В поэме «Зима этого года» (1938) рассказано о горе женщины, потерявшей сына: «Он указательным перстом / Неукротимо потрясал, / Меня обличая в том, / Что, дескать, кто-то написал, / Что, дескать, где-то, как-то раз, / Я обменялась парой фраз / с кем не положено…»

Так всего лишь намек на то, что происходило вокруг и что «положено» и что «не положено». На большее мужества не хватило.

Во время войны Алигер потеряла мужа, убитого на фронте. В том же 1941 году ее судьба пересеклась с Ильей Эренбургом. В воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» Эренбург написал: «Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи – пламя свечи, голубая и розовая Калуга… Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу».

«Маленькая птичка» нашла большую тему, когда написала поэму «Зоя» (1942) об образе героини-партизанки. И высокая награда: Сталинская премия 2-й степени. «Зоя» позволила Алигер

войти в первую обойму советских поэтов (патриотический трамплин). И ее неизменно выбирали в состав правления Союза писателей СССР. Хотя, конечно, случались и сбои в успешной карьере. Так, Алигер была одним из организаторов либерального сборника «Литературная Москва». Она даже взяла для сборника стихи опальной Анны Ахматовой. Но, воспользовавшись тем, что Алигер укатила в командировку, многие стихи из сборника «вынули», в том числе и Ахматову, на том основании, что «она – не москвичка». Но тем не менее в «Литературной Москве» проскочили несколько «вредных» произведений, в том числе знаменитый рассказ Александра Яшина «Рычаги». В 1957 году грянул партийный гром: Никита Хрущев в пух и прах разнес писателей, не придерживающихся «правильной линии партии». Маргарита Иосифовна удостоилась личного выпада вождя: «Особо следует сказать о тов. Алигер, которая до сих пор придерживается того взгляда, что линия альманаха «Литературная Москва» была якобы правильной, она берет под защиту опубликованные в альманахе произведения, в которых протаскиваются чуждые нам идеи».

В 1937-м за «чуждые идеи» просто бы поставили к стенке, а тут всего лишь громовые раскаты вождя, более того, Алигер пыталась оправдать свою позицию, и это был, по выражению Эренбурга, «голос маленькой пичуги среди урагана». И тем не менее пришлось Алигер публично каяться в своих «заблуждениях» на страницах «Литературной газеты» (8 окт. 1957). И в дальнейшем уже не фрондерствовать, а считать, что все у нас происходит «правильно» и партия никак ошибаться не может, давая мудрые указания советской литературе.

Лидия Чуковская, обсуждая поведение Алигер у Анны Ахматовой, заметила: «Нет, она явно не Данте, она «другой»: настоящий Альгьери не любил каяться. А она все кается и кается в своих мнимых грехах, хоть это ей не помогает».

Современный поэт Сергей Мнацаканян дал такую нелестную оценку: «Сухая, как Баба-яга, напряженная и цепкая Маргарита Алигер в очках с мощными стеклами, одна из охранительниц режима…» Лично я не думаю, что Маргарита Иосифовна поддерживала режим из сугубо идейных соображений. Просто она вела себя прагматично, памятуя о десятках убитых и умученных советских поэтов и писателей. «Ах, как много мы хотели! / Ах, как мало мы смогли!» И примечательная фраза Луи Арагона, которого переводила Алигер: «Очень страшно и медленно в нас умирают утопии». К концу жизни Арагон прозрел и понял, что коммунистическая утопия всегда сопровождается кровью и насилием. Поняла ли это Алигер? В 1988 году, когда многое было

уже ясно, Алигер написала стихотворение о мужиках, которые шли в приемную к всесоюзному старосте Михаилу Калинину:

Слова звучат невнятно, сипло, глухо.
Молчать невмочь и говорить невмочь.
Но их Калинин слушает вполуха.
Все знает сам. Не в силах им помочь…

Опять только намек прозрения, и страшно открыть кованый сундук, где спрятана страшная правда. Не вскрывая правды, не касаясь ее, жить все же легче, – это понятно любому. И Алигер издает сборники «Первые приметы», «Ленинские горы» и прочие. А еще разъезжает по миру (такая привилегия была лишь у избранных советских поэтов) и выпускает описательные книги: «Японские заметки», «Из французской тетради», «Печальная Испания» и т. д. Трафаретные мотивы: «борьба за мир», «пороки Запада», «преимущества социализма».

Все зарделось, задрожало…
Рассвело у нас…
А в Америке, пожалуй,
сумерки сейчас…

И сумерки, разумеется, не связанные с часовыми поясами, а сугубо, конечно, идеологические: что ждать от этой загнивающей Америки, вот у нас – «ранняя заря, утреннее государство». У нас – свет, у них – мрак. Подобное противопоставление стоит явно государственной премии. Но опять же сквозь свет и оптимизм неожиданно нагрянет туча, и возникают строки, связанные с трагическим ощущением себя одним из «обманутых солдат разбитого полка» (стихотворение «Лось»).

В 1959 году Алигер написала иносказательное, но рикошетом бьющее в современность стихотворение. Вот его начало:

Милые трагедии Шекспира!
Хроники английских королей!
Звон доспехов, ликованье пира,
Мрак и солнце и разгул страстей.
Спорят благородство и коварство.
Вероломство, мудрость и расчет.
И злодей захватывает царство,
И герой в сражение идет…

Ну, и так далее. И концовка – повтор шекспировских слов:

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам.

Вот это «многое на свете» обычно писатели включают в дневники (некоторые ведут их тайно) или в огнедышащие мемуары, как это сделал Вениамин Каверин в своем «Эпилоге». Маргарита Алигер в 1980 году издала свои воспоминания «Тропинка во ржи». Примечательно: воспоминания не о себе, не о поворотах своей судьбы, а о своих современниках, с кем сводила ее судьба: Твардовский, Чуковский, Эренбург… О себе лишь в стихах:

Старый дом, что же нам остается с тобой?
Навсегда отгремел наш проигранный бой.
Никому мы с тобою уже не нужны.
Отчего же рассветы так дивно нежны?
Ничего мы не тратим, лишь платим долги.
Отчего же закаты так дивно долги?
……
Если все, чем мы жили, всего только сон,
Отчего же так жаль, что кончается он?

Об Алигер надо искать у других писателей. В дневнике Евгения Шварца можно прочитать: «Внушает уважение спокойная манера держаться, тихий голос и неожиданный юмор… изуродована одиночеством, свирепыми погромами в Союзе писателей. Одна из тех немногих женщин, что являются главой семьи. Безмолвно несет она все заботы и тяготы…»

Двое мужей, две дочери – и четыре трагедии. Первый муж Макаров был убит в первый год войны. Второй муж – и какой, – Александр Фадеев, державший в своих руках судьбы советских писателей и отправивший многих на тот свет. Любимец Сталина пережил своего хозяина на 3 года и, мучимый совестью, пустил себе пулю в сердце.

Запись из дневника Корнея Чуковского от 13 мая 1956 года: «Мне сказали об этом в Доме Творчества – и я сейчас подумал об одной из вдов, Маргарите Алигер, наиболее любившей его, поехал к ней, не застал, сказали: она – у Лебединских, я – туда, там – смятение и ужас: Либединский лежит в предынфарктном состоянии, на антресолях рыдает первая жена Фадеева – Валерия Герасимова, в боковушке сидит вся окаменелая – Алигер…»

3 августа 1956-го: «В понед. Была у меня Алигер, читала письма к ней А. А. Фадеева, спрашивала совет, публиковать ли их. Оба письма – пронзили меня жалостью: в них виден запутавшийся человек, обреченный гибели, заглушающий совесть…»

Еще через пару месяцев – в дневнике Корнея Чуковского по поводу Алигер: «понемногу выползает из-под бессонниц и слез».

Жизнь продолжается. Но многие плюсы уже минусы. Так, высокочтимая поэма «Зоя» объявлена посредственностью. Вскоре от рака крови умирает старшая дочь Татьяна от композитора Макарова. Дочь от Фадеева Маша неожиданно для всех вышла замуж за немецкого поэта Эксценсбергера и уехала с ним сначала во вражескую Германию, а затем в чуждый Лондон. И там в 1991 году Маша покончила с собой, как и отец (гены суицида?) А тут еще развал Советского Союза, неразбериха, сумятица, – Алигер вся в смятении и раздрызге. И страшный конец. 1 августа 1992 года Маргарита Иосифовна упала в глубокую канаву недалеко от своей дачи. Спасти ее не удалось… Она прожила 77 лет. Возможно, в ее памяти вспыхнули собственные строчки:

Шагай вперед, конца не видно,
Он грянет вдруг из-за угла…

И грянул.

Вспоминаются строки из стихотворения «Барселона»:

Я ворчу?!
Прости меня, прости,
Мир, в котором мне живется трудно.
Нет, я не ропщу и не тужу,
Не казню себя, не бью поклоны.
Не спеша по Рамблас прохожу,
Улыбаясь птицам Барселоны.
А они, как смолоду, поют,
Им плевать на то, что путь мой прожит,
Что в душе разор и неуют
И помочь никто уже не может…

Конечно, по высокому поэтическому счету Маргарита Алигер не ровня ни Ахматовой, ни Цветаевой. И глубин мало, и прорывов, метафоры бедненькие и очень много прозаической иллюстративности, – все так. И все же поэтесса. Настоящая. Просто ей не повезло со временем и обстоятельствами, в которых она оказалась. В принципе она жаждала света и, возможно, была

рождена для него, но ей досталась своя порция тьмы.

И, однако, тем не менее
Человеком быть мне нравится.
Интересная профессия,
Что кому ни напророчится.
Жить всегда светло и весело,
Даже если плакать хочется.

Считайте эти строки Маргариты Алигер некой прививкой от жизненных драм и неурядиц.

Профессор песни. Евгений Долматовский (1915–1994)

Скажу сразу: не мой поэт. В мою избранную поэтическую антологию он не входит, но, как сказал Маяковский: «Поэзия – пресволочнейшая штуковина: существует – и ни в зуб ее ногой». А раз есть поэзия, то, значит, существуют и поэты, а среди них тот, о ком мы говорим сегодня.

Итак, Евгений Долматовский. С его именем произошел забавный случай. Как-то Евгений Рейн пригласил меня выступить на его поэтическом семинаре в Литературном институте. Пришел. Говорю. Пытливые молодые поэты и поэтессы спрашивают: а скажите, каких поэтов вы предпочитали в свои молодые годы? Я ответил: «Читал и люблю до сих пор поэтов Серебряного века: Ахматову, Мандельштама, Ходасевича, Георгия Иванова, Пастернака… А вот таких, как Долматовский-Матусовский, не читал…» И тут толкает меня ногой Рейн и говорит: «Юрий Николаевич, посмотри на портрет, который висит справа от тебя на стене. Кто это?» Смотрю и не узнаю. Рейн: «Это Евгений Аронович Долматовский. Знаменитый советский поэт и профессор Литературного института». Мне оставалось только развести руками…

Действительно, я читал, конечно, стихи Долматовского, но ничего из них не запомнил. А вот песни, написанные на слова Долматовского, многие пел. И про Лизавету, и про любимый город, который может спать спокойно, и другие популярные и, можно даже сказать – народные песни.

Долматовский – сын своего времени. Он принял сталинское время, жил по его законам, был певцом и одновременно жертвой

и пленником той эпохи. Когда шаг влево или вправо – расстрел. Шагать должно только прямо, по указанной дороге и, главное, в общем строю советских писателей и поэтов. Долматовский и шагал, и он отнюдь не Булгаков, не Платонов, не Мандельштам (хотя обожал его строки: «Петербург! Я еще не хочу умирать: у телефонов моих адреса»), не Пастернак (масштаб дарования не тот)… На мой взгляд, Долматовский – крепкий поэт в когорте верных и ровных. В конечном счете не хотел гореть на костре, как Джордано Бруно, и не помышлял высказывать что-то неодобрительное по отношению к власти, а только горячо одобрял все эти действия, чтобы жилось «спокойно, как за кремлевской стеной» (строчки из его стихотворения).

В Литературной энциклопедии (1964) отмечено: «В центре стихов Долматовского – образ современника, рабочего наших дней, воина-пограничника, солдата и офицера Советской Армии, человека новой морали, коммунистического отношения к труду».

А вот в «Лексиконе русской литературы XX века» немецкого слависта Вольфганга Казака дана иная оценка: «Долматовский – один из тех поэтов, чьи стихи публиковались в сталинское время и который после 1956 года пытался защитить свою позицию. Стихи Долматовского публицистичны, всегда актуальны: война в Испании, Финская война, космополитизм, колониализм, венгерское восстание, война во Вьетнаме. В стихах Долматовского нашил также отражение его поездки по ГДР, Африке и Индии. Многие стихи положены на музыку. Долматовский – опытный версификатор; его стих льется в гладком ритме, он выбирает простую, чаще всего грамматическую рифму: «О партии немало громких слов и мною сказано, и не одним поэтом», – службе партии и посвятил Долматовский свое поэтическое дарование…»

Еще раз скажем: он был сыном своего времени. Не бунтарем, не оппозиционером, не внутренним эмигрантом, как некоторые его коллеги, а верным и честным сыном. И в партию вступил осознанно, понимая, что без нее не прожить. Никак.

Ну, а теперь немного биографии. Евгений Аронович Долматовский родился 22 апреля (5 мая) 1915 года в Москве, в интеллигентной еврейской семье. Папу, блестящего юриста, сунули в кровавую мясорубку 30-х годов, а сына не тронули (молодой талант – пригодится, ну, и подтверждение тезиса: сын за отца не отвечает)… После окончания семилетки Долматовский-сын поступил в педагогический техникум на отделение «детского коммунистического движения», где ему, как и другим, основательно промыли мозги. Далее сотрудничество в пионерских газетах и журналах («Пионерская правда», «Дружные ребята», «Пионер» – всем ребятам пример). Юного Долматовского

охотно печатают, он подает надежды. Он даже сумел почитать стихи самому дяде Маяковскому. Владимир Владимирович послушал юное дарование и отругал его. Борис Пастернак пытался защитить, что, дескать, еще зелен, мальчик. На что Маяковский громыхнул своим басом: «Если он мальчик, давайте побеседуем о трехколесном велосипеде, а если он уж взялся писать стихи, то пусть отвечает за каждое слово».

В 17 лет Долматовский по призыву московского комсомола добровольно пошел работать среди других энтузиастов-комсомольцев на строительство метрополитена (в шахте «Охотный ряд» проходчиком и откатчиком). Параллельно в 1933 году начинает учиться в Литературном институте, сначала на заочном, а потом на дневном отделении.

В 1934 году, собрав 12 стихотворений, Долматовский издает свой первый сборник «Лирика». Сборник крохотный, но в нем тонны оптимизма и задора комсомольского поэта. В том же году проходил первый съезд советских писателей, и, выступая на нем, Вера Инбер среди молодых поэтов, проводящих линию радости в поэзии, назвала Долматовского, который о таком прозаическом предмете, как картошка, написал: «Оно, конечно, любовь не картошка, но надо картошку сделать любовью». А как написал про пограничников: «Они насквозь пройдут хребты / Высоких, трудных гор, / Они раздавят все мечты / Шпионов и врагов».

И не надо удивляться, что первая поэма Долматовского была посвящена Феликсу Дзержинскому (все логично: враги, Дзержинский). Молодого поэта отправляют в творческую командировку, «В края, где дела много, / На близкий и любимый, / На Дальний Восток». И заключительные строки из сочиненной там «Песни хетагуровок»: «И если надо, жизни /Мы отдадим отчизне / За близкий и любимый, / За Дальний Восток». За патриотизм и государственность Долматовского награждают «Знаком Почета». В последующие годы он участвует как военный корреспондент в «освободительном походе» Красной Армии в Западную Белоруссию и в войне с Финляндией. Там, на финской, он написал: «Мы все побывали так близко от смерти, / Что, кажется, вовсе теперь не умрем».

Бог миловал Долматовского и в Великую отечественную, правда, был ранен, контужен, попал в плен, бежал из него в августе 1941 года. В одном из интервью рассказывал: «Мы в Берлине. Я наконец добрался до рейхстага. Рядом стояли обозные кони и верблюд, который путешествовал с нами с 42-го, со Сталинграда. Стены и колонны рейхстага были уже все в автографах. У меня была палка с острым концом – разболелась раненная еще в Сталинграде нога, – и вот я выцарапал этой

палкой высоко на колонне и свою фамилию».

В зале заседаний рейхстага Долматовский под трибуной нашел отколовшуюся бронзовую голову Гитлера. «Поднял ее и пошел на улицу, у Бранденбургских ворот выбросил ее, и она со звоном покатилась по брусчатке под смех наших солдат».

Войну Долматовский закончил в чине полковника и с многочисленными боевыми наградами, но, пожалуй, главными наградами для него стали тексты песен, которые распевали на фронте и в тылу: и знаменитая «Ночь коротка…», и «С боем взяли мы Орел, город весь прошли…» А затем Брянск, Киев, Львов. И, наконец: «Берлинская улица по городу идет, – / Значит, нам туда дорога, / Значит, нам туда дорога, / Берлинская улица к победе нас ведет!» И апофеоз: в качестве военного корреспондента поэт присутствовал на подписании акта о капитуляции фашистской Германии.

Ну, а после войны Долматовский преподавал в Литературном институте им. Горького, вел творческий семинар поэзии. Среди его учеников много звучных имен: Евгений Винокуров, Владимир Соколов, Андрей Дементьев, Тамара Жирмунская, Надежда Кондакова и другие. Преподавал. Выпускал книги, в том числе роман в стихах «Добровольцы» о первых строителях метро, по роману этому был поставлен кинофильм. Опубликовал на злободневные темы: «Руки Гевары», «Чили в сердце», писал тексты для песен (но об этом чуть позже). Руководил и заседал в разных комиссиях и редколлегиях. Был увенчан орденом Ленина и двумя орденами Отечественной войны. Счастливая безоблачная судьба? Не совсем. Да и как могло быть иначе?

В интервью за год до смерти Долматовский на вопрос о том, как он относится к планете № 3661, названной в его честь, ответил: «Знаете, советские люди ко всему привыкли: могут и звезду твоим именем назвать, могут и по башке стукнуть, как не раз бывало… Не хочу представляться несчастным, но дерьма хлебал бочками. Но в итоге прожитые годы оцениваю не со знаком плюс или минус, а со знаком «жизнь». Ведь говорить о том, что было бы, если бы было по-другому – бессмысленно…»

Да, было много хвалы, но и хулы достаточно. За оптимистическое восприятие жизни Долматовского называли «телячьим оптимистом». Но если что-то писал не так, чуть пессимистично, то он тут же оказывался в ряду злостных «очернителей». Про книгу стихов «День» (1935) и про лирического героя Долматовского ретивый критик писал так: «Хорошее чувство жадной, нетерпеливой любознательности, к сожалению, часто переходит у него в дурное верхоглядство… Мелкая мерка объясняется не тем, что герой мелко чувствует. Он

благодушен и успокоен. У него нет настоящей ненависти, потому нет настоящей любви. Его любовь к нашей стране пока еще дается ему легко, она мало опробована и закалена в горниле трудностей…» И о грусти героя Долматовского: «Как можно грустить, когда живешь в замечательной веселой стране?» (журнал «Октябрь», 8–1936).

И приходилось поэту соответствовать стране, где так вольно и радостно живется человеку. «И белый голубь в синеве летит / Над улицей мира утром рано. / И, словно семафоры, – путь открыт! – / Повсюду башенные краны» (из стихотворения Долматовского 1951 года). Угождал власти, радовал читателей, а у самого Евгения Ароновича наверняка на душе скребли кошки. Только в период горбачевской гласности Долматовский позволил себе немного раскрыться. Вот, к примеру, стихотворение «Из личного дела»:

На мне клеймо иль времени печать,
Мучительные для стихов и прозы.
Но все-таки могу и отвечать
На новые и старые вопросы.
Читатель юный спросит – почему
Тебя родная пуля не задела
И не упек тебя на Колыму
Начальничек особого отдела?
Да, я прошел из плена страшный путь,
В тридцать седьмом случайно недобитый.
Подчеркнут в личном деле пятый пункт,
Молчи, не нарывайся на обиды.
А чтоб не оказаться без вины
В гнилых местах, не слишком отдаленных,
Почти четыре года той войны
Я в штурмовых скрывался батальонах.
……
От лжи, наветов и клеветников,
От выстрела в затылок и надбровье
Спасением поэта был окоп,
Забрызганный второю группой крови.

Последние стихи Долматовского горькие. В ответ на критику за то, что активно подпевал власти. Евгений Аронович отвечал: «Перевоспитывать и переучивать / Нас, грешников, вы принялись серьезно, / Но что вам делать с жертвами и мучениками, / Которым переучиваться поздно?..» Долматовский пережил распад Советского Союза и дожил до первых лет новой России. И познал

на собственной шкуре все прелести дикого капитализма: «Перед тем, как навсегда сойти со сцены, / Я хочу постичь рассудком тайну ту, / Как взвинтились обезумевшие цены, / Опрокинув всю Россию в нищету…»

И за что боролись?!.

В 1993 году старого профессора Литинститута, когда он выходил из дома, сбила машина. Время такое наступило – игры и езды без всяких правил. Этот случай сократил жизнь Евгения Ароновича. 10 сентября 1994 года Долматовский умер на 79-м году жизни. В одном из последних стихотворений он сетовал на судьбу-злодейку, что лишила многого, и тем не менее: «Понимаешь, мы с тобой неслыханно богаты: / Две копейки есть в запасе у меня».

Орден Ленина и две копейки – вот и вся жизнь…

Вспоминая своего товарища по лирическому цеху, Лев Ошанин отмечал, что у Долматовского удивительно сочеталась серьезность поэта и воина с детской непосредственностью… Он хотел все успеть. Он писал, захлебываясь. «Помню, как мы втроем, с ним и Михаилом Лукониным, были вместе на строительстве Волгодонского канала. Вот разница темпераментов – Луконин об этой поездке не написал ничего. Я несколько месяцев не отходил от письменного стола, а когда закончил цикл, получил журнал, где уже было напечатано 15 страниц стихов Долматовского, успевшего написать буквально обо всем, что мы видели…»

Да, Долматовский спешил (некий скороход поэзии, впрочем, такой же скоростной летописец Евгений Евтушенко), слагал гимны каким-то пустякам, увлекался излишними деталями, лиризмом («Почему испортилась погода?/ Ты, наверно, бровью повела»). Но это все не главное в творческом наследии Долматовского. Главное – его песни. Он был истинным профессором песни. И его песенные стихи запали в народную память. Начну с себя. Когда у меня хорошее настроение, я всегда напеваю песню из фильма «Сердца четырех»: «Все стало вокруг голубым и зеленым, / В ручьях забурлила, запела вода. / Вся жизнь потекла по весенним законам – / Теперь от любви не уйти никогда…» Простенько, конечно, но как удивительно мило!..

Песни Долматовского поют не только потому, что они хороши сами по себе (да еще положенные на замечательную музыку, да и исполнители всегда были отменные), но и потому, что в них соблюдена традиционная песенная коллизия – провожание, прощание. К примеру, популярная песня «Провожают гармониста» (1948):

На деревне расставание поют —
Провожают гармониста в институт.
Хороводом ходят девушки вокруг:
«До свидания, до свидания, милый друг».

А отъезжающий юноша утешает девушек: не горюйте, верьте:

Подождите, я закончу институт.
Инженерам – много дела есть и тут.

И таких песен-прощаний у Долматовского много, и все они наполнены щемящей нотой грусти: «Только вещи соберу я, только выйду на порог…», «Я уходил тогда в поход в далекие края…» Или вот эта:

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят…
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…

Но в этой же глубоко лирической песне есть и такие строки о том, что» любимый город может спать спокойно, / И видеть сны, и зеленеть среди весны…» Увы, сегодня никакой город не может спать спокойно из-за угрозы террора, но в этом нет никакой вины Долматовского. Он жаждал тишины и покоя. А жизнь все перевернула вверх дном.

Многие песни Долматовского написаны были во время войны, для поднятия духа бойцов. И пели не только симоновское «Жди меня, и я вернусь…», но строки Долматовского: «В кармане маленьком моем / Есть карточка твоя. / Так, значит, мы всегда вдвоем, / Моя любимая».

Нельзя не отметить исполненный чистоты, печали и трепетности «Случайный вальс» (1943), на музыку Марка Фрадкина: «Ночь так легка, / Спят облака / И лежит у меня на ладони / Незнакомая ваша рука. / После тревог / Спит городок, / Я услышал мелодию вальса / И сюда заглянул на часок…» И концовка:

В этом зале пустом
Мы как будто вдвоем.
Так скажите хоть слово,
Сам не знаю о чем.

У меня до сих пор в ушах звучит проникновенно хрипловатый голос Леонида Утесова: «Сам не знаю о чем».

Песни Долматовского можно перечислять и перечислять: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч…», «Сормовская лирическая», «На Волге широкой, на стрелке далекой…», «За фабричной заставой», «Мы жили по соседству», «Школьные годы», «Родина слышит», «Если бы парни всей Земли», «Венок Дуная», «Я – Земля»: «Я – Земля! Я своих провожаю питомцев – / Сыновей, дочерей. / Долетайте до самого солнца / И домой возвращайтесь скорей!» Песни, полные исторического оптимизма и твердой веры, что «и на Марсе будут яблоки цвести». Хочется верить и нам, но действительность оказалась более суровой и тревожной, чем предполагал Долматовский. Как в одной его ранней песне: «Ты ждешь, Лизавета, / От друга привета. / Ты не спишь до рассвета, / Все грустишь обо мне. / Одержим победу / К тебе я приеду / На горячем боевом коне…» И, в общем: «Моя дорогая / Я жду и мечтаю…»

Мечтать, конечно, нужно. Но при этом трезво оценивать все шансы и нюансы. Я – скептик и пессимист, и, наверное, поэтому Долматовский не мой поэт. Но это уже частность. Евгений Долматовский вошел в историю отечественной литературы. Его песни поют по сей день. И это самое главное.

Убитые на войне. Павел Коган. Михаил Кульчицкий. Николай Майоров. Всеволод Багрицкий

Великая Отечественная война. Победа в ней стоила миллионы жертв. Среди убитых солдат и офицеров было немало поэтов – молодых, талантливых, подававших большие надежды. Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Всеволод Багрицкий.

Четверо названных были из разных семей: Майоров из крестьянской, Кульчицкий – из офицерской, Багрицкий – из писательской… Но всех их объединяло романтическое восприятие мира, любовь к родине и неприятие сытого мещанского бездуховного житья. Как только началась война, все четверо оказались на фронте. Они жаждали защитить родину, победить врага и вернуться к мирной жизни и творчеству. Как писал Семен Гудзенко, еще один знаменитый поэт-воин, скончавшийся впоследствии от ранения:

> У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя —
> Только сила и юность. А когда возвратимся с войны,
> Все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
> Что отцами-солдатами будут гордиться сыны…

Не все вернулись. И не долюбили и не написали «такое», что могли бы написать. Процитирую строки из баллады «Сын артиллериста» Константина Симонова: «Летела земля и скалы,/ Столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда/ Никто не уйдет живым…» Многие и не ушли.

Воспоминание начнем с **Павла Когана**. Он родился 4 июля 1918 года в Киеве. Учился в знаменитом МИФЛИ и в Литературном институте. В 1935 году написал ставшие

крылатыми строки-вызов: «Я с детства не любил овал,/ Я с детства угол рисовал». Это был поэт, оригинально мыслящий. Он погиб на войне, а если бы выжил, то, вполне вероятно, мог погибнуть в подвалах Лубянки: уж очень был ярок и прыток, таких сталинский режим откровенно не любил и побаивался. При жизни Павел Коган не напечатал ни одного стихотворения, но многие из них были тем не менее известны, ну, а «Бригантину» знали очень многие:

Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса…

«Бригантина» была навеяна «Алыми парусами» Александра Грина. И Грин, и Коган не очень-то вписывались в официальную советскую литературу. Но это отнюдь не значит, что Павел Коган был каким-то антисоветчиком. Нет, он был советским и верил в провозглашенные высокие идеалы добра и справедливости. По воспоминаниям Сергея Наровчатова, Коган «был одним из молодых энтузиастов искусства, поставивших целью духовную подготовку народа к борьбе с нашими заклятыми врагами», то есть с фашизмом. И как только грянула война, Павел Коган ушел добровольцем на фронт.

Из письма к матери: «Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь – жизнь» (май 1942). И в последнем письме: «Я верю твердо, что будет все. И родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги…»

29 сентября 1942 года лейтенант Павел Коган погиб на сопке Сахарной под Новороссийском. Он возглавлял поиск разведчиков и в полный рост пошел под пули. Он прожил 24 с небольшим года. Незадолго до гибели Коган писал:

Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы и уж не встать…

И что в итоге сказать о поэте, мечтателе и воине Павле Когане? Только смотреть, как бригантина подымает паруса, говорить и спорить, читать стихи поэта и печалиться, кого мы потеряли…

Михаил Кульчицкий родился 19 августа 1919 года в

Харькове. Учился в тамошнем университете, а потом в Москве в Литературном институте. «Нас, студентов Литературного института, – вспоминал Михаил Львов, – в те времена печатали крайне редко. Халтурить мы не хотели. Денег не было. Особых поводов для радости, если не считать молодости, у нас не было. И все-таки Миша утверждал, что он самый счастливый человек. «Я живу, – говорил он, – в самое счастливое время. Лучше быть бедным студентом двадцатого века, чем боярином пятнадцатого!..»

Себя Кульчицкий считал романтиком. Верил в коммунистические дали и родину представлял в своей поэме «Самое такое» почти блоковской в образе девушки-красавицы, «с длинными глазами речек в осень,/ под взбалмошной прической/ колосистого цвета». Испытывал большую неприязнь к мещанам, стяжателям, карьеристам. Высоко ставил идеалы мушкетеров Дюма: честь и верность!

С веселой шпагой Д'Артаньян
Пришел в Париж, чтоб овладеть Парижем…

Париж – это в книгах, а в жизни Михаилу Кульчицкому пришлось защищать Россию. Он погиб 19 января 1943 года в битве на Волге, в 23 года. Познал всю тяжесть и горечь войны, которая оказалась совсем не похожей на страницы романа Александра Дюма.

Война ж совсем не фейерверк,
а просто трудная работа,
когда, черна от пота, вверх
скользит по пахоте пехота…

Вначале Кульчицкий числился пропавшим без вести, и Наровчатов пророчествовал: «Я верю, невозможное случится, я чарку подниму еще за то, что объявился лейтенант Кульчицкий в поручиках у маршала Тито…»

Нет, не объявился, а погиб смертью храбрых, ну, а Тито, кстати, из боевого нашего союзника, по велению Сталина, позднее превратился в ревизиониста и врага. Но это уже другая история…

Еще один поэт-воин, жизнь которого оборвала война. **Николай Майоров**. Родился 20 мая 1919 года в деревне Дуровка в Симбирской губернии. С 10 лет жил в Иваново. Учился в Москве на историческом факультете МГУ и одновременно в

Литинституте. В одном из ранних стихотворений «Быль военная» выражал гордость за военные подвиги предков. О своем поколении написал стихотворение «Мы»: «Мы были высоки, русоволосы…» По натуре сам Майоров и его лирический герой были оптимистами и романтиками. Поколение Майорова страстно хотело созидания и борьбы: «Есть жажда творчества,/ Уменье созидать…» Ему были ненавистны те, кто впадал в духовное старение, безразличие, апатию, не верил в светлые идеалы. Он считал, что надо жить полной жизнью, нельзя отсиживаться в стороне. При жизни Майорова были напечатаны только несколько его стихотворений в многотиражке «Московский университет».

В 1941 году Николай Майоров ушел добровольцем на фронт и 8 февраля 1942 года погиб под Смоленском, в деревне Баранцево. Не дожил 3,5 месяцев до 23 лет.

Умирая, вспомню… и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

Еще одна молодая жертва войны – **Всеволод Багрицкий**, сын известного поэта Эдуарда Багрицкого. Он тоже был романтиком, но жизнь ему досталась отнюдь не романтическая. В 12 лет он лишился отца. Ему было 14 лет, когда репрессировали и сослали его мать, Лидию Густавовну. Рос один, вспоминая напутствие отца: «Вставай же, Всеволод, и всем володай». Но напутствие это обернулось горькой иронией: владеть было нечем. Его опекали друзья семьи, своим отцом, Всеволод, в частности, считал Юрия Олешу. Поддерживал его и поэт Семен Липкин.

Способный юноша, учился заочно в Литинституте, был участником театра-студии Арбузова. Писал пьесы, романтические стихи (гены отца). В канун своего 18-летия писал: «Унылое детство встает за плечами, печальная юность бредет впереди».

С первых дней войны, будучи по зрению «чистым белобилетником», Всеволод Багрицкий рвался на фронт. Он писал рапорт за рапортом, наконец, при поддержке Фадеева, получил направление на Волховский фронт, в газету «Отвага» 2-й ударной армии. В письме матери он писал: «По длинным лесистым дорогам я хожу со своей полевой сумкой и собираю материал для газеты. Очень трудна и опасна работа, но и очень интересна. Я пошел работать в армейскую печать добровольно и не жалею. Я увижу и увидел уже то, что никогда больше не придется пережить. Наша победа надолго освободит мир от самого страшного злодеяния – войны».

Даже на фронте Всеволод вел дневник, в котором записывал свои сокровенные мысли. За 9 дней до гибели 16 февраля 1942 года записал: «Сегодня восемь лет со дня смерти отца. Сегодня четыре года семь месяцев, как арестована моя мать. Сегодня четыре года и шесть месяцев вечной разлуки с братом. Вот моя краткая биография. Вот перечень моих «счастливых» дней. Теперь я брожу по холодным землянкам, мерзну в грузовиках, молчу, когда мне было трудно. Чужие люди окружают меня. Мечтаю найти себе друга и не могу… И я жду пули, которая сразит меня… Больше всего мне доставляет удовольствие солнце, начинающаяся весна и торжественность леса».

Да, у воевавших тогда были разные судьбы, разные чувства и много чего было разного. Но всех объединяло одно: добиться победы над врагом.

Всеволод Багрицкий пробыл на фронте ровно месяц и два дня. Был убит 26 февраля 1942 года в деревне Дубовик осколками разорвавшейся рядом бомбы. Осколок пробил позвоночник. В крови плавали полевая сумка, тетрадь со стихами, письмо матери… Поэты всегда пишут мистические стихи, так и Всеволод Багрицкий в октябре 1938-го написал:

Он упал в начале боя,
Показались облака…
Солнце темное лесное
Опускалось на врага.
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой…
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.

Во «Фронтовой правде» Волховского фронта был напечатан некролог. Коллеги по писательскому цеху скорбели о гибели 20-летнего поэта: «… Он был одним из тех юных патриотов, которых ведет в бой с врагами Родины лучезарная большевистская романтика и великая освободительная цель Отечественной войны».

Очень пафосные слова. На самом деле все было проще. Всеволод Багрицкий превозмог все обиды, которые нанесло ему государство, и отправился защищать родину от врага. Тем, что умел: не винтовкой, а пером… На Новодевичьем кладбище находится общая могила – Эдуарда и Всеволода Багрицких, отца и сына. Отец достиг поэтических высот. Сына убили на взлете…

Мне противно…

Дважды в день считать себя умершим.
Путать планы, числа и пути.
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

И невольно вспоминаются строки Булата Окуджавы, тоже фронтовика. «Ах, война, что ты сделала, подлая:/ стали тихими наши дворы…» Сколько погибло мальчиков, юношей, взрослых, стариков… А сколько поэтов! Вспомним и Иосифа Уткина.

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая,
Это значит… сырая земля.

В отличие от молодых, Иосиф Уткин ушел на фронт добровольцем уже состоявшимся известным поэтом. В 1941 году был ранен. Вернулся на фронт. Писал стихи: «Послушай меня: я оттуда приехал…» И погиб 13 ноября 1944 года в авиакатастрофе под Москвой. Ему был 41 год.

За спиной наган врага,
За спиною смерть… так что же!
Жизнь, конечно, дорога,
Но ведь честь еще дороже, —

писал Иосиф Уткин. И не только писал, он, как и все его поколение, так именно ощущал, так веровал. Родина, честь, долг – для них были не пустые слова, а священные. Это сегодня, спустя много лет со дня Победы, мы видим, что в стране творится что-то неблагополучное: нет чести, нет чувства долга. Есть воровство, коррупция, жадность, цинизм властей. И, как следствие, дикие случаи: убивают фронтовиков, воруют их ордена и медали, по улицам встречаются подростки с фашистскими приветствиями… И это что?! За это боролось и отдавало жизни то героическое поколение, которое защитило и спасло Россию от коричневой чумы?!.

Молодое поколение должно бережно относиться к ветеранам. Перенимать у них черты благородства и мужества. Это про них Уткин писал:

Не звали нас и не просили,

Мы сами встали и пошли,
Судьбу свою в судьбе России
Глазами сердца мы прочли.

И мне только остается задать вопрос молодым читателям: а вы вписали свою судьбу в судьбу России? Взглянули на страну «глазами сердца»? Если да, то Россия будет жить и дальше. Хочется на это надеяться, ведь не зря гибли поэты на войне…

«Я выбираю свободу!..» Александр Галич (1918–1977)

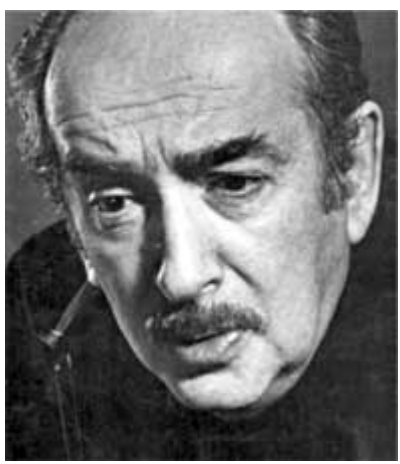
Он судит пошлость и надменность
И потешается над злом.
И видит мертвыми на дне нас,
И лечит на сердце надлом.

И замирает близь и далечь
В тоске несбывшихся времен,
И что для жизни значит Галич,
Мы лишь предчувствуем при нем…

Борис Чичибабин. Галичу. 1971

Ах, Россия, Расея —
Чем набат не веселье!

Александр Галич. Китеж. 1974



Ошибка автора

Бывают в жизни непостижимые ошибки и проколы: я очень любил песни Александра Галича, но ни разу не видел его «живьем». Я не был вхож в бардовско-поэтический цех и даже не пытался в него войти. Я просто любил магнитофонные песни Галича. Любил заочно, издалека. В то прошедшее время это было настоящей отдушиной, глотком свободы, катарсисом от застоя и одичалости.

По иронии судьбы вместо живого Галича я увидел могильный крест поэта, драматурга и барда на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, с надписью: «Блаженный изгнанник правды ради». Рядом могилы Ивана Бунина, Виктора Некрасова, Андрея Тарковского…

Призывают: спешите делать добро. Говорю и я: обязательно встречайтесь с теми, кого любите. Не опаздывайте!..

Эти записи о Галиче – как искупление личной невстречи.

Советский период

Александр Галич родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе. Вообще-то он родился 20 октября, но дядя Галича, известный литературовед-пушкинист Самуил Гинзбург, очень почитал день лицейского братства – 19 октября, и это стало днем празднования рождения маленького Александра, а уже потом этот день утвердился во всех справочниках и энциклопедиях.

Во втором томе «Литературной энциклопедии» (1964) о Галиче написано так: «рус. сов. драматург. Автор пьес «Улица мальчиков» (1946), «Вас вызывает Таймыр» (в соавт. с К. Исаевым, 1948), «Пути, которые мы выбираем» (1954); (др. назв. «Под счастливой звездой»), «Походный марш», «За час до рассвета» (1957), «Пароход зовут «Орленок» (1958) и др. Г. написал также сценарии кинофильмов «Верные друзья» (совм. с К. Исаевым, режиссер М. Калатозов), «На семи ветрах» (режиссер С. Ростоцкий) и др. комедиям. Г. свойственны романтич. приподнятость, лиризм, юмор. Г. – автор популярных песен о молодежи».

Итак, романтическая приподнятость. Одну из песен Галича «До свидания, мама, не горюй» пела вся страна. То есть первоначальный настрой: «главное, ребята, чтобы сердцем не стареть…» Так всех нас воспитывали. Таким романтически настроенным юношей был и Галич, и поэтому он без особых

осложнений вписался в интерьер советской жизни. Его ранние стихи заметил и похвалил Эдуард Багрицкий в «Комсомольской правде», а первая публикация была в «Пионерской правде».

В конце 30-х годов Галич одновременно учился в двух вузах – в Литературном институте и на актерском факультете студии Станиславского. «Перед весенними экзаменами, – вспоминает Галич в автобиографической повести «Генеральная репетиция», – меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в студии читал историю русского театра – и характерным своим ворчливым тоном сказал:

– На тебя, братец, смотреть противно – кожа да кости! Так нельзя… Ты уже выбери что-нибудь одно…

Помолчав, он еще более ворчливо добавил:

– Если будешь писать – будешь писать… А тут все-таки Леонидов, Станиславский – смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал студию».

Любопытно: на экзаменационном листке Галича председатель приемной комиссии народный артист СССР Леонид Леонидов вывел: «Принять. Артистом не будет, но кем-нибудь обязательно станет».

И все же прежде чем стать драматургом и поэтом, Галич немного поактерствовал.

«Впервые я увидела 22-летнего Сашу Галича (тогда еще Гинзбурга) в 1941 году перед войной в нашумевшем спектакле «Город на заре». Он играл одну из главных ролей – комсорга строительства ортодокса Борщаговского, превратившего молодежную стройку в концлагерь», – вспоминает Марианна Строева, нынешний доктор искусствоведения.

Дальше – фронтовой театр. Параллельное актерство и сочинительство. Знаменитый Александр Таиров заметил молодого драматурга и хотел поставить пьесу Галича «За час до рассвета», но театр был разогнан, и эту пьесу позднее поставил Николай Охлопков.

В 1948 году в театре Сатиры с триумфом прошла лирическая и вместе с тем блещущая остроумием комедия Александра Галича «Вас вызывает Таймыр». Знакомые то и дело звонили по телефону и, шутя, говорили: «Вас вызывает Таймыр».

В конце 40-х – начале 50-х годов Галич был на пике популярности. Ему хорошо писалось и хорошо пелось (он давно дружил с гитарой). Его пьесы шли во многих театрах Москвы, художественные ленты и мультфильмы демонстрировались на экране, от «Трижды воскресшего» до мультяшки «Упрямое тесто».

Галич – член двух творческих союзов – писателей и

кинематографистов. Его печатают, ставят, читают, смотрят, любят. Он – нарасхват. Он почти всем нравится – «высокий, черноголовый, усатый, какой-то гасконский» (Ольга Кучкина). Эдакий советский мушкетер, только вместо шпаги – перо и гитара. И вдруг…

Антисоветский период

Нам сосиски и горчицу —
Остальное при себе,
В жизни может все случиться —
Может «А», а может «Б»…

Александр Галич

И случилось невероятное: Александр Галич променял сытую, красивую, преуспевающую жизнь на тревоги и хлопоты. Он неожиданно для многих бросил смертельный вызов власти, казавшейся тогда монолитной и неодолимой. Он перестал сочинять фальшиво-светлые комедии и сценарии про советскую действительность и запел о своем народе и о своей стране чистую правду. На фоне официальной лжи она звучала резко и громко.

Старики управляют миром,
Суетятся, как злые мыши.
Им, по справке, выданной МИДом,
От семидесяти – и выше.
Окружили в боях и вальсах,
Отмолили годам продленье…
И в сведенных подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья…

С годами к Галичу пришло пониманье и прозренье, что это за власть и какова ее истинная цена. «К чиновней хитрости, к ничтожному цинизму я уже давно успел притереться, – признавался Галич. – Я высидел сотни часов на прокуренных до сизости заседаниях – где говорились высокие слова и обделывались мелкие делишки…»

Но чаша переполнилась, и Галич решительно порвал со своей ролью, как он сам выразился, «благополучного сценариста, благополучного драматурга, благополучного советского холуя. Я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то

заговорить в полный голос, заговорить правду».

Чиновники, партбоссы и прочие вершители человеческих судеб стали объектами его яростной сатиры («…что у папаши ее пайки цековские, а по праздникам кино с Целиковскою…») А еще он ненавидел богачей, первачей, палачей…

Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем – доходней молчанье,
Потому что молчание – золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи! —

так Галич язвил и сокрушался одновременно в своем «Старательском вальске». В балладе «Ночной разговор в вагоне-ресторане» Галич сочно представляет историческую картину разоблачения культа личности:

Заявился к нам в барак
Кум со всей охраною.
Я подумал, что конец,
Распрощался матерно…
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово – и поест,
Морда вся в апатии.
«Состоялся, дескать, съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не Отцом, а сукою…
Полный в общем ататуй,
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции».

Галич пел про зеков, про лагеря. Его спрашивали: «Александр Аркадьевич, ну не может быть, чтобы вы не сидели в лагере?»

Нет, Галич не сидел, но он явственно видел и ощущал, что лагерь был не только в Магадане, лагерь был везде, повсеместно, в том числе и в Москве, всюду располагался лагерь, где попирались человеческие свободы, где правили бал палачи.

Он иронизировал. Шутил. Но было «от шуточек этих зябко», как говорил персонаж одной из его песен Иван Петрович.

Несомненно, в Галиче был определенный заряд ненависти, но было в нем и другое, что подметил премудрый академик Дмитрий Лихачев: «Он не злой был… он был больной страданиями народа».

Галич четко различал, что Власть и Россия – не одно и то же. Власть – надутая, чванливая, наглая и без конца края помпадурствующая. А Россия – бедная, затюканная, исстрадавшаяся людская масса, которая всем своим бедам и напастям противопоставляет свои маленькие радости, для них «готовит харчи Нарпит»:

Получил персональную пенсию,
Завернул на часок в «поплавок»…

Или знаменитое:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
Я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило…

Другой вариант:

Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!..

И, вообще, «полстраны сидит в кабаках». Ну, а «шизофреники вяжут веники».

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой!
Хочешь – песни пой.
Предоставлено
Им вроде литера —

Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!..

Это нынешнему поколению покажется, возможно, странным, что вот-де Галич надрывался, как и Высоцкий, пел и кричал правду, ну, мол, и что?.. Сегодня все кричат. Стучат касками. Ложатся на рельсы. Бьются за свои зарплаты и пенсии. Сегодня крик недовольства и правды – рядовое явление. А тогда, в золотые годы социализма и КГБ, молви одно неосторожное словечко – и сразу каюк. Поэтому в те времена мало кто отваживался на критику, в основном все держали фигу в кармане, интеллигенты выпускали пар на кухнях, люди искусства и литературы отводили душу в подтекстах, намеках и аллюзиях. Сколько тогда было храбрых? Да считанные по пальцам единицы (Солженицын, генерал Григоренко да еще несколько имен). Среди этих смельчаков был Александр Галич со своим советом: «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..»

Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой.
Презренье, презренье, презренье
Дают нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой…

Александр Галич был опасен царям и псарям социализма, ведь он не хотел жить в неволе и декларировал:

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю свободу
И – свистите во все свистки!

Сначала власти терпели, скрипели зубами, позволяли выступать подальше от столицы, в академгородках. Галич там выступал с неизменным успехом. В 1968 году на фестивале песни в Новосибирске ему вручили серебряную копию пера Пушкина и почетную грамоту Сибирского отделения Академии наук СССР, где было написано: «Ваше творчество предвосхищает и подготавливает грядущее вашей Родины… и мы восхищаемся не только Вашим талантом, но и Вашим мужеством».

Песни

В России были три великих барда: Булат Окудажава, Владимир Высоцкий и Александр Галич. Все трое разные, но все замечательные. Тихий и интеллигентный Булат, рвущий душу и гитару Высоцкий, ироничный и язвительный Галич. Но, пожалуй, из всех троих Галич ближе всего к высокой литературе, к настоящей словесности. Песни Галича – явление изначально литературное. В своих песнях-балладах он использовал широкий спектр лексических средств, от возвышенно-торжественных слов до грубо-просторечных («никаких вы не знали фортелей…»)

«Его поэзия отличалась такой остротой содержания, таким напряжением гражданского пафоса, – свидетельствовала писательница И. Грекова, – что действовала ошеломляюще».

Карусель городов и гостиниц.
Запах грима и пыль париков…
Я кружу, как подбитый эсминец,
Вдалеке от родных берегов…

(«Старый принц»)

А последний шарманщик – «обломок империи»
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:
То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное!
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная.
Тихо вокруг,
Ветер туман унес…

(На сопках Маньчжурии»)

Песни Галича распространялись по стране с быстротой эпидемии гриппа. Галичем «заболевали» сразу и надолго. Невозможно было без внутренней слезы слушать его песни, такие, как «Облака», «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Петербургский романс» и эту, с надсадом:

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни – в никуда, а другие – в князья…

Все три барда – Окуджава, Высоцкий и Галич по-своему выразили эпоху. Как отметила Мария Розанова: «Мы рождались

на песнях Окуджавы, зрели и многое понимали на песнях Высоцкого, а сражались уже под песни Галича». Не без помощи этих поэтов-бардов рухнула ненавистная советская империя зла. Что произошло дальше, включая сегодняшний день – не вина поэтов. Вина – капитанов и рулевых, наследников коммунистического прошлого, бросивших корабль «Россия» на рифы и скалы. И это, как говорится, отдельная песня.

Галич – кровный наследник совсем другого – наследник великой литературы. В его песнях – отголоски творчества многих выдающихся сатириков – Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Даниила Хармса. И, конечно, он следовал некрасовской традиции, о чем еще заметил Корней Чуковский, – боль за народ. А еще Александр Галич подхватил темы трех других Александров – Полежаева, Блока и Вертинского.

По признанию отца Александра Меня (боже, сплошные Александры!):

«…Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портреты нашей трагической эпохи…»

Если у Булата в песнях часто действуют абстрактные гусары и драгуны, музыканты и скрипачи, то у Галича – вполне конкретные люди с точным социальным адресом. Пьяный истопник, поведавший историю про физиков, которые «на пари раскрутили шарик наоборот»:

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда…
А шарик вертится и вертится,
И все время не туда!..

Или Галич поет про «останкинскую девочку» Лену Потапову, милиционершу, которая неожиданно для всех вышла замуж за африканского принца. Про директора антикварного магазина № 22 Копылова, попавшего в психиатрическую больницу. Или вот Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член парткома и депутат горсовета, выступающий на митинге:

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я, и не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
«Израильская, – говорю, – военщина
Известна всему свету.
Как мать, – говорю, – и как женщина

Требую их к ответу!
Который год я вдовая —
Все счастье – мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Галич остроумно показал, как из людей делали говорящих марионеток: они говорили то, что им подсказывала в своих интересах власть.

А как едко высмеял Галич прочность советской семьи в песне «Красный треугольник»:

А вернулась, ей привет – анонимочка,
Фотоснимок, а на нем – я да Ниночка!
Просыпаюсь утром – нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки…

В песнях Галича отображена вся наша прежняя жизнь в ее искореженных реалиях и подчас анекдотических деталях.

Евреи

Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про абрамчиков.

Александр Галич

Галич был евреем по рождению, он родился в семье Аркадия и Фейги Гинзбург. Он рос неверующим, а в иные годы был отчаянным комсомольцем и атеистом. В семье в иудаизм верил только дед Галича, читавший по ночам Тору. Сам Галич в зрелые годы говорил: «Если когда-нибудь я поверю, то приму только православие. Еврейская вера хороша, но слишком сурова». И тем не менее в песнях Галича евреи появляются довольно часто. Он откровенно презирал холуйствующих евреев.

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Росинантом
И украсят лапсердак аксельбантом.

Но и ставши в ремесле в этом первым,
Все равно тебе не быть камергером
И не выйти на елее в Орфеи…
Так не шейте ж вы ливреи, евреи!

Галич понимал не только внешне, но и изнутри проблему антисемитизма в стране. Вот, к примеру, пассажик из «Веселого разговора»:

Всех отшила, одного не отшила,
Называла его милым Алешей.
Был он техником по счетным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.

Ах, этот милый, так называемый бытовой антисемитизм. Диалог в «Вальсе-балладе про тещу из Иванова». Теща с дочерью о зяте: «– Сам еврей? – А что? – Сиди, не рыпайся. Вон у Лидки без ноги да с язвою…» А тут вроде с ногами и без язвы, но вот, однако, червоточина: еврей. А вот горько-смешная история, рассказанная Галичем, о русском майоре, который потерял документы и решил шутки ради назваться евреем, на что органы пришли в ярость:

Мы тебя не то что взгреем,
Мы тебя сотрем в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем,
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!

Рассказывая о злоключениях евреев в России, Галич оставался не «жильцом», а сыном Отечества, которое он очень любил и никуда из него не собирался выезжать, тем более для того, чтобы «жрать свою мацу» в Израиле.

Жены

Ныне публикация без женщин – считай, материал в корзину, это точно определил еще сам Галич:

И как вызвали меня, я свял от робости,
И из зала мне кричат: «Давай подробности!»

Всё, как есть,
ну, прямо, все, как есть!..

«Всё, как есть» – не хочу. А вот коротко скажу: официально Александр Галич был женат дважды: первая жена – красавица, актриса Валентина Архангельская. Вторая – Ангелина, племянница легендарной Матери Марии, из дворянского рода Караваевых. Женщина умная, тонкая, образованная, она забросила все свои дела – ради творчества Галича и его самого. Она буквально растворилась в нем.

Ангелина Николаевна (Нюша – в быту) никогда не устраивала сцен ревности вечно молодящемуся Галичу. Она действовала иначе. Когда Галич в окружении щебечущих поклонниц отправлялся в дом творчества ВТО, она выбирала самую опасную, на ее взгляд, соперницу и невинно просила ее последить за Сашей: «Я на вас очень надеюсь! Вот это лекарство надо давать каждые полчаса, оно предотвратит сердечный приступ. Заранее вам благодарна. Сашенька – такой легкомысленный, не думает о своем здоровье…»

Такой прием действовал безотказно.

Галич по натуре был увлекающимся человеком. «В романе с женщиной для него был важен не результат, а процесс, – рассказывает дочь поэта Алена Архангельская-Галич. – Он пользовался у женщин огромнейшим успехом. Он умел себя держать, умел разговаривать. Был такой смешной случай – мы пришли в комиссионку покупать мне пальто, и папа просит меня отойти в сторону, чтобы он мог разговаривать с продавщицей «нежно-половым» голосом. И продавщицы таяли и вынимали замечательные вещи из-под прилавка. И тогда папа подзывал меня…»

Юрий Нагибин в своем дневнике оставил такую характеристику Александра Галича: «Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира – предательство близких, гонения, изгнанье…»

Гонения

«В шестьдесят восьмом году, – рассказывал Галич, выступая на Западе, – мне было запрещено выступать публично. В Советском Союзе, кстати, нет такой формулы «запрещено». Мне было «не рекомендовано» (смех в зале). Меня вызвали в

соответствующие инстанции и сказали: «Не стоит. Не стоит… Мы не рекомендуем». Я продолжал выступать в разных квартирах у моих друзей. Иногда даже у совсем незнакомых людей: кто-нибудь из друзей меня туда звал, и я выступал…»

Галичу не только запретили выступать публично в общественных залах, но и сняли его имя из титров фильма, где он был автором сценария. С указания высокого партийного начальства Галича исключили из Союза советских писателей 29 декабря 1971 года. «Когда и почему свихнулся Галич? – писала «Неделя». – По времени это случилось в начале 60-х годов, когда он практически бросил литературную работу и занялся сочинительством и исполнением под гитару полублатных, а чаще клеветнических песен. Причины? Может быть, творческий срыв? Заниматься сомнительным стихоплетством, конечно, легче, чем писать драмы, а клеветать, разумеется, проще, чем критиковать… Или кризис моральный?

Пьянки, дебоши, неразборчивые амурные связи Галича. В мае 1968 года секретариат московской писательской организации предупредил Галича. Ему дали время образумиться. Но Галич не унимался…»

Вот так грязно и разнузданно писали об Александре Галиче. Злопыхал главный редактор махрового «Огонька» Анатолий Софронов: «Галич был и остается обычным блатным антисоветчиком». Обидные слова в адрес поэта и барда бросил Алексей Арбузов: «Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта – и тут он кончился!»

Кто-то назвал Галича даже «мародером». Позднее Галич ответил: «Историки разберутся – кто из нас мародеры…» Но вся эта лавина зубодробительной критики была предсказана самим бардом:

И лопается терпенье,
И тысячи три рубах
Вострят, слово финки, перья,
Спускают с цепи собак…

Постыдная история. Кто-то безропотно выполнял волю сверху, кто-то хотел быть святее папы римского, а кто-то поливал грязью исключительно из-за литературной зависти, впрочем, такой расклад наблюдался и ранее при линчевании Бориса Пастернака. Кстати, одно из лучших стихотворений Галича посвящено опальному поэту:

Мело, мело по всей земле,

Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Нет, никакая не свеча,
Горела люстра!
Очки на морде палача
Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!..

Три инфаркта – цена гонения Александра Галича. А надо вспомнить, что его отлучили не только от Союза писателей, но и от Литфонда и от медпомощи. Естественно, ему, больному человеку, сердечнику, в последние годы было худо физически и психологически.

К 1973 году жизнь Галича стала совсем невыносимой. Норвежский театр, зная его бедственное положение, прислал ему приглашение на семинар по творчеству Станиславского. Но ничего из этой благородной затеи не вышло: Галича несколько раз вызывали в ОВИР и столько раз ему отказывали в поездке. Наконец, его вытолкнули из страны по израильской визе. Ему предложили в десять дней уехать из Советского Союза, сказали, что либо он уезжает за рубеж, либо остается в СССР, но едет на Север. То есть: эмиграция или высылка! Такая вот «добровольность» перемещения!..

Что ж, прощай, мое Зло, мое доброе Зло.
Ярым воском закапаны строчки в псалтири,
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!
Что ж, прощай, мое Зло!..

Это строки из стихотворения «Заклинание добра и зла», написанного в Москве 14 июня 1974 года. А уже в Норвегии Галич написал так:

Мы бежали от подлых свобод,

И назад нам дороги заказаны.
Мы бежали от пошлых забот
Быть такими, как кем-то приказано.

И горький вздох-вывод:

Мы тождественны в главном – мы беженцы…

Перед отъездом Александр Галич принял православную веру. Обряд крещения совершил Александр Мень. «И в первом же разговоре, – вспоминал отец Александр, – я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души… Его вера не стала жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Многое пережил. Христианство влекло его…»

Разуверившись в земных ценностях, Галич искал «доброго Бога».

Он снимает камзол, он сдирает парик.
Дети шепчутся в детской: «Вернулся Старик».
Что ж – ему за сорок, немалый срок,
Синева, как пыль, – на его губах…
«Доброй ночи, Бах», – говорит Бог,
«Доброй ночи, Бог, – говорит Бах, —
Доброй ночи!..»

Таможенник на границе не хотел пускать Галича с крестом в самолет. Последнее унижение. Но Галич настоял на своем и не снял крест. Изгнанный, но не побежденный, он взошел на трап авиалайнера.

Александр Галич покинул родину 24 июня 1974 года, в этот печально знаменательный для себя день он записал: «…Сегодня собираюсь в дорогу – в дальнюю, трудную, извечно и изначально-горестную дорогу изгнания…»

Вначале он уехал в Норвегию, затем жил некоторое время в Мюнхене, а потом в Париже.

Когда могу я не верить в дурные пророчества:
Не ушел от кнута, хоть и бросил поводья.
И средь белого дня немота одиночества
Обступила меня, как вода в половодье…

На Западе

По свидетельству дочери, на Западе Александр Галич отнюдь не бедствовал: «У него там было всё – признание, пластинки, книги, концерты, у него было даже две работы – радио «Свобода», и еще он редактировал в английской энциклопедии раздел русской поэзии. Он был достаточно обеспеченным человеком, у него была прекрасная квартира…»

Прервем цитату и отметим, что на Западе вышли сборники его стихов «Песни», «Поколение обреченных», «Когда я вернусь…», а также автобиографическая книга «Генеральная репетиция» (1974). А теперь завершим цитату дочери Алены: «Но у него постоянно было ощущение не своей жизни».

Можно сказать так: Галич был очень русским человеком и очень связанным с прошлым и настоящим своего народа, он был, как говорится, плоть от плоти его. Свои передачи на радиостанции «Свобода» Галич начинал с песни «Когда я вернусь…» Эта песня была его позывным.

Когда я вернусь…
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу – к теплу и ночлегу —
И вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Он не вернулся. Вернулись лишь его стихи, песни и книги.

Смерть

15 декабря 1977 года – последний день жизни Александра Галича (он прожил 59 лет и без четырех дней два месяца). В тот последний день он приобрел радиоприемник «Грюндиг» и страшно радовался своему приобретению. Жене Ангелине, ушедшей из дома за сигаретами, сказал: «Вернешься, услышишь необыкновенную музыку». Он любил «чистый», бархатный звук.

Когда жена вернулась, Галич был мертв. Он лежал с обугленной полосой на руке и зажатой в кулаке антенной. Смерть от несчастного случая? Такова была официальная версия врачей. Неофициальная версия: убрали спецслужбы. Вместе с КГБ почему-то называли и ЦРУ.

Что произошло на самом деле, мы не узнаем никогда, ибо уход Галича был из того самого разряда загадочных и таинственных смертей (если хотите: от президента Кеннеди до генерала Рохлина).

Лев Копелев сказал наиболее точно: «Умер на чужбине чужой смертью».

Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Бьют колокола…
Первый сон, последний сон…
Так и жизнь прошла!

Так заканчивается одно из последних стихотворений Галича «Там, в заоблачной стране…»

Ангелина Николаевна, жена Галича, погибла через 9 лет при очень странных обстоятельствах: якобы от незатушенной сигареты начало тлеть одеяло, а далее смерть от удушья. А в результате: ушла из жизни важная свидетельница жизни и кончины Александра Галича. Примечательно: со смертью вдовы исчез и архив поэта. И концы в воду…

Эпилог

Конечно, у каждого времени свои певцы и песни. Выросло новое поколение. Но нельзя забыть Галича. Он – часть нашей истории. Он был, как выразился Леонид Плющ, Гомером опричного мира. А Владимир Буковский продолжил: «Каждая его песня – это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».

В разгар всемирного угарища,
Когда в стране царили рыла,
Нам песни Александра Галича
Пора абсурдная дарила, —

Писал Борис Чичибабин.

А вот строки и самого Александра Галича:

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду…

И все это было когда-то уже,
В таком же кромешном году!
……
А что до пожаров – гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло полыхать на Руси,
То даром не кончится это!..

Когда это написано? В ноябре 1971 года, а звучит устрашающе актуально. Гомера нет. Разрушена советская Троя. А мы – все беженцы в новом «кромешном году». Таков печальный итог российской мистерии. Утешает одно: итог не окончательный, а лишь промежуточный. И слава Богу, Александр Галич нисколечки не устарел. Он звучит жгуче, свежо.

Разочарованный комиссар. Борис Слуцкий (1919–1986)

Еще одно золотое перо (не слепит ли глаза от их числа?) Некогда популярное, а ныне основательно забытое имя (лирика не только «в загоне», но и в глубоком забвении). Это – Борис Слуцкий. Он очень любил читателей и подбадривал других поэтов, а вместе с ними и себя:

Вас еще прочтут,
еще познают,
в средней школе вас
еще пройдут,
и узнают, кто еще не знает,
чьей эпохи, что вы за продукт.

«Продукт» был произведен сталинской эпохой с патриотическим придыханием, с верой в светлое будущее и любовью к людям всей земли. Если надо отдать жизнь – пожалуйста, нет вопросов. Все «продукты» той эпохи были жертвенными. Таким был и Борис Слуцкий. «Он комиссаром был рожден…» – съязвил Наум Коржавин.

Борис Абрамович Слуцкий родился 7 мая 1919 года в Славянке Донецкой области, в семье служащего. Детство и юность будущего поэта прошли в Харькове. Позднее Слуцкий писал:

«Вообще Харьков был диван со своими удобствами. Там я мог залежаться окончательно. Жил бы дома, питался бы, как тогда

говорили, с родителями, ходил бы на книжные развалы, прирабатывал в областных газетах и скорей всего в 1949 году разделил бы судьбу своих преуспешных товарищей, тогда космополитизированных.

В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном. В Москве «натура, нужда и враги» гнали меня, как Державина, на геликон. И загнали».

Чем увлекался Слуцкий? Конечно, литературой (любимый поэт Маяковский) и еще историей русской и французской революции, считал себя пламенным робеспьеристом.

Осенью 1937 года поступил в Московский юридический институт. «Из трех букв названия меня интересовала только первая, – признавался Слуцкий. – В Москву уехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.»

Юриспруденция не очень волновала Слуцкого, его больше привлекал литературный кружок при институте, которым руководил Осип Брик. «На лекциях было скучно. На кружке было интересно». И еще: «Брику я стихов не показывал – стыдился». Но писал стихи молодой Слуцкий исправно.

Любопытный эпизод произошел в 1938 году. Судебный исполнитель пришел к студентам и сказал:

– Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключил договора со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?

– Как фамилия жулика? – спросил Слуцкий.

Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:

– Бабель, Исаак Эммануилович.

«Мы вдвоем пошли описывать жулика… – пишет в воспоминаниях Слуцкий. – В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество…»

Юриста из Слуцкого не вышло, и он в 1939 году по рекомендации Павла Антокольского поступил в Литературный институт. Занимался в семинаре Ильи Сельвинского, вместе с Глазковым, Коганом, Майоровым и другими молодыми дарованиями. Они учились высокой поэзии.

Грянула война. Осенью 1941 года 22-летний Борис Слуцкий уходит добровольцем в армию, где становится политработником. Прошел всю войну, закончил ее в Австрии и Румынии. Многое повидал, многое перечувствовал. «В пяти соседних странах / зарыты наши трупы»; «Вниз головой по гулкой мостовой / Вслед

за собой война меня влачила / И выучила лишь себе самой, / А больше ничему не научила…» Слуцкий живописал не пафосную сторону войны, а реалистическую и жестокую: «– Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!..» и печальное признание: «И мрамор лейтенантов – / Фанерный монумент». И победители, и побежденные – все жертвы войны.

На войну Слуцкий ушел верующим человеком, не в религиозном смысле, а в социальном. Эдакий боец за идеи. Почти слепым, идущим за вождями-поводырями. Прозрение пришло позднее:

Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
Чтоб не болела голова…

И в другом стихотворении с едким сарказмом:

Мы были опытным полем. Мы росли, как могли
Старались. Не подводили мичуриных социальных.
А те, кто не собирались высовываться из земли,
Те шли по линии органов особых и специальных.

В 1946 году Слуцкий демобилизовался по болезни (инвалид второй группы) в звании гвардии майора, награжденным несколькими орденами и медалями. Со старой фотографии он выглядит бравым стройным тонколицым красавцем. Вполне благополучным и удачливым. Однако какая удача! Слуцкий долго лежал в госпиталях, а потом долго не мог найти работы.

Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы никому не нужны…
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Время «комиссаров в пыльных шлемах» ушло. Наступило время золотопогонников, проныр и карьеристов. А карьеристом Слуцкий не мог быть по натуре. В записках «После войны» он

признавался: «Где я только не состоял! И как долго не состоял нигде!

В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, рассказала своей интеллигентнейшей матушке, что встретила интересного человека.

– А кто он такой?

– Никто.

– А где он работает?

– Нигде.

– А где живет?

– Нигде.

И так было десять лет – с демобилизации до 1956-го, когда получил первую в жизни комнату тридцати семи лет от роду и впервые пошел покупать мебель – шесть стульев – до 1957-го, когда приняли меня в Союз писателей.

Никто. Нигде. Нигде…»

В течение четырех лет «главные деньги» Слуцкий зарабатывал в Радиокомитете, в отделе вещания для детей и юношества. Радиокомпозициями. Я тоже работал на Радио и тоже лепил эти радиокомпозиции, и знаю, что это за ремесло.

Работа в оттепель и заморозки,
работа не сходя со стула,
Все остальное просто заработки,
По-русски говоря, халтура.

Я за нее не отвечаю,
все это не моя забота.
Я просто деньги получаю
за заработки на работу.

И что это за дополнительная и настоящая работа? Писать в стол. Было такое поветрие…

Но зарабатывание денег – еще не все. Более важно то, каким воздухом ты дышишь, как ты ощущаешь свою страну и как оцениваешь общество, в котором живешь. На этот счет у Слуцкого есть стихотворение «Странности»:

Странная была свобода:
делай все, что хочешь,
говори, пиши, печатай
все, что хочешь.
Не хотеть того, что хочешь,
было невозможно.

Надо было жаждать
только то, что надо.

Быт был тоже странный:
за жилье почти не платили.
……
Лишь котлеты дорого ценились
без гарнира
и особенно с гарниром.
Легче было победить, чем пообедать.
Победитель гитлеровских полчищ
и рубля не получил на водку,
Хоть освободил полмира.
……
Странная была свобода!
Взламывали тюрьмы за границей
и взрывали. Из обломков
строили отечественные тюрьмы.

Многие странности вынес на своих плечах Слуцкий: его вызывали в инстанции, прорабатывали, критиковали, уличали (пол-Европы прошел), морщили нос из-за его национальности, и приходилось поэту оборонятся:

Действительно: со Слуцкими князьями
Делю фамилию, а Годунов —
Мой тезка, и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.
Но отчество – Абрамович.
Абрам —
Отец, Абрам Наумович, бедняга,
Но он – отец, и отчество, однако,
Я, как отечество, не выдам,
не отдам.

Еврейская тема в творчестве Слуцкого звучала постоянно:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.

Евреи – люди лихие,

Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.

Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

И, как бы поводя итог тысячелетней хулы, Слуцкий мужественно писал:

А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.

Антисемитизм – это только часть зла. Другая – груз сталинского прошлого. Не все имели мужество сбросить с себя вериги той эпохи и развеять по ветру ее мифы. Слуцкий – один из немногих, кто широко открыл глаза и увидел подлинную реальность исторической картины.

Я в ваших хороводах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.

Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.

Лишь однажды Слуцкий дал слабину и потом казнил себя всю оставшуюся жизнь. Это произошло 31 октября 1958 года на собрании московских писателей, на котором четвертовали Бориса Пастернака за его вышедший на Западе роман «Доктор Живаго». Выступил с обвинениями и Слуцкий: он «был в игре». И последующие годы отмывался за совершенные «финты» в той партийно-государственной игре.

А так все, вроде бы, складывалось благополучно. В 1957 году появился первый сборник стихов Слуцкого «Память», в 1959 –

«Время», затем – другие, многочисленные публикации в газетах, альманахах, тонких и толстых журналах. Его читали. Перечитывали. Учили наизусть: «Кельнская яма», «Лошади в океане», «Госпиталь», «Хозяин», «Давайте после драки…» Многим пришлись по душе афористические строки Слуцкого: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне…»; «Надо думать, а не улыбаться…»; «Мы все ходили под богом, у бога под самым боком…»; «Дела плоховатые стали плохими. Потом они стали – хуже нет».

Стихи Слуцкого неповторимы по почерку: их узнаешь сразу. У поэта было балладное мышление. Он писал просто, четко, без формальных изысков, но глубоко и основательно, и был скорее философом, чем лириком. Был честным и точным историком своей эпохи. И старался сказать не красиво, а правдиво. И правда Слуцкого была подчас горькой.

Смерть Сталина, разоблачение культа, хрущевские оттепели и его волюнтаризм, брежневский застой – все эти страницы истории Слуцкий осмысливал и оценивал трезво, на холодную голову, без надрыва. Своих соотечественников призывал к решительным действиям: «Дело не сделается само». В показухе дел он не хотел участвовать:

Ценности нынешнего дня:
Уценяйтесь, переоценяйтесь,
Реформируйтесь, деформируйтесь,
Пародируйте, деградируйте,
Но без меня, без меня, без меня.

Высший комиссар, политработник не хотел спевать в общем хоре и участвовать в официальном славословии.

Устал тот ветер, что листал
Страницы мировой истории.
Какой-то перерыв настал,
Словно антракт в консерватории.
Мелодий – нет.
Гармоний – нет.
Все устремляются в буфет.

Это написано в конце 1964 года, и Слуцкий отчетливо предвидел пору застоя. Но 60-е годы были и крикливыми годами. Кто-то рвался вперед, кто-то делал карьеру. Старого Слуцкого обгоняли молодые Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина… А он

тихо сопел в углу и говорил: «Меня не обгонишь – я не гонюсь». В старости он выглядел вальяжным, важным. Только в глазах можно было увидеть боль и разочарование. Он стал похож на «харьковского Иова», о котором он когда-то писал в молодости, страдающего и мудрого. Он вообще чем дальше, тем менее был склонен заблуждаться. «Это время – распада. Эпоха – разложения. Этот век начал плохо и кончит плохо. Позабудет, где низ, где верх». Но в тоже время сам себя и подбадривал:

Все-таки книги еще выходили,
Как там ни жали на тормоза.
Все-таки ноги еще ходили,
Видели кое-что глаза.
Плохо, конечно, было, скверно,
Тошно было почти что всем.
Все-таки совершенно неверно
Думать, что плохо было совсем…

Под конец жизни Борис Слуцкий жаловался: «Любители моих стихов ушли из возраста любителей в свои семейные обители. Теперь им не до пустяков». Но Слуцкому повезло: судьба подарила ему своего Эккермана. В 1961 году Слуцкий познакомился со своим почитателем, директором саратовского букинистического магазина, Юрием Болдыревым, который стал собирать стихи поэта, а после его смерти стал его душеприказчиком. Он выполнил прижизненную просьбу Бориса Слуцкого:

Умоляю вас, Христа ради —
С выбросом просящей руки,
Раскопайте мои тетради,
Расшифруйте черновики.

Болдырев считал Слуцкого не средним поэтом (мнение многих), а великим. Посмертно он опубликовал боле 1400 стихов Слуцкого и способствовал выходу его трехтомника (а всего на счету Слуцкого примерно 4 тысячи стихотворений). Друг Слуцкого Давид Самойлов только удивлялся: «Откуда?!» Ответ прост: многолетний каждодневный труд.

Нам, писателям второго ряда,
С трудолюбием рабочих пчел,
Даже славы собственной не надо.

Лишь бы кто-нибудь прочел.

Слуцкий обожал читателей. И любил единственную женщину, свою жену Татьяну. Он женился на ней в 1957 году и прожил в браке 20 лет, до ее безвременной кончины. Ее смерть сломала Слуцкого.

Наслаждения столь кратковременны,
Огорчения столь велики,
Что не выдержать этого бремени
И не выплыть из этой реки.

Он и не выплыл. Заболел. Слег. Стал ко всему безразличным. Лишь исправно ходил на панихиды и похороны, как бы репетировал свои собственные. Последние годы жил у брата Ефима в Туле, там и умер 23 февраля 1986 года, в возрасте 66 лет. В официальном некрологе отмечалось, что «Слуцкий работал неторопливо, скупо, от книги к книге наращивая стиховую структуру, в которой все отчетливее проявляются историзм мышления, объемность, рельефность, лиризм, тонкий психологический рисунок…»

В статье «Памяти друга» Давид Самойлов отметил, что Борис Слуцкий «казался суровым и всезнающим… не терпел сентиментальности в жизни и в стихах… Он кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия…»

Эх, все бы эти слова да при жизни! Но, увы, в России любят только мертвых. Живых не замечают. Когда вышел трехтомник Слуцкого, ни одно отечественное издание не проронило ни слова. Лишь Запад откликнулся. Но это уже другая тема. А мы закончим наше короткое повествование стихотворением Бориса Слуцкого из цикла «Россия»:

В небе – черном, диком и пустынном —
одиноко падает звезда,
озаряя выгоны за тыном,
освещая города.

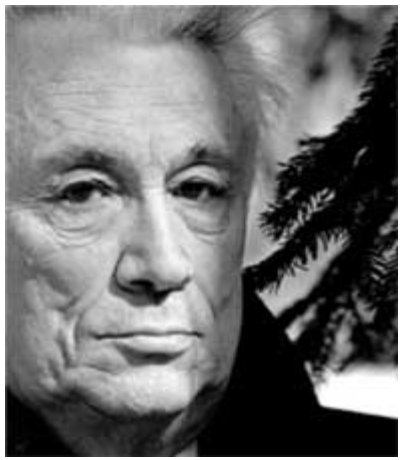
Вот ее полет – тысячелетье
и еще сто лет.
Смута, безвременье, лихолетье.
Хлеба нет. Света нет.

Но чертит свою черту по черной
выси, гулкой, словно поезда.
Между Туркестаном и Печерой
та звезда.

Падающая и не упадущая.
Ночью яркая. Утром тающая.
Словно слова – ждущая,
часа – ожидания.

Да, комиссар Слуцкий был истинным поэтом.

Писатель-плейбой. Юрий Нагибин (1920–1994)



Время затеняет память. Еще 10–15 лет назад Юрий Нагибин был на слуху. А сейчас он забыт. Не вспоминают ни его, ни Юрия Трифонова, ни Володина, ни прочих былых кумиров. Впрочем, и вся литература куда-то ушла, сгинула. Остались лишь жалкие книжные островки.

Юрий Нагибин – один из редких писателей, с которым меня столкнула судьба. Мы вместе публиковались в 90-е годы в газете «Вечерний клуб» (была такая газета для интеллигенции). Более того, вместе стали первыми лауреатами газеты и получили звание «Почетного кавалера ВК». Потом после смерти Юрия Марковича мне отдали его место на газетной полосе, где он печатал выдержки из своей книги. Получается, что я – вроде преемника Нагибина. Он разрабатывал жанр исторических очерков-эссе, а я этот жанр продолжил.

Но оставим личное и поговорим о феномене Нагибина. А это был действительно феномен в советской литературе. Он ни на кого не походил ни по судьбе, ни по тому, как себя вел (в нем было что-то от плейбоя), ни по тому, как держался чуть надменно, особняком и чурался всякой стаи. Да и стилистический почерк Нагибина очень отличал его от сверстников, которые прошли войну.

Итак, держался независимо. Выглядел аристократом. Любил жизнь во всех ее проявлениях. Гулял, по мнению друзей, мощно, в его дневнике можно найти такое признание: «Жил я размашисто, сволочь такая». Написано иронично и вместе с тем самовлюбленно.

Юрий Маркович Нагибин родился 3 апреля 1920 года в Москве. Его мать, Ксения Алексеевна, была дворянского происхождения и приходилась дальней родственницей Бунину. Было имение на юге, но после революции его отобрали, и до последнего часа у нее было неприятие советской власти. Когда последняя жена Нагибина Алла хлопотала о строительстве собственного дома, она говорила ей: «Алла, ну что вы все строите? В этой стране нельзя иметь имущество».

Истинный отец Нагибина долгое время скрывался, и на то были свои причины. И Нагибин мучился своим мнимым или истинным еврейством: то ли русский по рождению, то ли еврей. Мать вышла замуж за Марка Яковлевича Левенталя, который считался родным отцом Нагибина. Но когда Юрий Маркович повзрослел, то мать призналась ему, кто был его истинным отцом: Кирилл Нагибин, расстрелянный в 1920 году за участие в Антоновском мятеже. Ксения Алексеевна была беременной Юрием, и ей ничего не оставалось, как выйти замуж за другого, за Марка Левенталя. В 1927 году Марка Яковлевича арестовали и отправили на поселение, где он и умер. В 1930 году Ксения Алексеевна сошлась с писателем Яковом Семеновичем Рыкачевым, который и стал первым литературным учителем Юрия Нагибина. В 1937 году Рыкачева тоже посадили. И маленький Юрий с мамой носили передачи в две тюрьмы. Об отце Нагибин впоследствии написал книгу, вполне откровенную, но так как ее нельзя было тогда печатать, зарыл в саду. Она пролежала зарытой 30 лет и в конце концов увидела свет.

Ксения Алексеевна очень любила своего сына, но когда началась война, она сказала ему: «Если ты хочешь быть писателем, ты должен пройти через это». И он бросил незаконченный сценарный факультет института кинематографии и ушел на фронт, сначала Волховский, потом Воронежский. В качестве «инструктора-литератора» разбирал немецкие документы, выпускал листовки, вел радиопередачи для войск противника, доказывая им, что они ведут несправедливую войну. На фронте Нагибин получил две тяжелейшие контузии с инвалидностью. На какое-то время пал духом, но мать сказала ему: «Забудь про раны, проживи жизнь здорового человека». И он прожил, без оглядки на военные травмы.

В своем последнем интервью «Московским новостям» летом 1994 года Юрий Нагибин говорил: «Есть замечательное философское учение – экзистенциализм. Оно говорит, что все в руках самого человека. Что за жизнь отвечает он сам. Не общество, не меценаты, не правительство, не партия. Ты в ответе за каждый свой поступок, и за дурное, и за хорошее.

Проникнитесь этим, и все станет ясно. Просто отвечайте за себя, считайте, что вот от вас зависит жизнь всего мира. Когда человек это поймет, у него определится сразу отношение ко всему – к людям, близким и далеким, деревьям, траве, воздуху. Не надо целей и идеалов: цель жизни – жизнь. Это не мое высказывание, я не помню, кому оно принадлежит, но оно исчерпывающее».

Бывало, сказывались старые контузии, захватывали депрессии, но писатель не сдавался, у него были свои лекарства и рецепты выживания. «Работал, рыбачил, охотился, любил» – вот и все секреты от Юрия Нагибина.

Первый рассказ Юрия Нагибина появился в журнале «Огонек» 22 июня 1941 года. Первая книга – «Человек с фронта» – вышла в 1943 году.

Начинал Нагибин с подражания Платонову, но потом нашел свой стиль. В начале 50-х появились первые рассказы «Трубка», «Ночной гость». В оттепельные времена – «На тихом озере», «Чистые пруды», «Чужое сердце», серия военных рассказов – «На Хортице», «Связист Васильев», «Переводчик», охотничьи рассказы, повесть «Страницы жизни Трубникова». Затем вышли «Книга детства», «Переулки моего детства», «Москва… как много в этом звуке» (1987). Миллионам читателей полюбился жанр исторических портретов и воспоминаний – о протопопе Аввакуме, об Иннокентии Анненском, Пушкине, Лермонтове, Дельвиге, Фете, Тютчеве, Чайковском, Рахманинове и т. д. Как отмечали критики, тексты Нагибина подкупали не банальной точностью, а пониманием чужой души.

С годами проза Нагибина становилась острее, жестче, злободневнее, достаточно вспомнить его сатирически-фарсовую «Любовь вождей». Или горько-ироничную повесть «Тьма в конце туннеля». Плодотворно работал Нагибин в кино, он автор более 30 сценариев, среди которых «Бабье царство», «Директор», «Чайковский», «Дерсу Узала», «Красная палатка». Особенный успех выпал на долю «Председателя». За главную роль Михаил Ульянов получил Ленинскую премию, а Нагибин – инфаркт. Родина держала Нагибина в черном теле. Его много издавали за рубежом, но ему позволялось брать в поездку не более 500 долларов. На его счету лежали тысячи, но брать их он не имел права.

Повесть Нагибина об отце «Встань и иди» в Италии была отмечена «Золотым Львом», а еще призом «Жизнь, отданная литературе». Но он любил еще и живопись. В какую бы страну он ни приезжал, он сразу отправлялся в музей. А когда попадал в Милан, то прежде всего ходил поклониться «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Ну, а теперь о тайных страницах Нагибина, которые он, впрочем, не скрывал – о страницах любви. У него – а он был все же плейбоем, – было много женщин: профессорская дочка Маша Асмус, юная гимнастка Ада Паратова, дочь директора ЗИЛа Валя Лихачева, четвертая жена Лена Черноусова, Белла Ахмадулина и, наконец, последняя Алла Григорьевна, с которой он прожил в браке 26 лет. Он переманил ее из Ленинграда в Москву, и она оказалась замечательной женой, сказав в одном из интервью о прошлом Нагибина: «Он любил – его любили. Что было, то было». И еще замечательное признание: «Я всю жизнь прожила под стук пишущей машинки».

Роковой 1994 год. Алла Григорьевна вспоминала:

«Он умер 17 июня. А легко или тяжело, никто не знает. Я зашла к нему в 9 часов утра взять щенка (он очень горевал по поводу смерти своего любимого эрдельтерьера Проши, и жена подарила ему взамен щеночка. – *Ю. Б.*). Юра пожаловался: «Он мне всю ночь спать не давал». – «Ну ты поспи», – сказала я ему. Кто-то позвонил, я спустилась вниз, поговорила по телефону… Потом услышала вскрик, поднялась к нему – Юра не дышал… Не думаю, что он не почувствовал этой предсмертной боли. Легких смертей не бывает. Даже говорить о болезнях не любил. Никогда не жаловался. И я очень надеялась на его генетическую силу. Зря надеялась…»

Юрий Маркович Нагибин прожил 74 года. В последние годы он был нарасхват: все издания хотели взять у него интервью. В одном из них он говорил: «Культура избавляет от страха смерти, она дает ощущение соучастия в вечном. Ты можешь ощущать себя частицей великого, мирового, таинственного и, видимо, нужного для чего-то процесса. Ведь если нет бога, то культура заменяет нам все. Культура включает в себя понятие совести. Она дает право чувствовать, что ты – участник великого общественного мирового бытия… В какой-то мере культура не оставляет человека один на один с пустой черной бездной мироздания…»

После смерти Нагибина у меня был телефонный разговор с Аллой Григорьевной, и она сказала: «Он к вам внимательно приглядывался…» У меня бережно хранится изящная книжечка Нагибина «Рассказ синего лягушонка» с дарственной надписью: «Юрию Безелянскому – который держит в своих руках наше бессмертие – с уважением Юрий Нагибин. 1992». Надпись несколько ироническая, но в ней и признание, что я следую по его пути…

Но Юрий Нагибин о своем бессмертии позаботился сам и не только тем, что оставил в наследство много художественных книг, но и тем, что подготовил к печати свой удивительный

«Дневник», который вел почти полвека и который решил опубликовать при жизни. Он отдал подготовленную рукопись издателю и через 10 дней умер. Дневник вышел посмертно. И произвел эффект разорвавшейся бомбы. В нем Нагибин, по мнению издателя Юрия Кувалдина, вырвался из советского плена, перешагнул самого себя, все свои недостатки превратил в достоинства.

Если в прежних своих книгах Нагибин прибегал к различного рода иносказаниям, типа: «О каком достоинстве, какой чести можно думать, когда живешь под властью рукосуев, палочников, душегубов?..» («Остров любви»); или «Власти нужна не преданность, не союзничество, основанное не единоверии, а только слепое послушание, пусть даже неискреннее, обманное, но полное и безоговорочное, проще – рабье. Тогда власть сознает себя силой…» («Огненный Протопоп»), то в своем дневнике Нагибин говорил в открытую и раздавал, не стесняясь, всем сестрам по серьгам. Досталось не только власти, но и многим коллегам по писательскому цеху, по искусству, многим карьеристам и пронырам, припавшим с вожделением к корыту.

Вот только вырванные фразы: «Балдеешь от ненужности страстишек», «Кстати, и Мересьев ненавидит Полевого», «Человечество во все времена отвратительно», «Валтасаров пир, и никто не боится», «Крепко сидит татарщина в русской душе», «Почти все советские люди – психически больные», «Падение давно опустившегося фестивалишки» и т. д. и т. п. И много персональных выпадов и выстрелов. И, конечно, многие возмутились, а Станислав Куняев аж подпрыгнул до потолка: «Дневник старого мерзавца».

Но так написал Нагибин. Захотелось высказать правду-матку до конца. Выговориться. Освободиться от накопившейся скверны советской жизни. Он и себя не пощадил в дневнике: «…Грустно, и нет выхода. А завтра опять настанет мерзость малых забот, ничтожных побед и ничтожных поражений…»

Запись из 1986 года: «Впервые за долгие годы я находился дома в свой день рожденья. Ничего хорошего он мне не принес. Я все время помнил, что мне 66, а тут кончаются шутки. Последний поворот пройден. Задыхающийся, спотыкающийся, мокрый, ты приближаешься к финишной черте, зная, что призового места не возьмешь, но это не самое страшное. Тебе не хочется разрывать усталой грудью ленточки, ты готов ковылять дальше под свист и улюлюканье трибун, тебе наплевать, что ты плохой бегун, только бы чувствовать под ногой ускользающую землю».

Сравнение жизни с беговой дистанцией вполне правомерно. Юрий Маркович любил спорт. Он и умер в день открытия

чемпионата мира по футболу в США. Он был страстным болельщиком и, к счастью, не узнал, как позорно выступали на чемпионате наши футболисты, погрязшие в интригах, в премиальных и прочих материальных дрязгах, а отнюдь не в честной игре. Все вышло по дневнику Юрия Нагибина.

Абрам, но не еврей. Андрей Синявский (1925–1997)

Время летит с космической скоростью, и то, что волновало совсем недавно, сегодня уже не волнует и забыто. Уже в далеком прошлом знаменитый процесс Синявского – Даниэля. Раскрытие псевдонима Абрама Терца. Лагерь. Жизнь во Франции, наезды в новую Россию, – все это помнят лишь единицы. А всех остальных волнуют новые имена, новые скандалы, новые судебные процессы… А был ли Абрам? Абрам Терц – замечательный русский писатель?..

Литературные псевдонимы – обычное дело. И никто не спорит по поводу Андрея Белого, Саши Черного, Максима Горького, Демьяна Бедного, Давида Самойлова, Михаила Светлова, Александра Володина и многих других. А вот сочетание Андрея Синявского с Абрамом Терцем вызывает почти бурю эмоций. Почему? Так исторически сложилось. Переплелись воедино человеческая судьба, литература и гнев Софьи Власьевны, то бишь советской власти. Она, эта советская власть, отправила Андрея Синявского в зону, эмиграция не приняла его и назвала Дантесом, убийцей Пушкина, а постсоветская Россия заклеймила его как клеветника и русофоба. Короче, все затерзали Абрама Терца.

Синявский часто вспоминал, как чекисты говорили ему: «Лучше бы ты человека убил». Оказывается, что его злые тексты были страшнее пистолетов.

Примерный советский литератор, благополучный профессор филологии захотел писать неканонические, а еретические тексты, за что и поплатился. Аввакумство на Руси всегда чревато

преследованием и гонением. Народу, массе, толпе всегда нужен враг, чтобы кричать «ату его!» Вот и «гуманист» Михаил Шолохов предлагал поставить Синявского-Терца к стенке. А что церемониться? Враг. Вражина!..

Писать своевольные тексты в СССР было нельзя, поэтому возникла у Синявского идея печататься на Западе. Но как? Конечно, под псевдонимом. Вспомнилась веселая песенка, разумеется, одесская: «Абрашка Терц, карманник всем известный…» И вот на Западе появился новый писатель Абрам Терц. Все с интересом стали читать его первые рассказы: «В цирке», «Суд идет», «Пхенц», «Графоманы», повесть «Любимов» и другие. Все гадали, Терц – это кто? Эмигрант из Польши?.. Нет, это был научный сотрудник Института мировой литературы, член Союза писателей СССР, преподаватель Школы-студии МХАТ, один из критиков «Нового мира», московский профессор Андрей Донатович Синявский.

Его друг Юлий Даниэль, тоже решившийся тайно печататься на Западе, будучи евреем, взял русский псевдоним Николая Аржака, а русский Синявский превратился в еврея Абрама Терца. И не случайно, ибо еврейство – это особый знак неприкаянности, изгойства, выделение и отделение от толпы. И, конечно, Синявский хорошо помнил строки Марины Цветаевой:

> В сем христианнейшем из миров
> поэты – жиды.

Так Синявский стал Терцем. Когда все это открылось, многие кричали: раздвоение личности. Но было и иное мнение: удвоение личности, расширение духовного мира. Соединение русскости с еврейством – очень благодатный и эффективный сплав.

В статье «Диссидентство как личный опыт» (1982) Андрей Синявский писал: «С самого начала литературной работы у меня появилось, независимо от собственной воли, своего рода раздвоение личности… Это – раздвоение между авторским лицом Абрама Терца и моей человеческой натурой (а также научно-академическим обликом) Андрея Синявского. Как человек я склонен к спокойной, мирной, кабинетной жизни и вполне ординарен. Соответственно, и люди чаще всего ко мне, как к человеку, доброжелательно относятся… Мой темный писательский двойник по имени Абрам Терц, в отличие от Андрея Синявского, склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги, что и навлекло на его и, соответственно, на мою голову массу неприятностей. Мне представляется, однако, что это «раздвоение личности», не вопрос

моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц – стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском».

Это подтверждает Мария Розанова, жена Синявского-Терца, его боевой и литературный товарищ: «Абрам Терц и Андрей Синявский – это разные стилистики. В парижской Сорбонне читает лекции профессор Синявский – человек достаточно занудливый, несколько косноязычный, академичный, переполненный цитатами, ссылками и сносками. А вот Абрам Терц – это веселый, очень жесткий герой, способный пройтись по любому потолку. И общее у них только одно: оба косят на левый глаз… Я вообще считаю, что человек и писатель – это разные люди».

И, пожалуй, последнее из терцианы. Сам Синявский так зрительно представлял себе Абрама Терца: «Он гораздо моложе меня. Высок. Худ. Усики, кепочка. Ходит руки в брюки, качающейся походкой. В любой момент готов полоснуть не ножичком, а резким словцом, перевернутым общим местом, сравнением… Терц – мой овеществленный стиль, так выглядел бы его носитель».

А теперь вернемся к истокам Андрея Донатовича Синявского. Он родился 8 октября 1925 года в Москве. Отец Донат Евгеньевич из дворянской семьи, со студенческих лет ушедший в революционное движение. Был эсером. В советское время арестовывался трижды. Мать Евдокия Ивановна из крестьян, училась на Бестужевских курсах, работала в главной библиотеке, в Ленинке. Когда родился будущий возмутитель общественных и государственных устоев, он не был Андреем, а был назван Донатом (Донат Донатович). Аккурат в это время во дворе появилась собака, и ее звали Дези, почти как маленького мальчика – Деська. Мальчик взмолился о перемене имени. Маленький Донат хотел стать Робертом (он только что прочел «Дети капитана Гранта»), но мать воспротивилась, и юный Синявский получил имя маминого брата-монаха на Афоне – Андрей. С тех пор он – Андрей Синявский.

А далее школа, первый написанный рассказ «Карлики», призыв в Красную армию (служил радиомехаником на аэродроме). Поступление на филфак МГУ, спецсеминар по Маяковскому у доцента Виктора Дувакина. Аспирантура. Первые публикации. Кандидатская «Роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 1955 год – знакомство с Марией Розановой-Кругликовой («Просто это был единственный человек, с которым мне не было скучно», – скажет позднее Мария Васильевна, жена Синявского).

А далее 1956 год – француженка Элен Пельтье-Замойская вывозила из СССР рукопись повести «Суд идет» – вместо Андрея Синявского миру явлен Абрам Терц. Встреча с французской студенткой, дочерью французского военного морского атташе адмирала Пельтье, оказалась, – боже, как я не люблю этого слова, – судьбоносной. Шел 1947 год. Соответствующие органы, видя особые отношения студента Синявского с француженкой, да не простой, решили завербовать будущего Терца следить за ней и доносить. Короче говоря, сделаться агентом, доносителем. Сложный случай: что делать? И Андрей Синявский нашел ответ: рассказать всё Элен. Она оценила этот мужественный поступок и позднее стала тайным перевозчиком произведений Синявского на Запад. Резюме: вместо любовного романа Синявский выдал государственную тайну и обрел верную дружбу с иностранкой.

С того 1956 года пошло раздвоение личности. Андрей Синявский пишет свои отдельные труды, в том числе нашумевшую книгу в соавторстве с Игорем Голомштоком – «Пикассо». А параллельно на Западе выходят книги Абрама Терца, в том числе и нашумевшая статья «Что такое социалистический реализм?» В этом трактате Абрам Терц и камня не оставил от метода социалистического реализма, чем вызвал восхищение самого Владимира Набокова.

Почти 10 лет продолжалась эта игра с огнем, эти жмурки Синявского с Терцем, и сбылось то, что предрекали Синявскому в его веселые студенческие годы:

> У Андрюши есть один пробел:
> Он еще по тюрьмам не сидел!
> Знаем – сядет, не иначе,
> Ведь характер что-то значит,
> Понесем Андрюше передачу!

Это пелось тогда на мотив песни «Гоп со смыком». И вот спустя годы Андрея Синявского, не студента, а профессора, доблестные чекисты вычислили и арестовали. Не случайно Мария Розанова постоянно записывала одно и то же: «Ждем публикации и ареста…» 8 сентября 1965 года Синявского арестовали у Никитских ворот, когда он ехал читать лекцию в Школу-студию МХАТ (одним из студентов которой был Владимир Высоцкий). «Два мордатых сатрапа, со зверским выражением, с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте…»

Арестовали Синявского и подвергли судебно-психиатрической экспертизе: не сумасшедший ли? Ну, как Чаадаев… Нет, согласно заключению, Синявский никаким

психическим заболеванием не страдал. Вполне вменяемый. По своему характеру не деятель, а созерцатель. Ладно, психика психикой, а как вот то, что он пишет? Брежневский режим боялся каждого слова, тем более критического. И параллельно психиатрам засели за работу писатели-эксперты, глубоко «копая» тексты арестованного профессора. И «выяснили», что «для всех художественных произведений А. Терца характерны претенциозность, манерничанье, мнимое глубокомыслие…» И – «Художественное творчество А. Терца в целом несостоятельно и стилистически…» И самый главный вывод: «А. Д. Синявский и А. Терц – одно лицо».

В газетах была выдан мощный залп – «Перевертыш» (статья Дмитрия Еремина) и «Наследники Смердякова» (Зоя Кедрина). Проходили повсюду собрания, и все гневно осуждали Синявского и Даниэля. Даже Светлана Аллилуева, дочь Сталина, заявила по поводу Андрея Синявского: он нам наплевал в лицо… Общее место всех выступлений: «Это лай из подворотни, а не литература». И коронный патриотический взрыд: «Родина его воспитала, все ему дала, а он, а он!..» Короче: предатель, государственный преступник!

10–14 февраля 1966 года проходил судебный процесс. Впервые в истории судебных процессов в СССР подсудимые своей вины не признали. Андрей Синявский упрямо твердил, что у него с советской властью не идеологические, а эстетические расхождения. В своем последнем слове на суде он говорил: «Вот у меня в неопубликованном рассказе «Пхенц» есть фраза, которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, если я другой, так уж сразу ругаться…» Так вот: я другой… В здешней наэлектризованной фантастической атмосфере врагом может считаться любой «другой» человек. Но это не объективный способ нахождения истины».

Справедливости ради надо сказать, что многие честные писатели поддержали Синявского и Даниэля (письмо 62-х писателей, включая Паустовского и Лидию Чуковскую). По многим странам мира прошла волна протестов против процесса и приговора. А приговор был таков: Синявского приговорили к 7, а Даниэля – к 5 годам лагерей строгого режима. Свой срок заключения Синявский отбывал в мордовских лагерях на тяжелых работах. Зигзаг судьбы: после Мордовии Синявский оказался в Париже, в Сорбонне. Однажды его спросили, где было труднее: в лагере среди заключенных или в Париже среди русской эмиграции? Синявский ответил: «Среди эмиграции. В лагере я себя чувствовал свободнее».

Все годы заключения Синявский писал, именно там, в

Мордовии, он начал свои скандально знаменитые «Прогулки с Пушкиным». Писал письма жене. Мария Розанова вспоминала: «Синявский отправлял свои эпистолы 5 и 20-го числа каждого месяца… За лагерные годы я получила от А. С. 127 писем и написала ему 885…»

127 писем из Мертвого дома – письма о лагерной жизни, о любви, литературные зарисовки, – они изданы, и можно их прочитать. «Там, в лагере, я как бы нашел себя, свой стиль, свой взгляд», – признавался Синявский позднее.

Вот начало одного из писем Синявского жене: «Милая Машенька, у меня на тумбочке (чуть было не сказал – на балконе) стоит букет полевых цветов, собранных в зоне, и от него нельзя оторваться, и я смотрю на него и люблю тебя…» (20 мая 1970).

В лагере, на зоне писателю удалось написать три книги: «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя»».

«Голос из хора» – особая книга. Лагерь, по Синявскому, – «весь Советский Союз вокруг тебя, в миниатюре и в сгущенном виде». Тут встретились: «писатель и народ, и, соответственно, неочищенный, неполированный, живой язык. Вот несколько таких речений:

«Под ножом каждая даст. Но еще вопрос – будет ли она подмахивать?»

«О «Декларации прав человека» начальник отряда сказал: «Вы не поняли. Это – не для вас. Это – для негров».

Ну, и прочие замечательные перлы: «В Ленинграде все дома – архитектурные! Заходи в любой подъезд и любуйся на голых ангелов». «Просто по своей скромности я не решаюсь вас послать на три буквы», «Я человек надрывистый!» «Все одеты в шляпах» и т. д. «Чтобы из этого не получился какой-нибудь сыктывкар».

Хор, окружавший Синявского, был разноязыкий и пестрый, и писатель наслаждался его голосами.

А тем временем Мария Васильевна Розанова билась за освобождение мужа, и 8 июня 1971 года Андрей Синявский был досрочно освобожден без признания вины – помилован Президиумом Верховного совета РСФСР.

Дальше – воля. Работы не нашлось, возможностей для публикации не было, и в 1978 году по приглашению французских славистов и с согласия советских властей Синявский с женой и сыном Егором (до ареста он успел его, крохотного, подержать на руках) уезжает во Францию. И поселился в пригороде Большого Парижа – в Фонтене-о-Роз. Начались годы эмиграции…

«Ведь я почему эмигрировал? – объяснял Андрей Донатович. – По единственной причине: хотел остаться собою, Абрамом Терцем, продолжать писать. И мне сказали: не уедете –

значит, поедете обратно в лагерь. Вы говорите: возвратиться в Россию. А зачем возвращаться? За материалом? Материала у меня хватает. Писать там? Вроде бы свобода слова, но уж очень зыбкая. Кроме того, я считаю, что писателю все равно, где его тело находится, ежели он продолжает работать…»

Это было сказано в июле 1991 года, за месяц до развала СССР.

Итак, Синявский утверждал, что ему, как писателю, все равно, где писать: на Западе или в России. Но что удивительно: как в свое время он стилистически разошелся с советской властью, и власть его отторгла, точно так же он разошелся и с эмиграцией. Он оставался чужим среди русских в Париже. Чужой среди своих. Удивительно!..

Но, невзирая ни на что, Синявский продолжал работать. Читал курс русской литературы в парижском университете «Гран Пале». Сотрудничал с журналами «Континент» и «Синтаксис». Разъезжал с лекциями по странам, был удостоен звания почетного доктора Гарвардского университета. Не расставался со своей «утрированной прозой». Но после выхода в свет «Прогулок с Пушкиным» в 1975 году (первое издание в Лондоне) разразился грандиозный скандал. Почти все были возмущены, как можно поднять руку на «наше все» и так непиететно писать о светиле русской поэзии. Одна только фраза о «тоненьких эротических ножках» Пушкина взбеленила многих, а некоторых пушкинистов после этого хватил почти удар.

Давний эмигрант Роман Гуль тут же написал отповедь Синявскому: «Прогулки хама с Пушкиным». Какая-то дама развернула плакат: «Стыд и срам, товарищ Абрам!» Негодовали не только на Западе, но и в России. Получилось так, что Синявского атаковали со всех сторон. Стреляли все, от генералов с Лубянки до еврейских активистов, и даже близкий друг писателя Алик Гинзбург метал громы и молнии в адрес Синявского. А он упорно отстаивал свою позицию: «Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно». И погулял. Раскованно по-моцартиански. Без пафоса перед гением.

В статье «Диссидентство как личный опыт» Андрей Донатович с горечью писал: «В эмиграции я начал понимать, что я не только враг советской власти, но и вообще – враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только – враг… В Советском Союзе я был «агентом империализма», здесь, в эмиграции, я – «агент Москвы». Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше

действительности. Грозное возмездие настигает меня оттуда и отсюда. За одни и те же книги, за одни и те же высказывания, за один и тот же стиль. За одно и то же преступление…»

Любопытное свидетельство Сергея Довлатова после первой встречи с Синявским в мае 1981 года: «Андрей Синявский меня разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Неловкий и даже смешной. Походил на деревенского мужичка. На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому что у него мысли…»

В быту Андрей Синявский выглядел не героически: действительно был похож на старичка-лесовичка с большой седой бородой. Добродушный и мудрый, почти сказочный гном. Рядом с ним неизменно присутствовала Мария Васильевна Розанова, супруга, отважная и неуемная. «Мы с Марьей Васильевной по характеру очень разные, – говорил Андрей Донатович. – В взглядах сходимся, а характерами – нет». «Независимость – моя идея фикс», – не раз подчеркивала Розанова. Как они уживались, – об этом она рассказала в своих мемуарах «Абрам да Марья».

30 декабря 1988 года в Москве умер Юлий Даниэль. Синявский рвался из Парижа на похороны друга («Как часто он меня выручал!..») Но власти не пустили. Впустили чуть ли не на сороковой день. Первые дни на родине Андрей Донатович ходил как потерянный. «Что с вами?» – спросил сопровождавший его Дмитрий Крымов. «Кругом русская речь», – ответил Синявский.

Москва поразила: множество ночных клубов, «Казанова» «Титаник». «Неужели они ничего не знают о судьбе «Титаника»? – удивлялся Синявский. О новых ценностях в последнем своем интервью он выразил недоумение: «Ну богатеют… Какой здесь идеал?..»

В 1993 году Синявский резко осудил расстрел Белого дома. Он был одним из первых, кто почувствовал запах грядущей тоталитарной системы. Публично ругал старую и новую Россию, спорил с ура-патриотами, дразнил демократов. И все время пел не в унисон со всеми.

Не уставал работать. Среди написанного – «Иван-дурак. Очерки русской народной веры». В них Андрей Синявский утверждал, что «все-таки самое главное в русском человеке – что нечего терять… Спьяна, за Россию, грудь настежь! Стреляйте, гады! Не гостеприимство – отчаяние». И на эту же тему в одном из интервью: «Пьют из потребности как-то чудесно преобразить мир. Если угодно, воровство и пьянство – это тоже тяготение к

искусству».

Среди последних работ Синявского – «Кошкин дом» («роман дальнего следования»), написанный на компьютере (Марья Васильевна заставила). Удивительно полетная вещь. Воссоздание на бумаге чудных звуков и знаков препинания рисовалось магией, колдовством, но было мне даровано свыше… Почти как – чудо. Ангелы летают.

Действительно, Андрей Синявский писал так – легко и воздушно. Он – классик восстановленного жанра, искусства фрагмента, детали, «опавшего листа», как у любимого им Василия Розанова. Синявский, можно сказать, несгибаемый модернист. «Меня вообще привлекает неотчетливый жанр, когда как бы неизвестно, что это: критика или художественная литература, так называемая филологическая проза» (ЛГ, 8 авг. 1990).

И главный вопрос: «Почему мы все-таки пишем?» – так назвал свою статью-эссе Андрей Синявский, написанную в Лейпциге в 1995 году. В ней Синявский перефразировал известную максиму: «Я пишу. Следовательно, я существую». Сослался на дневник Эжена Ионеско: «Я пишу, пишу, ведь я писатель! А что еще делать писателю? Он пишет, писатель пишет. Он родился, чтобы писать. В этом его предназначение. Писателю приятно писать, отчего бы писателю не писать? Никто не мешает писателю писать». Синявский упорно верил, что «искусство глубинными корнями уходит в магию», что слово способно сотворить чудо. И что искусство – это всегда надежда. «Мы пишем лишь потому, что самое лучшее, самое прекрасное еще не написано».

В декабре 1966 года Андрей Синявский закончил роман «Кошкин дом», он уже знал, что неизлечимо болен (рак легких). В нем много грустного. «Рукопожатие смерти. Ни с того ни с сего рука или нога выходят из строя, из повиновения, их почему-то скрючивает и начинает мелко трясти… Пальцы перекручены и не могут попасть в собственную прорезь. Пуговицы не слушаются. Все шиворот-навыворот. Завалили, бляди? Вечно не тот номер… Действительно, пока до Бога дойдешь, все ноги обломаешь…»

25 февраля 1997 года Андрея Донатовича Синявского (Абрама Терца) не стало. Он умер на 72-м году жизни. Его похоронили на кладбище Фонтене-о-Роз. В Москве в храме святой Мученицы Татьяны прошла панихида по усопшему. Отец Владимир сказал: «Андрей Донатович был одним из самых смиренных людей, которых я знал, и при этом был дерзновеннейшим писателем». Литературным бунтарем Абрамом Терцем.

«Отпевали Донатыча…» – так начал свое стихотворение Андрей Вознесенский (Андрей об Андрее). «…Он отплывал

пиратствовать / в воды, где ждет Харон. /Сатана или Санта-Мария / встретят паром…» И далее вопрос: «Стилист? Хулиган? Двурушник?..» Действительно, кем же все же был «Андрей Фанатович»?..

Спустя несколько лет, в 2005 году, в Москве прошла Международная конференция под названием «Андрей Синявский – Абрам Терц: облик, образ, маска».

Я бы сказал: прежде всего – человек!

«Жизнь человека похожа на служебную командировку. Она коротка и ответственна… Тебе поставлены сроки и отпущены суммы. И не тебе одному. Все мы на земле не гости и не хозяева, не туристы и не туземцы. Все мы – командировочные», – писал Андрей Синявский в «Мыслях врасплох».

И там же: «Довольно твердить о человеке. Пора подумать о Боге».

Но тянет вернуться к Андрею Синявскому и Абраму Терцу. Кем он все же был? Искусником для искусства? Стилистом-эссеистом, любящим дразнить гусей, а заодно и живых двуногих? Человеком, который упорно шел своей дорогой, наперекор общественным вкусам, привязанностям и ожиданиям?.. Можно сказать так, а можно иначе. Но главное – он БЫЛ. И мы с благодарностью его вспоминаем.

Жил отважный Даниэль… Юлий Даниэль (1925–1988)

Раз написали о Синявском, то непременно надо вспомнить и Даниэля. В историю многострадальной советской литературы Синявский и Даниэль вошли вместе, тандемом, именно с них началось движение за права человека. Они прорвали сталинскую блокаду. И провозгласили забытую формулу первого букваря: «Мы – не рабы».

Для нового интернетного поколения, мало интересующегося старыми героями, кумирами и жертвами и подпавшего целиком под влияние и очарование гламура и шоу-бизнеса, расскажем внове о Юлии Даниэле. Как в старой песенке: «Жил отважный Даниэль!..» Хотя он не был отважным капитаном, а был всего лишь рядовым. Рядовым в армии и солдатом в литературе. Но при этом человеком весьма неординарным и со своей необычной судьбой. Да и писатель неоднозначный, не линейный. Скорее: писатель-экзистенциалист, любящий повозиться в «пограничной ситуации».

Юлий Маркович Даниэль родился 15 ноября 1925 года в Москве. Типичный московский мальчик. Мать – Мина Павловна Звенигородская. Отец – Марк Наумович Меерович, еврейский писатель, печатавшийся на идиш под псевдонимом М. Даниэль. Его пьесу «Соломон Маймон» поставили в ГОСЕТе (режиссер-постановщик Михоэлс, в роли Соломона – Зускин, а декорации придумал Роберт Фальк). И в детстве маленький Юлик видел в доме многих этих знаменитых людей и рассказывал впоследствии: «Знаешь ли, совсем близко видел!» Отец умер рано, не успев разделить кровавую участь своих товарищей по театру.

«Отец, – вспоминал Юлий Даниэль, – очень не хотел, чтобы я пошел по его стопам. Почему? Наверное, предчувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. И как в воду глядел…»

Писать Юлий начал рано, с 12 лет, и сразу увлекся поэтическими переводами. Когда грянула война, ему было 15 лет. Это был правильный, благородный и патриотический мальчик. Когда бегал в школу мимо дома у Чистых прудов, где на фасаде выделялась фигура рыцаря, то неизменно останавливался и отдавал рыцарю честь. Ну, и, конечно, решил пойти на войну добровольцем. Будучи в эвакуации в Ершово Саратовской области, отправился на поиски военкомата. По дороге его задержали как шпиона (деревенскому пареньку показалась его московская внешность подозрительной). Естественно, отпустили, а по поводу армии сказали: «Надо будет – вызовем». И скоро вызвали. В 1943 году в 17 лет Юлий Даниэль попал на фронт.

На войне у всех была разная судьба: кто прошел по ее дорогам до конца, кто пал в первом же бою, кому суждено было стать героем, а кто оказался без всяких наград… Даниэлю выпала роковая роль пушечного мяса. Плохо обученному, неопытному солдату было приказано ползти через поле, открытое немецким снайперам с трех сторон. «Несколько раз уже наши батальоны пытались взять какие-то рубежи, и каждый раз их отбрасывали. Дошел черед и до нас. С утра раздали гранаты, объяснили, что наступать будем по полю, ползти к опушке, по свистку поднимемся и побежим в атаку…» – вспоминал Даниэль в своей неоконченной книге.

И что дальше? Тяжелое ранение (и хорошо, что смерть миновала). «Не знаю, почему я не слышал ни стрельбы, ни криков; наверное, они были – просто я уже, должно быть, выключился из войны, и мои чувства отсекали все, что не относилось к моему телу, худому и пыльному телу с нелепо вывернутой мертвой рукой.

Я стал задремывать. Наверное, я так люблю спать сейчас, потому что недоспал там, в этой яме, под тихим небом Литвы и Пруссии – так я и не узнал, где это случилось…»

Так вот, без всякого геройства, в 1944 году закончилась война для молодого Даниэля. Его демобилизовали по инвалидности. «Я вернулся в Москву в самом начале марта 1945 года. На мне были сапоги и шинель. Рука у меня была на привязи…» Однако молодость питалась надеждами. «Позади было то же самое, что у большинства моих сверстников; впереди – нечто совершенно ослепительное и бесконечное. Надо было только потрясти мир своими стихами и объясниться с девушкой, в которую я был влюблен, причем первое было, на мой взгляд, много проще».

Наивный романтизм. Ничего не изменилось со времени гетевского Вертера. У венгерского поэта Шандора Петефи на этот счет есть замечательные строки:

О, наши надежды, прекрасные птицы!
Все выше их вольная стая стремится,
Куда и орлы подымаются редко —
В простор поднебесный, и чистый, и ясный…
Действительность, этот охотник бесстрастный,
Стреляет в них метко!

Любовь получилась. В 1950 году Юлий Даниэль женился на Ларисе Богораз, в браке родился сын Александр. Хотел поступить в Щепкинское училище, но срезался во втором туре приемных экзаменов. Голос был прекрасный, а вот дара перевоплощения экзаменаторы не обнаружили. Пришлось поступать в Московский областной пединститут и по окончании его отправиться учителем в райцентр Людиново Калужской области. Однако учительствовал не долго. «С начальством не ладил. Мог встать и сказать, что я думаю о районном отделе народного образования и о тех, кто приходил к нам учить нас, как учить, сам в этом ничего не понимая».

Да, Даниэль оказался строптивым «товарищем» и напрочь отвергал конформизм. Очень хотелось писать, самовыражаться, он понимал, что в условиях тоталитарной системы это совсем не просто, и поэтому с головой ушел в переводы. В период 1957–1965 годов подготовил около 40 поэтических сборников. Переводил с идиш, со славянских и кавказских языков. «Он был профессиональным переводчиком высокого класса», – отмечал Давид Самойлов. И вспоминал, как весной 1962 года Андрей Синявский привел к нему своего друга послушать стихи. Друга звали Юлий Даниэль. Это был молодой человек, немного меня моложе, узколицый, с темными волосами на косой пробор, узкоплечий, чуть сутуловатый, с застенчивой улыбкой, негромким смешком. Типичный московский интеллигент и по манере держаться, и по одежде, и по словам…»

Даниэль и Синявский были не только друзья, но и единомышленники, и когда Синявский предложил Даниэлю переслать свои рукописи за границу и печататься в Тамиздате под псевдонимом, тот тут же согласился. «А тюрьма?» – спросил Синявский. «Не пугает», – ответил Даниэль. И вскоре на Западе появились произведения двух новых писателей: Абрама Терца и Николая Аржака.

На Западе первой появилась проза Юлия Даниэля, а уже

позднее в Амстердаме вышел сборник «Стихи из неволи». Среди прозы под именем Николая Аржака за рубежом вышли рассказы и повести: «Руки», «Человек из МИНАПа», «Искупление». Главной и сенсационной стала повесть «Говорит Москва» (Вашингтон, изд. им. Чехова, 1963).

«Говорит Москва» – современная антиутопия. Суть тоталитаризма доведена до гротеска. Компания молодых людей в прекрасный воскресный день услышала по радио дикторское сообщение: «Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем Указ Верховного Совета Союза Советских Социалистических республик от 16 июля 1960 года. В связи с растущим благосостоянием… навстречу пожеланиям широких масс трудящихся… объявить воскресенье 10 августа 1960 года… Днем открытых убийств…» А далее излагались подробности: кого можно убивать, кого нельзя. И в конце: «Москва. Кремль. Председатель Президиума Верховного…» Потом радио сказало: «Передаем концерт легкой музыки…»

После этого ошеломительного указа Даниэль описывал реакцию компании молодых людей и что затем происходило на улицах. Фантасмагория в стиле Франца Кафки, но исходящая из реальности существующего строя: указано – сделано. Один из героев тут же вспомнил 1937 год: «То же самое. Полная свобода умерщвления. Только тогда был соус: а сейчас безо всего. Убивайте – и баста! И потом, тогда к услугам убийц был целый аппарат, огромные штаты, а сейчас – извольте сами. На самообслуживании».

Пройдут десятилетия, и эти строки в начале XXI века читаются зловеще злободневно (писатели – пророки, и Даниэль – один из них).

День артиллериста, День печати, День международной пролетарской солидарности, День открытых убийств… Все из одной оперы!..

Псевдонимы в конечном счете были раскрыты, и Синявского с Даниэлем «повязали». Юлий Даниэль был арестован 12 сентября 1965 года. Далее последовало печально знаменитое судилище, и Даниэль получил 5 лет изоляции за публикацию «антисоветских рассказов» за границею и их распространение в кругу знакомых. Набранная книжка «Бегство» была мгновенно пущена под нож. Она появилась в журнале «Пионер» лишь в 1989 году, после смерти Даниэля.

У Александра Герцена есть фраза о «внутреннем раскрепощении при наружном рабстве». Даниэль, как и Синявский, отринул рабство, не признал за собой никакой вины и на суде держался мужественно и достойно. «Кого же вы

ненавидите? Кого вы хотите уничтожить?» – спрашивал прокурор на суде, а Даниэль ответил вопросом: «К кому вы обращаетесь? Ко мне, к герою или к кому-нибудь еще?»

В последнем слове Даниэль сказал: «Мне говорят: вы оклеветали страну, народ, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло быть, если вспомнить преступления во время культа личности, они гораздо страшнее того, что написано у меня и у Синявского…»

На суде Юлий Даниэль не признал себя виновным ни в какой контрреволюционной деятельности, он сделал «признание» в повести «Говорит Москва», вложив в уста своего героя Анатолия Карцева следующее рассуждение: «Вот я пишу и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать и прочесть некому. Переправить за границу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да по правде говоря, это и не очень красиво – печататься в антисоветских изданиях».

Литературный герой Даниэля сомневался, а сам писатель не сомневался: он хотел писать то, что его волновало, тревожило и возмущало в жизни родной страны. За что он получил сполна: сначала лубянская камера, затем мордовский концентрационный лагерь, Владимирская тюрьма и калужская ссылка – «Этапы большого пути».

«Лагерь находился в Мордовии, – вспоминал Даниэль, – он назывался Дубровлаг. Конечно, по сравнению со сталинским страшным временем режим в лагере был более либеральный, обижаться было бы просто неприлично. Самое трудное было свыкнуться с мыслью, что ты на целых пять лет лишен свободы. Как отбывал наказание? Сначала работал грузчиком, разгружал бревна…» От напряжения из раненой руки начал выходить осколок, после чего Даниэля перекинули на более легкую работу: шить рукавицы, плести авоськи. Ну, и еще что-то в этом роде.

Плести авоськи – это не стихи писать! Однако Даниэль продолжал писать стихи и даже занимался переводами, в том числе французского поэта Теофиля Готье. Переводил на русский еще и своего солагерника, латышского поэта Кнута Скуениекса. Разумеется, все то, что писал, приходилось прятать. Еще бы, его лагерные стихи вряд ли понравились бы начальству. «За неделею неделя / Тает в дыме сигарет, / В этом странном заведеньи / Все как будто сон и бред…» «Страна моя, скажи мне хоть словечко! / Перед тобой душа моя чиста…» В этих и других строках –

отчаянье, тоска, тревога. А порой накатывала и бесшабашность:

В бесконечном ожиданье,
Как труп щетиною оброс…
– Давай еще одну раздавим,
Обмоем пачку папирос.

Моей тоске еврейско-русской
Сродни и водка, и кровать…
Да хрен с ней с этою закуской,
Пора остатки допивать.

Пора допить остатки смеха,
Допить измены, страсть и труд!
– Хана, дружок мой. Я приехал.
Пускай войдут и заберут.

И, пожалуй, лучшее стихотворение Даниэля «Часовой» об охраннике:

Не палач, не дурак обозленный,
Не убийца, влюбленный в свинец,
А тщедушный, очкастый, зеленый
В сапогах и пилотке юнец.

Эй, на вышке! Мальчишка на вышке!
Как с тобою случилась беда?
Ты ж заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда.

Это ж дело хорошего вкуса:
Отвергать откровенное зло.
Слушай, парень, с какого ты курса?
Как на вышку тебя занесло?..

Стихи и письма – вот что помогало выжить в лагере и тюрьме. Александр Даниэль в предисловии к сборнику отца «Я все сбиваюсь на литературу…». Письма из заключения» отмечал: «О чем пишет своим друзьям «особо опасный государственный преступник» Ю. М. Даниэль? Да собственно говоря, ни о чем особенном. Об украинском изобразительном искусстве. О малых жанрах и польской поэзии. О показанном вчера в клубе фильме и о том, на какие мысли оный фильм его навел. О товарищах по

заключению… О Сент-Экзюпери. О погоде».

75 писем было разрешено написать Даниэлю из неволи. Закалился ли он там, в несвободе? «Нет, эти годы не сделали меня ни более мужественным, ни более стойким и сильным…» И все же одно изменение в нем произошло: он, по его признанию, стал с большей иронией относиться к собственной персоне. «А это, знаете ли, оч-чень помогает при всяких неурядицах».

«Я увидел Юлия Даниэля вскоре после его освобождения у себя за столом в поселке Опалиха, – вспоминал Давид Самойлов. – Он был усталым, еще больше похудевшим, ничуть не громче обычного, но совершенно не сломленный, не прибитый. Естественный, как всегда. Естественность – одна из главных черт его характера. Я добавил бы – естественного благородства… В нем была абсолютная убедительность человека моральной нравственности… Важнейшей чертой его нравственных установок была их человечность. Он никогда не требовал от человека поступка сверх сил, жертвенного или эффектного… Он был не из тех, кто в атаках кричит «ура!» сзади строя, а среди тех, кто молча бросается на пулемет. Он отнюдь не считал назначением человека бросаться на пулемет. Это был последний выход, если других не было».

Прибавим к сказанному и воспоминания второй жены Даниэля Ирины Уваровой: «У него не было культа Победы – и он был совершенно равнодушен к ветеранским почестям… Никогда не ходил ни на встречи ветеранов, ни на парады… Хотя любил смотреть «кино про войну» и петь фронтовые песни про товарища Сталина. Кто-то пошутил: «Можно записать пластинку «Песни про товарища Сталина в исполнении гражданина Даниэля», продавать в Грузии – и стать миллионером!»

И еще Уварова говорила о муже: «Все самое важное в жизни его отмечено единой, очень цельной позицией. Уйти мальчишкой защищать родину – потому что на нее напал враг. Защищать ее от внутренней сволочи – потому что таков долг писателя и гражданина».

Именно из своей позиции Юлий Даниэль не уехал из страны, в отличие от Андрея Синявского. Он веско отвечал на вопрос «Почему?» коротким и энергичным «Не хочу!» Ему разрешили печататься, но под псевдонимом, который он называл «крепостным» – Ю. Петров. Переводил многих: Артюра Рембо, Поля Верлена, Байрона, Вордсворта, Мачадо и других поэтов, близких ему по духу. Писал отдельные статьи (ответ Игорю Шафаревичу) и так и не закончил автобиографическую книгу.

По убеждению Ирины Уваровой, «в глубине души он не был писателем – он был классический читатель. Я не встречала

человека, который бы так любил книгу, чужое слово. Как переводчик он чувствовал себя включенным в этот драгоценный для него процесс литературы…»

Любопытно и свидетельство сына Александра: «Мой отец был очень мужественным человеком, но источником его мужества было все же легкомыслие…» Не отсюда ли берут истоки следующие строчки из стихотворения «Профессиональная лирическая»:

Профессия, конечно, не без риска,
Но все ж она отменно хороша:
Ведь для нее достаточно огрызка
Карандаша!
А со стихами срок совсем недолог,
ШИЗО – пустяк,
Баланда – не беда;
А был бы я, к примеру, гинеколог —
А что тогда?

Действительно, ветерок легкомыслия. Но это не меняло сути, цельной натуры Даниэля. Показательно, из своего нашумевшего «диссидентства» он не сделал ни профессии, ни промысла. Он занимался исключительно литературой. И честно жил на земле.

«Я наверное, родился под счастливой звездой: мне очень везет в жизни, – признавался Даниэль корреспонденту «Книжного обозрения». – У меня были прекрасные родители – добрые, веселые, талантливые. Я был на войне и остался жив. Я с детства хотел стать литератором – и стал им. Заключение, кажется, не испортило во мне характер, не изломало, не озлобило. Женщины, которых я любил, любили меня, и о каждой я думаю с нежностью и благодарностью. И особенно удачлив я был в общении. Пестрая моя судьба послала мне столько замечательных людей, что их хватило бы на сотню таких, как я…»

Все было. Не было только здоровья. Оно было хрупкое от природы и подорванное войной. Юлий Даниэль держался в основном силою духа. Жил и дышал литературной работой.

В недописанной книге Даниэля есть такие строки: «Я не хотел бы умереть внезапно…»

«Смерть. Я думаю о ней все больше и больше. И не то чтобы я чуял ее близость. Нет, этого я не чувствую и не знаю, какой мне отпущен срок. Просто я с годами стал понимать, что смерть есть часть жизни, и роптать на нее можно не в большей мере, чем на жизнь: плохая жизнь заслуживает нареканий и плохая смерть – тоже; хорошая жизнь вызывает благодарность, и хорошая

смерть…»

«Хорошая смерть»?

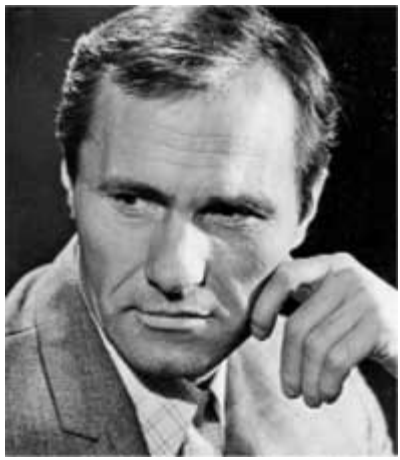
Юлия Марковича Даниэля настиг инсульт, и 30 декабря 1988 года он скончался. В 63 года. Хоронили его 2 января на Ваганьковском кладбище в трескучий мороз. Народа было много…

«Милый Юлька, – записывал Андрей Синявский. – Как это грустно и смешно изображать «писательство», сидя дома, где тебя уже нет. Перед телевидением. Для понта. Не знаю, как все это расценить. Но ты – в воздухе, ты в сердце и на уме. Невеселый кордебалет, в твоем духе. Смесь иронии и горечи».

На этом можно закончить. Но я приведу еще одну цитату из «Говорит Москва»: «Газеты – газетами, а совесть знать тоже надо».

Юлий Даниэль – человек с настоящей совестью. Он переживал и тревожился за Россию. «За эту проклятую, эту прекрасную страну».

Его герои – страдающие чудики. Василий Шукшин (1929–1974)



Василий Шукшин был очень популярен в конце 1960-х – начале 1970-х годах. И что удивительно: крамолу не писал, в диссидентах не ходил, но о советской несуразной жизни, о ее перекосах и перегибах писал ярко, точно и даже смачно. «У вас вечно горячее время! Все у вас горячее, только зарплата холодная» (рассказ «Ноль-ноль целых»).

Не знаю, читают ли ныне Шукшина с прежним рвением и запоем. Один из критиков заявил, что Шукшин затерялся в толпе «малых гениев» где-то между Глебом Успенским и Михаилом Зощенко. Канул в библиотечную Лету. А кто сегодня не канул? Кроме девушек-детективщиц, разумеется. Интриговать и развлекать – пожалуйста! Теребить раны – увольте… Если говорить о фильмах Шукшина, то их на ТВ не крутят. Некогда культовая «Калина красная» увяла среди расцветших убойных сериалов. Шукшинская лента не столь об уголовнике, сколь о болеющей душе. Душа опять же нынче не в моде. И остается повторить шукшинский вопрос: «Что с нами происходит?»

Но не будем ворчать и сетовать. Лучше вспомнить хотя бы вкратце отдельные факты из жизни Василия Макаровича Шукшина. Он появился на свет 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Вот уж точно родился не в рубашке. Отца, работающего механизатором, арестовали в 1933 году, и 4-летний Вася подивился: «Мама, куда это батю?» Матери с двумя маленькими детьми пришлось туго. Шукшин рос мальчишкой замкнутым, что называется, себе на уме. В общении со сверстниками держал себя строго и требовал, чтобы его

называли не Васей, а Василием. Уже в этом проявилось зерно будущей личности.

Детство выдалось Шукшину голодным, и пришлось рано начать зарабатывать деньги: колхозник, маляр, грузчик, слесарь-такелажник, ремонтник на железной дороге, строитель мостов. Все худо и тяжко? Нет, рос и мужал без уныния, любил играть на гармонии «Златые горы и реки, полные вина», под его «товарочку» плясали девчата.

Из первых увлечений: кино и книги. В юные годы кино завораживало, и Шукшин говорил своей подружке Маше Шумской: «Вот увидишь, сам кино сниму и сниматься буду». Подружка ласково успокаивала: «Будешь, будешь…», абсолютно не веря в фантазии Васи. А ведь сбылось: снимал и снимался.

Теперь о книгах. «Читал я действительно черт знает что, – признавался потом Шукшин устами Ивана Попова, героя своего рассказа, – вплоть до трудов академика Лысенко. Обожал всякие брошюры: нравилось, что они такие тоненькие, опрятные; отчесал за один присест – и в сторону…» Учительница из числа эвакуированных из старой петербургской интеллигенции вовремя вмешалась, и Шукшин стал читать – по специальному списку – русскую и зарубежную классику и часто вслух, матери и сестре.

«Мы залезали вечером на обширную печь, – вспоминал Шукшин, – и брали туда с собой лампу. И я начинал… Господи, какое это было наслаждение! Точно я жил большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать разные истории моим родным. Точно не книгу я держу поближе к лампе, а сам все это знаю. Когда мама удивлялась: «Ах, ты Господи! Глянь-ка!» – я чуть не стонал от счастья…»

Эти чтения, уже будучи взрослым, назвал праздником. И добавил: «Лучше пока не было».

Одна из любимых книг Шукшина – «Мартин Иден» Джека Лондона, юный Шукшин подражал этому герою. Считал книгу Джека Лондона своеобразным руководством к действию, как «писательский самоучитель». Как и Мартин Иден, Василий Шукшин «сильно натягивал тетиву своей жизни». Он выковывал именно такой характер.

В 18 лет последовал призыв на военную службу. Ее Шукшин проходил в Севастополе в одной из частей Черноморского флота в качестве радиста. Его девизом стали слова: «Не падай духом, знай работай да не трусь!» Свободное время молодой радист проводил в Морской библиотеке, именно в Севастополе начал писать свои первые рассказы. По язвенной болезни был комиссован и вернулся в родные Сростки. Преподавал в сельской школе русский язык и литературу. Помыкался на селе и, наконец,

решил податься в Москву «на писателя». Мать не стала препятствовать сыну, продала корову и снабдила сына деньгами. Так летом 1954 года 25-летний Шукшин оказался в Москве. Полувоенный костюм, гимнастерка, из-под которой виднелась тельняшка, брюки-клеш и сапоги. Среди модных молодых людей и тем более стиляг того времени Шукшин выглядел, конечно, белой вороной.

Опускаем детали, как поступил в институт, важен итог: Шукшин на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Михаила Ромма. В последнем своем интервью Шукшин вспоминал: «В институт я пришел глубоко сельским человеком, глубоко далеким от искусства. Мне казалось, всем было видно, что я здесь чужой человек. Я слишком поздно пришел в институт – в 25 лет, и начитанность моя была относительная, и знания мои были относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. Знаний я набирался отрывисто и как-то с пропуском. Кроме того, что я должен был узнавать то, что знают все и что я пропустил в жизни, я должен был выдерживать и еще отношение к себе. И неожиданно оно мне стало помогать. Потому что я стал до поры до времени таить, что ли, набранную силу. И, как ни странно, каким-то искривленным и неожиданным образом я подогревал в людях уверенность, что – правильно, это вы должны заниматься искусством, а не я, потому что я – вовсе лапоть. Сельский. Далекий, сибирский. Но я знал, наперед знал, что подкараулю в жизни момент, когда я… ну, окажусь более состоятельным, а они со своими бесконечными заявлениями об искусстве, окажутся несостоятельными. Все время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного…»

Вот такое интересное признание. То есть, будучи «лаптем», Шукшин ощущал в себе большую будущую силу. Или, как нынче модно говорить, потенциал. В этом смысле Шукшин был антиподом своего сокурсника Андрея Тарковского, тот знал, что он – гений, и не только не скрывал этого, а откровенно декларировал.

Еще учась в институте, Шукшин начал сниматься в кино. Дебют был скромный: во второй серии «Тихого Дона» Сергея Герасимова Шукшин сыграл – нет, громко сказано! – изобразил выглядывающего из-под плетня матроса. В 1959 году уже главная роль в фильме Марлена Хуциева «Два Федора» – Федор большой. И первый успех.

Сергей Бондарчук писал: «Его лицо выделялось среди привычных лиц экранных героев, оно поражало необыкновенной подлинностью. Словно это был вовсе не актер, а человек,

которого встретили на улице и пригласили сниматься. В Шукшине не было ничего актерского – наработанных приемов игры, совершенной дикции и пластики, которые обычно выдают профессионала. Меня, в ту пору уже достаточно опытного актера, Шукшин заинтересовал…»

Бондарчука Шукшин заинтересовал, а тех, от кого зависела дальнейшая судьба людей (как любил петь в студенческую пору Шукшин: «Ты, начальничек, ключик-чайничек…»), так вот, всех чайников-начальников Шукшин не заинтересовал. Один из многих. И пусть бьется, карабкается сам. Ему и пришлось карабкаться и биться.

После окончания ВГИКа Шукшин – не москвич, без прописки, жилья и работы. Приходилось скитаться по друзьям и даже ночевать на Казанском вокзале. Шутил, что по стольким квартирам мотался, что неизвестно, на каком доме должна висеть мемориальная доска.

Шукшин выдержал. Выстоял. Все преодолел. И главное: состоялся. Да и капризную славу сумел покорить. Как актер, режиссер и писатель.

Первый рассказ Шукшина – «Двое на телеге» – появился в 1958 году в журнале «Смена». За ним последовали другие. Увидели свет сборники рассказов: «Сельские жители», «Там, вдали», «Земляки», «Характеры», «Беседы при ясной луне». Как прозаик Шукшин снискал признание у читателей своей необычностью. Многие его рассказы драматичны, их герои страдают, болеют, гибнут. И почти все персонажи необычные в своих проявлениях, от слепого своеволия до лукавого деревенского придуривания. И еще какие-то чудики – вот за этих чудиков и вцепилась критика. Но за деревьями не разглядели леса. Шукшин писал не о чудачествах, а о национальном характере русского человека, о его боли, страдании, о подспудной безродности, о саднящем самозванстве, о людях без истинных корней, тоскующих и метущихся.

Вот диалог из рассказа «В профиль и анфас»:

«– А я не знаю, для чего работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» – не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался. А дальше что? – Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. – Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то…

– Заелись, – пояснил старик.

– И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало… Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

– Налей-ка, – попросил старик. Выпил, тоже сплюнул. –

Сороконожки, – вдруг зло сказал он. – Суетились на земле – туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого, машин понаделали, а… тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару… Скоро детей рожать разучитесь…

– Не скажи.

– И чуют ведь, что неладно живут, а все хорохорятся. «Размах!» А чего гнусишь тогда?»

Василий Шукшин возродил в русском искусстве жанр трагикомедии. Сами названия многих его рассказов («Мой зять украл машину дров», «Миль пардон, мадам!», «Раскас», «Шире шаг, маэстро!» и т. д.) говорят будто о несерьезности намерений автора, о шутейности, о невзаправдашности. Но, как заметил критик Игорь Золотусский, от шукшинского смеха не всегда смешно… ибо герой ломает комедию, а на душе у него кошки скребут…

Андрей Битов: «Я в 1974 году восхищался книгой Шукшина «Характеры». Трезвостью, точностью, зоркостью, лаконизмом, нервной переходной интонацией. Очень умный автор. Все видел. Не льстил. И до сих пор эти рассказы – как резцом врезаны в память».

Вспоминая Шукшина, Петр Тодоровский отмечал: «Обаяние у него было невероятной силы. Не устоишь. Улыбка – без края. И смеялся страшно заразительно… Никто не знает, откуда подобные самородки берутся. Огненный сплав таланта: режиссерского, писательского, актерского. Всего через край. Народ вытолкнул его из глубины души…»

Писатель Алексей Варламов подчеркивает общественно-социальную суть творчества Шукшина: «Сколько горьких судеб, сколько страдания и без вины виноватых людей появляются на страницах его рассказов и каким обвинительным актом звучат их голоса! Это непреднамеренная «критика режима» разительнее протестов тех, кто писал об этом на Западе. Непредвзятость суждений, бесхитростность персонажей и отказ от грубой пародии трогают больше, чем нагнетание страстей и построение философских концепций, как у иных из современников Шукшина вроде Зиновьева или Синявского…»

Но проза Шукшина далека от идилличности: он рисовал и злобных демагогов, подобных Глебу Капустину из рассказа «Срезал», и дуболома-бригадира Шурыгина, с наслаждением крушившего сельскую церковь («Крепкий мужик»), и своих деревенских Раскольников, упивающихся вседозволенностью («Сураз»). А еще живописал простолюдинов, заболевших интеллигентской хворобой.

Герои Шукшина не сельские жители и не городские, впрочем,

эта проблема особо его затрагивала: «Так у меня вышло к сорока годам, что я – ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не поплыть нельзя, и плыть вроде страшновато… Но в этом положении есть свои «плюсы»… От сравнений, от всяческих «оттуда-сюда» и «отсюда-туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» – о России».

Поначалу актерская карьера Шукшина складывалась гораздо успешнее режиссерской. После успеха в картине «Два Федора» на него посыпались предложения со всех сторон, и он снялся во многих фильмах: «Золотой эшелон», «Простая история», «Когда деревья были большими» и т. д. Играл Шукшин «молодого героя» – светлые космы, легкий прищур, нутряной мужской дух. Повзрослев, его образ изменился, Шукшин превратился в «крепкого мужика», и голос с хрипотцой. Первый режиссерский успех – «Живет такой парень» с Леонидом Куравлевым в главной роли. На международном кинофестивале лента получила приз. Второй удачной лентой Шукшина стал фильм «Печки-лавочки». И, наконец, своего триумфа Шукшин достиг в «Калине красной», где был сценаристом, режиссером и актером в одном лице. «Калина красная» сразу стала культовым фильмом, а главный герой Егор Прокудин, «раскаявшийся разбойник», любимым героем. Одна только сцена с березками чего стоила! В прокате 1974 года эта картина заняла 2-е место, собрав 62,5 млн. зрителей.

К последнему году своей жизни Шукшин знаменит и почитаем. Переехал в новую квартиру на улице Бочкова. Более или менее определился с любимыми женщинами. Мария Шумская осталась на Алтае. С Викторией Сафроновой окончательно расстался и соединил свою жизнь с актрисой Лидией Федосеевой. Они познакомились летом 1964 года в Судаке на съемках фильма «Какое оно, море?» Стали жить вместе, родились две дочки, Маша и Оля. Любопытно напутствие, которое дал Шукшин жене для маленькой Маши:

«1. Чтобы она выучила два иностранных языка; 2. Научилась танцевать ча-ча-ча. 3. И варить суп-лапшу».

Немудрящая программа, скажем мы. Но в ней весь Шукшин. Он получил звание заслуженного деятеля, кинопремии, выходили его фильмы и книги, но все равно он был недоволен собой. Он признавался: «Никогда ни разу в своей жизни я не позволял себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо уже – не позволил сшибить себя; плохо – начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками… Это может

плохо кончиться, могу треснуть от напряжения…»

В последнем своем интервью на замечание корреспондента о благополучном результате его творчества Шукшин резко возразил: «Ну, какой результат! За 15 лет работы пять книжечек куцых по 8–9 листов – это не работа профессионала-писателя. 15 лет – это почти вся жизнь писательская. Надо только вдуматься в это! Я серьезно говорю, что мало сделано, слишком мало!»

Что касается кино, то и вершина «Калины красной» нелегко далась Шукшину. У картины было много врагов. Чиновники Госкино требовали таких поправок, которые можно было сделать, сняв фильм заново. Да и на экран картина попала, можно сказать, случайно: среди «новинок» показали ее на даче у Брежнева, тот посмотрел и заплакал. Слезы генсека и предопределили выход фильма в прокат. Но и в прокате нашлись критики, посчитавшие «Калину красную» антиинтеллигентной картиной, мол, не Феллини, не «Амаркорд». Воспел «деклассированный элемент».

Кстати, Шукшин не шел на компромиссы, и в конечном счете в фильме были сделаны лишь несколько купюр. Вырезали из текста слова матери: «Поживи-ка ты сам на 17 рублей пенсии» да реплику Егора: «Живем, как пауки в банке».

Главная боль Шукшина – фильм о Степане Разине по мотивам своего романа «Я пришел дать вам волю». Это была его мечта. Но чиновники от искусства никак не хотели дать «добро», все тянули, мурыжили, выматывали душу Шукшину. Он так и не начал съемки. Но, участвуя в чужих съемках ленты Бондарчука «Они сражались за Родину», думал о своей.

Съемки проходили в августе-октябре 1974 год на Дону. 4 сентября в «Литературной газете» появилась статья Шукшина, как его в больнице нагло обхамила вахтерша, не пуская к нему в палату ни гостей, ни дочерей. «Что с нами происходит?» – задавал вопрос Шукшин. Откуда это хамство, равнодушие, злость, отсутствие всякого милосердия?.. Статья вызвала большой резонанс в стране.

1 октября стало последним днем Василия Макаровича. После съемок он провел его на теплоходе, причаленном в поселке Клетская Волгоградской области, где жила киногруппа. Часа в 4 утра 2 октября Шукшин вышел из каюты, держась за сердце, и стонал. Около него хлопотал его друг актер Георгий Бурков. Ни врача, ни медсестры в тот час рядом не было. Шукшин принял капли Зеленина, единственное лекарство, которое нашлось в тот час. Под утро его не могли разбудить: Шукшин был мертв. На столике в каюте лежала раскрытая тетрадь с почти готовой новой повестью для театра «А поутру они проснулись…»

Василий Шукшин не проснулся. Он часто фантазировал: «А

вот будет мне, скажем, 70 лет…» Не сбылось. Он умер в 45.

Смерть Шукшина вызвала множество слухов: убили… КГБ… Но вскрытие показало: он скончался от сердечной недостаточности. А если по-народному, надорвался, загнал себя.

Мать хотела увезти тело сына на родину, в Сростки. Но начальники-чайники распорядились похоронить в Москве, на Введенском кладбище. Однако Сергей Бондарчук «пробил» более престижное захоронение на Новодевичьем. Рассказывают, что когда дело о том, где хоронить Шукшина, дошло до председателя Совмина Алексея Косыгина, он спросил: «Это тот Шукшин, который о больнице написал?»

7 октября 1974 года состоялись похороны.

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть.
Хоронила страна мужика
и активную совесть… —

написал Андрей Вознесенский. Таксисты хотели печально посигналить у Дома кино, где проходило прощание, но это им сделать запретили. Специальным распоряжением машины были задержаны. Зато власть посмертно присудила Шукшину Ленинскую премию за «Калину красную». У нас очень любят посмертно. А при жизни обожают вставлять палки колеса.

В «рабочих тетрадях» Василия Шукшина можно прочитать такие записи:

«Вся Россия покрылась ложью, как коростой» (1969).

«Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую» (1970).

«Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами?» (1972).

Василий Шукшин как предвестник наших бед и поражений.

И снова вернемся к заданному вопросу Шукшина: «Что с нами происходит?» Ведь не только хамство, цинизм и равнодушие, но и дикое расслоение на бедных и богатых. Одним все: и яхты и самолеты! Другим – холодные зарплаты и жалкие пенсии. И «гуляй, Вася, по деревне!» «Шире шаг, маэстро!» Вперед к канаве, яме, пропасти, бездне, в тартарары! «При ясной луне» и высоких ценах на нефть.

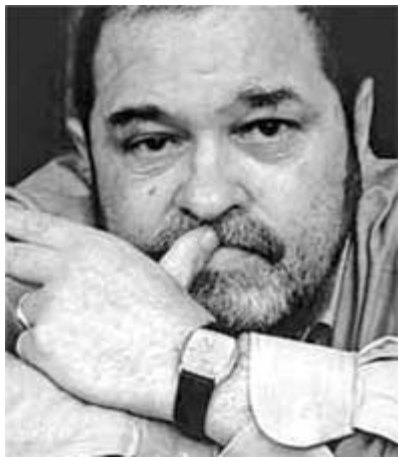
В «Калине красной» была фраза, когда-то звучащая юмористически до колик, а сейчас мрачно страшновато: «Народ к разврату готов». Готов к гибели…

Все – печки-лавочки, Макарыч,
Такой твой парень не живет, —

предсказывал Владимир Высоцкий, сам сгоревший в 42 года.

После смерти Шукшина регулярно выходят его книги и сборники. Один из них называется «Охота жить». На этой оптимистической ноте и закончим краткое воспоминание о Шукшине.

Отец Штирлица. Юлиан Семенов (1931–1993)



Юлиан Семенов – преинтереснейшая личность. «Он был Фальстаф и ребенок», – сказал о нем Лев Дуров, «Юлик жил взахлеб», – отметил Андрей Кончаловский. «Он очень беспокоился, чтобы его читали как можно больше, и научился писать так, что хочешь не хочешь, а читают» (Лев Аннинский). В его жизни были миллиарды «семнадцати мгновений». Главное – он создал образ, который затмил самого автора. Мифологический Штирлиц действует в кино, живет в рассказах и анекдотах. Стать «отцом» Штирлица – это уже литературный подвиг.

Судьба Юлиана Семенова – судьба страны в ее парадоксальных коллизиях, конфликтах и противоречиях. Даже сама встреча родителей будущего писателя – комсомольца, журналиста, еврейского парня («Такой красавчик») Семена Ляндреса с неприкаянной девушкой Галиной Ноздриной – неординарный случай. А 8 октября 1931 года у них родился сын. Роды были тяжелые: родовая желтуха, да к тому же младенца тянули щипцами. А как назвать? Отец хотел Степаном, мать была против: ведь дразнить будут Степка-растрепка. И настояла на имени Юлиан – был такой в Древнем Риме Юлиан… А потом у Юлиана появилась нормальная фамилия Семенов вместо подозрительно звучащего Ляндреса. Отец писателя работал в «Известиях» вместе с Бухариным, и это стоило ему клейма «враг народа». А Юлиан Семенов – это вроде бы и никакой не родственник того самого Ляндреса. Времена большого страха и формирования конформистов.

Мать все боялась, что Юлик вырастет мямлей, а он оказался

бесстрашным, даже, когда в 1952 году повторно пришли за отцом, обозвал пришедших чекистов «сволочами». Но мы не знаем своей судьбы. Позднее чекисты стали лучшими друзьями Юлиана Семенова, а уж какими светлыми красками нарисовал он портрет Дзержинского… «Картина маслом», – как любил говорить герой телеэпопеи «Ликвидация».

Дочь Юлиана Семенова Ольга Семенова в ЖЗЛ-овской книге об отце с умилением описывает историческую сцену его соприкосновения с вождем: «Узнав, что маленький папа сидел один возле машины, Сталин велел его привести. Отец не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепенящеробкое смущение обуяло его, но он увидел его небольшие руки, ощутил их тепло. Сталин легко поднял отца, посадил его на колени, погладил по голове…»

Державин благословил Пушкина, а Сталин «погладил по голове» Юлиана Семенова. Вот это путевка в жизнь!.. Однако не все было лучезарным. Семенов в 1954 году окончил институт Востоковедения по специальности «Афганистика, язык пушту». Диплома не получил из-за арестованного отца. Немного попреподавал в МГУ и занялся журналистикой. Спецкор «Огонька», затем «Правды», «Литературной газеты», «Комсомолки». Писал репортажи, психологические новеллы (подражая Паустовскому, Ремарку и любимому Хемингуэю). Одна из первых книг вышла в 1959 году – «Дипломатический агент», где молодой писатель, используя свои знания в афганистике, интригующе изложил похождения востоковеда Виткевича, ученого, дипломата и притом – тайного агента. За дебютом последовало удачное продолжение: книга за книгой. Популярная серия о милиции, «политические хроники» и, наконец, вершина успеха – сценарий кинофильма «Семнадцать мгновений весны» (1969). Звездный час Юлиана Семенова и его героя штандартенфюрера СС Макса фон Штирлица.

Написал Юлиан Семенов немало, он отличался редкой плодовитостью, работал упорно и яростно. Если использовать заголовки его романов, повестей, рассказов, очерков и пьес, то можно составить некое повествование:

Итак, «Майор Вихрь» (естественно, «Псевдоним»). У него была «Альтернатива»: «Бомба для председателя» или «Тайная карта». Чтобы выведать «Тайну Кутузовского проспекта», надо было занять «Позицию» и начать, но что? «Экспансию», «Схватку», «Провокацию» или «Тайную войну». Действовал он как «Дипломатический агент», «Без единого выстрела»: «Маршрут СП-15 – Борнео», «49 часов 25 минут», «На «козле» за волком». Это были удивительные «Версии», «Горение» и даже «Дождь в

водосточных трубах». Короче, «Испанский вариант», «Ощущение в полдень», «Сто двадцать километров по железной дороге». Адреса: «Петровка, 38» и «Огарева, 5». «Пароль не нужен». Нужны «Бриллианты для диктатуры», при этом «Приказано выжить». «Иди и не бойся». Начались «Ненаписанные романы», «Семнадцать мгновений весны», «Каприччиозо по-сицилийски». И, конечно, «Пересечения», «Какой-то странный аукцион», «Лицом к лицу», «Прощание с любимой женщиной». В итоге: «ТАСС уполномочен заявить…», что «Репортер» из «Пресс-центра», разгадав «Шифровку для Блюхера», испытал ужасное «Отчаяние»…

Бросается в глаза энергия и экспрессия названий романов и фильмов. Сплошной «экшн». Энергетика самого Юлиана Семенова. Он и друзьям давал совет: «Действовать, действовать! Лучше пилить дрова, чем мечтать, по крайней мере, кровь не застоится в жилах». Что касается сбора материала, то и тут Юлиан Семенов был неутомим. «Я научился внимательно читать, вычитывать между строк, извлекать нужные мне сведения почти из вакуума. Любая книга по истории – кладезь полезной информации», – утверждал он. Когда писал эпопею про Штирлица, узнавал телефоны рейхканцелярии Гитлера, номера прямых телефонов Геббельса, Гиммлера, все их семейные истории, конфликты, начиная с 1923 года. Вел поиски в архивах. Не писал от руки – только на машинке. И говорил: «У писателя должна быть чугунная задница».

Талант, амбиции и задница – вот три слагаемых успеха Юлиана Семенова. И еще неугомонность и прыткость: Вьетнам, Лаос, Чили, Никарагуа, Куба, Гренада, Испания, Афганистан, Северный полюс…

Личная жизнь? 8 сентября 1954 года на даче у Михалковых на Николиной Горе он познакомился с Катей, сестрой Андрона и Никиты, и она сразу поняла, что Юлиан не такой, как все представители «никологорского аквариума», а особый молодой человек. Была любовь. Был брак. Росли две дочки. А потом, Екатерина и Юлиан «разбежались», стали жить на две квартиры. Дочь Ольга вспоминает про отца: «Он любил жизнь, а женщины – одна из граней этого мира. Папа никогда не был бабником. Обычно мужчины, которые коллекционируют женщин, слабы и закомплексованы. Отец был самодостаточным человеком, он настолько любил свою работу, что у него на женщин не было времени. Эпизоды не заслуживают внимания… После окончания каждого романа была гульба в течение недели. Но потом бутылки выбрасывались, окурки сметались в помойное ведро, и он садился за работу. Кофе был для папы допингом, он выпивал по двадцать

чашек в день и выкуривал по три пачки сигарет…»

Успешный, молодой, трудолюбивый, Юлиан Семенов относительно рано сорвался. Что-то надорвалось у него внутри. Сначала прихватил туберкулез (работал в Мухалатке, под Ялтой), потом что-то пострашнее. Жил «на полную катушку», и вот катушка кончилась. Жена Юлиана Семенова говорила, что, когда она жила с ним, то у нее было ощущение, будто она хочет угнаться за ракетой на телеге. Но когда он слег и долгие месяцы после инсульта находился без движения и речи, она вернулась к нему и ухаживала за ним. 5 сентября 1993 года Юлиан Семенов умер, не дотянув месяца с небольшим до своего 62-летия.

Популярность многих произведений Юлиана Семенова ушла после его смерти, а вот Штирлиц остался, очевидно, на долгие времена. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться…» – помните эту фразу Мюллера. Он и остался.

И тут следует сказать, что «Семнадцать мгновений весны» – это проект и заказ самого Юрия Андропова, могущественного главы КГБ. Связь Семенова с Андроповым дочь Ольга в молодогвардейской книге преподносит так: «Они сидели и говорили о самом больном и постыдном в истории страны: шеф Комитета госбезопасности и известный писатель. Могущественные рабы системы, по-мальчишески робко мечтавшие об изменениях…»

Дочь можно понять: она хочет реабилитировать отца как певца КГБ. «Отрицать связь отца с КГБ было бы нелепо – он был с ним тесно связан и на самом высоком уровне. Дело в том, что… творчеством отца заинтересовался либерал и интеллектуал Юрий Владимирович Андропов и начал его поддерживать. Причин на то было несколько, во-первых, искренне любил то, что отец писал; во-вторых, симпатизировал по-человечески; в-третьих, человеку образованному, сочинявшему стихи, Андропову было далеко не безразлично отношение к нему творческой интеллигенции, и при любой возможности он творческим людям помогал… Это был скорее интеллектуальный флирт просвещенного монарха с творцом…»

Итак, Юлиан Семенов стал классиком «милицейской прозы» и певцом КГБ. Заказ: образом Штирлица обелить Лубянку, ее прошлое и настоящее, оставить за занавесом все злодейство и вытолкнуть на первый план обаятельнейшего Штирлица. Тут сработало все: и текст Юлиана Семенова, и режиссерское умение Лиозновой, и музыка Таривердиева, и актерская фактура Вячеслава Тихонова, – суперШпион Штирлиц, – и «не думай о минутах свысока». «Мгновенья, мгновенья, мгновенья…»

Всем как-то понравилась, сознательно или подсознательно,

двойная игра Штирлица – за своих и чужих: в двоедушии жили многие. Как написал в «Известиях» Юрий Богомолов: «Это киносочинение в немалой степени способствовало романтизации и даже героизации комплекса советского двоедушия, конформизма. Юлиан Семенов не просто выполнил заказ шефа КГБ Юрия Андропова – очеловечить образ довольно жутковатого ведомства. Он еще воспел близкое ему номенклатурное шестидесятничество». То есть в «Семнадцати мгновениях» наличествует элемент автобиографии?..

Юлиан Семенов отлично ориентировался в раскладах и повадках власти. А когда власть дрогнула и начала рассыпаться, то он быстро нашел другие возможности применения своих сил: учредил Международную ассоциацию детективного и политического романа и заложил фундамент ежемесячника «Совершенно секретно» – опять же в своем юлианосеменовском стиле, с щекочущей интригой. Привлек в свои помощники молодого и перспективного Артема Боровика. И потекла со страниц еженедельника «информация к размышлению» – горькие и печальные факты советской действительности.

В период горбачевской гласности Семенов успел опубликовать несколько публицистических статей. В одной из них он вспомнил слова Ленина: «… наш аппарат очень часто работает не для нас, а против нас, – эту правду нечего бояться сказать…» И приводил свои выводы: «Бюрократы из аппарата чаще всего жонглируют понятиями «народ», «традиция», «нация». Полно, хватит уже. В народе есть Королевы, Плисецкие, Абуладзе, но сколько живет и здравствует алкашей, дураков, лентяев, волокитчиков, демагогов. Что их перевоспитывать, лекции им читать, совестить? Хватит. Им надо противопоставлять реальные авторитеты, коим объявлено наибольшее благоприятствование, а не завистливый подсчет их заработков…» («Советская культура», 19 ноября 1988).

«Обретение свободы – самого дорогого, что есть у человека, – сопровождается таким противодействием сути и движению перестройки, что остается только диву даваться… Такое ощущение, что назревает желание снова получить «сильную руку»… Единовластие, возвеличивание «великих, гениальных, выдающихся» ведет к катастрофе. Это мы почувствовали на собственном опыте…» («Московская правда», 22 ноября 1989).

Сегодня мы можем оценить высказанные опасения Юлиана Семенова в пору новых больших надежд.

У этих «великих и гениальных» всегда слетает крыша от славословия. Они теряют рассудок и адекватность. Когда Брежневу показали «Семнадцать мгновений», он тут же

потребовал присвоить Штирлицу Героя Советского Союза. Ему осторожно объяснили, что такого человека на самом деле не было, это всего лишь собирательный образ (Николай Кузнецов, Рудольф Абель, Рихард Зорге, Шандор Радо, Лев Маневич и т. д.). Брежнев пожевал губами и сказал: «Хорошо играет… Тогда дайте артисту Героя Социалистического Труда. А другим – ордена».

Награды получили все, кроме Юлиана Семенова. Он жаловался актеру Дурову: «Лева, это же я их всех выдумал… родил… и Штирлица, и всех, ну как же так?..»

А вот так, причуды глупости Системы.

Юлиан Семенов ушел из жизни в период грандиозной ломки, мучительного и драматического перехода от социализма к капитализму, от одних нечеловеческих ценностей к другим. Но писатель уже не был в состоянии среагировать на все эти перемены и отразить их в слове.

Юлиан Семенов любил строки Омара Хайяма:

То, что Б-г нам однажды
Отмерил, друзья,
Увеличить нельзя
И уменьшить нельзя.

Писатель выполнил то, что ему было отмерено судьбой.

Братья Вайнеры. Аркадий Вайнер (1931–2005). Георгий Вайнер (1938–2009)

Существует извечная лига братьев. Библейские Авель и Каин, мифологические братья-разбойники, придуманные братья Карамазовы, настоящие литературные братья Эдмон и Жюль Гонкуры, Томас и Генрих Манн, Аркадий и Борис Стругацкие, художники Васнецовы, архитекторы Веснины… И вот Вайнеры. Аркадий и Георгий.

БРАТЬЯ ВАЙНЕРЫ. В одном из интервью младший Георгий заявил: «О, мы были веселыми проходимцами! Я был электротехник, а мой брат – следователь московской милиции». Как всегда, прошлое воспринимается мажорно и весело. Трудности забыты. Препятствия преодолены. Проблемы решены. И в памяти только бесшабашная юность…

С позиции достигнутого – а у братьев вышло более 50 книжных изданий, более 20 фильмов сделано по их сценариям, – можно и похохмить. – «Веселые проходимцы». «Еще со школьной скамьи нас приучали к разным единицам измерений: один ватт, один ньютон, паскаль, килограмм, байт… Бредовая идея: а почему бы не ввести в обиход единицу литературного измерения – 1 вайнер!?.»

Добавим: вайнеротворение, вайнеризм. Очень похоже на вуайеризм, подглядывание. Подглядывание за жизнью? Нет, братья не подглядывали. Они жили. И на полную катушку…

СТАРШИЙ ВАЙНЕР. Аркадий Александрович Вайнер родился 13 января 1931 года в Москве. Отец – автомеханик на заводе

«Стан-колит». Детство прошло в Марьиной роще. Послевоенная Марьина роща такой же хулиганский район, как Таганка. «Таганка с ума меня свела…» Но вот Аркадия не свела. Крепкий орешек. Не расколешь и не собьешь. Имел несколько спортивных разрядов. Окончил школу с золотой медалью, поступил в Авиационный институт. После первого курса перешел на юридический факультет МГУ. Работал следователем в 21-м отделении милиции. Сделал великолепную служебную карьеру. Около 40 наград, ни одного взыскания. Весьма уважаемый работник – да и не просто работник, а начальник следственного отдела МУРа (Петровка, 38), – и ушел в писатели. Зачем? Почему? Уму непостижимо.

Дело в том, что Аркадия сгубили книги. Он очень рано научился читать и, как признавался Аркадий Александрович сам: «А лет с шести уже поглотив довольно много книг, я решил, что пора и писать». То есть с младых ногтей засела в нем бацилла сочинительства. И в один прекрасный момент он заболел тяжелым недугом писательства. А дальше почти гамлетовский вопрос: служить или писать? Он решил писать.

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ. Но сначала следует отметить, что оба брата были людьми весьма компанейскими. Часто собирались с друзьями и, как признавался Георгий Вайнер: «Понимаете, было столько спето, выпито, рассказано столько сногсшибательных рассказов, что никому не приходило в голову это записать». А однажды такая идея пришла. Кто-то из умных людей сказал Аркадию: «А ты это запиши. Вот Жора поможет, а я пристрою». Практичный старший Вайнер сразу спросил: «А сколько за это дадут?» Знающий человек сказал: 400 рублей. Эта цифра старшему Вайнеру понравилась. «А сколько нужно страниц для рассказа?» – «Шесть-семь».

И в ту ночь братья засели за план рассказа. Он занял… 40 страниц. Остановиться уже не могли, и каждый вечер и ночь под кофе на пишущей машинке они сочиняли рассказ, который вылился через несколько месяцев в пухлый роман в 600 страниц под названием «Часы для мистера Келли». Роман был опубликован в закрытом журнале «Советская милиция», а потом появился уже в открытом – в «Нашем современнике». Опыт удался, и братья решили продолжить литературный эксперимент. Решали, кто что будет писать, затем друг друга правили и добивались таким образом единого стиля. Но в этом тандеме был еще и третий участник: жена Аркадия Вайнера – Софья Дарьялова. Софья Львовна. О ней необходимо сказать особо.

ЖЕНА АРКАДИЯ. Они познакомились – почти детективный сюжет. Отец Вайнера был обеспокоен, как бы сын – а ему было

уже 28 лет, – не пошел по стопам Казановы. Случайно повстречал очень красивую девушку-студентку – «то, что надо!» – и попросил у нее телефон. Девушка обиделась: пожилой человек и еще клеится! Но папа Вайнер объяснил: телефон нужен не для него, а для сына. Необычная просьба, и девушка дала свой телефон. Аркадий Вайнер и Софья Дарьялова встретились. Ну, а дальше, как говорится, на ровном месте завязался любовный роман. Аркадий Вайнер сумел покорить красавицу не только тем, что катал ее на старенькой «Победе» (в те годы машина – это роскошь), не тем, что играл и пел под аккордеон, а своими увлекательными рассказами-историями. Софья пришла домой и сказала маме, что более умного человека в жизни не встречала. «Он очень некрасивый, но такой умный!» Молодые люди решили пожениться, но вначале были смотрины. Родителям Софьи Аркадий не понравился: аккордеон – это же не скрипка! А когда у гостя задралась пола пиджака и под ним обнаружилась кобура с пистолетом, то папа Софьи испугался и решил, что Вайнер – просто налетчик. А он был следователем, который вел дела о налетчиках и прочем жулье.

Ответный визит прошел более удачно. Когда Софья Дарьялова пришла в заводской барак, где жил ее будущий жених, она увидела не одного, а сотню Вайнеров, которые ее стали пристально рассматривать и оценивать. А тетя Роза, подбоченясь, изрекла окончательный вердикт: «Ну, Аркаша, если это тебе не девка, ты зажрался!»

Через пять дней Аркадий и Софья поженились, и оба выиграли: он стал хорошим мужем, а она – прекрасной женой, хозяйкой и помощницей. Коллеги с Петровки часто заваливались в гости к Вайнерам всей бригадой, и Софья Львовна на полуметровой сковородке жарила для них 100 котлет. Сидели до утра, пели, пили, читали стихи… Были такие времена, когда опера даже любили поэзию.

Софья Львовна принимала горячее участие и в подготовке первого литературного опуса. Что-то подсказывала, советовала. Но главная ее заслуга: она поверила в литературное будущее братьев. Об этом периоде жизни Софья Львовна рассказывала так: «Работа ночами долго продолжаться не могла. На семейном совете решили, что первым с работы уйдет Жора. Родители ужасались, им казалось, что писатель – это обязательно карты, пьянство и женщины. Я ребят поддержала, причем не только морально, но и материально. Нашла вторую работу. Писатель Виль Липатов впоследствии меня назвал «одним кандидатом, который двух литераторов прокормил» (жена Аркадия Вайнера была кандидатом медицинских наук. – *Ю. Б.*). Потом встал

вопрос: надо уходить со службы Аркадию…»

Далее последовал очередной жизненный детектив. Петровка, 38 никак не хотела отпускать ценного сотрудника, и пришлось прибегнуть к хитрости: положить Аркадия Александровича в больницу с диагнозом «бессонница». Но этот план чуть не сорвался, ибо Вайнер-старший очень быстро всегда засыпал и при этом храпел так, что палата ходила ходуном. Но в конечном счете на руках оказалась справка о тяжелом нервном истощении на грани срыва, и это дало возможность Аркадию Вайнеру распрощаться со службой. Но больничное время не пропало даром, на руках у братьев был новый роман «Я – следователь».

СЕМЬЯ. Аркадий Александрович и Софья Львовна, на мой взгляд, были идеальной семейной парой и не в категории «писатель и муза». Они оба сделали, без преувеличения, большую карьеру. Аркадий Александрович писательскую, Софья Львовна – медицинскую. Она – профессор, крупный специалист в области лечения рака. Вырастила прекрасную дочь – Наташу Дарьялову, известную ныне бизнесвумен. Разумеется, внуки… Прекрасный семьянин? И никаких женщин на стороне? «Женское общество меня не утомляет…» – как выразился Аркадий Александрович, и эта фраза выдает в нем истинного писателя, она явно с подтекстом.

КНИГИ. До Вайнеров существовала так называемая милицейская литература. Милицейские детективы скучные, занудливые и нединамичные. Братья создали свой детективный жанр: живой, яркий, динамичный. Хотя Аркадий Вайнер упорно считал, что они с братом пишут отнюдь не детективы, а «нормальную прозу, просто сюжеты у нас часто построены на криминальных конфликтах, что связано с нашим жизненным опытом». И еще одно признание: «Мы явно не обуреваемы манией величия, мы для себя считаем, что пишем значительно лучше Достоевского». Лукавая усмешечка? Да еще какая! Тут следует заметить, что тонкая ирония и юмор – это тоже одна из составляющих успехов братьев Вайнер. А как вам нравится и такое рассуждение:

«Любая женщина знает, что даже раздеваясь, надо какую-то часть туалета до поры до времени на себе оставить. Это придает, как говорят чехи, шпрынц – то есть пикантность. А уж человек, плавающий в волнах детективного жанра, тем более знает, что нельзя раскрывать всей тайны до конца. Что-то надо оставить, так сказать, на компот».

Все книги Вайнеров были обречены на успех: повесть «Ощупью в полдень» (1968), роман «Визит к Минотавру» (1972), «Эра милосердия» (1976), «Лекарство для Несмеяны» («Лекарство

против страха») и другие. Особо выделим «Евангелие от палача» и «Петля и камень в зеленой траве». Книги издавались, переиздавались, выходили сразу в нескольких издательствах. Но нельзя сказать, что все было гладко и катилось по асфальту. Повесть «Ощупью в полдень» задержали в печати из-за того, что герой звонит в справочную и называет пароль: «Звезда».

– Ну, и что? – спросили Вайнеры.

– А это запрещено, – отвечали цензоры.

– А почему?

– Потому что этот пароль – государственная тайна…

Комментарии, как говорится, излишни.

Был случай, когда набор книги «Лекарство против страха» рассыпали из-за того, что авторы оболгали комсомольцев, мол, так плохо они не могли поступить (избили старую учительницу, напившись пьяными). Разбирательство дошло до Верховного суда СССР, и задержанная книга в итоге вышла.

ФИЛЬМЫ. По многим книгам Вайнеров были поставлены фильмы. Культовым стал 5-серийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя» (1976) по роману «Эра милосердия». Незабываемый Владимир Высоцкий в роли Глеба Жеглова. «Вор должен сидеть в тюрьме» – и точка.

ХАРАКТЕР. Бескомпромиссность Жеглова идет немного от Аркадия Вайнера. «Я не формалист, – говорил он. – И не ограничиваю себя ничем. Если надо, скажу какие-то резкие и обидные слова. А если надо будет – просто пристрелю». Разумеется, гипербола. Прямой, резкий, больше всего на свете ненавидящий ложь. «Чего вы больше всего боитесь в жизни?» – однажды спросили его, и он ответил: «Ее отсутствия». Жизненное кредо Аркадия Вайнера было: не верь, не бойся и не проси. Он был богатым человеком? По крайней мере, далеко не бедным и шутил: «На бензин и макароны по-флотски у меня пока деньги есть».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Это последнее увлечение Аркадия Александровича. С июня 1999 года он занимал должность генерального продюсера на канале «Дарьял ТВ». Ему нравилась эта роль, но, к сожалению, по-настоящему развернуться ему не дали. Он не вписался в общий формат государственной телевизионной политики. Вайнер хотел просвещать, а от ТВ требовали только развлекаловки.

Мне довелось поработать на «Дарьял ТВ» вместе с Аркадием Александровичем. Я вел как автор и как ведущий программу «Академия любви». Он меня частенько корректировал, когда меня чуть заносило, но делал это всегда тактично. Он был не только босс, но и некий всезнающий гуру. Однажды я не удержался и

спросил его, нравится ли он сам себе. Он ответил: «Я не в восторге от себя. Я хотел бы быть умнее, добрее, справедливее, находчивее и здоровее». Ответ вполне в вайнеровском духе.

ФИНАЛ. Здоровье? Но как сказал один остряк: здоровье одно, а болезней тысячи. Аркадий Александрович страдал сердечной астмой. К своему здоровью относился философски безразлично. Его положили в больницу, а он сбежал из нее и поехал открывать фестиваль детективного кино. Открыл, произнес красивые слова, на другой день умер. Это произошло 24 апреля 2005 года. Он прожил 74 года. Владимир Конкин (следователь Шарапов) сказал: «Он был большой жизнелюб и оптимист, но та человечность, которая была в нем заложена, она никогда не оставляла его». Добавим: обаятельный, вальяжный выдумщик. Таких полковников (он ушел со службы в этом звании) днем с огнем поискать надо.

ГЕОРГИЙ ВАЙНЕР. Младший брат. Родился 10 февраля 1938 года, был младше Аркадия на 7 лет. Высоцкий сочинил о них песню:

Первой встрече я был очень рад,
Но держался не запанибрата.
Младший брат был небрит и не брат,
Выражался, как древний пират,
Да и старший похож на пирата…

Пираты. Братья разбойники. Только были все же разными. Один, старший, учился в школе отлично, другой… Сам Жора (так почти все звали Георгия Александровича) рассказывал: «Как-то моя классная руководительница встретила моего соседа по парте. Разговор, естественно, зашел о том, кто кем стал, кто в жизни преуспел… потом учительница поинтересовалась: а кто же выше всех забрался по лесенке жизни? Мой приятель ответил: «Пожалуй, Жорка Вайнер, известный писатель, сценарист…» На что после паузы последовала реплика: «А ведь такой тупой ребенок был!..»

Да, есть такое выражение: оболтус. Таким оболтусом, но весьма милым был и младший Вайнер: выпивки, гулянка, развлечения. Сам он говорил: «Долгая сладкая пьянка». Но это отнюдь не помешало ему стать человеком и знаменитостью. Внутри был стержень.

О старшем брате младший говорил: «И внешне, и по характеру мы довольно разные люди. Аркадий – человек организованный и целеустремленный, прошедший гораздо большую в отличие от меня школу государственной службы. Он

15 лет прослужил в криминальной милиции следователем по особо важным делам. А я человек разболтанный, расхристанный и занимался как бы более творческой работой: журналистикой. Именно на стыке наших знаний и личной практики и возникла идея сотрудничества».

Журналистом Георгий Вайнер стал не сразу, а сначала был всего лишь электриком в гостинице «Советская», в Музее революции. Затем обкатал перо в многотиражной газете, получил диплом юриста и работал корреспондентом ТАСС. Ну, а далее – вольные писательские хлеба.

Оба брата познали, что такое успех, что такое слава, что такое большие деньги (относительные, по советским временам). Аркадий был более сдержан, став миллионером-писателем, ну, а Георгий Вайнер – скажем так: менее сдержан. Один из героев последнего романа Георгия Вайнера «Умножающий печаль» говорит: «Человек должен чувствовать либо злобу, либо кайф. Все остальное – мимо кассы». Георгий Александрович предпочитал ловить кайф. А вот другие… «Большинство людей живет несчастливо, их поддерживает только ток любви их родителей и очень ослабленный ток любви их детей, – утверждал Вайнер. – Быстро пересыхающий поток любви их девушек или жен. Человек начинает задыхаться, он ощущает отсутствие этой любви. Как нарастающее кислородное голодание…»

Георгий Вайнер, вспоминая прошлое, говорил: «До 1992 года денег в истинном смысле этого слова у нас не было. Советские рубли заменяли талоны на питание, к слову, скверное, и сервис, столь же отвратительный. Рубль не являлся товаром, уж поверьте мне, человеку, который в те времена зарабатывал огромные суммы. Да, я был советским миллионером, мог купить машину, шубу, гулять в ресторанах, ездить в мягких вагонах, но кто бы мне позволил пустить деньги в частное производство, организовать гешефт? Деньги должны давать деньги. То, что твердили классики марксизма, мы поняли сравнительно недавно, и стихия забушевала! Многим она заменила религию…»

В 1990 году Советский Союз уже начал разваливаться, и Георгий Вайнер решил покинуть родное «мочилово, гасилово, кидалово, бухалово» и отправился в Америку. По контракту он стал работать колумнистом в старейшей нью-йоркской газете «Новое русское слово», в газете, в которой когда-то печатались Бунин и Солженицын, Керенский и Троцкий. А далее он стал и шефом газеты.

ПО ВСЕМУ СВЕТУ. В интервью конца 1999 года Жора Вайнер сказал о себе откровенные слова: «И сегодня я – мальчик, которого в первый раз привели на праздничную елку!» «Я живу в

Москве, Нью-Йорке и Париже. Бываю в Израиле. При первой возможности стараюсь повидать мир, познакомиться с людьми. Потому что, к сожалению, все так быстро проходит. Может, это возрастная штука, но все чаще возникает, я бы сказал, событийная ностальгия. Остается бездна непрочитанных книг, которые я никогда не успею прочитать. Прекрасных женщин, с которыми я никогда не успею познакомиться и полюбить их. Есть бездна нереализованных дружб. Есть ненаписанные книги… Время так мимолетно!..»

Георгий Александрович признавался, что ему не хватает былых больших застолий. «Это основная боль и тягота моего мироощущения. Потому что некоторые ушли навсегда, некоторые рассыпались – больны, бедны…»

МЕЧТЫ. У Георгия Вайнера все было хорошо, но тем не менее ностальгия не выпускала его из своих цепких объятий. «Мне порой недостает общения с теми, кого люблю, – признавался он в одном из интервью. – Общения домашнего, душевного, а не на каких-то тусовках. Не по душе мне все эти презентации, партии и так далее. Во-первых, не люблю есть стоя, как лошадь, еда для меня всегда была пиршеством. Во-вторых, общаться нужно долго, со смаком, с пониманием. Словом, хотел бы построить где-нибудь в Подмосковье… нет, наверное, все же на Лонг-Айленде под Нью-Йорком, что более привлекательно… большой дом с 12 спальнями, в которых, периодически меняясь, жили бы 12 моих друзей. Месяц жили, два… Мы бы бражничали, сидели у камина, философствовали. Короче, хочу организовать собственный дом творчества. Вот это кайф! Список гостей мною давно составлен».

Такую вот мечту, кстати, когда-то удалось осуществить Максимилиану Волошину в Коктебеле.

У Георгия Вайнера осуществилась лишь родительская мечта, чтоб дети нашли свое призвание в жизни. Сын стал доктором наук, второй сын – доктором философии. Дочь тоже с отменным образованием и при деле. Но все это, правда, не у нас, где по-прежнему ущербно и маргинально, а в Америке.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ. Я никогда не забуду, как я встретился впервые с Жорой Вайнером. Он приехал в Москву искать авторов для «Нового русского слова» и вышел на меня. Встретившись, он подивился, как много я делаю, и он произнес коронную фразу: «Юрочка, если бы ты жил в Америке, ты был бы миллионером. Издательства в тебя вцепились бы и выпотрошили все сюжеты…» На что я ответил: «Жора, я живу в России и я нищий писатель». И оба рассмеялись очевидному. В «Новом русском слове» мы славно посотрудничали с Георгием Александровичем, а потом он ушел

из газеты. И вынашивал издание международной криминальной газеты. Я помогал ему составлять планы. Он искал деньги на ее издание, но газета так и не состоялась. И Вайнер перешел снова на литературную стезю. Роман «Умножающий печаль» он написал уже один, без брата.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. Как утверждает друг Георгия Вайнера Сергей Устинов, в последние годы он освоил еще одну роль – роль ребе, мудрого учителя и советчика. К нему за советом приходили многие люди. И никто не уходил обделенным. Он одалживал – больше, чем получал обратно. И давал мудрый совет – чаще, чем этим советом пользовались. Но не роптал, ибо знал, что такова человеческая природа. Но играя ребе, он оставался и прежним самим собой, веселым эпикурейцем, с настежь открытой душой. Хотя жить по старым меркам было все труднее и труднее. Поразивший его недуг Георгий Александрович сносил с необычайным терпением и мужеством.

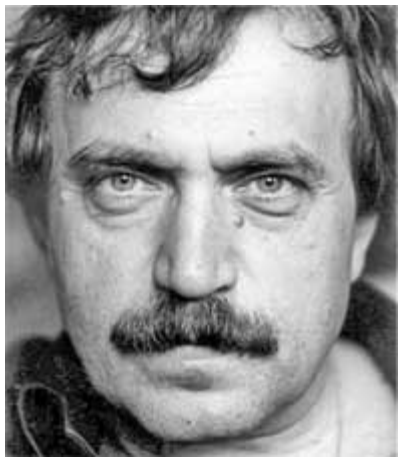
12 июня 2009 года Георгий Вайнер скончался в возрасте 71 года в Нью-Йорке. Похоронен был в субботу по еврейским обычаям до захода солнца на кладбище Маунт Мориа в городке Фэйрвью (штат Нью-Джерси), где он жил в последнее время.

Георгий Александрович Вайнер не ушел. Он, как говорят американцы, присоединился к большинству. Тихий, красивый городок. Почти пастораль, и эта тихая гавань была не по темпераменту Жоры. Он был рожден для бури.

А можно закончить рассказ о Вайнере-младшем цитатой из его последнего романа: «Не грустите, – попросил я их. – Сильнее любви, богатства и власти – время. Праздник жизни прекрасен. Но наступает час, и с самой лучшей компанией приходится расстаться…»

Но кто знает: возможна встреча и на небесах. И есть железное вайнеровское правило: место встречи изменить нельзя.

Жизнь по звездному билету. Василий Аксенов (1932–2009)



6 июля 2009 года в Москве скончался Василий Аксенов. Я с печалью перебирал газетные публикации разных лет о нем. «Великий антисоветский писатель», «Вася Аксенов – воплощение русской мечты», «Вася, стиляга из Москвы», «Человек богемы», «Василий Аксенов как хранитель русского авангарда», «Соловей асфальта», «Сладостный новый Аксенов», «Вольтерьянец Василий Аксенов»… А еще – он член виртуального «Клуба 1932», созданного мною из своих знаменитых ровесников (от Жака Ширака и Элизабет Тейлор до Андрея Тарковского и Бориса Жутовского).

Мы с Аксеновым из одного поколения. Почти одинаковое детство: репрессированные родители. В юности – увлечение стиляжеством. Затем долгие годы дышали одним тоталитарным воздухом, жили при Сталине-Хрущеве-Брежневе. Оба запали на литературу. А дальше все разное: я – это я, Аксенов – это Аксенов. Он знаменит. А я не жалуюсь…

В книге «Клуб 1932» (2000) я нарисовал историческую панораму года моего рождения и представил всех своих именитых ровесников, в том числе и Василия Аксенова. Изложил его биографию и привел наиболее интересные его высказывания о жизни и литературе. К сожалению, мне не удалось пригласить Аксенова на презентацию своей книги. Но я все же с ним встретился (это было первое личное знакомство) и вручил ему книгу «Клуб 1932». Историческая встреча, естественно, для меня, но не для него, произошла в сквере на Болотной площади в Москве. Аксенов покрутил в руках книгу и сказал: «А мне такая

идея в голову не пришла… интересно-интересно…» И пообещал прочитать книгу и высказать свое мнение о ней. Свидетелем этой встречи и обещания Аксенова стал Пушкин, маленький тибетский спаниель. Пушкин не проявил никакого внимания к моей особе и лишь тщательно обнюхивал гранитные парапеты сквера.

Прошло три года. Аксенов раздавал многочисленные интервью, но ни в одном из них не обмолвился о подаренной книге. И вот случайно, улетая из Парижа в Москву, стою у стойки регистрации билетов и багажа и вижу, в другой очереди к стойке регистрации стоит Аксенов, понурый, безрадостный. Я подошел к нему и напомнил о подаренной книге: удалось ли прочитать? Он сконфузился и почти залепетал: «Да… помню… но все как-то недосуг… жизнь какая-то странная: туда-сюда… не успеваю… простите…»

Я нисколько не обиделся. Подумаешь, подарил какую-то книгу, эка невидаль, да их дарят ему десятки. А читать где время найти, когда сам пишешь? Естественно, некогда. А потом я в «Известиях» прочитал такое признание Аксенова: «Я даже не знаю, где мои вещи: где лежат свитера, где висят куртки. Я уже забыл, что в Америке, что во Франции, что в Москве. Приезжаю сюда – здесь одни летние вещи, а зимние, оказывается, в Америке. Мне их посылают периодически по почте. В общем, полный раскирдаж (смеется)…»

Что тут скажешь: звездная жизнь, и в ней есть масса неудобств и проблем. Но Аксенов выбрал эту жизнь. Он ее сам творил, и честь и хвала ему как творцу собственной жизни. Большинство писателей плывут по течению и полагаются лишь на счастливый случай. А фортуна любит крепких и целеустремленных.

Об Аксенове, вроде бы, все известно, но все же, наверное, необходимо кратко напомнить канву жизни.

Василий Павлович Аксенов родился 20 августа 1932 года в Казани. Отец – партийный работник, русский по национальности, мать – еврейка Евгения Гинзбург, ставшая знаменитой после книги «Крутой маршрут» о сталинских репрессиях. Отец был арестован, а 20 августа 1937 года, аккурат в день рождения Васи – ему исполнилось 5 лет, – арестовали мать. К подъезду подъехала черная «эмка». В квартире появились чекисты в кожаных регланах. Окаменевшее сразу лицо бабушки. Звериный вой няни. И малыш, лишенный родителей, оказался в детдоме для детей «врагов народа». Обычная история для 1937 года.

В 16 лет Василий Аксенов направился в Магадан, где мать находилась на поселении. Затем поехал в Ленинград, кончил медицинский институт и работал врачом.

С 1959 года Аксенов стал печататься в «Юности». В 1960 году здесь была опубликована повесть «Коллеги», которая вышла затем отдельной книгой и была инсценирована для театра. Один из героев «Коллег» декларировал: «А мы, городские парни, настроенные чуть иронически ко всему на свете, любители джаза, спорта, модного тряпья, мы, которые временами корчим из себя черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подличаем, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души…»

За «Коллегами» последовали «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1963), «Затоваренная бочкотара» (1968), «Поиски жанра» (1972), многочисленные рассказы – и Аксенов не вошел, а ворвался в современную литературу, стал одним из лидеров «молодежной прозы». Легко работал с языком, органически вводил в ткань сленг, изощрялся в формах писания. Быстро стал знаменитым и быстро как-то потерял молодость. Кстати, его роман «Ожог» (1975) – это своеобразный плач по ушедшему молодому времени. Но что интересно, писательская слава не придавила Аксенова, не сделала его маститым и важным. Он оставался молодым по духу, считал себя богемщиком и признавался, что едва ли не стал хроническим алкоголиком, спас стол: писал по одной крупной вещи в год. Фрондировал, но как-то умеренно, хотя и «Ожог», и другой «подпольный роман» – «Остров Крым» (1979) сделали Аксенова одной из знаковых фигур диссидентского движения. И его, как говорится, соответствующие органы взяли на мушку.

Скандал с изданием альманаха «Метрополь» довершил дело: власть окончательно поняла, что Аксенова не приручить, он чужой. В одном из интервью Аксенов говорил: «Я никогда не чувствовал себя советским человеком. Я приехал к маме в Магадан на поселение, когда мне исполнилось 16 лет, мы жили на самой окраине города, и мимо нас таскались вот эти конвои, я смотрел на них и понимал, что я не советский человек. Совершенно категорично: не советский…»

В июле 1980 года Аксенов выехал в США, где узнал о лишении его гражданства СССР. Преподавал в Вашингтоне, в университете Джорджа Мейсона. Жил на университетскую зарплату. «За 24 года, – рассказывал Аксенов, – через мои семинары прошло около 3 тысяч студентов. Я пришел туда обычным советским писателем, владеющим какими-то клочковатыми, поверхностными знаниями. Все остальное – богемная бравада. Но для настоящего преподавателя этого было слишком мало, и я стал изучать серьезные книги по литературоведению, историографии, философии… Это меня

сильно изменило, я в буквальном смысле стал другим человеком. Университет – это храм. Он не соврет, не подведет…»

Закончив свою преподавательскую деятельность в США, Аксенов вернулся в Европу, купил себе дом в Биаррице и сделал его своим Переделкиным. Биарриц находится в закруглении Бискайского залива. «В этом закруглении я живу, – говорил Аксенов. – Некоторые эмигранты поют: «А из нашего окна Иордания видна, а из нашего окошка только Сирия немножко». Я же из своих окон вижу две страны – Францию и Испанию. От моего дома до границы – всего 15 километров. В Биаррице когда-то рос Владимир Набоков и наблюдал здесь своих Лолит…»

Долгая жизнь на Западе позволила Аксенову написать роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (2004), свою книгу о России, ищущей Запада. Чем привлекает и манит Запад? Своим знанием и мастерством. Журналисты много раз спрашивали писателя о замысле романа, об идеях, заложенных в нем, и Аксенов охотно отвечал на вопросы: «Да, нам не хватает такого, как Вольтер. Не вождя, который поведет армии, а духовного лидера, который сдержит своим обаянием революции и будет чувствовать социальную справедливость. Просвещенного, элегантного человека с большим чувством юмора. Но, увы, нет даже намека на такого».

В том же интервью «Московским новостям» (30 января 2004) с печалью говорил: «Наш народ еще, прямо скажем, темный. Ему до сих пор кажется, что за границей живут совсем другие люди, им гораздо ближе какой-нибудь хам из местной администрации, чем бизнесмены, финансисты, гуманитарии. С опаской смотрят на другие конфессии, вера подменяется ритуалом веры…»

Ну, и желание (и не одного Аксенова): «Хочу видеть Россию частью сообщества цивилизованных стран».

За роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» Аксенову была вручена премия «Русский Букер».

Америка была давней мечтой Аксенова: «Америка встала из тумана как альтернатива устаревшей и тошнотворной вере в социалистическую революцию», – писал Аксенов в давней публикации «Мы – штатники» с подзаголовком «Культ Америки в Советском Союзе». Воспоминание о юности: «Каждый вечер «Голос Америки» передавал джазовые концерты для Советского Союза. Музыкальные отрывки, немного информации создавали золотое сияние над горизонтом – в той стороне, где заходило солнце на недосягаемом, но таком желанном Западе. Сколько мечтательных русских мальчиков возмужало под «Садись на поезд «А» Дюка Эллингтона и сладкий голос Виллиса Коновера, «Мистера Джаз» из «Голоса Америки». Мы записывали музыку на

свои допотопные магнитофоны и проигрывали ее снова и снова на полуподвальных вечеринках в Казани, где я тогда жил…»

Удивительно, что американский джаз оказался сильнее советской пропаганды и оказал сильнейшее влияние не только на характер Аксенова и многих других из его поколения, но и на мировоззрение, перевернул шкалу ценностей. Став писателем, Аксенов посвятил Америке несколько книг: «Круглые сутки нон-стоп» (1976), «В поисках грустного бэби» (1987). А «Желток яйца» (1989) и вовсе написал по-английски, а затем сам же перевел на русский язык. Одна только мелодия «Меланхоличной малышки», а какие последствия!..

Отдав дань Америке, Василий Аксенов обратился к родине и в 1992 году завершил трехтомный роман «Московская сага», где охватил период с середины 20-х годов до начала 50-х на примере жизни трех поколений семьи Градовых и где представлены множество персонажей – врачей, военных, поэтов, студентов, вплоть до смешной и нелепой еврейки Цецилии Розенблюм. «Московская сага» была превращена в многосерийный телевизионный фильм и, соответственно, приобрела огромную аудиторию. Кто-то был в восторге от «Саги», а кто-то посчитал ее творческой неудачей писателя. Как говорится, мнения разделились.

А Аксенов тем временем поражал всех плодовитостью, и на прилавках книжных магазинов регулярно появлялись новинки: «Новый сладостный стиль» (1998), «Москва-Ква-Ква» (2006), «Редкие земли» (2007).

«Москва-Ква-Ква» – это попытка создать некую квинтэссенцию сталинского «большого стиля». Повествование о стилягах, о высотках, о Сталине и множество всяких мифов. «Но главная баба – это все-таки Москва Ква-Ква. Стоит, развесив цветные юбки. Красит гриву свою на Ленгорах, рыжеет, лиловеет, законьячивается…» Реализм с сюрреализмом, да еще приправленные сатирой. Аллюзивные персонажи: летчик Жорж Моккинаки, поэт Кирилл Смельчаков, – ну, как в «Алмазном венце» у Валентина Катаева. Книга особого восторга не вызвала, и кто-то из критиков меланхолично заметил: «Мэтры тоже квакают».

«Редкие земли» – это тоже какой-то сплав жанров: фарс вперемешку с приключенческим романом. Ее герой – Ген Стратов, сделавший состояние на редкоземельных элементах, олигарх, в итоге угодивший в тюрьму. Корреспондент одной из газет спросил Аксенова: «Ген Стратов – это еще и Ходорковский?» «Отчасти, конечно, – ответил писатель. – Я был на этом процессе, сидел там весь день рядом с клеткой. Он, когда меня увидел,

просиял, сказал: «Я в тюрьме ваши книги читаю». Хотел пожать ему руку, но охрана меня вежливо оттеснила – не полагается».

О чем это говорит? Василий Павлович вернулся на родину, к ее властной вертикали, к тюрьмам, коррупции, беспределу и прочим отечественным прелестям. Однако Аксенов был почти всегда относительно мягок в своих оценках: «Для меня Россия – прежде всего люди страдающие. Чудные старушки, тетушки, дядюшки – пронзительные российские существа. Ну и, конечно, интеллигенция, хотя и говорят, что ее уже нет. Но она все-таки существует».

«Как много интересного каждый русский несет в себе… Страна исключительного порядка, все под контролем, никакого гомосексуализма, как это все там организовано» («Новый сладостный стиль»).

Корреспонденты постоянно тормошили Аксенова рассказать о его женщинах. Он охотно рассказывал о первой жене Кире, о второй: «Майя – главная любовь». Но лично меня больше интересовали отношения Аксенова с Бродским. Один стал Нобелевским лауреатом, а второй, по всей видимости, очень надеялся на премию, но ее не получил. Две российские знаменитости жили одновременно в Америке и, мягко скажем, не очень дружили между собой, особенно после того, как Бродский раскритиковал в пух и прах аксеновский «Ожог». «Бродский – ваш враг?» – в лоб спросил один журналист. Аксенов ответил: «Я не считаю себя врагом Бродского. Я его просто терпеть не могу… Начинаю зевать от двух строчек его стихов… У него отсутствует музыка… Он монотонен…»

Неужели все по Александру Блоку? «Там жили поэты, – и каждый встречал/ Другого надменной улыбкой».

Таланты не дружат, ибо гением считают только себя.

А время летит и летит. Незаметно подлетел и аксеновский юбилей: 75. Все отметили, что он молодец и, как всегда, благополучен.

«Твид, шпионский вельвет… Очки «Поларoид». Усы – «Колонель». Зажигалка – «Ронсон». Манеры – Набокова. Цитаты – «Ожог». Правильно – писатель. Сразу видно. «Ле Каре, Джон?!» – подумал я. «Аксенов, – шепнули мне из кустов, – Василий Павлович».

В Казани он с шумом отметил «Аксенов-фест» с чтением, с джазом, со встречами с читателями. И даже, рассказывают, лихо отплясывал буги-вуги и рок-н-ролл. «А потом опять в тишину, в Биарриц, думать, творить!»

Свое последнее интервью он дал Ольге Кучкиной, и оно появилось в «Комсомольской правде» 12 января 2008 года. Среди

прочего отметил: «Меня греет то, что в Америке читают мои книги…» «А что ты любишь в России?» – спросила Кучкина, и Аксенов ответил: «Язык. Мне очень язык нравится. Больше ничего не могу сказать».

И неожиданно в конце беседы Аксенов заметил: «Мы пожилые люди, надо умирать уже…»

«– Ты собираешься? – подивилась Кучкина.

– Конечно.

– А как ты это делаешь?

– Думаю об этом.

– Ты боишься смерти?

– Я не знаю, что будет. Мне кажется, что-то должно произойти. Не может это так просто заканчиваться…»

Что это – предчувствие? Ощущение надвигающейся беды? Некомфорт с сердечным стимулятором, вживленным в его грудь летом 2007 года? Какие-то тревожные токи?

Интервью в «Комсомолке» вышло 12 января 2008 года, а через 3 дня, 15 января днем, бригада «скорой помощи» забрала Василия Аксенова с Лялина переулка. Писатель был за рулем и столкнулся с джипом. Авария произошла из-за приступа, «острого нарушения мозговой деятельности» – Аксенова сразил инсульт.

С состоянием «умеренного оглушения» Аксенов попал в больницу, затем был переведен в Склиф. Первый диагноз врачей: «Перспективы не самые печальные… Таких больных к нам в год поступают тысячи. Отработана схема лечения…» Журналисты тут же вспомнили, что знаменитый Луи Пастер перенес инсульт в 42 года и после этого совершил все свои выдающиеся открытия, а Уинстон Черчилль, перенеся два инсульта, написал свои мемуары.

Но что эти примеры? У каждого своя судьба. Неповторимая. Личная.

У Аксенова была парализована правая часть тела. Он находился в сумеречном состоянии, порой приходил в себя. За ним ухаживала жена Майя Афанасьевна и ее дочь Елена от первого брака. Елена специально приехала из Америки, чтобы ухаживать за отцом – она считала Василия Павловича своим отцом. И – в августе 2008 года она умирает во сне. Безжалостный рок, если учесть и гибель ее сына, 26-летнего Ванечки в 1999 году, которого Аксенов любил как внука.

6 июля 2009 года Василий Аксенов скончался, так по существу и не придя в себя. Он не дожил 45 дней до своего 77-летия.

В молодые годы Аксенов утверждал, что надо жить, танцуя свинг. Найти свой ритм и не выпадать из него. Джаз был его

стихией всю жизнь. Но в один момент июльского дня музыка неожиданно прекратилась. И все стихло. Стихло для Аксенова.

9 июля с Василием Павловичем прощались в ЦДЛ. Ян Смирницкий написал в «МК»: «Страшно не то, что прощались с Аксеновым. За эти три дня все слова – маленькие и большие – уж сказаны. Страшен разительный контраст лиц тех людей, кто пришел проститься к Дому литераторов, с лицами вообще. Глоток человеческого облика, глоток личности, глоток умной благородной печали, собранной в одно время в одном месте, небольшая очередь прошла мимо гроба с цветами и всего за 40 минут. Это 40 минут интеллигенции в России. Интеллигенции у гроба. «Как он умел дружить! – говорили. – Даже в этот день собрал такую компанию».

После ухода, как водится, пошли послесловия: «Закат эпохи», «Не памятник», «Тот, кто сказал «Изюм», «Человек, который хотел праздника» и т. д. Среди воспоминаний приведем и прижизненный эпизод, рассказанный Александром Ткаченко, когда он после долгой разлуки встретился с Аксеновым в одном американском ресторане. Говорили громко и эмоционально. Сосед по столику, американец, спросил по-английски: «Это почему так громко звучит здесь русская речь?» «О, простите, – засуетился Ткаченко, – мы долго не виделись, точнее, я долго не видел его, это грейт рашн райтер». «А, Лев Толстой», – усмехнулся американец и потерял интерес к громкоговорящим русским.

Итак, смелая параллель: Лев Толстой и Василий Аксенов. Слава богу, Василий Павлович не мнил себя так высоко (одно дело соревноваться с Бродским, совсем иное дело – Лев Николаевич). О себе Аксенов не раз говорил, что он – человек многопишущий и сочиняющий спонтанно. И, конечно, истинный человек Книги. «Я очень люблю писать, я графоман, – лукавил Аксенов. – Я знаю отчетливо, что я, – и это уже вполне серьезно, – сильный профессиональный писатель».

Своими учителями на раннем этапе Аксенов называл Ремарка, Хемингуэя, Дос Пассоса и Фолкнера.

В заключение попробуем вписать Василия Аксенова в историческую хронику. Он умер 6 июля 2009 года. Для себя в весьма знаменательный день. Судите сами.

1415 год – сожжен на костре Ян Гус, вождь реформации в Чехии. «Спасение душ народа для меня дороже моего бренного тела», – говорил он.

1535 – погиб на плахе Томас Мор, автор знаменитой «Утопии». Могла ли она осуществиться? «Я более желаю этого, нежели ожидаю». Не в такой ли позиции находился и Аксенов?

1762 – убит российский император Петр III, внук Петра I и супруг Екатерины II, по велению которой и был умерщвлен.

1868 – родился Александр Федоров, малоизвестный поэт Серебряного века, которым увлекался Василий Павлович.

Пусть ничто никогда и не сбудется, —
Мне восторги дороже всего.
Лишь в несбыточном счастие чудится,
Лишь в далеком светло божество…

Эти строки Федорова написаны в 1903 году, за 29 лет до рождения Аксенова. И, кстати, Аксенов в 2007-м выпустил свою первую книгу стихов «Край недоступных Фудзиям». И стишками баловался Василий Павлович…

1893 – умер Ги де Мопассан… 1895 – родилась Ольга Спесивцева, звезда балета времен Серебряного века… 1918 – мятеж левых эсеров в Москве… 1946 – родился Сильвестр Сталлоне, американский идол. Рэмбо и Рокки.

1959 – умер от инфаркта Георг Гросс, не дожив немного до 66 лет. Немецкий художник. «В лице Гросса Германия нашла своего Домье». А еще его звали «Самый печальный человек в Европе». В молодые годы Георг Гросс пытался создать графический труд «Безобразие немцев». В 1933 году художник эмигрировал из Германии в США и продолжал рисовать свои сатиры. «Меня преследует запах жареных детей», – говорил он.

1962 – еще одна утрата. Ушел из жизни Уильям Фолкнер. В 1958 году он обратился со «Словом к молодым писателям»: «Не только перед молодыми писателями – перед всеми нами стоит задача спасти душу человека, прежде чем человека лишат души так же, как холостят жеребцов или быков; спасти личность от безликости, пока еще не поздно и человек не превратился в двуногое животное. И кому же, как не прозаику, поэту, художнику, спасать человечность, ибо кто более них должен бояться потерять ее, ибо человечность – это горячая кровь творчества».

Не этому ли призыву следовал Василий Аксенов?..

Орлеанская дева российской поэзии. Римма Казакова (1932–2008)

У меня с Риммой Федоровной были короткие, но весьма острые отношения. Дело в том, что она – моя ровесница и, естественно, я включил ее в свою книгу «Клуб 1932». Вот как была представлена в ней Римма Казакова:

«Маленькая девочка, ставшая поэтессой. Она родилась 27 января 1932 года в Севастополе. Первые стихи опубликовала в 1955 году… В одном из интервью, вспоминая прошлое, сказала: «…все жили по принципу:

Я – маленькая девочка,
играю и пою,
Я Ленина не знаю, но все-таки
люблю…»

Нет, я жил по другому принципу и никогда не любил Ленина.

Уже будучи взрослой, в интервью АиФ (24 декабря 1997) она сказала: «У меня каждый день праздник, а когда дело доходит до настоящих праздников, я остаюсь одна. Когда были мужья, я выясняла, где они шляются и почему не дома. Теперь хоть и живу с сыном, но и его не вижу. Стихов к Новому году не писала никогда, а чужие читать не люблю…»

А я люблю чужие. Люблю талантливые чужие стихи, а не свои, хотя их тоже пишу. Но ближе к теме. Я с удивлением узнал, что настоящее имя поэтессы не Римма, а Рэмо: Революция, Электрификация, Мировой Октябрь. Так назвал ее отец. Вот уж

воистину она – дитя эпохи. Про себя Казакова говорит так: «Комсомолка, спортсменка, красавица. Кроме сказанного последнего, все было при мне…»

Но что для поэта внешность? Главное – лицо творческое. Оригинальность мысли, изящество стиля, музыкальность строк. Все это, конечно, есть и у Казаковой, но ее как поэта, на мой взгляд, губит некий советский шлейф, который за ней тянется. Впрочем, вот как писала она сама:

Я шагала, как солдат:
Часть массовки, часть народа.
Но чертился наугад
Путь совсем иного рода.
От слепящей темноты,
От казенного уродства
Он увел туда, где ты,
Только ты диктуешь сердце…

Ах, это сердце!.. В одном интервью Римма Казакова, отвечая на вопрос, как она переживает расставания, ответила: «Я смертельно переживаю. У меня есть стихи: «Моя последняя любовь, заплаканная, нервная, моя последняя любовь – ты первая!» Когда я была моложе, всегда считала – пусть меня лучше обманут, чем я обману. Но сегодня, видимо, «любительное вещество» закончилось… И я прекрасно понимаю, что не юна…»

«Любительное вещество» – неплохо сказано.

Читающая публика читает,
болтающая публика болтает,
Торгующая публика торгует,
ворующая публика ворует…

Словом, каждый занимается своим делом. Римма Казакова, член виртуального «Клуба 1932», переживает, думает, пишет, и дай ей Бог здоровья, сил и поэтического вдохновения и дальше.

В заключение еще несколько ее строк о прошлом страны, о тогдашних:

Были знания темны,
а познания лукавы…
В звонких сумерках страны —
как мы жили? – Боже правый!
Цель ясна, приказ – в висок,

берегись! – кто помешает.
Барабанный марш-бросок.
И – мечта, воздушный шарик».

Так была представлена Римма Казакова: очень коротко и без излишних деталей. Книга «Клуб 1932» оказалась в руках Риммы Федоровны. Более того, на ее 70-летие почитатели ее таланта подарили несколько экземпляров. И при разговоре со мной она выразила явное неудовольствие тем, как о ней я написал. Ей хотелось более возвышенных и пафосных слов в свой адрес, а я написал о ней как бы мимоходом (ровесников-то много!) Потом мы не раз встречались и разговаривали, и каждый раз Казакова продолжала меня корить за написанное. Как-то в Союзе писателей Москвы она познакомила меня с одним литератором и сказала при этом: «А это Юрий Безелянский, который написал обо мне не так, как надо». В конечном счете мы все же примирились. Поцелуй в щечку, кажется, ее примирил с несправедливым автором. Сегодня мне очень жаль, что Римма Федоровна ушла из жизни. И я готов «исправиться», по крайней мере, написать более пространно и глубже о ней. Она это заслужила.

Мама поэтессы, Софья Александровна, караимка, крымская еврейка, приехала рожать в Севастополь в январе 1932 года, где жили ее родители. Отец был военный, и ему приходилось служить в разных городах страны. Федор Казаков, по национальности русский, однажды был вызван генералом, и тот с опаской спросил: «Федя, у тебя что, жена еврейка?» Казаков ответил: «Никак нет, моя жена – караимка». «А ну, тогда ничего», – облегченно вздохнул генерал, а точнее комдив. Итак, две крови: еврейская и русская. По этому поводу Римма Казакова говорила: «Я думаю, и талант мой, если он есть, – и от смешения кровей».

Детство Римма Казакова провела в Белоруссии, школьные годы – в Ленинграде. Великая Отечественная война застала семью в Ленинграде: блокада, артобстрелы… После эвакуации вернулись в город на Неве. Когда умер Сталин, то Римма Казакова искренно и горько плакала, а в дневнике записала: «У нас страшное горе: умер родной и любимый Иосиф Виссарионович Сталин…» Позднее, разобравшись в отечественной истории, написала стихотворение «Вожди»: «Я больше лба себе не расшибу ни об одну державную икону!»

В 1954 году Казакова закончила исторический факультет ЛГУ. Как признавалась сама поэтесса, «по комсомольской дурости» уехала на Дальний Восток, в Хабаровск, и надолго там

застряла.

Я хочу в далекие края.
Не угомонилась ненасытная,
резвая душа моя транзитная.
Что в чужих краях забыла я?..

Застряла, но получился результат. В 1958 вышла первая книга стихов «Встретимся на Востоке» и Казакову приняли в Союз писателей.

Тайга строга. В тайге не плачут —
Вдали от самых дорогих.
А если плачут, слезы прячут,
Спокойно помня о других…

И вообще, «Я иду и не гнусь – / Подо мною мои прежние травы, / Ничего не боюсь. / Мне на это подарено право…» И далее – приехала в Москву, поступила на Высшие литературные курсы при Литературном институте, вышла замуж за писателя Радова. Начала печататься – и где? – на самых престижных площадках – в «Новом мире», в «Юности». Ее учителями стали Михаил Луконин и Евгений Евтушенко, кстати, Казакову в 60-е годы звали «Евтушенко в юбке». У Казаковой было много стихов со словом «дорога» – разъезжала и по стране, и за ее пределами – от Вологды до Токио. Основные темы стихов: дружба, любовь, верность, материнство. В начале ее творческого пути Виктор Боков спросил ее: «Девочка, мне очень нравятся ваши стихи. Но признайтесь, что на вас очень повлияла Марина Цветаева?» Казакова удивленно подняла брови: «А это кто?» Тогда она не знала никакой Цветаевой и писала по-своему. «Люби меня застенчиво», «Быть женщиной – что это значит?..», «Как просто быть счастливой в этом мире!..»

Мне не спится.
В творческом процессе я.
Завелась. Писать – не ловля мух.
Говорят, что это не профессия…
Но для хобби слишком много мук.

Сборники стихов, преодолевая поэтические муки, выходили один за другим. «Там, где ты» (1960), «В тайге не плачут» (1965),

«Снежная баба» (1972), «Набело» (1977), «Сойди с холма» (1974), «Сюжет надежды» (1991), «Наугад» (1995) и другие, более 20 книг. Римма Казакова издавалась и выступала наряду с другими кумирами 60-х годов во многих залах и даже на стадионе в Лужниках.

Не боялась? Позднее она признавалась: «Я была неуверенная, робкая. И всю жизнь старалась преодолеть робость в себе. Я считала себя провинциалкой…» Кумиром Риммы Казаковой была Белла Ахмадулина – «красавица, богиня, ангел». Да к тому же всегда эффектно одетая, «хорошо упакованная», как выразилась Казакова. Конечно, она ей завидовала. Но сумела преодолеть это чувство и поняла простую истину: надо быть самим собой. И она стала Риммой Казаковой, совершенно отличной от Ахмадулиной, поэтом со своим внутренним миром, со своим стилем и со своей позицией в литературной тусовке. Когда-то она написала: «Поэзия – мужичье дело, / Воловий труд, соленый пот. / Зачем же Орлеанской Девой / В поэты девочка идет?» Всей своей последующей жизнью Римма Казакова на этот вопрос дала четкий ответ.

В интервью газете «МК» в 2002 году Казакова признавалась: «Я очень высоко ставила Андрея Вознесенкого, Беллу Ахмадулину, Юнну Мориц. Но годы шли, и постепенно я осознала: чего я, как бедная родственница, как горняшка, кручусь у стола господ. Пускай они живут сами по себе. Я другая. Я поняла, что я все-таки поэт и что по жизни меня вело то, что называется призванием… у меня нет ни званий, ни наград, но иногда я понимаю, что у меня есть свой читатель…» И на эту же тему: «С годами я поняла, что я самодостаточная, мне есть что делать. Мне компания не нужна… Очень часто мы окружаем себя не теми людьми и не в тех пропорциях…».

И Римма Казакова пошла своей дорогой. Выступала и как публицист, и как переводчик. В 1976–1981 годах работала секретарем правления Союза писателей СССР, организовывала Пушкинские праздники поэзии. В стихах чеканила свое имя. Многие из них стали популярными песнями: «Ненаглядный мой», «Мадонна», «Ариадна», «Дурочка», «Ты меня любишь».

Одна критикесса в восторге написала: «Солнечный жизнеутверждающий, радостный талант дал Бог Римме Казаковой». Но этот «солнечный и радостный талант» был затенен событиями в стране, развалом Советского Союза и последующими за ним «развеселыми делами».

Законы выживания —
Законы вышибания…

Товары отрываются,
Карманы открываются…

Новая жизнь – новые песни.

Мысли грустные итожа,
Говорю себе с тоской:
Может быть, в метро мне тоже
Встать с протянутой рукой?..

Нет, любезные коллеги,
Новый колорит Москвы!
И прохвосты, и калеки…
Разве я – не то, что вы?..

Будучи натурой общественной, не замкнутой в своем мирке, Римма Казакова в последние годы писала размышлительные и горькие стихи: «… Я наконец-то поняла – / как отрубила, / что многое, чем я жила, / напрасно было… / Во всем какой-то сбой, пробой, / печаль разлада. / И государство, и любовь… / Подумать надо!»

С удивлением смотрела Казакова на молодое поколение, которому, в отличие от старшего, было совсем «не по кайфу ишачить целый день». В «Монологе современной девчонки» декларировалась:

Не хочется учиться,
А хочется гулять,
От музыки тащиться
И глазками стрелять.

Мечтаю не о деле.
Мечта моя проста:
Хочу я много денег —
Зеленых, как листва…

Римма Казакова удивлялась: она так не могла. Она поступала иначе: «Все ухожу оттуда, где не больно, / и все туда, где больно, прихожу…» И с горечью: «Творю добро, а все не легче…» Жизнь кругом перестраивалась, но от этого легче не становилось. Знаменательно стихотворение Казаковой «Недоверчивое»:

Неужели в самом деле – перестройка?
Все – на фронт, и в кабаке пустеет стойка?..

Неужели вправду умницу – в министры! —
И дозволено на бездарь не молиться?..

Сплошные «неужели?» – «И Лубянка без секретов, / и – нет власти без Советов?!..» Перестройка кончилась, и на развалинах былой великой империи возникло нечто новое, явно монструозное:

И куда себя ни день ты,
Что себе ты ни внуши,
Деньги, деньги,
Дребеденьги! —
Цель и суть твоей души…

И возмущенный крик исторгается из казаковского сердца: «О, жующая столица! / Искореженные лица. / Стадный ужас длится, длится, / хоть в нем пользы ни на грош. / Ты жуешь, жуешь, жуешь…»

Жуют. Жрут. Танцуют. Пляшут. И легко обходятся без всякой культуры, на что Римма Федоровна однажды резко сказала: «Забудьте о нас окончательно. Мы подохнем. Живите без стихов». Сама она так не могла. Она до последних дней не расставалась с поэзией. Возглавляла беднейший Союз писателей Москвы. Про себя говорила: «Я нищая, несчастная бабка, которая доживает свои дни». И еще: «У меня сознание социал-демократическое, и я не понимаю, как можно наслаждаться жизнью, покупать иностранные футбольные команды или демонстрировать свое богатство, когда в стране столько бедных людей!..»

Но что об этом в стотысячный раз! Никто не услышит и никто не поможет. Как в том анекдоте: давайте лучше о любви!

Римма Казакова всегда отличалась прямотой и откровенностью, никаких вуалей, никаких иносказаний – все открытым текстом. О себе рассказывала: «Я была воспитана в мещанской среде. Все эти темы были за семью печатями. Меня учили: умри, но не давай поцелуя не только без любви, но и вообще! Мальчики – это враждебный класс! В школах раздельное обучение. Моя мама – комсомолка в красной косыночке – считала, что целоваться днем неприлично. Следствие этого – отец стал ей изменять… И грех, порок стали меня привлекать с 12 лет. Если бы в это время меня спросили, что бы я хотела: почитать

книжку или пойти с мальчиком в кино? – я бы, конечно, выбрала второе! И, конечно, в 12 лет я влюбилась в мальчика. Когда он однажды небрежно меня обнял, я думала, что умру от счастья. Если бы были соответствующие обстоятельства, думаю, произошло что-нибудь вроде грехопадения. Вопрос: был бы это грех?..»

Повзрослев, естественно, Римма Федоровна влюблялась не раз, то в «какого-нибудь идиота», по ее признанию, то в «красивую дубину». «Помню, была влюблена в одного человека, звоню ему, спрашиваю: «Что делаешь?» А он говорит: «Читаю «Анну Каренину». Я подумала: «Сволочь, я его люблю, а он «Анну Каренину» читает…»

Дважды Казакова была замужем, сначала за писателем Георгием Радовым, который был на 17 лет ее старше, затем вышла замуж за врача, и тут другая разница: он был на 10 лет моложе Риммы Федоровны. «У меня было два мужа, – рассказывала Римма Казакова. – Один умер, другой «гуляет на воле». Оба они – не совсем «сапоги от моей пары». Но я жизнь за это не корю. Потому что с обоими я узнала, что такое счастье. Они были разные, по-разному мою жизнь дополняли и освещали, но и отнимали что-то…»

В другом интервью на вопрос: «Вы дважды были замужем?» Казакова взбунтовалась: «Подумаешь! Тоже мне событие – дважды замужем».

И еще одно откровенное признание: «Жизнь меня лупила и била, как хотела. Я же некрасивая женщина. Я такая звезда, которая всегда хотела взлететь на пьедестал, для нее не предназначенный. Я иногда говорила своему второму мужу: «С житейской точки зрения, любая длинноногая молодая девчонка даст мне сто очков вперед. Чтоб меня любить и держаться за меня, надо очень многое во мне видеть и находить».

А любви настоящей так хотелось!

Я так тебя люблю издалека
На континенте противоположном,
В родной стране, где тоже не легка
Была любовь с тоскою невозможной.

Я так тебя издалека люблю,
Не чувствуя ни чуждым, ни ушедшим,
Что, кажется, я шар земной пробью
Насквозь биеньем сердца сумасшедшим.

Сумасшедшая любовь и… безответная. Разговор с

корреспондентом:

«– Вас обожают мужчины?

– Вы что, с ума сошли? Почему, что за бред?

– Вы красивы. Умны.

– Я знаю. А вы думаете, мужчины так любят умных женщин? Честно говоря, я полагаю, что меня никто не любил. Конечно, если тебя любит какой-то «сапог», а ты ему не отвечаешь, то этой любви фактически нет. А чтобы действительно интересный человек испытал ко мне чувства, которые я квалифицировала бы как любовь… этого не было в моей жизни».

Говоря о настоящей любви, Казакова припомнила немолодого лектора марксизма-ленинизма из своей юности, который говорил: «Когда или с этим человеком – или с моста в речку, то вот это она и есть. Любовь».

И почти крик в стихах:

Нет личной жизни,
от прочих отличной,
личной,
первичной.
Ах, аналитики —
Все о политике…
Нет жизни личной!

Сердце не тянет,
быть уже хочет
просто копилкой.
И не заглянет
кто-то с цветочком
или с бутылкой.

Нет личной жизни.
Больше не светит
в мощном и в малом.
Нет личной жизни!
А у соседей —
прямо навалом…

И отчаянная концовка стихотворения, которая наверняка заставила вздохнуть и всплакнуть не одну одинокую женщину:

Нет личной жизни.
Вкус потеряла
К цели движенья.

Нет личной жизни!
Смотрю сериалы.
Жду продолженья.

И еще одно откровение: «Вообще-то я – прирожденная жена. Люблю готовить, люблю сидеть дома. Я вообще считаю, что женщина должна служить мужчине… Я отнюдь не феминистка. Терпеть не могу всех этих эмансипированных штучек и не понимаю, почему в Америке, по рассказам, женщины иногда мужчин достают на тему сексуального приставания. Мне это непонятно. Если ко мне кто пристает, я думаю: ох, как хорошо – еще кому-то нравлюсь!»

Вот уж точно не феминистка! Обыкновенному женскому счастью посвящена последняя книжка Риммы Казаковой «На баррикадах любви» (2002).

Пускай других разит субтильный шик
И жиденькая сладость лимонада…
Да, грубый.
Да, упрямый.
Да, мужик…
А что мне, бабу надо?!

«Баррикады любви». Пройдешь их. Свернешь. А там переулочек глухой. Тишина. Старость. Корчится. Плачет. «Я ушла и от первого мужа, и от второго, как тот колобок, ушла от всех в никуда, в одиночество…» Кстати, второго мужа Римма Федоровна упорно называла «предпоследним». А кто стал последним?

«Ваш главный проигрыш в жизни?» – спросили Казакову в лоб. Она ответила: «Нет мужчины рядом. Хотела состариться с любимым человеком. Но, может быть, это лишь иллюзия?..»

А старость уже поджидала поэтессу, хотя она и старалась бодриться: «От макушечки до пят / Я пока еще живая…»

Эти звуки режут ухо
Мне повсюду.
Не хочу я быть старухой!
И не буду…

Сын, внуки, но в них Казакова не хотела растворяться до конца. Ее мечта: самореализация. В стихотворении «Настроение» она размышляла:

Полагаю, что я ничего не добьюсь,
Что напрасны мечты и потуги.
Понимаю, что я не собьюсь, не сопьюсь,
Как иные друзья и подруги…

И вопрос к себе: «Так о чем я скулю?» И далее о неком мудреце-простаке: «Вот он мне и долбит, что зазря я боюсь: / на пути, где я птицей взъерошенной бьюсь, / мне роскошно жилось и любилось! / Я на этом пути ничего не добьюсь… / потому что всего я добилась».

Но при этом болит сердце за страну. «На наших глазах строится государство для весьма богатых людей. Для рядовых же граждан проблемы со всем – с жильем, с работой, с тем, как вырастить детей, с лечением… О духовной жизни никто не заботится. О Тургеневе, Блоке или Бунине как-то даже заикнуться неудобно… Писателей практически лишили профессии, печатают мало, особенно стихов. Платят копейки… Время на дворе коммерциализированное…» («Культура», 16 августа 2007). Короче, «погано живет сейчас поэт».

Слушаю новости, злясь и скорбя.
Жарко на юге, все жарче.
Жалко чеченцев и жалко себя.
Может, чеченцев и жальче.
……
И с Беларусью не разберусь,
Да и меня не спросили.
Жалко Россию и жаль Беларусь.
Жальче, пожалуй, Россию…

Вот так болело гражданское сердце Риммы Казаковой.

Душа, как птица раненая, скорчилась,
Обязанная каждому и всем.
Приходит слава, а здоровье кончилось.
Но, может быть, еще не насовсем.

Здоровье тоже не оправдало надежд поэта. Она поехала поправить его в подмосковном санатории в поселке Перхушково и… 19 мая 2008 года оторвался тромб. И всё.

Римма Федоровна Казакова прожила 76 лет. Удивительно насыщенных. Взволнованных. Драматических. За две недели до

смерти она написала строки:

В мире так много разбито, разрушено…
Вместе со всеми плетем жизни кружево
И открываем внезапно в себе:
В играх судьбы мы не станем игрушкою!
Вот наш исток: мы наследники Пушкина.
Скажем за это спасибо судьбе…

19 мая в истории много чего было. К примеру, в 1182 году был освящен главный алтарь Собора Парижской богоматери… В 1536 году казнили жену английского короля Генриха VIII Анну Болейн… 1862 год – родился художник Михаил Нестеров… В 1981 году 19 мая в штате Калифорния умер американский писатель Уильям Сароян. В автобиографической повести «Вот пришел, вот ушел, сам знаешь кто» он писал: «Как писатель я, может быть, не умру, зато наверняка умрет Сароян». Себя писатель определил так: «свободный заключенный».

Римма Казакова тоже была заключенной. Она была пленницей собственного сердца. Женского и поэтического.

Искатель исторической правды. Михаил Шатров (1932–2010)

Я с большим интересом слежу за судьбой своих ровесников, членов «Клуба 1932». И очень печалюсь, когда они уходят. Жизнь – суровая и беспощадная дама. Один из ушедших – Михаил Шатров, блистательный драматург, создавший цикл «драм революции».

Михаил Шатров! Когда-то гремели его спектакли, полыхали ярким пламенем дискуссии и споры, ломались копья, глохли глотки, давались многочисленные интервью-разъяснения. «Все было!» – как утверждал с обидой горьковский барон в «На дне». И что сегодня? Да, ничего. Короткие некрологи – и тишина. Мне, как ровеснику, обидно: Шатров заслуживает большего!..

Шатров – это псевдоним. Михаил Филиппович Маршак в молодые годы написал пьесу и встретился со своим дальним родственником, знаменитым Самуилом Маршаком, который сказал, что фамилия Маршак будет ему мешать и поэтому лучше взять псевдоним. Михаил Маршак согласился и стал примерять на себя псевдонимы: Михаил Апрелев (он родился в апреле), Михаил Туманов, Николай Березовский… и никак не мог на чем-то остановиться. Директор театра негодовал: надо было печатать афишу, а как назвать автора? И предложил: «Твой герой в пьесе Шатров, вот и будь Шатровым, а героя назови Лавровым или Петровым». Так Михаил Маршак стал Михаилом Шатровым.

Другая история и более ранняя, как вообще Шатров появился на свет. У родителей – отца Филиппа, инженера по профессии, и матери – Цецилии, школьной учительницы, – был уже сын, она забеременела, но осенью 1931 года в семье произошел разлад, и

Цецилия Александровна решила сделать аборт, – достаточно одного сына! Ее положили в московский родильный дом им. Грауэрмана на Арбате. Но именно в этот момент роддом захотел навестить приехавший в СССР английский драматург Бернард Шоу. Главврач не мог допустить, чтоб всемирно известный человек узнал, что в советской стране женщины по своему желанию идут на аборт, – страна социализма! Как это можно! И временно всех так называемых абортниц выселили из роддома. Мать будущего Шатрова пришла домой, помирилась с отцом, они решили дать ребенку жизнь, так на свет появился второй сын в семье (в обычной еврейской) – Мишенька. Произошло это 3 апреля 1932 года. Так что рождение Шатрова напрямую связано с визитом великого Бернарда Шоу. Спустя несколько десятилетий Борис Пастернак, живший по соседству с Шатровым в Переделкино, допекал его: «Миша, расскажите, почему вы стали драматургом». Его очень веселила эта история рождения Михаила Филипповича.

Но жизнь для Шатрова была далеко не веселой. Можно сказать иначе: она оказалась тяжелой и беспощадной, особенно в годы становления. Дело в том, что родная тетя Шатрова была женой Алексея Ивановича Рыкова, которого Сталин из премьер-министра (тогда председателя Совета Народных Комиссаров) превратил во «врага народа» и уничтожил. Тень Рыкова пала на всю семью Маршаков. В 1937 году отца Шатрова арестовали, и мать каждый день вызывали на допросы, на которые она брала своего младшего, 5-летнего сына. «Запомнились большие очереди, и еще помню, – вспоминал Шатров позднее, – что у человека, который маму допрашивал, была фамилия Геринг. Точных данных о судьбе отца нет. По одной из версий, его расстреляли 3 апреля, в день моего рождения».

Итак, с 5 лет Михаил Шатров проходил по категории «сын врага народа». Потом были военные тяготы, эвакуация, недоедание, сыпной тиф. В 1944 году Шатров с матерью вернулся в Москву (а старший брат доблестно воевал на фронте). А в ночь на 23 сентября 1949 года мать Шатрова арестовали – за что? Смешной вопрос для того времени. В справочном бюро МГБ (будущее КГБ) сообщили: свиданий больше не будет, «она неправильно себя ведет – не признается в том, что она не еврейка, а немка, что ее родной язык немецкий и что она немецкая разведчица». Логика железная: раз преподавательница немецкого, значит, «засланная казачка». И ее отправили на вечное поселение в Сибирь… Семнадцатилетний Миша остался без папы и мамы. «Мне хорошо, я – сирота», – говорил мальчик Мотл в книге Шолома-Алейхема, но будущему драматургу было не до смеха.

Хорошие люди (а они найдутся всегда) помогли ему, и он стал репетитором для неуспевающих учеников в школе, что сразу давало хлеб на пропитание. «А у одного моего подопечного отец был сапожником, сшил для меня ботинки. Это был мой первый заработок», – вспоминал Шатров.

С анкетой «сына врага народа» было нелегко поступить в вуз, но и тут нашелся добрый человек, и, несмотря на анкетную «хромоту», Шатров поступил в Горный институт и, когда пришла пора практики, отправился в Кузбасс, поближе к местам, где находилась на поселении его мать. Он ее нашел в районе Ачинска, в поселке Большой Улуй. Можете себе представить, какая это была встреча: сколько было пролито слез, сколько было сказано слов. В сарай к Цецилии Александровне сбежалось много ссыльных женщин – жен бывших наркомов, членов ЦК и прочих известных людей. Все хотели знать, что там происходит в Москве?!.

После смерти тирана началась реабилитация незаконно осужденных и их возвращение в родные места. В сентябре 1954-го вернулась и мать Шатрова… Такие вот повороты судьбы и сцены из пьесы под названием «Жизнь». Можно сказать, что прожитые годы вытолкнули Михаила Шатрова на дорогу драматурга. Он все годы дышал драматургическим воздухом эпохи…

Ну, а теперь ближе к золотому перу и к успешному творчеству. С детства Шатров был книжником и читал все подряд, как он сам отмечал, запоем. Свой первый рассказ под названием «Десять нераспечатанных писем» опубликовал на студенческой практике в газете «Горная Шория». В 1955 году, в 23 года, Шатров написал первую пьесу «Чистые руки». Один из ее персонажей был секретарь комсомольской организации, карьерист и отъявленный подонок (его играл молодой Ролан Быков). Пьесу поставили в Театре юного зрителя (вот тогда и совершился «переход» фамилий: из Маршака в Шатрова). Молодой драматург пригласил на просмотр маститого драматурга – Алексея Арбузова, и надо такому случиться, что тот заснул во время действия, но, правда, к концу проснулся и пообещал большое будущее Шатрову. Кстати, в драматургию Шатрова ввели трое: Арбузов, Виктор Розов и Александр Штейн.

Первую шатровскую пьесу ставил Олег Ефремов, с которым Шатрова в дальнейшем связала крепкая многолетняя дружба, но начало этой дружбы было ужасным. Шатров у дверей ТЮЗа увидел Ефремова, разговаривающего с какой-то актрисой. «Подожди меня, – говорил он, – там какой-то сумасшедший графоман ждет, сейчас я его спроважу, и мы с тобой завалимся в ресторан ВТО». Шатров в состоянии крайней обиды, конечно,

убежал…

Начало всегда бывает трудным, хотя и продолжение выпадает нелегким: у кого какая «планида». За 30 лет творческой работы на долю Шатрова выпали успехи и провалы, счастливые минуты и горькие. Как драматург, пишущий на исторические темы, Шатров поделил советскую историю на два периода и на двух вождей: на хорошего Ленина и плохого Сталина (в этом смысле он истинное дитя XX съезда). В одном из интервью Шатров гордо заявил: «Пепел оболганной, преданной и расстрелянной Сталиным Октябрьской революции постоянно стучит в сердце…» Как пепел Клааса?..

Сталина Шатров ненавидел, как и Гитлера, они оба «наложили на XX век мрачный оттенок». Другое дело Ленин, открывший новые горизонты истории, – так виделись страницы истории Шатрову, и так он их читал. «Для меня ленинская тема – дело жизни», и он стал создателем драматургической Ленинианы: пьесы «Шестое июля», «Большевики», «Синие кони на красной траве», «Так победим!», «Диктатура совести», «Брестский мир», телевизионные фильмы «Штрихи к портрету Ленина».

По существу Шатров создал невиданный доселе политический театр. И свою позицию сформулировал так: «Я участвую своими пьесами в политической борьбе, меня это занимает в первую очередь – стремление выговориться, выразить себя, мысли своего поколения… Знаю, что пьесы мои воспринимаются неоднозначно. Меня это не волнует. Я познал и счастье взаимопонимания, и ненависть идейного или эстетического отторжения. Важно другое. Я сделал свой выбор…»

Пьесы Шатрова шли в многочисленных театрах (если говорить о Москве, то от Художественного до Ленкома). Залы были переполнены, публика приходила в неистовство, одни от восторга новоявленной исторической «правды», другие от возмутительного переосмысливания истории и ее якобы очернительства. Но это когда пьесы выходили и ставились, а до этого их основательно мурыжили и запрещали. У Шатрова происходил серьезнейший конфликт с руководителями Института марксизма-ленинизма. Конфликт был с телевидением. Да и в целом власть не одобряла исторических новаций Шатрова. А зрители? А читатели? Было очень много негодовавших. Вот только несколько реплик и записок:

«Уважаемый товарищ Шатров! В зале сидят боевики «Памяти» в черных рубашках – вам не страшно?..»

«Из великого А. Куприна: «В России каждый жид – прирожденный русский литератор». Это ведь про вас, Маршак-Шатров».

«Сталинщина – это закономерность или случайность?»

Случалось и смешное. На спектакле «Большевики» неожиданно оговорился Евгений Евстигнеев. Выйдя от только что раненного Ленина, в зал, где заседала вся большевистская верхушка, вместо фразы: «У Ленина лоб желтый, восковой…» он сообщил: «У Ленина… жоп желтый!..» Актеры впали в ступор, а зрители не знали, как и реагировать: то ли смеяться, то ли не заметить оговорки и сидеть с каменными лицами.

Сильный удар получил Шатров в майском номере журнала «Посев» за 1990 год, нанесла его бывшая советская диссидентка, а затем израильская журналистка Дора Штурман. В журнале она напрямую задала вопрос Шатрову: «Каково Ваше личное, истинное отношение к Ленину?» – «Читали, но ничего не поняли?..» И далее: «Ваша героическая поза бескомпромиссного борца с цензурой чем-то напоминает «смелого старика» – персонажа одной из замечательных пьес Евгения Шварца. Помните, как бесстрашно и нелицеприятно, прямо в глаза «смелый старик» восхвалял тирана? «Он режет правду-матку и режет без ножа»… Вы хоть единожды посягнули на святая святых Системы: на фундаментальные догмы идеологии, на партию, на Ленина? Вы апологет, а не оппонент – всего-навсего более монархист, чем король. Глупых королей это раздражает, вот они и чинят Вам кое-какие препятствия…»

Главный довод Доры Штурман: это не Сталин, а именно Ленин заложил и создал Систему, эту «технологию власти». «История России XX века глубоко трагична, – писала Дора Штурман. – Но, чтобы быть, имея несомненное дарование, драматургом, а не драмоделом от партийной фронды, надо прежде всего не лгать…»

На мой взгляд, Михаил Шатров не лгал, а писал искренно. Ему, как и многим, казалось, что Октябрь в России произошел недаром, он окрылил народ надеждами, что Ленин при всех его загибах и заблуждениях был творцом нового века, а вот Сталин все загубил и растоптал. Сталин – тиран, тут сомнений нет, но Ленин все же другой, – иначе что, 70 лет коту под хвост? Жили и боролись впустую?!..

«История – лучший драматург», – справедливо заметил однажды Михаил Шатров. Какие повороты! И вот уже гласность и новый правитель Михаил Горбачев, в которого Шатров поверил, как в Ленина. И что в итоге? Очередная иллюзия? В ранней пьесе Шатрова «Моя любовь на третьем курсе» была песня Пахмутовой и Добронравова: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя». В этом корень всех бед: не надо любить и верить. Надо хладнокровно наблюдать и анализировать, хотя это и

приносит боль и горечь.

Последняя пьеса Шатрова «Может быть» (1993) была создана на Западе (два года он жил в США) и написана специально для английской актрисы Ванессы Редгрейв. Поставлена в Королевском театре Манчестера. Еще издал Шатров сборник своих статей «Необратимость перемен» и вел семинар молодых драматургов. После октябрьских событий 1993 года и обстрела Белого дома «завязал» с творчеством, осознав, что время исторических аналогий прошло, началась совершенно другая эпоха. Разочаровали и коллеги по профессии. «Наша интеллигенция готова осудить или расхваливать то, что нужно властям. Пока есть сильные мира сего – будут и угодники». Угодником Шатров не хотел быть, он стал… строителем.

В апреле 1998 года в «Комсомольской правде» в рубрике «Герои минувших дней» появилась публикация о Шатрове под заголовком «Капиталист с человечьим лицом». Автор материала написал: «Сегодня вокруг другая страна, другие споры. Шатров тоже другой. Он не играет больше в политику, не ходит в театр, не пишет новые пьесы и даже не перечитывает старые. У него пятая жена – 27-летняя художница Юля, престижная работа и завидная, даже по московским меркам, зарплата. Известный драматург переквалифицировался в строителя. Он – президент акционерного общества, призванного для возведения культурно-делового центра «Красные холмы».

Если вы, читатель, его не видели, стоит посмотреть и отправиться к берегу Москвы-реки в районе Павелецкого вокзала. Симпатичный комплекс с шатровыми башнями (Шатров и шатры!) И там же здание замечательного Дома музыки. Это его «Брестский мир» – не исторические бумажки, а весомые блоки и камни.

Вернемся к газетной публикации – там отмечалось, что Шатров никак не может смириться до сих пор, что в России не получилось «социализма с человеческим лицом». Он считает себя лично ответственным за то, что события в стране не пошли так, как мечтали его излюбленные герои-ленинцы. И ничего не стал бы менять в своих старых пьесах.

В одном из последних своих интервью Михаил Шатров отметил, что в современной России трудно ориентироваться, «в ней сейчас все перепутано… я все время ощущаю приветы из вчерашнего дня».

И привел безжалостный афоризм: «Культ наличности хуже культа личности». О театре: «Нет личностей такого масштаба, как Ефремов, Любимов». О культуре и литературе: «Чиновники от образования напрочь забыли о том, что в нашей стране

литература не просто школьный предмет, а средство духовного воспитания нации. Пренебрежение к работе мысли, к работе духа и порождает такую ситуацию, когда одни непотребщину вдохновенно пишут, другие с упоением ее ставят, а третьи с восторгом смотрят…»

Нет, даже при своем удачном положении в бизнес-строительстве, при деньгах Шатров оставался человеком неудовлетворенным и ищущим настоящий смысл в жизни. Я с Михаилом Филипповичем встретился и говорил лишь однажды, на осенней книжной ярмарке на ВВЦ. Он был далек от самодовольства, и это мне понравилось в нем. Книгу «Клуб 1932» воспринял с большим пониманием…

У Шатрова была интереснейшая судьба: он был запрещенным и признанным, любимым и ненавидимым. Создатель политического театра, мастер драматургических диалогов. История его жгуче интересовала как в революционном, так и в эволюционном развитии, что нас ждет впереди. Главное – «Дальше… дальше… дальше!..»

Дальше продолжается история, а человеческая жизнь всегда конечна. Михаил Филиппович Шатров умер во сне 23 мая 2010 года в возрасте 78 лет. У него была историческая уверенность «Так победим!» Лично у меня такой уверенности нет. У меня вера не в историю, а в человеческий талант. Михаил Шатров был талантлив…

Интеллигент в эпоху беззаконий. Андрей Вознесенский (1933–2010)

Андрей Вознесенский – «папа» современного русского авангарда. Лауреат многочисленных премий, член многих иностранных академий. Он не раз сам давал себе определения. «Трубадур турбогенераторов», «Кто я? – Интеллигент в эпоху беззаконий», «Я сторож шоу. Автор слов», «Я же вечный вертопрах», «Я шут, культдесантник, брожу по Европе/ и демонстрирую бантик на шопе»… И таких самоопределений множество. Серьезных, метафоричных, ироничных – выбирай любое.

Для любителей поэзии и для народа он – Андрей Андреевич. А для меня всего лишь Андрей, мой знакомый по школе. Замоскворечье, Серпуховка, Стремянный переулок, школа № 554. Мы учились в параллельных классах. А с другим Андреем – Тарковским я сидел полгода на одной парте. Два великих Андрея. Один, Тарковский, был ярок и, если так можно выразиться, примадоннист. Вознесенский в школьные годы – неприметен и скромен. Видно, копил творческую энергию, чтобы потом ее буйно выплеснуть и расходовать.

Первые сборники: «Мозаика», «Парабола», «Треугольная груша». Поэзия Вознесенского, как выразился Глеб Горбовский, ворвалась в жизнь «бешеным лимузином» – резво, бесцеремонно, вызывающе… И первый громкий скандал: 7 марта 1963 года Никита Хрущев в Кремле заходился в крике: «Забирайте ваш паспорт и убирайтесь вон, господин Вознесенский!»

Много чего было в жизни Андрея. Отмечу лишь, что наши пути с ним иногда пересекались, и он очень удивился, когда

вышла моя первая книга – календарь российской истории «От Рюрика до Ельцина», и надписал над своей поэмой «Россия воскресе»: «Дорогому Юре – с радостью выхода его уникального календаря – а наш календарь начинался век назад на Серпуховке. 2.II.1994». После «Рюрика» стали выходить другие книги, и Вознесенский на одном из моих вечеров в ЦДЛ отметил: «Ты поздняя ягода». Поздняя так поздняя: у каждого своя судьба.

Я очень люблю раннего Вознесенского, задорного, огневого, неожиданного. Знаменитое стихотворение «Стриптиз»:

«Вы Америка?» – спрошу, как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнет.
«Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!
Закажите мне мартини и абсент».

В пору железного занавеса каждая строка Вознесенского была как удивление, открытие. «Аэропорт мой, реторта неона, апостол небесных ворот – Аэропорт!» А потом, спустя годы, пришло другое удивление:

Почему два великих народа
Холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы…

И эта тема взаимного непонимания прозвучала в рок-опере «Юнона и Авось»:

И в твоем вранье и в моем вранье
есть любовь и боль по родной стране.
Идиотов бы поубрать вдвойне
И в твоей стране и в моей стране.

Позднее «идиотов» из последующих публикаций убрали. Нельзя. Но, кстати говоря, Вознесенский меньше других поэтов страдал из-за цензурных рогаток: ему многое разрешалось. Вознесенский и Евтушенко – это были как два глотка свободы. «Плач по двум нерожденным поэмам» и вот это: «Нам, как аппендицит,/ поудалили стыд…» – когда это написано? 1967 год. И в том же году «Не пишется»:

Я – в кризисе. Душа нема.

«Ни дня без строчки», – друг мой дрочит.
А у меня —
ни дней, ни строчек…

Но подобный кризис – редкий в творчестве Вознесенского. Он удивительно обильный и урожайный поэт: «Был крепок стих, как рафинад./ Свистал хоккейным бомбардиром». На каждое событие, на каждый стон, каждую слезу Андрей находил свой отклик. И каждый отклик был рафинаден и эскападен. Вот «Книжный бум»:

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат…

Этот «Книжный бум» датирован 1977 годом. Всего-то вроде 30 лет прошло, а кажется, целая эпоха. И никакого книжного бума – покупай, кого хочешь – Ахматову, Пастернака, Ницше, но теперь их мало кто покупает. Не книжный бум, а нефтебум. И Советского Союза нет, а есть новая Россия, страна ментов и «разбитых фонарей». Русский язык в загоне. Все говорят на каком-то ином языке. Поэты не пророки и не кумиры. В центре внимания «галерные рабы» политики, финансов, шоу-бизнеса. И сплошной, беззастенчивый стриптиз. В стихах Вознесенского «танцовщица раздевалась, дуря». А ныне в здравом уме и исключительно ради «бабок». Деньги – вот истинный кумир сегодняшней России. В одном из интервью 2003 года поэт сказал: «Я рад, что ни разу не платил за книгу – сейчас многие издаются за свой счет. Я скромно живу, но много печатаюсь с колес, часто в газетах…» И в другом интервью: «… пишется хорошо. Порыв остался тот же, но тогда романтики было больше. Сейчас больше иронии…»

Он продолжал творить, поражая своей фантазией, неожиданными поворотами, вывертами, эскападами. И самое удивительное: шел в ногу со временем. Он не архаичен, он злободневен. Хотя и с одним «но»: Вознесенский близок и понятен для образованных, интеллигентных людей, кто знаком с историей, литературой и культурой. Для несведущих он – ноль. Вместо лирических ручейков и лужаек в его поэзии – портретная галерея великих и знаменитых персон, с которыми Андрей непринужденно на «ты»: Иисус и Корбюзье, Микеланджело и Гольбейн, Нерон и батько Махно, Пикассо и Рихтер, Шагал и Вера Холодная, Пруст и Маяковский, Бодлер, от которого – «от ваших подлостей обалдел». «Друг Горацио в неглиже». «Шопенгауэр – в

шокинге». И вообще, «Бах. Арена, Хабанера…»

Поэзия Вознесенского перенаселена историческими персонажами и современниками. Они в ней живут, дышат и волнуются. Хотя Вознесенский и признает, что «Делиб – дебилам,/ Массне – кутюрам./ Нас победила/ масснекультура».

А еще поэзия Вознесенского чрезвычайно музыкальна, не только в ритмах и рифмах, его стихи – это сложная симфоническая музыка, а порой – исключительно джаз. «Тема Гершвина – хошь джаз? / Твоя джазвочка удалась. / Боже грозный, помилуй нас!» А еще и песенник: «Миллион алых роз» и речитативы из «Юноны и Авось». «И вздрогнули ризы, окладом звеня./ И вышла усталая и без наряда./ Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу./ И что тебе надо еще от меня?»

Одна из главных тем Вознесенского – Россия. И если в ранние годы поэт выступал в роли бунтаря-ниспровергателя устоев и порядков и иронически писал о себе, что он, дескать, «Россию хочет сжечь/, служит джазу и царю/ и, конечно, ЦРУ», то затем ставил задачи иные: «Цель моя – оттереть, свести/ тень, пусть пятнышко волосяное,/ с ветрового стекла России,/ чтоб было светлей в пути». А своим критикам отвечал в поэме «Андрей Полисадов»:

> Мудрость коллективная хороша методою,
> но не консультируйте, как любить мне родину.

А Россия, родина стремительно менялась. «Правили страной кухарки./ Может быть, власть возьмут кухакцеры». Кто взял – не уточняем. И вот уже новое определение – «вурдалагерная Россия». «Все покойники распроданы,/ повези хоть вагонетку./ Нет чего-то в нас и в родине…/ Бога нету, Бога нету». И устами Петра Великого:

> Смысл России я предвидел.
> Война. Кнут и стон в степи.
> Я назвал столицу Питер.
> Питерпитерпи Терпи.

И отчаянье. С одной стороны – вера: «Россию хоронят. Некроги в прессе./ Но я повторяю – Россия воскресе». А с другой стороны – ясное осознание: «Обещано счастье в конце третьей серии,/ и нас не смущает, что фильм двухсерийный».

И вспоминается старое высказывание Вознесенского: «Все прогрессы – реакционны,/ если рушится человек…» Ну, и это:

«Парламент – это галлюцинации/ в гальюне нации».

И новая музыка штопора
Закручивает бульвар.
Мы все герои рок-оперы
«Жуткий крайзис Супер-Стар».

Разве не современная картинка? «Наши муровцы – не тимуровцы. /Вечно ссорятся у корыта. / Из стреляющих лишь Амуры – / бескорыстны».

Сердце Вознесенского болело за все, что происходит вокруг. «Манеж подожгли. Гримасничают/ огненные языки./ Идет на глазах кремация/ деревянной Москвы». Умерла Франсуаза Саган, дерзкая французская писательница, и Вознесенский в печали: «Я обидел Тебя, Франсуаза./ С длинноногой ушел, как хам./ Мы с Тобой скандальные профи,/ персонажи для pal/secam… Я теперь брожу по Парижу./ Грусть нелепа, как омнибус./ Все прекрасно и не паршиво,/ наспех с кем-нибудь обнимусь…» И неожиданно грубое признание:

Хорошо, что нашей паре
По х… все, ангел мой.
Хорошо, что мы совпали
Не с эпохой, а с Тобой.

Убита Анна Политковская – Вознесенский не мог смолчать. «Не осуждаю политологов – /пусть говорят, что надлежит./ Но имя «Анна Политковская» /уже не им принадлежит…»

Врезала правду Политковская
За всех и, может, за меня?..

Можно ли быть спокойным и довольным собой в неспокойной и недовольной стране? Ответ один: нет!

Из нас любой полубезумен.
Век гуманизма отшумел.
Мы думали, что время – Шуман.
Оно – кровавый шоумен.

А как читается стихотворение Вознесенского «Отказ» (2005):

Благодарю тебя за святочный
Певучий сад.
Мы заменили слово «взяточник»
на благозвучное «откат»…

Откатываются тревоги,
как волн откат.
Обкатанные дороги
ведут назад.

Отряд ушел беспрецедентно:
и четверо ничком лежат.
Бог заберет себе проценты.
Откат…

Вознесенский мог бы пройти мимо в сиянии собственной славы. Но что-то его гложет. «Навязчивы, как Мастроянни,/ пройдут мисс Слава, мисс Успех,/ единственно мисс Состраданье/ окажется нужнее всех…» Когда-то он боролся и дрался с «литсобратьями», с коллегами по цеху. Конкурировал. Доказывал. И что?

Я один. Я их всех победил.
По степи позвоночники носятся.
Я остался один на один
с одиночеством.

А тут еще возраст поджимал. Болезни подхватывали. И вот уже про себя: «Мой мозг уносят, точно творог в тряпочке». «Везут куда-то. Нервы выли./ По шороху нетопыря/ я не забуду вас, ночные/ парижские госпиталя!» И – «Ода к моей левой руке»: «Не устаешь от пьедестала./ Моя ж рука,/ вдруг, выкобениваться стала,/ став автономна далека…» Поэт, не стесняясь, пишет «Большое заверещание»: «Вам жизнь мою оставшуюся «заверещаю», – и тут без вербальной усмешки не обходится. И Вознесенский продолжал тему: «Поэзия – антиинсульт».

И Андрей, и я, и, наверное, многие другие вспоминаем песню школьной поры, почему-то ее пели с особым надрывом в 18 лет: «Когда проходит молодость…»

Вознесенский ее переиначил:

Годы проходят, лучшие годы,
лучшие кодлы нашей свободы.

Уход Вознесенского мне особенно горек. Он почти мой ровесник (на год младше). Родился 12 мая 1933 года. Мы учились в одной школе. Иногда встречались и перезванивались. Я внимательно следил за его творчеством. И вот связь оборвалась. Когда-то Вознесенский почти кричал: «Тишины хочу, тишины. Нервы что ли обожжены…» И вот наступила тишина. Остались книги. Но нет голоса Вознесенского. 1 июня 2010 года Вознесенского не стало. Зоя Богуславская в сердцах воскликнула: «Проклятый Паркинсон!..»

В ноябре 1979 года я в стол написал небольшое исследование о жизненном пути и творчестве Андрея и начал с воспоминания, каким я его помню. «Был тихим, лобастым и неприметным мальчиком. В футбол не играл, в драках не участвовал и, разумеется, хорошо учился. И покуда сверстники били коленки и баклуши, безумно предаваясь радостям жизни – папиросным чинарикам, картам и танцам (в моду входили буги-вуги и синие рубашки в белую полосочку), он спартански предавался занятиям, накапливал знания и наращивал свой интеллект.

Одноклассники мучились вопросом, где бы выпить и куда сходить погулять, а его уже волновал вопрос: «Кто мы – фишки или великие?.. Лилипуты или поэты?» А когда повзрослевшие школьники поувяли в своих чувствах и подрастратили свою энергию, Вознесенский поразил всех своим безудержным, неистовым напором.

Ранний Вознесенский был ярок, неординарен, нетрадиционен и эпатажен. Его «лимузин» предпочитал мчаться не по проторенным стежкам народной поэзии, не по обкатанной дороге официальных песнопений, не по расхожим лирическим улицам и аллеям, он избрал свой путь и отчаянно рулил в сторону привидевшихся ему голубых далей.

Дебют состоялся в 1958 году. «Помню пронзительное чувство, – писал Вознесенский, – когда мои стихи напечатались. Я скупил 50 экземпляров «Литературки», расстелил по полу, бросился на них и катался, как сумасшедший». Оказывается, в тихом мальчике, робко стоявшем у стенки в школьном коридоре, таился веселый чертик!..

Ранние стихи хочется вспоминать и вспоминать. «Мотогонки по вертикальной стене»:

Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу!
Краги – красные, как клешни.
Губы крашеные – грешны.

Мчит торпедой горизонтальною,
Хризантему заткнув за талию!..

А какая концовка?! «А глаза полны такой – горизонтальною тоской».

У каждого в памяти хранятся свои любимые строчки Вознесенского: у кого «Осень в Сигулде», у кого «Пожар в Архитектурном институте», а кому любы строки про сирень: «Сирень прощается, сирень – как лыжница, / Сирень как пудель мне в щеки лижется!..»

Долгие десятилетия негласно шло поэтическое соревнование между двумя поэтами – Андреем Вознесенским и Евгением Евтушенко, кто из них, если так можно выразиться, кумирнее другого. Оба претендовали на роль властителя поэтических дум или короля поэзии. Они были на разных полюсах: Евтушенко попроще, понароднее и явно тяготеет к публицистичности, откликаясь на любой общественно-политический чих. Вознесенский был, напротив, далек от сиюминутных событий: «Я вообще не люблю вещи политические», – сказал он в одном из интервью в 1991 году еженедельнику «Собеседник». Не давая оценок какому-то конкретному событию, Вознесенский тем не менее не мыслим без России. Он упорно вписывал себя в систему российских координат.

В воротнике я – как рассыльный
В кругу кривляк.
Но по ночам я – пес России
О двух крылах.

«Мои Палестины дымятся дыбом. / Абсурдный кругом театр. /Боже, прости им, ибо /не ведают, что творят». Вознесенский не мог не откликаться на то, что происходило с Россией и ее народом. «Как спасти страну от дьявола? / Просто я остаюсь с нею /Врачевать своею аурой, / что единственное имею». Вознесенский был болью народа, хотя не в традиционно некрасовском, а в своем вознесенском стиле. «Пишу про наших упырей», – а писал он хлестко и едко.

«Художник первородный – / всегда трибун, / В нем дух переворота / и вечный бунт». И еще о себе, с надрывом: «Я – Гойя!..»

Когда-то Валентин Катаев сказал: «Поразительны метафоры поэта. Книги Вознесенского всегда депо метафор». Я бы сказал иначе: фонтанные брызги, пронзенные солнцем. Метафоры, игра

слов, неологизмы. Примеров тьма:

Голодуха, брат, голодуха
от славы, тоски, сластей,
чем больше пропустишь в брюхо,
тем в животе пустей!
Мы – как пустотелые бюсты,
с улыбкою до дна,
глотаешь, а в сердце пусто —
бездна!..

Или вот: «Мы – эхо повтора. Луна через шторы / рассыпала спичечный коробок». «Шпикачки из пикапчика». «Гонорар. Гонорарт». «Фастум-гель, Фауст – гей?» «Мы стали экономикадзе» «У каждой женщины семь дыр – / уши, ноздри, рот и др. / Но иного счастья для / есть девятая дыра». «Прощальную белую розу / брошу к твоим спелым ногам». Примеры можно приводить без конца. И так ясно, Андрей Вознесенский – наследник Хлебникова, искусник слова, жонглер, виртуоз… В одном из интервью он заклинал, что «нельзя, чтобы мысль лжавела». Удивительное сочетание про ложь и ржавость.

Однажды Вознесенский сказал: «Мы все уходим в язык. Язык – наше бессмертие». «Скрипит о столик палисандровый / мое опальное перо».

Вознесенский прожил богатую жизнь, наполненную многочисленными встречами и дружбами. Дружил с Генри Муром, беседовал с Мартином Хайдеггером, встречался с Мэрилин Монро… Его книги многократно издавались. Он познал славу. Был популярен. Однажды в ЦДЛ я попытался с ним поговорить о каком-то серьезном деле – не дали. Все время подходили к нему люди и говорили-говорили без конца. Наверно, это его утомляло. «Все прекрасно и не паршиво. /Наспех с кем-нибудь обнимусь». «Но итоги всегда печальны даже если они хороши». Какая в этих строках грусть-печаль.

Кто виноват в печальных итогах? Время? Возраст? Жизнь? По молодости все было замечательно: «А время свистит красиво / над огненным Теннеси, /загадочное, как Сирин / с дюралевыми шасси». А позднее восприятие совсем иное: «время коматозное». И в небе – «застывшие ястребы». И почти слезы: «Кофе – жизнь, как турочка, пролилась…»

Ты худеешь и чахнешь.
Тихий агнец, держись!
Это страшный диагноз

Называется – жизнь.

И еще из последних стихов: «Толкая пред собой жизнь / неудавшуюся, /как будто есть удавшаяся жизнь». И что же тогда главное? Как говорил Альберто Моравиа: «Творить – значит ускользать от смерти». Андрей Андреевич Вознесенский творил до конца, даже тогда, когда не слушалась рука. Он продолжал, наперекор всему, писать и удивлять своими сравнениями, что жизнь – всего лишь «жемчужная шутка Ватто». Французский живописец Антуан Ватто, как и Андрей Вознесенский, поклонялся Красоте.

«Я сторож шоу». Сторож ушел. Но шоу продолжается…

Бескнижный поэт. Александр Аронов (1934–2001)

Как часто бывает: живет человек, и вроде его не замечаешь. А не стало его – и остро переживаешь его отсутствие. Это я о ком? О поэте Александре Аронове. Это он когда-то предложил: «Давайте создадим гипотезу «Ушельцев». / Оглянемся – ведь нам кого-то не хватает. / Касаться чьих-то рук, собачьей теплой шерсти / И взгляда дальнего, что тянется и тает…»

Каюсь, при жизни Аронова я как-то не обращал внимание на него, будучи в плену своих любимых поэтов с ранней юности. С интересом читал колонки Аронова в «Московском комсомольце», но его стихов не знал. И немудрено, ибо Аронов долгие годы был бескнижным поэтом. В газетах стихи появлялись, а собственной книги не было. У Аронова сложилась странная поэтическая судьба – человека, не освещенного солнцем, поэта, находившегося в тени.

К нам пришел Александр Аронов
И понравился сразу не всем.
Тем отдельных никак не затронув,
Он коснулся ответственных тем…

Это он сам о себе. И эти строчки знают не все. Зато другие знают и даже поют, благодаря фильму «Ирония судьбы»: «Когда у вас нету дома, / Пожары вам не страшны. / И жена не уйдет к другому, /Когда у вас нет жены. / Когда у вас нету тети, / Вам тети не потерять, И раз уж вы не живете, / То можно не

умирать…» Ну, а далее: «А ударник гремит басами, / А труба выжимает медь – / Думайте сами, решайте сами, / Иметь или не иметь».

Думать и решать самому – сложное дело. Не раз думал и решал Александр Аронов в своей жизни. Он родился 30 августа 1934 года в Москве. Мать – женщина без образования, но зато многочитающая. Назвала своих сыновей в честь братьев Пушкиных: старшего – Александром, младшего – Львом. Отец – музыкант. Пытался приучить старшего Сашу к музыке, но тот, по собственному признанию, «падал лбом на инструмент и засыпал». Выявилось другое призвание: поэзия. Стихи начал писать еще в школе.

Фамилия Аронов типично еврейская. Александр Аронов и был евреем. Советским евреем, ассимилированным, к тому же членом партии. Партийный еврей для советских времен почти норма. В печать без партийного билета попасть было практически невозможно. У Аронова есть стихотворение, которое он назвал «Юношеское»:

Вот рвешься ты, единственная нить.
Мне без тебя не вынести, конечно.
Как эти две звезды соединить —
Пятиконечную с шестиконечной?

Две боли. Два призванья. Жизнь идет.
И это все становится неважным.
– Жиды и коммунисты, шаг вперед!
Я выхожу. В меня стреляют дважды.

Эти юношеские «две боли, два призванья» – национальное и социальное, – с годами утихли, сгладились. Он примирился со своим еврейством и держал его в тайне (еврей-подпольщик), ну, с социальным даже не пытался бороться, ибо врос в систему и был сам ее частью, и никакого бунтарства. Главное было творчество, творческое горение, а остальное – фигли-мигли.

Аронов – один из самых значительных поэтов-шестидесятников, и тем не менее он оставался самым неизвестным из них. Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина и другие знаменитости выступали в Политехническом, в Лужниках и на прочих престижных площадках. А он не выступал. Не звучал, не грохотал. И книги его не выходили. И тем не менее Аронов был известен всей читающей Москве. Поэт-невидим. По Цветаевой: «Но опрометчивой толпе герой действительно не нужен». У Аронова не было публичных амбиций, у него

отсутствовал напор, не было силы, чтобы, отталкивая других, вырваться вперед самому, да он этого и не хотел. Психология такая. Скромняга. У него в одном из стихотворений есть определение «придурочная слава», – и этим сказано все! Нет, добавим еще строку из «Пророка»: «Он жил без хлеба и пощады». Жил свободно и достойно. Без зависти. Напротив, радовался успехам других.

Первая книга Аронова, «Островок безопасности», вышла в 1987 году, когда автору было 53 года. Вторая книга, «Текст», увидела свет через два года. В предисловии к ней отмечено, что Аронов «не любит принимать жреческие позы. Он не считает себя ни пророком, ни проповедником, ни мэтром. Он не рвется на Олимп, локтями расталкивая своих собратьев и конкурентов. Он, если уж на то пошло, вообще никуда не рвется. И никогда не толкается…»

А если возвращаться к биографическому началу, то школа, Потемкинский педагогический институт, преподавание литературы в школе. Ученики его любили: молодой, кудрявый, синеглазый, а как здорово стихи читает!.. Еще Аронов преподавал в ГИТИСе и учился в аспирантуре института художественного воспитания. А потом (возможно, бес попутал) пошел в журналистику и отдал газете «Московский комсомолец» 31 год своей жизни. Кругом молодые, резвые, пишущие под гимн: «День пиши, вечер пой, ночь спи! Утром встань, день пиши, вечер пей!..» Но со временем все это превратилось в поденщину, в зарабатывание денег.

Долгое время Аронов вел свою колонку под названием «Поговорим?» Поговорить хотелось обо всем. Один лишь выхваченный пассаж: «С появлением на экране Ельцина жанр определился сперва – как сказка, а в дни с 19 по 22 августа – как былина, т. е. эпос…» (ноябрь 1991). И чем больше погружался в журналистику, тем дальше уходил от поэзии. В конце концов бойкая журналистика почти совсем оттеснила застенчивую и раздумчивую поэзию. Можно сказать, что Аронов свой поэтический ресурс использовал меньше, чем наполовину.

Лидия Либединская, заседавшая в писательской комиссии по работе с молодыми авторами, вспоминала, как однажды появился перед ней молодой красивый человек с тоненькой папкой со стихами и представился:

– Александр Аронов, преподаватель литературы! – и тут же добавил: – А можно, я вам почитаю свои стихи?

«Читал он прекрасно, темпераментно, стихи его завораживали. Я тут же передала его стихи членам комиссии, и первым откликнулся Михаил Зенкевич, друг и ученик Гумилева и

Сергея Городецкого.

– Какой же Аронов начинающий, – сказал он. – Это уже состоявший поэт!»

Да, Аронов был уже поэтом, писал сам, вел в газете рубрику «Турнир поэтов», но повторюсь, захлестывали волны журналистики. Отдельные стихи его появлялись в «Огоньке», в «Знамени», но редко, а до книги никак не доходили руки, а в советское время это было, если выражаться военным языком, все равно что взять высоту. Маленькую высотку взял Аронов в парижском журнале «Синтаксис» и там напечатал следующее:

Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.
Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют.
А потом – простят.
А потом – помилуют.
Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят…
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.
Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.

Стихотворение властям не понравилось, и Аронова вызвали в КГБ, предложили «сотрудничать», он отказался. Видимо, хорошо помнил предупреждение Александра Галича: «Вот так просто попасть – в палачи. / Промолчи, промолчи, промолчи!» Отказавшись сотрудничать, Аронов превратился сразу в невыездного товарища: ни в Болгарию, ни Венгрию. Только Мытищи да Петушки. И только после горбачевской перестройки совершил поездку в Израиль. Разбирался с психологией уехавших людей и написал пронзительное стихотворение «Хайфа. Лагерь для переселенцев»:

О чем ты там, польская, плачешь, еврейка,
В приюте, под пальмой, где стол и скамейка,
Дареный букварь и очки, и оправа,
И буквы, в тетрадку входящие справа?
Студентик, учитель, пан будущий ребе,

Так громко толкует о хляби и хлебе,
О том, как скиталась ты в странах нежарких
Две тысячи трудных и семьдесят жалких.
Прошло две войны. Унесло два семейства.
Каникулы. Кончились оба семестра.
Ты выучишь иврит и столько увидишь,
Забудешь и польский, и нищий свой идиш,
И ешь ты, и пьешь, и ни гроша не платишь,
Читаешь и пишешь – и что же ты плачешь?
По мебели, на шести метрах в избытке,
По старой соседке, антисемитке.

Задумывался сам Аронов об эмиграции, но не решился. Когда его спрашивали об этом, отвечал: «Ведь чем-то за все надо платить. Каждый выбор – это предпочтение одного и отказ от другого». В подтверждение своих слов приводил сочиненную им «Коммунальную песенку»:

«В тесноте мы стали добрыми, / Хоть и ссорились не раз, / Чувство локтя между ребрами / Близко каждому из нас… / Иногда ругаться хочется / И во сне и наяву. / Но в свободном одиночестве / Я ни дня не проживу».

Коммунальный социализм прочно сидел в душе. Жена Татьяна Аронова-Суханова вспоминает о поэте: был добр, независлив, доброжелателен, непосредствен – «вот его главная черта». Не выносил хамства. Раздражала его глупость. Был очень артистичен, обладал искрометным юмором. Что касается денег, – «их никогда особо и не было, и никогда не возникало мыслей: «Ах, почему их нет?» Приемный сын Максим Суханов добавляет: «Деньги и Саша – темы непересекающиеся».

И еще одна черта: неприспособленность к быту. Как почти всякий поэт, Аронов не знал, как решить ту или иную бытовую проблему. Дождь. Авоська. Холод. Свертки. Ветер, – для него все это было ужасом. «Я ненавижу продавца. / Швейцара. Нянечку. Монтера. / Жизнь может кончиться, и скоро, – / Что ж, так и будет до конца? / Таксист, с рубля не давший сдачи, / Не стал от этого богаче. / Да ладно, пусть оно горит. / И для меня не в деньгах дело, / А в том, что он, наглец умелый, / Спасибо, гад, не говорит…»

Вот социальная и бытовая позиция Аронова: «Нет, Боже. Пусть воруют смело. / Меня не видят пусть в упор, / У нас с тобой не в этом дело / И не об этом разговор». И энергичная почти молитвенная концовка стихотворения:

Пока я здесь таскаю кости,

Пока плетусь в кино и в гости,
Пока мои продлятся дни,
Пока не замер на погосте,
От ненависти, злобы, злости
Меня спаси и сохрани.

И обращение к близкому человеку: «Прошу, прими спокойно все как есть. / Не огорчайся, друг мой, все пустое…» Пустое все: заботы, волнения, суета, успех, злато… Главное – все же поэзия, творчество, горение… Аронов писал разные стихи: лирические, философские, сюжетно-исторические – про Эхнатона и Нефертити, об Алишере Навои и Серене Кьеркегоре, о Скотте Фицджеральде: «Я буду петь о Скотте, / о Скотте Фицджеральде – / Сегодня все остальные / герои не для меня», о Варшавском гетто 1943 года: «У русских перед Польшей / Есть своя вина…» Если попробовать соединить все написанное Ароновым вместе, то получается, что он – грустный иронист. Истоки экзистенциального отчаяния и пронзительной иронии его стихов не в антисоветском гневе (да и гнев его был вполне умеренный, даже смирения было больше, чем ненависти), а в бездне человеческого одиночества. «От Маяковского и Блока / Вести свой род отнюдь не плохо, / Но надо ж проникать до дна…» И Аронов хотел всегда увидеть это «дно».

Мне нравится ваша планета
И воздух ее голубой.
И многое – в частности, это,
Как вы говорите, «любовь».

Вы все объяснили искусно,
И я разобрался вполне.
Мне очень понравилось «грустно»,
И «весело» нравится мне.

Я понял «скучать», и упорно
Я стану стремиться сюда.
А ваше «целую» и «помню»
Нам надо ввести у себя.

Ваш «труд» – это правильный метод,
И мудрая выдумка – «смех».
Одно мне не нравится, это —
Что вы называете «смерть».

Размышление о смерти – не праздное занятие. Смерть – часть человеческого бытия. Эти печальные мысли не оставляли Александра Яковлевича, когда он тяжело заболел и мучительно боролся с недугом.

Почти нигде меня не осталось.
Там кончился, там выбыл, там забыт.
Весь город одолел мою усталость,
И только эта комната болит.

Диван и стол еще устали очень,
Двум полкам с книжками невмоготу.
Спокойной ночи всем, спокойной ночи!
Где этот шнур? Включаем темноту.

Темнота наступила 19 октября 2001 года. Александр Аронов прожил на белом свете 67 лет. Как написали друзья: «Таланта Бог дал ему много, а славы судьба дала ему мало». «Саша Аронов… Кто он? Журналист или поэт? Пустой вопрос. Чем дальше, тем понятнее, что он был поэтом в журналистике, а в жизни – просто поэтом», – написали те же друзья в «МК» по случаю 70-летия Аронова.

Аронов всегда мечтал жить в придуманной стране Мальбек / Ну, как другой романтик Александр Грин /. Но это он. А мы с вами живем в реальной и жестокой стране под названием «Россия».

Стихи на магию похожи.
Ну чем ты только занят, друг?
Сейчас слова в строку уложишь —
И все изменится вокруг.
И интересно: нет поэта,
Ни умного, ни дурака,
Чтоб он не верил: будет это…
Хотя и не было пока.

Вера, Надежда, Любовь. Только и остается вслед за Александром Ароновым уповать на них. Верить. Надеяться. Любить, хотя порой хочется другого: ненавидеть. Но жить с этим нельзя. Подставим вторую щеку под удар…

Отдал дань толстовству и задумался: нет, так не годится. Не финальные строки. Лучше обратиться вновь к Аронову, который желал на исходе:

Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.
Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя —
И тихо-тихо улыбнуться.
Ведь, уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать?
Согласен вдаль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть, не проснуться.
Но дай хоть раз еще успеть
Остановиться, оглянуться.

Грустный иронист? Нет, пожалуй, благоговейный лирик, воспринимавший жизнь как дар небес.

«Тихая моя Родина!» Николай Рубцов (1936–1971)

Николай Рубцов продолжил традицию раннего ухода поэтов из жизни. Ушел в 35 лет. 19 января 1971 года был задушен в своей кровати в скромной квартире хрущевской пятиэтажки на окраине Вологды. И кем? Любовницей. Бытовая трагедия, и не важно, кто виноват и в какой степени, он сам или его полюбовница, важно другое: не стало человека. И какого?..

Рубцов был удивительный русский поэт, бесшабашный и непутевый, вроде Аполлона Григорьева. И судьба постоянно испытывала его на прочность, на разрыв: сиротство, детдомовщина, бедность, неприкаянность. Он часто сам не знал, где преклонить ему голову. Хотел поступить в мореходку, но туда не попал, хотя и походил по морю. – «Я весь в мазуте, весь в тавоте, / Зато работаю в Тралфлоте!..» Кочегар рыболовецкого судна, матрос, слесарь-сантехник на заводе… Учился в нескольких техникумах, но ни одного не закончил. По натуре был простодушен, наивен, провинциален да еще с трудным характером. Короче, не продвинутый, не прагматичный, не интерактивный. Может быть, поэтому он и не вписался в жизнь, хотя в его пору она, эта самая жизнь, еще не была коммерциализованной, и в основном действовал принцип бартера: ты мне – я тебе.

Но опять же теперь не важно, каким был Рубцов. Главное, что жил на белом свете такой замечательный поэт, по нынешним меркам – классик. Стихи его охотно печатают, выходят книги, воспоминания, есть Всероссийская литературная премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Все есть! А человека нет… Старая

российская история: при жизни не ценят, не замечают, третируют, топчут. А после смерти вдруг спохватываются и возносят до небес.

Несколько биографических штрихов. Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области. Отец погиб на фронте. В стихотворении «Детство» поэт с горечью писал: «Мать умерла. Отец ушел на фронт. / Соседка злая / Не дает проходу. / Смутно помню / Утро похорон / И за окошком / Скудную природу…»

Потеряв мать в 6 лет, Рубцов воспитывался в детских домах. А когда исполнилось 16 лет, скитался по стране. Перебрал различные профессии, а мечта была одна: стать поэтом. В 1962 году поступил в Московский литературный институт им. Горького. Через два года был исключен за нарушение дисциплины.

Первая книга – «Лирика» – вышла в 1965 году в Архангельске, в 1967 году в Москве «Звезда полей».

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…

Звезда полей! В минуту потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит за зимним серебром.

Ну, и так далее. Ныне хрестоматийные строки – звезда, которая «горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли». Таким беспокойным и тревожным был сам Николай Рубцов. Последний прижизненный сборник «Сосен шум» вышел в 1970 году.

О своем творчестве Рубцов написал так: «Я переписывать не стану / Из книги Тютчева и Фета, / И я придумывать не стану / Себя особого, Рубцова, / За это верить перестану / В того же самого Рубцова / Но я у Тютчева и Фета / Проверю искреннее слово, / Чтоб книгу Тютчева и Фета / Продолжить книгою Рубцова»!..»

Вот так изложил кредо путем нарочитого нагнетания тавтологий Николай Рубцов. Он жил трудно. А писал легко. Да у него и было прозвище легкое – «Шарфик». Легкий, развевающийся, трепетный… Себя он высоко не ставил, но, тем не менее, свою силу чувствовал.

Мой стиль, увы, не совершенный…
Но я ж не Пушкин, я другой…

Лермонтовский перифраз: «Нет, я не Байрон, я другой…» Любил Рубцов Есенина и Тютчева. А мы любим Рубцова. Верно сказал о нем один из критиков: «Он далеко смотрел, высоко думал и глубоко чувствовал». Он был маленьким звенящим колечком в длинной цепи бытия, звеном, которое тянулось от Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Он являлся эхом славных русских дружин, вступивших в смертельную битву с чужеземной ордой. Он как бы слышал сквозь толщу временных наслоений гиканье и свист богатырей и удальцов. Ему снились по ночам малиновые пожары и багровые зарева великих сражений. Он, маленький, тщедушный Рубцов, тоже хотел стать в ряд булатных ратников:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен…

Николай Рубцов истинно любил Россию. Без крика. Без патриотического надрыва. Без нарочитого показа. А тихо. Сердечно. По-настоящему.

Тихая моя Родина!
Ива, реки, соловьи…

Как вспоминал земляк поэта, Виктор Коротаев, Рубцова томила «неистребимая, мучительная и всегда поглощающая нежность к зеленым лугам и золотистым осенним лесам, медленным водам и терпким ягодам, томливым полдням и прохладным вечерам – всему, без чего не мыслил он ни своей жизни, ни своего творчества».

Он не просто любил землю, на которой вырос, по которой ходил, запахи которой вдыхал. Землю, не придуманную чьей-то фантазией, обсаженную бутафорскими липами и присыпанную сверху сахарной пудрой, а реально существующую…

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою

Про уголок Руси,
Где желтый куст
И лодки кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи…

Никакой идеализации. Никакого захлеба от нахлынувшего счастья. Сурово и, тем не менее, нежно.

Теперь в полях везде машины.
И не видать плохих кобыл.
И только вечный дух крушины
Всё так же горек и уныл…

Рубцов никогда не чувствовал себя творцом на земле, он всего лишь «случайный гость» на ней. Это стержень всей поэзии Рубцова. «Деревья, избы, лошадь на мосту, / Цветущий луг – везде о нем тоскую. / И, разлюбив вот эту красоту, / Я не создам, наверное, другую…» Он пронзительно чувствовал, что всё вокруг преходяще. И весна пройдет, и юность пролетит, и отчий дом разрушится, и человеку не миновать своей горькой судьбы.

Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки…

Нет, меня не порадует – что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда…

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Мотивы усталости, обреченности у Рубцова сквозят во многих стихотворениях: «Давно душа блуждать устала / В былой любви, в былом хмелю, / Давно понять пора настала, / Что слишком призраки люблю…»

И приведу мое любимое стихотворение поэта, пронизанное

мистическим чувством ожидания чего-то темного и страшного:

Печальная Вологда дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержанный говор печален
На темном печальном крыльце,
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.

На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто…

Прилагательные «печальная, печальный» с наречием «печально» доминируют в строках и создают настроение полнейшего отчаяния, но отчаяния не громкого, со стонами и рыданием, а тихого, смиренного, безысходного. «Всё было веселым вначале, / Всё стало печальным в конце», – кто возразит против этой мудрости жизни, разве что полнейший идиот, твердящий дурацкую формулу, что человек создан для счастья, как птица для полета. «Но итоги всегда печальны, даже если они хороши», – вторит Рубцову Андрей Вознесенский.

Николай Рубцов слышал печальные звуки, и они его не обманули. Он прожил всего 35 лет и 16 дней, и над ним сомкнулся «ужас ночи». «А где-то в солнечном Тифлисе / Ты

ждешь меня на той горе, / Где в теплый день при легком бризе / Прощались мы лицом к заре…»

Что сказать в завершение? Сегодня идет другая жизнь. Бары-рестораны, казино, ночные клубы. Рекою льется вино. Стриптизируют обнаженные девицы. Всё шумит. Сверкает. Переливается всеми красками радуги, – разумеется, только в столице, в этом финансовом Вавилоне, а отнюдь не в бедной провинции. И так не хватает одного: немного рубцовской печали. Без этой печали нет гармонии в жизни…

Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови!
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.

«Текст – это жизнь…» Лев Лосев (1937–2009)

Все знают Иосифа Бродского. Но мало кто Льва Лосева, хотя он очень-очень замечательный поэт. Оба – Бродский и Лосев – уехали и работали в Америке. Но у одного была «судьба» (травля, суд), а у другого все состоялось относительно спокойно, без «омута лубянок и бутырок» (лосевская строка).

Лев Лосев – поэт для интеллигенции, для интеллигентных разговоров, споров и причитаний. У него в венах и артериях текла не кровь, а литература, русская словесность. Он существовал исключительно в контексте культуры. Отсюда вся его поэзия – сплошной ассоциативный ряд, полуцитаты, полунамеки, перефразы, некий карнавал эрудиции. Бенгальский огонь интеллекта. Услаждение ума. Пир души. Именины сердца. С такими людьми, как Лосев, никогда не бывает скучно.

Лев Лосев родился 15 июля 1937 года в Ленинграде. Если уточнять, то среди книг, почти что в библиотеке и, разумеется, рано начал сочинять.

«В молодые годы я носил имя Лев Лифшиц. Но поскольку в те же годы я начал работать в детской литературе, мой отец, поэт и детский писатель Владимир Лифшиц, сказал мне: «Двум Лифшицам нет места в одной детской литературе – бери псевдоним». «Вот ты и придумай», – сказал я. «Лосев!» – с бухты-барахты сказал отец».

Лифшицов, конечно, много, но и Лосев не один. Алексей Лосев – знаменитый философ и филолог. И вот поэт – Лев Лосев. Лучше звучит, чем поэт Лифшиц, но возникла некая

раздвоенность души: на еврейскую и русскую.

Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц,
мудак, влюблявшийся в отличниц,
в очаровательных зануд
с чернильным пятнышком вот тут.

Ненормативная лексика? Лосев любил эти пряные добавки. И о себе в стихотворении «Левлосев»:

Левлосев не поэт, не кифаред.
Он маринист, он велимировед,
Бродкист в очках и с реденькой бородкой,
Он осиполог с сиплой глоткой,
Он пахнет водкой,
Он порет бред.

В целях экономии места дальнейшие строки изложим прозой (они и есть ритмизованная проза): «Левлосевлосевлосевлосеввон – онононононононон иуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон. Он аннофил, он александроман, федеоролюб, переходя на прозу, его не станет написать роман, а там статью по важному вопросу – держит карман! Он слышит звон, как будто кто казнен там, где солома якобы едома, но то не колокол, то телефон, он не подходит, его нет дома».

Немного абсурда (как выжатый лимон) в поэзию, – и коктейль а-ля Лосев готов. Пьют маленькими глотками…

Но такие стихи Лосев писал в зрелые годы, начиная с 37 лет (Пушкин закончил, а Лосев начал!) А сначала он был детским писателем и долго работал в детской литературе, в частности в журнале «Костер». До этого была школа. Неприметный и затюканный школьник. Один из критиков сравнивал его с набоковским Лужиным. Закончил факультет журналистики ЛГУ, работал на Сахалине…

«Я начал писать стихи достаточно поздно, лет в 37. В молодости же я только баловался сочинительством, и одной из причин, которая отбила к нему всю охоту, был тот факт, что самым сокрушительным критическим ударом в адрес моих стихов было обвинение в литературности. Литературность, вторичность – все это было тогда сомнительным и вызывало подозрения. Лучшим собранием поэтов в ту пору в Ленинграде считался кружок при Горном институте, куда входил Британишский,

Горбовский, Кушнер и другие. Эти поэты казались лучшими, поскольку их поэзия считалась первичной. Действительно, они много путешествовали по стране, писали про рюкзаки, пот и комаров, про провинциальные гостиницы и прочие первичные реалии. Им и отдавалось предпочтение». Так рассказывал Лев Лосев. Он же был противником «первичных реалий» и все ходил по книжным тропам, наконец нашел свою неповторимую лосевскую интонацию. Отталкиваясь от классической русской поэзии, он создал свои блистательные повторы, сумев повернуть хрестоматийные строки так, что они заиграли новыми гранями и смыслом. Вот «Пушкинские места»:

День, вечер, одеванье, раздеванье —
все на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
……
О, где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где – юбку прочь?
Где не спугнет размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожах слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
Мгновенье лишь?

Или вывернутые наизнанку строки: «Любви, надежды, черта в стуле / недолго тешил нас уют. / Какие книги издаются в Туле! / В Америке таких не издают!..»

Прозвучала «Америка». Именно в Америке поэт свой псевдоним «Лосев» сделал паспортной фамилией и с нескрываемой иронией и горечью писал:

Вы русский? Нет, я вирус СПИДа,
как чашка жизнь моя разбита,
я пьянь на выходных ролях,
я просто вырос в тех краях.
……
Вы человек? Нет, я осколок,
голландской печки черепок —

запруда, мельница, проселок…
а что там дальше, знает Б-г.

Критик Владимир Уфлянд вспоминал, что, если Бродский уезжал в Америку шумно, то Лосев весьма тихо. При этом «скромно и полутаинственно уезжавший с женой Ниной и двумя детьми Леша Лосев даже с бородой больше походил на советского пионера, чем на американского. Я уверен, что он ехал не за счастьем. Такие люди достаточно начитанны, чтобы знать, что счастье только там, где нас нет. Но в Америке можно работать, не опасаясь заработать срок. Высочайший литературный профессионализм и универсальные знания доставляли Лосеву в России несравнимо меньше неприятностей, чем те же достоинства доставляли его другу Иосифу Бродскому. Лосев артистично умел их скрывать. Недаром через несколько лет он написал книгу «Эзопов язык в Новейшей Русской литературе». На американском континенте появился сначала профессор славистики Дартмутского университета, блестящий литературовед. Помедлил несколько лет и выступил в качестве маэстро, виртуоза русского насыщенного поэтического текста».

Как заметил Борис Парамонов, Лосев нуждался не в свободе слова, а в доступности печатного станка. На Западе сразу вышли два его сборника – «Чудесный десант» (1985) и «Тайный советник» (1987). Далее продолжал удивлять читателей своими «забавными штучками». И, наконец, в 1997 году на родине, в Питере, вышел первый его поэтический сборник «Новые сведения о Карле и Кларе».

Что делать – дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего – только война.
Что делать, такая эпоха
Досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.

И что делать поэту в эту дурную эпоху? «О муза! будь доброй к поэту, / пускай он гульнет по буфету, / пускай он нарежется в дым, / дай хрену ему к осетрине, / дай столик поближе к витрине, / чтоб желтым зажегся в графине / закат над его заливным».

Тема России и эпохи у Лосева звучит с горькой усмешкой: «Понимаю – ярмо, голодуха, / тыщу лет демократии нет, / но худого российского духа / не терплю», – говорил мне поэт».

Вот уж правда – страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

«О, родина с великой буквы Р… бессменный воздух наш орденоносный…» И ощущение печального финала:

И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо.
И ничего, конечно, не растет
на грядке возле бывшего залива.

В одном из своих последних интервью («Огонек», октябрь 2008) Лев Лосев поведал, какой ему видится Россия из США, – и это весьма любопытный взгляд со стороны: «На моей американской памяти случился серьезный сдвиг – место России в сознании Америки значительно уменьшилось, отодвинулось от центра и, что ли, провинциализировалось. Я приехал в разгар холодной войны, Россия была действующим лицом номер один, а сейчас… она стала не то что маргинальной, но – одной из многих. Не такой страшной, как Иран, не вызывающей такого почтения, как Китай, не такой безумной, как Северная Корея… Так – что-то вроде Бразилии; даже Венесуэла вследствие очевидной ошалелости Чавеса вызывает большое любопытство. Что касается моего ощущения от нее – оно странным образом совпадает с чувствами Годунова-Чердынцева, который листает советскую прессу и удивляется, как все там, на Родине, стало серо, малоинтересно. Было так празднично, подумайте! Действительно, сравнить Россию 20–30-х с Россией начала века, когда Куприн считался писателем второго ряда… в то время как в Штатах был сверхпопулярен проигрывающий ему по всем параметрам Джек Лондон… И вдруг – страшная серость, полное падение, непонятно, куда все делось, не в эмиграцию же уехало… Несвобода быстро ведет в провинцию духа, на окраины мира; сегодня в России, насколько я могу судить, все усугубляется тем, что страна как бы зависла. Вперед не пустили, назад страшно и не

хочется – происходит топтание в пустоте, занятие бесперспективное».

Крути, как хочешь, русский палиндром
БАРИН И РАБ, читай хоть так, хоть эдак.

Лосев критиковал русскую несвободу, но продолжал восхищаться русской культурой.

Далеко, в стране Негодяев
и неясных, но странных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон и Булгаков…

«А Бурлюк гулял по столице, / как утюг, и с брюквой в петлице». «А за столиком, рядом с эсером, / Мандельштам волховал над эклером».

«Гранатометчик Лева Лифшиц» – так назвал себя в одном из стихотворений Лев Лосев, – с удовольствием преподавал в Америке русскую литературу. И когда читал в сочинениях молодых американцев: «Тургенев любит писать роман «Отцы с Ребенками…» – только улыбался в бороду. Он сам обожал юмор с переворотами. Как занимательно перевернул Лосев стихотворение Маяковского о рабочем Козыреве и о том, как он вселился в новую квартиру:

В новой квартире будет у нас благодать.
Бобика переименуем – Рекс.
Перекуем мечи на оральный секс,
т. е. будем трахаться и орать
сколько влезет, за каламбур пардон,
но главное – ванная. Остальное потом…

Поэзия Лосева вообще насыщена каламбурами, перефразами, афоризмами и перелицовкой старых поэтических одежд в новые.

Но главное – шуршит словарь,
словарь шуршит на перекрестке.

Приведем и другие строки: «Как длятся минуты, как бешено мчатся года»… «Пришла суббота, даже не напился»… «Края, где календарь без января»… «И как еврейка казаку / мозг отдается

языку»… «Места заполнены, как карточки лото, / и каждый пассажир похож на что-то»… «Однажды, начитавшись без лампад, / надергав книжек с полок наугад»…

Много денег, мало денег —
каждый, каждый в жизни пленник.
На ногах у нас колодки —
в виде бабы, в виде водки,
в виде совести больной,
в виде повести большой.

Хватит? Или еще? О советском времени: «Давали воблу – тысяча народу. / Давали «Сильву». Дуська не дала». И над всеми Сильвами и Дуськами парил «красный ангел агитпропа». И страшный памятник, не медный, а бронзовый:

На рассвете леденеет
бронзовый полугрузин,
злая тень его длиннеет,
медный конь под ним бледнеет.
Зри! он пальцем погрозил.

Таков Лев Лосев. Его сознание было погружено в контекст культуры, где он совершал свои версификаторские прыжки и ужимки, как уже отмечал, забавные штучки. «Я возьму свой паспорт еврейский. / Сяду я в самолет корейский. / Осеню себя знаком креста – / и с размаху в родные места!» «Вооружившись бубликом и Фетом?..» Да, он приезжал в Россию. С удивлением озирался по сторонам. С печалью улавливал тенденцию. И снова уезжал в Америку. И грезил:

Когда состарюсь, я на старый юг
уеду, если пенсия позволит.
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоем,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель,
как пар пыхтел и как пилась марсала,
как провожала пылкая мамзель,
как мысль плясала, как перо писало,
как в стих вливался моря мерный шум,
как в нем синела дальняя дорога,

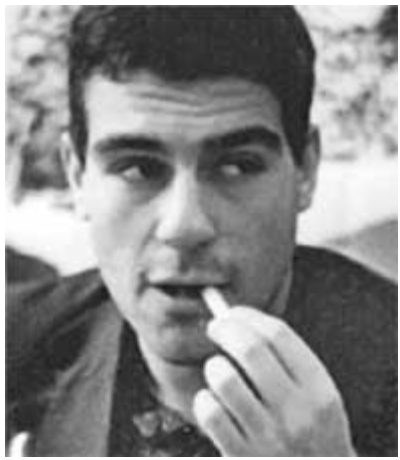
как не входило в восхищенный ум,
как оставалось жить уже немного…

Не знал и Лев Владимирович Лифшиц-Лосев. Он долго болел… Иосиф Бродский умер 27 января 1996 года, в возрасте 55 лет. Евгений Баратынский покинул белый свет 29 июня 1844 года, в 44 года. А Лев Лосев скончался в мае 2009 года, немного не дотянув до 72 лет.

Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги – слишком шаткие ступени.

Одним книжником на земле стало меньше. Но как утверждал Лев Лосев, «текст – это жизнь». А тексты остались. Значит, осталась и продолжает пульсировать мысль поэта, шелестеть его поэзия, резвятся его живые штучки.

Соло на ундервуде. Сергей Довлатов (1941–1990)



Все сложилось причудливо и драматично. Нужно было умереть Довлатову и пасть тоталитарному режиму в России, чтобы его произведения стали популярными. А книг о Довлатове выпущено больше, чем он написал сам.

Последними словами прижизненной книги Сергея Довлатова были: «Все интересуются, что будет после смерти? После смерти начинается – история».

В случае с Довлатовым – полное признание и канонизация. Из почти «никто» в современные классики. При жизни не признавали, и многие состоявшиеся писатели смотрели на него свысока, а после смерти все в восхищении: Довлатов! Это такое!.. А дальше фейерверк восклицаний и похвал. Ничего не остается, как присоединиться к общему хору.

Рождение и становление

Сергей Донатович Довлатов родился 3 сентября 41-го, в первый военный год в Уфе. Потом семья перебралась в Ленинград. Родители – типичные интеллигенты: отец Донат Исаакович Мечик – режиссер, писатель, преподаватель, был знаком с Ахматовой и Зощенко, Пастернаком и Светловым, и многими другими замечательными людьми. Мать Нора Сергеевна Довлатова, актриса.

Сын Сергей – дитя смешения кровей: армянской и еврейской, что и выражал его обычный еврейско-армянский взгляд, как

известно, этим народам есть о чем грустить и о чем печалиться. Повзрослев, Сергей сменил неудобную фамилию Мечик (Мечик-Мячик) на более благозвучную Довлатов и с каждым годом все более становился похожим на восточного человека. Одной женщине по телефону на вопрос, как она его узнает, Довлатов ответил: «Большой, черный, вы сразу испугаетесь. Похож на торговца урюком». Ответ исполнен юмором, который у Довлатова искрился с юных лет. Он любил юмор, остроты, розыгрыши и разные фантазии. «В Сережином детстве, – вспоминал отец, – многие восторгались его внешностью, сложением, ростом, выразительными движениями. Отмечали красивый голос, четкую речь. Иногда замечали, что он чувствует смешное, а порой может и сам рассмешить окружающих…» То есть можно сказать, что Довлатову юмор был присущ чуть ли не с пеленок.

Юмор юмором, а внутри у мальчика, а потом юноши шла невидимая скрытая работа. Он постигал мир. А в итоге Довлатов – типичный случай двойственности: внутри он – печальный, размышляющий, рефлектирующий, а внешне – веселый, легкий, искрящийся.

И еще одна важная черта. С детства Довлатовым был усвоен код благородного человеческого поведения. И когда этот код нарушался, а порой и самим Довлатовым, он сильно страдал. Он был на редкость порядочным человеком и, как все порядочные люди, мучился от своего несовершенства, от своих ошибок и заблуждений.

И важно мнение Иосифа Бродского: «Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо».

Жизнь Довлатова делится в основном на три периода и три города: Ленинград, Таллинн и Нью-Йорк, в промежутке – Пушкинские горы.

Ленинград – это юность. Беззаботное и мятежное время любви и поэзии. Друг Довлатова Дмитрий Дмитриев (ставший геофизиком) вспоминал: «Учились мы так себе, но двоечниками не были…» Ну, а в студенческие годы – «интересы у нас с Сергеем текли в одном направлении: у кого какие девочки на курсе учатся и когда будут танцы…» Ну, и, конечно: «Дешевое винишко, пили, курили, слушали музыку, ухаживали за девушками, старались быть умными, Сережа особенно…» Довлатов был одержим быть первым – таким вот обладал характером. Но если с девушками почти всегда выходило, то в поэзии первенствовать было сложно. Хотя Довлатов и выделялся тем, что мог лучше и быстрее всех сочинить экспромт за столом. При этом он отлично рисовал и

часто сопровождал свои рисунки стихотворными подписями типа: «А вот это будет лев,/ он заснул, кого-то съев». Или: «Например, вот этот слон, / Он чудовищно силен, / На макушке у слона / Пририсована луна. / Ведь известно, что слоны / Ростом чуть не до луны».

Писал стихи Довлатов и в армии, оказавшись в самом неприглядном месте – в ВОХРе, в военизированной охране, да еще «на зоне», в ссыльном краю в Коми, в совсем неподходящем месте для поэзии:

Девушки солдат не любят,
Девушки с гражданскими танцуют,
А солдаты тоже люди,
И они от этого тоскуют.
У стены стоят отдельной группой
Молодые хмурые мужчины,
А потом идут пешком из клуба
Или едут в кузове машины.
И молчат, как под тяжелой ношей,
И молчат, как после пораженья,
А потом в казарме ночью
Очень грязно говорят про женщин.
Я не раз бывал на танцах в клубе,
Но меня не так легко обидеть.
Девушки солдат не любят,
Девушек солдаты ненавидят.

Вполне зрело и жестко, но тем не менее Довлатов не стал профессиональным поэтом. Так, стишки по случаю. Он хотел стать писателем. Его писательство выражалось даже в монологах обольщения, когда он вернулся из армии в Питер и продолжал любовную игру: «Девушка, вглядитесь в мои голубые глаза. Вы в них найдете вязкость петербургских болот и жемчужную ткань атлантической волны в час ее полуденного досуга. Надеюсь, вы не взыщете, если не найдете в них обывательского добродушия? Девушка, вы заметили, как темнеют мои глаза в момент откровенных признаний?»

Ну, и как устоять было девушкам? Или воспоминание Иосифа Бродского: «Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».

Девичьи крепости оказалось брать легче, чем редакционные кабинеты, – так было раньше, и смею вас уверить, так же трудно теперь.

Мытарь

В библейских сказаниях мытарь – сборщик податей в Иудее. Он собирает подати, а его проклинают за это. Поэтому мытарство обозначает страдание, муку. Применительно к Довлатову – он ходил по редакциям и хотел увидеть свои тексты напечатанными, и если не за деньги, то просто так. Мытарился вовсю.

Елена Клепикова, работавшая в начале 70-х в отделе прозы журнала «Аврора», в ноябре 1971 года записала в своем дневнике: «Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он – писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать». Ну, мытарь – чистой воды.

Довлатов ходил в «Аврору», как на работу, предлагал, просил, убеждал, но все напрасно: советский Гутенберг его полностью игнорировал и не хотел печатать ни строки. Клепикова вспоминает, как однажды он, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: «Течет революционная река «Нева», над ней горит пятиконечная «Звезда», стоит на приколе «Аврора». А на берегу возле Смольного пылает в экстазе патриотизма «Костер», зажженный внуками Ильича. Что-то в этом роде. Сережина версия была точней и смешней. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории, – никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один из толстой папки его рассказов не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен для первых авроровских залпов».

Бесперспективный автор. Даже друзья-поэты (потом об этом они сожалели) говорили: «А, Довлатов! Легковес!..» Естественно, Довлатов сильно киксовал. А тем временем Иосиф Бродский укатил в Америку, Битов, Рейн и Найман уехали в Москву, Довлатов по существу остался один из той элитной питерской компании и страдал от тотального непечатанья. Художественного непечатанья, а так работал в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института под названием «За кадры верфям».

Таллинн. Поиски удачи

Следующий этап жизни: эстонская столица. В повести «Ремесло» он написал об этой своей внезапной поездке на ближний Запад: «Почему направился именно в Таллинн? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности».

Тут следует сказать, что свою жизнь Довлатов описывал с редкой откровенностью, но при этом, правда, осталась загадка, насколько авторский персонаж Довлатова совпадает с реальным автором Довлатовым. Иногда они совпадают, как один к одному, а иногда весьма разнятся. Автор как бы посмеивается над своим вторым «я» и приписывает ему нечто чужое.

В Таллинне Довлатов всерьез взялся за претворение своей мечты: издать книгу. Он нашел издательство, подписал договор, увидел гранки, дождался второй корректуры, а дальше все застопорилось, более того, готовую книгу не издали. Местное КГБ заинтересовалось связями Довлатова с диссидентами, а это были не связи, а просто знакомство за бутылкой, но тем не менее бдительные органы наложили вето, табу, запрет на мечту Довлатова. И от отчаяния он впал в запой. Мечта была совсем рядом, ее можно было потрогать и на тебе: ускользнула. Исчезла. Испарилась. Ну, как тут не запить! Над пьяным Довлатовым весело потешался успешный Александр Кушнер, приехавший из Ленинграда в Таллинн за своей новой книгой. Короче, кому книга, а кому – фига!..

И тогда пришла Довлатову идея попытать счастье в Америке, но перед Штатами были еще мельком Пушкинские горы, где его по знакомству устроили работать экскурсоводом. Знания у него водились, но юмористическое начало превалировало. Об одном из «приколов» рассказал навестивший Довлатова Евгений Рейн:

«Перед домиком Арины Родионовны он остановился, экскурсанты окружили его. «Пушкин очень любил свою няню, – начал Довлатов. – Она рассказывала ему сказки и пела песни, а он сочинял для нее стихи. Среди них есть всем известные, ну, например, это… «Ты жива еще, моя старушка?» И Сергей с выражением прочитал до конца стихотворение Есенина. Я с ужасом смотрел на него. Он незаметно подмигнул мне. Экскурсанты безмолвствовали. Это был довлатовский театр, одна из мизансцен замечательного иронического спектакля».

В Пушгорах Довлатов жил в избе, через дырку в которой к нему приходили собаки. Достойное сочетание: бездомные собаки и непризнанный писатель. Ну, и гуляния в ресторане «Витязь», что Довлатов весело описал в своем «Заповеднике». Решение

укатить в Америку сопровождалось безумным пьянством, и, как вспоминал Андрей Арьев, выпивали еще в аэропорту перед посадкой.

Об обстоятельствах отъезда Довлатов написал в рассказе «Ремесло»: «В конце 79-го года мы дружно эмигрировали. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают».

Кто в те годы из интеллигентов не бредил Америкой? Вот и Довлатов поехал туда с большими надеждами.

Жизнь в Нью-Йорке

По словам Елены Клепиковой, первый год в Нью-Йорке Довлатов производил впечатление оглушенного. О литературе не помышял. Не знал, с какого бока к ней здесь подступиться. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене. Убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что это у него от Бога и хватит на всю жизнь. Чуть позже Довлатов загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара – в пунцовом мундире с галунами, в роскошном отеле. Говорил, что исключительно приспособлен – ростом, статью и мордой – для этой должности. Но постепенно, отбросив глупые иллюзии, вернулся к своему истинному призванию писателя. Проявил бурную предприимчивость и подбил многих русских журналистов на различные издания – от «Нового американца» до «Русского плейбоя». И этой своей деятельностью сильно расцветил, как кто-то выразился, «тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка». Вслед за журналистикой Довлатов занялся и литературой, а порой совмещал то и другое.

В 1978 году Довлатов эмигрировал из СССР, а через год примерно – 22 ноября 1979 года, – писал в письме бывшей жене Тамаре Зибуновой: «Мы – бедные, довольно знаменитые, грустные и, в общем, достаточно старые. Мечтаем о настоящем читателе, о российской аудитории, об атмосфере родного языка и теплых человеческих отношений. Американцы – замечательные люди, но раскрываются они только, когда беседуют с психоаналитиком, деньги одалживать не принято (этим занимается банк), звонить среди ночи не принято, жрать в гостях не принято, все занимаются собой. Это вообще-то прекрасно, но мы не привыкли. О еврейской эмиграции не хочу и говорить, тут нужны Ильф с Петровым».

И далее в письме признание, полное горечи: «Америка – прекрасная страна, но мы слишком поздно сюда приехали, мы не привыкли к реальной законности, не привыкли к денежно-сориентированным отношениям, не привыкли к суверенности, ко многому такому, что нам кажется равнодушием. Конечно, если считать, что я уехал ради литературы, ради того, чтобы печататься, то этого я достиг, но, к сожалению, это не все, далеко не все…»

И той же Тамаре Зибуновой, спустя почти 10 лет, 6 января 1989 года: «Давно уже не существует начинающего автора, обивающего пороги редакций и издательств. Я написал двенадцать книг, четыре из них переведены на несколько языков, еще на три книги у меня есть контракты в разных странах, и так далее. Конечно, я не стал Шекспиром или Бродским, но я давно уже профессиональный литератор, бедный, как большинство серьезных писателей на Западе, но вполне уважаемый, и объем написанного обо мне уже раза в три превосходит все, что написал я сам».

Правозащитник и публицист Вадим Белоцерковский отмечал: «Если бы Довлатов мог остаться в России, если бы он там начал свой литературный путь и прошел бы по нему значительное расстояние, он мог бы выйти на крупные темы, сюжеты и образы, но начинать карьеру писателя в чужой стране – дело почти безнадежное. То, чего достиг Довлатов в Америке, – это, наверное, максимум возможного, и достичь этого можно было только с его талантом».

А вот одно из писем Довлатова Белоцерковскому, и его можно считать подводящим итоги (вот уж истинные слова Андрея Вознесенского: «Но итоги всегда печальны, даже если они хороши»). Дата письма: 15 февраля 1986 года (за 4,5 года до смерти):

«Дорогой Вадим! Ничего не заставит меня вылезти из убежища глубокого пессимизма, тем более что жизнь этим настроениям способствует. Все мои западные книжки экономически провалились, новых контрактов не будет, переводчица снова родила и возится с младенцем, родители болеют. Я уже года два ощущаю, что со мной происходит что-то важное. И наконец понял, что именно. Когда меня лет двенадцать не печатали, я бессознательно мог верить в свою неординарность и бессознательно же рассчитывать – вот напечатают, и все изменится. Сейчас все – напечатано, высшей гениальности во мне не обнаружилось, никого и ни в чем убедить мне не удалось, газета, в которую я вложил лучшую часть души и остатки идеализма, провалилась, друзья (Вайль и Генис, к примеру) –

надули, бросить журналистскую халтуру на радио я не могу и так далее. К счастью, родился сынок плюс улучшаются, как ни странно, год от года отношения с женой. Вот куда-то сюда и передвинулся источник радости. Но я все еще не готов сместить эпицентр моих посягательств, перенести его с литературы на семью, природу, машину и даже на свободу. Короче, я продолжаю внутренне жить как недооцененный и замалчиваемый крупный литератор, будучи в действительности – сдержанно оцененным и не слишком крупным».

Налицо пессимизм, уныние и надорванность сил. А ведь начало было иным: «Мы заняли две комнаты на углу Бродвея и Четырнадцатой. Строго напротив публичного дома «Веселые устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция», – писал Довлатов в рассказе «Ремесло».

Довлатов успешно выступал в печатных изданиях и на радиостанции «Свобода», где подрабатывал внештатным «скриптрайтером» (создателем маленьких очерков). И компания там подобралась что надо: Петр Вайль, Виктор Некрасов и Александр Генис. Писем радиослушателей Довлатов получал больше всех. Но при этом жаловался, что все письма кончаются одинаково – просьбой прислать джинсы.

Колонки, которые Довлатов печатал в «Новом американце», читались с жгучим интересом. Иногда он пылал гневом: «Мир полон зла. И это зло – внутри нас. А значит, человек должен победить себя. Преодолеть в себе – раба и циника, невежду и труса, карьериста и ханжу! Навсегда убить в себе – корыстолюбие, чванство и продажность! Уничтожить в себе ядовитые ростки коммунистического лишайника: нетерпимость к чужому мнению. Фанатизм и жестокость. Беззаветную преданность к собственным интересам. Баранье равнодушие. Жалкий страх перед ересью и новизной…»

И концовка: «Свершится ли все это? И на чьем веку? Я хотел бы посетить этот мир через тысячу лет».

Часто Довлатов спускался с высот и говорил на темы обыденные, приземленные. К примеру, рассказывал, какой он футбольный болельщик: «Я всегда болел неправильно. С детства мне очень нравилась команда «Зенит». Не потому, что это была ленинградская команда. А потому, что в ней играл футболист Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол».

И в той же колонке (июль 1981) Довлатов резко встал на сторону шахматиста Виктора Корчного против Анатолия Карпова: «Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод. За то, что он прекрасный шахматист. За то, что у него все хорошо. За то, что

его окружают десятки советников и гувернеров. Вот почему я болею за Корчного. Не потому, что живет на Западе. Не потому, что он играет лучше. И, разумеется, не потому, что он – еврей. Я болею за Корчного потому, что он в разлуке с женой и сыном. Потому что ему за сорок (или даже, кажется, за пятьдесят). И еще потому, что он не решился стукнуть Карпова шахматной доской. Полагаю, он этого желал не менее, чем я. А я желаю этого – безмерно».

И признание Довлатова: «Конечно, я плохой болельщик». Возможно, но журналистом он был блистательным.

В Нью-Йорке у Довлатова был успех и была тоска.

«Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа, – признавался Довлатов. – Сначала все было прекрасно. Свобода, изобилие, доброжелательность. Продуктов сколько хочешь. Газет и журналов более чем достаточно. Затем все было ужасно. Куриные пупки надоели. Джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь. И денег авторам не платят. Да еще – преступность. Да еще – инфляция. Да еще эти нескончаемые биллы, инвойсы, счета, платежи…

А потом все стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей. Есть в ней смешное и грустное, хорошее и плохое. И продавцы (что совершенно естественно) бывают разные. И преступники есть, как везде. И на одного, допустим, Бродского приходится сорок графоманов. Что совершенно естественно… И главные катаклизмы, естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везет. И счастья по-прежнему не купишь за деньги».

В одном из интервью Сергей Довлатов еще раз определил свое отношение к Америке: «Нью-Йорк – это филиал земного шара, где нет доминирующей национальной группы и нет ощущения такой группы. Мне так надоело быть непонятно кем – я брюнет, всю жизнь носил бороду и усы, так что не русский, но и не еврей, и не армянин… И в Америке в этом смысле я чувствую себя хорошо».

Подверстаем свидетельство и Петра Вайля о Довлатове: «Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни – хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор: язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу…»

Женщины Довлатова

Дочь Катя: «Америку отец любил до того, как в ней оказался. И любил ее, живя там, со всеми ее недостатками…»

И самое время теперь сказать, что у Довлатова были три жены и трое детей. Первая жена – Ася Пекуровская. Они познакомились в Ленинградском университете. Вместе были недолго. В 1973 году Пекуровская эмигрировала в Америку и там выпустила книгу «Когда случилось петь С. Д. и мне». В конце их брака весной 1972 года Довлатов познакомился с другой женщиной – Тамарой Зибуновой. Новый роман, новая любовь, в результате которой родилась дочь Саша. Отношения внутри новой семьи складывались тяжело, все осложнялось невостребованностью Довлатова и его пристрастием к алкоголю. Зибунова долго терпела все довлатовские «закидоны»: «Он меня просто гипнотизировал. Он был очень обаятельным человеком, и, когда он был рядом, я просто не могла сопротивляться». После каждого запоя приходил домой с подарками, чтобы загладить свою вину. «После очередного эксцесса, – вспоминает Зибунова, – открываю дверь: там стоит торшер… сердиться на него было невозможно».

В одном из писем Тамаре Довлатов писал: «…я, конечно, плохой отец, как и плохой сын, плохой муж и плохой вообще, но помогать ей (Саше. – *Ю. Б.*) я обязан». Следует привести мнение и другой стороны. В одном из интервью Зибунова сказала: «Все Сашино детство я заботилась о том, чтобы у нее были только хорошие воспоминания об отце. Поэтому в нашей семье он существовал в таком отредактированном виде. В этом смысле Саша очень счастливая, потому что если Катя и Коля (дети от Елены Довлатовой) видели его разным, то для нее он овеян романтическим ореолом».

Когда в жизни Довлатова появилась еще одна женщина, Елена, он стал разрываться между женой и новой любимой, что привело к неизбежному краху: «Меня не устраивало положение одной из двух жен. Сережа метался между Леной и мной», – так воспринимала эту ситуацию Тамара. И, естественно, произошел разрыв. Елена стала третьей женой Довлатова, родила ему двоих детей и вместе с ним отправилась в Америку. Свою жену Довлатов многократно упоминал в своих миниатюрах, например, так: «Моя жена Лена – крупный специалист по унынию» («Соло на ундервуде»).

Вдаваться в тонкости отношений между Довлатовым и его женщинами не входит в мою задачу, поэтому лучше о другом: об алкоголизме. Довлатов, как и многие российские сочинители, прибегал часто к крепким напиткам. Его любимой цитатой была фраза из Хемингуэя: «Стоит только немного выпить, и все

становится почти как прежде».

Почему пил? Вопрос иррациональный, без ответа, потому что причин очень много. Роберт Бернс когда-то давным-давно перечислял множество причин и добавлял последнее: «И просто пьянство без причин». Если коротко, то одна из главных – эмиграция. Вот характерные строки из письма к Тамаре Зибуновой:

«Эмиграция – величайшее несчастье моей жизни, и в то же время – единственный реальный выход, единственная возможность заниматься выбранным делом. При этом я до сих пор вижу во сне Щербаков переулок в Ленинграде или подвальный магазин на улице Рабчинского. От крайних форм депрессии меня предохраняет уверенность в том, что рано или поздно я вернусь домой либо в качестве живого человека, либо в качестве живого писателя. Без этой уверенности я бы просто сошел с ума».

Из письма Андрею Арьеву: «Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя, я к этому статусу уже привык и не хотел бы от него отказаться даже на время».

Да, статус был, популярность имелась, но при этом Довлатов страдал от ощущения, что все это пришло к нему слишком поздно. И к тому же в последние годы он испытывал затяжной творческий кризис. Ему не писалось так, как он хотел.

Обрыв жизни

Юнна Мориц написала стихи про то, как повстречала Довлатова в Нью-Йорке: «огромный Сережа в панаме/ идет сквозь тропический зной»:

И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется
Лишь в пятницу, в августе, днем.
А нынче суббота июля,
Он молод, красив, знаменит.
Нью-Йорк, как большая кастрюля,
Под крышкой панамы звенит.

«Бродский любил повторять:

– Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается?» (из альбома Довлатова «Там жили поэты…»)

Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке 24 августа 1990 года от сердечного приступа. Здоровье уже барахлило, как мотор в старом автомобиле, а сам он о нем не беспокоился. Он не дожил всего лишь 10 дней до своего 49-летия. Отечественные журналы «Звезда», «Октябрь» и «Радуга» (Таллинн) начали печатать прозу Довлатову, и его слава уже горделиво пошла по российской земле. Но полного ее сияния Сергей Донатович не увидел.

Книги, тексты, записи

Первые книги конца 60-х: «Иная жизнь» и «Ослик должен быть худым», написанные в жанре «философской ахинеи», как их определил сам Довлатов. Из того же раннего периода – роман «Один на ринге». В начале 80-х созданы «Компромисс», «Зона» и «Наши». В 1986 году был издан сборник «Чемодан», затем «Заповедник», «Иностранка» и «Филиал», эти последние книги написаны, по определению Довлатова, «розановским пунктиром», т. е. фрагментарно, отрывочно, остро. Из поздних рассказов выделим «Ариэль», «Игрушка», «Мы и гинеколог Буданицкий».

Не будем блуждать в литературоведческих джунглях, лишь отметим, что композиционно все книги Довлатова делятся даже не на главы, а на абзацы, на микроновеллы. Как и в чеховских пьесах, важны не только слова, но и паузы между ними. Кстати, Довлатов в какой-то мере является наследником Чехова и Михаила Зощенко, а еще в его творчестве можно найти отголоски прозы американских прозаиков Шервуда Андерсона, Хемингуэя и Фолкнера, ну, и, конечно, Сэлинджера: Довлатов тоже любил стоять над пропастью…

С детских лет бывавший в театральных кулисах (благодаря отцу), Довлатов в своих произведениях тяготел к так называемому «театрализованному реализму». Он обожал театральные эффекты, не отсюда ли его любимый перефраз: «Лишний человек – это звучит гордо!»

Все писатели, как правило, мечтают о «серьезной литературе», им хочется решать высокие задачи бытия, заниматься учительством, просветительством или даже пророчеством. Все это вызывало у Довлатова отторжение. Ничего подобного нет в его произведениях. И вообще, он любил не сильных людей, не героев, а слабых людей, лишних, аутсайдеров, лузеров, у которых неустроенность бытия, туманность будущего, неопределенность замыслов и планов, неясность и сбивчивость чувств. Но все они выписаны ярко и осязаемо.

По мнению Льва Лосева, тоже американского эмигранта:

«Люди, их слова и поступки в рассказах Довлатова становились «larger than life», живее, чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая уж однообразная рутина, что она забавнее, интереснее, драматичнее, чем кажется. Значит, наши дела еще не так плохи».

Еще одна особенность творчества Довлатова: в свои сочинения он вставлял знакомых ему людей под реальными фамилиями, но описывал их весьма своевольно и часто в обидной форме, то есть выводил конкретных людей под субъективными одеждами. Иногда добродушно, иногда язвительно высмеивая их, что, естественно, не могло нравиться. В одном из писем Довлатов жаловался: «…я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба…»

Довлатов фантазировал с образами и поступками своих знакомых, как некогда это делал Георгий Иванов в «Петербургских зимах», чем вызывал много недовольства и критики. Вот как, к примеру, Довлатов обошелся с Солженицыным, когда тот жил в Америке, мол, сидит в бункере и, растрепав бородищу, поучает всех и метит в Толстые. Конечно, это нелицеприятно. Но таков подход Довлатова к своим героям, таков его стиль: у него реальная жизнь сплавлена с абсурдом. И это читается легко, потому что отмерено почти в аптекарских дозах в очень коротких текстах. Он – минималист. Никаких долгих размышлений, никаких длинных описаний, все коротко и ярко, как вспышка.

В статье о Довлатове Иосиф Бродский отмечал: «Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны, как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование…»

А вот мнение Довлатова о самом себе, конечно, с изрядной долей иронии, но тем не менее: «Я был и гением, и страшным халтурщиком». Он называл себя просто «строкогоном» и «трубадуром отточенной банальности». И всегда был за простоту и ясность своих писаний, боролся с литературным модернизмом и авангардизмом.

В одном из писем обронил: «Я хотел бы написать что-то такое, от чего бы сам пришел в восторг».

Восторга не было. «Один редактор говорил мне: – У тебя все действующие лица – подлецы… – Где же тут подлецы? – спрашивал я. – Кто, например, подлец? – Редактор глядел на меня как на человека в нехорошей компании и пытающегося выгородить своих дружков…» («Компромисс»).

Кажется, разговор затянулся. «Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово…» («Заповедник»).

А раз слово, то заглянем немного в записные книжки Сергея Довлатова:

«Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее – симулировать».

«У Бога добавки не просят».

«Юмор – улыбка разума».

«С утра выпил – весь день свободен».

«Эпоха возраженья».

Начав цитировать довлатовские строки, трудно от них оторваться. Ну, например, такой пассаж: то ли подслушанный, то ли придуманный:

«Заговорили мы в одной эмигрантской компании про наших детей. Кто-то сказал:

– Наши дети становятся американцами. Они не читают по-русски. Это ужасно. Они не читают Достоевского. Как они смогут жить без Достоевского?

И все закричали:

– Как они смогут жить без Достоевского?

На что художник Бахчанян заметил:

– Пушкин жил, и ничего».

«Каким он парнем был…»

Строка из песни, правда, не о Довлатове. О нем песен нет, но есть уже тома воспоминаний. Целое направление: довлатоведение. Все хотят расшифровать его посмертный успех. Творчества мы слегка коснулись, еще приведем несколько свидетельств и, прежде всего, самого Довлатова. В 23 года он писал отцу: «Дорогой Донат! (так он обращался к отцу, не как к родителю, а как к старому другу. – *Ю. Б.*). За десять лет сознательной жизни я понял, что устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Или, выражаясь языком поэтическим:

Земля стоит на трех китах:
Продажность, себялюбие и страх.

Человек, как моральный представитель фауны, труслив и эгоистичен…» (12 октября 1964).

Довольно зрелая оценка окружающего мира. Некоторые

отмечают, что у великана Довлатова была душа ребенка. Нет, это был умудренный жизненным опытом человек. Просто от тягот бытия он спасался шутовством и юмором, которые некоторые знакомые принимали за его суть, мол, несерьезный человек.

Вспоминая Довлатова, Петр Вайль писал: «Кем бы хотел стать – об этом несколько раз говорил сам: джазовым музыкантом, который выходит на авансцену, поднимает трубу или саксофон, и зал обмирает. Это, конечно, мечта о немедленном воздействии, чего лишено ремесло литератора: издательский цикл, типографский процесс, читатель за тридевять земель. В качестве устного рассказчика Довлатов такого музыкального эффекта достигал».

И еще Вайль: «Образование Довлатов получил нерегулярное, так как обнаруживались ощутимые провалы, почти полное незнание изобразительных искусств, серьезные лакуны в литературе – античность, зарубежная классика, даже такая, как Шекспир. Но уж что знал, то знал превосходно: русскую и американскую словесность. Вообще литература исчерпывала почти весь его кругозор. Помимо этого – джаз. Еще кино – прежде всего американское».

Ну, и что? Действительно, Довлатов, прожив 12 лет в Нью-Йорке, не был ни разу в музее «Метрополитэн». Он избегал ненужных ему знаний. Короче, он не был эрудитом, но он был Довлатовым, который нес в себе, по мнению Беллы Ахмадулиной (ну, а она всегда была знатоком тайных пружин), лучезарность и тайную трагедийность.

Подведем итог. Так кто такой все-таки Довлатов? Талантливый миниатюарист и ювелир слова, он виртуоз, если воспользоваться определением Осипа Мандельштама, «молекулярного искусства».

Разговор из трех фраз:

– Какой у него телефон?

– Не помню.

– Ну, хотя бы приблизительно?

На этом и завершим наш рассказ, где мы пытались хотя бы «приблизительно» поведать о Сергее Довлатове.

Послесловие

Книга подошла к концу, ну и что? Принесла ли она пользу? Обогатила ли каким-то новым знанием? Заставила задуматься?..

Хочу подтвердить, что история русской литературы XX века условно делится на три периода. Первый: инерция Золотого пушкинского времени и расцвет Серебряного века (проклятые вопросы бытия, поиск новых смыслов и т. д.). Поэты и писатели – властители дум, читательские кумиры.

Второй период: после Октября 1917 года. Советская литература. Литература под гнетом идеологии. Деление на «хороших» и «плохих», то есть таких, кто не в ногу с линией партии. Для «подручных партии» и «инженеров человеческих душ» – премии и ордена, почет и материальные блага. Для отступников и вольнодумствующих – арест, тюрьма, лагерь, расстрел, – кому какая выпадала фишка. И, тем не менее, под страхом и прессом, под гнетом цензуры, многие писатели честно писали и создавали прекрасные произведения.

Третий период: нынешний. Демонтаж социализма и строительство капитализма. Нет идеологии, но есть жажда наживы. Власть по существу бросила культуру и литературу на произвол судьбы, озабочена только нефтью и газом и распределением финансовых потоков. Большинство народа выживает само по себе. Литература? «Свобода приходит нагая», и никаких табу и запретов. И пишут в основном коммерческие, развлекательные книги. Круг читателей постоянно сужается. В основном тургеневские барышни да советские пенсионеры. Но тургеневских барышень наперечет, в основном девушки стремятся в пресловутый «Дом-2», а у пенсионеров нет денег на книги да и сил дойти до библиотеки. Отсюда жутчайший кризис и падение интереса к книге.

А что авторы? Писатели в глубоком нокауте. Идти в маскульт или снова писать в стол? От издателей то и дело слышишь: «Это не наш формат! Это неинтересно! Больше крови и насилия, покруче секса – тогда пойдет!..» Но не все способны на такое «письмо».

Серьезные тексты умирают. Процветает вульгарность и бульварщина. Один современный автор, нисколько не стесняясь, заявляет: «Я представитель быдла». Другой откровенничает, что литература для него всего лишь хобби, в основном он торгует вином.

И вот в начале XXI века мы имеем то, что имеем. Аполлон не требует поэта к священной жертве (увы, эту фразу поймут только

читающие). Россия из культурной становится бескультурной и безлитературной. Иногда даже кажется, что сбылось пророчество Оруэлла в романе «1984»: задача идеологов власти свести язык к двум словам: «Ура!» и «Долой!», все разделить на черное и белое, упразднить все оттенки цвета. И мы, действительно, видим сегодня одномерного человека, не рефлектирующего, не страдающего, не сопереживающего, а грубого, циничного и малознающего.

Как тут не вспомнить слова Александра Герцена: «Великий обвинительный акт, составляемый русской литературой против русской жизни, это полное и пылкое отречение от наших ошибок, это исповедь, полная ужаса перед нашим прошлым, это горькая ирония, заставляющая краснеть за настоящее, – и есть наша надежда, наше спасение, прогрессивный элемент русской натуры».

Короче, необходимы знания. Знания истории России и истории литературы, чтобы не происходили такие казусы, когда в одной из телепрограмм ведущий задал вопрос по типу Угадайки: «Кто погубил Пушкина? Злая жена, цирроз печени, Грушницкий?» И большинство аудитории ответило: «Грушницкий».

В век информации надо быть информированным и знающим. «Ты никогда не будешь знать достаточно, если не будешь знать больше, чем достаточно», – говорил английский поэт и художник Уильям Блейк. «Каждый день, который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для себя куском знания… считайте для себя погибшим», – считал великий Станиславский.

Ну, и, наконец, мой любимый Василий Васильевич Розанов: «Господа, бросьте браунинги и займитесь библиографией».

Не надо стрелять. Надо читать.

Не надо ненавидеть. Надо любить.

Юрий Безелянский, Ноябрь 2011 года